

О. Генри
Собрание сочинений в пяти томах
Том 2

Сердце Запада

Сердце и крест

Перевод М. Урнова

Бэлди Вудс потянулся за бутылкой и достал ее. За чем бы ни тянулся Бэлди, он обычно... но здесь речь не о Бэлди. Он налил себе в третий раз, на палец выше, чем в первый и во второй. Бэлди выступал консультантом, а консультанта стоит оплатить.

— На твоём месте я был бы королем, — сказал Бэлди так уверенно, что кобура его скрипнула и шпоры зазвенели.

Уэб Игер сдвинул на затылок свой широкополый стетсон и растрепал светлые волосы. Но парикмахерский прием ему не помог, и он последовал примеру более изобретательного Бэлди.

— Когда человек женится на королеве, это не значит, что он должен стать двойкой, — объявил Уэб, подытоживая свои горести.

— Ну разумеется, — сказал Бэлди, полный сочувствия, все еще томимый жаждой и искренне увлеченный проблемой сравнительного достоинства игральных карт. — По праву ты король. На твоём месте я потребовал бы передачи. Тебе всучили не те карты... Я скажу тебе, кто ты такой, Уэб Игер.

— Кто? — спросил Уэб, и в его голубых глазах блеснула надежда.

— Ты принц-консорт.

— Полегче, — сказал Уэб, — я тебя никогда не ругал.

— Это титул, — объяснил Бэлди, — который в ходу среди карточных чинов; но он не берет взятку. Пойми, Уэб, это клеймо, которым в Европе метят некоторых животных. Представь, что ты, или я, или какой-нибудь голландский герцог женится на персоне королевской фамилии. Ну, со временем наши жены становятся королевами. А мы — королями? Черта с два! На коронации наше место где-то между первым конюхом малых королевских конюшен и девятым великим хранителем королевской опочивальни. От нас только и пользы, что мы снимаемся на фотографиях и несем ответственность за появление наследника. Это игра с подвохом. Да, Уэб, ты принц-консорт. И будь я на твоём месте, я бы устроил междуцарствие, или habeas corpus, или что-нибудь в этом роде. Я стал бы королем, если бы даже мне пришлось смешать к черту все карты.

И Бэлди опорожнил стакан в подтверждение своих слов, достойных Варвика, делателя королей.¹

— Бэлди, — сказал Уэб торжественно, — мы много лет пасли коров в одном лагере. Еще мальчишками мы бегали по одному и тому же пастбищу и топтали одни и те же тропинки. Только тебя я посвящаю в свои семейные дела. Ты был просто объездчиком на ранчо Нопалито, когда я женился на Санте Мак-Аллистер. Тогда я был старшим; а что я теперь? Я значу меньше, чем пряжка на уздечке.

— Когда старик Мак-Аллистер был королем скота в Западном Техасе, — подхватил Бэлди с сатанинской вкрадчивостью, — и ты был козырем. Ты был на ранчо таким же

¹ «Делатель королей» — прозвище английского графа Варвика (1428–1471), государственного деятеля, чьими усилиями на английский престол был возведен в 1461 г. Эдуард IV.

хозяином.

— Так было, — согласился Уэб, — пока он не догадался, что я пытаюсь заарканить Санту. Тогда он отправил меня на пастбище, как можно дальше от дома. Когда старик умер, Санту стали звать «королевой скота». А я только заведую скотом. Она присматривает за всем делом; она распоряжается всеми деньгами. А я не могу продать даже бычка на обед туристам. Санта — «королева», а я — мистер Никто.

— На твоём месте я был бы королем, — повторил закоренелый монархист Бэлди Вудс. — Когда человек женится на королеве, он должен идти с ней по одной цене в любом виде — соленом и вяленом, и повсюду — от пастбища до прилавка. Многие, Уэб, считают странным, что не тебе принадлежит решающее слово на Нопалито. Я не хочу сказать ничего худого про миссис Игер — она самая замечательная дамочка между Рио Гранде и будущим Рождеством, — но мужчина должен быть хозяином в своём доме.

Бритое смуглое лицо Игера вытянулось в маску уязвленной меланхолии. Выражение его лица, растрепанные желтые волосы и простодушные голубые глаза — все это напоминало школьника, у которого место коновода перехватил кто-то посильнее. Но его энергичная мускулистая семидесятидвухдюймовая фигура и револьверы у пояса не допускали такого сравнения.

— Как это ты меня обозвал, Бэлди? — спросил он. — Что это за концерт такой?

— Консорт, — поправил Бэлди, — принц-консорт. Это псевдоним для неважной карты. Ты по достоинству где-то между козырным валетом и тройкой.

Уэб Игер вздохнул и поднял с пола ремень от чехла своего винчестера.

— Я возвращаюсь сегодня на ранчо, — сказал он безучастно. — Утром мне надо отправить гурт быков в Сан-Антонио.

— До Сухого озера я тебе попугачик, — сообщил Бэлди. — В моем лагере в Сан-Маркос согнали скот и отбирают двухлеток.

Оба *companeros*² сели на лошадей и зарысили прочь от маленького железнодорожного поселка, где в это утро утоляли жажду.

У Сухого озера, где их пути расходились, они остановили лошадей, чтобы выкурить по прощальной папиросе. Много миль они проехали молча, и тишину нарушали лишь дробь копыт о примятую мескитовую траву и потрескивание кустарника, задевавшего за деревянные стремена. Но в Техасе разговоры редко бывают связными. Между двумя фразами можно проехать милью, пообедать, совершить убийство, и все это без ущерба для развиваемого тезиса. Поэтому Уэб без всяких предисловий добавил кое-что к разговору, который завязался десять миль назад.

— Ты сам помнишь, Бэлди, что Санта не всегда была такая самостоятельная. Ты помнишь дни, когда старик Мак-Аллистер держал нас на расстоянии и как она давала мне знать, что хочет видеть меня. Старик Мак-Аллистер обещал сделать из меня дуршлаг, если я подойду к ферме на ружейный выстрел. Ты помнишь знак, который, бывало, она посылала мне... сердце и в нем крест.

— Я-то? — вскричал Бэлди с хмельной обидчивостью. — Ах ты, старый койот! Помню ли? Да знаешь ли ты, проклятая длиннорогая горлица, что все ребята в лагере знали эти ваши иероглифы? «Желудок с костями крест-накрест» — вот как мы называли их. Мы всегда примечали их на поклаже, которую нам привозили с ранчо. Они были выведены углем на мешках с мукой и карандашом на газетах. А как-то я видел такую штуку, нарисованную мелом на спине нового повара, которого прислал с ранчо старик Мак-Аллистер. Честное слово!

— Отец Санты, — кратко объяснил Уэб, — взял с нее обещание, что она не будет писать мне и передавать поручений. Вот она и придумала этот знак, «сердце, и крест». Когда ей не терпелось меня увидеть, она ухитрялась отмечать этим знаком что придется, лишь бы попало мне на глаза. И не было случая, чтобы, заметив этот знак, я не мчался в ту же ночь

² Приятели (*исп.*).

на ранчо. Я встречался с нею в той рощице, что позади маленького конского корраля.

— Мы знали это, — протянул Бэлди, — только виду не подавали. Все мы были за вас. Мы знали, почему ты в лагере всегда держишь коня наготове. И когда мы видели «желудок с костями», расписанные на повозке, мы знали, что старику Пинто придется в эту ночь глотать мили вместо травы. Ты помнишь Скэрри... этого ученого объездчика? Ну, парня из колледжа, который приехал на пастбище лечиться от пьянства. Как завидит Скэрри на чем-нибудь это клеймо «приезжай к своей милке», махнет, бывало, рукой вот таким манером и скажет: «Ну, нынче ночью наш приятель Леандр опять поплывет через Геллиспункт».³

— В последний раз, — сказал Уэб, — Санта послала мне знак, когда была больна. Я заметил его сразу, как только вернулся в лагерь, и в ту ночь сорок миль прогнал Пинто галопом. В рощице ее не было. Я пошел к дому, и в дверях меня встретил старик Мак-Аллистер.

— Ты приехал, чтобы быть убитым? — говорил он. — Сегодня не выйдет. Я только что послал за тобой мексиканца. Санта хочет тебя видеть. Ступай в эту комнату и поговори с ней. А потом выходи и поговоришь со мной.

Санта лежала в постели сильно больная. Но она вроде как улыбнулась, и наши руки сцепились, и я сел возле кровати как был — грязный, при шпорах, в кожаных штанах и тому подобном.

— Несколько часов мне чудился топот копыт твоей лошади, Уэб, — говорит она. — Я была уверена, что ты прискачешь. Ты увидел знак? — шепчет она.

— Как только вернулся в лагерь, — говорю я. — Он был нарисован на мешке с картошкой и луком.

— Они всегда вместе, — говорит она нежно, — всегда вместе в жизни.

— Вместе они замечательны, — говорю я, — с тушеным мясом.

— Я имею в виду сердце и крест, — говорит она. — Наш знак. Любовь и страдание — вот что он обозначает.

Тут же был старый Док Мэсгров, забавлявшийся виски и веером из пальмового листа. Ну, вскоре Санта засыпает. Док трогает лоб и говорит мне: «Вы неплохое жаропонижающее. Но сейчас вам лучше уйти, потому что, согласно диагнозу, вы не требуетесь в больших дозах. Девушка будет в полном порядке, когда проснется».

Я вышел и встретил старика Мак-Аллистера.

— Она спит, — сказал я. — Теперь вы можете делать из меня дуршлаг. Пользуйтесь случаем: я оставил свое ружье на седле.

Старик смеется и говорит мне:

— Какой мне расчет накачать свинцом лучшего управляющего в Западном Техасе? Где я найду такого? Я почему говорю, что ты хорошая мишень? Потому что ты хочешь стать моим зятем. В члены семейства ты, Уэб, мне не годишься. Но использовать тебя на Нопалито я могу, если ты не будешь совать нос в усадьбу. Отправляйся-ка наверх и ложись на койку, а когда выспишься, мы с тобой это обсудим.

Бэлди Вудс надвинул шляпу и скинул ногу с седельной луки. Уэб натянул поводья, и его застоявшаяся лошадь заплясала. Церемонно, как принято на Западе, мужчины пожали друг другу руки.

— Adios, Бэлди, — сказал Уэб, — очень рад, что повидал тебя и побеседовал.

Лошади рванули с таким шумом, будто вспорхнула стая перепелов, и всадники понеслись к разным точкам горизонта. Отъехав ярдов сто, Бэлди остановил лошадь на вершине голого холмика и испустил вопль. Он качался в седле. Иди он пешком, земля бы завертелась под ним и свалила его. Но в седле он всегда сохранял равновесие, смеялся над виски и презирал центр тяжести.

³ В древнегреческом сказании юноша Леандр, полюбив жрицу богини Афродиты Геро, каждую ночь переплывал Геллеспонт (Босфор), чтобы встретиться с нею.

Услышав сигнал, Уэб повернулся в седле.

— На твоём месте, — донесся с проницательной издевкой голос Бэди, — я был бы королем.

На следующее утро, в восемь часов, Бэд Тернер скатился с седла перед домом в Нопалито и зашагал, звякая шпорами, к галерее. Бэд должен был в это утро гнать гурт рогатого скота в Сан-Антонио. Миссис Игер была на галерее и поливала цветок гиацинта в красном глиняном горшке.

«Король» Мак-Аллистер завещал своей дочери много положительных качеств: свою решительность, свое веселое мужество, свою упрямую самоуверенность, свою гордость царствующего монарха копыт и рогов. Темпом Мак-Аллистера всегда было *allegro*, а манерой — *fortissimo*. Санта унаследовала их, но в женском ключе. Во многом она напоминала свою мать, которую призвали на иные, беспредельные зеленые пастбища задолго до того, как растущие стада коров придали дому королевское величие. У нее была стройная крепкая фигура матери и ее степенная нежная красота, смягчавшая суровость властных глаз и королевски независимый вид Мак-Аллистера.

Уэб стоял в конце галереи с несколькими управляющими, которые приехали из различных лагерей за распоряжениями.

— Привет! — сказал Бэд кратко. — Кому в городе сдать скот? Барберу, как всегда?

Отвечать на такие вопросы было прерогативой королевы. Все бразды хозяйства — покупку, продажу и расчеты — она держала в своих ловких пальчиках. Управление скотом было целиком доверено ее мужу. В дни «короля» Мак-Аллистера Санта была его секретарем и помощником. И она продолжала свою работу разумно и с выгодой. Но до того, как она успела ответить, принц-консорт заговорил со спокойной решимостью:

— Сдай этот гурт в загоны Циммермана и Несбита. Я говорил об этом недавно с Циммерманом.

Бэд повернулся на своих высоких каблуках.

— Подождите, — поспешно позвала его Санта. Она взглянула на мужа, удивление было в ее упрямых серых глазах.

— Что это значит, Уэб? — спросила она, и небольшая морщинка появилась у нее между бровей. — Я не торгую с Циммерманом и Несбитом. Вот уже пять лет Барбер забирает весь скот, который идет от нас на продажу. Я не собираюсь отказываться от его услуг. — Она повернулась к Бэду Тернеру. — Сдайте этот скот Барберу — заключила она решительно.

Бэд безучастно посмотрел на кувшин с водой, висевший на галерее, переступил с ноги на ногу и пожевал лист мескита.

— Я хочу, чтобы этот гурт был отправлен Циммерману и Несбиту, — сказал Уэб, и в его голубых глазах сверкнул холодный огонек.

— Глупости! — сказала нетерпеливо Санта. — Вам лучше отправляться сейчас, Бэд, чтобы отполдничать на водопое «Маленького вяза». Скажите Барберу, что через месяц у нас будет новая партия бракованных телят.

Бэд посмотрел украдкой на Уэба, и взгляды их встретились. Уэб заметил в глазах Бэда просьбу извинить его, но вообразил, что видит соболезнование.

— Сдай скот, — сказал он сурово, — фирме...

— Барбера, — резко закончила Санта. — И поставим точку. Вы ждете еще чего-нибудь, Бэд?

— Нет, мэм, — сказал Бэд. Но прежде чем уйти, он замешкался ровно на столько времени, сколько нужно короле, чтобы трижды махнуть хвостом, ведь мужчина — всегда союзник мужчине; и даже филистимляне, должно быть, покраснели, овладев Самсоном так, как они это сделали.

— Слушайся своего хозяина! — издевательски крикнул Уэб. Он снял шляпу и так низко поклонился жене, что шляпа коснулась пола.

— Уэб, — сказала Санта с упреком, — ты сегодня ведешь себя страшно глупо.

— Придворный шут, ваше величество, — сказал Уэб медленно, изменившимся

голосом. — Чего же еще и ждать? Позвольте высказаться. Я был мужчиной до того, как женился на королеве скота. А что я теперь? Посмешище для всех лагерей. Но я стану снова мужчиной.

Санта пристально взглянула на него.

— Брось глупости, Уэб, — сказала она спокойно. — Я тебя ничем не обидела. Разве я вмешиваюсь в твое управление скотом? А коммерческую сторону дела я знаю лучше тебя. Я научилась у папы. Будь благоразумен.

— Короли и королевы, — сказал Уэб, — не по вкусу мне, если я сам не фигура. Я пасу скот, а ты носишь корону. Прекрасно! Я лучше буду лорд-канцлером коровьего лагеря, чем восьмеркой в чужой игре. Это твое ранчо, и скот получает Барбер.

Лошадь Уэба была привязана к коновязи. Он вошел в дом и вынес сверток одеял, которые брал только в дальние поездки, и свой плащ, и свое самое длинное лассо, плетенное из сыромятной кожи. Все это он не спеша приторочил к седлу. Санта, слегка побледнев, пошла за ним.

Уэб вскочил в седло. Его серьезное бритое лицо было спокойно, лишь в глазах тлел упрямый огонек.

— Вблизи водопоя Хондо, в долине Фрио, — сказал он, — пасется стадо коров и телят. Его надо отогнать подальше от леса. Волки задрали трех телят. Я забыл распорядиться. Скажи, пожалуйста, Симмсу, чтобы он позаботился.

Санта взялась за уздечку и посмотрела мужу в глаза.

— Ты хочешь бросить меня, Уэб? — спросила она спокойно.

— Я хочу снова стать мужчиной, — ответил он.

— Желаю успеха в похвальном начинании, — сказала она с неожиданной холодностью.

Потом повернулась и ушла в дом.

Уэб Игер поехал на юго-восток по прямой, насколько это позволяла топография Западного Техаса. А достигнув горизонта, он, видно, растворился в голубой дали, так как на ранчо Нопалито о нем с тех пор не было ни слуху ни духу. Дни с воскресеньями во главе строились в недельные эскадроны, и недели под командою полнолуний вступали рядами в месячные полки, несущие на своих знаменах «Tempus fugit»,⁴ и месяцы маршировали в необъятный лагерь годов. Но Уэб Игер не являлся больше во владения своей королевы.

Однажды некий Бартоломью с низовьев Рио-Гранде, овчар, а посему человек незначительный, показался в виду ранчо Нопалито и почувствовал приступ голода. Ех *consuetudine*⁵ его вскоре усадили за обеденный стол в этом гостеприимном королевстве. И он заговорил, будто из него извергалась вода, словно его стукнули аароновым жезлом...⁶ Таков бывает тихий овчар, когда слушатели, чьи уши не заросли шерстью, удостоят его внимания.

— Миссис Игер, — тараторил он, — на днях я видел человека на ранчо Сэко, в округе Гидальго, так его тоже звали Игер, Уэб Игер. Его как раз наняли туда в управляющие. Высокий такой, белобрысый и все молчит. Может, кто из вашей родни?

— Муж, — приветливо сказала Санта. — На Сэко хорошо сделали, что наняли его. Мистер Игер один из лучших скотоводов на Западе.

Исчезновение принца-консорта редко дезорганизует монархию. Королева Санта назначила старшим объездчиком надежного подданного по имени Рэмси, одного из верных вассалов ее отца. И на ранчо Нопалито все шло гладко и без волнений, только трава на обширных лугах волновалась от бриза, налетавшего с Мексиканского залива.

⁴ Время бежит (*лат.*).

⁵ По установленному обычаю (*исп.*).

⁶ Тут спутаны две библейские легенды: про жезл Аарона, который расцвел и дал плоды в знак особой милости Бога к Аарону, и про жезл, которым Моисей ударил в скалу, после чего из нее полилась вода.

Уже несколько лет в Нопалито производились опыты с английской породой скота, который с аристократическим презрением смотрел на техасских длиннорогих. Опыты были признаны удовлетворительными, и для голубокровок отведено отдельное пастбище. Слава о них разнеслась по прерии, по всем оврагам и зарослям, куда только мог проникнуть верховой. На других ранчо проснулись, протерли глаза и с неудовольствием поглядели на длиннорогих.

И в результате однажды загорелый, ловкий, франтоватый юноша с шелковым платком на шее, украшенный револьверами и сопровождаемый тремя мексиканскими *vaqueros*,⁷ спешился на ранчо Нопалито и вручил «королеве» следующее деловое письмо:

«Миссис Игер. — Ранчо Нопалито.

Милостивая государыня!

Мне поручено владельцами ранчо Сэко закупить 100 голов телок — двух- и трехлеток сэссекской породы, имеющейся у Вас. Если Вы можете выполнить заказ, не откажите передать скот подателю сего. Чек будет выслан Вам немедленно.

С почтением *Уэбстер Игер*,
управляющий ранчо Сэко».

Дело всегда дело, даже — я чуть-чуть не написал: «особенно» — в королевстве.

В этот вечер сто голов скота пригнали с пастбища и заперли в корраль возле дома, чтобы сдать его утром.

Когда спустилась ночь и дом затих, бросилась ли Санта Игер лицом в подушку, прижимая это деловое письмо к груди, рыдая и произнося то имя, которому гордость (ее или его) не позволяла сорваться с ее губ многие дни? Или же, со свойственной ей деловитостью, она подколола его к другим бумагам, сохраняя спокойствие и выдержку, достойные королевы скота? Догадывайтесь, если хотите, но королевское достоинство священно. И все сокрыто завесой. Однако кое-что вы все-таки узнаете.

В полночь Санта, накинув темное, простое платье, тихо выскользнула из дома. Она задержалась на минуту под дубами. Прерия была словно в тумане, и лунный свет, мерцающий сквозь неосязаемые частицы дрожащей дымки, казался бледно-оранжевым. Но дрозды-пересмешники свистели на каждом удобном суку, мили цветов насыщали ароматом воздух, а на полянке резвился целый детский сад — маленькие призрачные кролики. Санта повернулась лицом на юго-восток и послала в ту сторону три воздушных поцелуя. Все равно подглядывать было некому.

Затем она бесшумно направилась к кузнице, находившейся в пятидесяти ярдах. О том, что она там делала, можно только догадываться. Но горн накалился, и раздавалось легкое постукивание молотка, какое, верно, можно услышать, когда Купидон оттачивает свои стрелы.

Вскоре она вышла, держа в одной руке какой-то странной формы предмет с рукояткой, а в другой — переносную жаровню, какие можно видеть в лагерях у клеймовщиков. Освещенная лунным светом, она быстро побежала к корралю, куда был загнан сэссекский скот. Она отворила ворота и проскользнула в корраль. Сэссекский скот был большей частью темно-рыжий. Но в этом гурте была одна молочно-белая телка, заметная среди других.

И вот Санта стряхнула с плеч нечто, чего мы раньше не заметили, — лассо. Она взяла петлю в правую руку, а смотанный конец в левую и протиснулась в гущу скота. Ее мишенью была белая телка. Она метнула лассо, оно задело за один рог и соскользнуло. Санта метнула еще раз — лассо обвилось передние ноги телки, и она грузно упала. Санта кинулась к ней, как пантера, но телка поднялась, толкнула ее и свалила, как былинку. Санта сделала новую попытку. Встревоженный скот плотной массой толкался у стен корраля. Бросок был удачен; белая телка снова припала к земле, и, прежде чем она смогла подняться, Санта быстро закрутила лассо вокруг столба, завязала его простым, но крепким узлом и кинулась к телке с

⁷ Ковбой (*исп.*).

путами из сыромятной кожи. В минуту (не такое уж рекордное время) ноги животного были спутаны, и Санта, усталая и запыхавшаяся, на такой же срок прислонилась к стене корраля.

Потом она быстро побежала к жаровне, оставленной у ворот, и притащила странной формы клеймо, раскаленное добела.

Рев оскорбленной белой телки, когда клеймо коснулось ее, должен был бы разбудить слуховые нервы и совесть находившихся поблизости подданных Нопалито, но этого не случилось. И среди глубочайшей ночной тишины Санта, как птица, полетела домой, упала на кровать и зарыдала... Зарыдала так, будто у королев такие же сердца, как и у жен обыкновенных ранчменов, и будто королевы охотно сделают принцев-консORTов королями, если они прискачут из-за холмов, из голубой дали.

Поутру ловкий, украшенный револьверами юноша и его vaqueros погнали гурт сэссекского скота через прерии к ранчо Сэко. Впереди девяносто миль пути. Шесть дней с остановками для пастбы и водопооя.

Скот прибыл на ранчо Сэко в сумерки и был принят и пересчитан старшим по ранчо.

На следующее утро, в восемь часов, какой-то всадник вынырнул из кустарника на усадьбе Нопалито. Он с трудом спешился и зашагал, звеня шпорами, к дому. Его взмыленная лошадь испустила тяжелый вздох и закачалась, понуря голову и закрыв глаза.

Но не расточайте своего сострадания на гнедого, в мелких пежинах, Бельсхазара. Сейчас на конских пастбищах Нопалито он процветает в любви и в холе, неседлаемый, лелеемый держатель рекорда на дальние дистанции.

Всадник, пошатываясь, вошел в дом. Две руки обвилились вокруг его шеи, и кто-то крикнул голосом женщины и королевы: «Уэб... О Уэб!»

— Я был мерзавцем, — сказал Уэб Игер.

— Тс-с, — сказала Санта, — ты видел?

— Видел, — сказал Уэб.

Один Бог знает, что они имели в виду. Впрочем, и вы узнаете, если внимательно прочли о предшествующих событиях.

— Будь королевой скота, — сказал Уэб, — и забудь обо всем, если можешь. Я был паршивым койотом.

— Тс-с! — снова сказала Санта, положив пальчик на его губы. — Здесь больше нет королевы. Ты знаешь, кто я? Я — Санта Игер, первая леди королевской опочивальни. Иди сюда.

Она потащила его с галереи в комнату направо. Здесь стояла колыбель, и в ней лежал инфант — красный, буйный, лепечущий, замечательный инфант, нахально плюющий на весь мир.

— На этом ранчо нет королевы, — повторила Санта. — Взгляни на короля. У него твои глаза, Уэб. На колени и смотри на его высочество.

Но на галерее послышалось звяканье шпор, и опять появился Бэд Тернер с тем же самым вопросом, с каким приходил он без малого год назад.

— Привет! Скот уже на дороге. Гнать его к Барберу или...

Он увидел Уэба и замолк с открытым ртом.

— Ба-ба-ба-ба-ба-ба, — закричал король в своей люльке, колотя кулачками воздух.

— Слушайся своего хозяина, Бэд, — сказал Уэб Игер с широкой усмешкой, как сказал это год назад.

Вот и все. Остается упомянуть, что когда старик Куин, владелец ранчо Сэко, вышел осмотреть стадо сэссекского скота, который он купил на ранчо Нопалито, он спросил своего нового управляющего:

— Какое клеймо на ранчо Нопалито, Уилсон?

— Х-черта-У, — сказал Уилсон.

— И мне так казалось, — заметил Куин. — Но взгляни на эту белую телку. У ней другое клеймо: сердце и в нем — крест. Что это за клеймо?

Выкуп

Перевод М. Урнова

Я и старикашка Мак Лонсбери, мы вышли из этой игры в прятки с маленькой золотиносной жилой, заработав по сорок тысяч долларов на брата. Я говорю: «старикашка» Мак, но он не был старым. Сорок один, не больше. Однако он всегда казался стариком.

— Энди, — говорит мне Мак, — я устал от суеты. Мы с тобой здорово поработали эти три года. Давай отдохнем малость и спустим лишние деньжонки.

— Предложение мне по вкусу, — говорю я. — Давай станем на время набобами и попробуем, что это за штука. Но что мы будем делать: проедемся к Ниагарскому водопаду или будем резаться в «фараон»?

— Много лет, — говорит Мак, — я мечтал, что, если у меня будут лишние деньги, я сниму где-нибудь хибарку из двух комнат, найму повара-китайца и буду себе сидеть в одних носках и читать «Историю цивилизации» Бокля.

— Ну что ж, — говорю я, — приятно, полезно и без вульгарной помпы. Пожалуй, лучшего помещения денег не придумаешь. Дай мне часы с кукушкой и «Самоучитель для игры на банджо» Сэпа Уиннера, и я тебе компаньон.

Через неделю мы с Маком попадаем в городок Пинья, милях в тридцати от Денвера, и находим элегантный домишко из двух комнат, как раз то, что нам нужно. Мы вложили в городской банк вагон денег и перезнакомились со всеми тремястами сорока жителями города. Китайца, часы с кукушкой, Бокля и «Самоучитель» мы привезли с собой из Денвера, и в нашей хибарке сразу стало уютно, как дома.

Не верьте, когда говорят, будто богатство не приносит счастья. Посмотрели бы вы, как старикашка Мак сидит в своей качалке, задрав ноги в голубых нитяных носках на подоконник, и сквозь очки поглощает снадобье Бокля, — это была картина довольства, которой позавидовал бы сам Рокфеллер. А я учился наигрывать на банджо «Старичина-молодчина Зип», и кукушка вовремя вставляла свои замечания, и А-Син насыщал атмосферу прекраснейшим ароматом яичницы с ветчиной, перед которым спасовал бы даже запах жимолости. Когда становилось слишком темно, чтобы разбирать чепуху Бокля и закорючки «Самоучителя», мы с Маком закуривали трубки и толковали о науке, о добывании жемчуга, об ишиасе, о Египте, об орфографии, о рыбах, о пассатах, о выделке кожи, о благодарности, об орлах и о всяких других предметах, относительно которых у нас прежде никогда не хватало времени высказывать свое мнение.

Как-то вечером Мак возьми да спроси меня, хорошо ли я разбираюсь в нравах и политике женского сословия.

— Кого ты спрашиваешь! — говорю я самонадеянным тоном. — Я знаю их от Арфы до Омахи.⁸ Женскую природу и тому подобное, — говорю я, — я распознаю так же быстро, как зоркий осел — Скалистые горы. Я собаку съел на их увертках и вывертах...

— Понимаешь, Энди, — говорит Мак, вроде как вздохнув, — мне совсем не пришлось иметь дело с их предрасположением. Возможно, и во мне разыгралась бы склонность обыграть их соседство, да времени не было. С четырнадцати лет я зарабатывал себе на жизнь, и мои размышления не были обогащены теми чувствами, какие, судя по описаниям, обычно вызывают создания этого пола. Иногда я жалею об этом, — говорит Мак.

— Женщины — неблагоприятный предмет для изучения, — говорю я, — и все это зависит от точки зрения. И хотя они отличаются друг от друга в существенном, но я часто замечал, что они как нельзя более несходны в мелочах.

— Кажется мне, — продолжает Мак, — что гораздо лучше проявлять к ним интерес и

⁸ От альфы до омеги (Омаха — город, в штате Небраска).

вдохновляться ими, когда молод и к этому предназначен. Я прозевал свой случай. И, пожалуй, я слишком стар, чтобы включить их в свою программу.

— Ну, не знаю, — говорю я ему, — может, ты отдаешь предпочтение бочонку с деньгами и полному освобождению от всяких забот и хлопот. Но я не жалею, что изучил их, — говорю я. — Тот не даст себя в обиду в этом мире, кто умеет разбираться в женских фокусах и увертках.

Мы продолжали жить в Пинье, нам нравилось это местечко. Некоторые люди предпочитают тратить свои деньги с шумом, треском и всякими передвижениями, но мне и Маку надоели суматоха и гостиничные полотенца. Народ в Пинье относился к нам хорошо. А-Син стряпал кормежку по нашему вкусу. Мак и Бокль были неразлучны, как два кладбищенских вора, а я почти в точности извлекал на банджо сердцещипательное «Девочки из Буффало, выходите вечером».

Однажды мне вручили телеграмму от Спейта, из Нью-Мексико, где этот парень разрабатывал жилу, с которой я получал проценты. Пришлось туда выехать, и я проторчал там два месяца. Мне не терпелось вернуться в Пинью и опять зажечь в свое удовольствие.

Подойдя к хибарке, я чуть не упал в обморок. Мак стоял в дверях, и если ангелы плачут, то, клянусь, в эту минуту они не стали бы улыбаться.

Это был не человек — зрелище! Честное слово! На него стоило посмотреть в лорнет, в бинокль, да что там, в подзорную трубу, в большой телескоп Ликской обсерватории!

На нем был сюртук, шикарные ботинки, и белый жилет, и цилиндр, и герань величиной с пучок шпината была приклепана на фасаде. И он ухмылялся и коробился, как торгаш в преисподней или мальчишка, у которого схватило живот.

— Алло, Энди, — говорит Мак, цедя сквозь зубы, — рад, что ты вернулся. Тут без тебя произошли кое-какие перемены.

— Вижу, — говорю я, — и, сознаюсь, это кощунственное явление. Не таким тебя создал Всевышний, Мак Лонсбери. Зачем же ты надругался над Его творением, явив собой столь дерзкое непотребство!

— Понимаешь, Энди, — говорит он, — меня выбрали мировым судьей.

Я внимательно посмотрел на Мака. Он был беспокоен и возбужден. Мировой судья должен быть скорбящим и кротким.

Как раз в этот момент по тротуару проходила какая-то девушка, и я заметил, что Мак словно бы захихикал и покраснел, а потом снял цилиндр, улыбнулся и поклонился, и она улыбнулась, поклонилась и пошла дальше.

— Ты пропал, — говорю я, — если в твои годы заболеваешь любовной корью. А я-то думал, что она к тебе не пристанет. И лакированные ботинки! И все это за какие-нибудь два месяца!

— Вечером у меня свадьба... вот эта самая юная девица, — говорит Мак явно с подъемом.

— Я забыл кое-что на почте, — сказал я и быстро зашагал прочь.

Я нагнал эту девушку ярдов через сто. Я снял шляпу и представился. Ей было так лет девятнадцать, а выглядела она моложе своих лет. Она вспыхнула и посмотрела на меня холодно, словно я был метелью из «Двух сироток».

— Я слышал, что сегодня вечером у вас свадьба? — сказал я.

— Правильно, — говорит она, — вам это почему-нибудь не нравится?

— Послушай, сестренка, — начинаю я.

— Меня зовут мисс Ребоза Рид, — говорит она обиженно.

— Знаю, — говорю я, — так вот, Ребоза, я уже немолод, гожусь в должники твоему папаше, а эта старая, расфранченная, подремонтированная, страдающая морской болезнью развалина, которая носится, распустив хвост и кулдыкая, в своих лакированных ботинках, как наскипидаренный индюк, приходится мне лучшим другом. Ну на кой черт ты связалась с ним и втянула его в это брачное предприятие?

— Да ведь другого-то нету, — ответила мисс Ребоза.

— Глупости! — говорю я, бросив тошнотворный взгляд восхищения на цвет ее лица и общую композицию. — С твоей красотой ты подцепишь кого угодно. Послушай, Ребоза, старикашка Мак тебе не пара. Ему было двадцать два, когда ты стала урожденная Рид, как пишут в газетах. Этот расцвет у него долго не протянется. Он весь пропитан старостью, целомудрием и трухой. У него приступ бабьего лета — только и всего. Он прозевал свою получку, когда был молод, а теперь вымаливает у природы проценты по векселю, который ему достался от амура вместо наличных... Ребоза, тебе непременно нужно, чтобы этот брак состоялся?

— Ну ясно, — говорит она, покачивая анютины глазки на своей шляпе. — И думаю, что не мне одной.

— В котором часу должно это свершиться? — спрашиваю я.

— В шесть, — говорит она.

Я сразу решил, как поступить. Я должен сделать все, чтобы спасти Мака. Позволить такому хорошему, пожилому, не подходящему для супружества человеку погибнуть из-за девчонки, которая не отвыкла еще грызть карандаш и застегивать платице на спине, — нет, это превышало меру моего равнодушия.

— Ребоза, — сказал я серьезно, пустив в ход весь свой запас знаний первоначальных женских резонов, — неужели нет в Пинье молодого человека... приличного молодого человека, который бы тебе нравился?

— Есть, — говорит Ребоза, кивая своими анютиными глазками, — конечно, есть. Спрашивает тоже!

— Ты ему нравишься? — спрашиваю я. — Как он к тебе относится?

— С ума сходит, — отвечает Ребоза. — Маме приходится поливать крыльцо водою, чтобы он не сидел на нем целый день. Но завтра, думается мне, с этим будет покончено, — заключила она со вздохом.

— Ребоза, — говорю я, — ты ведь не питаешь к старичку Маку этого сильного обожания, которое называют любовью, не правда ли?

— Еще недоставало! — говорит девушка, покачивая головой. — По-моему, он весь иссох, как дырявый бочонок. Вот тоже выдумали!

— Кто этот молодой человек, Ребоза, который тебе нравится? — осведомился я.

— Эдди Бэйлз, — говорит она. — Он служит в колониальной лавочке у Кросби. Но он зарабатывает только тридцать пять долларов в месяц. Элла Ноукс была раньше от него без ума.

— Старикашка Мак сообщил мне, — говорю я, — что сегодня в шесть у вас свадьба.

— Совершенно верно, — говорит она, — в шесть часов, у нас в доме.

— Ребоза, — говорю я. — Выслушай меня! Если бы Эдди Бэйлз имел тысячу долларов наличными... На тысячу долларов, имей в виду, он может приобрести собственную лавочку... Так вот, если бы вам с Эдди попала такая разрешающая сомнения сумма, согласилась бы ты повенчаться с ним сегодня в пять вечера?

Девушка смотрит на меня с минуту, и я чувствую, как ее организм охватывают непередаваемые размышления, обычные для женщин при таких обстоятельствах.

— Тысячу долларов? — говорит она. — Конечно, согласилась бы.

— Пойдем, — говорю я. — Пойдем к Эдди!

Мы пошли в лавочку Кросби и вызвали Эдди на улицу. Вид у него был почтенный и веснушчатый, и его бросило в жар и в холод, когда я изложил ему свое предложение.

— В пять часов? — говорит он. — За тысячу долларов? Ой, не будите меня. Понял! Вы богатый дядюшка, наживший состояние на торговле пряностями в Индии. А я покупаю лавочку старика Кросби — и сам себе хозяин.

Мы вошли в лавочку, отозвали Кросби в сторону и объяснили все дело. Я выписал чек на тысячу долларов и отдал его старику. Он должен был передать его Эдди и Ребозе, если они повенчаются в пять.

А потом я благословил их и пошел побродить по лесу. Я уселся на пенек и размышлял о

жизни, о старости, о зодиаке, о женской логике и о том, сколько треволений выпадает на долю человека.

Я поздравил себя с тем, что я, очевидно, спас моего старого приятеля Мака от приступа второй молодости. Я знал, что, когда он очнется и бросит свое сумасбродство и свои лакированные ботинки, он будет мне благодарен. «Удержать Мака от подобных рецидивов, — думал я, — на это не жалко и больше тысячи долларов».

Но особенно я был рад тому, что я изучил женщин и что ни одна меня не обманет своими причудами и подвохами. Когда я вернулся домой, было, наверно, половина шестого. Я вошел и вижу — старикашка Мак сидит, развалившись, в качалке, в старом своем костюме, ноги в голубых носках задраны на подоконник, а на коленях — «История цивилизации».

— Не очень-то похоже, что ты к шести отправляешься на свадьбу, — говорю я с невинным видом.

— А-а, — говорит Мак и тянется за табаком, — ее передвинули на пять часов. Известили запиской, что переменили час. Все уже кончено. А ты чего пропадад так долго, Энди?

— Ты слышал о свадьбе? — спрашиваю я.

— Сам венчал, — отвечает он. — Я же говорил тебе, что меня избрали мировым судьей. Священник где-то на Востоке гостит у родных, а я единственный в городе, кто имеет право совершать брачные церемонии. Месяц назад я пообещал Эдди и Ребозе, что обвенчаю их. Он парень толковый и со временем обзаведется собственной лавочкой.

— Обзаведется, — говорю.

— Уйма женщин была на свадьбе, — говорит Мак, — но ничего нового я в них как-то не заметил. А хотелось бы знать структуру их вывертов так же хорошо, как ты... Ведь ты говорил...

— Говорил два месяца назад, — сказал я и потянулся за банджо.

Друг Телемак

Перевод М. Урнова

Вернувшись с охоты, я поджидал в городишке Лос-Пиньос, в Нью-Мексико, поезд, идущий на юг. Поезд запаздывал на час. Я сидел на крыльце ресторанчика «Вершина» и беседовал о смысле жизни с Телемаком Хиксом, его владельцем.

Заметив, что вопросы личного характера не исключаются, я спросил его, какое животное, очевидно давным-давно, скрутило и обезобразило его левое ухо. Как охотника меня интересовали злоключения, которые могут постигнуть человека, преследующего дичь.

— Это ухо, — сказал Хикс, — реликвия верной дружбы.

— Несчастный случай? — не унимался я.

— Никакая дружба не может быть несчастным случаем, — сказал Телемак, и я умолк.

— Я знаю один-единственный случай истинной дружбы, — продолжал мой хозяин, — это случай любовного соглашения между человеком из Коннектикута и обезьяной. Обезьяна взбиралась на пальмы в Барранквилле и сбрасывала человеку кокосовые орехи. Человек распиливал их пополам, делал из них чашки, продавал их по два реала за штуку и покупал ром. Обезьяна выпивала кокосовое молоко. Поскольку каждый был доволен своей долей в добыче, они жили как братья. Но у человеческих существ дружба — занятие преходящее: побалуется ею и забросят.

Был у меня как-то друг, по имени Пейсли Фиш, и я воображал, что он привязан ко мне на веки вечные. Семь лет мы бок о бок добывали руду, разводили скот, продавали патентованные маслобойки, пасли овец, щелкали фотографии и все, что попадалось под руку, ставили проволочные изгороди и собирали сливы. И думалось мне, что ни человекоубийство, ни лень, ни богатство, ни пьянство, никакие ухищрения не посеют раздора между мной и Пейсли Фишем. Вы и представить себе не можете, как мы были дружны. Мы были друзьями

в деле, но наши дружеские чувства не оставляли нас в часы досуга и забав. Поистине у нас были дни Дамона и ночи Пифия.⁹

Как-то летом мы с Пейсли, нарядившись как полагается, скачем в эти самые горы Сан-Андрес, чтобы на месяц окунуться в безделье и легкомыслие. Мы попадаем сюда, в Лос-Пиньос, этот сад на крыше мира, где текут реки сгущенного молока и меда. В нем несколько улиц, и воздух, и куры, и ресторан. Чего еще человеку надо!

Приезжаем мы вечером, после ужина, и решаем обследовать, какие съестные припасы имеются в ресторане у железной дороги. Только мы уселись и отодрали ножами тарелки от красной клеенки, как вдруг влетает вдова Джессап с горячими пирожками и жареной печенкой.

Это была такая женщина, что даже пескаря ввела бы в грех. Она была не столько маленькая, сколько крупная, и, казалось, дух гостеприимства пронизывал все ее существо. Румянец ее лица говорил о кулинарных склонностях и пылком темпераменте, а от ее улыбки чертополох мог бы зацвести в декабре месяце. Вдова Джессап наболтала нам всякую всячину: о климате, об истории, о Теннисоне, о черносливе, о нехватке баранины и в конце концов пожелала узнать, откуда мы явились.

— Спринг-Вэлли, — говорю я.

— Биг-Спринг-Вэлли, — прожевывает Пейсли вместе с картошкой и ветчиной.

Это был первый замеченный мною признак того, что старая дружба между мною и Пейсли окончилась навсегда. Он знал, что я терпеть не могу болтунов, и все-таки влез в разговор со своими вставками и синтаксическими добавлениями. На карте значилось Биг-Спринг-Вэлли, но я сам слышал, как Пейсли тысячу раз говорил просто Спринг-Вэлли.

Больше мы не сказали ни слова и, поужинав, вышли и уселись на рельсах. Мы слишком долго были знакомы, чтобы не знать, какие мысли бродили в голове у соседа.

— Надеюсь, ты понимаешь, — говорит Пейсли, — что я решил присовокупить эту вдову, как органическую часть, к моему наследству в его домашней, социальной, юридической и других формах отныне и навеки, пока смерть не разлучит нас.

— Все ясно, понятно, — отвечаю я. — Я прочел это между строк, хотя ты обмолвился только одной. Надеюсь, тебе также известно, — говорю я, — что я предпринял шаг к перемене фамилии вдовы на фамилию Хикс и советую тебе написать в газету, в отдел светской хроники, и запросить точную информацию, полагается ли шаферу камелия в петлицу и носки без шва.

— В твоей программе пройдут не все номера, — говорит Пейсли, пожевывая кусок железнодорожной шпалы. — Будь это дело мирское, я уступил бы тебе в чем хочешь, но здесь — шалишь! Улыбки женщин, — продолжает Пейсли, — это водоворот Сциллы и Харибды, в пучину которого часто попадает, разбиваясь в щепки, крепкий корабль «Дружба». Как и прежде, я готов отбить тебя у медведя, — говорит Пейсли, — поручиться по твоему векселю или растирать тебе лопатки оподельдоком. Но на этом мое чувство этикета иссякает. В азартной игре на миссис Джессап мы играем порознь. Я честно предупредил тебя.

Тогда я совещаюсь сам с собой и предлагаю следующую резолюцию и поправки.

— Дружба между мужчинами, — говорю я, — есть древняя историческая добродетель, рожденная в те дни, когда люди должны были защищать друг друга от летающих черепах и ящериц с восьмидесятифутовыми хвостами. Люди сохраняют эту привычку по сей день и стоят друг за друга до тех пор, пока не приходит коридорный и не говорит, что все эти звери им только померещились. Я часто слышал, — говорю я, — что с появлением женщины исчезает дружба между мужчинами. Разве это необходимо? Видишь ли, Пейсли, первый взгляд и горячий пирожок миссис Джессап, очевидно, вызвали в наших сердцах вибрацию. Пусть она достанется лучшему из нас. С тобой я буду играть в открытую, без всяких закулисных проделок. Я буду за ней ухаживать в твоём присутствии, так что у тебя будут равные возможности. При таком условии я не вижу оснований, почему наш пароход «Дружба»

⁹ Дамон и Пифий — легендарные жители древних Сиракуз, прославившиеся своею дружбой.

должен перевернуться в указанном тобой водовороте, кто бы из нас ни вышел победителем.

— Вот это друг! — говорит Пейсли, пожимая мне руку. — Я сделаю то же самое, — говорит он. — Мы будем за ней ухаживать, как близнецы, без всяких церемоний и кровопролитий, обычных в таких случаях. И победа или поражение — все равно мы будем друзьями.

У ресторана миссис Джессап стояла под деревьями скамейка, где вдова имела обыкновение посиживать в холодке, накормив и отправив поезд, идущий на юг. Там мы с Пейсли обычно и собирались после ужина и производили частичные выплаты дани уважения даме нашего сердца. И мы были так честны и щепетильны, что если кто-нибудь приходил первым, он поджидал другого, не предпринимая никаких действий.

В первый вечер, когда миссис Джессап узнала о нашем условии, я пришел к скамейке раньше Пейсли. Ужин только что окончился, и миссис Джессап сидела там в свежем розовом платье, остывшая после кухни уже настолько, что ее можно было держать в руках.

Я сел с ней рядом и сделал несколько замечаний относительно одухотворенной внешности природы, расположенной в виде ландшафта и примыкающей к нему перспективы. Вечер, как говорят, настраивал. Луна занималась своим делом в отведенном ей участке небосвода, деревья расстилали по земле свои тени, согласуясь с наукой и природой, а в кустах шла громкая переключка между козодоями, иволгами, кроликами и другими пернатыми насекомыми. А горный ветер распевал, как губная гармошка, в куче жестянок из-под томата, сложенной у железнодорожного полотна.

Я почувствовал в левом боку какое-то странное ощущение, будто тесто подымалось в квашне. Это миссис Джессап придвинулась ко мне поближе.

— Ах, мистер Хикс, — говорит она, — когда человек одинок, разве он не чувствует себя еще более одиноким в такой замечательный вечер?

Я моментально поднялся со скамейки.

— Извините меня, сударыня, — говорю я, — но пока не придет Пейсли, я не могу вам дать вразумительный ответ на подобный наводящий вопрос.

И тут я объяснил ей, что мы — друзья, спаянные годами лишений, скитаний и соучастия, и что, попав в цветник жизни, мы условились не пользоваться друг перед другом никаким преимуществом, какое может возникнуть от пылких чувств и приятного соседства. На минуту миссис Джессап серьезно задумалась, а потом разразилась таким смехом, что даже лес засмеялся ей в ответ.

Через несколько минут подходит Пейсли, волосы его облиты бергамотовым маслом, и он садится по другую сторону миссис Джессап и начинает печальную историю о том, как в девяносто пятом году в долине Санта-Рита, во время девятимесячной засухи, он и Ламли Мякинное Рыло заключили пари на седло с серебряной отделкой, кто больше обердет издохших коров.

Итак, с самого начала ухаживания я стреножил Пейсли Фиша и привязал к столбу. У каждого из нас была своя система, как коснуться слабых мест женского сердца. Пейсли, тот стремился парализовать их рассказами о необыкновенных событиях, пережитых им лично или известных ему из газет.

Мне кажется, что он заимствовал этот метод покорения сердец из одной шекспировской пьесы под названием «Отелло», которую я как-то видел. Там один чернокожий пичкает герцогскую дочку разговорным винегретом из Райдера Хаггарда, Лью Докстейдера и доктора Паркхерста и таким образом получает то, что надо. Но подобный способ ухаживания хорош только на сцене.

А вот вам мой собственный рецепт, как довести женщину до такого состояния, когда про нее можно сказать: «урожденная такая-то». Научитесь брать и держать ее руку — и она ваша. Это не так легко. Некоторые мужчины хватают женскую руку таким образом, словно собираются отодрать ее от плеча, так что чуешь запах арники и слышишь, как разрывают рубашки на бинты. Некоторые берут руку, как раскаленную подкову, и держат ее далеко перед собой, как аптекарь, когда наливает в пузырек серную кислоту. А большинство хватает руку

и сует ее прямо под нос даме, как мальчишка бейсбольный мяч, найденный в траве, все время напоминая ей, что рука у нее торчит из плеча. Все эти приемы никуда не годятся.

Я укажу вам верный способ.

Видали вы когда-нибудь, как человек крадется на задний двор и поднимает камень, чтобы запустить им в кота, который сидит на заборе и смотрит на него? Человек делает вид, что в руках у него ничего нет, и что он не видит кота, и что кот не видит его. В этом вся суть. Следите, чтобы эта самая рука не попадалась женщине на глаза. Не давайте ей понять, что вы думаете, что она знает, будто вы имеете хоть малейшее представление о том, что ей известно, что вы держите ее за руку. Таково было правило моей тактики. А что касается пейслевских серенад насчет военных действий и несчастных случаев, так он с таким же успехом мог читать ей расписание поездов, останавливающихся в Оушен-Гроув, штат Нью-Джерси.

Однажды вечером, когда я появился у скамейки раньше Пейсли на целую перекурку, дружба моя на минуту ослабла, и я спрашиваю миссис Джессап, не думает ли она, что букву Х легче писать, чем букву Д. Через секунду ее голова раздробила цветок олеандра у меня в петлице, и я наклонился и... и ничего.

— Если вы не против, — говорю я, вставая, — то мы подождем Пейсли и закончим при нем. Я не сделал еще ничего бесчестного по отношению к нашей дружбе, а это было бы не совсем добросовестно.

— Мистер Хикс, — говорит миссис Джессап, как-то странно поглядывая на меня в темноте. — Если бы не одно обстоятельство, я попросила бы вас отчалить и не делать больше визитов в мой дом.

— А что это за обстоятельство, сударыня?

— Вы слишком хороший друг, чтобы стать плохим мужем, — говорит она.

Через пять минут Пейсли уже сидел с положенной ему стороны от миссис Джессап.

— В Силвер-Сити летом девяносто восьмого года, — начинает он, — мне привелось видеть в кабаке «Голубой свет», как Джим Бартоломью откусил китайцу ухо по той причине, что клетчатая сатиновая рубашка, которая... Что это за шум?

Я возобновил свои занятия с миссис Джессап как раз с того, на чем мы остановились.

— Миссис Джессап, — говорю я, — обещала стать миссис Хикс. Вот еще одно тому подтверждение.

Пейсли обвил свои ноги вокруг ножки скамейки и вроде как застонал.

— Лем, — говорит он, — семь лет мы были друзьями. Не можешь ли ты целовать миссис Джессап потише? Я бы сделал это для тебя.

— Ладно, — говорю я, — можно и потише.

— Этот китаец, — продолжает Пейсли, — был тем самым, что убил человека по фамилии Маллинз весной девяносто седьмого года, и это был...

Пейсли снова прервал себя.

— Лем, — говорит он, — если бы ты был настоящим другом, ты бы не обнимал миссис Джессап так крепко. Ведь прямо скамья дрожит. Помнишь, ты говорил, что предоставишь мне равные шансы, пока у меня останется хоть один.

— Послушайте, мистер, — говорит миссис Джессап, повертываясь к Пейсли, — если бы вы через двадцать пять лет попали на нашу с мистером Хиксом серебряную свадьбу, как вы думаете, сварили бы вы в своем котелке, который вы называете головой, что вы в этом деле с боку припека? Я вас долго терпела, потому что вы друг мистера Хикса, но, по-моему, пора бы вам надеть траур и убраться подальше.

— Миссис Джессап, — говорю я, не ослабляя своей жениховской хватки, — мистер Пейсли — мой друг, и я предложил ему играть в открытую и на равных основаниях, пока останется хоть один шанс.

— Шанс! — говорит она. — Неужели он думает, что у него есть шанс? Надеюсь, после того, что он видел сегодня, он поймет, что у него есть шиш, а не шанс.

Короче говоря, через месяц мы с миссис Джессап сочетались законным браком в методистской церкви в Лос-Пиньос, и весь город сбежался поглядеть на это зрелище.

Когда мы стали плечом к плечу перед проповедником и он начал было гнусавить свои ритуалы и пожелания, я оглядываюсь и не нахожу Пейсли.

— Стой! — говорю я проповеднику. — Пейсли нет. Надо подождать Пейсли. Раз дружба, так дружба навсегда, таков Телемак Хикс, — говорю я.

Миссис Джессап так и стрельнула глазами, но проповедник, согласно инструкции, прекратил свои заклинания.

Через несколько минут галопом влетает Пейсли, на ходу пристегивая манжету. Он объясняет, что единственная в городе галантерейная лавочка была закрыта по случаю свадьбы, и он не мог достать крахмальную сорочку себе по вкусу, пока не выставил заднее окно лавочки и не обслужил себя сам. Затем он становится по другую сторону невесты, и венчание продолжается. Мне кажется, что Пейсли рассчитывал, как на последний шанс, на проповедника — возьмет да и обвенчает его по ошибке с вдовой.

Окончив все процедуры, мы принялись за чай, вяленую антилопу и абрикосовые консервы, а затем народишко убрался с миром. Пейсли пожал мне руку последним и сказал, что я действовал честно и благородно и он гордится, что может называть меня своим другом.

У проповедника был небольшой домишко фасадом на улицу, оборудованный для сдачи внаем, и он разрешил нам занять его до утреннего поезда в десять сорок, с которым мы отбывали в наше свадебное путешествие в Эль-Пасо. Жена проповедника украсила комнаты мальвами и плющом, и дом стал похож на беседку и выглядел празднично.

Часов около десяти в тот вечер я сажусь на крыльцо и стаскиваю на сквознячке сапоги; миссис Хикс прибирает в комнате. Скоро свет в доме погас, а я все сижу и вспоминаю былые времена и события. И вдруг я слышу, миссис Хикс кричит:

— Лем, ты скоро?

— Иду, иду, — говорю я, очнувшись. — Ей-же-ей, я дожидался старикашку Пейсли, чтобы...

— Но не успел я договорить, — заключил Телемак Хикс, — как мне показалось, что кто-то отстрелил мое левое ухо из сорокапятикалиберного. Выяснилось, что по уху меня съездила половая щетка, а за нее держалась миссис Хикс.

Справочник Гименея

Перевод М. Урнова

Я, Сандерсон Пратт, пишущий эти строки, полагаю, что системе образования в Соединенных Штатах следовало бы находиться в ведении бюро погоды. В пользу этого я могу привести веские доводы. Ну, скажите, почему бы наших профессоров не передать метеорологическому департаменту? Их учили читать, и они легко могли бы пробежать утренние газеты и потом телеграфировать в главную контору, какой ожидать погоды. Но этот вопрос интересен и с другой стороны. Сейчас я собираюсь вам рассказать, как погода снабдила меня и Айдахо Грина светским образованием.

Мы находились в горах Биттер-Рут, за хребтом Монтана, искали золото. В местечке Уолла-Уолла один бородатый мальш, надеясь неизвестно на что, выдал нам аванс. И вот мы торчали в горах, ковыряя их понемножку и располагая запасом еды, которого хватило бы на прокорм целой армии на все время обычной мирной конференции.

В один прекрасный день приезжает из Карлоса почтальон, делает у нас привал, съедает три банки сливовых консервов и оставляет нам свежую газету. Эта газета печатала сводки предчувствий погоды, и карта, которую она сдала горам Биттер-Рут с самого низа колоды, означала: «Тепло и ясно, ветер западный, слабый».

В тот же день вечером пошел снег и подул сильный восточный ветер. Мы с Айдахо перенесли свою стоянку повыше, в старую заброшенную хижину, думая, что это всего-навсего налетела ноябрьская метелица. Но когда на ровных местах снегу выпало на три фута, непогода

разыгралась всерьез, и мы поняли, что нас занесло. Груды топлива мы натаскали еще до того, как его засыпало, кормежки у нас должно было хватить на два месяца, так что мы предоставили стихиям бушевать и злиться, как им заблагорассудится.

Если вы хотите поощрять ремесло человекоубийства, заприте на месяц двух человек в хижине восемнадцать на двадцать футов. Человеческая натура этого не выдержит.

Когда упали первые снежные хлопья, мы хохотали над своими остротами да похваливали месиво, которое извлекали из котелка и называли хлебом. К концу третьей недели Айдахо публикует такого рода эдикт:

— Я не знаю, какой звук издавало бы кислое молоко, падая с воздушного шара на дно жестяной кастрюльки, но мне кажется, это было бы небесной музыкой по сравнению с бульканьем жиденькой струйки дохлых мыслишек, истекающих из ваших разговорных органов. Полупрожеванные звуки, которые вы ежедневно издаете, напоминают мне коровью жвачку, с той только разницей, что корова — особа воспитанная и оставляет свое при себе, а вы нет.

— Мистер Грин, — говорю я, — вы когда-то были моим приятелем, и это мешает мне сказать вам со всей откровенностью, что если бы мне пришлось выбирать между вашим обществом и обществом обыкновенной кудлатой, колченогой дворняжки, то один из обитателей этой хибарки вилял бы сейчас хвостом.

В таком духе мы беседуем несколько дней, а потом и вовсе перестаем разговаривать. Мы делим кухонные принадлежности, и Айдахо стряпает на одном конце очага, а я — на другом. Снега навалило по самые окна, и огонь приходилось поддерживать целый день.

Мы с Айдахо, надо вам доложить, не имели никакого образования, разве что умели читать да вычислять на грифельной доске: «Если у Джона три яблока, а у Джеймса пять...» Мы никогда не ощущали особой необходимости в университетском дипломе, так как, болтаясь по свету, приобрели кое-какие истинные познания и могли ими пользоваться в критических обстоятельствах. Но загнанные снегом в хижину на Биттер-Рут, мы впервые почувствовали, что если бы изучали Гомера или греческий язык, дробы и высшие отрасли знания, у нас были бы кое-какие запасы для размышлений и дум в одиночестве. Я видел, как молодчики из восточных колледжей работают в ковбойских лагерях по всему Западу, и у меня создалось впечатление, что образование было для них меньшей помехой, чем могло показаться с первого взгляда. Вот, к примеру, на Снейк-Ривер у Эндрю Мак-Уильямса верховая лошадь подцепила чесотку, так он за десять миль погнал тележку за одним из этих чудачков, который величал себя ботаником. Но лошадь все-таки околела.

Однажды утром Айдахо шарил поленом на небольшой полке, — до нее нельзя было дотянуться рукой. На пол упали две книги. Я шагнул к ним, но встретился взглядом с Айдахо. Он заговорил в первый раз за неделю.

— Не обожгите ваших пальчиков, — говорит он. — Вы годитесь в товарищи только спящей черепахе, но, невзирая на это я поступлю с вами по-честному. И это больше того, что сделали ваши родители, пустив вас по свету с общительностью гремучей змеи и отзывчивостью мороженой репы. Мы сыграем с вами до туза, и выигравший выберет себе книгу, а проигравший возьмет оставшуюся.

Мы сыграли, и Айдахо выиграл. Он взял свою книгу, а я свою. Потом мы разошлись по разным углам хижины и занялись чтением.

Никогда я так не радовался самородку в десять унций, как обрадовался этой книге. И Айдахо смотрел на свою, как ребенок на леденец.

Моя книжонка была небольшая, размером пять на шесть дюймов, с заглавием: «Херкимеров справочник необходимых познаний». Может быть, я ошибаюсь, но, по моему, — это величайшая из всех написанных книг. Она сохранилась у меня до сих пор, и, пользуясь ее сведениями, я кого хочешь могу обыграть пятьдесят раз в пять минут. Куда до нее Соломону или «Нью-Йорк трибюн»! Херкимер обоих заткнет за пояс. Этот малый, должно быть, потратил пятьдесят лет и пропутешествовал миллион миль, чтобы набраться такой премудрости. Тут тебе и статистика населения всех городов, и способ, как узнать возраст

девушки, и сведения о количестве зубов у верблюда. Тут можно узнать, какой самый длинный в мире туннель, сколько звезд на небе, через сколько дней высыпает ветряная оспа, каких размеров должна быть женская шея, какие права «вето» у губернаторов, даты постройки римских акведуков, сколько фунтов риса можно купить, если не выпивать три кружки пива в день, среднюю ежегодную температуру города Огасты, штат Мэн, сколько нужно семян моркови, чтобы засеять один акр рядовой сеялкой, какие бывают противоядия, количество волос на голове блондинки, как сохранять яйца, высоту всех гор в мире, даты всех войн и сражений, и как приводить в чувство утопленников и очумевших от солнечного удара, и сколько гвоздей идет на фунт, и как делать динамит, поливать цветы и стлать постель, и что предпринять до прихода доктора — и еще пропасть всяких сведений. Может, Херкимер и не знает чего-нибудь, но по книжке я этого не заметил.

Я сидел и читал эту книгу четыре часа. В ней были спрессованы все чудеса просвещения. Я забыл про снег и про наш разлад с Айдахо. Он тихо сидел на табуретке, и какое-то нежное и загадочное выражение просвечивало сквозь его рыже-бурую бороду.

— Айдахо, — говорю я, — тебе какая книга досталась?

Айдахо, очевидно, тоже забыл старые счеты, потому что ответил умеренным тоном, без всякой брани и злости.

— Мне-то? — говорит он. — По всей видимости, это Омар Ха-Эм.¹⁰

— Омар Х. М., а дальше? — спросил я.

— Дальше ничего, Омар Ха-Эм, и точка, — говорит он.

— Врешь, — говорю я, немного задетый тем, что Айдахо хочет втереть мне очки. — Какой дурак станет подписывать книжку инициалами? Если это Омар Х. М. Спупендаик, или Омар Х. М. Мак-Суини, или Омар Х. М. Джонс, так и скажи по-человечески, а не жуй конец фразы, как теленок подол рубахи, вывешенной на просушку.

— Я сказал тебе все как есть, Санди, — говорит Айдахо спокойно. — Это стихотворная книга, автор — Омар Ха-Эм. Сначала я не мог понять, в чем тут соль, но покопался и вижу, что жила есть. Я не променял бы эту книгу даже на пару красных одеял.

— Ну и читай ее себе на здоровье, — говорю я. — Лично я предпочитаю беспристрастное изложение фактов, чтобы было над чем поработать мозгам, и, кажется, такого сорта книжонка мне и досталась.

— Тебе, — говорит Айдахо, — досталась статистика — самая низкопробная из всех существующих наук. Она отравит твой мозг. Нет, мне приятней система намеков старикашки Ха-Эм. Он, похоже, что-то вроде агента по продаже вин. Его дежурный тост: «Все трынтрава». По-видимому, он страдает избытком желчи, но в таких дозах разбавляет ее спиртом, что самая беспардонная его брань звучит как приглашение раздавить бутылочку. Да, это поэзия, — говорит Айдахо, — и я презираю твою кредитную лавочку, где мудрость меряют на футы и дюймы. А если понадобится объяснить философическую первопричину тайн естества, то старикашка Ха-Эм забудет твоего парня по всем статьям — вплоть до объема груди и средней годовой нормы дождевых осадков.

Вот так и шло у нас с Айдахо. Днем и ночью мы только тем и развлекались, что изучали наши книги. И, несомненно, снежная буря снабдила каждого из нас уймой всяких познаний. Если бы в то время, когда снег начал таять, вы вдруг подошли ко мне и спросили: «Сандерсон Пратт, сколько стоит покрыть квадратный фут крыши железом двадцать на двадцать восемь, ценою девять долларов пятьдесят центов за ящик», — я ответил бы вам с такой же быстротой, с какой свет пробегает по ручке лопаты со скоростью в сто девяносто две тысячи миль в секунду. Многие могут это сделать? Разбудите-ка в полночь любого из ваших знакомых и попросите его сразу ответить, сколько костей в человеческом скелете, не считая зубов, или какой процент голосов требуется в парламенте штата Небраска, чтобы отменить «вето». Ответит он вам? Попробуйте и убедитесь.

¹⁰ Речь идет о стихотворениях Омара Хайама, персидского поэта XI в.

Какую пользу извлекал Айдахо из своей стихотворной книги, я точно не знаю. Стоило ему открыть рот, и он уже прославлял своего винного агента, но меня это мало в чем убеждало.

Этот Омар Х. М., судя по тому, что просачивалось из его книжонки через посредство Айдахо, представлялся мне чем-то вроде собаки, которая смотрит на жизнь, как на консервную банку, привязанную к ее хвосту. Набегается до полусмерти, усядется, высунет язык, посмотрит на банку и скажет: «Ну, раз мы не можем от нее освободиться, пойдем в кабачок на углу и наполним ее за мой счет».

К тому же он, кажется, был персом. А я ни разу не слышал, чтобы Персия производила что-нибудь достойное упоминания, кроме турецких ковров и мальтийских кошек.

В ту весну мы с Айдахо наткнулись на богатую жилу. У нас было правило распродавать все в два счета и двигаться дальше. Мы сдали нашему подрядчику золота на восемь тысяч долларов каждый, а потом направились в этот маленький городок Розу, на реке Салмон, чтобы отдохнуть, поесть по-человечески и соскоблить наши бороды.

Роза не была приисковым поселком. Она расположилась в долине и отсутствием шума и распутства напоминала любой городок сельской местности. В Розе была трехмильная трамвайная линия, и мы с Айдахо целую неделю катались в одном вагончике, вылезая только на ночь у отеля «Вечерняя заря». Так как мы и много поездили, и были теперь здорово начитаны, мы вскоре стали вхожи в лучшее общество Розы, и нас приглашали на самые шикарные и бонтонные вечера. Вот на одном таком благотворительном вечере-конкурсе на лучшую мелодекламацию и на большее количество съеденных перепелов, устроенном в здании муниципалитета в пользу пожарной команды, мы с Айдахо и встретились впервые с миссис Д. Ормонд Сэмпсон, королевой общества Розы.

Миссис Сэмпсон была вдовой и владелицей единственного в городе двухэтажного дома. Он был выкрашен в желтую краску, и, откуда бы на него ни смотреть, он был виден так же ясно, как остатки желтка в постный день в бороде ирландца. Двадцать два человека, кроме меня и Айдахо, заявляли претензии на этот желтый домишко.

Когда ноты и перепелиные кости были выметены из залы, начались танцы. Двадцать три поклонника галопом подлетели к миссис Сэмпсон и пригласили ее танцевать. Я отступился от тустепа и попросил разрешения сопровождать ее домой. Вот здесь-то я и показал себя.

По дороге она говорит:

— Ах, какие сегодня прелестные и яркие звезды, мистер Пратт!

— При их возможностях, — говорю я, — они выглядят довольно симпатично. Вот эта, большая, находится от нас на расстоянии шестидесяти шести миллиардов миль. Потребовалось тридцать шесть лет, чтобы ее свет достиг до нас. В восемнадцатифутовый телескоп можно увидеть сорок три миллиона звезд, включая и звезды тринадцатой величины, а если какая-нибудь из этих последних сейчас закатилась бы, вы продолжали бы видеть ее две тысячи семьсот лет.

— Ой! — говорит миссис Сэмпсон. — А я ничего об этом не знала. Как жарко... Я вся вспотела от этих танцев.

— Неудивительно, — говорю я, — если принять во внимание, что у вас два миллиона потовых желез и все они действуют одновременно. Если бы все ваши потопроводные трубки, длиной в четверть дюйма каждая, присоединить друг к другу концами, они вытянулись бы на семь миль.

— Царица небесная! — говорит миссис Сэмпсон. — Можно подумать, что вы описываете оросительную канаву, мистер Пратт. Откуда у вас все эти ученые познания?

— Из наблюдений, — говорю я ей. — Странствуя по свету, я не закрываю глаз.

— Мистер Пратт, — говорит она, — я всегда обожала культуру. Среди тупоголовых идиотов нашего города так мало образованных людей, что истинное наслаждение побеседовать с культурным джентльменом. Пожалуйста, заходите ко мне в гости, когда только вздумается.

Вот каким образом я завоевал расположение хозяйки двухэтажного дома. Каждый вторник и каждую пятницу, по вечерам, я навещал ее и рассказывал ей о чудесах вселенной,

открытых, классифицированных и воспроизведенных с натуры Херкимером. Айдахо и другие донжуаны города пользовались каждой минутой остальных дней недели, предоставленных в их распоряжение.

Мне было невдомек, что Айдахо пытается воздействовать на миссис Сэмпсон приемами ухаживания старикашки Х. М., пока я не узнал об этом как-то вечером, когда шел обычным своим путем, неся ей корзиночку дикой сливы. Я встретил миссис Сэмпсон в переулке, ведущем к ее дому. Она сверкала глазами, а ее шляпа угрожающе накрыла одну бровь.

— Мистер Пратт, — начинает она, — этот мистер Грин, кажется, ваш приятель?

— Вот уже девять лет, — говорю я.

— Порвите с ним, — говорит она, — он не джентльмен.

— Поймите, сударыня, — говорю я, — он обыкновенный житель гор, которому присуще хамство и обычные недостатки расточителя и лгуна, но никогда, даже в самых критических обстоятельствах, у меня не хватало духа отрицать его джентльменство. Вполне возможно, что своим мануфактурным снаряжением, наглостью и всей своей экспозицией он противен глазу, но по своему нутру, сударыня, он так же не склонен к низкопробному преступлению, как и к тучности. После девяти лет, проведенных в обществе Айдахо, — говорю я, — мне было бы неприятно порицать его и слышать, как его порицают другие.

— Очень похвально, мистер Пратт, что вы вступаетесь за своего друга, — говорит миссис Сэмпсон, — но это не меняет того обстоятельства, что он сделал мне предложение, достаточно оскорбительное, чтобы возмутить скромность всякой женщины!

— Да не может быть! — говорю я. — Старикашка Айдахо выкинул такую штуку? Скорее, этого можно было ожидать от меня. За ним водится лишь один грех, и в нем повинна метель. Однажды, когда снег задержал нас в горах, мой друг стал жертвой фальшивых и непристойных стихов, и, возможно, они развратили его манеры.

— Вот именно, — говорит миссис Сэмпсон. — С тех пор как я его знаю, он не переставая декламирует мне безбожные стихи какой-то особы, которую он называет Рубай Атт, и, если судить по ее стихам, это негодница, каких свет не видал.

— Значит, Айдахо наткнулся на новую книгу, — говорю я, — автор той, что у него была, пишет под *nom de plume*¹¹

— Уж лучше бы он и держался за нее, — говорит миссис Сэмпсон, — какой бы она ни была. А сегодня он перешел все границы. Сегодня я получаю от него букет цветов, и к ним приколоты записка. Вы, мистер Пратт, вы знаете, что такое порядочная женщина, и вы знаете, какое я занимаю положение в обществе Розы. Допускаете вы на минуту, чтобы я побежала в лес с мужчиной, прихватив кувшин вина и каравай хлеба, и стала бы петь и скакать с ним под деревьями? Я выпиваю немного красного за обедом, но не имею привычки таскать его кувшинами в кусты и тешить там дьявола на такой манер. И уж, конечно, он принес бы с собой эту книгу стихов, он так и написал. Нет, пусть уж он один ходит на свои скандальные пикники. Или пусть берет с собой свою Рубай Атт. Уж она-то не будет брыкаться, разве что ей не понравится, что он захватит больше хлеба, чем вина. Ну, мистер Пратт, что вы теперь скажете про вашего приятеля-джентльмена?

— Видите ли, сударыня, — говорю я, — весьма вероятно, что приглашение Айдахо было своего рода поэзией и не имело в виду обидеть вас. Возможно, что оно принадлежало к разряду стихов, называемых фигуральными. Подобные стихи оскорбляют закон и порядок, но почта их пропускает на том основании, что в них пишут не то, что думают. Я был бы рад за Айдахо, если бы вы посмотрели на это сквозь пальцы, — говорю я. — И пусть наши мысли взлетят с низменных областей поэзии в высшие сферы расчета и факта. Наши мысли, — говорю я, — должны быть созвучны такому чудесному дню. Не правда ли, здесь тепло, но мы не должны забывать, что на экваторе линия вечного холода находится на высоте пятнадцати тысяч футов. А между сороковым и сорок девятым градусом широты она находится на высоте от четырех

¹¹ [Псевдоним (*фр.*) .] Х. М.

до девяти тысяч футов.

— Ах, мистер Пратт, — говорит миссис Сэмпсон, — какое утешение слышать от вас чудесные факты после того, как вся изнервничаешься из-за стихов этой негодной Рубай.

— Сядем на это бревно у дороги, — говорю я, — и забудем о бесчеловечности и развращенности поэтов. В длинных столбцах удостоверенных фактов и общепринятых мер и весов — вот где надо искать красоту. Вот мы сидим на бревне, и в нем, миссис Сэмпсон, — говорю я, — заключена статистика более изумительная, чем любая поэма. Кольца на срезе показывают, что дерево прожило шестьдесят лет. На глубине двух тысяч футов, через три тысячи лет оно превратилось бы в уголь. Самая глубокая угольная шахта в мире находится в Киллингворте, близ Ньюкасла. Ящик в четыре фута длиной, три фута шириной и два фута восемь дюймов вышиной вмещает тонну угля. Если порезана артерия, стяните ее выше раны. В ноге человека тридцать костей. Лондонский Тауэр сгорел в тысяча восемьсот сорок первом году.

— Продолжайте, мистер Пратт, продолжайте, — говорит миссис Сэмпсон, — ваши идеи так оригинальны и успокоительны. По-моему, нет ничего прелестнее статистики.

Но только две недели спустя я до конца оценил Херкимера.

Однажды ночью я проснулся от криков: «Пожар!» Я вскочил, оделся и вышел из отеля полюбоваться зрелищем. Увидев, что горит дом миссис Сэмпсон, я испустил оглушительный вопль и через две минуты был на месте.

Весь нижний этаж был объят пламенем, и тут же столпилось все мужское, женское и собачье население Розы и орало, и лаяло, и мешало пожарным. Айдахо держали шестеро пожарных, а он пытался вырваться из их рук. Они говорили ему, что весь низ пылает и кто туда войдет, обратно живым не выйдет.

— Где миссис Сэмпсон? — спрашиваю я.

— Ее никто не видел, — говорит один из пожарных. — Она спит наверху. Мы пытались туда пробраться, но не могли, а лестниц у нашей команды еще нет.

Я выбегаю на место, освещенное пламенем пожара, и вытаскиваю из внутреннего кармана справочник. Я засмеялся, почувствовав его в своих руках, — мне кажется, что я немного обалдел от возбуждения.

— Херки, друг, — говорю я ему, перелистывая страницы, — ты никогда не лгал мне и никогда не оставлял меня в беде. Выручай, дружище, выручай! — говорю я.

Я сунулся на страницу 117: «Что делать при несчастном случае», — пробежал пальцем вниз по листу и попал в точку. Молодчина Херкимер, он ничего не забыл!

На странице 117 было написано:

«Удушение от вдыхания дыма или газа». — Нет ничего лучше льняного семени. Вложите несколько семян в наружный угол глаза.

Я сунул справочник обратно в карман и схватил пробежавшего мимо мальчишку.

— Вот, — говорю я, давая ему деньги, — беги в аптеку и принеси на доллар льняного семени. Живо, и получишь доллар за работу. Теперь, — кричу я, — мы добудем миссис Сэмпсон! — И сбрасываю пиджак и шляпу.

Четверо пожарных и граждан хватают меня.

— Идти в дом — идти на верную смерть, — говорят они. — Пол уже начал проваливаться.

— Да как же, черт побери! — кричу я и все еще смеюсь, хотя мне не до смеха. — Как же я вложу льняное семя в глаз, не имея глаза?

Я двинул локтями пожарников по лицу, лягнул одного гражданина и свалил боковым ударом другого. А затем я ворвался в дом. Если я умру раньше вас, я напишу вам письмо и сообщу, на много ли хуже в чертовом пекле, чем было в стенах этого дома; но пока не делайте выводов. Я прожарился куда больше тех цыплят, что подают в ресторане по срочным заказам. От дыма и огня я дважды кидался на пол и чуть-чуть не посрамил Херкимера, но пожарные помогли мне, пустив небольшую струйку воды, и я добрался до комнаты миссис Сэмпсон. Она от дыма лишилась чувств, так что я завернул ее в одеяло и взвалил на плечо. Ну ясно, пол не

был так уж поврежден, как мне говорили, а то разве бы он выдержал? И думать нечего!

Я оттащил ее на пятьдесят ярдов от дома и уложил на траву. Тогда, конечно, все остальные двадцать два претендента на руку миссис Сэмпсон столпились вокруг с ковшиками воды, готовые спасать ее. Тут прибежал и мальчишка с льняным семенем.

Я раскутал голову миссис Сэмпсон. Она открыла глаза и говорит:

— Это вы, мистер Пратт?

— Тс-с, — говорю я. — Не говорите, пока не примете лекарство.

Я обвиваю ее шею рукой и тихонько поднимаю ей голову, а другой рукой разрываю пакет с льняным семенем; потом со всей возможной осторожностью я склоняюсь над ней и пускаю несколько семян в наружный уголок ее глаза.

В этот момент галопом прилетает деревенский доктор, фыркает во все стороны, хватается миссис Сэмпсон за пульс и интересуется, что, собственно, значат мои idiotские выходки.

— Видите ли, клистирная трубка, — говорю я, — я не занимаюсь постоянной врачебной практикой, но тем не менее могу сослаться на авторитет.

Принесли мой пиджак, и я вытащил справочник.

— Посмотрите страницу сто семнадцать, — говорю я. — Удушение от вдыхания дыма или газа. Льняное семя в наружный угол глаза, не так ли? Я не сумею сказать, действует ли оно как поглотитель дыма, или побуждает к действию сложный гастро-гиппопотамический нерв, но Херкимер его рекомендует, а он был первым приглашен к пациентке. Если хотите устроить консилиум, я ничего не имею против.

Старый доктор берет книгу и рассматривает ее с помощью очков и пожарного фонаря.

— Послушайте, мистер Пратт, — говорит он, — вы, очевидно, попали не на ту строчку, когда ставили свой диагноз. Рецепт от удушья гласит: «Вынесите больного как можно скорее на свежий воздух и положите его на спину, приподняв голову», льняное семя — это средство против «пыли и золы, попавших в глаз», строчкой выше. Но в конце концов...

— Послушайте, — перебивает миссис Сэмпсон, — мне кажется, я могу высказать свое мнение на этом консилиуме. Так знайте, это льняное семя принесло мне больше пользы, чем все лекарства в моей жизни.

А потом она поднимает голову, снова опускает ее мне на плечо и говорит: «Положите мне немножко и в другой глаз, Санди, дорогой».

Так вот, если вам придется завтра или когда-нибудь в другой раз остановиться в Розе, то вы увидите замечательный новенький ярко-желтый дом, который украшает собою миссис Пратт, бывшая миссис Сэмпсон. И если вам придется ступить за его порог, вы увидите на мраморном столе посреди гостиной «Херкимеров справочник необходимых познаний», заново переплетенный в красный сафьян и готовый дать совет по любому вопросу, касающемуся человеческого счастья и мудрости.

Пимиентские блинчики

Перевод М. Урнова

Когда мы сгоняли гурт скота с тавром «Треугольник-О» в долине Фрио, торчащий сук сухого мескита зацепился за мое деревянное стремя, я вывихнул себе ногу и неделю провалялся в лагере.

На третий день моего вынужденного безделья я выполз к фургону с провизией и беспомощно растянулся под разговорным обстрелом Джедсона Одома, лагерного повара. Джед был рожден для монологов, но судьба, как всегда, ошиблась, навязав ему профессию, в которой он большую часть времени был лишен аудитории.

Таким образом, я был манной небесной в пустыне вынужденного молчания Джеда.

Своевременно во мне заговорило естественное для большого желание поесть чего-нибудь такого, что не входило в опись нашего пайка. Меня посетили видения матушкиного буфета,

«что сладостны, как первая любовь, источник горьких сожалений», и я спросил:

— Джед, ты умеешь печь блинчики?

Джед отложил свой шестизарядный револьвер, которым собирался постучать антилопью отбивную, и встал надо мною, как мне показалось, в угрожающей позе. Впечатление его враждебности еще более усилилось, когда он устремил на меня холодный и подозрительный взгляд своих блестящих голубых глаз.

— Слушай, ты, — сказал он с явным, хотя и сдержанным гневом. — Ты издеваешься или серьезно? Кто-нибудь из ребят рассказывал тебе про этот подвох с блинчиками?

— Что ты, Джед, я серьезно, я бы, кажется, променял свою лошадь и седло на горку масленых, поджаристых блинчиков с горшочком свежей новоорлеанской патоки. А разве была какая-нибудь история с блинчиками?

Джед сразу смягчился, увидев, что я говорю без намеков. Он притащил из фургона какие-то таинственные мешочки и жестяные баночки и сложил их в тени куста, под которым я примостился. Я следил, как он начал не спеша расставлять их и развязывать многочисленные веревочки.

— Нет, не история, — сказал Джед, продолжая свое дело, — просто логическое несоответствие между мной, красноглазым овчаром из лощины Шелудивого Осла и мисс Уиллелой Лирайт. Что ж, я, пожалуй, расскажу тебе.

Я пас тогда скот у старика Билла Туми на Сан-Мигуэле. Однажды мне страсть как захотелось пожевать какой-нибудь такой консервированной кормежки, которая никогда не мычала, не бляела, не хрюкала и не отмеривалась гарнцами. Ну, я вскакиваю на свою малышку и лечу в лавку дядюшки Эмсли Телфера у Пимиентской переправы через Нуэсес.

Около трех пополудни я накинул поводья на сук мескита и пешком прошел последние двадцать шагов до лавки дядюшки Эмсли. Я вскочил на прилавок и объявил ему, что, по всем приметам, мировому урожаю фруктов грозит гибель. Через минуту я имел мешок сухарей, ложку с длинной ручкой и по открытой банке абрикосов, ананасов, вишен и сливы, а рядом трудился дядюшка Эмсли, вырубая топориком желтые крышки. Я чувствовал себя как Адам до скандала с яблоком, вонзал шпоры в прилавок и орудовал своей двадцатичетырехдюймовой ложкой, как вдруг посмотрел случайно в окно на двор дома дядюшки Эмсли, находившегося рядом с лавкой.

Там стояла девушка, неизвестная девушка в полном снаряжении; она вертела в руках крокетный молоток и изучала мой способ поощрения фруктово-консервной промышленности.

Я скатился с прилавка и сунул лопату дядюшке Эмсли.

— Это моя племянница, — сказал он. — Мисс Уиллела Лирайт, приехала погостить из Палестины.¹² Хочешь, я тебя познакомлю?

«Из Святой земли, — сказал я себе, и мои мысли сбились в кучу, как овцы, когда их загоняешь в корраль. А почему нет? Ведь были же ангелы в Палес... — Конечно, дядюшка Эмсли, — сказал я вслух, — мне было бы страшно приятно познакомиться с мисс Лирайт.

Тогда дядюшка Эмсли вывел меня во двор и представил нас друг другу.

Я никогда не был робок с женщинами. Я никогда не мог понять, почему это некоторые мужчины, способные в два счета укротить мустанга и побриться в темноте, становятся вдруг паралитиками и черт знает как потеют и заикаются, завидев кусок миткаля, обернутый вокруг того, вокруг чего ему полагается быть обернутым. Через восемь минут мы с мисс Уиллелой дружно гоняли крокетные шары, будто двоюродные брат и сестра. Она съязвила насчет количества уничтоженных мною фруктовых консервов, а я, не очень смущаясь, дал сдачи, напомнив, как некая особа, по имени Ева, устроила сцену из-за фруктов на первом свободном пастбище... «кажется, в Палестине, не правда ли?» — говорю я этак легко и спокойно, словно заарканываю однолетку.

Таким вот манером я сразу расположил к себе мисс Уиллелу Лирайт, и чем дальше, тем

¹² Палестина (Палестайн) — городок в Техасе.

наша дружба становилась крепче. Она проживала на Пимиентской переправе ради поправления здоровья, очень хорошего, и ради климата, который был здесь жарче на сорок процентов, чем в Палестине.

Сначала я наезжал повидать ее раз в неделю, а потом рассчитал, что если я удвою число поездок, то буду видеться с ней вдвое чаще.

Как-то на одной неделе я выкроил время для третьей поездки. Вот тут-то и втесались в игру блинчики и красноглазый овчар.

Сидя в тот вечер на прилавке, с персиком и двумя сливами во рту, я спросил дядюшку Эмсли, что подельывает мисс Уиллела.

— А она, — говорит дядюшка Эмсли, — поехала покататься с Джексонном Птицей, овцеводом из лощины Шелудивого Осла.

Я проглотил персиковую косточку и две сливовых. Наверное, кто-нибудь держал прилавок под уздцы, когда я слезал. А потом я вышел и направился по прямой, пока не уперся в мескит, где был привязан мой чалый.

— Она поехала кататься, — прошептал я в ухо своей малышке, — с Птицсоном Джеком, Шелудивым Ослом из Овцеводной лощины, понимаешь ты это, друг с копытами?

Мой чалый заплакал на свой манер. Это был ковбойский конь, и он не любил овцеводов.

Я вернулся и спросил дядюшку Эмсли: «Так ты сказал — с овцеводом?»

— Я сказал — с овцеводом, — повторил дядюшка Эмсли. — Ты, верно, слышал о Джексоне Птице. У него восемь участков пастбища и четыре тысячи голов лучших мериносов к югу от Северного полюса.

Я вышел, сел на землю в тени лавки и прислонился к кактусу. Безрассудными руками я сыпал за голенища песок и произносил монологи по поводу птицы из породы Джексонов.

За свою жизнь я не изувечил ни одного овцевода и не считал это необходимым. Как-то я повстречал одного, он ехал верхом и читал латинскую грамматику, — так я его пальцем не тронул. Овцеводы никогда особенно не раздражали меня, не то что других ковбоев. Очень мне нужно уродовать и калечить плюгавцев, которые едят за столом, носят штiblеты и говорят с тобою на всякие темы. Пройдешь, бывало, мимо и поглядишь, как на кролика, еще скажешь что-нибудь приятное и потолкуешь насчет погоды, но, конечно, никаких распивочных и навывнос не было. Вообще я не считал нужным с ними связываться. Так вот потому, что по доброте своей я давал им дышать, один такой разъезжает теперь с мисс Уиллелой Лирайт.

За час до заката они прискакали обратно и остановились у ворот дядюшки Эмсли. Овечья особа помогла Уиллеле слезть, и некоторое время они постояли, перебрасываясь игривыми и хитроумными фразами. А потом окрыленный Джексон взлетает в седло, приподнимает шляпу-кастрюльку и трусит в направлении своего бараньего ранчо. К тому времени я вытряхнул песок из сапог и отцепился от кактуса. Птица не отъехал и полмили от Пимиенты, когда я поравнялся с ним на моем чалом.

Я назвал этого овчара красноглазым, но это неверно. Его зрительное приспособление было довольно серым, но ресницы были красные, а волосы рыжие, оттого он и казался красноглазым. Овцевод?.. Куда к черту, в лучшем случае ягнятник, козьявка какая-то, с желтым шелковым платком вокруг шеи и в башмаках с бантиками.

— Привет! — сказал я ему. — Вы сейчас едете с всадником, которого называют Джексон Верная Смерть за приемы его стрельбы. Когда я хочу представиться незнакомому человеку, я всегда представляюсь ему до выстрела, потому что терпеть не могу пожимать руку покойнику.

— Вот как! — говорит он совершенно спокойно. — Рад познакомиться с вами, мистер Джексон. Я Джексон Птица с ранчо Шелудивого Осла.

Как раз в эту минуту один мой глаз увидел куропатку, скачущую по холму с молодым тарантулом в клюве, а другой глаз заметил ястреба, сидевшего на сухом суку вяза. Я хлопнул их для пущей важности одну за другим из своего сорокапятикалиберного.

— Две из трех, — говорю я. — Птицы, должен вам заявить, так и садятся на мои пули.

— Чистая стрельба, — говорит овцевод, не моргнув глазом. — Скажите, а вам не случилось промахнуться на третьем выстреле? Хороший дождик выпал на прошлой неделе,

мистер Джексон, теперь трава так и пойдет.

— Чижик, — говорю я, подъезжая вплотную к его фасонной лошади, — ваши ослепленные родители наделили вас именем Джексон, но вы определенно выродились в чирикающую птицу. Давайте бросим эти самые анализы дождичка и стихий и поговорим о том, что не входит в словарь попугаев. Вы завели дурную привычку кататься с молодыми девицами из Пимиенты. Я знавал пташек, — говорю я, — которых поджаривали за меньшие проступки. Мисс Уиллела, — говорю я, — совсем не нуждается в гнезде, свитом из овечьей шерсти пичужкой из породы Джексонов. Так вот, намерены ли вы прекратить эти штучки, или желаете галопом наскочить на мою кличку «Верная Смерть», в которой два слова и указание по меньшей мере на одну похоронную процессию?

Джексон Птица слегка покраснел, а потом засмеялся.

— Ах, мистер Джексон, — говорит он, — вы заблуждаетесь. Я заезжал несколько раз к мисс Лиригт, но не с той целью, как вы думаете. Мой объект чисто гастрономического свойства.

Я потянулся за револьвером.

— Всякий койот, — говорю я, — который осмелится непочтительно...

— Подождите минутку, — говорит эта пташка, — дайте объяснить. К чему мне жена? Посмотрели бы вы на мое ранчо. Я сам себе стряпаю и штопаю. Еда — вот единственное удовольствие, извлекаемое мной из разведения овец. Мистер Джексон, вы пробовали когда-нибудь блинчики, которые печет мисс Лиригт?

— Я? Нет, — говорю, — я и не знал, что она занимается кулинарными манипуляциями.

— Это же золотые созвездия, — говорит он, — подрумяненные на амброзийном огне Эпикура. Я бы отдал два года жизни за рецепт приготовления этих блинчиков. Вот зачем я ездил к мисс Лиригт, — говорит Джексон Птица, — но мне не удалось узнать его. Это старинный рецепт, он сохраняется в семье уже семьдесят пять лет. Он передается из поколения в поколение, и посторонним его не сообщают. Если бы я мог достать этот рецепт, я пек бы сам себе блинчики на ранчо и был бы счастливым человеком, — говорит Птица.

— Вы уверены, — говорю я ему, — что вы гоняетесь не за ручкой, которая месит блинчики?

— Уверен, — говорит Джексон. — Мисс Лиригт совершенно очаровательная девушка, но, повторяю, мои намерения не выходят за пределы гастро... — Тут он увидел, что моя рука скользнула к кобуре, и изменил выражение. — За пределы желанья достать этот рецепт, — заключил он.

— Не такой уж вы плохой человечешко, — говорю я, стараясь быть вежливым. — Я задумал было сделать ваших овец сиротами, но на этот раз позволю вам улететь. Но помните: приставайте к блинчикам, да покрепче, как средний блин к горке, и не вздумайте смешать подливку с сантиментами, не то у вас на ранчо будет пение, а вы его не услышите.

— Чтобы убедить вас в своей искренности, — говорит овцевод, — я прошу вас помочь мне. Мисс Лиригт и вы большие друзья, и, может быть, она сделает для вас то, чего не сделала для меня. Если вы достанете мне этот рецепт, то даю вам слово, я никогда к ней больше не поеду.

— Вот это по-честному, — сказал я и пожал руку Джексона Птицы. — Я рад услужить и сделаю все, что смогу.

Он повернул к большой заросли кактусов на Пьедре, в направлении Шелудивого Осла, а я взял курс на северо-запад, к ранчо старика Билла Туми.

Только пять дней спустя мне удалось снова заехать на Пимиенту. Мы с мисс Уиллелой очень мило провели вечерок у дядюшки Эмсли. Она спела кое-что и порядочно потерзала пианино цитатами из опер. А я изображал гремучую змею и рассказал ей о новом способе обдирать коров, придуманном Снэки Мак-Фи, и о том, как я однажды ездил в Сент-Луис. Наше взаимное расположение крепло вовсю. И вот, я думаю, если теперь мне удастся убедить Джексона Птицу совершить перелет, дело в шляпе. Тут я вспоминаю его обещание насчет рецепта блинчиков и решаю выведать его у мисс Уиллелы и сообщить ему. И уж тогда, если я

снова поймаю здесь птичку из Шелудивого Осла, я ей подрежу крылышки.

И вот часов около десяти я набрасываю на лицо льстивую улыбку и говорю мисс Уиллеле: «Знаете, если мне что-нибудь и нравится больше вида рыжего быка на зеленой траве, так это вкус хорошего горячего блинчика с паточной смазкой».

Мисс Уиллела слегка подпрыгнула на фортепианной табуретке и странно на меня посмотрела.

— Да, — говорит она, — это действительно вкусно. Как, вы сказали, называется эта улица в Сент-Луисе, мистер Одом, где вы потеряли шляпу?

— Блинчиковая улица, — говорю я, подмигнув, чтобы показать, что мне, мол, известно о фамильном рецепте и меня не проведешь. — Чего уж там, мисс Уиллела, — говорю я, — рассказывайте, как вы их делаете. Блинчики так и вертятся у меня в голове, как фургонные колеса. Да ну же... фунт крупчатки, восемь дюжин яиц и так далее. Что там значит в каталоге ингредиентов?

— Извините меня, я на минуточку, — говорит мисс Уиллела, окидывает меня боковым взглядом и соскальзывает с табуретки. Она рысью выбежала в другую комнату, и вслед за тем оттуда выходит ко мне дядюшка Эмсли в своей жилетке и с кувшином воды. Он поворачивается к столу за стаканом, и я вижу в его заднем кармане многозарядку.

«Ну и ну! — думаю я. — Эта семейка, видно, здорово дорожит своими кулинарными рецептами, коли защищает их с оружием. Я знал семьи, так они не стали бы к нему прибегать даже при кровной вражде».

— Выпей-ка вот это, — говорит дядюшка Эмсли, протягивая мне стакан воды. — Ты слишком много ездил сегодня верхом, Джек, и все по солнцу. Попытайся думать о чем-нибудь другом.

— Ты знаешь, как печь блинчики, дядя Эмсли? — спросил я.

— Ну, я не ахти как осведомлен в их анатомии, — говорит дядюшка Эмсли, — но мне кажется, надо взять побольше сковородок, немного теста, соды и кукурузной муки и смешать все это, как водится, с яйцами и сывороткой. А что, Джек, старик Билл опять собирается по весне гнать скот в Канзас-Сити?

Только эту блинчиковую спецификацию мне и удалось получить в тот вечер. Неудивительно, что Джексон Птица осекся на этом деле. Одним словом, я бросил эту тему и немного поговорил с дядюшкой Эмсли о скоте и циклонах. А потом вошла мисс Уиллела и сказала: «Спокойной ночи», и я помчался к себе на ранчо.

Неделю спустя я встретил Джексона Птицу, когда он уезжал от дядюшки Эмсли, а я направлялся к нему. Мы остановились на дороге и перекинулись пустяковыми замечаниями.

— Что, еще не достали список деталей для ваших румянчиков? — спросил я его.

— Представьте, нет, — говорит Джексон, — и, по всей видимости, у меня ничего не выйдет. А вы пытались?

— Пытался, — говорю я, — да это все равно, что выманить из норы луговую собачку ореховой скорлупой. Этот блинчиковый рецепт — талисман какой-то, судя по тому, как они за него держатся.

— Я почти готов отступить, — говорит Джексон с таким отчаянием в голосе, что я почувствовал к нему жалость. — Но мне страшно хочется знать, как печь эти блинчики, чтобы лакомиться ими на моем одиноком ранчо. Я не сплю по ночам, все думаю, какие они замечательные.

— Продолжайте добиваться, — говорю я ему, — и я тоже буду. В конце концов кто-нибудь из нас да накинёт аркан ему на рога. Ну, до свидания, Джекси.

Сам видишь, что в это время мы были в наимирнейших отношениях. Когда я убедился, что он не гоняется за мисс Уиллелой, я с большим терпением созерцал этого рыжего заморыша. Желая удовлетворить запросы его аппетита, я по-прежнему пытался выманить у мисс Уиллелы заветный рецепт. Но стоило мне сказать слово «блинчики», как в ее глазах появлялся оттенок туманности и беспокойства и она старалась переменить тему. Если же я на нее наседаю, она выскальзывала из комнаты и высылала ко мне дядюшку Эмсли с кувшином

воды и карманной гаубицей.

Однажды я прискакал к лавочке с большущим букетом голубой вербены, — я набрал его в стаде диких цветов, которое паслось на лугу Отравленной Собаки. Дядюшка Эмсли посмотрел на букет прищурясь и говорит:

— Не слыхал новость?

— Скот вздорожал?

— Уиллела и Джексон Птица повенчались вчера в Палестине, — говорит он. — Сегодня утром получил письмо.

Я уронил цветы в бочонок с сухарями и выждал, пока новость, отзвенев в моих ушах и скользнув к верхнему левому карману рубашки, не ударила мне, наконец, в ноги.

— Не можешь ли ты повторить еще раз, дядюшка Эмсли, — говорю я, — может быть, слух изменил мне и ты лишь сказал, что первоклассные телки идут по четыре восемьдесят за голову или что-нибудь в этом роде?

— Повенчались вчера, — говорит дядюшка Эмсли, — и отправились в свадебное путешествие в Вако и на Ниагарский водопад. Неужели ты все время ничего не замечал? Джексон Птица ухаживал за Уиллелой с того самого дня, как он пригласил ее покататься.

— С того самого дня! — завопил я. — Какого же черта он болтал мне про блинчики? Объясни ты мне...

Когда я сказал «блинчики», дядюшка Эмсли подскочил и попятился.

— Кто-то меня разыграл с этими блинчиками, — говорю я, — и я дознаюсь. Тебе-то уж, наверное, все известно. Выкладывай, или я, не сходя с места, замешу из тебя олады.

Я перемахнул через прилавок к дядюшке Эмсли. Он схватился за кобуру, но его пулемет был в ящике, и он не дотянулся до него на два дюйма. Я ухватил его за ворот рубахи и толкнул в угол.

— Рассказывай про блинчики, — говорю я, — или сам превратишься в блинчик. Мисс Уиллела печет их?

— В жизни ни одного не испекла, а я так их вовсе не видел, — убедительно говорит дядюшка Эмсли. — Ну, успокойся, Джед, успокойся. Ты разволновался, и рана в голове затемняет твой рассудок. Старайся не думать о блинчиках.

— Дядюшка Эмсли, — говорю я, — я не ранен в голову, но я, видно, растерял свои природные мыслительные способности. Джексон Птица сказал мне, что он навещает мисс Уиллелу, чтобы выведать ее способ приготовления блинчиков, и просил меня помочь ему достать список ингредиентов. Я помог, и результат налицо. Что он сделал, этот красноглазый овчар, накормил меня беленой, что ли?

— Отпусти-ка мой воротник, — говорит дядюшка Эмсли, — и я расскажу тебе. Да, похоже на то, что Джексон Птица малость тебя одурачил. На следующий день после катания с Уиллелой он снова приехал и сказал нам, чтобы мы остерегались тебя, если ты вдруг заговоришь о блинчиках. Он сказал, что однажды у вас в лагере пекли блинчики и кто-то из ребят треснул тебя по башке сковородкой. И после этого, мол, стоит тебе разгорячиться или взволноваться, рана начинает тебя беспокоить и ты становишься вроде как сумасшедшим и бредишь блинчиками. Он сказал, что нужно только отвлечь твои мысли и успокоить тебя, и ты не опасен. Ну вот, мы с Уиллелой и старались как могли. Н-да, — говорит дядюшка Эмсли, — таких овцеводов, как этот Джексон Птица, не часто встретишь.

Рассказывая свою историю, Джед не спеша, но ловко смешивал соответствующие порции из своих мешочков и баночек. К концу рассказа он поставил передо мной готовый продукт — пару румяных и пышных блинчиков на оловянной тарелке. Из какого-то секретного хранилища он извлек в придачу кусок превосходного масла и бутылку золотистого сиропа.

— А давно это было? — спросил я его.

— Три года прошло, — сказал Джед. — Они живут теперь на ранчо Шелудивого Осла. Но я ни его, ни ее с тех пор не видал. Говорят, что Джексон Птица украшал свою ферму качалками и гардинами все время, пока морочил мне голову этими блинчиками. Ну, я

погоревал да и бросил. Но ребята до сих пор надо мной смеются.

— А эти блинчики ты делал по знаменитому рецепту? — спросил я.

— Я же тебе говорю, что никакого рецепта не было, — сказал Джед. — Ребята все кричали о блинчиках, пока сами на них не помешались, и я вырезал этот рецепт из газеты. Как на вкус?

— Чудесно, — ответил я. — Отчего ты сам не попробуешь, Джед?

Мне послышался вздох.

— Я? — спросил Джед. — Я их в рот не беру.

Поставщик седел

Перевод Э. Бродерсон

Через Индийский океан пролегает к нам теперь новый путь — золотистый днем и серебристый по ночам. Смуглые короли и принцы выискали наш западный Бомбей, и почти все их пути ведут к Бродвею, где есть что посмотреть и чем восхищаться.

Если случай приведет вас к отелю, где временно находит себе приют один из этих высокопоставленных туристов, то я советую вам поискать среди республиканских прихвостней, осаждающих входные двери, Лукулла Полька. Вы, наверное, его там найдете. Вы его узнаете по его красному, живому лицу с веллингтонским носом, по его осторожным, но решительным манерам, по его деловому маклерскому виду и по его ярко-красному галстуку, галантно скрашивающему его потрепанный синий костюм, наподобие боевого знамени, все еще развевающегося над полем проигранного сражения. Он оказался мне очень полезным человеком; может быть, он пригодится и вам. Если вы будете его искать, то ищите его среди толпы бедуинов, осаждающих передовую цепь стражи и секретарей путешествующего государя — среди гениев арабских дней с дико горящими глазами, которые предъявляют непомерные и поразительные требования на денежные сундуки принца.

Первый раз я увидел мистера Полька, когда он спускался по ступенькам отеля, в котором имел пребывание его высочество Гайквар Бароды,¹³ самый просвещенный из всех индусских принцев, которые за последнее время пользовались гостеприимством нашей западной метрополии.

Лукулл быстро двигался, как бы приводимый в действие какой-то могущественной моральной силой, которая неминуемо грозила превратиться в физическую. За ним по пятам следовал сыщик отеля, которого можно было безошибочно узнать по его белой шляпе, ястребиному носу и нарочито утонченным манерам. Арьергард замыкали два ливрейных привратника, которые своим непринужденным видом отклоняли всякое подозрение, что они составляли резервный эскадрон вышибал.

Очутившись в безопасности на тротуаре, Лукулл Польк повернулся и погрозил веснушчатым кулаком в сторону караван-сарая. И, к моей радости, он начал выкрикивать непонятные для меня ругательства.

— Ездит в хаудах,¹⁴ не так ли? — громко и насмешливо закричал он. — Ездит на слонах в хаудах и называет себя принцем! Хороши принцы — ха-ха! Приезжают сюда и говорят про лошадей так, что вы можете принять их за президентов. А потом возвращаются домой и ездят верхом на слонах. Ладно, знаем мы их!

Вышибательный комитет спокойно ретировался. Поноситель принцев повернулся ко мне и щелкнул пальцами.

¹³ Барода — большой город Индии, к северу от Бомбея, в провинции Гуфкерат.

¹⁴ Хауда — сиденье, покрытое балдахином, укрепляемое на спине слона.

— Ну, как вам нравится такое обращение? — с возмущением крикнул он мне. — Гайквар Бароды ездит на слоне в хауде. А старый Бикрам-Шамшер-янг жарит по тропинкам Катманду¹⁵ на мотоциклетке. Ну, не магараджество ли это? А шах персидский, у того, видите ли, привычка развезжать в паланкинах. А тот, с такой забавной шапкой, принц из Кореи — вы подумали бы, что он может себе позволить прокатиться на белоснежном коне хоть раз во время своего царствования. Ничего подобного! Он находит самым приличным подоткнуть под себя юбки и ехать по Сеулу в телеге, запряженной быками, со скоростью одной мили в шесть дней. Вот какой сорт правителей приезжает к нам теперь в гости. Да, плохие времена теперь, дружище!

Я пробормотал несколько сочувственных слов. Свое сочувствие я мог выразить только общими фразами, потому что я не знал, чем его обидели правители, которые, подобно метеорам, время от времени появляются на нашем небосклоне.

— Последний раз мне удалось продать седло, — продолжал обиженный, — тому турецкому паше, который приехал сюда год тому назад. Он с легкостью заплатил мне за него пятьсот долларов. Я спросил его палача или секретаря — он походил не то на румына, не то на китайца — «его турецкое величество любит, значит, лошадей?»

— Он? — сказал секретарь. — И не думает. У него в гареме толстая, жирная жена, которую зовут Бад-Дора и которую он не любит. Я думаю, он намеревается ее оседлать и ездить на ней каждый день взад и вперед по дорожкам Бульбульского леса. Нет ли у вас парочки особенно длинных шпор, которые вы могли бы приложить нам к покупке? — Так вот, сэр. В наше время среди королей очень мало отважных всадников.

Как только Лукулл Польк немного успокоился, я его подхватил и соблазнил его пойти со мною в прохладный уголок кафе. Для этого мне потребовалось не больше усилий, чем для того, чтобы убедить утопающего схватиться за соломинку.

И когда после долгого ожидания официанты поставили перед нами пиво, Лукулл Польк вдохновился и приступил к изложению причин, почему он осаждаст приемные кабинеты иностранных владык.

— Слышали ли вы когда-нибудь о железнодорожной компании в Техасе? Ну, про нее нельзя сказать, что она благотворительное общество для оказания помощи актерам. Я одно время развезжал по западным деревушкам с летней труппой актеров из того сорта, которые жуют слова, как табак. Конечно, наше предприятие лопнуло, когда субретка убежала с имевшим шумный успех бивильским¹⁶ цирюльником. Я не знаю, что случилось с остальной труппой. Я их видел в последний раз, когда я им заявил, что в кассе нашего предприятия было сорок три цента. Правда, я их никогда после этого не видел, но я слышал их еще целых двадцать минут из леса, куда я бежал от их преследований. После наступления темноты я вышел из засады и обратился к агенту железнодорожной компании с просьбой переправить меня бесплатно в ближайший город. Он, от лица всей железнодорожной компании, рассыпался передо мною в любезностях, но посоветовал мне, однако, не садиться в вагон без билета.

Около десяти часов следующего утра я по шпалам дошел до станции Атаскоза-Сити. Я купил себе завтрак на тридцать центов и десятицентовую ситару и стоял на главной улице, побрякивая в кармане оставшимися тремя пенни. Я вконец обанкротился. Положение человека в Техасе, у которого в кармане только три цента, несколько не лучше положения человека, у которого три цента долга.

Один из любимейших трюков судьбы — лишить человека последнего доллара так быстро, чтобы тот не имел даже возможности хорошенько посмотреть на него. И вот я стоял в шикарном костюме из Сан-Луи, в синюю и зеленую клетку, с восемнадцатикаратовым фальшивым брильянтом в булавке, а в перспективе — ничего.

¹⁵ Катманду — столица королевства Непал в Индии.

¹⁶ Севильским.

Внезапно в то время, как я стоял на краю деревянного тротуара, с неба упала вниз на середину улицы пара чудных золотых часов. Одни часы попали в кучу грязи и завязли в ней. Другие упали на твердую землю, раскрылись, и из них посыпались пружины, колеса и винтики. Я взглянул наверх, ища аэроплана или тому подобное. Но я ничего не увидел, а потому сошел с тротуара, чтобы произвести расследование.

Но тут я услышал крики и увидел двух бегущих мужчин в кожаных куртках, в сапогах на высоких каблуках и в шляпах величиной с колесо телеги. Один из них был ростом в шесть или восемь футов, неуклюжий, и на лице его было выражение безысходной скуки. Он поднял часы, которые упали в грязь. Другой — маленького роста, с рыжими волосами и светлыми глазами — подошел к пустому футляру и заявил: «Я выиграл».

Тогда высокий человек засунул руку в кожаные голенища и подал своему другу горсть двадцатидолларовых золотых монет. Я не знаю, сколько там было денег, но мне показалось, что там было не меньше, чем в фонде для оказания помощи от землетрясения.

— Я наполню этот футляр механизмом, — сказал Коротыш, — и снова кину его на пари в пятьсот долларов.

— Идет, — сказал пессимист. — Мы встретимся с вами через час в кафе «Копченая Собака».

Маленький человечек поспешил, подпрыгивая, к ювелирному магазину. Меланхоличный же субъект оглянулся и внимательно, как в телескоп, посмотрел на меня.

— Здорово ловкая на вас экипировка, мистер, — сказал он. — Держу пари на лошадь, что вы не приобрели ее в Атаскоза-Сити.

— Конечно нет, — ответил я с полной готовностью познакомиться с этим денежным воплощением меланхолии. — Я заказал этот костюм в Сен-Луи у специалиста по части пиджаков, жилеток и невыразимых. Не будете ли вы добры просветить меня, — продолжал я, — относительно этого состязания в бросании часов? Я привык видеть, что с часами обращаются с большой вежливостью и уважением — конечно, за исключением дамских часов, которые служат для того, чтобы ими раскалывали грецкие орехи и показывали их на фотографиях.

— Я и Джордж, — объяснил он, — живем на ранчо, и с нами произошла забавная вещь. До последнего месяца мы владели четырьмя участками пастбища на Сен-Мигуэле. Но вот однажды к нам явился какой-то нефтепромышленник и стал бурить почву! Он попал на фонтан, который выбивает двадцать тысяч — а может быть, и двадцать миллионов — бочек нефти в сутки. И я и Джордж получили за землю сто пятьдесят тысяч долларов — по семьдесят пять тысяч на брата. И вот мы время от времени седлаем лошадей и приезжаем на несколько дней в Атаскоза-Сити, чтобы немного встряхнуть себя. Вот малая толика монет, которые я вынул сегодня утром из банка, — сказал он и показал пачку двадцаток и пятидесяток такой величины, как подушка в спальном вагоне. Желтые кредитки блестели, как солнечный закат на крыше рокфеллеровской риги. Я почувствовал слабость в ногах и уселся на краю дощатого тротуара.

— Вы, должно быть, здорово пошатались по белу свету, — продолжал нефтяной крез. — Я не удивляюсь, если вы видели города, оживленнее Атаскозы-Сити. Иногда мне кажется, что должны быть еще другие способы развлекаться, в особенности если у вас есть достаточно денег и вы не жалеете их тратить.

Затем этот «наивный цыпленок» садится около меня, и мы вступаем в беседу. Оказывается, он был всегда бедняком. Он жил всю жизнь в лагерях при ранчо, и он признался мне, что самой большой роскошью для него казалось прискакать в лагерь усталым после загона скота, съесть гарнец мексиканских бобов, одурманить свои мозги пинтой крепкого виски и улечься спать, подложив под голову сапоги вместо подушки. Вы можете себе представить, что с ним случилось, когда эта куча неожиданных денег свалилась ему с неба.

Он поспешил с товарищем в эту деревушку, громко именуемую Атаскоза-Сити. У них было достаточно денег, чтобы купить все, что бы они ни пожелали, но они не знали, чего они желают. Их представление о мотовстве ограничивалось тремя предметами — виски, седлами

и золотыми часами. Они даже никогда не слышали, что на свете существовало что-нибудь другое, на что можно было потратить целое состояние. Поэтому, когда им хотелось поразвлечься, они приезжали в город, брали адресную книгу, становились перед главной пивной и вызывали население в алфавитном порядке для угощения даровой выпивкой. Затем они заказывали три или четыре новых калифорнийских седла у шорного мастера и играли на тротуаре в орлянку двадцатидолларовыми золотыми монетами. Состязание на пари, кто дальше бросит золотые часы, придумал Джордж; но даже и это становилось им скучным.

Вы, конечно, сейчас же подумали, какой благоприятный случай подвернулся мне. Но слушайте дальше.

В полчаса я набросал картину столичных увеселений, в сравнении с которыми жизнь в Атаскоза-Сити должна была показаться такой же унылой, как поездка на остров Коней с вашей собственной женой. Еще через десять минут мы ударили по рукам в знак согласия, что я буду его проводником, помощником и другом при вышеупомянутых кутежах и развлечениях. Соломон Милльс — так звали его — должен был платить за все издержки в течение месяца. К концу этого срока, если я окажусь хорошим директором-распорядителем веселой жизни, он должен был мне выплатить тысячу долларов. Затем, чтобы подкрепить сделку, мы вызвали всех граждан Атаскоза-Сити и угощали их до тех пор, пока они не свалились под стол, за исключением женщин и несовершеннолетних и одного мужчины, по имени Гораций Уэстервелт Сен-Клер. За то, что он не хотел принимать участия в попойке, мы закидали его тухлыми яйцами и принудили скрыться из Атаскоза-Сити. Затем мы вытащили из постели шорника и сделали ему спешный заказ на три новых седла. После всего этого мы улеглись спать поперек железнодорожного пути у вокзала, только чтобы досадить железнодорожной компании. Подумайте, какое приподнятое настроение должно быть у человека, имеющего семьдесят пять тысяч долларов и старающегося избежать позора умереть богачом в таком городе, как Атаскоза-Сити.

На следующий день Джордж, который был женат или что-то в этом роде, отправился обратно на ранчо. Мы же с Солли, как я теперь его называл, приготовились отряхнуть прах от наших ног и полететь к ярким огонькам веселого шумного Востока.

— Никаких остановок на пути, — сказал я Солли, — за исключением того, сколько потребуется, чтобы вас выбрить. Это вам не Техас, — сказал я, — где вы едите бобы и орете на всю площадь. Теперь вы увидите настоящий хай-лайф. Мы будем жить среди людей, которые держат шпичев, носят гетры и ведут жизнь на широкую ногу.

Солли засунул шесть тысяч долларов сотенными билетами в один карман своих коричневых шаровар и на десять тысяч долларов чеков на восточные банки в другой карман. Затем я возобновил дипломатические переговоры с железнодорожной компанией, и мы отправились в северо-западном направлении кружным путем к волшебным садам Востока.

Мы остановились в Сан-Антонио, только чтобы купить Солли подходящую одежду, угостить восьмью кружками пива постояльцев и служащих отеля «Менджер» и заказать четыре мексиканских седла с серебряной отделкой, который должны были быть отправлены на пароходе на ранчо. Из Сан-Антонио мы сделали большой прыжок в Сан-Луи. Мы приехали туда к обеденному времени, и я выбрал из списка городских отелей самый дорогой.

— Ну, — сказал я Солли шутливым тоном, — это первый ресторан, где мы можем получить действительно хорошее блюдо бобов.

Пока он прошел в свою комнату и старался накачать себе воду из газового рожка, я отшел в сторону метрдотеля и сунул ему двадцатидолларовый билет.

— Любезнейший, — сказал я, — со мной здесь товарищ, который несколько лет сидел только на кормовом хлебе и грубой пище. Пройдите к главному повару и закажите для нас такой обед, какой вы подаете главному представителю железных рудников, когда он у вас останавливается. Цена не играет для нас роли. Ну, покажите нам, что вы умеете.

В шесть часов Солли и я уселись за обед. Ничего подобного никогда не было видано! Это был настоящий лукулловский обед. Все подавалось сразу. Метрдотель назвал это *dinnau a la roker*. Это излюбленный способ среди гурманов Запада. Обед подается по три блюда

одного сорта. Нам подали гвинейскую курицу, гвинейскую свинину и гвинейский портер; жареную телятину, черепаший суп из голубя и паштет из цыплят; икру, горошек и тапиоку; фрикасе из утки, фрикасе из ветчины и фрикасе из цыплят; филадельфийский каплун, жареные улитки и джин — и так далее. Вы едите все, что хотите, а потом официант уносит остатки и подает в антрактах груши.

Я был уверен, что Солли будет до крайности восхищен этим сногшибательным обедом после той мерзости, которую он ел на ранчо. И я даже ждал, что он выразит как-нибудь свой восторг, потому что с тех пор, как мы уехали из Атаскозы-Сити, я не помнил, чтобы он почтил мои старания его развлечь хотя бы улыбкой.

Мы сидели в главном обеденном зале, битком набитом нарядной публикой. Все громко и оживленно болтали, а в углу залы весело играл шикарный оркестр. Ну, подумал я, теперь мой Солли увидит прелести жизни и развеселится. Не тут-то было!

Стол, за которым мы сидели, был в четыре квадратных ярда, и было похоже, будто циклон прошелся по скотному двору, курятнику и огороду. Солли встал и, обойдя вокруг стола, подошел ко мне.

— Лукки, — сказал он, — я здорово голоден после нашей поездки. Мне показалось, что вы сказали, будто здесь можно получить фасоль. Я выйду и достану что-нибудь поесть. Вы можете остаться и, если желаете, можете забавляться этой едой.

— Подождите минутку, — сказал я.

Я позвал официанта, и он расписался на задней стороне счета в тринадцать долларов и пятьдесят центов.

— Что вы думаете, — сказал я ему, — подавать нам всякую дрянь, пригодную только для матросов на миссисипских пароходах? Мы пойдем искать какую-нибудь приличную еду.

Я вышел на улицу с несчастным сыном прерии. Он увидел открытую седельную лавку, и глаза его немного повеселели. Мы вошли в магазин, и он заказал еще два седла и заплатил за них всю сумму вперед. Одно седло было с массивной серебряной отделкой, серебряными гвоздями и бордюром из разноцветных камней. Второе седло было с позолоченной отделкой, позолоченными стременами, а кожа была отделана, где только можно, серебряными бусами. Оба седла обошлись ему в тысячу сто долларов.

Выйдя из магазина, Солли направился прямо к реке, следуя своему чутью. В небольшой боковой улице, где не было ни тротуаров, ни домов, он нашел то, что искал. Мы вошли в харчевню, сели на высокие табуреты среди лодочников и начали есть фасоль оловянными ложками. Да, сэр, фасоль, сваренную с соленой свининой.

— Я так и думал, что эта дорога нас приведет к фасоли, — сказал Солли.

— Восхитительно, — сказал я. — Этот стильный ресторан, может быть, и приходится кому-нибудь по вкусу, но я стою за табльдот.

Когда мы одолели фасоль, я вывел его из пропитанной матросскими испарениями харчевни на улицу под фонарь и протянул ему газету, раскрытую на отделе «Зрелища».

— Ну, — сказал я, — веселых развлечений хоть отбавляй. Можно пойти или на пьесу Холла Кэна, или в скейтингринг, или на Сару Бернар, или на хор прелестных сирен. Я думаю пойти на хор...

Но этот здоровый, богатый и мудрый человек протянул только руки и громко зевнул.

— А я думаю пойти спать, — сказал он. — Я всегда после обеда отдыхаю. Сен-Луи, кажется, очень тихий город, не правда ли?

— О да, — сказал я, — с тех пор как проведена сюда железная дорога, город фактически разорен. А строительные общества и ярмарка чуть не убили его. Думаю, что вы правы — нам лучше пойти спать. Вот когда мы будем в Чикаго... не взять ли нам завтра билеты и поехать в этот прелестный и оживленный город?

— Можно, — сказал Солли. — Но я полагаю, что все эти города приблизительно похожи друг на друга.

Опытному чичероне не так трудно исполнять свои обязанности в Чикаго. Там имеется одно или два значных места, рассчитанных на то, чтобы не дать заснуть посетителю после

закрытия ресторанов. Но для человека, проведшего всю жизнь на ранчо, они оказались непригодны. Я все испробовал — театры, поездки в автомобиле, катанье на парусной лодке по озеру, ужины с шампанским и все прочие аттракционы, разгоняющие скуку. Но все было напрасно. Солли день ото дня делался все печальнее и мрачнее. И я испугался за свое жалованье и понял, что должен пойти козырной картой. Поэтому я упомянул о Нью-Йорке и сообщил ему, что все эти западные города были только преддверием к великому городу пляшущих дервишей.

После того как я купил билеты, я хватился Солли. Солли исчез. Я уже знал его привычки, а потому начал искать его в шорных магазинах. Тамошние шорники ввели какие-то изменения в подпругах и арчаках, перенятые от канадской конной полиции, и Солли так заинтересовался ими, что почти примирился с жизнью и оставил в магазине около девятисот долларов.

С вокзала я телеграфировал владельцу сигарного магазина в Нью-Йорке, которого я знал, и просил встретить меня у паромы на Двадцать третьей улице со списком всех седельных магазинов в городе. Я хотел знать, где мне искать Солли, на случай, если он опять пропадет.

Теперь я вам расскажу, что случилось с нами в Нью-Йорке. Я подумал про себя: «Ну, дружище Шехерезада, теперь тебе нужно постараться, чтобы новый Багдад понравился твоему скучающему султану, или же тебе наступит конец».

Но я ни на минуту не сомневался, что мне это удастся.

Я начал заниматься его по такой же системе, как откармливают умирающего от голода человека. Сперва я показал ему запряженные лошадьми экипажи на Бродвее и паромные лодки. А затем я все повышал ощущения, оставляя про запас все более сильные.

К концу третьего дня у него был вид, как у пяти тысяч сирот, опоздавших на экскурсионный пароход, а я менял каждые два часа свой крахмальный воротник от усиленных мыслей, как его развеселить и получу ли я обещанную тыщонку. Он заснул, глядя на Бруклинский мост, он оставался равнодушным при виде небоскребов; потребовалось вмешательство трех капельдинеров, чтобы разбудить его на самом веселом водевиле.

Однажды вечером я пристегнул ему манжеты перед тем, как он проснулся после обеда, и потащил его в один из самых фешенебельных ресторанов Нью-Йорка, чтобы показать ему разных франтов и франтих. Их было там большое количество, и богатство страны отражалось на их нарядах. В то время как мы их осматривали, Солли разразился громким смехом. Он первый раз смеялся за все эти две недели и во мне пробудилась надежда.

— Ты прав, — сказал я. — Они выглядят как на открытках...

— О, я совсем не думал об этих франтах, — сказал он. — Я вспомнил, как Джордж и я всыпали однажды порошок для мытья овец Джонсону в виски. Как мне хотелось бы поехать обратно в Атаскоза-Сити, — прибавил он.

Я почувствовал, как холодная струйка пробежала у меня по спине.

— Нужно мне одним ходом сделать мат, — сказал я самому себе.

Я взял с Солли обещанье подождать меня в ресторане с полчаса, а сам помчался в кебе на квартиру Лолабель Делятур на Сорок третью улицу. Я хорошо знал Лолабель. Она была хористкой в музыкальной комедии на Бродвее.

— Джен, — сказал я, придя к ней. — Я привез сюда друга из Техаса. Он очень приличный, и... во всяком случае, он человек с весом. Я хотел бы его немного встряхнуть сегодня вечером после театра — знаете, с веселым ужином в казино. Согласны вы помочь мне в этом?

— А как его финансы? — спросила Лолабель.

— Вы знаете, — сказал я, — что я не привез бы его сюда, если бы его финансы не были бы в порядке. У него целые мешки денег — мешки из-под фасоли.

— Приведите его ко мне после второго акта, — сказала Лолабель. — Я рассмотрю его доверительные грамоты.

Итак, около десяти часов вечера я повел Солли к уборной мисс Лолабель, и ее горничная впустила нас. Через десять минут явилась Лолабель, прямо со сцены. Она выглядела умопомрачительно. Она была в том самом костюме, в котором она выходит из рядов дамских

гренадер и говорит королю: «Добро пожаловать к нашему майскому пиршеству». И можно держать пари, что она получила эту роль только благодаря своей красивой фигуре.

Как только Солли увидел ее, он встал и вышел прямо на улицу. Я последовал за ним. Лолабель не оправдала моих надежд...

— Люк, — сказал Солли на улице, — произошла ужасная ошибка. Мы, должно быть, попали в дамскую спальню, потому что леди не была одета. Я настолько джентльмен, что сделаю все, что в моих силах, чтобы принести извинение. Как ты думаешь, простит ли она нам когда-нибудь?

— Она может забыть этот казус, — сказал я. — Конечно, это была ошибка. Пойдем поищем где-нибудь фасоли.

Таким-то образом шли наши дела. Но очень скоро после этого Солли не появлялся к обеденному времени в течение нескольких дней. Я прижал его к стене. Он признался, что он нашел ресторан на Третьей Авеню, где готовят фасоль по-техасски. Я заставил его повести меня туда. В тот момент, как я шагнул через порог, я воздел руки к небесам.

За конторкой сидела молодая женщина, и Солли меня представил ей. А затем мы сели за столик, и нам подали фасоль.

— Да, сэр, за конторкой сидела молодая женщина того сорта, которая может поймать любого мужчину с такой же легкостью, как поднять палец. Есть для этого особый способ. Она знала его. Я видел, как она его применяла. Она была здоровая на вид и скромно одета. Волосы были причесаны назад — без всяких кудряшек. А теперь я вам расскажу, какой способ она применяла, чтобы понравиться ему. Это крайне просто. Когда женщина желает понравиться мужчине, она должна устроить так, чтобы всякий раз, как он на нее посмотрит — встретиться с его взглядом. Вот и все.

В следующий вечер Солли должен был отправиться со мною на остров Коней в семь часов. Пробыло восемь, а он все не появлялся. Я вышел и нанял кеб. Я чувствовал, что тут что-то неладно.

— Поезжайте сначала в ресторан «Уют» на Третьей Авеню, — сказал я. — А если я не найду его там, то заезжайте в следующие шорные лавки. — И я передал извозчику список.

Как только я подъехал к ресторану, я вспомнил хиромантию и почувствовал по линиям моей ладони, что мне нужно остерегаться высокого, рыжего, коварного человека и что меня ожидает потеря денег.

Солли не было в ресторане, а также и не было гладко причесанной леди.

Я остался ждать. Через час они подъехали в кебе и вышли из него под ручку. Я попросил Солли на пару слов. Он ухмылялся во все лицо, но, очевидно, не я вызвал эту улыбку.

— Она самая удивительная женщина на всем свете, — сказал он.

— Поздравляю, — сказал я. — Но я хотел бы получить теперь мою тыщонку.

— Ну, Люк, — сказал он, — я считаю, что я под твоей опекой не наслаждался райской жизнью. Но я сделаю для тебя все, что только могу, я сделаю все, что могу, — повторил он. — Мисс Скиннер и я повенчались час тому назад. Завтра утром мы уезжаем в Техас.

— Великолепно! — сказал я. — Но к нашим деловым отношениям это не относится. Как насчет моего гонорара?

— Миссис Милльс, — сказал он, — завладела моими деньгами и чеками, за исключением шести серебряных монет. Я ей рассказал, какое у меня с тобою соглашение. Но она заявила, что это нелегальный контракт и что она не заплатит ни одного цента. Но я хочу поступить с тобою честно. У меня на ранчо восемьдесят семь седел, которые я купил во время этой поездки. Когда я вернусь, я выберу шесть самых лучших седел из всей кучи и пошлю их тебе.

— И он прислал вам? — спросил я Лукулла Полька, когда он кончил свой рассказ.

— Прислал. И они такие шикарные, что только королям впору на них ездить. Те шесть седел, которые он мне прислал, должно быть, стоили ему три тысячи долларов. Но где же найти для них покупателя? Кто может их купить, кроме этих азиатских или африканских раджей и князей? Я составил список их всех. Я знаю каждого смуглолицего царька и самого мелкого князька от Миндонао до Каспийского моря.

— Вам приходится очень долго ждать ваших покупателей, — заметил я.

— Теперь они приезжают чаще, — сказал Лукулл. — В наше время как только один из этих дикарей становится настолько цивилизованным, что отменяет закон о сожжении на кострах вдов и не употребляет свою бороду вместо салфетки, он провозглашает себя восточным Рузвельтом и приезжает сюда, чтобы ознакомиться с нашими коктейлями. Я пристрою еще все свои седла. Вот посмотрите.

Он вытащил из внутреннего кармана сложенную газету с обтрепанными краями и указал мне на одну заметку.

— Прочтите это, — сказал царский поставщик седел.

Заметка гласила:

«Его величество Сеид Фейзаль, имам Муската, один из самых прогрессивных и просвещенных правителей Старого Света. Его конюшни содержат более тысячи лошадей чистокровной персидской породы. Передают, что этот могущественный князь предполагает в скором времени посетить Соединенные Штаты».

— Вот! — торжествующе воскликнул мистер Полюк — Я могу считать свое лучшее седло уже проданным — то, которое отделано по краям бирюзой... Нет ли у вас трех долларов, которые вы могли бы мне одолжить на короткое время?

Случайно у меня были три доллара, и я их дал ему.

Если эти строки попадутся на глаза имаму Муската, то пусть они послужат к ускорению его посещения «страны Свободы». Иначе я опасюсь, что буду навсегда разлучен с моими тремя долларами.

Санаторий на ранчо

Перевод Т. Озерской

Если вы следите за хроникой ринга, вы легко припомните этот случай. В начале девяностых годов по ту сторону одной пограничной реки состоялась встреча чемпиона с претендентом на это звание, длившаяся всего минуту и несколько секунд.

Столь короткая схватка — большая редкость и форменное надувательство, так как она обманывает ожидания ценителей настоящего спорта. Репортеры постарались выжать из нее все возможное, но если отбросить то, что они присочинили, схватка выглядела до грусти неинтересной. Чемпион просто швырнул на пол свою жертву, повернулся к ней спиной и, проворчав: «Я знаю, что этот труп уже не встанет», протянул секунданту длинную, как мачта, руку, чтобы он снял с нее перчатку.

Этим и объясняется то обстоятельство, что на следующее утро, едва забрезжил рассвет, полный пассажирский комплект донельзя раздосадованных джентльменов в модных жилетах и буйно пестрых галстуках высыпал из пульмановского вагона на вокзале в Сан-Антонио. Этим же объясняется отчасти и то плачевное положение, в котором оказался «Сверчок» Мак-Гайр, когда он выскочил из вагона и повалился на платформу, раздираемый на части сухим, лающим кашлем, столь привычным для слуха обитателей Сан-Антонио. Случилось, что в это же самое время Кертис Рейдлер, скотовод из округа Нуэсес — да будет над ним благословение Божие! — проходил по платформе в бледных лучах утренней зари.

Скотовод поднялся спозаранку, так как спешил домой и хотел захватить поезд, отходивший на юг. Остановившись возле незадачливого покровителя спорта, он произнес участливо, характерным для техасца тягучим говором:

— Что, худо тебе, бедняжка?

«Сверчок» Мак-Гайр — бывший боксер веса пера, жокей, жучок, специалист в три листика и завсегдатай баров и спортивных клубов — воинственно вскинул глаза на человека,

обозвавшего его «бедняжкой».

— Катись, Телеграфный Столб, — прохрипел он. — Я не звонил.

Новый приступ кашля начал выворачивать его наизнанку, и, обессиленный, он привалился к багажной тележке. Рейдлер терпеливо ждал, пока пройдет кашель, поглядывая на белые шляпы, короткие пальто и толстые сигары, загромоздившие платформу.

— Ты, верно, с севера, сынок? — спросил он, когда кашель стал утихать. — Ездил поглядеть на бокс?

— Бокс! — фыркнул Мак-Гайр. — Игра в пятнашки! Дал ему раза и уложил на пол быстрее, чем врач укладывает больного в могилу. Бокс! — Он поперхнулся, закашлялся и продолжал, не столько адресуясь к скотоводу, сколько стремясь отвести душу: — Верный выигрыш! Нет уж, больше меня на эту удочку не поймаешь. А ведь на такую приманку клюнул бы и сам Рокфеллер. Пять против одного, что этот парень из Корка, не продержится трех раундов — вот же я на что ставил! Все вложил, до последнего цента, и уже чуял запах опилок в этом ночном кабаке на Тридцать седьмой улице, который я сторговал у Джима Дилэни. И вдруг... Ну, скажите хоть вы, Телеграфный Столб, каким нужно быть обормотом, чтобы всадить свое последнее достояние в одну встречу двух остолопов?

— Что верно, то верно, — сказал могучий скотовод. — Особенно если денежки-то ухнули. А тебе, сынок, лучше бы пойти в гостиницу. Это скверный кашель. Легкие?

— Да, нелегкая их возьми! — последовал исчерпывающий ответ. — Заполучил удовольствие. Старый филин сказал, что я протяну еще с полгода, а может, и с год, если перемену аллюр и буду держать себя в узде. Вот я и хотел осесть где-нибудь и взяться за ум. Может, я потому и рискнул на пять против одного. У меня была припасена железная тысяча долларов. В случае выигрыша кафе Дилэни перешло бы ко мне. Ну, кто мог думать, что эту дубину уложат в первом же раунде?

— Да, не повезло тебе, — сказал Рейдлер, глядя на миниатюрную фигурку Мак-Гайра, прислонившуюся к тележке. — А сейчас, сынок, пойдика ты в гостиницу и отдохни. Здесь есть «Менджер», и «Маверик», и...

— И «Пятая авеню», и «Уолдорф-Астория», — передразнил его Мак-Гайр. — Вы что, не слышали? Я прогорел. У меня нет ничего, кроме этих штанов и одной монеты в десять центов. Может, мне было бы полезно отправиться в Европу или совершить путешествие на собственной яхте?.. Эй, газету!

Он бросил десять центов мальчишке-газетчику, схватил «Экспресс» и, примостившись поудобнее к тележке, погрузился в отчет о своем Ватерлоо, раздутым по мере сил изобретательной прессой.

Кертис Рейдлер поглядел на свои огромные золотые часы и тронул Мак-Гайра за плечо.

— Пойдем, сынок, — сказал он. — Осталось три минуты до поезда.

Сарказм, по-видимому, был у Мак-Гайра в крови.

— Вы что — видели, как я сорвал банк в железку или выиграл пари, после того как минуту назад я сказал вам, что у меня нет ни гроша? Ступайте своей дорогой, приятель.

— Ты поедешь со мной на мое ранчо и будешь жить там, пока не поправишься, — сказал скотовод. — Через полгода ты забудешь про свою хворь, малыш. — Одной рукой он приподнял Мак-Гайра и повлек его к поезду.

— А чем я буду платить? — спросил Мак-Гайр, делая слабые попытки освободиться.

— Платить? За что? — удивился Рейдлер. Они озадаченно уставились друг на друга. Мысли их вертелись, как шестеренки конической зубчатой передачи, — у каждого вокруг своей оси и в противоположных направлениях.

Пассажиры поезда, идущего на юг, с любопытством поглядывали на эту пару, дивясь столь редкостному сочетанию противоположностей. Мак-Гайр был ростом пять футов один дюйм. По внешности он мог оказаться уроженцем Дублина, а быть может, и Йокогамы. Острый взгляд, острые скулы и подбородок, шрамы на костлявом дерзком лице, сухое жилистое тело, побывавшее во многих переделках, — этот парень, задиристый с виду, как шершень, не был явлением новым или необычным в этих краях. Рейдлер вырос на другой

почве. Шести футов двух дюймов росту и необъятной ширины в плечах, он был, что называется, душа нараспашку. Запад и Юг соединились в нем. Представители этого типа еще мало воспроизводились на полотне, ибо наши картинные галереи миниатюрны, а кинематограф пока не получил распространения в Техасе. Достоинно запечатлеть образ такого детины, как Рейдлер, могла бы, пожалуй, только фреска — нечто огромное, спокойное, простое и не заключенное в раму.

Экспресс мчал их на юг. Зеленые просторы прерий наступали на леса, дробя их, превращая в разбросанные на широком пространстве темные купы деревьев. Это была страна ранчо, владения коровьих королей.

Мак-Гайр сидел, забившись в угол, и с острым недоверием прислушивался к словам скотовода. Какую штуку задумал сыграть с ним этот здоровенный старичина, который тащит его неизвестно куда? То, что им руководит бескорыстное участие, меньше всего могло прийти Мак-Гайру на ум. «Он не фермер, — рассуждал пленник, — да и на жулика не похож. Что ж это за птица? Ну, гляди в оба, «Сверчок», — не крапленая ли у него колода? Теперь уж хочешь не хочешь, а деваться некуда. У тебя скоротечная чахотка и пять центов в кармане, так что сиди тихо. Сиди тихо и гляди, что он там замышляет».

В Ринконе, в ста милях от Сан-Антонио, они сошли с поезда и пересели в таратайку, которая ждала Рейдлера на станции, после чего покрыли еще тридцать миль, прежде чем добрались до места своего назначения. Именно эта часть путешествия могла бы, казалось, открыть подозрительному Мак-Гайру глаза на подлинный смысл его пленения. Они катили на бархатных колесах по ликующему раздолью саванны. Пара резвых испанских лошадок бежала ровной, неутомимой рысцой, порой по собственному почину пускаясь вскачь. Воздух пьянил, как вино, и освежал, как сельтерская, и с каждым глотком его путешественники вдыхали нежное благоухание полевых цветов. Дорога понемногу затерялась в траве, а таратайка поплыла по зеленым степным бурунам, направляемая опытной рукой Рейдлера, которому каждая едва приметная рожица, мелькнувшая вдали, служила знакомой вехой, каждый мягкий изгиб холмов на горизонте указывал направление и отмечал расстояние. Но Мак-Гайр, откинувшись на сиденье, с угрюмым недоверием внимал скотоводу и не видел вокруг себя ничего, кроме безлюдной пустыни.

«Что он замышляет? — тяготила его неотвязная мысль. — Какую аферу обмозговал этот верзила?» Среди необозримых просторов, ограниченных только линией горизонта да четвертым измерением, Мак-Гайр подходил к людям с меркой жителя тесных городских кварталов.

Неделей раньше, проезжая верхом по прерии, Рейдлер наткнулся на больного теленка, который жалобно мычал, отбившись от стада. Не спешиваясь, Рейдлер нагнулся, перебрал этого горемыку через седло и передал на попечение своих ковбоев на ранчо. Откуда было Мак-Гайру знать, — да и как бы вместились это в его сознание, — что он в глазах Рейдлера был примерно то же, что этот теленок, — больное, беспомощное создание, нуждавшееся в чьей-то заботе. Рейдлер увидел, что он может помочь, и этого было для него достаточно. С его точки зрения все это было вполне логично, а значит, и правильно. Мак-Гайр был седьмым по счету недужным, которого Рейдлер случайно подобрал в Сан-Антонио, куда в погоне за озоном, застревающим якобы в его узких улочках, тысячами стекаются больные чахоткой. Пятеро из его гостей жили на ранчо Солито, пока не выздоровели или не окрепли, и со слезами благодарности на глазах распростились с гостеприимным хозяином. Шестой попал сюда слишком поздно, но, отмучившись, обрел в конце концов вечный покой в тихом углу сада под раскидистым деревом.

Поэтому никто на ранчо не был удивлен, когда таратайка подкатила к крыльцу и Рейдлер извлек оттуда своего больного протеже, поднял его, словно узел тряпья, и водворил на веранду.

Мак-Гайр окинул взглядом непривычную для него картину. Дом на ранчо Солито считался лучшим в округе. Он был сложен из кирпича, привезенного сюда на лошадях за сотню миль, но имел всего один этаж, в котором размещались четыре комнаты, окруженные

верандой с земляным полом, носившей название «галерейки». Пестрый ассортимент лошадей, собак, седел, повозок, ружей и всевозможных принадлежностей ковбойского обихода поразил столичное око прогоревшего спортсмена.

— Вот мы и дома, — весело сказал Рейдлер.

— Ну и чертова же дыра! — выпалил Мак-Гайр и покатился на пол веранды в судорожном приступе кашля.

— Мы постараемся устроить тебя поудобнее, сынок, — мягко сказал хозяин. — В доме-то у нас, конечно, не шикарно, но зато на воле хорошо, а для тебя ведь это самое главное. Вот твоя комната. Что понадобится — спрашивай, не стесняйся.

Рейдлер ввел Мак-Гайра в комнату, расположенную на восточной стороне дома. Незастеленный пол был чисто вымыт. Свежий ветерок колыхал белые занавески на окнах. Большое плетеное кресло-качалка, два простых стула и длинный стол, заваленный газетами, трубками, табаком, шпорами и ружейными патронами, стояли в центре комнаты. Несколько хорошо выделанных оленьих голов и одна огромная, черная, кабанья смотрели со стен. В углу помещалась широкая парусиновая складная кровать. В глазах всех окрестных жителей комната для гостей на ранчо Солито была резиденцией, достойной принца. Мак-Гайр при виде ее широко осклабился. Он вытащил из кармана свои пять центов и подбросил их в потолок.

— Вы думали, я вру насчет денег? Вот, можете теперь меня обыскать, если вам угодно. Это было последнее из моих сокровищ. Ну, кто будет платить?

Ясные серые глаза Рейдлера твердо взглянули из-под седеющих бровей прямо в черные бусинки глаз Мак-Гайра. Немного помолчав, он сказал просто, без гнева:

— Ты меня очень обяжешь, сынок, если не будешь больше поминать о деньгах. Раз сказал, и хватит. Я не беру со своих гостей платы, да они обычно и не предлагают мне ее. Ужин будет готов через полчаса. Вот тут вода в кувшине, а в том, красном, что висит на галерейке, — похолоднее, для питья.

— А где звонок? — озираясь по сторонам, спросил Мак-Гайр.

— Звонок? А для чего?

— Звонить. Когда что-нибудь понадобится. Я же не могу... Послушайте, вы! — закричал он вдруг, охваченный бессильной злобой. — Я не просил вас тащить меня сюда! Я не клянчил у вас денег! Я не старался разжалобить вас — вы сами ко мне пристали! Я болен! Я не могу двигаться! А тут за пятьдесят миль кругом ни коридорного, ни коктейля! О черт! Как я влип! — И Мак-Гайр повалился на койку и судорожно разрыдался.

Рейдлер подошел к двери и позвал слугу. Стройный краснощекий мексиканец лет двадцати быстро вошел в комнату. Рейдлер заговорил с ним по-испански.

— Иларио, помнится, я обещал тебе с осени место ваquero в лагере Сан-Карлос?

— Si, Senor, такая была ваша милость.

— Ну, слушай. Этот Senorito — мой друг. Он очень болен. Будешь ему прислуживать. Находишь неотлучно при нем, исполняй все его распоряжения. Тут нужна забота, Иларио, и терпение. А когда он поправится или... а когда он поправится, я сделаю тебя не ваquero, а mayordomo¹⁷ на ранчо де ля Пьедрас. Esta bueno?¹⁸

— Si, si, mil gracias, Senor!¹⁹ — Иларио в знак благодарности хотел было опуститься на одно колено, но Рейдлер шутливо пнул его ногой, проворчав:

— Ну, ну, без балетных номеров...

Десять минут спустя Иларио, покинув комнату Мак-Гайра, предстал перед Рейдлером.

— Маленький Senor, — заявил он, — шлет вам поклон (Рейдлер отнес это вступление за

¹⁷ Старший объездчик (*исп.*) .

¹⁸ Хорошо? (*исп.*)

¹⁹ Да, да, спасибо, сеньор (*исп.*) .

счет любезности Иларио) и просит передать, что ему нужен колотый лед, горячая ванна, гренки, одна порция джина с сельтерской, закрыть все окна, позвать парикмахера, одна пачка папирос, «Нью-Йорк геральд» и отправить телеграмму.

Рейдлер достал из своего аптечного шкафчика бутылку виски.

— Вот, отнеси ему, — сказал он.

Так на ранчо Солито установился режим террора. Первые недели Мак-Гайр хвастал напрапалую и страшно заносился перед ковбоями, которые съезжались с самых отдаленных пастбищ поглядеть на последнее приобретение Рейдлера. Мак-Гайр был совершенно новым для них явлением. Он посвящал их в различные тонкости боксерского искусства, щеголяя хитроумными приемами защиты и нападения. Он раскрывал их изумленному взору всю изнанку жизни профессиональных спортсменов. Они без конца дивились его речи, пересыпанной жаргонными словечками, и забавлялись ею от души. Его жесты, его странные позы, откровенная дерзость его языка и принципов завораживали их. Он был для них существом из другого мира.

Как это ни странно, но тот новый мир, в который он сам попал, словно не существовал для него. Он был законченным эгоистом из мира кирпича и известки. Ему казалось, что судьба зашвырнула его куда-то в пустое пространство, где он не обнаружил ничего, кроме нескольких слушателей, готовых внимать его хвастливым реминисценциям. Ни безграничные просторы залитых солнцем прерий, ни величавая тишина звездных ночей не тронули его души. Все самые яркие краски Авроры не могли оторвать его от розовых страниц спортивного журнала. Прожить на шармака — было его девизом, кабак на Тридцать седьмой — венцом его стремлений.

Месяца через два он начал жаловаться, что здоровье его ухудшилось. С этого момента он стал бичом, чумой, кошмаром ранчо Солито. Словно какой-то злой гном или капризная женщина, сидел он в своем углу, хныча, скуля, обвиняя и проклиная. Все его жалобы звучали на один лад: его против воли ввергли в эту геенну огненную, где он гибнет от отсутствия ухода и комфорта. Однако вопреки его отчаянным воплям, что ему якобы день ото дня становится хуже, с виду он несколько не изменился. Все тот же дьявольский огонек горел в черных бусинках его глаз, голос его звучал все так же резко, тощее лицо — кости, обтянутые кожей, — достигнув предела худобы, уже не могло отощать еще больше. Лихорадочный румянец, вспыхивавший по вечерам на его торчащих скулах, наводил на мысль о том, что термометр мог бы, вероятно, зафиксировать болезненное состояние, а выслушивание — установить, что Мак-Гайр дышит только одним легким, но внешний облик его не изменился ни на иоту.

Иларио бессменно прислуживал ему. Обещанное повышение в чине, как видно, было для юноши большой приманкой, ибо горше горького стало его существование при Мак-Гайре. По распоряжению больного все окна в комнате были наглухо закрыты, шторы спущены и всякий доступ свежего воздуха прекращен. Так Мак-Гайр лишал себя своей единственной надежды на спасение. В комнате нельзя было продохнуть от едкого табачного дыма. Кто бы ни зашел к Мак-Гайру, должен был сидеть, задыхаясь в дыму, и слушать, как этот бесенок хвастает напрапалую своей скандальной карьерой.

Но всего удивительнее были отношения, установившиеся у Мак-Гайра с хозяином дома. Больной третирует своего благодетеля, как своенравный, избалованный ребенок третирует не в меру снисходительного отца. Когда Рейдлер отлучался из дома, на Мак-Гайра нападала хандра и он замыкался в угрюмом молчании. Но стоило Рейдлеру переступить порог, и Мак-Гайр набрасывался на него с самыми колкими, язвительными упреками. Поведение Рейдлера по отношению к своему подопечному было в такой же мере непостижимо. Рейдлер, казалось, и сам поверил во все те страшные обвинения, которыми осыпал его Мак-Гайр, и чувствовал себя жестоким угнетателем и тираном. Он, очевидно, считал себя целиком ответственным за состояние здоровья своего гостя и с покаянным видом терпеливо и смиренно выслушивал все его нападки.

Как-то раз Рейдлер сказал Мак-Гайру:

— Попробуй больше бывать на воздухе, сынок. Бери мою таратайку и катайся хоть

каждый день. А то поживи недельку-другую с ребятами на выгоне. Я бы тебя там неплохо устроил. На свежем воздухе, да к земле поближе — это бы живо поставило тебя на ноги. Я знал одного парня из Филадельфии — еще хуже болел, чем ты, а как случилось ему заблудиться на Гвадалупе и две недели прожить на овечьем пастбище да поспать на голой земле, так сразу пошел на поправку. Воздух да земля — целебная штука. А то покатайся верхом. У меня есть смиренная лошадка...

— Что я вам сделал? — взвизгнул Мак-Гайр. — Разве я вам втирал очки? Заставлял вас привозить меня сюда? Просил об этом? А теперь — катись на выгон? Да уж пырнули бы просто ножом, чего там канитель разводите! Скачи верхом! А я ног не таскаю! Понятно? Пятилетний ребенок надаёт мне тумачков — я и то не смогу увернуться. А все ваше проклятое ранчо — это оно меня доконало. Здесь нечего есть, не на что глядеть, не с кем говорить, кроме орды троглодитов, которые не отличат боксерской груши от салата из омаров!

— У нас тут, правда, скучновато, — смущенно оправдывался Рейдлер. — Всего вдоволь — но все простое. Ну, да если что нужно, пошлем ребят, они привезут из города.

Чэд Мерчисон, ковбой из лагеря Серкл Бар, первый высказал предположение, что Мак-Гайр — притворщик и симулянт. Чэд привез для него корзину винограда за тридцать миль, привязав ее к луке седла и дав четыре мили крюку. Побыв немного в накуренной комнате, он вышел оттуда и без обиняков выложил свои подозрения хозяину.

— Рука у него — тверже алмаза, — сказал Чэд. — Когда он познакомил меня с «прямым коротким в солнечное заплетение», так я думал, что меня мустанг лягнул. Малый бессовестно надувает вас, Керт. Он такой же хворый, как я. Стыдно сказать, но этот недоносок просто водит вас за нос, чтоб пожить здесь на дармовщинку.

Однако прямодушный скотовод пропустил мимо ушей разоблачения Чэда, и если несколько дней спустя он подверг Мак-Гайра медицинскому осмотру, это было сделано без всякой задней мысли.

Как-то в полдень двое людей подъехали к ранчо, вылезли из повозки, привязали лошадей, зашли в дом и остались отобедать: всякий считает себя раз и навсегда приглашенным к столу — таков обычай этого края. Один из приезжих оказался медицинским светилом из Сан-Антонио, чьи дорогостоящие советы потребовались какому-то коровьему магнату, угодившему под шальную пулю. Теперь доктора везли на станцию, где он должен был сесть на поезд. После обеда Рейдлер отозвал его в сторонку и, тыча двадцатидолларовую бумажку ему в руку, сказал:

— Доктор, не откажитесь посмотреть одного паренька — он тут, в соседней комнате. Боюсь, что у него чахотка в последней стадии. Мне бы хотелось узнать, очень ли он плох и что мы можем для него сделать.

— Сколько я вам должен за обед, которым вы меня угостили? — проворчал доктор, взглядывая поверх очков на хозяина. Рейдлер сунул свои двадцать долларов обратно в карман. Доктор без замедления проследовал в комнату к Мак-Гайру, а скотовод опустился на кучу седел, наваленную в углу галерейки, и приготовился проклясть себя, если медицинское заключение окажется неблагоприятным.

Через несколько минут доктор бодрым шагом вышел из комнаты Мак-Гайра.

— Ваш малый, — сказал он Рейдлеру, — здоровее меня. Легкие у него чисты, как только что отпечатанный доллар. Пульс нормальный, температура и дыхание — тоже. Выдох — четыре дюйма. Ни малейших признаков заболевания. Конечно, я не делал бактериологического анализа, но ручаюсь, что туберкулезных бацилл у него нет. Можете поставить мое имя под диагнозом. Даже табак и спертый воздух ему не повредили. Он кашляет? Так скажите ему, что это не обязательно. Вас интересует, что можно для него сделать? Мой совет — пошлите его ставить телеграфные столбы или объезжать мустангов. Ну, наши лошади готовы. Счастливо оставаться, сэр. — И, как порыв живительного освежающего ветра, доктор помчался дальше.

Рейдлер сорвал листок с мескитового куста у перил и принялся задумчиво жевать его.

Приближался сезон клеймения скота, и на следующее утро Росс Харгис, старший

загонщик, собрал во дворе ранчо два с половиной десятка своих ребят, чтобы отбыть с ними в лагерь Сан-Карлос, где должны были начаться работы. В шесть часов лошади были оседланы, провизия погружена в фургон, и ковбои один за другим уже вскакивали в седла, когда Рейдлер попросил их немного обождать. Мальчик-конюх подвел к воротам еще одну взнузданную и оседланную лошадь. Рейдлер направился к комнате Мак-Гайра и широко распахнул дверь. Мак-Гайр, не одетый, лежал на койке и курил.

— Подымайся! — сказал скотовод, и голос его прозвучал отчетливо и резко, как медь охотничьего рога.

— Что такое? — оторопело спросил Мак-Гайр.

— Вставай и одевайся. Я бы мог терпеть в своем доме гремучую змею, но обманщику здесь не место. Ну! Сколько раз повторять! — Схватив Мак-Гайра за шиворот, он стащил его с постели.

— Послушайте, приятель! — в бешенстве вскричал Мак-Гайр. — Вы что — белены объелись? Я же болен — не видите, что ли? Я подохну, если сдвинусь с места! Что я вам сделал? Разве я просил?.. — захныкал он было на привычный лад.

— Одевайся! — сказал Рейдлер, повысив голос.

Путаясь в одежде, бормоча ругательства и не сводя изумленного взора с грозной фигуры разъяренного скотовода, Мак-Гайр кое-как, дрожащими руками, натянул на себя штаны и рубаху. Рейдлер снова схватил его за шиворот и поволок через двор к привязанной у ворот лошади. Ковбои покачнулись в седлах, разинув рты.

— Возьми с собой этого малого, — сказал Рейдлер Россу Харгису, — и приставь его к работе. Пусть работает, как надо, спит, где придется, и ест, что дадут. Вы знаете, ребята, — я делал для него все, что мог, и делал от души. Вчера лучший доктор из Сан-Антонио осмотрел его и сказал, что легкие у него как у мула, и вообще он здоров как бык. Словом, поручаю его тебе, Росс.

Росс Харгис только хмуро улыбнулся в ответ.

— Вот оно что! — протянул Мак-Гайр, с какой-то странной усмешкой глядя на Рейдлера. — Так старый филин сказал, что я здоров? Он сказал, что я симулянт, так, что ли? А вы, значит, подослали его ко мне? Вы думали, что я прикидываюсь? Я, по-вашему, обманщик. Послушайте, приятель, я часто был груб, я знаю, но ведь это только так... Если бы вы побывали хоть раз в моей шкуре... Да, я позабыл... Я же здоров... Так сказал старый филин. Ладно, дружище, я отработаю вам. Вот когда вы со мной посчитались!

Легко, как птица, он взлетел в седло, схватил хлыст, положенный на луку, и стегнул коня. «Сверчок», который на скачках в Хоторне привел когда-то Мальчика первым к финишу, повысив выдачу до десяти к одному, снова вдел ногу в стремя.

Мак-Гайр был впереди, когда кавалькада, вылетев за ворота, взяла направление на Сан-Карлос, и вдогонку ему неслось одобрительное гиканье ковбоев, скакавших в поднятых им клубах пыли.

Но, не покрыв и мили, он стал отставать и уже плелся в хвосте, когда всадники, миновав выгоны, продолжали путь среди высоких зарослей чапарраля. Заехав в чашу, он натянул поводья и, вытащив платок, прижал его к губам. Платок окрасился алой кровью. Он забросил его в колючие кусты и, прохрипев своему удивленному коню «катись!» — поскакал следом за ковбоями.

Вечером Рейдлер получил письмо из своего родного городка в Алабаме. Умер один из его родственников, и Рейдлера просили приехать, чтобы принять участие в дележе наследства. На рассвете он уже катил в своей таратайке по прерии, спеша на станцию.

Домой он возвратился только через два месяца. Усадьба опустела — он застал там одного Иларио, который в его отсутствие присматривал за домом. Юноша стал рассказывать ему, как шли дела, пока хозяин был в отлучке. С клеймением скота еще не управились, сказал он. Было много ураганов, скот разбежался, и клеймение подвигается туго. Лагерь сейчас в долине Гвадалупы — в двадцати милях от усадьбы.

— Да, между прочим, — сказал Рейдлер, внезапно припомнив что-то. — Как этот парень,

которого я отправил с ребятами в лагерь, Мак-Гайр? Работает он?

— Не знаю, — отвечал Иларио. — Ковбои редко заглядывают теперь на ранчо. Очень много хлопот с молодыми телятами. Нет, ничего про него не слышал. Верно, его уже давно нет в живых.

— Что ты мелешь! — сказал Рейдлер. — Как это — нет в живых?

— Очень, очень он был плох, этот Мак-Гайр, — сказал Иларио, пожимая плечами. — Я знал, что ему не прожить и месяца, когда он уезжал отсюда.

— Вздор! — проворчал Рейдлер. — Я вижу, он и тебя одурачил. Доктор осмотрел его и сказал, что он здоров, как мескитовая коряга.

— Это он так сказал? — спросил Иларио, ухмыляясь. — Этот доктор даже не видел его.

— Говори толком! — приказал Рейдлер. — Какого черта ты меня морочишь?

— Мак-Гайр, — спокойно сказал Иларио, — пил воду на галерейке, когда этот доктор прибежал в комнату. Он сразу схватил меня и давай стучать по мне пальцами — вот тут стучал и тут. — Иларио показал на грудь. — Я так и не понял зачем. Потом он стал прикладываться ухом и все что-то слушал. Вот тут слушал и тут. А зачем? Потом достал какую-то стеклянную палочку и сунул мне в рот. Потом схватил меня за руку и начал ее щупать — вот так. И еще велел мне считать тихим голосом двадцать, treinta, cuarenta.²⁰ Кто его знает, — закончил Иларио, в недоумении разводя руками, — зачем он все это делал? Может, хотел пошутить?

— Какие лошади дома? — только и спросил Рейдлер.

— Пайсано пасется за маленьким корралем, Senor.

— Оседлай его, живо!

Через несколько минут Рейдлер вскочил в седло и скрылся из виду. Пайсано, недаром названный в честь этой невзрачной с виду, но быстрой птицы, мчал во весь опор, пожирая ленты дорог, как макароны. Через два часа с небольшим Рейдлер с невысокого холма увидел лагерь, раскинувшийся у излучины Гвадалупы. С замиранием сердца, страхась услышать самое худшее, он подъехал к лагерю, спешился и бросил поводья. В простоте душевной он уже считал себя в эту минуту убийцей Мак-Гайра.

В лагере не было ни души, кроме повара, который, поджидая ковбоев к ужину, раскладывал по тарелкам огромные куски жареной говядины и расставлял на столе железные кружки для кофе. Рейдлер не решился сразу задать терзавший его вопрос.

— Все благополучно в лагере, Пит? — неуверенно спросил он.

— Да так себе, — сдержанно отвечал Пит. — Два раза сидели без провизии. Ураган наделал бед — облазили все заросли на сорок миль вокруг, пока собрали скот. Мне нужен новый кофейник. Москиты в этом году совсем осатанели.

— А ребята как... все здоровы?

Пит не отличался оптимизмом. К тому же справляться о здоровье ковбоев было не только явно излишне, но граничило со слюнтяйством. Странно было слышать такой вопрос из уст хозяина.

— Тех, что остались, не приходится по два раза звать к столу, — проронил он наконец.

— Тех, что остались? — хрипло повторил Рейдлер. Он невольно оглянулся, ища глазами могилу Мак-Гайра. Ему уже мерещилась каменная белая плита, вроде той, что он видел недавно на кладбище в Алабаме. Но он тут же опомнился, сообразив, что это нелепо.

— Ну да, — сказал Пит. — Тех, что остались. В ковбойском лагере бывают перемены — за два-то месяца. Кой-кого уже нет.

Рейдлер собрался с духом.

— А этот парень, которого я прислал сюда, — Мак-Гайр... Он не...

— Слушайте, — перебил его Пит, подымаясь во весь рост с толстым ломтем кукурузного хлеба в каждой руке. — Как это у вас хватило совести прислать такого больного парнишку в ковбойский лагерь? Этому вашему доктору, который не мог распознать, что малый уже одной

²⁰ Тридцать, сорок (исп.).

ногой в могиле, надо бы спустить всю шкуру хорошей подпругой с медными пряжками. А уж и боевой же парень! Вы знаете, что он выкинул — скандал, да и только! В первый же вечер ребята решили посвятить его в «ковбойские рыцари». Росс Харгис вытянул его разок кожаными гетрами, и как вы думаете, что сделал этот несчастный ребенок? Вскочил, чертенок эдакий, и вздул Росса Харгиса. Ну да, вздул Росса Харгиса. Всыпал ему, как надо. Выдал ему крепко, хорошую порцию. Росс встал и тут же поплелся искать местечко, где бы снова прилечь. А этот Мак-Гайр отошел в сторонку, повалился лицом в траву и стал харкать кровью. Кровохарканье — так это и называется, передайте вашему коновалу. Восемнадцать часов по часам пролежал он так, и никто не мог сдвинуть его с места. А потом Росс Харгис, который очень любит тех, кому удалось его вздуть, взялся за дело и проклял всех докторов от Гренландии до Китайландии. Вдвоем с Джонсоном Зеленой Веткой они перетащили Мак-Гайра в палатку и стали наперебой пичкать его сырым мясом и отпаивать виски.

Но у малого, как видно, не было охоты идти на поправку. Ночью он удрал из палатки и опять зарылся в траву — а тут еще дождь моросил. «Катитесь! — говорит он им. — Дайте мне спокойно помереть. Он сказал, что я обманщик и симулянт. Ну и отвяжитесь от меня!»

— Две недели провалялся он так, — продолжал повар, — словечка ни с кем не сказал, а потом...

Топот, подобный удару грома, сотряс воздух, и два десятка молодых кентавров, вылетев из зарослей, ворвались в лагерь.

— Пресвятые драконы и гремучие змеи! — возопил повар и заметался из стороны в сторону. — Ребята оторвут мне голову, если я не подам им ужин через три минуты.

Но глаза Рейдлера были прикованы к маленькому загорелому пареньку, который, весело блестя зубами, соскочил с лошади у ярко горевшего костра. Он не был похож на Мак-Гайра, но все же...

Секунду спустя Рейдлер тряс ему руку, схватив другой рукой за плечо.

— Сынок, сынок, ну, как ты? — с трудом выговорил он.

— Поближе к земле, вы говорили? — заорал Мак-Гайр, стиснув руку Рейдлера в стальном пожатии. — Я так и сделал — и вот видите, здоров и силы прибавилось. И понял, признаться, какого шута горохового я из себя разыгрывал. Спасибо, старина, что прогнали меня сюда! А здорово вышло со старым-то филином? Я видел в окно, как он выбивал зорю на груди у этого мексиканского парня.

— Что же ты молчал, собачья душа! — загремел скотовод. — Почему не сказал, что доктор тебя не осматривал?

— А, катитесь! Не морочьте мне голову, — проворчал Мак-Гайр, сразу оцетинившись, как бывало. — Вы меня разве спрашивали? Вы произнесли свою речь и вышвырнули меня вон, и я решил, что так тому и быть. Но знаете, приятель, эти скачки с коровами — здорово занятная штука. И ребята тут первый сорт — лучшая команда, с какой мне доводилось ездить. Вы мне разрешите остаться здесь, старина?

Рейдлер вопросительно посмотрел на Росса Харгиса.

— Этот паршивец, — нежно сказал Росс, — самый лихой загонщик на все ковбойские лагеря. А уж дерется так, что только держись.

Королева змей

Перевод Э. Бродерсон

На берегу пограничной реки, на конце моста, принадлежащего Соединенным Штатам, в маленькой сторожке сидели четыре вооруженных стражника. Изнемогая от жары, они все же довольно внимательно следили за пешеходами, которые переходили мост с мексиканского берега.

Бед Даусон, хозяин пивной «Горное ущелье», вышвырнул накануне из своих владений

некоего Леандро Гарсиа за нарушение правил приличия, принятых в «Горном ущелье». Гарсиа заявил, что через двадцать четыре часа он явится и потребует удовлетворения.

Этот мексиканец, невероятный хвастун, был в то же время и поразительно храбр, и на обоих берегах реки его уважали за это качество. Он и его друзья — такие же бандиты, как и он, — служили для того, чтобы время от времени встряхивать городских жителей и не давать им умереть от скуки.

В день, назначенный Гарсиа для получения удовлетворения, должен был состояться на американском берегу съезд скотоводов, бой быков и пикник старых переселенцев. Зная Гарсиа за человека слова и желая сохранить мир во время этих общественных развлечений, начальник пограничной стражи капитан Мак-Нелти отрядил офицера и трех солдат на дежурство в конце моста. Им было вменено в обязанность предупредить вторжение Гарсиа — все равно, одного или в сопровождении шайки.

В этот душный день пешеходов было немного, и стражники проклинали судьбу и невероятно скучали. На протяжении одного часа никто не перешел моста, кроме старухи, одетой в коричневое платье и черную шаль. Она погоняла перед собою осла, нагруженного небольшими связками дров для продажи. Вскоре после этого в тихом воздухе ясно раздалась три коротких громких выстрела со стороны улицы.

Немедленно все четыре стражника встрепенулись и перешли от лежачего положения в сидячее, но только один поднялся на ноги. Остальные трое умоляюще, но безнадежно взглянули на четвертого, который молча встал и стал пристегивать свой пояс с патронами. Они знали, что их начальник, лейтенант Боб Бекли, никому не уступит привилегии пойти первым на место побоища.

Ловкий широкогрудый лейтенант, не меняя меланхоличного выражения на своем гладко выбритом желтовато-коричневом лице, просунул ремешок пояса через перекладину пряжки, оправил пистолеты в кобурах так, как красавица оправляет свой туалет, схватил ружье и направился к двери. Здесь он на минутку остановился, чтобы предупредить товарищей не прекращать слежки за мостом, и затем вышел на раскаленную солнцем дорогу.

Остальные трое должны были примириться с вынужденным бездействием, обмениваясь мнениями о лейтенанте Бекли.

— Я слышал о парнях, — сказал Брончо Лесзерс, — которые навеки обвенчались с опасностью. Умри я на этом месте, если Боб Бекли неповинен в многоженстве, обвенчавшись со всеми опасностями.

— Особенность Боба та, — вставил Ньюсес Кид, — что у него нет настоящей тренировки. Он никогда не знал, что такое страх. А человек, который хочет прочесть свое имя в списке оставшихся в живых, должен знать чувство страха.

— Бекли, — пояснил третий стражник, уроженец Востока, получивший некоторое образование, — дерется всегда с таким торжественным видом, что я даже стал сомневаться в его нормальности. Я не совсем понимаю его системы, но он дерется с каким-то математическим расчетом.

— Я никак не могу понять, — заявил Брончо, — какие могут быть тут математические расчеты.

— Может быть, это триггернометрия? — высказал свое предположение Кид.

— Я не ожидал от вас таких знаний, — одобрительно кивнул головой уроженец Востока. — Вторая особенность Бекли та, что он всегда вступает в бой налегке. Кажется, будто он боится воспользоваться малейшим преимуществом. Это уже граничит с безумием, если иметь дело с конокрадами и ворами, которые готовы устроить вам засаду каждую ночь и выстрелить вам в спину при первой возможности. Бекли слишком неосторожен. Когда-нибудь он поплатится за это.

— Я тоже нахожу, — протянул Кид. — Я больше стою за то, чтобы хорошенько подраться и вовремя улизнуть, чтобы иметь возможность невзначай еще раз напасть.

— Во всяком случае, — резюмировал Брончо, — такого смельчака, как Боб, я никогда

не встречал на Рио-Браво...²¹ Ах, негодяй! Шипит от злости! — И Брончо ударил скорпиона своей четырехфунтовой фетровой шляпой, после чего все трое снова погрузились в унылое молчание...

Так отзывались о Бекли люди, бывшие в течение многих лет близкими его товарищами в бесчисленных пограничных набегах и разделявшие с ним опасность. И как странно — никто из них не подозревал, что Бекли был самым отъявленным трусом! Друзья и враги всегда считали его самым отважным храбрецом. Никто и не предполагал, что только большим усилием воли он заставлял свое малодушное тело свершать самые смелые подвиги. Как монахи бичуют свое грешное тело, так и Бекли вечно бичевал себя и бросался с видимой беспечностью во всякую опасность, надеясь когда-нибудь излечиться от врожденной трусости. В то время как вся пограничная полоса восхищалась его подвигами и его храбрость воспевалась в печати и устно у многих лагерных костров в долине Браво, у Бекли болела душа. Никто не знал, как страшно сжималось у него сердце, как пересыхало у него во рту, какая дрожь пробегала по спине, как мучительно были натянуты его нервы, — все это были безошибочные симптомы его врожденной трусости.

Один юноша из его отряда обыкновенно вступал в бой, небрежно перекинув ногу через луку седла, не выпуская папироски изо рта и испуская оригинальные воинственные крики. Бекли отдал бы все свое жалованье, чтобы достигнуть такой чертовской беспечности. Однажды этот юноша добродушно заметил ему:

— Бек, вы вступаете в бой с таким видом, как будто бы это похороны.

Бекли был страшно самолюбив, и поэтому он продолжал подвергать свое трусливое тело самым трудным испытаниям, какие он мог только придумать. В сегодняшний жаркий душный день он решил взять себя в руки и заставить себя не испытывать ни малейшей тревоги...

Через два квартала от моста находилась пивная «Горное ущелье». Здесь Бекли увидел следы недавнего происшествия. Несколько любопытных зрителей столпились у входных дверей, давя под ногами осколки оконного стекла. Внутри, в пивной, Бекли нашел Бед Даусона, который, не обращая внимания на свою рану в плече, никак не мог успокоиться, что он упустил проклятого «маскарадчика», который стрелял в него. При входе стражника Бед обернулся к нему.

— Вы знаете, Бек, — сказал он, — я с ним справился бы в два счета, если бы мне пришлось только в голову, кто это. Пришел сюда наряженный бабой, выстрелил и удрал. Я и не потянулся за ружьем, думая, что это и впрямь старуха. Я и не подумал о проклятом Гарсиа, пока...

— Гарсиа! — воскликнул Бекли. — Как он пробрался сюда?

Буфетчик Беда взял стражника за руку и провел его к боковой двери. На улице терпеливо стоял осел, нагруженный связками дров, и пощипывал траву вдоль водосточной канавки. На земле валялась черная шаль и коричневое платье огромных размеров.

— Нарядился в эти тряпки, — крикнул из пивной Бед, все еще не дававший перевязать себе рану. — Я так и думал, что это женщина, пока он не крикнул и не подстрелил меня.

— Он побежал по этой боковой улице, — сказал буфетчик. — Он был один и будет скрываться до темноты, когда его шайка переберется на этот берег. Вы его, наверное, найдете в мексиканском квартале, за железнодорожной станцией. У него там девка есть знакомая — Панча Сэльс.

— Как он вооружен? — спросил Бекли.

— У него два револьвера и нож.

— Возьмите мое ружье, Билли, — сказал Бекли, — мне достаточно будет двух револьверов.

Это доказывало его благородство, но вместе с тем это было неосмотрительно с его стороны. Другой на его месте этого бы не сделал, а вызвал бы еще вооруженных помощников,

²¹ Рио-Браво — в переводе Разбойничья река.

чтобы сопровождать его, но Бекли держался правила отказываться от всяких преимуществ.

После нападения Гарсиа народ попрятался по домам. Улица опустела, все двери были закрыты. Но понемногу народ стал выползать из своих убежищ, делая вид, будто ничего не случилось. Многие из граждан знали стражника Бекли и с большой готовностью указали ему путь, по которому бежал Гарсиа.

Когда Бекли пошел по указанному следу, он почувствовал знакомое ему нервное сжимание горла, холодный пот выступил на его лбу, и сердце замирало от страха...

* * *

Утренний поезд из Центральной Мексики опоздал в этот день на три часа, и таким образом, его приход не совпал с отходом поезда на другой стороне реки. Пассажиры, направлявшиеся в Соединенные Штаты, должны были искать ночлега в маленьком пограничном городишке, потому что до следующего утра не было ни одного поезда.

Они ворчали, потому что через два дня должно было состояться открытие большой ярмарки и скачек в Сан-Антонио, а известно, что в это время Сан-Антонио представляет собою колесо Фортуны, спицы которого были: скот, шерсть, фаро,²² скачки и озон. В это время скотоводы играли на тротуарах улиц в орлянку золотыми монетами и ставили на карту такие высокие столбики монет, которые ежеминутно грозили падением. Поэтому на это время съезжались сюда сеятели и жнецы, другими словами, люди, которые тратили доллары, и люди, которые выуживали их. В особенности спешили в Сан-Антонио организаторы народных развлечений. Две известные театральные труппы были уже там, а дюжина более мелких находилась в пути.

Вблизи мизерной маленькой железнодорожной станции, на запасном пути, стоял вагон, оставленный здесь утром мексиканским поездом и обреченный на скучное ожидание, среди жалкой грязной обстановки, следующего дневного поезда.

Вагон был когда-то обыкновенным пассажирским вагоном, но те, которые когда-то в нем ездили и раболепствовали перед важными кондукторами, никогда не узнали бы его в теперешнем виде. Свежая окраска и некоторые детали домашнего уюта снимали с него всякое подозрение в том, что он служил для передвижения публики. Кружевные занавески закрывали окна от любопытных взглядов. На переднем конце вагона висел мексиканский флаг, а позади развевался американский — со звездами и полосками. Из полуоткрытого окна торчала дымящая печная труба, которая усиливала впечатление домашнего уюта и комфорта. Зритель, любясь странным видом вагона, наверно, заинтересовался бы и золотыми и синими надписями, тянувшимися почти по всей длине его. Интерес его еще бы больше увеличился, когда бы он подошел ближе и прочитал: «Альварита, королева змей». Это был ее вагон, вернувшийся из триумфального турне по главным мексиканским городам и направляющийся теперь в Сан-Антонио, где, согласно широковетательным рекламам:

АЛЬВАРИТА, КОРОЛЕВА ЗМЕЙ

покажет поразительное искусство
и бесстрашную власть над смертоносными великанами-змеями,
которых ОНА бесстрашно держит в руках в то время,
как они извиваются и шипят, к ужасу тысячи онемевших
и дрожащих зрителей.

Сто градусов жары²³ в тени разогнало от вагона всех зевак. Это была захолустная часть

²² Фаро, или Фараон, род карточной игры.

²³ По Фаренгейту.

города; ее обитатели представляли собою накипь пяти наций; ее постройки состояли из палаток, деревянных халуп и известняковых домов; ее развлечением служила шарманка. За этой жалкой окраиной возвышалась густая масса деревьев, наполняющих собою небольшую ложбину. По этой ложбине журча протекал небольшой ручеек, который затем низвергался по отвесному склону большого ущелья Рио-Браво-дель-Норте.

В этом жалком местечке должен был оставаться несколько часов вагон Королевы змей.

Дверь вагона была открыта. Передняя часть вагона была отделена драпировкой и представляла собою приемную. Здесь обыкновенно сидели восхищенные репортеры и перекладывали музыкальную речь синьориты Альвариты на менее музыкальный язык печати. На стене висели портрет Авраама Линкольна, фотография группы школьников, расположившихся на ступеньках каменной лестницы, и белые лилии в кроваво-красной рамке. Пол был устлан ковром. На небольшом столике стоял кувшин с водой и стакан. В плетеной качалке сидела Альварита и читала газету.

С первого взгляда на нее вы бы сказали, что она испанка из Андалузии или из Бискайи. Волосы ее имели оттенок синего винограда, если смотреть на него в полночь. Продолговатые темные глаза смущали зрителя своим пристальным гипнотизирующим взглядом. Высокомерное и смелое лицо оживлялось очаровательным выражением задора. Чтобы скорее убедиться в ее прелестях, взгляните на кипу афиш в углу — зеленых, желтых и белых. На них вы увидите изображение синьориты в ее профессиональном наряде и профессиональной позе. Она была неотразимо хороша в черном кружевном платье с желтыми лентами. Вокруг каждой голой руки обвивался голубой пайлот;²⁴ свернувшись дважды вокруг ее талии и один раз вокруг шеи, тесно прижался к ней своей страшной головой Куку, огромный одиннадцатифутовый азиатский пифон.

Чья-то рука раздвинула драпировку, разделявшую вагон, и увядающая женщина средних лет, с ножом и полуочищенной картошкой в руках, заглянула в приемную и сказала:

— Альвири, ты занята?

— Я читаю газету, мама... Подумай... Эта бледная неинтересная Матильда Прайс, у которой волосы как пакля... получила наибольшее число голосов на конкурсе красоты в Галлиполисе.

— Неужели! Ей бы этого не удалось, если бы ты была там, Альвири. Надеюсь, что мы вернемся домой раньше, чем пройдет осень. Мне так надоело разъезжать вокруг света и разыгрывать из себя испанцев. Но я не это хотела тебе сказать. А то, что самый большой удав опять уполз куда-то. Я обыскала весь вагон и не могла его найти. Он, должно быть, скрылся уже час тому назад. Мне помнится, что я слышала шорох по полу, но я думала, что это ты.

— Ах, старый негодник! — воскликнула королева, отбрасывая газету. — Это уже третий раз он удирает. Джордж никогда как следует не закрывает крышку ящика. Я думаю, он боится Куку. А теперь мне нужно пойти его поискать.

— Поторопись, а то кто-нибудь может причинить ему вред.

Королева презрительно улыбнулась, обнажив свои блестящие зубы.

— Этого не надо опасаться. Когда люди видят Куку на свободе, они просто без оглядки бегут в аптеку покупать себе бром. Между нами и рекой есть ручеек. Этот негодяй готов пожертвовать своей шкурой за глоток воды. Я уверена, что я найду его там.

Несколько минут спустя Альварита вышла на переднюю площадку вагона, готовая отправиться на поиски. Ее красивая черная юбка была скроена по самой последней моде. Ее безупречно чистая блузка ласкала глаз и казалась оазисом в этой пустыне ослепительного солнечного света. Соломенная шляпа мужского фасона плотно сидела на ее вьющихся густых волосах. Вокруг высокого накрахмаленного воротничка изящным узлом был завязан мужской галстук. В руке она держала белый шелковый зонтик с кружевным воланом.

²⁴ Пайлот — род безвредного ужа.

По костюму она могла принадлежать к Галлиполису, но по глазам ее, безусловно, нужно было отнести или к Севилье или к Вальядолиду. Как-то невольно вспоминались кастаньеты, балконы, мантильи, серенады, тайные свиданья и похищения.

— Ты не боишься идти одна, Альвири? — тревожно спросила королева-мать. — Здесь столько грубого народа. Может быть, лучше, если ты...

— Я никогда еще не видела чего-нибудь, чего бы я боялась, мама. В особенности людей, а в частности мужчин. Не тревожься, пожалуйста. Я вернусь, как только найду своего беглеца.

Пыль густым слоем лежала около железнодорожного пути. Альварита очень скоро обнаружила зигзагообразный след удравшего пифона. След вел через железнодорожное полотно вниз по небольшой улице по направлению к ручейку, как она и предполагала. Царившая кругом тишина поддерживала в ней надежду, что жители еще не узнали, какой страшный гость гуляет по их дорогам. Жара загнала их в дома, откуда доносился иногда резкий смех или унылое завыванье концертино. В тени играли несколько мексиканских ребятишек, которые при проходе Альвариты молча застывали в изумлении. Иногда какая-нибудь женщина выглядывала из-за двери и молча стояла, пораженная видом белого шелкового зонтика.

Пройдя приблизительно сто ярдов, Альварита вышла за пределы города, где начались редкие заросли, а затем она вошла в красивую рощу, окаймлявшую живописный овраг. По нему извивался маленький светлый ручеек. Место это походило на парк и, несмотря на свою сельскую живописность, имело городской вид; это впечатление еще усиливалось бумажками и пустыми жестянками, брошенными здесь гуляющими. Вдоль этого ручейка, через просеки рощи, и пошла Альварита. На мелком песке ручейка она ясно увидела следы недавно проползавшего здесь пифона. Проточная вода должна была привлекать его к себе; он не мог быть далеко.

Альварита была так уверена в его непосредственной близости, что решила немного отдохнуть, и уселась на ветвь большого ползучего растения, свешивающегося с гигантского вяза. Чтобы добраться до него, ей пришлось вскарабкаться немного вверх от тропинки по отвесному и неровному откосу. Вокруг нее рос густой высокий кустарник. Желтые лепестки цветов ратамы распространяли сладкий сильный аромат. По оврагу пронесся тихий ветерок и меланхолично зашелестел в опавших сухих листьях.

Альварита сняла шляпу и, распустив стесняющую ее прическу, стала медленно заплетать волосы в две длинные темные косы.

Из темной глубины зарослей вечнозеленых кустов, в пяти футах от нее, два маленьких блестящих глаза пристально смотрели на нее. Там лежал, свернувшись, огромный пифон Куку со своей чешуйчатой головой и одиннадцатифутовым блестящим пятнистым туловищем. Огромный пифон смотрел на свою госпожу, ни одним звуком или движением не выдавая своего присутствия. Может быть, беглец предчувствовал свое предстоящее пленение, но, скрытый густой листвой, решил продлить наслаждение своей временной свободой. Какое это было удовольствие после душного и пыльного вагона лежать здесь, вдыхая запах проточной воды и ощущая телом приятное прикосновение земли и камней! Скоро, очень скоро найдет его госпожа, и он, бессильный в ее смелых руках, будет опять водворен в темный и тесный ящик.

Альварита услышала внезапно под собою скрип песка. Повернув голову, она увидела большого, смуглого мексиканца, который смотрел на нее с дерзким, недобрим выражением.

— Что вам нужно? — резко спросила она, продолжая заплетать волосы и глядя на него с холодным презрением. Мексиканец продолжал на нее глазеть и улыбнулся, обнажив белые, неровные зубы.

— Я ничего вам не сделаю дурного, синьорита, — сказал он.

— Я и не сомневаюсь, — ответила королева, откидывая назад заплетенную тяжелую косу. — Но не думаете ли вы, что вам лучше идти своей дорогой?

— У меня нет никаких дурных намерений, разве только сорвать один beso — один маленький поцелуйчик.

Мексиканец снова улыбнулся и шагнул, чтобы взобраться на откос. Альварита быстро наклонилась и схватила камень величиной с кокосовый орех.

— Убирайся вон! — властно приказала она. — Черномазый дьявол!

На смуглом лице мексиканца вспыхнул румянец от нанесенного оскорбления.

— Я гидальго! — прошипел он сквозь стиснутые зубы. — Я не позволю обращаться со мною, как с негром. *Diabla bonita*, за это ты мне заплатишь.

На этот раз он сделал быстро два шага навстречу, но камень, брошенный сильной рукой, попал ему прямо в грудь. Пошатнувшись, он отступил на тропинку, сделал полуоборот и тут увидел нечто, что выбило у него из головы всякую мысль о девушке. Альварита повернула голову, чтобы посмотреть, что отвлекло его внимание. В двадцати ярдах по направлению к ним шел по тропинке мужчина с рыжевато-коричневыми вьющимися волосами и с загорелым, гладко выбритым лицом. На мексиканце был револьверный пояс с двумя пустыми кобурами. Он вынул и где-то оставил свои шестизарядные револьверы — у своей красавицы Панчи — и забыл о них, когда проходившая мимо Альварита увлекла его по своим следам. Инстинктивно он схватился теперь за кобуры, но, увидя, что оружия нет, протянул вперед руки с красноречивым, просящим жестом и застыл, как скала. Видя его беспомощное положение, незнакомец расстегнул свой собственный пояс с двумя револьверами и, бросив его на землю, приблизился к мексиканцу.

— Какой рыцарь! — прошептала Альварита с горящими глазами.

* * *

Когда Боб Бекли бросил свое оружие и ближе подошел к своему противнику, обычный приступ страха овладел им. Его дыхание с трудом вырывалось из стесненной груди. Его ноги, казалось, были налиты свинцом. Во рту совершенно пересохло. Сердце так усиленно билось, что причиняло ему физическую боль. И все-таки он приближался, подстрекаемый гордостью и напрягая все усилия, чтобы победить позорное чувство.

Расстояние между обоими мужчинами постепенно уменьшалось. Мексиканец стоял не шевелясь и ждал.

Когда их разделяло каких-нибудь пять ярдов, с обрыва к ногам стражника посыпался песок и камни. Инстинктивно он взглянул вверх. Его взор встретился с парой темных глаз, полных мягкого блеска и страстной нежности. Самое трусливое и самое храброе сердце во всем округе Рио-Браво вошли в молчаливый и таинственный контакт. Альварита, все еще сидя на ветке ползучих растений, наклонилась вперед над кустами. Пышная, черная коса спадала через плечо. Губы были полуоткрыты; лицо выражало изумление — великое изумление. Глаза ее встретились со взором Бекли. Не спрашивайте и не старайтесь объяснить, каким таинственным образом свершилось чудо. Как при вспышке молнии две тучи сталкиваются и обмениваются избытком электричества, так и здесь, при обмене взглядами, мужчина обрел необходимое ему мужество, а девушка утратила самоуверенность, что увеличило ее прелесть.

Мексиканец внезапно встрепенулся, изменив свою позу бесстрашного ожидания, и быстро вытащил из-за голенища длинный нож. Бекли отбросил свою шляпу и громко гаркнул, как школьник, радующийся веселой игре. Затем с голыми руками он бросился на Гарсию.

Поединок кончился так быстро, что находившийся в воинственном экстазе стражник почувствовал даже разочарование. Вместо того чтобы нанести традиционный удар сверху вниз, мексиканец прыгнул прямо вперед с ножом в руке. Бекли воспользовался этой случайностью и ловко захватил его кисть. Затем он нанес ему сокрушительный удар в челюсть — и Гарсиа повалился без чувств под куст кактуса. Стражник победоносно взглянул вверх на Королеву змей. Альварита побежала ему навстречу.

— Я очень рад, что случайно оказался поблизости, — сказал Бекли.

— Он... он меня так напугал, — пожаловалась Альварита.

Они не слышали протяжного, глухого шипенья пифона из-за кустов. Самое хитрое из

животных, он, без сомнения, выражал свое презрение, что так долго жил в подчинении у этой дрожащей от страха повелительницы, которую он считал всегда сильной и могущественной.

Затем к месту происшествия прискакали гражданские власти, и стражник передал им поверженного нарушителя общественной тишины, которого они и увезли, перебросив через седло одной из своих лошадей. Но Бекли и Альварита не спешили уходить.

Они шли медленно, медленно. Стражник поднял свой пояс с револьверами. С нежной застенчивостью она попросила показать ей сорокапятикалиберные револьверы и с непривычной для нее робостью взяла их в руки, издавая охи да ахи.

Сумерки спускались на овраг. За ним виднелся внешний мир — высокий берег реки, залитый еще последними лучами заходящего солнца.

Внезапно с уст Альвариты сорвался крик — пронзительный, испуганный крик. Она отшатнулась назад, и сильная рука Бекли с готовностью приняла ее в свои объятия. Что навело такой зловещий ужас на неустрашимую доселе королеву?

По тропинке ползла гусеница — противная, слизистая, двухдюймовая гусеница! Поистине, Куку, ты был отомщен! Так отрелась от своего престола Королева змей и *viva la regina!*

Кудряш

Перевод Э. Бродерсон

Бродяга Кудряш бочком пробирался к буфетной стойке, чтобы стянуть даровую закуску. Он поймал на себе мимолетный взгляд буфетчика и остановился, стараясь придать себе вид делового человека, только что пообедавшего в ресторане и поджидающего друга, который обещал заехать за ним в автомобиле. У Кудряша было достаточно артистических способностей, чтобы разыграть эту роль, но костюм и внешность не подходили к данному случаю.

Буфетчик как бы случайно вышел из-за стойки, глядя на потолок, словно решая вопрос — нужно ли его побелить или нет, — а потом неожиданно взглянул на подозрительного посетителя, так что тот растерялся и попался на месте преступления. С непоколебимым спокойствием буфетчик подошел к нему, выставил бродягу за дверь и пнул его с такой силой ногой, что Кудряш упал в канаву. Такой прием нередко практикуется на Юго-Западе.

Кудряш, однако, не почувствовал обиды или злобы против вышибалы, так как пятнадцать лет бродяжнической жизни закалили его дух. Удары жестокой судьбы, как стрелы, отскакивали от щита, прикрывавшего его самолюбие. С особенной покорностью он сносил оскорбления и обиды от буфетчиков. Он считал даже в порядке вещей, что они были его врагами, и необходимость заставляла его примириться с этим. Но он еще не был знаком с типом юго-западных буфетчиков, которые со спокойным и важным видом какого-нибудь графа молча и быстро выпроваживали гостя, как пешку, если он им почему-либо казался подозрительным.

Кудряш несколько минут простоял на узкой, заросшей травой улице. Третий день он уже находился в Сан-Антонио и все еще не мог освоиться с этим городом. Он прибыл сюда в товарном вагоне по совету одного из своих товарищей, который уверил его, что этот город был манной небесной, собранной, сваренной и поданной со сливками и сахаром. И действительно, Кудряш нашел, что этот город не так уже плох. Здесь он встретил и сочувствие и гостеприимство, но оно было какое-то безалаберное.

После шумных, деловых городов Севера и Востока этот город показался ему странным. Здесь ему нередко удавалось выманить доллар, но за ним обязательно следовал добродушный пинок. Однажды компания веселых ковбоев поймала его при помощи лассо на военном плацу и протащила по земле до тех пор, пока одежда его не приняла такого вида, что всякий уважающий себя тряпичник отказался бы от нее. Извилистые улицы и тупики немало смущали

его. Но больше всего приводило его в недоумение бесконечное количество совершенно одинаковых по форме мостиков, перекинутых через маленькую, извилистую речку, протекавшую через город.

Пивная, из которой его вышибли, находилась на углу. Было восемь часов. Экипажи оттеснили Кудряша к узкому каменному тротуару. Налево, между строениями, он увидел проход, который оказался переулком. За исключением одной полоски света, там было совершенно темно. Где свет, подумал он, там, несомненно, должны были быть и люди. А где были люди, там, должно быть, была и еда и, может быть, даже и выпивка. Поэтому Кудряш направил свои шаги по направлению к свету.

Свет исходил из кафе Швегеля. Перед входом в него на тротуаре Кудряш поднял оброненный конверт. Может быть, в нем находится чек на миллион долларов, подумал Кудряш. Конверт оказался пустым; но бродяга прочел: «Мистеру Отто Швегелю» и название города и штата. На почтовом штемпеле стояло «Детройт».

Кудряш вошел в кафе. Теперь при свете огня можно было заметить, что на нем лежал отпечаток многих лет бродяжничества. В нем не было опрятности, присущей пронирыливым бродягам-профессионалам. Его костюм представлял собою смесь различных фасонов и эпох. Сапоги на ногах были изделием двух различных сапожных фабрик. При взгляде на него у вас невольно появлялись воспоминания о мумиях, вороньих пугалах, русских эмигрантах и людях, живущих на необитаемых островах. Его лицо почти до глаз заросло кудрявой бородой, которая и дала повод для его прозвища. Светло-голубые глаза, полные угрюмости, страха, хитрости, наглости и раболепства, свидетельствовали о тех тисках, в которых находилась его душа.

Помещение кафе было небольшое, и воздух был насыщен кухонным чадом и запахом пива. Запах свинины и капусты, казалось, вытеснил весь водород и кислород. За буфетной стойкой работал сам Швегель с одним подручным, потовые железы которого, по-видимому, действовали очень исправно. Посетителям подавались к пиву горячие сосиски с кислой капустой. Кудряш пробрался к концу стойки, кашлянул и заявил Швегелю, что он безработный столяр, прибывший из Детройта.

Как ночь следует за днем, так и за его заявлением последовало угощение кружкой пива и ужином.

— Может быть, вы были знакомы в Детройте с Генрихом Штраусом? — спросил Швегель.

— Знавал ли я Генриха Штрауса? — переспросил Кудряш с чувством. — Хотел бы я иметь по доллару за каждую игру в бильярд, которую я сыграл с Гейни по воскресным вечерам.

Вторая кружка пива и второе блюдо с горячими сосисками появились перед находчивым дипломатом. А затем Кудряш, зная, что такая игра в «доверие» долго продолжаться не может, незаметно вышел на улицу.

Но вскоре он стал замечать и неудобства этого южного города. Здесь не было уличного оживления, веселья и музыки, которые доставляют развлечение даже беднейшим жителям северных городов. Даже в такой ранний час мрачные каменные дома были уже плотно закрыты ставнями, чтобы не впустить неприятной ночной сырости. Улицы казались расщелинами между скал, и по ним расстилался густой туман. Идя по улицам, Кудряш слышал за закрытыми ставнями смех и звон денег, а музыка доносилась из каждой щели ставен. Но эти развлечения были эгоистичны; день народных увеселений еще не настал для Сан-Антонио.

Но, завернув за угол какой-то пустынной улицы, Кудряш наткнулся на шумную компанию скотоводов с далеких ранчо, веселящуюся на открытом воздухе перед старинной гостиницей. Один из весельчаков, крупный овцевод, как раз уговаривавший своих товарищей отправиться в пивную, захватил с собою заодно и Кудряша. Короли скота и шерсти шумно приветствовали его как новое зоологическое открытие и спяна осыпали его любезностями.

Но час спустя Кудряш шатаясь уже выходил из пивной, отпущенный своими изменчивыми друзьями, так как интерес к нему так же скоро исчез, как и возник. Кудряш был

по горло насыщен едой и напоен пивом, и единственный, смущавший его теперь вопрос был вопрос о ночлеге.

Начал моросить холодный техасский дождь, который поднимает клубы пара от теплых камней мостовых и домов и удручающе действует на настроение.

Кудряш побрел по первой извилистой улице, в которую завели его не повиновавшиеся ему ноги. В конце улицы на берегу речки он заметил в каменной стене открытые ворота. Внутри он увидел костры лагеря и ряд низких деревянных навесов, пристроенных к трем сторонам каменной стены. Он вошел в огороженное место. Под навесами стояло много лошадей, жевавших овес и рожь. На дворе стояло много фургонов и телег с упряжью, небрежно брошенной на оглобли. Кудряш догадался, что это был один из тех постоянных дворов, которые держат торговцы для своих приезжих клиентов. На дворе никого не было видно. Вероятно, возницы этих фургонов разбрелись по городу полюбоваться его достопримечательностями и приобщиться к городскому веселью. Должно быть, они так спешили, что последние оставили деревянные большие ворота настежь открытыми.

Количество съеденного и выпитого Кудряшом удовлетворило бы голод удава и жажду верблюда. Поэтому он не был ни в настроении, ни в состоянии что-либо исследовать. Шатаясь из стороны в сторону, он добрел до первого фургона, который он различил в полутьме под навесом. Фургон был с брезентовым кузовом и наполовину наполнен грудой мешков из-под шерсти, двумя или тремя узлами серых одеял, разными тюками и ящиками. Трезвый глаз сразу увидел бы, что эта кладь была предназначена к отправке на следующий день на какую-нибудь далекую ферму. Но сонному, пьяному мозгу Кудряша этот фургон сулил только тепло и защиту от холодной ночной сырости. После нескольких неудачных попыток он наконец настолько овладел равновесием, что вскарабкался на колесо и упал на такую мягкую и теплую постель, на какой ему уже давно не приходилось спать. Затем он начал прочищать себе дорогу между мешками и одеялами, инстинктивно желая спрятаться от холодного воздуха, и зарылся так глубоко, как медведь в берлоге.

В течение последних трех ночей Кудряш почти вовсе не спал. Поэтому теперь, когда Морфей удостоил его своим посещением, Кудряш так крепко ухватился за старого мифологического джентльмена, что было бы чудом, если бы кому-нибудь другому на свете удалось заснуть в эту ночь.

* * *

Шесть загонщиков скота с ранчо Сибело сидели у дверей потребительской лавки. Их пони разгуливали тут же и мирно щипали траву. Поводья были брошены на землю, и этого было достаточно, чтобы удержать их (такова сила привычки и воображения), не привязывая к дереву.

Загонщики скота сидели и, держа в руках папиросную бумагу, добродушно ругали лавочника Сэма Ривелля. Сэм невозмутимо стоял в дверях, пощелкивая своими подтяжками, надетыми на красную шелковую рубаху, и с любовью поглядывая на свои желтые сапоги.

Вина Сэма была немаловажная — он допустил истощение запаса курева, не возобновив его вовремя.

— Я думал, ребята, что есть еще ящик под прилавком, — объяснил он. — Но это оказались патроны.

— Наверное, ты схватил гапендицит, — сказал Дубина Роджерс, наездник из Ларго Верде. — Кто-нибудь ударил тебя по голове рукояткой хлыста. Я за девять миль приехал, чтобы купить немного табаку. И это будет неприлично с нашей стороны, если мы не дадим тебе за это вздрючку.

— Ребята наши курили нюхательный табак, смешанный с сушеными мескитовыми листьями, когда я уехал, — со вздохом оказал Мустанг Тейлор, объездчик лошадей из лагеря «Три вяза». — Они ждут меня обратно к девяти часам. Они будут сидеть с папиросной бумагой

в руках, чтобы сразу же скрутить папироску из настоящего табака. И мне придется сказать им, что этот красноглазый, тупоголовый Сэм Ривелль в желтых сапогах не приготовил нам табака.

Грегорио Сокол, мексиканский вакеро, который был первым по части метания лассо, отодвинул назад на своих черных густых кудрях большую, расшитую серебром шляпу и стал скрести в карманах жалкие остатки драгоценного табака.

— Ах, дон Самуэль, — сказал он с упреком, но со свойственной ему кастильской вежливостью, — простите меня. Говорят, что кролики и бараны имеют самые маленькие *sesos*, как это по-вашему, — мозги, что ли? Я не верю этому, дон Самуэль... простите меня. Я думаю, что люди, которые не держат курительный табак... но вы простите меня, дон Самуэль...

— К чему пережевывать одно и то же, ребята, — сказал невозмутимый Сэм, нагнувшись, чтобы протереть свои новые сапоги цветным платком. — Ренси было дано во вторник поручение привезти из Сан-Антонио новую партию табака. С часу на час я жду его; он должен скоро приехать со своим фургоном. Там товару не так много — несколько мешков табака, гвозди, консервы и еще несколько предметов, которые вышли у нас в лавке. Ренси всегда рано выезжает и мчитя сломя голову, так что он должен быть здесь, по-моему, к закату солнца.

— А на каких лошадях он поехал? — спросил Мустанг Тейлор, и в голосе его слышалась надежда.

— На серых, что ходят в тележке, — ответил Сэм.

— В таком случае я маленько обожду, — сказал объездчик. — Эти жеребцы глотают мили с такой скоростью, с какой птица проглатывает червяка. А пока, в ожидании лучшего, открой-ка мне, Сэм, жестянку ренклов.

— Открой и мне тоже каких-нибудь консервов, — сказал Дубина Роджерс. — Я тоже обожду.

В ожидании табака погонщики уселись поудобнее на ступеньках лавки. Внутри Сэм маленьким топором открывал крышки на жестянках с консервами.

Лавка представляла собой большое белое деревянное строение, похожее на ригу, и стояла в пятидесяти ярдах от усадебного дома. За ним находились кораллы для лошадей, а еще дальше навесы для хранения шерсти и покрытые хворостом загоны для стрижки овец (на ранчо Сиболо разводили не только крупный скот, но и овец). За лавкой, на небольшом расстоянии, были расположены крытые соломой хижины мексиканцев, служивших на ранчо.

Усадебный дом состоял из четырех больших комнат с оштукатуренными стенами и небольшой деревянной надстройки из двух комнат. Вокруг всего здания шла веранда в двадцать футов шириной. Дом находился в роще из огромных дубов и вязов вблизи озера — длинного, не очень широкого, но очень глубокого озера, в котором, при наступлении темноты, огромные щуки выпрыгивали на поверхность и снова погружались с таким же шумом, как плескающиеся в воде гиппопотамы. С деревьев свешивались большие гирлянды лиан и тяжелые сережки серого мха, растущего только на юге. Действительно, усадебный дом Сиболо больше напоминал южные постройки, чем западные. Казалось, будто старый «Киова» Трюсделль принес его с собой из равнин Миссисипи, когда в пятьдесят пятом году он прибыл в Техас с ружьем через плечо.

Но хотя Трюсделль и не принес с собой родового дома, он все же прихватил кое-что, что оказалось прочнее камня и кирпича. Он принес семейную вражду между Трюсделлями и Куртисами. И когда один из Куртисов купил ранчо Лос-Ольмос, в шестнадцати милях от Сиболо, то поросшие грушевыми деревьями и кактусами равнины сделались ареной многих интересных происшествий. В эти дни от карабина Трюсделля пало не только много волков, тигров и мексиканских львов, но и двое представителей семьи Куртиса. В свою очередь, и Трюсделлю пришлось похоронить своего родного брата с куртисовской пулей в груди на берегу озера в Сиболо. Вскоре после этого племя индейцев киова совершило свой последний набег на усадьбы между реками Фрио и Рио-Гранде, и Трюсделль во главе своих всадников смёл их до последнего человека с лица земли, чем и заслужил свое прозвище «Киова». После этого наступило его благоденствие в виде растущих стад и увеличивающихся земель, а потом пришла старость — и семейное горе. С огромной гривой волос, белый, как лунь, и с свирепыми

голубыми глазами, сидел он под навесом веранды своего дома и рычал от ярости, как те пумы, которых он когда-то убивал. Старость его не страшила, и не это было причиной его горя. Печаль его состояла в том, что его единственный сын, Ренси, хотел жениться на девушке из семьи Куртисов, единственного уцелевшего отпрыска враждебной семьи.

* * *

В течение некоторого времени около лавки слышен был только стук оловянных ложек о жестянки консервов, поедаемых погонщиками, да топот пасущихся пони и заунывное пение Сэма, который с довольным видом в двадцатый раз причесывал свои жесткие каштановые волосы перед кривым зеркалам.

Со ступенек лавки можно было видеть неровную, отлогую полосу прерии, тянувшуюся к югу. Низкие места были покрыты ярко-зеленой, волнующейся на ветру, мескитовой травой, а небольшие холмы увенчаны почти черными массами низких кактусов. По мескитовому лугу вилась дорога, которая в пяти милях от ранчо соединялась с большой дорогой, ведущей в Сан-Антонио. Солнце стояло так низко, что самые небольшие возвышения бросали длинные синие тени в зеленовато-золотистое море солнечного света.

В этот вечер слух был острее зрения.

Мексиканец поднял палец, призывая к тишине. Стук ложек о жестянки прекратился.

— Вдали слышен фургон, — сказал он. — Вот он пересекает ручей Гондо... Я слышу уже шум колес... Очень каменистое дно у этого ручья...

— У вас, однако, тонкий слух, Грегорио, — сказал Мустанг Тейлор. — Я ничего не слышу, кроме чириканья птиц в кустах и дуновенья ветерка в долине.

Через десять минут Тейлор заметил:

— Я вижу облако пыли, поднимающееся прямо над краем луга.

— У вас очень тонкое зрение, синьор, — сказал улыбаясь Грегорио.

На расстоянии двух миль видно было небольшое облачко, затемнявшее зеленую рябь мескитовой травы. Через двадцать минут послышался топот копыт, а еще через пять минут из-за чащи кустарника показалась пара серых лошадей. Они весело ржали, чуя овес, и быстро неслись, таща за собой фургон с такой легкостью, как будто он был игрушечный.

Из хижин послышались крики: «El Amo! El Amo!» Четверо мексиканских мальчишек стремглав побежали распрягать лошадей. Погонщики приветствовали прибытие фургона радостными криками.

Ренси Трюсделль, сидевший на козлах, бросил поводья на землю и засмеялся.

— Он находится под брезентом, ребята, — сказал он. — Я знаю, чего вы ждете. Там два ящика. Вытащите их и откройте. Я знаю, вы все хотите покурить.

Шесть пар рук стали рыться под мешками и одеялами, стараясь достать ящики с табаком.

Верзила Коллинз, посланный за табаком лагерем Сан-Габриэль и славившийся самыми длинными шпорами во всем западном крае, шарил длинной, как дышло, рукой. Он захватил что-то, что было тверже одеял, и вытащил какую-то странную вещь — бесформенный грязный кожаный предмет, связанный проволокой и веревкой. Из обтрепанного его конца, подобно голове и когтям встревоженной черепахи, высовывались пальцы человеческой ноги.

— У-у-у! — заорал Верзила Коллинз. — Что это, Ренси, ты возишь с собою человеческие трупы? Откуда это у тебя?

Пробудившись от своего долгого сна, Кудряш прорыл себе путь наружу и уселся, мигая, как безобразная сова. Лицо его было синевато-красное, одутловатое; опухшие глаза казались шелками, нос — маринованной свеклой, волосы — как у дикобраза. Что же касается всей фигуры, то можно было принять его за воронье пугало.

Ренси спрыгнул с козел и широко раскрытыми глазами уставился на странный привезенный им груз.

— Ах ты, чучело поганое! — воскликнул Ренси. — Как ты сюда попал?

Погонщики в восторге обступили фургон. Они даже на время забыли про табак.

Кудряш медленно огляделся по сторонам. Затем он проворчал что-то себе под нос, как шотландский терьер.

— Где я? — прохрипел он сдавленным голосом. — Это какая-то проклятая ферма в поле! Зачем вы меня сюда привезли, скажите-ка? Разве я вас об этом просил? Что вы меня обступили? Убирайтесь прочь, или я разобью ваши рожи.

— Вытащи-ка его оттуда, Коллинз, — сказал Ренси.

Кудряш соскользнул вниз и упал на спину. Он встал и сел на ступеньки лавки, обхватив колени и дрожа от злости. Тейлор вытащил ящик табака и отбил от него крышку. И вскоре шесть папирос задымили, знаменуя мир и прощение Сэму.

— Как ты попал в мой фургон? — повторил Ренси, на этот раз таким голосом, который требовал ответа.

Кудряш знал этот тон. Таким тоном говорили проводники товарных вагонов и важные особы в синих мундирах с дубинками в руках.

— Я? — проворчал он. — Вы это со мной говорите? Очень просто, я собирался в ресторан Менджера, но мой лакей забыл упаковать мою пижаму. Поэтому я забрался в этот фургон на постоялом дворе, поняли? Я никогда не просил вас привезти меня на эту ферму, поняли?

— Что это за животное? — спросил Дубина Роджерс, захлебываясь от восторга и забыв даже о курении. — Где оно водится и чем питается?

— Это канюк, — сказал Мустанг, — который завывает по ночам на вязах у болот. Только вот не знаю, кусается ли он или нет?

— Нет, не то, Мустанг, — с серьезным видом вмешался Верзила. — У канюков плавники на спине и восемнадцать пальцев на ногах. Это — чапура. Он живет под землей и питается вишнями. Не подходи к нему близко. Одним ударом хвоста он снесет всю усадьбу.

Космополит Сэм, знавший по имени всех буфетчиков в Сан-Антонио, стоял в дверях. Он оказался сильнее всех в зоологии.

— Врите, врите, да знайте меру, — сказал он, а затем обратился к Ренси: — Где вы выкопали это сокровище, Ренси? Не собираетесь ли вы из ранчо устроить музей редкостей?

— Слушайте, — сказал Кудряш, от бронированной груди которого отскакивали все стрелы остроумия. — Нет ли у кого-либо из молодцов что-нибудь выпить с похмелья? Можете забавляться сколько угодно — мне все равно!..

Он обернулся к Ренси:

— Слушайте, вы завезли меня в вашу проклятую степь — разве я просил вас об этом? Дайте мне хоть что-нибудь выпить, а то я разнесу все на мелкие куски!

Ренси видел, что нервы бродяги были напряжены до крайности. Он послал одного из мальчишек в усадебный дом за стаканом виски. Кудряш залпом выпил его, и глаза его выразили благодарность, напоминавшую преданность собаки.

— Спасибо, хозяин, — сказал он спокойно.

— Вы находитесь в тридцати милях от железной дороги и в сорока милях от ближайшего трактира, — сказал Ренси.

Кудряш беспомощно повалился на ступеньки лестницы.

— Идемте со мной, раз вы уж попали сюда — продолжал Ренси. — Не можем же мы вас вышвырнуть в степь. Кролик и тот бы вас разорвал на куски.

Он повел Кудряша под большой навес, где хранились усадебные повозки. Там он раздвинул парусиновую походную кровать и принес одеяло.

— Не думаю, чтобы вы могли заснуть, — сказал Ренси, — раз вы проспали целые сутки. Но вы можете здесь остаться до утра. Я пошлю к вам Педро с едой.

— Не могу уснуть! — сказал Кудряш. — Я могу спать хоть целую неделю подряд.

Ренсон Трюсделль проехал в этот день больше пятидесяти миль. И однако вот что он сделал после этого.

Старый Киова Трюсделль сидел в большом плетеном кресле и читал при свете керосиновой лампы. Ренси подошел к нему и положил ему на стол пачку только что привезенных из города газет.

— Ты уже вернулся, Ренси? — сказал старик, подняв голову. — Сын мой, — продолжал «Киова», — я весь день думал о том, о чем мы с тобой говорили. Я хочу, чтобы ты мне сказал это еще раз. Я жил для тебя. Я сражался с волками, с индейцами и с еще большими злодеями — белыми людьми, чтобы защитить тебя. Ты не помнишь своей матери. Я воспитал тебя, я научил тебя метко стрелять, мастерски ездить верхом и жить честно. Я много работал, чтобы накопить для тебя побольше долларов. Ты будешь богатым человеком, Ренси, когда меня не будет. Я тебя сделал таким, какой ты есть. Ты не принадлежишь себе — ты прежде всего должен сделаться настоящим Трюсделлем. А теперь скажи мне, выкинул ли ты из своей головы любовь к дочери Куртиса?

— Я еще раз повторяю вам, — медленно сказал Ренси. — Так же верно, как я — Трюсделль и что вы — мой отец, так же верно и то, что я никогда не женюсь на дочери Куртиса.

— Ты хороший мальчик, — сказал старик Киова. — Пойди теперь и поужинай.

Ренси прошел в кухню, находившуюся в задней половине дома. Педро, мексиканский повар, поднялся с места, чтобы принести кушанье, которое было поставлено в духовой шкафу.

— Только чашку кофе, Педро, — сказал Ренси и выпил ее стоя.

— Под большим навесом на койке лежит бродяга, — сказал он потом. — Отнеси ему чего-нибудь поесть. На всякий случай захвати двойную порцию, он, наверно, очень проголодался.

Отсюда Ренси направился к мексиканским хижинам. Ему навстречу выбежал мальчик.

— Мануэль, — сказал Ренси, — можешь ли ты поймать для меня в маленьком загоне Ваминоса?

— Почему нет, синьор? Я видел его два часа тому назад. У него на шее веревка.

— Поймай его и оседлай как можно скорее.

— Сию минуту, синьор.

Вскоре Ренси вскочил на оседланного Ваминоса и помчался к востоку мимо лавки, где сидел Сэм и наигрывал на гитаре при лунном свете.

Но следует сказать несколько слов о Ваминосе — о славном караковом пони. Мексиканцы, у которых имеется сотня названий для лошадиных мастей, называли его гууо. Он был мышинового цвета, пего-саврасо-караковой масти, если вы можете представить себе такую комбинацию. Вдоль спины, от гривы до хвоста, шла черная полоса. Он был неутомим, и землемеры за всю свою жизнь не проходили столько миль, сколько он мог проскакать в один день.

В восьми милях к востоку от ранчо Сиболо Ренси перестал сдавливать бока лошади, и Ваминос остановился под большим ратамовым деревом. Желтые его цветы испускали аромат, превосходивший запах роз. Земля казалась при свете луны большой вогнутой чашей, крышкой которой служил хрустальный небесный свод. На прогалине прыгали и играли, как котятка, пять степных зайцев. В восьми милях дальше на восток слабо сияла звезда, которая, казалось, упала на горизонт. Ночные всадники, часто проезжавшие этой дорогой, знали, что это был свет в ранчо Лос-Ольмос.

Через десять минут к дереву прискакала Иенна Куртис на своем гнедом пони, Плясуне. Оба всадника наклонились и сердечно пожали друг другу руки.

— Мне нужно было бы подъехать ближе к твоему дому, — сказал Ренси. — Но ты никогда мне этого не позволяешь.

Иенна засмеялась. И при мягком свете луны можно было увидеть ее белые зубы и бесстрашные глаза. В ней не было никакой сентиментальности, несмотря на лунный свет, на

одуряющий запах цветов и на красивую фигуру Ренси Трюсделля. И все же она приехала сюда, за восемь миль от дома, чтобы повидаться с ним.

— Я всегда тебе говорила, Ренси, что я твоя только до полдороги. Всегда только до полдороги!

— Ну а что сказал отец? — спросил Ренси.

— С своей стороны, я сделала все, — сказала Иенна со вздохом. — Я с ним поговорила после обеда, предполагая, что он в хорошем настроении. Приходилось ли тебе когда-нибудь разбудить льва, ошибочно приняв его за котенка? Он чуть не разнес все ранчо на куски. Все кончено. Я люблю своего отца, Ренси, — и я боюсь... да, я боюсь его. Он заставил меня дать ему обещание, что я никогда не выйду замуж за Трюсделля. Я должна была это сделать! Ну а чем кончились переговоры с твоим отцом?

— Тем же самым, — тихо сказал Ренси. — Я обещал ему, что его сын никогда не женится на девушке из семьи Куртис. Я тоже не мог идти против него. Он очень уж стар. Мне очень жаль, Иенна.

Девушка наклонилась к нему и положила свою руку на руку Ренси, лежавшую на луке.

— Я никогда не думала, что полюблю тебя еще больше за то, что ты отказался от меня, — горячо сказала она, — но между тем это так. Я должна теперь вернуться домой, Ренси. Я тайком ушла из дома и сама оседлала своего Плясуна. Доброй ночи, Ренси.

— Доброй ночи, — сказал Ренси. — Будь осторожна, когда будешь проезжать мимо барсучьих нор.

Они повернули лошадей и поехали в разные стороны. Иенна обернулась и звонко крикнула:

— Не забудь, Ренси, я твоя до полдороги.

— Будь они прокляты, все эти семейные распри и наследственные ссоры, — злобно пробормотал Ренси, возвращаясь обратно в Сиболо.

Ренси отвел лошадь в маленький загон и прошел в свою комнату. Он открыл нижний ящик старинного бюро, чтобы вынуть пачку писем, которые писала ему Иенна однажды летом, когда она уехала на Миссисипи погостить к знакомым. Ящик застрял, и он с силой рванул его — по обычаю всех мужчин. Ящик выдвинулся из бюро, но оба его бока треснули — по обычаю всех ящиков. При этом выпало из верхнего ящика пожелтевшее письмо без конверта. Ренси поднес его к лампе и с любопытством прочел...

Затем он взял свою шляпу и направился в одну из мексиканских хижин.

— Тиа Хуана, — сказал он, — я хотел бы переговорить с тобой относительно одного дела.

Старая-престарая мексиканка, с белыми волосами и вся в морщинах, поднялась со стула.

— Сиди, сиди, — сказал Ренси, снимая шляпу и садясь на стул. — Скажи мне, Тиа Хуана, кто я? — спросил он по-испански.

— Дон Ренсом, наш добрый друг и хозяин. Почему вы это спрашиваете? — спросила удивленно старуха.

— Тиа Хуана, кто я? — повторил он, глядя в упор на нее.

На лице старухи показался испуг. Дрожащими руками стала она перебирать свою черную шаль.

— Тридцать два года прожила я на ранчо Сиболо, — сказала Тиа Хуана. — Я думала, что меня схоронят под большими деревьями за садом раньше, чем это узнается. Закройте дверь, дон Ренсом, и я все расскажу вам. Я вижу по вашему лицу, что вы все знаете.

Целый час провел Ренси наедине с Тиа Хуаной. Когда он возвращался домой, Кудряш окликнул его из-под навеса.

Бродяга сидел на койке, болтая ногами, и курил.

— Послушайте, товарищ, — проворчал он, — так не полагается обращаться с человеком, которого похитили. Я прошел в лавку, попросил бритву у того дерзкого франта и выбрился. Но это не все, что требуется человеку. Скажите, не можете ли вы отпустить мне еще маленько того зелья? Я не просил вас привезти меня на вашу проклятую ферму.

— Встаньте сюда к свету, — сказал Ренси, пристально взглядываясь в него.

Кудряш угрюмо встал и вышел из-под навеса.

Его гладко выбритое лицо, казалось, преобразилось. Волосы были расчесаны и откинута назад красивой волной. Лунный свет смягчал следы пьянства, а его орлиный нос и небольшой раздвоенный подбородок придавали ему благородный вид.

Ренси с любопытством посмотрел на него.

— Откуда вы родом?.. и есть ли у вас где-нибудь родные?

— Я? Ну, как же, я — лорд, — сказал Кудряш. — Я — сэр Реджинальд... Нет, к чему врать! Я ничего не знаю о своих предках. Я был бродягой с тех пор, как помню себя. Скажите, товарищ, вы меня угостите сегодня вечером или нет?

— Отвечайте на мои вопросы, тогда я вас угощу. Как вы сделали бродягой?

— Я? — ответил Кудряш. — Я выбрал себе эту профессию, когда был еще грудным младенцем. Должен был выбрать. Из своего детства я помню только, что принадлежал какому-то долговязому и ленивому олуху, которого звали Чарли Бифштекс. Он посылал меня по домам просить милостыню. Я был в то время таким маленьким, что не доставал до ручки дверей.

— Он когда-нибудь вам рассказывал, как вы к нему попали? — спросил Ренси.

— Однажды, в трезвом виде, он рассказал мне, что купил меня у пьяной компании мексиканцев, занимавшихся стрижкой овец. Да не все ли вам равно?.. Вот и все, что я знаю о себе...

— Отлично, — сказал Ренси. — Вы мне напоминаете скот, у которого еще нет клейма. Я заберу вас к себе и поставлю вам клеймо ранчо Сиболо. С завтрашнего дня вы начнете работать в одном из лагерей.

— Работать! — презрительно фыркнул Кудряш. — Да за кого вы меня принимаете? Вы думаете, что я буду гоняться за коровами и скакать за дурацкими овцами, как это делают ваши пастухи? И не воображайте, пожалуйста!

— О, вам понравится эта работа, когда вы привыкнете к ней, — сказал Ренси. — Я вам пришлю сейчас с Педро еще стаканчик виски. Я думаю, из вас выйдет через короткое время прекрасный ковбой.

— Из меня? — удивленно спросил Кудряш. — Мне жаль тех коров, к которым вы меня приставите. Пусть лучше они сами за собой смотрят. Так не забудьте, хозяин, прислать мне на ночь чарочку.

Ренси по дороге домой зашел в лавку. Сэм Ривелль снимал свои желтые сапоги и собирался идти спать.

— Не знаешь ли, — спросил Ренси, — возвращается ли кто-нибудь из парней завтра в лагерь Сан-Габриэль?

— Верзила Коллинс, — коротко ответил Сэм. — Он поедет за почтой.

— Скажи ему, — сказал Ренси, — чтобы он захватил с собой в лагерь этого бродягу и держал его там до моего приезда.

На следующий день, рано утром, Кудряш был отправлен в лагерь Сан-Габриэль, а к вечеру приехал туда Ренси.

Кудряш ругался на чем свет стоит, когда подъехал Ренси. Ковбои не обращали на бродягу никакого внимания. Он был покрыт густым слоем пыли и грязи. Костюм был в самом неприличном виде.

Ренси подошел к управляющему лагерем «Козлу» Рэббу и переговорил с ним.

— Он отъявленный лентяй, — сказал Козел. — Он не хочет работать! Да стоит ли вообще возиться с такими отбросами. Я не знал, что вы хотите с ним делать, Ренси, а потому не приставил его пока ни к какой работе. По-видимому, он против этого ничего не имеет. Ребята уже хотели его повесить, но я сказал им, что вы намереваетесь что-то с ним сделать.

Ренси скинул свой пиджак.

— Мне думается, что я взялся за трудное дело, но оно должно быть сделано. Мне нужно из этой твари сделать человека. Из-за этого-то я и приехал сюда.

Он подошел к Кудряшу.

— Слушайте, любезный, — сказал он, — мне кажется, вам первым делом следовало бы хорошенько помыться, чтобы занять подобающее место среди ваших новых товарищей.

— Проходите себе мимо, господин фермер, — насмешливо сказал Кудряш. — Если я почувствую потребность помыться, то пошлю за своей нянюшкой.

В двенадцати ярдах от них находился пруд. Ренси схватил Кудряша за ногу и поволок его к берегу, как мешок с картофелем. Затем с силой и ловкостью он швырнул позорного члена общества далеко в пруд.

Кудряш выполз на берег, отплевываясь, как дельфин.

Ренси встретил его с куском мыла и грубым полотенцем в руках.

— Ступайте на другой конец пруда и вымойтесь, — сказал он. — Козел даст вам в лагере сухую одежду.

Бродяга повинился не протестуя. Ужин был готов к тому времени, как он вернулся в лагерь. Его трудно было узнать в чистой синей рубаше и в коричневых парусиновых шароварах. Ренси наблюдал за ним украдкой.

«Черт возьми, хоть бы не был он трусом, — подумал он. — Надеюсь, что нет».

Его сомнения вскоре рассеялись. Кудряш направился прямо к нему. Его светло-голубые глаза блестели.

— Теперь, когда я чистый, вы, может быть, соблаговолите поговорить со мною, — сказал он многозначительно. — Или вы думаете, что я вам здесь для забавы? — прибавил он, повышая голос. — Вы, мужичье, думаете, что можете набрасываться на человека, пользуясь его беспомощным состоянием? Это большое свинство! И я не желаю оставаться в долгу! — сказал Кудряш, закатив оглушительную пощечину Ренси. На загорелой коже остался темно-красный отпечаток его руки.

Ковбои до сих пор вспоминают о последовавшей затем свалке.

Где-то, во время своего бродяжничества по городам, Кудряш научился искусству самозащиты. Ренси обладал только силой и выдержкой. Поэтому боевые силы были почти равны. Кругов, как при настоящей борьбе, конечно, не было. Под конец победила сила и выдержка. Когда Кудряш в последний раз упал от неуклюжего, но могучего удара фермера, он остался лежать на траве, но в глазах все еще светилась неутоленная жажда боя.

Ренси пошел к бочке с водой и смыл кровь с подбородка.

На лице его сияла довольная улыбка.

Очень много пользы могли бы извлечь воспитатели и моралисты, если бы они могли знать подробности метода воспитания, который применил Ренси к своему питомцу в течение месяца, проведенного им в лагере Сан-Габриэль. У Ренси не было разработанных теорий — весь его запас педагогики состоял в умении объезжать лошадей, да в вере в наследственность.

Ковбои видели, что их хозяин старался сделать человека из странного животного, и они, по молчаливому соглашению, приняли на себя обязанности его помощников. Но у каждого из них была своя собственная система.

Первый урок Кудряша не пропал даром. Он остался в дружеских, а потом и в близких отношениях с мылом и водой. Ренси больше всего нравилось в его питомце то, что он твердо стоял на каждой достигнутой им ступени. Но расстояние между ступенями было иногда очень большое.

Однажды он раздобыл четверть виски, тщательно сберегавшейся в палатке для хранения провианта на случай укуса гремучей змеи, и шестнадцать часов провалялся на траве мертвецки пьяным. Но когда после этого он шатаясь поднялся на ноги, первым его побуждением было найти мыло и полотенце и отправиться к пруду. Другой раз, когда с ранчо был прислан подарок в виде корзины свежих помидоров и молодого лука, Кудряш сожрал всю провизию прежде, чем ковбои явились к ужину.

Тогда ковбои наказали его по-своему. В течение трех дней они не разговаривали с ним и только отвечали на его вопросы с изысканной вежливостью. Они шутили друг с другом; они больно, но по-приятельски тузили друг друга; они осыпали друг друга дружескими

ругательствами и насмешками, но с Кудряшом они были утрированно вежливы. Он замечал это, и это сильно задевало его.

Однажды ночью подул холодный, сырой северный ветер. Самый младший из ковбоев, Вильсон, схватил лихорадку и слег. Когда повар Джо встал на рассвете, чтобы приготовить завтрак, он увидел Кудряша, спавшего в сидячем положении. Кудряш прислонился к колесу фургона и был завернут только в попону, а своими одеялами он прикрыл Вильсона, чтобы защитить его от дождя и ветра.

В таком положении Кудряш провел три ночи и только на четвертую завернулся в свое одеяло и улегся спать как следует. Тогда другие ковбои тихонько встали и стали делать какие-то приготовления. Ренси увидел, как Верзила Коллинз привязывал веревку к луке седла. Остальные доставали свои револьверы.

— Ребята, я вам очень благодарен, — сказал Ренси. — Я надеялся, что вы это сделаете, но мне не хотелось вас просить об этом.

Раздались выстрелы из полудюжины револьверов, странные крики прорезали воздух, и Верзила Коллинз дико помчался к спавшему Кудряшу, таща за собою седло. Это был просто их способ нежно разбудить жертву. Затем в течение целого часа они донимали его разными шутками согласно кодексу коровьих лагерей. Всякий раз, когда он выражал протест, они его растягивали на одеяле и с грустными лицами секли кожаными ремнями. Все это означало, что Кудряша считали достойным посвятить в ковбои. Отныне ковбои не будут больше никогда с ним обращаться «вежливо», и он будет их полноправным товарищем и братом по ремеслу.

Когда дурачества кончились, все руки протянулись к огромному кофейнику над костром, чтобы выпить чашку кофе. Ренси с интересом наблюдал за вновь посвященным рыцарем, желая узнать, понял ли он оказанную ему честь и достоин ли он ее. Кудряш, хромая, направился со своей чашкой кофе к бревну и сел на него. Верзила Коллинз последовал за ним и сел рядом с ним. Козел Рэбб тоже пошел и сел по другую сторону. Кудряш весело усмехнулся...

После этого Ренси снабдил Кудряша лошадью, седлом, полной экипировкой и сдал его Козлу Рэббу для окончательной обработки.

Три недели спустя Ренси приехал с ранчо в лагерь Рэбба, находившийся в то время в Змеиной долине. Ковбои седлали лошадей для дневного объезда. Ренси отыскал среди них Верзилу Коллинза.

— Ну, как дела с «диким жеребцом»? — спросил он.

Верзила Коллинз усмехнулся.

— А вот он, — сказал Верзила, указывая на Кудряша, — неужто не узнали?.. Вы можете пожать ему руку, если хотите, потому что он честный малый, и лучше его не найти ни в одном лагере.

Ренси взглянул на красивого, загорелого ковбоя, который, улыбаясь, стоял рядом с Коллинзом. Неужели это был Кудряш? Он протянул руку, и Кудряш сжал ее своей крепкой мускулистой рукой.

— Вы мне нужны на ранчо, — сказал Ренси.

— Ладно, товарищ, — весело ответил Кудряш. — Но я хочу снова вернуться сюда. Право, это шикарная ферма. И мне не нужно лучшего занятия, как гнаться за коровами с этой теплой компанией. Все они веселее веселого.

У усадебного дома в Сиболо они соскочили с лошадей. Ренси попросил Кудряша обождать у дверей жилой комнаты, а сам вошел в нее. Старик Киова Трюсделль читал за столом.

— С добрым утром, мистер Трюсделль, — сказал Ренси.

Старик быстро повернул к нему седую, как лунь, голову.

— Что такое? — начал он. — Почему ты меня называешь мистер...

Но, взглянув в лицо Ренси, он остановился, и рука, державшая газету, слегка задрожала.

— Мальчуган, — тихо сказал он, — откуда ты это узнал?

— Ничего, — сказал, улыбаясь, Ренси. — Я заставил Тиа Хуану мне все рассказать. Я

это случайно узнал, но все это к лучшему.

— Ты был мне как родной сын, — сказал старик Киова с дрожью в голосе.

— Да, Тиа Хуана мне все рассказала, — сказал Ренси. — Она рассказала мне, как вы усыновили меня, когда я был от горшка два вершка, взяв меня от переселенцев, направлявшихся на запад. И она рассказала мне, как ваш мальчик — ваш родной сын пропал или был украден. Она сказала мне, что это было в тот самый день, когда мексиканские работники, которые нанялись стричь овец, взбунтовались и ушли с ранчо.

— Наш мальчик исчез из дома, когда ему было два года, — сказал старик. — А вскоре после этого прибыл обоз с эмигрантами, и с ними был ребенок, который им был в тягость. Таким-то образом мы тебя и взяли. Я не хотел, чтобы ты когда-нибудь узнал об этом, Ренси. Мы никогда не слышали больше о нашем мальчике.

— Если я не ошибаюсь, то он здесь, — сказал Ренси, открыв дверь и позвав Кудряша.

Кудряш вошел.

Не могло быть никаких сомнений. У старика и у молодого человека были такие же волнистые волосы, тот же орлиный нос, тот же овал лица и те же выпуклые голубые глаза.

Старик Киова порывисто встал.

Кудряш с любопытством оглядывал комнату. Удивленное выражение появилось на его лице. Он указал пальцем на противоположную стену.

— Где тик-так? — спросил он странным голосом.

— Часы, — закричал громко Киова. — Здесь действительно всегда раньше стояли большие часы.

Он повернулся к Ренси, но Ренси не было в комнате.

В ста ярдах от дома Ваминос, его добрый конь, мчал его с быстротой скаковой лошади через пыль и колючий кустарник, на восток, к ранчо Лос-Ольмос.

Купидон порционно

Перевод под ред. М. Лорие

— Женские склонности, — сказал Джефф Питерс, после того, как по этому вопросу высказано было уже несколько мнений, — направлены обыкновенно в сторону противоречий. Женщина хочет того, чего у вас нет. Чем меньше чего-нибудь есть, тем больше она этого хочет. Она любит хранить сувениры о событиях, которых вовсе не было в ее жизни. Односторонний взгляд на вещи несовместим с женским естеством.

— У меня есть несчастная черта, рожденная природой и развитая путешествиями, — продолжал Джефф, задумчиво поглядывая на печку между своими высоко задранными кверху ногами. — Я глубже смотрю на некоторые вещи, чем большинство людей. Я надыхался парами бензина, ораторствуя перед уличной толпой почти во всех городах Соединенных Штатов. Я зачаровывал людей музыкой, красноречием, проворством рук и хитрыми комбинациями, в то же время продавая им ювелирные изделия, лекарства, мыло, средство для рращения волос и всякую другую дрянь. И во время моих путешествий я, для развлечения, а отчасти во искупление грехов, изучал женщин. Чтобы раскусить одну женщину, человеку нужна целая жизнь; но начатки знания о женском поле вообще он может приобрести, если посвятит этому, скажем, десять лет усердных и пристальных занятий. Очень много полезного по этой части я узнал, когда распространял на Западе бразильские брильянты и патентованные растопки, — это после моей поездки из Саванны, через хлопковый пояс, с дельбиевским невзрывающимся порошком для ламп. То было время первого расцвета Оклахомы. Гатри рос в центре этого штата, как кусок теста на дрожжах. Это был типичный городок, рожденный бумом: чтобы умыться, становись в очередь; если засидишься в ресторане за обедом дольше десяти минут, к твоему счету прибавляют за постой; если ночевал на полу в гостинице, утром тебе ставят в счет полный пансион.

По убеждениям моим и по природе я склонен везде разыскивать наилучшие места для кормежки. Я огляделся и нашел заведение, которое меня устраивало как нельзя лучше. Это был ресторан-палатка, только что открытый семьей, которая прибыла в город по следу бума. Они наскоро построили домик, в котором жили и готовили, и приткнули к нему палатку, где и помешался собственно ресторан. Палатка эта была разукрашена плакатами, рассчитанными на то, чтобы вырвать усталого пилигрима из греховных объятий пансионеров и гостиниц для приезжающих. «Попробуйте наше домашнее печенье», «Горячие пирожки с кленовым сиропом, какие вы ели в детстве», «Наши жареные цыплята при жизни не кукарекали» — такова была эта литература, долженствовавшая способствовать пищеварению гостей. Я сказал себе, что надо будет бродячему сынку своей мамы пожевать чего-нибудь вечером в этом заведении. Так оно и случилось. И здесь-то я познакомился с Мэйми Дьюган.

Старик Дьюган — шесть футов индианского бездельника — проводил время лежа в качалке и вспоминая недород восемьдесят шестого года. Мамаша Дьюган готовила, а Мэйми подавала.

Как только я увидел Мэйми, я понял, что во всеобщей переписи допустили ошибку. В Соединенных Штатах была, конечно, только одна девушка! Подробно описать ее довольно трудно. Ростом она была примерно с ангела, и у нее были глаза, и этакая повадка. Если вы хотите знать, какая это была девушка, вы их можете найти целую цепочку, — она протянулась от Бруклинского моста на запад до самого здания суда в Каунсил-Блафс, штат Индиана. Они зарабатывают себе на жизнь, работая в магазинах, ресторанах, на фабриках и в конторах. Они происходят по прямой линии от Евы, и они-то и завоевали права женщины, а если вы вздумаете эти права оспаривать, то имеете шанс получить хорошую затрещину. Они хорошие товарищи, они честны и свободны, они нежны и дерзки и смотрят жизни прямо в глаза. Они встречались с мужчиной лицом к лицу и пришли к выводу, что существо это довольно жалкое. Они убедились, что описания мужчины, имеющиеся в романах для железнодорожного чтения и рисующие его сказочным принцем, не находят себе подтверждения в действительности.

Вот такой девушкой и была Мэйми. Она вся переливалась жизнью, весельем и бойкостью; с гостями за словом в карман не лезла; помереть можно было со смеху, как она им отвечала. Я не люблю производить раскопки в недрах личных симпатий. Я придерживаюсь теории, что противоречия и несуразности заболевания, известного под названием любви, — дело такое же частное и персональное, как зубная щетка. По-моему, биографии сердец должны находить себе место рядом с историческими романами из жизни печени только на журнальных страницах, отведенных для объявлений. Поэтому вы мне простите, если я не представлю вам полного прейскуранта тех чувств, которые я питал к Мэйми.

Скоро я обзавелся привычкой регулярно являться в палатку в нерегулярное время, когда там поменьше народа. Мэйми подходила ко мне, улыбаясь, в черном платице и белом переднике, и говорила: «Алло, Джефф, почему не пришли в положенное время? Нарочно опаздываете, чтобы всех беспокоить? Жареные-цыплята-бифштекс-свиные-отбивные-яичница-с-ветчиной» — и так далее. Она называла меня Джефф, но из этого ровно ничего не следовало. Надо же ей было как-нибудь отличать нас друг от друга. А так было быстрее и удобнее. Я съедал обыкновенно два обеда и старался растянуть их, как на банкете в высшем обществе, где меняют тарелки и жен и перекидываются шуточками между глотками. Мэйми все это сносила. Не могла же она устраивать скандалы и упускать лишний доллар только потому, что он прибыл не по расписанию.

Через некоторое время еще один парень, — его звали Эд Коллиер, — возымел страсть к принятию пищи в неурочное время, и благодаря мне и ему между завтраком и обедом и обедом и ужином были перекинуты постоянные мосты. Палатка превратилась в цирк с тремя аренами, и у Мэйми совсем не оставалось времени, чтобы отдохнуть за кулисами. Этот Коллиер был напичкан разными намерениями и ухищрениями. Он работал по части бурения колодцев, или по страхованию, или по заявкам, или черт его знает — не помню уж по какой части. Он был довольно густо смазан хорошими манерами и в разговоре умел расположить к себе. Мы с Коллиером развели в палатке атмосферу ухаживания и соревнования. Мэйми держала себя на

высоте беспристрастности и распределяла между нами свои любезности, словно сдавала карты в клубе: одну мне, одну Коллиеру и одну банку. И ни одной карты в рукаве.

Мы с Коллиером, конечно, познакомились и иногда даже проводили вместе время за стенами палатки. Без своих военных хитростей он производил впечатление славного малого, и его враждебность была забавного свойства.

— Я заметил, что вы любите засиживаться в банкетных залах после того, как гости все разошлись, — сказал я ему как-то, чтобы посмотреть, что он ответит.

— Да, — сказал Коллиер подумав. — Шум и толкотня раздражают мои чувствительные нервы.

— И мои тоже, — сказал я. — Славная девочка, а?

— Вот оно что, — сказал Коллиер и засмеялся. — Раз уж вы сказали это, я могу вам сообщить, что она не производит дурного впечатления на мой зрительный нерв.

— Мой взор она прямо-таки радует, — сказал я. — И я за ней ухаживаю. Сим ставлю вас в известность.

— Я буду столь же честен, — сказал Коллиер. — И если только в аптекарских магазинах здесь хватит пепсина, я вам задам такую гонку, что вы придете к финишу с несварением желудка.

Так началась наша скачка. Ресторан неустанно пополняет запасы. Мэйми нам прислуживает, веселая, милая и любезная, и мы идем голова в голову, а Купидон и повар работают в ресторане Дьюгана сверхурочно.

Как-то в сентябре я уговорил Мэйми выйти погулять со мной после ужина, когда она кончит уборку. Мы прошлись немножко и уселись на бревнах в конце города. Такой случай мог не скоро еще представиться, и я высказал все, что имел сказать. Что бразильские брильянты и патентованные растопки дают мне доход, который вполне может обеспечить благополучие двоих, что ни те ни другие не могут выдержать конкуренцию в блеске с глазами одной особы и что фамилию Дьюган необходимо переменить на Питерс, — а если нет, то потрудитесь объяснить почему.

Мэйми сначала ничего не ответила. Потом она вдруг как-то вся передернулась, и тут я услышал кое-что поучительное.

— Джефф, — сказала она, — мне очень жаль, что вы заговорили. Вы мне нравитесь, вы мне все нравитесь, но на свете нет человека, за которого бы я вышла замуж, и никогда не будет. Вы знаете, что такое в моих глазах мужчина? Это могила. Это саркофаг для погребения в нем бифштексов, свиных отбивных, печенки и яичницы с ветчиной. Вот что он такое, и больше ничего. Два года я вижу перед собой мужчин, которые едят, едят и едят, так что они превратились для меня в жвачных двуногих. Мужчина — это нечто сидящее за столом с ножом и вилкой в руках. Такими они запечатлелись у меня в сознании. Я пробовала побороть в себе это, но не могла. Я слышала, как девушки расхваливают своих женихов, но мне это непонятно. Мужчина, мясорубка и шкаф для провизии вызывают во мне одинаковые чувства. Я пошла как-то на утренник, посмотреть на актера, по которому все девушки сходили с ума. Я сидела и думала, какой он любит бифштекс — с кровью, средний или хорошо прожаренный и яйца — в мешочек или вкрутую? И больше ничего. Нет, Джефф. Я никогда не выйду замуж. Смотреть, как он приходит завтракать и ест, возвращается к обеду и ест, является, наконец, к ужину и ест, ест, ест...

— Но, Мэйми, — сказал я, — это обойдется. Вы слишком много имели с этим дела. Конечно, вы когда-нибудь выйдете замуж. Мужчины не всегда едят.

— Поскольку я их наблюдала — всегда. Нет, я вам скажу, что я хочу сделать. — Мэйми вдруг воодушевилась, и глаза ее заблестели.

— В Терри-Хот живет одна девушка, ее зовут Сюзи Фостер, она моя подруга. Она служит там в буфете на вокзале. Я работала там два года в ресторане. Сюзи мужчины еще больше опротивели, потому что мужчины, которые едят на вокзале, едят и давятся от спешки. Они пытаются флиртовать и жевать одновременно. Фу! У нас с Сюзи это уже решено. Мы копим деньги и, когда накопим достаточно, купим маленький домик и пять акров земли. Мы уже

присмотрели участок. Будем жить вместе и разводить фиалки. И не советую никакому мужчине подходить со своим аппетитом ближе чем на милю к нашему ранчо.

— Ну, а разве девушки никогда... — начал я.

Но Мэйми решительно остановила меня.

— Нет, никогда. Они погрызут иногда что-нибудь, вот и все.

— Я думал, конфе...

— Ради бога, перемените тему, — сказала Мэйми.

Как я уже говорил, этот опыт доказал мне, что женское естество вечно стремится к миражам и иллюзиям. Возьмите Англию — ее создал бифштекс; Германию родили сосиски, дядя Сэм обязан своим могуществом пирогам и жареным цыплятам. Но молодые девицы не верят этому. Они считают, что все сделали Шекспир, Рубинштейн и легкая кавалерия Теодора Рузвельта.

Этакое положеньеце хоть кого могло расстроить. О разрыве с Мэйми не могло быть и речи. А между тем при мысли, что придется отказаться от привычки есть, мне становилось грустно. Я приобрел эту привычку слишком давно. Двадцать семь лет я слепо несся навстречу катастрофе и поддавался вкрадчивым зовам ужасного чудовища — пищи. Меняться мне было поздно. Я был безнадежно жвачным двуногим. Можно было держать пари на салат из омаров против пончика, что моя жизнь будет из-за этого разбита.

Я продолжал столоваться в палатке Дьюгана, надеясь, что Мэйми смилостивится. Я верил в истинную любовь и думал, что если она так часто превозмогала отсутствие приличной еды, то сумеет авось превозмочь и наличие оной. Я продолжал предаваться моему фатальному пороку, но всякий раз, когда я в присутствии Мэйми засовывал себе в рот картофелину, я чувствовал, что, может быть, хороню мои сладчайшие надежды.

Коллиер, по-видимому, тоже открылся Мэйми и получил тот же ответ. По крайней мере, в один прекрасный день он заказывает себе чашку кофе и сухарик, сидит и грызет кончик сухаря, как барышня в гостиной, которая предварительно напичкалась на кухне ростбифом с капустой. Я клюнул на эту удочку и тоже заказал кофе и сухарь. Вот хитрецы-то нашлись, а? На следующий день мы сделали то же самое. Из кухни выходит старина Дьюган и несет наш роскошный заказ.

— Страдаете отсутствием аппетита? — спросил он отечески, но не без сарказма. — Я решил сменить Мэйми, пускай отдохнет. Столик нетрудный, его и с моим ревматизмом можно обслужить.

Так нам с Коллиером пришлось опять вернуться к тяжелой пище. Я заметил в это время, что у меня появился совершенно необыкновенный, разрушительный аппетит. Я так ел, что Мэйми должна была проникаться ненавистью ко мне, как только я переступал порог. Потом уже я узнал, что я стал жертвою первого гнусного и безбожного подвоха, который устроил мне Эд Коллиер. Мы с ним каждый день вместе выпивали в городе, стараясь утопить наш голод. Этот негодяй подкупил около десяти барменов, и они подливали мне в каждый стаканчик виски хорошую дозу анакондовской яблочной аппетитной горькой. Но последний подвох, который он мне устроил, было еще труднее забыть.

В один прекрасный день Коллиер не появился в палатке. Один общий знакомый сказал, что он утром уехал из города. Таким образом, моим единственным соперником осталась обеденная карточка. За несколько дней до своего исчезновения Коллиер подарил мне два галлона чудесного виски, которое ему будто бы прислал двоюродный брат из Кентукки. Я имею теперь основания думать, что это виски состояло почти исключительно из анакондовской яблочной аппетитной горькой. Я продолжал поглощать тонны пищи. В глазах Мэйми я по-прежнему был просто двуногим, более жвачным, чем когда-либо.

Приблизительно через неделю после того, как Коллиер испарился, в город прибыла какая-то выставка вроде паноптикума и расположилась в палатке около железной дороги. Я зашел как-то вечером к Мэйми, и мамаша Дьюган сказала мне, что Мэйми со своим младшим братом Томасом отправилась в паноптикум. Это повторилось на одной неделе три раза. В субботу вечером я поймал ее, когда она возвращалась оттуда, и уговорил присесть на

минуточку на пороге. Я заметил, что она изменилась. Глаза у нее стали как-то нежнее и блестящие. Вместо Мэйми Дьюган, обреченной на бегство от мужской прожорливости и на разведение фиалок, передо мной сидела Мэйми, более отвечающая плану, в котором она задумана была Богом, и чрезвычайно подходящая для того, чтобы греться в лучах бразильских бриллиантов и патентованных растолок.

— Вы, по-видимому, очень увлечены этой доселе непревзойденной выставкой живых чудес и достопримечательностей? — спросил я.

— Все-таки развлечение, — говорит Мэйми.

— Вам придется искать развлечения от этого развлечения, если вы будете ходить туда каждый день.

— Не раздражайтесь, Джефф! — сказала она. — Это отвлекает мои мысли от кухни.

— Эти чудеса не едят?

— Не все. Некоторые из них восковые.

— Смотрите не прилипните, — сострил я без всякой задней мысли, просто каламбура.

Мэйми покраснела. Я не знал, как это понять. Во мне вспыхнула надежда, что, может быть, я своим постоянством смягчил ужасное преступление мужчины, заключающееся в публичном введении в свой организм пищи. Мэйми сказала что-то о звездах, в почтительных и вежливых выражениях, а я нагородил чего-то о союзе сердец и о домашних очагах, согретых истинной любовью и патентованными растопками. Мэйми слушала меня без гримас, и я сказал себе: «Джефф, старина, ты ослабил заклятие, которое висит над едоками! Ты наступил каблуком на голову змеи, которая прячется в соуснике!»

В понедельник вечером я опять захожу к Мэйми, Мэйми с Томасом опять пошли на непревзойденную выставку чудес.

«Чтоб ее побрали сорок пять морских чертей, эту самую выставку! — сказал я себе. — Будь она проклята отныне и веки! Аминь! Завтра пойду туда сам и узнаю, в чем заключается ее гнусное очарование. Неужели человек, который сотворен, чтобы унаследовать землю, может лишиться своей милой сначала из-за ножа и вилки, а потом из-за паноптикума, куда и вход-то стоит всего десять центов?»

На следующий вечер, прежде чем отправиться в паноптикум, я захожу в палатку и узнаю, что Мэйми нет дома. На сей раз она не с Томасом, потому что Томас подстерегает меня на траве, перед палаткой, и делает мне предложение.

— Что вы мне дадите, Джефф, — говорит он, — если я вам что-то скажу?

— То, что это будет стоить, сынок.

— Мэйми втюрилась в чудо, — говорит Томас, — в чудо из паноптикума. Мне он не нравится. А ей нравится. Я подслушал, как они разговаривали. Я думал — может быть, вам будет интересно. Слушайте, Джефф, два доллара — это для вас не дорого? Там, в городе, продается одно ружье, и я хотел...

Я обшарил карманы и вылил Томасу в шляпу поток серебра. Известие, сообщенное мне Томасом, подействовало на меня так, словно в меня заколотили сваю, и на некоторое время мысли мои стали спотыкаться. Проливая мелкую монету и глупо улыбаясь, в то время как внутри меня разрывало на части, я сказал идиотски-шутливым тоном:

— Спасибо, Томас... спасибо... того... чудо, говоришь, Томас? Ну а в чем его особенности, этого уroda, а, Томас?

— Вот он, — говорит Томас, вытаскивает из кармана программу на желтой бумаге и сует мне ее под нос. — Он чемпион мира — постник. Поэтому, наверно, Мэйми и врезалась в него. Он ничего не ест. Он будет голодать сорок девять дней. Сегодня шестой... Вот он.

Я посмотрел на строчку, на которой лежал палец Томаса: «Профессор Эдуардо Коллиери».

— А! — сказал я в восхищении. — Это не худо придумано, Эд Коллиер! Отдаю вам должное за изобретательность. Но девушки я вам не отдам, пока она еще не миссис Чудо!

Я поспешил к паноптикуму. Когда я подходил к нему с задней стороны, какой-то человек вынырнул, как змея, из-под палатки, встал на ноги и полез прямо на меня, как бешеный

мустанг. Я схватил его за шиворот и исследовал при свете звезд. Это был профессор Эдуардо Коллиери, в человеческом одеянии, со злобой в одном глазу и нетерпением в другом.

— Алло, Достопримечательность! — говорю я. — Подожди минутку, дай на тебя полюбоваться. Ну что, хорошо быть чудом нашего века, или бимбомом с острова Борнео, или как там тебя величают в программе?

— Джефф Питерс, — говорит Коллиер слабым голосом. — Пусти меня, или я тебя тресну. Я самым невероятным образом спешу. Руки прочь!

— Легче, легче, Эди, — отвечаю я, крепко держа его за ворот. — Позволь старому другу насмотреться на тебя всласть. Ты затеял колоссальное жульничество, сын мой, но о мордобое толковать брось: на это ты не годишься. Максимум того, чем ты располагаешь, — это довольно много наглости и гениально пустой желудок.

Я не ошибался: он был слаб, как вегетарианская кошка.

— Джефф, — сказал он, — я согласен был бы спорить с тобой на эту тему неограниченное количество раундов, если бы у меня было полчаса на тренировку и плитка бифштекса в два квадратных фута — для тренировки. Черт бы побрал того, кто изобрел искусство голодать! Пусть его на том свете прикуют навеки в двух шагах от бездонного колодца, полного горячих котлет. Я бросаю борьбу, Джефф. Я дезертирую к неприятелю. Ты найдешь мисс Дьюган в палатке: она там созерцает живую мумию и ученую свинью. Она чудная девушка, Джефф. Я бы победил в нашей игре, если бы мог выдержать беспищевое состояние еще некоторое время. Ты должен признать, что мой ход с голодовкой был задуман со всеми шансами на успех. Я так и рассчитывал. Но слушай, Джефф, говорят — любовь двигает горами. Поверь мне, это ложный слух... Не любовь, а звонок к обеду заставляет содрогаться горы. Я люблю Мэйми Дьюган. Я прожил шесть дней без пищи, чтобы потрафить ей. За это время я только один раз проглотил кусок съестного; это когда я двинул татуированного человека его же палицей и вырвал у него сэндвич, который он начал есть. Хозяин оштрафовал меня на все мое жалованье. Но я пошел сюда не ради жалованья, а ради этой девушки. Я бы отдал за нее жизнь, но за говяжьё рагу я отдам мою бессмертную душу. Голод — ужасная вещь, Джефф. И любовь, и дела, и семья, и религия, и искусство, и патриотизм — пустые тени слов, когда человек голодает.

Так говорил мне Эд Коллиер патетическим тоном. Диагноз установить было легко: требования его сердца и требования желудка вступили в драку, и победило интендантство. Эд Коллиер мне, в сущности, всегда нравился. Я поискал у себя внутри какого-нибудь утешительного слова, но не нашел ничего подходящего.

— Теперь сделай мне удовольствие, — сказал Эд, — отпусти меня. Судьба крепко меня ударила, но я ударю сейчас по жратве еще крепче. Я очищу все рестораны в городе. Я зарююсь до пояса в филе и буду купаться в яичнице с ветчиной. Это ужасно, Джефф Питерс, когда мужчина доходит до такого: отказывается от девушки ради еды. Это хуже, чем с этим, как его? Исавом, который спустил свое авторское право за куропатку. Но голод — жестокая штука. Прости меня, Джефф, но я чувю, что где-то вдалеке жарится ветчина, и мои ноги молят меня погнать их в этом направлении.

— Приятного аппетита, Эд Коллиер, — сказал я, — и не сердись на меня. Я сам создан незаурядным едоком и сочувствую твоему горю.

В эту минуту до нас вдруг донесся на крыльях ветерка сильный запах жареной ветчины. Чемпион-постник фыркнул и галопом поскакал в темноту к кормушке.

Жаль, что этого не видели культурные господа, которые вечно рекламируют смягчающее влияние любви и романтики! Вот вам Эд Коллиер, тонкий человек, полный всяких ухищрений и выдумок. И он бросил девушку, владычицу своего сердца, и перекочевал на смежную территорию желудка в погоне за гнусной жратвой. Это была пощечина поэтам, издевка над самым прибыльным сюжетом беллетристики. Пустой желудок — вернейшее противоядие от переполненного сердца.

Мне было, разумеется, чрезвычайно интересно узнать, насколько Мэйми ослеплена Коллиером и его военными хитростями. Я вошел внутрь палатки, в которой помещался

непревзойденный паноптикум, и нашел ее там. Она как будто удивилась, но не выразила смущения.

— Элегантный вечерок сегодня на улице, — сказал я. — Такая приятная прохлада, и звезды все выстроились в первоклассном порядке, где им полагается быть. Не хотите ли вы плюнуть на эти побочные продукты животного царства и пройтись погулять с обыкновенным человеком, чье имя еще никогда не фигурировало на программе?

Мэйми робко покосилась в сторону, и я понял, что это значит.

— О, — сказал я. — Мне неприятно говорить вам это, но достопримечательность, которая питается одним воздухом, удрала. Он только что выполз из палатки с черного хода. Сейчас он уже объединился в одно целое с половиною всего съестного в городе.

— Вы имеете в виду Эда Коллиера? — спросила Мэйми.

— Именно, — ответил я. — И самое печальное то, что он опять ступил на путь преступления. Я встретил его за палаткой, и он объявил мне о своем намерении уничтожить мировые запасы пищи. Это невыразимо печальное явление, когда твой кумир сходит с пьедестала, чтобы превратиться в саранчу.

Мэйми посмотрела мне прямо в глаза и не отводила их до тех пор, пока не откупила всех моих мыслей.

— Джефф, — сказала она, — это не похоже на вас — говорить такие вещи. Не смейте выставять Эда Коллиера в смешном виде. Человек может делать смешные вещи, но от этого он не становится смешным в глазах девушки, ради которой он их делает. Такие люди, как Эд, встречаются редко. Он перестал есть исключительно в угоду мне. Я была бы жестокой и неблагодарной девушкой, если бы после этого плохо к нему относилась. Вот вы, разве вы способны на такую жертву?

— Я знаю, — сказал я, увидев, к чему она клонит, — я осужден. Я ничего не могу поделаться. Клеймо едока горит у меня на лбу. Миссис Ева предопределила это, когда вступила в сделку со змием. Я попал из огня в полымя. Очевидно, я чемпион мира — едок.

Я говорил со смирением, и Мэйми немного смягчилась.

— У меня с Эдом Коллиером очень хорошие отношения, — сказала она, — так же, как и с вами. Я дала ему такой же ответ, как и вам: брак — это не для меня. Я любила проводить время с Эдом и болтать с ним. Мне было так приятно думать, что вот есть человек, который никогда не употребляет ножа и вилки и бросил их ради меня.

— А вы не были влюблены в него? — спросил я совершенно неуместно. — У вас не было уговора, что вы станете миссис Достопримечательность?

Это случается со всеми. Все мы иногда выскакиваем за линию благоразумного разговора. Мэйми надела на себя прохладительную улыбочку, в которой было столько же сахара, сколько и льда, и сказала чересчур любезным тоном:

— У вас нет никакого права задавать мне такие вопросы, мистер Питерс. Сначала выдержите сорокадевятидневную голодовку, чтобы приобрести это право, а потом я вам, может быть, отвечу.

Таким образом, даже когда Коллиер был устранен с моего пути своим собственным аппетитом, мои личные перспективы в отношении Мэйми не улучшились. А затем и дела в Гатри стали сходиться на нет.

Я пробыл там слишком долго. Бразильские брильянты, которые я продал, начали понемногу снашиваться, а растопки упорно отказывались загораться в сырую погоду. В моей работе всегда наступает момент, когда звезда успеха говорит мне: «Переезжай в соседний город». Я путешествовал в то время в фургоне, чтобы не пропускать маленьких городков, и вот несколько дней спустя я запряг лошадей и отправился к Мэйми попрощаться. Я еще не вышел из игры. Я собирался проехать в Оклахома-Сити и обработать его в течение недели или двух. А потом вернуться и возобновить свои атаки на Мэйми.

И можете себе представить, — прихожу я к Дьюганам, а там Мэйми, прямо-таки очаровательная, в синем дорожном платье, и у двери стоит ее сундучок. Оказывается, что ее подруга Лотти Белл, которая служит машинисткой в Терри-Хот, в следующий четверг

выходит замуж и Мэйми уезжает на неделю, чтоб стать соучастницей этой церемонии. Мэйми дожидается товарного фургона, который должен довезти ее до Оклахомы. Я обливаю товарный фургон презрением и грязью и предлагаю свои услуги по доставке товара. Мамаша Дьюган не видит оснований к отказу, — ведь за проезд в товарном фургоне надо платить, — и через полчаса мы выезжаем с Мэйми в моем легком рессорном экипаже с белым полотняным верхом и берем направление на юг.

Утро заслуживало всяческих похвал. Дул легкий ветерок, пахло цветами и зеленью, кролики забавы ради скакали, задрав хвостики, через дорогу. Моя пара кентуккийских гнедых так лупила к горизонту, что он начал рябить в глазах, и временами хотелось увернуться от него, как от веревки, натянутой для просушки белья. Мэйми была в отличном настроении и болтала, как ребенок, — о старом их доме, и о своих школьных проказах, и о том, что она любит, и об этих противных девицах Джонсон, что жили напротив, на старой родине, в Индиане. Ни слова не было сказано ни об Эде Коллиере, ни о съестном и тому подобных неприятных материях.

Около полудня Мэйми обнаруживает, что корзинка с завтраком, которую она хотела взять с собой, осталась дома. Я и сам был не прочь закусить, но Мэйми не выказала никакого неудовольствия по поводу того, что ей нечего есть, и я промолчал. Это было больное место, и я избегал в разговоре касаться какого бы то ни было фуража в каком бы то ни было виде.

Я хочу пролить некоторый свет на то, при каких обстоятельствах я сбился с дороги. Дорога была неясная и сильно заросла травой, и рядом со мной сидела Мэйми, конфисковавшая все мое внимание и весь мой интеллект. Годятся эти извинения или не годятся, это как вы посмотрите. Факт тот, что с дороги я сбился, и в сумерках, когда мы должны были быть уже в Оклахоме, мы путались на границе чего-то с чем-то, в высохшем русле какой-то не открытой еще реки, а дождь хлестал толстыми прутьями. В стороне, среди болота, мы увидели бревенчатый домик, стоявший на твердом бугре. Крутом него росла трава, чапарраль и редкие деревья. Это был меланхолического вида домишко, вызывавший в душе сострадание. По моим соображениям, мы должны были укрыться в нем на ночь. Я объяснил это Мэйми, и она предоставила решить этот вопрос мне. Она не стала нервничать и не корчила из себя жертвы, как сделало бы на ее месте большинство женщин, а просто сказала: «Хорошо». Она знала, что вышло это не нарочно.

Дом оказался необитаемым. В нем были две пустых комнаты. Во дворе стоял небольшой сарай, в котором в былое время держали скот. На чердаке над ним оставалось порядочно прошлогоднего сена. Я завел лошадей в сарай и дал им немного сена. Они посмотрели на меня грустными глазами, ожидая, очевидно, извинений. Остальное сено я сволок охапками в дом, чтобы там устроиться. Я внес также в дом бразильские брильянты и растопки, ибо ни те ни другие не гарантированы от разрушительного действия воды.

Мы с Мэйми уселись на фургонных подушках на полу, и я зажег в камине кучу растолок, потому что ночь была холодная. Если только я могу судить, вся эта история девушку забавляла. Это было для нее что-то новое, новая позиция, с которой она могла смотреть на жизнь. Она смеялась и болтала, а растопки горели куда менее ярким светом, чем ее глаза. У меня была с собой пачка сигар, и, поскольку дело касалось меня, я чувствовал себя как Адам до грехопадения. Мы были в добром старом саду Эдема. Где-то неподалеку в темноте протекала под дождем река Сион, и ангел с огненным мечом еще не вывесил дощечку «По траве ходить воспрещается». Я открыл гросс или два бразильских брильянтов и заставил Мэйми надеть их — кольца, брошки, ожерелья, серьги, браслеты, пояски и медальоны. Она искрилась и сверкала, как принцесса-миллионерша, пока у нее не выступили на щеках красные пятна и она стала чуть не плача требовать зеркала.

Когда наступила ночь, я устроил для Мэйми на полу отличную постель — сено, мой плащ и одеяла из фургона — и уговорил ее лечь. Сам я сидел в другой комнате, курил, слушал шум дождя и думал о том, сколько треволнений выпадает на долю человека за семьдесят примерно лет, непосредственно предшествующих его погребению.

Я, должно быть, задремал немного под утро, потому что глаза мои были закрыты, а когда

я открыл их, было светло и передо мной стояла Мэйми, причесанная, чистенькая, в полном порядке, и глаза ее сверкали радостью жизни.

— Алло, Джефф, — воскликнула она. — И проголодалась же я! Я съела бы, кажется...

Я посмотрел на нее пристально. Улыбка сползла с ее лица, и она бросила на меня взгляд, полный холодного подозрения. Тогда я засмеялся и лег на пол, чтобы было удобнее. Мне было ужасно весело. По натуре и по наследственности я страшный хохотун, но тут я дошел до предела. Когда я высмеялся до конца, Мэйми сидела, повернувшись ко мне спиной и вся заряженная достоинством.

— Не сердитесь, Мэйми, — сказал я. — Я никак не мог удержаться. Вы так смешно причесались. Если бы вы только могли видеть...

— Не рассказывайте мне басни, сэр, — сказала Мэйми холодно и внушительно. — Мои волосы в полном порядке. Я знаю, над чем вы смеялись. Посмотрите, Джефф, — прибавила она, глядя сквозь щель между бревнами на улицу.

Я открыл маленькое деревянное окошко и выглянул. Все русло реки было затоплено, и бугор, на котором стоял домик, превратился в остров, окруженный бушующим потоком желтой воды ярдов в сто шириною. А дождь все лил. Нам оставалось только сидеть здесь и ждать, когда голубь принесет нам оливковую ветвь. Я вынужден признаться, что разговоры и развлечения в этот день отличались некоторой вялостью. Я сознавал, что Мэйми опять усвоила себе слишком односторонний взгляд на вещи, но не в моих силах было изменить это. Сам я был пропитан желанием поесть. Меня посещали котлетные галлюцинации и ветчинные видения, и я все время говорил себе: «Ну, что ты теперь скушаешь, Джефф? Что ты закажешь, старина, когда придет официант?» Я выбирал из меню самые любимые блюда и представлял себе, как их ставят передо мною на стол. Вероятно, так бывает со всеми очень голодными людьми. Они не могут сосредоточить свои мысли ни на чем, кроме еды. Выходит, что самое главное — это вовсе не бессмертие души и не международный мир, а маленький столик с кривоногим судком, фальсифицированным вустерским соусом и салфеткой, прикрывающей кофейные пятна на скатерти.

Я сидел так, пережевывая, увы, только свои мысли и горячо споря сам с собой, какой я буду есть бифштекс — с шампиньонами или по-креольски. Мэйми сидела напротив, задумчивая, склонив голову на руку. «Картошку пусть изжарят по-деревенски, — говорил я сам себе, — а рулет пусть жарится на сковородке. И на ту же сковородку выпустите девять яиц». Я тщательно обыскал свои карманы, не найдется ли там случайно земляной орех или несколько зерен кукурузы.

Наступил второй вечер, а река все поднималась и дождь все лил. Я посмотрел на Мэйми и прочел на ее лице тоску, которая появляется на физиономии девушки, когда она проходит мимо будки с мороженым. Я знал, что бедняжка голодна, может быть, в первый раз в жизни. У нее был тот озабоченный взгляд, который бывает у женщины, когда она опоздает на обед или чувствует, что у нее сзади расстегнулась юбка.

Было что-то вроде одиннадцати часов. Мы сидели в нашей потерпевшей крушение каюте, молчаливые и угрюмые. Я откидывал мои мозги от съестных тем, но они шлепались обратно на то же место, прежде чем я успевал укрепить их в другой позиции. Я думал обо всех вкусных вещах, о которых когда-либо слышал. Я углубился в мои детские годы и с пристрастием и почтением вспоминал горячий бисквит, смоченный в патоке, и ветчину под соусом. Потом я поехал вдоль годов, останавливаясь на свежих и моченых яблоках, оладьях и кленовом сиропе, на маисовой каше, на жаренных по-виргински цыплятах, на вареной кукурузе, свиных котлетах и на пирогах с бататами, и кончил брунсвикским рагу, которое есть высшая точка всех вкусных вещей, потому что включает в себе все вкусные вещи.

Говорят, перед глазами утопающего проходит вся его жизнь. Может быть. Но когда человек голодает, перед ним встают призраки всех съеденных им в течение жизни блюд. И он изобретает новые блюда, которые создали бы карьеру повару. Если бы кто-нибудь потрудился собрать предсмертные слова людей, умерших от голода, он, вероятно, обнаружил бы в них мало чувства, но зато достаточно материала для поваренной книги, которая разошлась бы

миллионным тиражом.

По всей вероятности, эти кулинарные размышления совсем усыпили мой мозг. Без всякого на то намерения я вдруг обратился вслух к воображаемому официанту:

— Нарезьте потолще и прожарьте чуть-чуть, а потом залейте яйцами — шесть штук, и с гренками.

Мэйми быстро повернула голову. Глаза ее сверкали, и она улыбнулась.

— Мне среднеподжаренный, — затараторила она, — и с картошкой и три яйца. Ах, Джефф, вот было бы замечательно, правда? И еще я взяла бы цыпленка с рисом, крем с мороженым и...

— Легче! — перебил я ее. — А где пирог с куриной печенкой, и почки сотэ на крутонах, и жареный молодой барашек, и...

— О, — перебила меня Мэйми, вся дрожа, — с мятным соусом... И салат с индейкой, и маслины, и тарталетки с клубникой, и...

— Ну, ну, давайте дальше, — говорю я. — Не забудьте жареную тыкву, и сдобные маисовые булочки, и яблочные пончики под соусом, и круглый пирог с ежевикой...

Да, в течение десяти минут мы поддерживали этот ресторанный диалог. Мы катались взад и вперед по магистрали и по всем подъездным путям съестных тем, и Мэйми заводила, потому что она была очень образованна насчет всяческой съестной номенклатуры, а блюда, которые она называла, все усиливали мое тяготение к столу. Чувствовалось, что Мэйми будет впредь на дружеской ноге с продуктами питания и что она смотрит на предосудительную способность поглощать пищу с меньшим презрением, чем прежде.

Утром мы увидели, что вода спала. Я запряг лошадей, и мы двинулись в путь, шлепая по грязи, пока не наткнулись на потерянную нами дорогу. Мы ошиблись всего на несколько миль, и через два часа уже были в Оклахоме. Первое, что мы увидели в городе, была большая вывеска ресторана, и мы бегом бросились туда. Я сижу с Мэйми за столом, между нами ножи, вилки, тарелки, а на лице у нее не презрение, а улыбка — голодная и милая.

Ресторан был новый и хорошо поставленный. Я процитировал официанту так много строк из карточки, что он оглянулся на мой фургон, недоумевая, сколько же еще человек вылезут оттуда.

Так мы и сидели, а потом нам стали подавать. Это был банкет на двенадцать персон, но мы и чувствовали себя, как двенадцать персон. Я посмотрел через стол на Мэйми и улыбнулся, потому что вспомнил кое-что. Мэйми смотрела на стол, как мальчик смотрит на свои первые часы с ключиком. Потом она посмотрела мне прямо в лицо, и две крупных слезы показались у нее на глазах. Официант пошел на кухню за пополнением.

— Джефф, — говорит она нежно, — я была глупой девочкой. Я неправильно смотрела на вещи. Я никогда раньше этого не испытывала. Мужчины чувствуют такой голод каждый день, правда? Они большие и сильные, и они делают всю тяжелую работу, и они едят вовсе не для того, чтобы дразнить глупых девушек-официанток, правда? Вы раз сказали... то есть... вы спросили меня... вы хотели... Вот что, Джефф, если вы еще хотите... я буду рада... я хотела бы, чтобы вы всегда сидели напротив меня за столом. Теперь дайте мне еще что-нибудь поесть, и скорее, пожалуйста.

— Как я вам и докладывал, — закончил Джефф Питерс, — женщине нужно время от времени менять свою точку зрения. Им надоедает один и тот же вид — тот же обеденный стол, умывальник и швейная машина. Дайте им хоть какое-то разнообразие — немножко путешествий, немножко отдыха, немножко дурачества вперемежку с трагедиями домашнего хозяйства, немножко ласки после семейной сцены, немножко волнения и торможения — и, уверяю вас, обе стороны останутся в выигрыше.

Как истый кабальеро

Перевод И. Гуровой

Козленок Франсиско убил шесть человек в более или менее честных поединках, двенадцать (преимущественно мексиканцев) хладнокровно пристрелил без соблюдения каких-либо формальностей, а ранил столько, что из скромности их даже не подсчитывал. Все это покорило девичье сердце.

Козленку было двадцать пять лет, хотя по виду вы не дали бы ему и двадцати, и дотошное страховое общество, несомненно, пришло бы к выводу, что скончаться ему предстоит году на двадцать шестом — двадцать седьмом. Обитал он между рекой Фрио и Рио-Гранде и более точным адресом не располагал. Он убивал из любви к искусству, и потому что был вспыльчив, и чтобы избежать ареста, и просто забавы ради — короче говоря, в причинах у него недостатка не случалось. На свободе же он оставался потому, что всегда успевал выстрелить на пять шестых секунды раньше любого шерифа или иного блюстителя закона, и еще потому, что его караковый жеребчик знал все тропки в мескитовых зарослях и чащах опунции от Сан-Антонио до Матамороса.

Тонья Перес — девушка, любившая Козленка Франсиско, — была наполовину Кармен, а наполовину Мадонна, в остальном же (да-да, если женщина наполовину Кармен, а наполовину Мадонна, этим обычно исчерпывается далеко не все), в остальном же, скажем так, она была колибри. Жила она в крытой камышом хижине неподалеку от маленького мексиканского поселка на реке Фрио у Волчьего Брода. С ней там жил не то отец, не то дед, прямой потомок ацтеков, старик лет эдак под тысячу, который пас стадо из сотни коз, пил мескаль и круглые сутки пребывал в пьяной одуре. Сразу же за хижинкой начинался дремучий лес гигантских опунций — шипастых чудовищ, достигавших в высоту двадцати футов. Через этот-то колючий лабиринт и привозил своего хозяина караковый жеребчик на свидание с его девушкой. И однажды, повиснув, словно ящерица, на жерди под островерхой камышовой крышей, Козленок слушал, как Тонья, девушка с лицом Мадонны, красотой Кармен и душой колибри, на обворожительной смеси испанского и английского убеждала шерифа и его помощников, что и слыхом не слыхала о своем возлюбленном.

В один прекрасный день генерал-адъютант штата Техас, по должности своей также и начальник конных стрелков, написал капитану Дювалю, чья рота квартировала в Ларедо, весьма саркастическое письмо касательно безмятежного существования, которое ведут убийцы и бандиты на территории, подведомственной указанному капитану.

Лицо капитана обрело под загаром оттенок кирпичной пыли, и, добавив к письму несколько замечаний от себя, он препроводил его через посредство конного стрелка Билла Адамсона лейтенанту Сэндриджу в его лагерь у водооя на берегу реки Нуэсес, куда тот был откомандирован с отрядом из пяти человек для поддержания закона и порядка.

Лейтенант Сэндридж, по лицу которого взамен обычного здорового румянца разлился прелестный *couleur de rose*,²⁵ засунул письмо в карман и отгрыз кончик золотистого уса.

Наутро он оседлал коня и, оставив своих солдат в лагере, сам отправился за двадцать миль к реке Фрио, в мексиканский поселок у Волчьего Брода.

Ростом в шесть футов два дюйма, белокурый, как викинг, тихий, как баптист, опасный, как пулемет, Сэндридж заходил в одну хижину за другой, терпеливо расспрашивая о Козленке Франсиско.

Но представителей закона мексиканцы страшились куда меньше, чем беспощадной и неотвратимой мести одинокого всадника, которого разыскивал лейтенант конных стрелков. Козленок нередко развлекался, стреляя в мексиканцев, «чтоб поглядеть, как они дрыгают ногами»; и раз уж он обрекал их на предсмертные антраша лишь потехи ради, то каким же невыразимо ужасным будет воздаяние, если его прогневать? А потому они все как один разводили руками, пожимали плечами, бормотали «*quien sabe*»²⁶ и всячески отрицали какое

²⁵ Цвет розовых лепестков (*фр.*) .

²⁶ Кто знает (*исп.*) .

бы то ни было знакомство с Козленком Франсиско.

Однако в поселке держал лавочку некий Финк — не человек, а смесь самых разных национальностей, языков, интересов и замыслов.

— Да чего спрашивать мексикашек! — сказал он Сэндриджу. — Они ж его боятся. Этот hombre,²⁷ которого они называют Козленок — его фамилия Гудолл, верно? — раза два заходил ко мне в лавку. И думается, вам надо бы поискать его в... Нет, мне, пожалуй, лучше в это дело не вступать. Я теперь вытаскиваю револьвер на две секунды медленнее, чем бывало, а при такой разнице призадумаетесь. Но тут есть одна девочка-полукровка, и этот ваш Козленок к ней заглядывает. Она живет в сотне ярдов дальше по реке, там, где начинаются заросли. Так, может, она... Да нет, от нее вы навряд ли чего-нибудь добьетесь, а вот за ее лачугой понаблюдать стоит.

Сэндридж поехал к жилищу Переса. Солнце заходило, и на крытой камышом крыше лежала широкая тень колючей кактусовой чаши. Козы были уже заперты в загоне из жердей, и по его верху, пережевывая листья чапаррала, бродило несколько козлят. Неподалеку на траве в обычном пьяном забытии лежал, завернувшись в одеяло, старик мексиканец и, быть может, грезил о тех давних вечерах, когда они с Пизарро сдвигали кубки и пили за удачу, поджидающую их в Новом Свете, — такой глубокой старостью веяло от его морщинистого лица. А на пороге хижины стояла Тонья. А лейтенант Сэндридж сидел, застыв в седле, и смотрел на нее завороченным взглядом, точно гагара на моряка.

Козленок Франсиско был тщеславен, как все выдающиеся убийцы, которым сопутствует успех, и, несомненно, его самолюбие было бы сильно уязвлено, узнай он, что стоило двум людям, чьи мысли он только что занимал, всего лишь обменяться взглядами, и они сразу же забыли о самом его существовании — пусть даже на время.

Тонье еще не приходилось видеть подобных мужчин... Он, казалось, был сотворен из солнечного сияния, багряной ткани и ясного неба. Его улыбка озарила сумеречную тень чаши, словно вновь вошло солнце. Все знакомые ей мужчины были невысоки ростом и смуглы. Даже Козленок при всей своей славе был щедущ и одного с ней роста, а его черные прямые волосы еще больше подчеркивали холодную мраморность лица, способного остудить полуденный жар.

Ну а Тонья... Язык слишком беден для ее описания, но возместите его нищету богатством своего воображения. Сходство с Мадонной ей придавали разделенные на прямой пробор, туго стянутые на затылке иссиня-черные волосы и огромные, полные латинской грусти глаза, а во всех ее движениях сквозили скрытый огонь и жажда чаровать, которые она унаследовала от гитан Басконии. То же, что было в ней от колибри, то, что обитало в ее сердце, оставалось для вас тайной, если только алая юбка и синяя кофта не подсказывали вам символический образ этой шаловливой пичужки.

Новоявленный солнечный бог попросил напиток. Тонья налила ему воды из глиняного кувшина, висевшего под жердяным навесом. И Сэндридж поспешил спрыгнуть с коня, чтобы избавиться ее от лишних хлопот.

Я не люблю подглядывать и не претендую на умение проникать в глубь человеческих сердец, однако по праву летописца я утверждаю, что не прошло и четверти часа, как Сэндридж уже учил Тонью плести сыромятный ремень из шести полос, а она рассказывала ему про английскую книжечку, которую ей подарил странствующий падре, и про хромьего chivo,²⁸ которого она выкармливает из бутылочки, — без них она совсем, совсем загрузила бы.

Из чего как будто следует, что бастионы Козленка нуждались в ремонте и что сарказмы генерал-адъютанта пали на бесплодную почву.

²⁷ Человек (*исп.*) .

²⁸ Козленок (*исп.*) .

Вернувшись в лагерь у водооя, лейтенант Сэндридж торжественно объявил о своем намерении либо уложить Козленка Франсиско в черноземную почву долины Фрио, либо представить его пред лицо судьи и присяжных. Все это звучало очень по-деловому. И с этих пор он дважды в неделю отправлялся верхом к Волчьему Броду, чтобы вести тоненькие, с легким лимонным отливом пальчики Тоньи по хитросплетениям медленно удлиняющегося ремня. Научиться вязке из шести полос не так-то просто, но учить этому очень легко.

Лейтенант знал, что может в любую минуту повстречаться здесь с Козленком. Он держал свое оружие наготове и то и дело косился на чашу опунций за хижинкой. Так он рассчитывал одним камнем сразить коршуна и колибри.

Пока солнечновламый орнитолог вел эти исследования, Козленок Франсиско также занимался своим профессиональным делом. Он хмуро учинил стрельбу в питейном заведении крохотного скотоводческого поселка на Кинтана-Крик, убил наповал местного шерифа (аккуратно всадив пулю в самый центр его бляхи) и угрюмо ускакал, недовольный собой. Какое удовлетворение может ощутить истинный художник, сразив пожилого человека со старомодным «бульдогом» тридцать восьмого калибра?

И вот на пути от Кинтана-Крик Козленок внезапно впал в тоску, которая охватывает всех мужчин, когда попираение закона перестает дарить им прежнее острое наслаждение. Он жаждал услышать от любимой женщины, что она принадлежит ему, несмотря ни на что. Ему хотелось, чтобы она назвала его кровожадность мужеством, а его жестокость — рыцарственностью. Ему хотелось, чтобы Тонья напоила его водой из глиняного кувшина под жердяным навесом и рассказала, усердно ли chivo сосет из бутылочки.

Козленок повернул каракового жеребчика к чаще опунций, которая протянулась на десять миль по долине Хондо до Волчьего Брода на Фрио. Караковый жеребчик испустил радостное ржание, ибо чувством направления и местности мог бы потягаться с лошадей, влекущей конку, и прекрасно знал, что вскоре будет щипать густую траву, нисколько не стесненный сорокафутовым ремнем, как бывало всегда, когда Улисс преклонял голову в крытой камышом хижине Цирцеи.

Жутко и одиноко путешественнику в глухих дебрях Амазонки, но еще более жутко и одиноко всаднику в кактусовых зарослях Техаса. Повсюду в прихотливом и унылом разнообразии, точно неведомые чудища, изгибаются стволы кактусов, их мясистые усаженные шипами отростки загораживают путь. Эти дьявольские растения, которые словно не нуждаются ни в почве, ни в дожде, дразнят истомленного жаждой путника своей тусклой, но сочной зеленью. Их бесформенные нагромождения вдруг расступаются, и всадника манит открытая дорога, но стоит ей довериться, как он оказывается «в мешке» — перед непроницаемой, ошестинившейся иглами стеной — и вынужден кое-как выбираться оттуда, теряя последнее представление о том, в какой стороне север, а в какой юг.

Того, кто заблудится в чаще опунций, почти наверное ожидает смерть распятого разбойника — колючки гвоздями впиваются в тело, а меркнувший взор не видит вокруг ничего, кроме образов ада.

Но Козленку это не угрожало. Караковый жеребчик уверенно кружил, петлял, выписывал невысказанные узоры, и с каждым поворотом и зигзагом расстояние, отделявшее их от Волчьего Брода, уменьшалось.

А Козленок тем временем пел. В его репертуаре была только одна песня, и он пел только ее, так же, как жил только по одному правилу и любил только одну девушку. Он мыслил однозначно и придерживался общепринятых понятий. Его голосу не позавидовал бы и осипший койот, но когда ему приходила охота спеть свою песню, он ее пел. Это была одна из тех песен, которые принято петь на привалах и в седле, и начиналась она примерно следующими словами:

*Эй, не приставай к моей милашке,
А не то узнаешь, что к чему...*

Ну, и так далее. Караковый жеребчик давно утратил к ней восприимчивость и пропускал ее мимо ушей.

Но рано или поздно даже самый скверный певец с собственного согласия перестает вносить свою лепту в мировой шум, и когда до хижины Тоньи оставалось мили полторы, Козленок, наконец, скрепя сердце умолк — не потому, что производимые им звуки перестали чаровать его слух, но потому лишь, что утомились его голосовые связки.

Караковый жеребчик продолжал вытанцовывать сложные фигуры среди опунций, словно на цирковой арене, и вскоре по некоторым приметам его хозяин убедился, что до Волчьего Брода уже недалеко. Чаща начала редеть, и он увидел за кактусами камышовую крышу хижины и каменное дерево над обрывом. Еще через несколько шагов Козленок остановил коня и внимательно всмотрелся в просветы между колючими стволами. Потом спешился, бросил поводья и пошел дальше пешком, пригнувшись и ступая бесшумно, как индеец. Караковый жеребчик, отлично зная, что от него требуется, стоял как вкопанный.

Козленок неслышно подкрался к самой опушке и продолжал вести наблюдение из-за двух тесно растущих опунций.

В десяти шагах от этого укрытия его Тонья, сидя в тени хижины, безмятежно плела сыромятный ремень. Это ей еще можно было бы простить — ведь женщины, как известно, находят порой и менее безобидные занятия. Но если уж договаривать до конца, необходимо будет прибавить, что головка ее удобно прислонялась к широкой груди желто-красного великана и что его рука обвивала ее талию, направляя движения гибких пальчиков, которые никак не могли выучиться хитрой вязке из шести полос.

Сэндридж быстро оглянулся на темную стену кактусов, откуда донесся слабый пискливый звук, в котором ему почудилось что-то знакомое. Так может скрипнуть кобура, когда человек внезапно хватается за рукоятку шестизарядного револьвера. Но звук не повторился, а пальчики Тоньи требовали неусыпного внимания.

И в эту минуту, когда на них лежала тень смерти, они заговорили о своей любви. В тишине безмятежного июльского дня каждое их слово отчетливо доносилось до ушей Козленка.

— Так помни, — настаивала Тонья, — ты не должен больше приезжать, пока я не пришло за тобой. Он скоро приедет сюда. Один вакеро говорил сегодня в tienda,²⁹ что видел его на Гваделупе три дня назад. Когда он так близко, он всегда приезжает. А если он приедет и увидит тебя здесь, он тебя убьет. Так что ради меня ты не должен больше приезжать, пока я не пришло тебе весточку.

— Ну хорошо, — сказал лейтенант. — И что тогда?

— А тогда, — ответила девушка, — ты приведешь сюда своих солдат и убьешь его. Не то он убьет тебя.

— Да, он не из тех, кто сдастся, — согласился Сэндридж. — У того, кто хочет сладить с сеньором Козленком, выбор невелик: убить или быть убитым.

— Надо, чтобы он умер, — сказала девушка. — Иначе ни тебе, ни мне не знать в жизни покоя. Он убил много людей. Так пусть и его убьют. Приведи своих солдат, чтобы он не мог спастись.

— А ведь раньше он тебе нравился, — сказал Сэндридж.

Тонья бросила ремень, повернулась и обняла плечи лейтенанта бледно-лимонной рукой.

— Но ведь тогда, — прожурчала она по-испански, — я еще не видела тебя, высокого и могучего, как красная скала! И ты ведь не просто сильный, ты добрый и хороший. Как же можно выбрать его, если знаешь тебя? Пусть он умрет, и тогда я не буду днем и ночью бояться, что он причинит зло тебе или мне.

²⁹ Лавочка (исп.) .

— А как я узнаю, что он приехал? — спросил Сэндридж.

— Когда он приезжает, — сказала Тонья, — то гостит тут не меньше двух, а то и трех дней. У мальчика Грегорио, сына прачки Луизы, есть лошадка, очень быстрая. Я напишу тебе письмо и пошлю с ним, а в письме расскажу, как лучше всего будет его подстеречь. Письмо привезет тебе Грегорио. И приведи с собой побольше солдат, а сам будь очень-очень осторожен, милый мой, красный мой, потому что даже гремучая змея жалит не так быстро, как этот El Chivato посылает пулю из своего pistola.

— Да, Козленок стрелять умеет, ничего не скажешь, — признал Сэндридж. — Но когда я приеду перевестаться с ним, я приеду один. Я разделаюсь с ним либо так, либо вовсе никак. Капитан понаписал мне такого, что я должен теперь все сделать сам, без всякой помощи. Только сообщи мне, когда сеньор Козленок явится сюда, а уж об остальном я позабочусь.

— Я пошлю тебе весточку с мальчиком Грегорио, — сказала Тонья. — Я знаю, ты храбрее этого маленького убийцы, который никогда не улыбается. И как только я могла думать, будто он мне нравится?

Лейтенанту было пора возвращаться в лагерь у водопоя. Но прежде чем вспрыгнуть в седло, он обвил одной рукой тонкий стан девушки и приподнял ее с земли для прощального поцелуя. Сонная тишина знойного летнего дня по-прежнему окутывала все вокруг душным покрывалом. Дым от очага в хижине, на котором в чугулке варились frijoles,³⁰ поднимался из обмазанной глиной трубы прямо в небо. Ни единый звук, ни единое движение не нарушили безмятежного спокойствия густой чащи кактусов в десяти шагах от хижины.

Когда рослый соловый конь Сэндриджа размашистой рысью спустился с крутого берега Фрио и исчез под обрывом, Козленок бесшумно прокрался к своему жеребчику, вскочил на него и поехал обратно тем же извилистым путем, каким приехал.

Но вскоре он остановился и терпеливо выждал полчаса в безмолвной чаще опунций. А затем Тонья услышала пронзительные фальшивые ноты, вырывавшиеся из его немзыкального горла. Пение все приближалось, и она побежала на опушку навстречу певцу.

Козленок улыбался редко. Но тут, увидев ее, он улыбнулся и замахал шляпой. Едва он спешился, как Тонья бросилась к нему на шею. Козленок посмотрел на нее с нежностью. Густые черные волосы облегли его голову, как измятая суконная шапочка. В первое мгновение их встречи на его гладком смуглом лице, обычно недвижимом, как глиняная маска, мелькнула тень какого-то чувства.

— Как поживает моя девушка? — спросил он, прижимая ее к груди.

— Я совсем больна от того, что тебя так долго не было, милый, — ответила она. — У меня глаза ослепли, высматривая тебя среди этих дьяволовых иголок. Там ведь в двух шагах ничего не видно. Но ты приехал, возлюбленный, и я не стану браниться. Que mal muchacho!³¹ Так редко навещаешь свою alma.³² Иди отдохни в хижине, а я напою твою лошадь и привяжу ее на длинную веревку. В кувшине тебя ждет холодная вода.

Козленок ласково поцеловал ее.

— Нет, ни под каким видом не могу я допустить, чтобы дама привязывала мою лошадь, — сказал он. — Но я буду весьма благодарен, chica,³³ если ты поставишь вариться кофе, пока я займусь caballo.³⁴

³⁰ Бобы (*исп.*) .

³¹ Нехороший мальчик! (*исп.*)

³² Душечка (*исп.*) .

³³ Девочка (*исп.*) .

³⁴ Лошадь (*исп.*) .

Козленок гордился не только своим умением стрелять без промаха, но и галантностью. Он всегда держался с представительницами прекрасного пола как истый кабальеро — *miu caballero*, по выражению мексиканцев. С ними он неизменно бывал учтив и заботлив. Он ни за что не сказал бы женщине резкого слова. Беспощадно убивая их мужей и братьев, он был не способен поднять руку на женщину даже в гневе. И потому многие из тех, кто принадлежит к этой интересной половине человеческого рода, испытав на себе обаяние его изысканной вежливости, наотрез отказывались верить ходившим о нем историям. Все это только пустые слухи, заявляли они. А когда отцы, мужья и братья в негодовании представляли им неопровержимые доказательства жестоких и гнусных деяний их кабальеро, они отвечали, что ему, вероятно, не оставили иного выхода и что он, во всяком случае, знает, как следует обходиться с дамой.

Памятуя об этой маниакальной учтивости Козленка и о том, как он любил ею щеголять, легко понять, с какими трудностями было сопряжено для него решение задачи, поставленной перед ним тем, что он увидел и услышал из своего укромного убежища среди опунций, — по крайней мере, в отношении одного из участников драмы. С другой стороны, поверить, будто Козленок способен оставить это незначительное дельце без последствий, было и вовсе невозможно.

Когда короткие сумерки сменились ночным мраком, они при свете фонаря уселись в хижине ужинать вареными бобами, жареной козлятиной, консервированными персиками и кофе. После еды дряхлый пращур, чье стадо уже было заперто в загоне, выкурил папиросу, завернулся в серое одеяло и превратился в мумию. Тонья мыла щербатые чашки и миски, а Козленок вытирал их полотенцем из мешковины. Ее глаза сияли, и она подробно описывала события, приключившиеся в ее крохотном мирке с того времени, когда Козленок был у нее в последний раз. Все происходило точно так же, как в любой другой его приезд.

Потом они вышли на воздух, и Тонья, опустившись с гитарой в сплетенный из камыша гамак, начала петь печальные *canciones de amor*.³⁵

— Ты меня любишь по-прежнему, старушка? — спросил Козленок, шаря по карманам в поисках бумаги для папиросы.

— По-прежнему, мой маленький, — ответила Тонья, не опуская устремленных на него темных глаз.

— Надо сходить к Финку, — сказал Козленок, поднимаясь. — За табаком. Я думал, что прихватил с собой еще один кисет. Я вернусь через четверть часа.

— Возвращайся быстрее, — попросила Тонья. — И скажи, долго ли на этот раз я смогу называть тебя моим? Уедешь ли ты завтра, оставив меня тосковать, или побудешь со своей Тоньей подольше?

— Да нет, денька два-три я тут побуду, — ответил Козленок, зевая. — Я уже месяц кружу, пора и отдохнуть.

Он вернулся с табаком только через полчаса. Тонья все так же покачивалась в гамаке.

— Странное у меня чувство, — сказал Козленок. — Мерещится и мерещится, что за каждым кустом кто-то залег и вот-вот меня подстрелят. Прежде со мной такого не бывало. Вроде как вешее знамение. Пожалуй, уеду-ка я завтра с рассветом. По всей Гваделупе черт-те что делается оттого, что я прикончил этого немчуру.

— Ты ведь не боишься? Моего маленького храбреца никто не испугает!

— Ну, когда доходило до дела, заячьей душой меня вроде еще ни разу не называли. Только я не хочу, чтобы погоня накрыла меня в твоём доме. А то, глядишь, шальная пуля угодит в кого не следует.

— Остайся со своей Тоньей, тут тебя никто не разыщет.

Козленок окинул острым взглядом темную речную долину и уставился на тусклые огоньки мексиканского поселка.

³⁵ Песни о любви (*исп.*) .

— Ладно, посмотрим, как все дальше пойдет, — решил он.

Незадолго до полуночи в лагерь конных стрелков прискакал неизвестный всадник, возвещая о своем приближении громкими криками в доказательство мирных намерений. Сэндридж и два-три солдата выбежали на шум из палаток. Всадник сказал, что он приехал с Волчьего Брода, а зовут его Доминго Салес. У него письмо для сеньора Сэндриджа. Старуха Луиза, прачка, упростила его поехать вместо ее сынишки Грегорио, потому что мальчик слег в лихорадке, объяснил он.

Сэндридж зажег фонарь и прочел письмо. Вот что в нем говорилось:

«Мой милый! Он приехал. Чуть ты ускакал, как он выехал из чащи. Сначала он сказал, что пробудет три дня, а может, и дольше. Но когда стемнело, он стал точно лиса или волк и начал ходить взад и вперед, и все смотрел и слушал. И скоро сказал, что уедет до зари в самое темное и глухое время. И еще он как будто заподозрил, что я ему неверна. И глядел на меня так странно, что я очень испугалась. И я клялась ему, что я люблю его, что я — только его Тонья. Под конец он сказал, что я должна доказать, что я ему верна. Он думает, что вокруг моего дома спрятались люди и его убьют, как только он сядет на лошадь. И он говорит, что перехитрит их, а для этого оденется в мою одежду, в мою красную юбку и синюю кофту, а голову покроет коричневой мантильей, и так ускачет. Но он говорит, что сначала я должна буду надеть его одежду, его *pantalones*,³⁶ его *camisa*³⁷ и шляпу и проскакать на его лошади от дома до большой дороги у брода и назад. Это нужно, чтобы он увидел, верна ли я ему и не ждет ли его засада. Мне очень страшно. Это будет за час до зари. Приезжай, мой любимый, и убей этого человека, чтобы я стала твоя Тонья. Не пробуй захватить его живым, а сразу убей. Теперь ведь ты знаешь, что по-другому нельзя. Ты должен приехать поскорее и спрятаться в сарае, где повозки и седла. Там темно. На нем будет моя красная юбка, синяя кофта и коричневая мантилья. Посылаю тебе сто поцелуев. Приезжай обязательно и стреляй сразу и без промаха.

Только твоя *Тонья* ».

Сэндридж тут же сообщил солдатам деловую часть послания. Они начали было возражать против того, чтобы он ехал один.

— Мне не нужна помощь, — сказал лейтенант. — Девушка поймала его в западню. И можете быть спокойны, меня он не опередит.

Сэндридж оседлал коня и поскакал к Волчьему Броду. Он привязал солового среди густых зарослей над рекой, вынул винчестер из чехла и осторожно подкрался к хижине Переса. Луна была на ущербе, и ее висящий высоко в небе серп то и дело застилала рваные молочно-белые облака, которые ветер гнал с Мексиканского залива.

Сарай был словно нарочно построен для засады, и Сэндридж благополучно забрался в него. В черной тени навеса перед хижинкой он различал силуэт привязанной лошади и слышал, как она нетерпеливо бьет копытом по утоптанной земле.

Прошло около часа, но вот, наконец, в дверях хижины показались две фигуры. Первая, в мужском костюме, быстро вскочила на лошадь и пронеслась мимо сарая в сторону брода и поселка. Вторая фигура, одетая в юбку и кофту и с мантильей на голове, вышла на слабый лунный свет, глядя вслед удаляющейся лошади. Сэндридж решил не дожидаться возвращения Тоньи — вряд ли ей будет приятно присутствовать при том, что сейчас произойдет.

— Руки вверх! — крикнул он, выскакивая из сарая и вскидывая винчестер.

Тот, кого он окликнул, быстро повернулся, но рук не поднял, и лейтенант всадил в синюю кофту одну за другой три пули. А потом еще три: когда имеешь дело с Козленком

³⁶ Брюки (*исп.*) .

³⁷ Рубашка (*исп.*) .

Франсиско, лишняя предосторожность не помешает. Но с десяти шагов промахнуться трудно даже в неверном свете ущербной луны.

Выстрелы разбудили старого пращура, спавшего в хижине на своем одеяле. Он приподнял голову, и тут снаружи раздался вопль невыносимой боли или душевной муки. Ворча на неугомонность нынешних людей, старик поднялся с пола.

В хижину ворвался бледный как смерть высокий человек в красном. Рукой, дрожащей, точно камышинка на ветру, он снял с гвоздя фонарь, а другой рукой развернул на столе какую-то бумагу.

— Посмотри на это письмо, Перес! — закричал он. — Кто его писал?

— Ah dios!³⁸ Да это сеньор Сэндридж! — прошамкал старик, подходя к столу. — Pues,³⁹ сеньор, это письмо написал El Chivato, как его называют, дружок Тоньи. Говорят, он плохой человек. Но откуда мне знать. Он написал, когда Тонья заснула, и вот эта моя старая рука отдала письмо Доминго Салесу, чтобы он отвез его вам. А в письме написано что-нибудь плохое? Я ведь совсем старый, и я ничего не знал. Valgame dios!⁴⁰ Наш мир — сумасшедший мир, а выпить в доме нечего, ни капли нет.

Но Сэндридж не ответил. Что ему оставалось? Только выбежать из хижины и броситься ничком на землю рядом со своей колибри, чьи перышки замерли в вечном покое. Он не был кабальеро и не разбирался в тонких нюансах мести.

А в миле оттуда всадник, совсем недавно проскакавший мимо сарая, хрипло и фальшиво затянул песню, которая начиналась словами:

*Эй, не приставай к моей милашке,
А не то узнаешь, что к чему...*

Яблоко сфинкса

Перевод М. Урнова

Отъехав двадцать миль от Парадайза и не доезжая пятнадцати миль до Санрайз-Сити, Билдед Роз, кучер дилижанса, остановил свою упряжку. Снег валил весь день. Сейчас на ровных местах он достигал восьми дюймов. Остаток дороги, ползущей по выступам рваной цепи зубчатых гор, был небезопасен и днем. Теперь же, когда снег и ночь скрыли все ловушки, ехать дальше и думать было нечего, — так заявил Билдед Роз. Он остановил четверку здоровенных лошадей и высказал пятерке пассажиров выводы своей мудрости.

Судья Менефи, которому мужчины, как на подносе, преподнесли руководство и инициативу, выпрыгнул из кареты первым. Трое его попутчиков, вдохновленные его примером, последовали за ним, готовые разведывать, ругаться, сопротивляться, подчиняться, вести наступление — в зависимости от того, что вздумается их предводителю. Пятый пассажир — молодая женщина — осталась в дилижансе.

Билдед остановил лошадей на плече первого горного выступа. Две поломанные изгороди окаймляли дорогу. В пятидесяти шагах от верхней изгороди, как черное пятно в белом сугробе, виднелся небольшой домик. К этому домику судья Менефи и его когорта устремились с

³⁸ Господи! (*исп.*)

³⁹ Ну (*исп.*) .

⁴⁰ Господи помилуй! (*исп.*)

детским гиканьем, порожденным возбуждением и снегом. Они звали, они барабанили в дверь и окно. Встретив негостеприимное молчание, они вошли в раж, — атаковали и взяли штурмом преодолимые преграды и вторглись в чужое владение.

До наблюдателей в дилижансе доносились из захваченного дома топот и крики. Вскоре там замерцал огонь, заблестел, разгорелся ярко и весело. Потом ликующие исследователи бегом вернулись к дилижансу, пробившись сквозь крутящиеся хлопья. Голос Менефи, настроенный ниже, чем рожок, — даже оркестровый по диапазону, — возвестил о победах, достигнутых их тяжкими трудами. Единственная комната дома необитаема, сказал он, и мебели никакой нет; но имеется большой камин, а в сарайчике за домом они обнаружили солидный запас сухих дров. Кров и тепло на всю ночь были, таким образом, обеспечены. Билдеда Роза ублажили известием о конюшне с сеном на чердаке, не настолько развалившейся, чтобы ею нельзя было пользоваться.

— Джентльмены, — заорал с козел Билдед Роз, укутанный до бровей, — отдерите мне два пролета в загородке, чтобы можно было проехать. Ведь это ж хибарка старика Редруга. Так и знал, что мы где-нибудь поблизости. Самого-то в августе упрятали в желтый дом.

Четыре пассажира бодро набросились на покрытые снегом перекладки. Понукаемые кони втащили дилижанс на гору, к двери дома, откуда в летнюю пору безумие похитило его владельца. Кучер и двое пассажиров начали распрягать. Судья Менефи открыл дверцу кареты и снял шляпу.

— Я вынужден объявить, мисс Гарленд, — сказал он, — что силою обстоятельств наше путешествие прервано. Кучер утверждает, что ехать ночью по горной дороге настолько рискованно, что об этом не приходится и мечтать. Придется пробыть до утра под кровлей этого дома. Я заверяю вас, что вы вне всякой опасности и испытаете лишь временное неудобство. Я самолично обследовал дом и убедился, что имеется полная возможность хотя бы охранить вас от суровости непогоды. Вы будете устроены со всем комфортом, какой позволят обстоятельства. Разрешите помочь вам выйти.

К судье подошел пассажир, жизненным призванием которого было размещение ветряных мельниц фирмы «Маленький Голиаф». Его фамилия была Денвуди, но это не имеет большого значения. На перегоне от Парадайза до Санрайз-Сити можно почти или совсем обойтись без фамилии. И все же тому, кто захотел бы разделить почет с судьей Мэдисоном Л. Менефи, требуется фамилия, как некая зацепка, на которую слава могла бы повесить свой венок. Громко и непринужденно ветренный мельник заговорил:

— Вам, видно, придется вытряхнуться из ковчега, миссис Макфарленд. Наш вигвам не совсем «Пальмер-хаус»,⁴¹ но снегу там нет и при отъезде не будут шарить в вашем чемодане, сколько ложек вы взяли на память. Огонек мы уже развели и усадим вас на сухие шляпы, и будем отгонять мышей, и все будет очень, очень мило.

Один из двух пассажиров, которые суетились в мешанине из лошадей, упряжи, снега и саркастических наставлений Билдеда Роза, крикнул в перерыве между своими добровольческими обязанностями:

— Эй, молодцы! А ну, кто-нибудь, доставьте мисс Соломон в дом! Слышите? Тпруу, дьявол! Стой, скотина проклятая.

Снова приходится вежливо объяснить, что на перегоне от Парадайза до Санрайз-Сити точная фамилия — излишняя роскошь. Когда судья Менефи, пользуясь правом, которое давали ему его седины и широко известная репутация, представился пассажирке, она в ответ нежно выдохнула свою фамилию, которую уши пассажиров мужского пола восприняли по-разному. В возникшей атмосфере соперничества, не лишенной примеси ревности, каждый упорно держался своей версии. Со стороны пассажирки уточнение или поправки могли бы показаться недопустимым нравоучением или, еще того хуже, непозволительным желанием завязать интимное знакомство. Поэтому она откликнулась на мисс Гарленд, миссис

⁴¹ Фешенебельная гостиница в Нью-Йорке.

Макфарленд и мисс Соломон с одинаковой скромной снисходительностью. От Парадайза до Санрайз-Сити тридцать пять миль. Клянусь котомкой Агасфера, для такого краткого путешествия достаточно называться *compagnon de voyage*!⁴²

Вскоре маленькая компания путников расселась веселым полукругом перед полыхающим огнем. Пледы, подушки и отделимые части кареты втащили в дом и употребили в дело. Пассажирка выбрала себе место вблизи камина на одном конце полукруга. Там она украшала собою своего рода трон, воздвигнутый ее подданными. Она восседала на принесенных из кареты подушках, прислонившись к пустому ящику и бочонку, устланным пледами и защищавшим ее от порывов сквозного ветра. Она протянула прелестно обутые ножки к ласковому огню. Она сняла перчатки, но оставила на шее длинное меховое боа. Колеблющееся пламя слабо освещало ее лицо, полускрытое защитным боа, — юное лицо, очень женственное, ясно очерченное и спокойное, в непоколебимой уверенности своей красоты. Рыцарство и мужественность соперничали здесь, угождая ей и утешая ее. Она принимала их преклонение не игриво, как женщина, за которой ухаживают; не кокетливо, как многие представительницы ее пола, недостойные этих почестей; не с тупым равнодушием, как бык, получающий охапку сена, но согласно указаниям самой природы: как лилия впитывает капельку росы, предназначенную для того, чтобы освежить ее.

Вокруг дома яростно завывал ветер, мелкий снег со свистом врвался в щели, холод пронизывал спины принесших себя в жертву мужчин, но в ту ночь стихия не была лишена защитника. Менефи взялся быть адвокатом снежной бури. Погода являлась его клиентом, и в односторонне аргументированной речи он старался убедить своих компаньонов по холодной скамье присяжных, что они восседают в беседке из роз, овеваемые лишь нежными зефирами. Он обнаружил запас веселости, остроумия и анекдотов, не совсем приличных, но встреченных с одобрением. Невозможно было противостоять его заразительной бодрости, и каждый поспешил внести свою лепту в общий фонд оптимизма. Даже пассажирка решилась заговорить.

— Все это, по-моему, очаровательно, — сказала она тихим, кристально чистым голосом.

Время от времени кто-нибудь вставал и шутки ради обследовал комнату. Мало осталось следов от ее прежнего обитателя, старика Редрута.

К Билдеду Розу настойчиво пристали, чтобы он рассказал историю экс-отшельника. Поскольку лошади были устроены с комфортом и пассажиры, по-видимому, тоже, к вознице вернулись спокойствие и любезность.

— Старый хрыч, — начал Билдед Роз не совсем почтительно, — торчал в этой хибарке лет двадцать. Он никого не подпускал к себе на близкую дистанцию. Как, бывало, почует карету, шмыгнет в дом и дверь на крючок. У него, ясно, винтика в голове не хватало. Он закупал бакалею и табак в лавке Сэма Тилли на Литтл-Мадди. В августе он явился туда, завернутый в красное одеяло, и сказал Сэму, что он царь Соломон и что царица Савская едет к нему в гости. Он приволок с собой весь свой капитал — небольшой мешочек, полный серебра, — и бросил его в колодец Сэма. «Она не придет, — говорит старик Редрут Сэму, — если узнает, что у меня есть деньги».

Как только люди услышали такие рассуждения насчет женщин и денег, им сразу стало ясно, что старик спятил. Его забрали и упрятали в сумасшедший дом.

— Может, в его жизни был какой-нибудь неудачный роман, который заставил его искать отшельничества? — спросил один из пассажиров, молодой человек, имевший агентство.

— Нет, — сказал Билдед, — на этот счет ничего не слышал. Просто обыкновенные неприятности. Говорят, что в молодости ему не повезло в любовном предприятии с одной девицей; это задолго до того, как он закутался в красное одеяло и произвел свои финансовые расчеты. А о романе ничего не слышал.

— Ах! — воскликнул судья Менефи с важностью. — Это, несомненно, случай любви без

⁴² Попугчик (*фр.*) .

взаимности.

— Нет, сэ, — заявил Билдед, — ничего подобного. Она за него не пошла. Мармадюк Маллиген встретил как-то в Парадайзе человека из родного городка старика Редрута. Он говорил, что Редрут был парень что надо, но вот, когда хлопали его по карману, звякали только запонки да связка ключей. Он был помолвлен с этой молодой особой, мисс Алиса ее звали, а фамилию забыл. Этот человек рассказывал, что она была такого сорта девочка, для которой приятно купить трамвайный билет. Но вот в городишко прикатил молодчик, богатый и с доходами. У него свои экипажи, пай в рудниках и сколько хочешь свободного времени. И мисс Алиса, хоть на нее уже была заявка, видно, столкнулась с этим приезжим. Начались у них совпадения, и случайные встречи по дороге на почту, и такие штучки, которые иногда заставляют девушку вернуть обручальное кольцо и прочие подарки. Одним словом, появилась «трещинка в лютне», как выражаются в стихах.

Как-то люди видели: стоит у калитки Редрут с мисс Алисой и разговаривает. Потом он снимает шляпу — и ходу. И с тех пор никто его в городе больше не видел. Во всяком случае, так передавал этот человек.

— А что стало с девушкой? — спросил молодой человек, имевший агентство.

— Не слыхал, — ответил Билдед. — Вот здесь то место на дороге, где экипаж сломал колесо и багаж моих сведений упал в канаву. Все выкачал, до дна.

— Очень печаль... — начал судья Менефи, но его реплика была оборвана более высоким авторитетом.

— Какая очаровательная история, — сказала пассажирка голосом нежным, как флейта.

Воцарилась тишина, нарушаемая только завыванием ветра и потрескиванием горящих дров.

Мужчины сидели на полу, слегка смягчив его негостеприимную поверхность пледами и стружками. Человек, который размещал ветряные мельницы «Маленький Голиаф», поднялся и начал ходить, чтобы поразмять онемевшие ноги.

Вдруг послышался его торжествующий возглас. Он поспешил назад из темного угла комнаты, неся что-то в высоко поднятой руке. Это было яблоко, большое, румяное, свежее: приятно было смотреть на него. Он нашел его в бумажном пакете на полке, в темном углу. Оно не могло принадлежать сраженному любовью Редруту его великолепный вид доказывал, что не с августа лежало оно на затхлой полке. Очевидно, какие-то путешественники завтракали недавно в этом необитаемом доме и забыли его.

Денвуди — его подвиги опять требуют почтить его наименованием — победоносно подбрасывал яблоко перед носом своих попутчиков.

— Поглядите-ка, что я нашел, миссис Макфарленд! — закричал он хвастливо. Он высоко поднял яблоко, и, освещенное огнем, оно стало еще румянее. Пассажирка улыбнулась спокойно... неизменно спокойно.

— Какое очаровательное яблоко, — тихо, но отчетливо сказала она.

Некоторое время судья Менефи чувствовал себя раздавленным, униженным, разжалованным. Его отбросили на второе место, и это злило его. Почему не ему, а вот этому горлану, деревенщине, назойливому мельнику, вручила судьба это произведшее сенсацию яблоко? Попади оно к нему, и он разыграл бы с ним целое действо, оно послужило бы темой для какого-нибудь экспромта, для речи, полной блестящей выдумки, для комедийной сцены — и он остался бы в центре внимания. Пассажирка уже смотрела на этого нелепого Денбодди или Вудбенди с восхищенной улыбкой, словно парень совершил подвиг! А мельник шумел и вертелся, как образчик своего товара — от ветра, который всегда дует из страны хористов в область звезды подмостков.

Пока восторженный Денвуди со своим аладдиновым яблоком был окружен вниманием капризной толпы, изобретательный судья обдумал план, как вернуть свои лавры.

С любезнейшей улыбкой на обрюзгшем, но классически правильном лице судья Менефи встал и взял из рук Денвуди яблоко, как бы собираясь его исследовать.

В его руках оно превратилось в вещественное доказательство № 1.

— Превосходное яблоко, — сказал он одобрительно. — Должен признаться, дорогой мой мистер Денвинди, что вы затмили всех нас своими способностями фуражира. Но у меня возникла идея. Пусть это яблоко станет эмблемой, символом, призом, который разум и сердце красавицы вручат достойнейшему.

Все присутствующие, за исключением одного человека, зааплодировали.

— Здорово загнул! — пояснил пассажир, который не был ничем особенным, молодому человеку, имевшему агентство.

Воздержавшимся от аплодисментов был мельник. Он почувствовал себя разжалованным в рядовые. Ему бы и в голову никогда не пришло объявить яблоко эмблемой. Он собирался, после того как яблоко разделят и съедят, приклеить его семечки ко лбу и назвать их именами знакомых дам. Одно семечко он хотел назвать миссис Макфарленд. Семечко, упавшее первым, было бы... но теперь уже поздно.

— Яблоко, — продолжал судья Менефи, атакуя присяжных, — занимает в нашу эпоху — надо сказать, совершенно незаслуженно — ничтожное место в диапазоне нашего внимания. В самом деле, оно так часто ассоциируется с кулинарией и коммерцией, что едва ли его можно причислить к разряду благородных фруктов. Но в древние времена это было не так. Библейские, исторические и мифологические предания изобилуют доказательствами того, что яблоко было королем в государстве фруктов. Мы и сейчас говорим «зеница ока», когда хотим определить что-нибудь чрезвычайно ценное. А что такое зеница ока, как не составная часть яблока, глазного яблока? В Притчах Соломоновых мы находим сравнение с «серебряными яблоками». Никакой иной плод дерева или лозы не упоминается так часто в фигуральной речи. Кто не слышал и не мечтал о «яблоках Гесперид»? Мне нет необходимости привлекать ваше внимание к величайшему по значению и трагизму примеру, подтверждающему престиж яблока в прошлом, когда потребление его нашими прародителями повлекло за собой падение человека с его пьедестала добродетели и совершенства.

— Такие яблоки, — сказал мельник, затрагивая материальную сторону вопроса, — стоят на чикагском рынке три доллара пятьдесят центов бочонок.

— Так вот, — сказал судья Менефи, удостоив мельника снисходительной улыбки, — то, что я хочу предложить, сводится к следующему: в силу обстоятельств мы должны оставаться здесь до утра. Топлива у нас достаточно, мы не замерзнем. Наша следующая задача — развлечь себя наилучшим образом, чтобы время не тянулось слишком медленно. Я предлагаю вложить это яблоко в ручки мисс Гарленд. Оно больше не фрукт, но, как я уже сказал, приз, награда, символизирующая великую человеческую идею. Сама мисс Гарленд перестает быть индивидуумом... только на время, я счастлив добавить (низкий поклон, полный старомодной грации), — она будет представлять свой пол, она будет квинтэссенцией женского племени, сердцем и разумом, я бы сказал, венца творения. И в этом качестве она будет судить и решать по следующему вопросу.

Всего несколько минут назад наш друг, мистер Роз, почтил нас увлекательным, но фрагментарным очерком романтической истории из жизни бывшего владельца этого обиталища. Скучные факты, сообщенные нам, открывают, мне кажется, необъятное поле для всевозможных догадок, для анализа человеческих сердец, для упражнения нашей фантазии, словом — для импровизации. Не упустим же эту возможность. Пусть каждый из нас расскажет свою версию истории отшельника Редрута и его дамы сердца, начиная с того, на чем обрывается рассказ мистера Роза, — с того, как влюбленные расстались у калитки. Прежде всего условимся: вовсе не обязательно предполагать, будто Редрут сошел с ума, возненавидел мир и стал отшельником исключительно по вине юной леди. Когда мы кончим, мисс Гарленд вынесет приговор женщины. Являясь духовным символом своего пола, она должна будет решить, какая версия наиболее правдиво отражает коллизию сердца и разума и вернее других оценивает характер и поступки невесты Редрута с точки зрения женщины. Яблоко будет вручено тому, кто удостоится этой награды. Если все вы согласны, то мы будем иметь удовольствие услышать первой историю мистера Динвиди.

Последняя фраза пленила мельника. Он был не из тех, кто способен долго унывать.

— Проект первый сорт, судья, — сказал он искренно. — Сочинить, значит, рассказик посмешней? Что же, я как-то работал репортером в одной спрингфилдской газете, и когда новостей не было, я их выдумывал. Надеюсь, что не ударю лицом в грязь.

— По-моему, идея очаровательная, — сказала пассажирка просияв. — Это будет совсем как игра.

Судья Менефи выступил вперед и торжественно вложил яблоко в ее ручку.

— В древности, — сказал он с подъемом, — Парис присудил золотое яблоко прекраснейшей.

— Я был в Париже на выставке, — заметил снова развеселившийся мельник, — но ничего об этом не слышал. А я все время болтался на площадке аттракционов, если не торчал в машинном павильоне.

— А теперь, — продолжал судья, — этот плод должен истолковать нам тайну и мудрость женского сердца. Возьмите яблоко, мисс Гарленд. Выслушайте наши нехитрые романтические истории и присудите приз по справедливости.

Пассажирка мило улыбнулась. Яблоко лежало у нее на коленях под плащами и пледом. Она приткнулась к своему защитному укреплению, и ей было тепло и уютно. Если бы не шум голосов и ветра, наверное, можно было бы услышать ее мурлыканье.

Кто-то подбросил в огонь дров. Судья Менефи учтиво кивнул головой мельнику.

— Вы почтите нас первым рассказом? — сказал он.

Мельник уселся по-турецки, сдвинул шляпу на самый затылок, чтобы предохранить его от сквозняка.

— Ну, — начал он без всякого смущения, — я разрешаю это затруднение примерно таким манером. Конечно, Редрута здорово поддел этот гусь, у которого хватало денег на всякие игрушки и который пытался отбить у него девушку. Ну, ясно, он идет прямо к ней и спрашивает, фальшивит она или нет. Кому охота, чтобы какой-то хлюст подъезжал с экипажами и золотыми приисками к девушке, на которую вы нацелились? Ну, значит, он идет к ней. Ну, возможно, что он горячится и разговаривает с ней, как с собственной женой, забыв, что чек еще не наличные. Ну, надо думать, что Алисе становится жарко под кофточкой... Ну, она кроет ему в ответ. Ну, он...

— Слушайте, — перебил его пассажир, который не был ничем особенным. — Если бы вы столько размещали ветряных мельниц, сколько раз повторяете «ну», вы бы нажили себе капиталаец, верно?

Мельник добродушно усмехнулся.

— Ну, я вам не Гюй де Мопассам, — сказал он весело. — Я выражаюсь просто, по-американски. Ну, она говорит что-нибудь вроде этого: «Мистер Прииск мне только друг, — говорит она, — но он катает меня и покупает билеты в театр, а от тебя этого не дождешься. Что же мне и удовольствия в жизни иметь нельзя? Так ты думаешь?» «Брось эти штучки, — говорит Редрут. — Дай этому щеголю отставку, а то не ставить тебе комнатных туфель под мою тумбочку».

Ну, такое расписание не годится девушке, которая развела пары; если девушка была с характером, такие слова, конечно, пришлись ей не по вкусу. А бьюсь об заклад, что она только его и любила. Может, ей просто хотелось, как это бывает с девушками, повертихвостить немножко, прежде чем засесть штопать Джорджу носки и стать хорошей женой. Но ему попала вожжа под хвост, и он ни тпру ни ну. А она, ясно, понятно, возвращает ему кольцо. Джордж, значит, смывается и начинает закладывать. Да-с! Вот она штука-то какая. А держу пари, что девочка выставила этот рог изобилия в модной жилетке за порог ровно через два дня, как исчез ее суженый. Джордж погружается на товарный поезд и направляет мешок со своими пожитками в края неизвестные. Несколько лет он пьет горькую. А потом анилин и водка подсказывают решение. «Мне остается келья отшельника, — говорит Джордж, — да борода по пояс, да зарытая кубышка с деньгами, которых нет».

Но Алиса, по моему мнению, вела себя вполне порядочно. Она не вышла замуж и, как только начали показываться морщинки, взялась за пишущую машинку и завела себе кошку,

которая бежала со всех ног, когда ее звали: «Кис, кис, кис!» Я слишком верю в хороших женщин и не могу допустить, что они бросают парней, с которыми хороводятся, всякий раз как им подвернется мешок с деньгами. — Мельник умолк.

— По-моему, — сказала пассажирка, слегка потянувшись на своем низком троне, — это очаро...

— О мисс Гарленд! — вмешался судья Менефи, подняв руку. — Прошу вас, не надо комментариев! Это было бы несправедливо по отношению к другим соревнующимся. Мистер... э-э... ваша очередь, — обратился судья Менефи к молодому человеку, имевшему агентство.

— Моя версия этой романтической истории такова, — начал молодой человек, робко потирая руки. — Они не ссорились, расставаясь. Мистер Редрут простился с нею и пошел по свету искать счастья. Он знал, что его любимая останется верна ему. Он не допускал мысли, что его соперник может тронуть сердце, такое любящее и верное. Я бы сказал, что мистер Редрут направился в Скалистые горы в Вайоминг, в поисках золота. Однажды шайка пиратов высадилась там и захватила его за работой и...

— Эй! Что за черт? — резко крикнул пассажир, который не был ничем особенным. — Шайка пиратов высадилась в Скалистых горах? Может, вы скажете, как они плыли...

— Высадились с поезда, — сказал рассказчик спокойно и не без находчивости. — Они долго держали его пленником в пещере, а потом отвезли за сотни миль в леса Аляски. Там красивая индианка влюбилась в него, но он остался верен Алисе. Проблуждав еще год в лесах, он отправился с брильянтами...

— С какими брильянтами? — спросил незначительный пассажир почти что грубо.

— С теми, которые шорник показал ему в Перуанском храме, — ответил рассказчик несколько туманно. — Когда он вернулся домой, мать Алисы, вся в слезах, повела его к зеленому могильному холмику под ивой. «Ее сердце разбилось, когда вы уехали», — сказала мать. «А что стало с моим соперником Честером Макинтош?» — спросил мистер Редрут, печально склонив колени у могилы Алисы. «Когда он узнал, — ответила она, — что ее сердце принадлежало вам, он чахнул и чахнул, пока наконец не открыл мебельный магазин в Гранд-Рapidz. Позже мы слышали, что его до смерти искусал бешеный лось около Саут-Бенд, штат Индиана, куда он отправился, чтобы забыть цивилизованный мир». Выслушав это, мистер Редрут отвернулся от людей и, как мы уже знаем, стал отшельником.

— Мой рассказ, — заключил молодой человек, имевший агентство, — может быть, лишен литературных достоинств, но я хочу в нем показать, что девушка осталась верной. В сравнении с истинной любовью она ни во что не ставила богатство. Я так восхищаюсь прекрасным полом и верю ему, что иначе думать не могу.

Рассказчик умолк, искоса взглянув в угол, где сидела пассажирка.

Затем судья Менефи попросил Билдеда Роза выступить со своим рассказом в соревновании на символическое яблоко. Сообщение кучера было кратким.

— Я не из тех живодеров, — сказал он, — которые все несчастья сваливают на баб. Мое показание, судья, насчет рассказа, который вы спрашиваете, будет примерно такое: Редрута сгубила лень. Если бы он сгреб за холку этого Пегаса, который пытался его объехать, и дал бы ему по морде, да держал бы Алису в стойле и надел бы ей узду с наглазниками, все было бы в порядке. Раз тебе приглянулась бабенка, так ради нее стоит постараться. «Пошли за мной, когда опять понадобится», — говорит Редрут, надевает свой стетсон и сматывается. Он, может быть, думал, что это гордость, а по-нашему — лень. Какая женщина станет бегать за мужчиной? «Пускай сам придет», — говорит себе девочка; и я ручаюсь, что она велит парню с мощной попятиться, а потом с утра до ночи выглядывает из окошка, не идет ли ее разлюбленный с пустым бумажником и пушистыми усами.

Редрут ждет, наверно, лет девять, не придет ли она негра с записочкой, с просьбой простить ее. Но она не шлет. «Дело не выгорело, — говорит Редрут, — а я прогорел». И он берется за работенку отшельника и отращивает бороду. Да, лень и борода — вот в чем зарыта собака. Лень и борода друг без друга никуда. Слышали вы когда-нибудь, чтобы человек с

длинными волосами и бородой наткнулся на золотые россыпи? Нет. Возьмите хоть герцога Молборо или этого жулика из «Стандард Ойл». Есть у них что-нибудь подобное?

Ну а эта Алиса так и не вышла замуж, клянусь дохлым меринком. Женись Редрут на другой — может, и она вышла бы. Но он так и не вернулся. У ней хранятся как сокровища все эти штучки, которые они называют любовными памятками. Может быть, клочок волос и стальная пластинка от корсета, которую он сломал. Такого сорта товарец для некоторых женщин все равно что муж. Верно, она так и засиделась в девках. И ни одну женщину я не виню в том, что Редрут расстался с чистыми рубахами и с парикмахерскими.

Следующим по порядку выступил пассажир, который не был ничем особенным. Безмянный для нас, он совершает путь от Парадайза до Санрайз-Сити.

Но вы его увидите, если только огонь в камине не погаснет, когда он откликнется на призыв судьбы.

Худой, в рыжеватом костюме, сидит, как лягушка, обхватил руками ноги, а подбородком уперся в колени. Гладкие, пенькового цвета волосы, длинный нос, рот, как у сатира, с вздернутыми, запачканными табаком углами губ. Глаза как у рыбы; красный галстук с булавкой в форме подковы. Он начал дребезжащим хихиканьем, которое постепенно оформилось в слова.

— Все заврались. Что? Роман без флердоранжа? Го, го! Ставлю кошелек на парня с галстуком бабочкой и с чековой книжкой в кармане.

С расставанья у калитки? Ладно! «Ты никогда меня не любила, — говорит Редрут яростно, — иначе ты бы не стала разговаривать с человеком, который угощает тебя мороженым». «Я ненавижу его, — говорит она, — я проклинаю его таратайку. Меня тошнит от его первосортных конфет, которые он присылает мне в золоченых коробках, обернутых в настоящие кружева; я чувствую, что могу пронзить его копьем, если он поднесет мне массивный медальон, украшенный бирюзой и жемчугом. Пропади он пропадом! Одного тебя люблю я». «Полегче на поворотах! — говорит Редрут. — Что я, какой-нибудь распутник из восточных штатов? Не лезь ко мне, пожалуйста. Делить тебя я ни с кем не собираюсь. Ступай и продолжай ненавидеть твоего приятеля. Я обойдусь девочкой Никерсон с авеню Б., жевательной резиной и поездкой в трамвае».

В тот же вечер заявляется Джон Уильям Крез. «Что? Слезы?» — говорит он, поправляя свою жемчужную булавку. «Вы отпугнули моего возлюбленного, — говорит Алиса рыдая. — Мне противен ваш вид». «Тогда выходите за меня замуж», — говорит Джон Уильям, зажигая сигару «Генри Клей». «Что! — кричит она, негодуя. — Выйти за вас? Ни за что на свете, — говорит, — пока я не успокоюсь и не смогу кое-что закупить, а вы не выправите разрешения на брак. Тут рядом есть телефон: можно позвонить в канцелярию мэра». Рассказчик сделал паузу, и опять раздался его циничный смешок.

— Поженились они? — продолжал он. — Проглотила утка жука? А теперь поговорим о старике Редруте. Вот здесь, я считаю, вы тоже все ошиблись. Что превратило его в отшельника? Один говорит: лень, другой говорит: угрызения совести, третий говорит: пьянство. А я говорю: женщины. Сколько сейчас лет старику? — спросил рассказчик, обращаясь к Билдеду Розу.

— Лет шестьдесят пять.

— Очень хорошо. Он хозяйничал здесь, в своей отшельнической лавочке, двадцать лет. Допустим, что ему было двадцать пять, когда он раскланялся у калитки. Таким образом, от него требуется отчет за двадцать лет его жизни, иначе ему крышка. На что же он потратил эту десятку и две пятерки? Я сообщу вам свою мысль. Сидел в тюрьме за двоеженство. Допустим, что у него была толстая блондинка в Сен-Джо и худощавая брюнетка в Скиллет-Ридж и еще одна, с золотым зубом, в долине Ко. Редрут запутался и угодил в тюрьму. Отсидел свое, вышел и говорит: «Будь что будет, но юбок с меня хватит. В отшельнической отрасли нет перепроизводства, и стенографистки не обращаются к отшельникам за работой. Веселая жизнь отшельника — вот это мне по душе. Хватит с меня длинных волос в гребенке и шпилек в сигарном ящике». Вы говорите, что старика Редрута упрятали в желтый дом потому, что он

назвал себя царем Соломоном? Дудки. Он и был Соломоном. Я кончил. Полагаю, яблок это не стоит. Марки на ответ приложены. Что-то не похоже, что я победил.

Уважая предписание судьи Менефи — воздерживаться от комментариев к рассказам, никто ничего не сказал, когда пассажир, который не был ничем особенным, умолк. И тогда изобретательный зачинщик конкурса прочистил горло, чтобы начать последний рассказ на приз. Хотя судья Менефи восседал на полу без особого комфорта, это отнюдь не умалило его достоинства. Отблески угасавшего пламени освещали его лицо, чеканное, как лицо римского императора на какой-нибудь старой монете, и густые пряди его почтенных седых волос.

— Женское сердце! — начал он ровным, но взволнованным голосом. — Кто разгадает его? Пути и желания мужчин разнообразны. Но сердца всех женщин, думается мне, бьются в одном ритме и настроены на старую мелодию любви. Любовь для женщины означает жертву. Если она достойна этого имени, то ни деньги, ни положение не перевесят для нее истинного чувства.

Господа присяж... я хочу сказать: друзья мои! Здесь разбирается дело Редрута против любви и привязанности. Но кто же подсудимый? Не Редрут, ибо он уже понес наказание. И не эти бессмертные страсти, которые украшают нашу жизнь радостью ангелов. Так кто же? Сегодня каждый из нас сидит на скамье подсудимых и должен ответить, благородные или темные силы обитают в его душе. И судит нас изящная половина человечества в образе одного из ее прекраснейших цветков. В руке она держит приз, сам по себе незначительный, но достойный наших благородных усилий как символ признания одной из достойнейших представительниц женского суждения и вкуса.

Переходя к воображаемой истории Редрута и прелестного создания, которому он отдал свое сердце, я должен прежде всего возвысить свой голос против недостойной инсинуации, что к отречению от мира его якобы привел женский эгоизм, или вероломство, или любовь к роскоши. Я не встречал женщины столь бездушной или столь продажной. Мы должны искать причину в другом — в более изменчивой природе и недостойных намерениях мужчины.

По всей вероятности, в тот достопамятный день, когда влюбленные стояли у калитки, между ними произошла ссора. Терзаемый ревностью, юный Редрут покинул родные края. Но имел ли он достаточно оснований поступить таким образом? Нет доказательств ни за, ни против. Но есть нечто высшее, чем доказательство; есть великая, вечная вера в доброту женщины, в ее стойкость перед соблазном, в ее верность даже при наличии предлагаемых сокровищ.

Я рисую себе безрассудного юношу, который, терзаясь, блуждает по свету. Я вижу его постепенное падение и, наконец, его совершенное отчаяние, когда он осознает, что потерял самый драгоценный дар из тех, что жизнь могла ему предложить. При таких обстоятельствах становится понятным и почему он бежал от мира печали, и последующее расстройство его умственной деятельности.

Перейдем ко второй части разбираемого дела. Что мы здесь видим? Одинокую женщину, увядающую с течением времени, все еще ждущую с тайной надеждой, что вот он появится, вот раздадутся его шаги. Но они никогда не раздадутся. Теперь она уже старушка. Ее волосы поседели и гладко причесаны. Каждый день она сидит у калитки и тоскливо смотрит на пыльную дорогу. Ей мнится, что она ждет его не здесь, в брэнном мире, а там, у райских врат, и она — его навеки. Да, моя вера в женщину рисует эту картину перед моим внутренним взором. Разлученные навек на земле, но ожидающие: она — предвкушая встречу в Элизиуме, он — в геенне огненной.

— А я думал, что он в желтом доме, — сказал пассажир, который не был ничем особенным.

Судья Менефи раздраженно поежился. Мужчины сидели, опустив головы, в причудливых позах. Ветер умерил свою ярость и налетал теперь редкими, злобными порывами. Дрова в камине превратились в груды красных углей, которые отбрасывали в комнату тусклый свет. Пассажирка в своем уютном уголке казалась бесформенным свертком, увенчанным короной блестящих кудрявых волос. Кусочек ее белоснежного лба виднелся над

мягким мехом боа.

Судья Менефи с усилием поднялся.

— Итак, мисс Гарленд, — объявил он, — мы кончили. Вам надлежит присудить приз тому из нас, чей взгляд — особенно, я подчеркиваю, это касается оценки непорочной женственности — ближе всего подходит к вашим собственным убеждениям.

Пассажирка не отвечала. Судья Менефи озабоченно склонился над нею. Пассажир, который не был ничем особенным, хрипло и противно засмеялся. Пассажирка сладко спала. Судья Менефи попробовал взять ее за руку, чтобы разбудить. При этом он коснулся чего-то маленького, холодного, влажного, лежавшего у нее на коленях.

— Она съела яблоко! — возвестил судья Менефи с благоговейным ужасом и, подняв огрызок, показал его всем.

Пианино

Перевод М. Урнова

Я заночевал на овечьей ферме Раша Кинни у Песчаной излучины реки Нуэсес. Мистер Кинни и я в глаза не видали друг друга до той минуты, когда я крикнул «алло» у его коновязи; но с этого момента и до моего отъезда на следующее утро мы, согласно кодексу Техаса, были закадычными друзьями.

После ужина мы с хозяином фермы вытащили наши стулья из двухкомнатного дома на галерею с земляным полом, крытую чапарралем и саквистой. Задние ножки стульев глубоко ушли в утрамбованную глину, и мы, прислонившись к вязовым подпоркам галереи, покуривали эльторовский табачок и дружелюбно обсуждали дела остальной вселенной.

Передать словами чарующую прелесть вечера в прерии — безнадежная затея. Дерзок будет тот повествователь, который попытается описать техасскую ночь ранней весной. Ограничимся простым перечнем.

Ферма расположилась на вершине отлогого косогора. Безбрежная прерия, оживляемая оврагами и темными пятнами кустарника и кактусов, окружала нас, словно стенки чаши, на дне которой мы покоились, как осадок Небо прихлопнуло нас бирюзовой крышкой. Чудный воздух, насыщенный озоном и сладкий от аромата диких цветов, оставлял приятный вкус во рту. В небе светил большой, круглый ласковый луч прожектора, и мы знали, что это не луна, а тусклый фонарь лета, которое явилось, чтобы прогнать на север присмирившую весну. В ближайшем коррале смиренно лежало стадо овец, — лишь изредка они с шумом подымались в беспричинной панике и сбивались в кучу. Слышались и другие звуки: визгливая семейка койотов заливалась за загонами для стрижки овец, и козодои кричали в высокой траве. Но даже эти диссонансы не заглушали звонкого потока нот дроздов-пересмешников, стекавшего с десятка соседних кустов и деревьев. Хотелось подняться на цыпочки и потрогать рукою звезды, такие они висели яркие и ощутимые.

Жену мистера Кинни, молодую и расторопную женщину, мы оставили в доме. Ее задержали домашние обязанности, которые, как я заметил, она исполняла с веселой и спокойной гордостью.

В одной комнате мы ужинали. Вскоре из другой к нам на галерею ворвалась волна неожиданной и блестящей музыки. Насколько я могу судить об искусстве игры на пианино, толкователь этой шумной фантазии с честью владел всеми тайнами клавиатуры. Пианино и тем более такая замечательная игра не вязались в моем представлении с этой маленькой и невзрачной фермой. Должно быть, недоумение было написано у меня на лице, потому что Раш Кинни тихо рассмеялся, как смеются южане, и кивнул мне сквозь освещенный луною дым от наших папирос.

— Не часто приходится слышать такой приятный шум на овечьей ферме, — заметил он. — Но я не вижу причин, почему бы не заниматься искусством и подобными фиоритурами,

если вдруг очутился в глуши. Здесь скучная жизнь для женщины, и если немного музыки может ее приукрасить, почему не иметь ее? Я так смотрю на дело.

— Мудрая и благородная теория, — согласился я. — А миссис Кинни хорошо играет. Я не обучен музыкальной науке, но все же могу сказать, что она прекрасный исполнитель. У нее есть техника и незаурядная сила.

Луна, понимаете ли, светила очень ярко, и я увидел на лице Кинни какое-то довольное и сосредоточенное выражение, словно его что-то волновало, чем он хотел поделиться.

— Вы проезжали перекресток «Два Вяза», — сказал он многообещающе. — Там вы, должно быть, заметили по левую руку заброшенный дом под деревом.

— Заметил, — сказал я. — Вокруг копалось стадо кабанов. По сломанным изгородям было видно, что там никто не живет.

— Вот там-то и началась эта музыкальная история, — сказал Кинни. — Что ж, пока мы курим, я не прочь рассказать вам ее. Как раз там жил старый Кэл Адамс. У него было около восьмисот мериносов улучшенной породы и дочка — чистый шелк и красива, как новая уздечка на тридцатидолларовой лошади. И само собой разумеется, я был виновен, хотя и заслуживал снисхождения, в том, что торчал у ранчо старого Кэла все время, какое удавалось урвать от стрижки овец и ухода за ягнятами. Звали ее мисс Марилла. И я высчитал по двойному правилу арифметики, что ей суждено стать хозяйкой и владычицей ранчо Ломито, принадлежащего Р. Кинни, эсквайру, где вы сейчас находитесь как желанный и почетный гость.

Надо вам сказать, что старый Кэл ничем не выделялся как овцевод. Это был маленький, сутуловатый *hombre*,⁴³ ростом с ружейный футляр, с жидкой седой бородачкой и страшно болтливый.

Старый Кэл был до того незначителен в выбранной им профессии, что даже скотопромышленники не питали к нему ненависти. А уж если овцевод не способен выдвинуться настолько, чтобы заслужить враждебность скотоводов, он имеет все шансы умереть неоплаканным и почти что неотпетым.

Но его Марилла была сущей отрадой для глаз, и хозяйка она была хоть куда. Я был их ближайшим соседом и наезжал, бывало, в «Два Вяза» от девяти до шестнадцати раз в неделю то со свежим маслом, то с оленьим окороком, то с новым раствором для мытья овец, лишь бы был хоть пустяковый предлог повидать Мариллу. Мы с ней крепко увлеклись друг другом, и я был совершенно уверен, что заарканю ее и приведу в Ломито. Только она была так пропитана дочерними чувствами к старому Кэлу, что мне никак не удавалось заставить ее поговорить о серьезных вещах.

Вы в жизни не встречали человека, у которого было бы столько познаний и так мало мозгов, как у старого Кэла. Он был осведомлен во всех отраслях знаний, составляющих ученость, и владел основами всех доктрин и теорий. Его нельзя было удивить никакими идеями насчет частей речи или направлений мысли. Можно было подумать, что он профессор погоды, и политики, и химии, и естественной истории, и происхождения видов. О чем бы вы с ним ни заговорили, старый Кэл мог дать вам детальное описание любого предмета, от греческого его корня и до момента его упаковки и продажи на рынке.

Однажды, как раз после осенней стрижки, я заезжаю в «Два Вяза» с журналом дамских мод для Мариллы и научной газетой для старого Кэла.

Привязываю я коня к мескитовому кусту, вдруг вылетает Марилла, до смерти обрадованная какими-то новостями, которые ей не терпится рассказать.

— Ах, Раш! — говорит она, так и пылая от уважения и благодарности. — Подумай только! Папа собирается купить мне пианино. Ну не чудесно ли! Я и не мечтала никогда, что буду иметь пианино.

— Определенно замечательно, — говорю я. — Меня всегда восхищал приятный рев

⁴³ Человек (*исп.*) .

пианино. А тебе оно будет вместо компании. Молодчина дядюшка Кэл, здорово придумал.

— Я не знаю, что выбрать, — говорит Марилла, — пианино или орган. Комнатный орган тоже неплохо.

— И то и другое, — говорю я, — первоклассная штука для смягчения тишины на овечьем ранчо. Что до меня, — говорю я, — так я не желал бы ничего лучшего, как приехать вечером домой и послушать немного вальсов и джиг, и чтобы на табуретке у пианино сидел кто-нибудь твоей комплекции и обрабатывал ноты.

— Ах, помолчи об этом, — говорит Марилла, — и иди в дом. Папа не выезжал сегодня. Ему нездоровится.

Старый Кэл был в своей комнате, лежал на койке. Он сильно простудился и кашлял. Я остался ужинать.

— Я слышал, что вы собираетесь купить Марилле пианино, — говорю я ему.

— Да, Раш, что-нибудь в этом роде, — говорит он. — Она давно изнывает по музыке, а сейчас я как раз могу устроить для нее что-нибудь по этой части. Нынче осенью овцы дали по шесть фунтов шерсти с головы на круг, и я решил добыть Марилле инструмент, если даже на него уйдет вся выручка от стрижки.

— Правильно, — говорю я. — Девочка этого заслуживает.

— Я собираюсь в Сан-Антонио с последней подводой шерсти, — говорит дядюшка Кэл, — и сам выберу для нее инструмент.

— А не лучше ли, — предлагаю я, — взять с собой Мариллу, и пусть бы она выбрала по своему вкусу?

Мне следовало бы знать, что после подобного предложения дядюшку Кэла не остановишь. Такой человек, как он, знавший все обо всем, воспринял это как умаление своих познаний.

— Нет, сэр, это не пойдет, — говорит он, теребя свою седую бороденку. — Во всем мире нет лучшего знатока музыкальных инструментов, чем я. У меня был дядя, — говорит он, — который состоял компаньоном фабрики роялей, и я видел, как их собирали тысячами. Я знаю все музыкальные инструменты от органа до свистульки. На свете нет такого человека, сэр, который мог бы сообщить мне что-нибудь новое по части любого инструмента, дуют ли в него, колотят ли, царапают, вертят, щиплют или заводят ключом...

— Купи, что хочешь, па, — говорит Марилла, а сама так и юлит от радости. — Уж ты-то сумеешь выбрать. Пусть будет пианино, или орган, или еще что-нибудь.

— Я как-то видел в Сент-Луисе так называемый оркестрион, — говорит дядюшка Кэл, — самое, по-моему, замечательное изобретение в области музыки. Но для него в доме нет места. Да и стоит он, надо думать, тысячу долларов. Я полагаю, что Марилле лучше всего подойдет что-нибудь по части пианино. Она два года брала уроки в Бэрдстейле. Нет, только себе я могу доверить покупку инструмента и никому больше. Я так полагаю, что не возьмись я за разведение овец, я был бы одним из лучших в мире композиторов или фабрикантов роялей и органов.

Таков был дядюшка Кэл. Но я терпел его, потому что он очень уж заботился о Марилле. И она заботилась о нем не меньше. Он посылал ее на два года в пансион в Бэрдстейл, хотя на покрытие расходов уходил чуть ли не последний фунт шерсти.

Помнится, во вторник дядюшка Кэл отправился в Сан-Антонио с последней подводой шерсти. Пока он был в отъезде, из Бэрдстейла приехал дядя Мариллы, Бен, и поселился на ранчо. До Сан-Антонио было девяносто миль, а до ближайшей железнодорожной станции сорок, так что дядюшка Кэл отсутствовал дня четыре. Я был в «Двух Вязах», когда он прикатил домой как-то вечером, перед закатом. На возу определенно что-то торчало — пианино или орган, мы не могли разобрать, — все было укутано в мешки из-под шерсти и поверх натянут брезент на случай дождя. Марилла выскакивает и кричит: «Ах, ах!» Глаза у нее блестят и волосы развеваются. «Папочка... Папочка, — поет она, — ты привез его... Привез?» А оно у нее прямо перед глазами. Но женщины иначе не могут.

— Лучшее пианино во всем Сан-Антонио, — говорит дядюшка Кэл, гордо помахивая

рукой. — Настоящее розовое дерево, и самый лучший, самый громкий тон, какой только может быть. Я слышал, как на нем играл хозяин магазина; забрал его, не торгуясь, и расплатился наличными.

Мы с Беном, дядя Кэл да еще один мексиканец сняли его с подводы, втащили в дом и поставили в угол. Это был такой стоячий инструмент — не очень тяжелый и не очень большой.

А потом ни с того ни с сего дядюшка Кэл шлепается на пол и говорит, что захворал. У него сильный жар, и он жалуется на легкие. Он укладывается в постель, мы с Беном тем временем распрягаем и отводим на пастбище лошадей, а Марилла суетится, готовя горячее питье дядюшке Кэлу. Но прежде всего она кладет обе руки на пианино и обнимает его с нежной улыбкой, ну, знаете, совсем как ребенок с рождественскими игрушками.

Когда я вернулся с пастбища, Марилла была в комнате, где стояло пианино. По веревкам и мешкам на полу было видно, что она его распаковала. Но теперь она снова натягивала на него брезент, и на ее побледневшем лице было какое-то торжественное выражение.

— Что это ты, Марилла, никак снова завертываешь музыку? — спрашиваю я. — А ну-ка парочку мелодий, чтобы поглядеть, как оно ходит под седлом.

— Не сегодня, Раш, — говорит она, — я не могу сегодня играть. Папа очень болен. Только подумай, Раш, он заплатил за него триста долларов — почти треть того, что выручил за шерсть.

— Что ж такого, ты стоишь больше любой трети чего бы то ни было, — сказал я. — А потом, я думаю, дядюшка Кэл уж не настолько болен, что не может послушать легкое сотрясение клавишей. Надо же окрестить машину.

— Не сегодня, Раш, — говорит Марилла таким тоном, что сразу видно — спорить с ней бесполезно.

Но что ни говори, а дядюшку Кэла, видно, крепко скрутило. Ему стало так плохо, что Бен оседлал лошадь и поехал в Бэрдстейл за доктором Симпсоном. Я остался на ферме на случай, если что понадобится.

Когда дядюшке Кэлу немного полегчало, он позвал Мариллу и говорит ей:

— Ты видела инструмент, милая? Ну, как тебе нравится?

— Он чудесный, папочка, — говорит она, склоняясь к его подушке. — Я никогда не видела такого замечательного инструмента. Ты такой милый и заботливый, что купил мне его!

— Я не слышал, чтобы ты на нем играла, — говорит дядюшка Кэл. — А я прислушивался. Бок сейчас меня не очень тревожит. Может, сыграешь какую-нибудь вещицу, Марилла?

Но нет, она заговаривает зубы дядюшке Кэлу и успокаивает его, как ребенка. По-видимому, она твердо решила не прикасаться пока к пианино.

Приезжает доктор Симпсон и говорит, что у дядюшки Кэла воспаление легких в самой тяжелой форме; старику было за шестьдесят, и он давно уж начал сдавать, так что шансы были за то, что ему не придется больше гулять по травке.

На четвертый день болезни он снова зовет Мариллу и заводит речь о пианино. Тут же находятся и доктор Симпсон, и Бен, и миссис Бен, и все ухаживают за ним, кто как может.

— У меня бы здорово пошло по части музыки, — говорит дядюшка Кэл. — Я выбрал лучший инструмент, какой можно достать за деньги в Сан-Антонио. Ведь верно, Марилла, что пианино хорошее во всех отношениях?

— Оно просто совершенство, папочка, — говорит она. — Я в жизни не слышала такого прекрасного тона. А не лучше ли тебе соснуть, папочка?

— Нет, нет, — говорит дядюшка Кэл. — Я хочу послушать пианино. Мне кажется, что ты даже не прикасалась к клавишам. Я сам поехал в Сан-Антонио и сам выбрал его для тебя. На него ушла треть всей выручки от осенней стрижки. Но мне не жаль денег, лишь бы было удовольствие для моей милой девочки. Поиграй мне немножко, Марилла.

Доктор Симпсон поманил Мариллу в сторону и посоветовал ей исполнить желание дядюшки Кэла, чтобы он успокоился. И дядя Бен и его жена просили ее о том же.

— Почему бы тебе не отстукать одну-две песенки с глухой педалью? — спрашиваю я

Мариллу. — Дядюшка Кэл столько раз тебя просил. Ему будет здорово приятно послушать, как ты пересчитываешь клавиши на пианино, которое он купил для тебя. Почему бы не сыграть, в самом деле?

Но Марилла стоит и молчит, только слезы из глаз катятся. Потом она подсовывает руки под шею дядюшки Кэла и крепко его обнимает.

— Ну как же, папочка, — услышали мы ее голос, — вчера вечером я очень много играла. Честное слово... я играла. Такой это замечательный инструмент, что ты даже представить не можешь, как он мне нравится. Вчера вечером я играла «Бойни Дэнди», польку «Наковальня», «Голубой Дунай» и еще массу всяких вещиц. Хоть немножко, но ты, наверное, слышал, как я играла, ведь слышал, папочка? Мне не хотелось играть громко, пока ты болен.

— Возможно, возможно, — говорит дядюшка Кэл, — может быть, я и слышал. Может быть, слышал и забыл. Голова у меня какая-то дурная стала. Я слышал, хозяин магазина прекрасно играл на нем. Я очень рад, что тебе оно нравится, Марилла. Да, пожалуй, я сосну немного, если ты побудешь со мною.

Ну и задала же мне Марилла загадку. Так носилась она со своим стариком и вдруг не хочет выстучать ни одной нотки на пианино, которое он ей купил. Я не мог понять, зачем она сказала отцу, что играла, когда даже брезент не стаскивала с пианино с тех самых пор, как накрыла его в первый день. Я знал, что она хоть немножко да умеет играть, потому что слышал однажды, как она откалывала какую-то довольно приятную танцевальную музыку на старом пианино на ранчо Чарко Ларго.

Ну-с, примерно в неделю воспаление легких уходило дядюшку Кэла. Хоронили его в Бэрдстейле, и все мы отправились туда. Я привез Мариллу домой в своей тележке. Ее дядя Бен и его жена собирались побыть с ней несколько дней.

В тот вечер, когда все были на галерее, Марилла отвела меня в комнату, где стояло пианино.

— Поди сюда, Раш, — говорит она. — Я хочу тебе что-то показать.

Она развязывает веревку и сбрасывает брезент.

Если вы когда-нибудь ездили на седле без лошади, или стреляли из незаряженного ружья, или напивались из пустой бутылки, тогда, возможно, вам удалось бы извлечь оперу из инструмента, купленного дядюшкой Кэлом. Это было не пианино, а одна из тех машин, которые изобрели, чтобы при помощи их играть на пианино. Сама по себе она была так же музыкальна, как дырки флейты без флейты.

Вот какое пианино выбрал дядюшка Кэл. И возле него стояла добрая, чистая, как первосортная шерсть, девушка, которая так и не сказала ему об этом.

— А то, что вы сейчас слушали, — заключил мистер Кинни, — было исполнено этой самой подставной музыкальной машиной; только теперь она приткнута к пианино в шестьсот долларов, которое я купил Марилле, как только мы поженились.

По первому требованию

Перевод О. Холмской

В те дни скотоводы были помазанниками. Они были самодержцами стад, повелителями пастбищ, лордами лугов, грандами говядины. Они могли бы разъезжать в золотых каретах, если бы имели к этому склонность. Доллары сыпались на них дождем. Им даже казалось, что денег у них гораздо больше, чем прилично иметь человеку. Ибо после того, как скотовод покупал себе золотые часы с вделанными в крышку драгоценными камнями такой величины, что они натирали ему мозоли на ребрах, обзаводился калифорнийским седлом с серебряными гвоздиками и стремянами из ангорской кожи и ставил даровую выпивку в неограниченном количестве всем встречным и поперечным, — на что ему еще было тратить деньги?

Те герцоги лассо, у которых имелись жены, были не столь ограничены в своих

возможностях по части освобождения от излишков капитала. Созданный из адамова ребра пол на этот счет более изобретателен, и в груди его представительниц гений облегчения кошельков может дремать годами, не проявляясь за отсутствием случая, но никогда, о мои братья, никогда он не угасает совсем!

Вот как случилось, что Длинный Билл Лонгли, гонимый женой человек, покинул заросли чапаррала возле Бар-Серкл-Бранч на Фрио и прибыл в город, дабы вкусить от более утонченных радостей успеха. У него имелся капитал этак в полмиллиона долларов, и доходы его непрерывно возрастали.

Все свои ученые степени Длинный Билл получил в скотоводческом лагере и на степной тропе. Удача и бережливость, ясная голова и зоркий глаз на таящиеся в телке достоинства помогли ему подняться от простого ковбоя до хозяина стад. Потом начался бум в скотопромышленности, и Фортуна, осторожно пробираясь среди колючих кактусов, опорожнила рог изобилия на пороге его ранчо.

Лонгли построил себе роскошную виллу в маленьком западном городке Чаппарозе. И здесь он обратился в пленника, прикованного к колеснице светских обязанностей. Он обречен был стать столпом общества. Вначале он брыкался, как мустанг, впервые загнанный в корраль, потом со вздохом повесил на стену шпоры и арапник. Праздность тяготила его, время девать было некуда. Он организовал в Чаппарозе Первый Национальный банк и был избран его президентом.

Однажды в банке появился невзрачный человечек с геморроидальным цветом лица, в очках с толстыми стеклами, и просунул в окошечко главного бухгалтера служебного вида карточку. Через пять минут весь штат банка бегал и суетился, выполняя распоряжения ревизора, прибывшего для очередной ревизии.

Этот ревизор, мистер Дж. Эдгар Годд, оказался весьма дотошным.

Закончив свои труды, ревизор надел шляпу и зашел в личный кабинет президента банка, мистера Уильяма Р. Лонгли.

— Ну, как делишки? — лениво протянул Билл, умеряя свой низкий, раскатистый голос. — Высмотрели какое-нибудь тавро, которое вам не по вкусу?

— Отчетность банка в полном порядке, мистер Лонгли, — ответил ревизор. — И ссуды все оформлены согласно правилам, за одним исключением. Тут есть одна очень неприятная бумажка — настолько неприятная, что я думаю, вы просто не представляли себе, в какое тяжелое положение она вас ставит. Я имею в виду ссуду в десять тысяч долларов с уплатой по первому требованию, выданную вами некоему Томасу Мервину она не только превышает ту максимальную сумму, какую вы по закону имеете право выдавать частным лицам, но при ней нет ни поручительства, ни обеспечения. Таким образом, вы вдвойне нарушили правила о национальных банках и подлежите уголовной ответственности. Если я доложу об этом Главному контролеру, что я обязан сделать, он, без сомнения, передаст дело в департамент юстиции, и вас привлекут к суду. Положение, как видите, весьма серьезное.

Билл Лонгли сидел, откинувшись в своем вращающемся кресле, вытянув длинные ноги и сцепив руки на затылке. Не меняя позы, он слегка повернул кресло и поглядел ревизору в лицо. Тот с изумлением увидел, что жесткий рот банкира сложился в добродушную улыбку и в его голубых глазах блеснула насмешливая искорка. Если он и сознавал серьезность своего положения, по его виду это не было заметно.

— Ну да, конечно, — промолвил он с несколько даже снисходительным выражением, — вы ведь не знаете Томаса Мервина. Про эту ссуду мне все известно. Обеспечения при ней нет, только слово Тома Мервина. Но я уже давно заметил, что если на слово человека можно положиться, так это и есть самое верное обеспечение. Ну да, я знаю, правительство думает иначе. Придется мне, значит, повидать Тома Мервина насчет этой ссуды.

У ревизора стал такой вид, как будто его геморрой внезапно разыгрался. Он с изумлением воззрился на степного банкира сквозь свои толстые стекла.

— Видите ли, — благодушно продолжал Лонгли, не испытывая, видимо, и тени сомнения в убедительности своих аргументов, — Том прослышал, что на Рио-Гранде у

Каменного брода продается стадо двухлеток, две тысячи голов по восемь долларов за каждую. Я так думаю, что это старый Леандро Гарсиа перегнал их контрабандой через границу, ну и торопился сбыть с рук. А в Канзас-Сити этих коровок можно продать самое меньшее по пятнадцать долларов. Том это знал, и я тоже. У него наличных было шесть тысяч, ну я и дал ему еще десять, чтобы он мог обстряпать это дельце. Его брат Эд погнал все стадо на рынок еще три недели тому назад. Теперь уж вот-вот должен вернуться. Привезет деньги, и Том сейчас же заплатит.

Ревизор с трудом мог поверить своим ушам. По-настоящему, он должен был бы, услышав все это, немедленно пойти на почту и телеграфировать Главному контролеру. Но он этого не сделал. Вместо того он произнес прочувствованную и язвительную речь. Он говорил целых три минуты, и ему удалось довести банкира до сознания, что он стоит на краю гибели. А затем ревизор открыл перед ним узкую спасительную лазейку.

— Сегодня вечером я отправляюсь в Хиллдэл, — сказал он Биллу, — ревизовать тамошний банк. На обратном пути заеду в Чаппарозу. Завтра, ровно в двенадцать, буду у вас в банке. Если ссуда к тому времени будет уплачена, я не упомяну о ней в отчете. Если нет, я вынужден буду исполнить свой долг.

Засим ревизор раскланялся и удалился.

Президент Первого Национального банка еще с полчаса посидел развалившись в своем кресле, потом закурил легкую сигару и направился в контору Томаса Мервина.

Мервин, по внешности скотовод в парусиновых штанах, а по выражению глаз склонный к созерцательности философ, сидел, положив ноги на стол, и плел кнут из сыромятных ремней.

— Том, — сказал Лонгли, наваливаясь на стол, — есть какие-нибудь вести об Эде?

— Пока нету, — ответил Мервин, продолжая переплетать ремешки. — Денька через два-три, наверно, сам приедет.

— Сегодня у нас в банке был ревизор, — продолжал Билл. — Лазил по всем углам, как увидел твою расписку, так и встал на дыбы. Мы-то с тобой знаем, что тут все в порядке, но, черт его дери, все-таки это против банковских правил. Я рассчитывал, что ты успеешь заплатить до очередной ревизии, но этот сукин сын нагрязнул, когда его никто не ждал. У меня-то сейчас наличных, как на грех, ни цента, а то бы я сам за тебя заплатил. Он мне дал сроку до завтра; завтра, ровно в полдень, я должен либо выложить на стол деньги вместо этой расписки, либо...

— Либо что? — спросил Мервин, так как Билл запнулся.

— Да похоже, что тогда дядя Сэм лягнет меня обоими каблуками.

— Я постараюсь вовремя доставить тебе деньги, — ответил Мервин, не поднимая глаз от своих ремешков.

— Спасибо, Том, — сказал Лонгли, поворачиваясь к двери. — Я знал, что ты сделаешь все, что возможно.

Мервин швырнул на пол свой кнут и пошел в другой банк, имевшийся в городе. Это был частный банк Купера и Крэга.

— Купер, — сказал Мервин тому из компаньонов, который носил это имя, — мне нужно десять тысяч долларов. Сегодня или, самое позднее, завтра утром. У меня здесь есть дом и участок земли стоимостью в шесть тысяч долларов. Вот пока что все мои обеспечения. Но у меня на мази одно дельце, которое через несколько дней принесет вдвое больше.

Купер начал покашливать.

— Только, ради бога, не отказывайте, — сказал Мервин. — Я, понимаете ли, взял ссуду на десять тысяч. С уплатой по первому требованию. Ну и вот ее потребовали. А с этим человеком, что ее потребовал, я десять лет спал под одним одеялом у костра в лагерях и на степных дорогах. Он может потребовать все, что у меня есть, и я отдам. Скажет — дай всю кровь, что есть у тебя в жилах, и ему не будет отказа. Ему до зарезу нужны эти деньги. Он попал в чертовский... Ну, одним словом, ему нужны деньги, и я должен их достать. Вы же знаете, Купер, что на мое слово можно положиться.

— Безусловно, — с изысканной любезностью ответил Купер. — Но у меня есть

компаньон. Я не волен сам распоряжаться ссудами. А кроме того, будь у вас даже самые верные обеспечения, мы все равно не могли бы предоставить вам ссуду раньше чем через неделю. Как раз сегодня мы отправляем пятнадцать тысяч долларов братьям Майерс в Рокделл для закупки хлопка. Посыльный с деньгами выезжает сегодня вечером по узкоколейке. Так что временно наша касса пуста. Очень сожалею, что ничем не можем вам служить.

Мервин вернулся к себе, в маленькую, спартански обставленную контору, и снова принялся плести свой кнут. В четыре часа дня он зашел в Первый Национальный банк и оперся о барьер перед столом Билла Лонгли.

— Постараюсь, Билл, достать тебе эти деньги сегодня вечером, то есть я хочу сказать, завтра утром.

— Хорошо, Том, — спокойно ответил Лонгли.

В девять часов вечера Том Мервин крадучись вышел из своего бревенчатого домика. Дом стоял на окраине города, и в такой час здесь редко кого можно было встретить. На голове у Мервина была шляпа с опущенными полями, за поясом два шестизарядных револьвера. Он быстро прошел по пустынной улице и двинулся дальше по песчаной дороге, тянувшейся вдоль полотна узкоколейки. В двух милях от города, у большой цистерны, где поезда брали воду, он остановился, обвязал нижнюю часть лица черным шелковым платком и надвинул шляпу на лоб.

Через десять минут вечерний поезд из Чаппарозы на Рокделл замедлил ход возле цистерны.

Держа в каждой руке по револьверу, Мервин выбежал из-за кустов и устремился к паровозу. Но в ту же минуту две длинных, могучих руки обхватили его сзади, приподняли над землей и кинули ничком в траву. В спину ему уперлось тяжелое колено, железные пальцы стиснули его запястья. Так его держали, словно малого ребенка, пока машинист не набрал воду и поезд, все убыстряя ход, не исчез вдаль. Тогда его отпустили, и, поднявшись на ноги, он увидел перед собой Билла Лонгли.

— Это уж, Том, больше, чем требуется, — сказал Лонгли. — Я вечером встретил Купера, и он рассказал мне, о чем вы с ним говорили. Тогда я пошел к тебе и вдруг вижу, ты куда-то катишь, с пистолетами. Ну, я тебя и выследил. Идем-ка домой.

Они повернулись и рядышком пошли к городу.

— Я ничего другого не мог придумать, — помолчав, сказал Том. — Ты потребовал свою ссуду — и я старался выполнить обязательство. Но как же теперь, Билл? Что ты станешь делать, если тебя завтра цапнут?

— А что бы ты стал делать, если бы тебя сегодня цапнули? — осведомился Лонгли.

— Вот уж не думал, что буду когда-нибудь лежать в кустах и подкарауливать поезд, — задумчиво промолвил Мервин. — Но ссуда с возвратом по первому требованию — это дело совсем особое. Дал слово — значит, свято. Слушай, Билл, у нас еще двенадцать часов впереди, пока этот шпик на тебя насядет. Надо во что бы то ни стало раздобыть деньги. Не попробовать ли... Батюшки! Голубчики! Том! Слышишь?..

Мервин пустился бежать со всех ног, и Лонгли за ним, хотя ничего как будто не произошло — только откуда-то из темноты доносился не лишенный приятности свист: кто-то старательно насвистывал меланхолическую песенку «Жалоба ковбоя».

— Он только ее одну и знает, — крикнул на бегу Мервин. — Держу пари...

Они уже были у крыльца. Том ударом ноги распахнул дверь и споткнулся о старый чемодан, валявшийся посреди комнаты. На кровати лежал загорелый молодой человек с квадратным подбородком, весь в дорожной пыли, и попыхивал коричневой самокруткой.

— Ну как, Эд? — задыхаясь, воскликнул Мервин.

— Да так, ничего себе, — лениво ответил этот деловитый юноша. — Только сейчас приехал, в девять тридцать. Сбыл всех подчистую. По пятнадцать долларов. Э, да перестаньте же пинать ногами мой чемодан! В нем зелененьких на двадцать девять тысяч, можно бы, кажется, обращаться с ним поделикатнее!

Принцесса и пума

Перевод М. Урнова

Разумеется, не обошлось без короля и королевы. Король был страшным стариком; он носил шестизарядные револьверы и шпоры и орал таким зычным голосом, что гремучие змеи прерий спешили спрятаться в свои норы под кактусами. До коронации его звали Бен Шептун. Когда же он обзавелся пятьюдесятью тысячами акров земли и таким количеством скота, что сам потерял ему счет, его стали звать О'Доннел, король скота.

Королева была мексиканка из Ларедо. Из нее вышла хорошая, кроткая жена, и ей даже удалось научить Бена настолько умерять голос в стенах своего дома, что от звука его не разбивалась посуда. Когда Бен стал королем, она полюбила сидеть на галерее ранчо Эспиноза и плести тростниковые циновки. А когда богатство стало настолько непреодолимым и угнетающим, что из Сан-Антонио в фургонах привезли мягкие кресла и круглый стол, она склонила темноволосую голову и разделила судьбу Данаи.⁴⁴

Во избежание *lese majeste*⁴⁵ вас сначала представили королю и королеве. Но они не играют никакой роли в этом рассказе, который можно назвать «Повестью о том, как принцесса не растерялась и как лев свалил дурака».

Принцессой была здравствующая королевская дочь Жозефа О'Доннел. От матери она унаследовала доброе сердце и смуглую субтропическую красоту. От его величества Бена О'Доннела она получила запас бесстрашия, здравый смысл и способность управлять людьми. Стоило приехать издалека, чтобы посмотреть на такое сочетание. На всем скаку Жозефа могла всадить пять пуль из шести в жестянку из-под помидоров, вертящуюся на конце веревки. Она могла часами играть со своим белым котенком, наряжая его в самые нелепые костюмы. Презирая карандаш, она могла высчитать в уме, сколько барыша принесут тысяча пятьсот сорок пять двухлеток, если продать их по восемь долларов пятьдесят центов за голову. Ранчо Эспиноза имеет около сорока миль в длину и тридцати в ширину — правда, большей частью арендованной земли. Жозефа обследовала каждую ее милю верхом на своей лошади. Все ковбои на этом пространстве знали ее в лицо и были ее верными вассалами. Рипли Гивнс, старший одной из ковбойских партий Эспинозы, увидел ее однажды и тут же решил породниться с королевской фамилией. Самонадеянность? О нет. В те времена на землях Нуэсес мужчина был мужчиной. И в конце концов титул «короля скота» вовсе не предполагает королевской крови. Часто он означает только, что его обладатель носит корону в знак своих блестящих способностей по части кражи скота.

Однажды Рипли Гивнс поехал верхом на ранчо «Два Вяза» справиться о пропавших однолетках. В обратный путь он тронулся поздно, и солнце уже садилось, когда он достиг переправы Белой Лошади на реке Нуэсес. От переправы до его лагеря было шестнадцать миль. До усадьбы ранчо Эспиноза — двенадцать. Гивнс утомился. Он решил заночевать у переправы.

Река в этом месте образовала красивую заводь. Берега густо поросли большими деревьями и кустарником. В пятидесяти ярдах от заводи поляну покрывала курчавая мескитовая трава — ужин для коня и постель для всадника. Гивнс привязал лошадь и разложил потники для просушки. Он сел, прислонившись к дереву, и свернул папиросу. Из зарослей, окаймлявших реку, вдруг донесся яростный, раскатистый рев. Лошадь заплясала на привязи и зафыркала, почуяв опасность. Гивнс, продолжая попыхивать папироской, не спеша поднял с земли свой пояс и на всякий случай повернул барабан револьвера. Большая щука громко

⁴⁴ Даная (*греч. миф.*) — возлюбленная бога Зевса, который явился к ней в образе золотого дождя.

⁴⁵ Оскорбление величества (*фр.*).

плеснула в заводи. Маленький бурый кролик обскакал куст «кошачьей лапки» и сел, поводя усами и насмешливо поглядывая на Гивнса. Лошадь снова принялась щипать траву.

Когда на закате солнца мексиканский лев поет сопрано у реки, меры предосторожности нелишни. Может быть, его песня говорит о том, что молодые телята и жирные барашки попадают редко и что он горит плотоядным желанием познакомиться с вами.

В траве валялась пустая жестянка из-под фруктовых консервов, брошенная здесь каким-нибудь путником. Увидев ее, Гивнс крикнул от удовольствия. В кармане его куртки, привязанной к седлу, было немного молотого кофе. Черный кофе и папиросы! Чего еще надо ковбою?

В две минуты Гивнс развел небольшой веселый костер. Он взял жестянку и пошел к заводи. Не доходя пятнадцати шагов до берега, он увидел слева от себя лошадь под дамским седлом, щипавшую траву. А у самой воды поднималась с колен Жозефа О'Доннел. Она только что напилась и теперь отряхивала с ладоней песок. В десяти ярдах справа от нее Гивнс увидел мексиканского льва, полускрытого ветвями саквисты. Его янтарные глаза сверкали голодным огнем; в шести футах от них виднелся кончик хвоста, вытянутого прямо, как у пойнера. Зверь чуть раскачивался на задних лапах, как все представители кошачьей породы перед прыжком.

Гивнс сделал, что мог. Его револьвер валялся в траве, до него было тридцать пять ярдов. С громким воплем Гивнс кинулся между львом и принцессой.

Схватка, как впоследствии рассказывал Гивнс, вышла короткая и несколько беспорядочная. Прибыв на место атаки, Гивнс увидел в воздухе дымную полосу и услышал два негромких выстрела. Затем сто фунтов мексиканского льва шлепнулись ему на голову и тяжелым ударом придавили его к земле. Он помнит, как закричал: «Отпусти, это не по правилам!», потом выполз из-под пумы, как червяк, на затылке в том месте, которым он стукнулся о корень вяза. Лев лежал неподвижно. Раздосадованный Гивнс, заподозрив подвох, погрозил ему кулаком и крикнул: «Подожди, я с тобой еще...» — и тут пришел в себя.

Жозефа стояла на прежнем месте, спокойно перезаряжая тридцативосьмикалиберный револьвер, украшенный серебром. Особенной меткости ей на этот раз не потребовалось: голова зверя представляла собою куда более легкую мишень, чем жестянка из-под томатов, вертящаяся на конце веревки. На губах девушки и в темных глазах играла вызывающая улыбка. Незадачливый рыцарь-избавитель почувствовал, как фиаско огнем жжет его сердце. Вот где ему представился случай, о котором он так мечтал, но все произошло под знаком Момуса, а не Купидона. Сатиры в лесу уж, наверно, держались за бока, заливаясь озорным беззвучным смехом. Разыгралось нечто вроде водевиля «Сеньор Гивнс и его забавный поединок с чучелом льва».

— Это вы, мистер Гивнс? — сказала Жозефа своим медлительным томным контральто. — Вы чуть не испортили мне выстрела своим криком. Вы не ушибли себе голову, когда упали?

— О нет, — спокойно ответил Гивнс. — Это-то было совсем не больно.

Он нагнулся, придавленный стыдом, и вытащил из-под зверя свою прекрасную шляпу. Она была так смята и истерзана, словно ее специально готовили для комического номера. Потом он стал на колени и нежно погладил свирепую, с открытой пастью голову мертвого льва.

— Бедный старый Билл! — горестно воскликнул он.

— Что такое? — резко спросила Жозефа.

— Вы, конечно, не знали, мисс Жозефа, — сказал Гивнс с видом человека, в сердце которого великодушие берет верх над горем. — Вы не виноваты. Я пытался спасти его, но не успел предупредить вас.

— Кого спасти?

— Да Билла. Я весь день искал его. Ведь он два года был общим любимцем у нас в лагере. Бедный старик! Он бы и кролика не обидел. Ребята просто с ума сойдут, когда услышат. Но вы-то не знали, что он хотел просто поиграть с вами.

Черные глаза Жозефы упорно жгли его. Рипли Гивнс выдержал испытание. Он стоял и

задумчиво ерошил свои темно-русые кудри. В глазах его была скорбь с примесью нежного укора. Приятные черты его лица явно выражали печаль. Жозефа дрогнула.

— Что же делал здесь ваш любимец? — спросила она, пуская в ход последний довод. — У переправы Белой Лошади нет никакого лагеря.

— Этот разбойник еще вчера удрал из лагеря, — без запинки ответил Гивнс. — Удивляться приходится, как его до смерти не напугали койоты. Понимаете, на прошлой неделе Джим Уэбстер, наш конюх, привез в лагерь маленького щенка терьера. Этот щенок буквально отравил Биллу жизнь: он гонял его по всему лагерю, часами жевал его задние лапы. Каждую ночь, когда ложились спать, Билл забирался под одеяло к кому-нибудь из ребят и спал там, скрываясь от щенка. Видно, его довели до отчаяния, а то бы он не сбежал. Он всегда боялся отходить далеко от лагеря.

Жозефа посмотрела на труп свирепого зверя. Гивнс ласково похлопал его по страшной лапе, одного удара которой хватило бы, чтобы убить годовалого теленка. По оливковому лицу девушки разлился яркий румянец. Был ли то признак стыда, какой испытывает настоящий охотник, убив недостойную дичь? Взгляд ее смягчился, опущенные ресницы смахнули с глаз веселую насмешку.

— Мне очень жаль, — сказала она, — но он был такой большой и прыгнул так высоко, что...

— Бедняга Билл проголодался, — перебил ее Гивнс, спеша заступиться за покойника. — Мы в лагере всегда заставляли его прыгать, когда кормили. Чтобы получить кусок мяса, он ложился и катался по земле. Увидев вас, он подумал, что вы ему дадите поесть.

Вдруг глаза Жозефы широко раскрылись.

— Ведь я могла застрелить вас! — воскликнула она. — Вы бросились как раз между нами. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти своего любимца! Это замечательно, мистер Гивнс. Мне нравятся люди, которые любят животных.

Да, сейчас в ее взгляде было даже восхищение. В конце концов из руин позорной развязки родился герой. Выражение лица Гивнса обеспечило бы ему высокое положение в Обществе покровительства животным.

— Я их всегда любил, — сказал он, — лошадей, собак, мексиканских львов, коров, аллигаторов...

— Ненавижу аллигаторов! — быстро возразила Жозефа. — Ползучие, грязные твари!

— Разве я сказал «аллигаторов»? — поправился Гивнс. — Я, конечно, имел в виду антилоп.

Совість Жозефы заставила ее пойти еще дальше. Она с видом раскаяния протянула руку. В глазах ее блестели непролитые слезинки.

— Пожалуйста, простите меня, мистер Гивнс. Ведь я женщина и сначала, естественно, испугалась. Мне очень, очень жаль, что я застрелила Билла. Вы представить себе не можете, как мне стыдно. Я ни за что не сделала бы этого, если бы знала.

Гивнс взял протянутую руку. Он держал ее до тех пор, пока его великодушие не победило скорбь об утраченном Билле. Наконец стало ясно, что он простил ее.

— Прошу вас, не говорите больше об этом, мисс Жозефа. Билл своим видом мог напугать любую девушку. Я уж как-нибудь объясню всем ребятам.

— Правда? И вы не будете меня ненавидеть? — Жозефа доверчиво придвинулась ближе к нему. Глаза ее глядели ласково, очень ласково, и в них была пленительная мольба. — Я возненавидела бы всякого, кто убил бы моего котенка. И как смело и благородно с вашей стороны, что вы пытались спасти его с риском для жизни! Очень, очень немногие поступили бы так!

Победа, вырванная из поражения! Водевиль, обернувшийся драмой! Bravo, Рипли Гивнс!

Спустились сумерки. Конечно, нельзя было допустить, чтобы мисс Жозефа ехала в усадьбу одна. Гивнс опять оседлал своего коня, несмотря на его укоризненные взгляды, и поехал с нею. Они скакали рядом по мягкой траве — принцесса и человек, который любил животных. Запахи прерии — запахи плодородной земли и прекрасных цветов — окутывали

их сладкими волнами. Вдали на холме затыкали койоты. Бояться нечего! И все же...

Жозефа подъехала ближе. Маленькая ручка словно что-то искала. Гивнс накрыл ее своей. Лошади шли нога в ногу. Руки медленно сомкнулись, и обладательница одной из них заговорила.

— Я никогда раньше не пугалась, — сказала Жозефа, — но вы подумайте, как страшно было бы встретиться с настоящим диким львом! Бедный Билл! Я так рада, что вы поехали со мной!..

О'Доннел сидел на галерее.

— Алло, Рип! — гаркнул он. — Это ты?

— Он провожал меня, — сказала Жозефа. — Я сбилась с дороги и запоздала.

— Премного обязан, — возгласил король скота. — Заночуй, Рип, а в лагерь поедешь завтра.

Но Гивнс не захотел остаться. Он решил ехать дальше, в лагерь. На рассвете нужно было отправить гурт быков. Он простился и поскакал.

Час спустя, когда погасли огни, Жозефа в ночной сорочке подошла к своей двери и крикнула королю через выложенный кирпичом коридор:

— Слушай, пап, ты помнишь этого мексиканского льва, которого прозвали «Жорноухий дьявол»? Того, что задрал Гонсалеса, овечьего пастуха мистера Мартина, и с полсотни телят на ранчо Салада? Так вот, я разделалась с ним сегодня у переправы Белой Лошади. Он прыгнул, а я всадила ему две пули из моего тридцативосьмикалиберного. Я узнала его по левому уху, которое старик Гонсалес изуродовал ему своим мачете. Ты сам не сделал бы лучшего выстрела, папа.

— Ты у меня молодчина! — прогремел Бен Шептун из мрака королевской опочивальни.

Бабье лето Джонсона Сухого Лога

Перевод О. Холмской

Джонсон Сухой Лог встряхнул бутылку. Полагалось перед употреблением взбалтывать, так как сера не растворяется. Затем Сухой Лог смочил маленькую губку и принялся втирать жидкость в кожу на голове у корней волос. Кроме серы, в состав входил еще уксуснокислый свинец, настойка стрихнина и лавровишневая вода. Сухой Лог вычитал этот рецепт из воскресной газеты. А теперь надо объяснить, как случилось, что сильный мужчина пал жертвой косметики.

В недавнем прошлом Сухой Лог был овцеводом. При рождении он получил имя Гектор, но впоследствии его переименовали по его ранчо, в отличие от другого Джонсона, который разводил овец ниже по течению Фрио и назывался Джонсон Ильмовый Ручей.

Жизнь в обществе овец и по их обычаям под конец прискучила Джонсону Сухому Логу. Тогда он продал свое ранчо за восемнадцать тысяч долларов, перебрался в Санта-Розу и стал вести праздный образ жизни, как подобает человеку со средствами. Ему было лет тридцать пять или тридцать восемь, он был молчалив и склонен к меланхолии, и очень скоро из него выработался законченный тип самой скучной и удручающей человеческой породы — пожилой холостяк с любимым коньком. Кто-то угостил его клубникой, которой он до тех пор никогда не пробовал, — и Сухой Лог погиб.

Он купил в Санта-Розе домишко из четырех комнат и набил шкафы руководствами по выращиванию клубники. Позади дома был сад; Сухой Лог пустил его весь под клубничные грядки. Там он и проводил свои дни; одетый в старую, серую шерстяную рубашку, штаны из коричневой парусины и сапоги с высокими каблуками, он с утра до ночи валялся на раскладной койке под виргинским дубом возле кухонного крыльца и штудировал историю полонившей его сердце пурпуровой ягоды.

Учительница в тамошней школе, мисс Де Витт, находила, что Джонсон «хотя и не молод,

однако еще весьма представительный мужчина». Но женщины не привлекали взоров Сухого Лога. Для него они были существа в юбках — не больше; и, завидев развевающийся подол, он неуклюже приподнимал над головой тяжелую, широкополую поярковую шляпу и проходил мимо, спеша вернуться к своей возлюбленной клубнике.

Все это вступление, подобно хорам в древнегреческих трагедиях, имеет единственной целью подвести вас к тому моменту, когда уже можно будет сказать, почему Сухой Лог встряхивал бутылку с нерастворяющейся серой. Такое уж неторопливое и не прямое дело — история; изломанная тень от верстового столба, лежащая на дороге, по которой мы стремимся к закату.

Когда клубника начала поспевать, Сухой Лог купил самый тяжелый кучерской кнут, какой нашелся в деревенской лавке. Не один час провел он под виргинским дубом, сплетая в жгут тонкие ремешки и приращивая к своему кнуту конец, пока в руках у него не оказался бич такой длины, что им можно было сбить листок с дерева на расстоянии двадцати футов. Ибо сверкающие глаза юных обитателей Санта-Розы давно уже следили за созреванием клубники, и Сухой Лог вооружался против ожидаемых набегов. Не так он лелеял новорожденных ягнят в свои овцеводческие дни, как теперь свои драгоценные ягоды, охраняя их от голодных волков, которые свистали, орали, играли в шарики и запускали хищные взгляды сквозь изгородь, окружавшую владения Сухого Лога.

В соседнем доме проживала вдова с многочисленным потомством — его-то главным образом и опасался наш садовод. В жилах вдовы текла испанская кровь, а замуж она вышла за человека по фамилии О'Брайан. Сухой Лог был знатоком по части скрещивания пород и предвидел большие неприятности от отпрысков этого союза.

Сады разделяла шаткая изгородь, увитая вьюнком и плетями дикой тыквы. И часто Сухой Лог видел, как в просветы между кольями просовывалась то одна, то другая маленькая голова с копной черных волос и горящими черными глазами, ведя счет краснеющим ягодам. Однажды под вечер Сухой Лог отправился на почту. Вернувшись, он увидел, что сбылись худшие его опасения. Потомки испанских бандитов и ирландских угонщиков скота всей шайкой учинили налет на клубничные плантации. Оскорбленному взору Сухого Лога представилось, что их там полным-полно, как овец в загоне; на самом деле их было пятеро или шестеро. Они сидели на корточках между грядками, перепрыгивали с места на место, как жабы, и молча и торопливо пожирали отборные ягоды.

Сухой Лог неслышно отступил в дом, захватил свой кнут и ринулся в атаку на мародеров. Они и оглянуться не успели, как ременный бич обвился вокруг ног десятилетнего грабителя, орудовавшего ближе всех к дому. Его пронзительный визг послужил сигналом тревоги — все кинулись к изгороди, как вспугнутый в чапарале выводок кабанов. Бич Сухого Лога исторг у них на пути еще несколько демонских воплей, а затем они нырнули под обвитые зеленью жерди и исчезли.

Сухой Лог, не столь легкий на ногу, преследовал их до самой изгороди, но где же их поймать! Прекратив бесцельную погоню, он вышел из-за кустов — и вдруг выронил кнут и застыл на месте, утратив дар слова и движения, ибо все наличные силы его организма ушли в этот миг на то, чтобы кое-как дышать и сохранять равновесие.

За кустом стояла Панчита О'Брайан, старшая из грабителей, не удостоившая обратиться в бегство. Ей было девятнадцать лет; черные как ночь кудри спутанным ворохом спадали ей на спину, перехваченные алой лентой. Она ступила уже на грань, отделяющую ребенка от женщины, но медлила ее перешагнуть; детство еще обнимало ее и не хотело выпустить из своих объятий. Секунду она с невозмутимой дерзостью смотрела на Сухого Лога, затем у него на глазах прикусила белыми зубами сочную ягоду и не спеша разжевала. Затем повернулась и медленной, плавной походкой величественно направилась к изгороди, словно вышедшая на прогулку герцогиня. Тут она опять повернулась, обожгла еще раз Сухого Лога темным пламенем своих нахальных глаз, хихикнула, как школьница, и гибким движением, словно пантера, проскользнула между кольями на ту сторону цветущей изгороди.

Сухой Лог поднял с земли свой кнут и побрел к дому. На кухонном крыльце он

споткнулся, хотя ступенек было всего две. Старуха мексиканка, приходившая убирать и стряпать, позвала его ужинать. Не отвечая, он прошел через кухню потом через комнаты, споткнулся на ступеньках парадного крыльца, вышел на улицу и побрел к мескитовой рощице на краю деревни. Там он сел на землю и принялся аккуратно ошипывать колючки с куста опунции. Так он всегда делал в минуты раздумья, усвоив эту привычку еще в те дни, когда единственным предметом его размышлений был ветер, вода и шерсть.

С Сухим Логомстряслась беда — такая беда, что я советую вам, если вы хоть сколько-нибудь годитесь еще в женихи, помолиться Богу, чтобы она вас миновала. На него накатило бабье лето.

Сухой Лог не знал молодости. Даже в детстве он был на редкость серьезным и степенным. Шести лет он с молчаливым неодобрением взирал на легкомысленные прыжки ягнят, резвившихся на лугах отцовского ранчо. Годы юности он потратил зря. Божественное пламя, сжигающее сердце, ликующая радость и бездонное отчаяние, все порывы, восторги, муки и блаженства юности прошли мимо него. Страсти Ромео никогда не волновали его грудь; он был меланхолическим Жаком — но с более суровой философией, ибо ее не смягчала горькая сладость воспоминаний, скрашивавших одинокие дни арденнского отшельника.⁴⁶ А теперь, когда на Сухого Лога уже дышала осень, один-единственный презрительный взгляд черных очей Панчиты О'Брайан овеял его вдруг запоздалым и обманчивым летним теплом.

Но овцевод — упрямое животное. Сухой Лог столько перенес зимних бурь, что не согласен был теперь отвернуться от погожего летнего дня, мнимого или настоящего. Слишком стар? Ну, это еще посмотрим.

Со следующей почтой в Сан-Антонио был послан заказ на мужской костюм по последней моде со всеми принадлежностями: цвет и покрой по усмотрению фирмы, цена безразлична. На другой день туда же отправился рецепт восстановителя для волос, вырезанный из воскресной газеты, ибо выгоревшая на солнце рыжевато-каштановая шевелюра Сухого Лога начинала уже серебриться на висках.

Целую неделю Сухой Лог просидел дома, не считая частых вылазок против юных расхитителей клубники. А затем, по прошествии еще нескольких дней, он внезапно предстал изумленным взглядам обитателей Санта-Розы во всем горячечном блеске своего осеннего безумия.

Ярко-синий фланелевый костюм облегал его с головы до пят. Из-под него выглядывала рубашка цвета бычьей крови и высокий воротничок с отворотами; пестрый галстук развевался как знамя. Ядовито-желтые ботинки с острыми носами сжимали, как в тисках, его ноги. Крошечное канотье с полосатой лентой оскверняло закаленную в бурях голову. Лимонного цвета лайковые перчатки защищали жесткие, как древесина, руки от кротких лучей майского солнца. Эта поражающая взор и возмущающая разум фигура, прихрамывая и разглаживая перчатки, выползла из своего логова и остановилась посреди улицы с идиотической улыбкой на устах, пугая людей и заставляя ангелов отворачивать лицо свое. Вот до чего довел Сухого Лога Купидон, который, когда случается ему стрелять свою дичь вне сезона, всегда заимствует для этого стрелу из колчана Момуса. Выворачивая мифологию наизнанку, он восстал, как отливающий всеми цветами радуги попугай, из пепла серо-коричневого феникса, сложившего усталые крылья на своем насесте под деревьями Санта-Розы.

Сухой Лог постоял на улице, давая время соседям вдоволь на себя налюбоваться, затем, бережно ступая, как того требовали его ботинки, торжественно прошествовал в калитку миссис О'Брайан.

Об ухаживании Сухого Лога за Панчитой О'Брайан в Санта-Розе судачили, не покладая языков, до тех пор, пока одиннадцатимесячная засуха не вытеснила эту тему. Да и как было о нем не говорить: это было никем дотоле не виданное и не поддающееся никакой классификации явление — нечто среднее между кек-уоком, красноречием глухонемых,

⁴⁶ Речь идет о персонаже комедии Шекспира «Как это вам понравится».

флиртом с помощью почтовых марок и живыми картинами. Оно продолжалось две недели, затем неожиданно кончилось.

Миссис О'Брайан, само собой разумеется, благосклонно отнеслась к сватовству Сухого Лога, когда он открыл ей свои намерения. Будучи матерью ребенка женского пола, а стало быть, одним из членов-учредителей Древнего Ордена Мышеловки, она с восторгом принялась убирать Панчиту для жертвоприношения. Ей удлиннили платья, а непокорные кудри уложили в прическу — Панчите даже стало казаться, что она и в самом деле взрослая. К тому же приятно было думать, что вот за ней ухаживает настоящий мужчина, человек с положением и завидный жених, и чувствовать, что, когда они вместе идут по улице, все остальные девушки провожают их взглядом, прячась за занавесками.

Сухой Лог купил в Сан-Антонио кабриолет с желтыми колесами и отличного рысака. Каждый день он возил Панчиту кататься, но ни разу никто не видал, чтобы Сухой Лог при этом разговаривал со своей спутницей. Столь же молчалив бывал он и во время пешеходных прогулок. Мысль о своем костюме повергала его в смущение; уверенность, что он не может сказать ничего интересного, замыкала ему уста; близость Панчиты наполняла его немым блаженством.

Он водил ее на вечеринки, на танцы и в церковь. Он старался быть молодым — от сотворения мира никто, наверно, не тратил на это столько усилий. Танцевать он не умел, но он сочинил себе улыбку и надевал ее на лицо во всех случаях, когда полагалось веселиться, — и это было для него таким проявлением резвости, как для другого — пройтись колесом. Он стал искать общества молодых людей, даже мальчиков — и действовал на них как ушат холодной воды; от его потуг на игривость им становилось не по себе, как будто им предлагали играть в чехарду в соборе. Насколько он преуспел в своих стараниях завоевать сердце Панчиты, этого ни он сам и никто другой не мог бы сказать.

Конец наступил внезапно — как разом меркнет призрачный отблеск вечерней зари, когда дохнет ноябрьский ветер, несущий дождь и холод.

В шесть часов вечера Сухой Лог должен был зайти за Панчитой и повести ее на прогулку. Вечерняя прогулка в Санта-Розе — это такое событие, что являться на нее надо в полном параде. И Сухой Лог загодя начал облачаться в свой ослепительный костюм. Начав рано, он рано и кончил и не спеша направился в дом О'Брайанов. Дорожка шла к крыльцу не прямо, а делала поворот, и, пока Сухой Лог огибал куст жимолости, до его ушей донеслись звуки буйного веселья. Он остановился и заглянул сквозь листву в распахнутую дверь дома.

Панчита потешала своих младших братьев и сестер. На ней был пиджак и брюки, должно быть, некогда принадлежавшие покойному мистеру О'Брайану. На голове торчком сидела соломенная шляпа самого маленького из братьев, с бумажной лентой в чернильных полосках. На руках болтались желтые коленкоровые перчатки, специально скроенные и сшитые для этого случая. Туфли были обернуты той же материей, так что могли, пожалуй, сойти за ботинки из желтой кожи. Высокий воротничок и развевающийся галстук тоже не были забыты.

Панчита была прирожденной актрисой. Сухой Лог узнал свою нарочито юношескую походку с прихрамыванием на правую ногу, натертую тесным башмаком, свою принужденную улыбку, свои неуклюжие попытки играть роль галантного кавалера — все было передано с поразительной верностью. Впервые Сухой Лог увидел себя со стороны, словно ему поднесли вдруг зеркало. И совсем не нужно было подтверждение, которое не замедлило последовать. «Мама, иди посмотри, как Панчита представляет мистера Джонсона!» — закричал один из малышей.

Так тихо, как только позволяли осмеянные желтые ботинки, Сухой Лог повернулся и на цыпочках пошел обратно к калитке, а затем к себе домой.

Через двадцать минут после назначенного для прогулки часа Панчита в батистовом белом платье и плоской соломенной шляпе чинно вышла из своей калитки и проследовала далее по тротуару. У соседнего дома она замедлила шаги, всем своим видом выражая удивление по поводу столь необычной неаккуратности своего кавалера.

Тогда дверь в доме Сухого Лога распахнулась, и он сам сошел с крыльца — не

раскрашенный во все цвета спектра охотник за улетевшим летом, а восстановленный в правах овцевод. На нем была серая шерстяная рубашка, раскрытая у ворота, штаны из коричневой парусины, заправленные в высокие сапоги, и сдвинутое на затылок белое сомбреро. Двадцать лет ему можно было дать или пятьдесят — это уже не заботило Сухого Лога. Когда его бледно-голубые глаза встретились с темным взором Панчиты, в них появился ледяной блеск. Он подошел к калитке — и остановился. Длинной своей рукой он показал на дом О'Брайанов.

— Ступай домой, — сказал он. — Домой, к маме. Надо же быть таким дураком! Как еще меня земля терпит! Иди себе, играй в песочек. Нечего тебе вертеться около взрослых мужчин. Где был мой рассудок, когда я строил из себя попугая на потеху такой девчонке! Ступай домой и чтобы я больше тебя не видел. Зачем я все это проделывал, хоть бы кто-нибудь мне объяснил! Ступай домой, а я постараюсь про все это забыть.

Панчита повиновалась и, не говоря ни слова, медленно пошла к своему дому. Но идя, она все время оборачивалась назад, и ее большие бесстрашные глаза не отрывались от Сухого Лога. У калитки она постояла с минуту, все так же глядя на него, потом вдруг повернулась и быстро вбежала в дом.

Старуха Антония растапливала плиту в кухне. Сухой Лог остановился в дверях и жестко рассмеялся.

— Ну разве не смешно? — сказал он. — А, Тония? Этаким старый носорог и втюрился в девчонку.

Антония кивнула.

— Нехорошо, — глубокомысленно заметила она, — когда чересчур старый любит миссача.

— Что уж хорошего, — мрачно отозвался Сухой Лог. — Дурость и больше ничего. И вдобавок от этого очень больно.

Он сгреб в охапку все атрибуты своего безумия — синий костюм, ботинки, перчатки, шляпу — и свалил их на пол у ног Антонии.

— Отдай своему старику, — сказал он. — Пусть в них охотится на антилопу.

Когда первая звезда слабо затеплилась на вечернем небе, Сухой Лог достал свое самое толстое руководство по выращиванию клубники и уселся на крылечке почитать, пока еще светло. Тут ему показалось, что на клубничных грядках маячит какая-то фигура. Он отложил книгу, взял кнут и отправился на разведку.

Это была Панчита. Она незаметно проскользнула сквозь изгородь и успела уже дойти до середины сада. Увидев Сухого Лога, она остановилась и обратила к нему бестрепетный взгляд.

Слепая ярость овладела Сухим Логом. Сознание своего позора переродилось в неудержимый гнев. Ради этого ребенка он выставил себя на посмешище. Он пытался подкупить время, чтобы оно, ради его прихоти, обратилось вспять — и над ним надсмеялись. Но теперь он понял свое безумие. Между ним и юностью лежала пропасть, через которую нельзя было построить мост — даже если надеть для этого желтые перчатки. И при виде этой мучительницы, явившейся донимать его новыми проказами, словно озорной мальчишка, злоба наполнила душу Сухого Лога.

— Сказано тебе, не смей сюда ходить! — крикнул он. — Ступай домой!

Панчита подошла ближе. Сухой Лог щелкнул бичом.

— Ступай домой! — грозно повторил он. — Можешь там разыгрывать свои комедии. Из тебя вышел бы недурной мужчина. Из меня ты сделала такого, что лучше не придумать!

Она подвинулась еще ближе — молча, с тем странным, дразнящим, таинственным блеском в глазах, который всегда так смущал Сухого Лога. Теперь он пробудил в нем бешенство.

Бич свистнул в воздухе. На белом платье Панчиты повыше колена проступила алая полоска.

Не дрогнув, все с тем же загадочным темным огнем в глазах, Панчита продолжала идти прямо к нему, ступая по клубничным грядкам. Бич выпал из его дрожащих пальцев. Когда до Сухого Лога оставался один шаг, Панчита протянула к нему руки.

— Господи! Девочка!.. — заикаясь, пробормотал Сухой Лог. — Неужели ты...
Времена года могут иной раз и сдвинуться. И кто знает, быть может, для Сухого Лога настало в конце концов не бабье лето, а самая настоящая весна.

Елка с сюрпризом

Перевод Т. Озерской

Чероки называли отцом Желтой Кирки. А Желтая Кирка была новым золотоискательским поселком, возведенным преимущественно из неоструганных сосновых бревен и парусины. Чероки был старателем. Как-то раз, пока его ослик утолял голод кварцем и сосновыми шишками, Чероки выворотил киркой самородок в тридцать унций весом. Чероки застолбил участок и тут же — как радушный хозяин и человек с размахом — разослал всем своим друзьям в трех штатах приглашение приехать, разделить с ним его удачу.

Никто из приглашенных не ответил вежливым отказом. Они прикатили с реки Хилы, с Рио-Пекос и с Соленой реки, из Альбукерка и Феникса, из Санта-Фе и из всех окрестных старательских лагерей.

Когда около тысячи золотоискателей застолбили участки и обосновались на них, они назвали свое поселение Желтой Киркой, избрали комитет охраны общественного порядка и преподнесли Чероки часовую цепочку из небольших самородков.

Через три часа после окончания церемонии с цепочкой золото на участке Чероки иссякло. Он застолбил не жилу, а карман. Чероки бросил участок и принялся столбить новые — один за другим. Но счастье повернулось к нему спиной. Золотого песка, который он намывал за день, ни разу не хватило, чтобы оплатить его счет в баре. Зато почти у всех приглашенных им старателей дела шли на лад, и Чероки радостно улыбался и поздравлял их с успехом.

В Желтой Кирке подобрался народ, уважавший тех, кто не падает духом от неудачи. Старатели спросили Чероки, что они могут для него сделать.

— Для меня? — сказал Чероки. — Да что ж, небольшая ссуда пришлось бы сейчас в самую пору. Надо, пожалуй, попытать счастья в Марипозе. Если нападу там на хорошую залежь, тут же пришлю вам весточку. Вы же знаете — я не из тех, кто скрывает свою удачу от друзей.

В мае Чероки навьючил свое снаряжение на ослика и повернул его задумчивой мышасто-серой мордой на север. Толпа новоселов проводила его до воображаемой городской заставы, и он зашагал дальше, напутствуемый прощальными криками и пожеланиями успеха. Пять флажков без единого пузырька воздуха между пробкой и содержимым были силком рассованы по его карманам. Чероки просили не забывать, что в Желтой Кирке его всегда будут ждать постель, яичница с салом и горячая вода для бритья, если Фортуна не надумает заглянуть к нему на стоянку в Марипозе, чтобы погреть руки у его костра.

Чероки получил это свое прозвище в соответствии с существовавшей среди старателей номенклатурной системой. Предъявления свидетельства о крещении не требовалось — каждый получал свою кличку и без этого. Имя и фамилия человека считались его личной собственностью, а чтобы его удобнее было кликнуть к стойке и как-то отличить от других облаченных в синие рубахи двуногих, общество присваивало ему какое-нибудь временное звание, титул или прозвище. Повод для этих не предусмотренных законом крестин чаще всего усматривался в личных особенностях каждого. Ко многим без труда приставало название той местности, из которой они, по их словам, прибыли. Некоторые громко и нахально именовали себя «Адамсами», или «Томпсонами», или еще как-нибудь в том же роде, бросая этим тень на свою репутацию. Кое-кто хвастливо и бесстыдно раскрывал свое бесспорно подлинное имя, но это воспринималось как пустое зазнайство и не имело успеха среди старателей. Одному типу, заявившему, что его зовут Честертон Л. К. Белмонт, и предъявившему в доказательство

бумаги, категорически предложили покинуть город до захода солнца. Особенно в ходу были клички вроде: «Коротыш», «Криволапый», «Техасец», «Лежебока Билл», «Роджер-Выпивоха», «Хромой Райли», «Судья» и «Эд-Калифорния». Чероки получил свое прозвище потому, что он прожил будто бы некоторое время среди этого индейского племени.

Двадцатого декабря Болди, почтальон, прискакал в Желтую Кирку с потрясающей новостью.

— Как вы думаете, кого я видел в Альбукерке? — спросил Болди, заняв свое место у стойки бара. — Чероки. Разряжен в пух и прах, словно какой-нибудь султан турецкий, и швыряет деньгами направо и налево. Мы с ним погуляли на славу и отпробовали слабительной шипучки, и Чероки оплачивал все счета наложенным платежом. Карманы у него раздулись от денег, как бильярдные лузы, набитые шарами.

— Чероки, должно быть, напал на хорошую жилу, — сказал Эд-Калифорния. — Вот порядочный малый! Я глубоко признателен Чероки за то, что ему, наконец, повезло.

— Не мешало бы Чероки притопать теперь в Желтую Кирку, поведать старых друзей, — заметил кто-то с ноткой огорчения в голосе. — Ну, да так оно всегда бывает. Деньги — лучшее средство, чтоб отшибло память.

— Постойте, — возразил Болди, — я еще не все рассказал. Чероки застолбил трехфутовую жилу там, в Марипозе, и с каждой тонны руды добывал столько золота, что хоть всякий раз кати в Европу. Эту свою жилу он продал одному синдикату и получил сто тысяч долларов чистоганом. После этого он купил себе шубу из новорожденных котиков, и красные сани, и... ну, угадайте, что еще он надумал?

— В карты режется, — высказал предположение Техасец, который не мыслил себе развлечений вне азарта.

— Ах, поцелуй меня скорей, моя красотка! — пропел Коротыш, носивший в кармане чью-то фотографию и не снимавший пунцового галстука даже во время работы на участке.

— Купил пивную, — решил Роджер-Выпивоха.

— Чероки повел меня к себе в комнату, — продолжал Болди, — и кое-что мне показал. У него там целый склад кукол, барабанов, попрыгунчиков, коньков, мешочков с леденцами, хлопушек, заводных барашков и прочей дребедени. И как вы думаете, что он собирается делать со всеми этими бесполезными побрякушками? Нипочем не угадаете.

Ну так вот, Чероки мне сказал. Он задумал погрузить все это в свои красные сани и... стойте, стойте, подождите заказывать виски!.. прискакать сюда, в Желтую Кирку, и закатить здешней детворе — ну да, да, здешней детворе! — такую большую рождественскую елку и такой великий кутеж с раздачей Говорящих Кукол и Больших Столярных Наборов для Маленьких Умных Мальчиков, какие не снились еще ни одному сосунку к западу от мыса Гаттераса!

После этих слов минуты на две воцарилось гробовое молчание. Оно было нарушено барменом. Решив, что удобный момент для проявления радушия настал, он двинул по стойке свою батарею стаканов; следом за ними и не столь стремительно поплыла бутылка виски.

— А ты сказал ему? — спросил старатель по кличке Тринидад.

— Да нет, — с запинкой отвечал Болди, — не сказал. Как-то к слову не пришлось. Ведь Чероки уже закупил всю эту муру и уплатил за нее сполна, и уж так-то был доволен собой и своей затеей... И мы с ним успели порядком нагрузиться этой самой шипучкой. Нет, я ничего ему не сказал.

— Признаться, я несколько изумлен, — молвил Судья, вешая свою тросточку с ручкой из слоновой кости на стойку бара. — Как мог наш друг Чероки составить себе столь превратное представление о своем, так сказать, родном городе?

— Ну, то ли еще бывает на свете, — возразил Болди. — Чероки уехал отсюда семь месяцев назад. Мало ли что могло случиться за это время. Откуда ему знать, что в городе совсем нет ребятишек и пока не ожидается.

— Да ведь если рассудить, — заметил Эд-Калифорния, — так это даже странно, что никаким ветром их к нам еще не занесло. Может, это потому, что в городе покуда не налажено

снабжение сосками и пеленками?

— А для пушшего эффекта, — сказал Болди, — Чероки решил сам нарядиться Дедом Морозом. Он раздобыл себе белый парик и бороду, в которых он как две капли воды похож на этого парня Лонгфелло, если судить по портрету в книжке. И потом еще красный, обшитый мехом, исподний балахон, чтобы надевать поверх всего, пару красных рукавиц и круглый красный стоячий колпак с отложным кончиком. Позор да и только, как подумаешь, что все это обмундирование пропадет зазря, когда столько разных Энн и Вилли мечтают об эдаком чуде!

— А когда Чероки думает прибыть сюда со своим товаром? — спросил Тринидад.

— В сочельник утром, — сказал Болди. — И он хочет, чтобы вы, ребята, приготовили помещение, и поставили елку, и пригласили дам помочь наряжать ее. Но только таких, которые умеют держать язык за зубами, — чтоб полный был сюрприз для ребят.

Отмеченное собеседниками прискорбное состояние Желтой Кирки соответствовало действительности. Ни разу ребячий голосок не порадовал обитателей этого на скорую руку возведенного поселка. Ни разу топот резвых детских ножек не прозвучал на его единственной немощной улице между двумя рядами палаток и бревенчатых хижин. Все это пришло потом. Но в те дни Желтая Кирка была просто затерянным в горах старательским лагерем, и никто еще не видел там горящих ожиданием плутовских глаз, нетерпеливо встречающих зарю праздничного дня, или рук, жадно протянутых к таинственным дарам Деда Мороза, не слышал восторженных кликов по поводу великой зимней радости — елки. Словом, не было в Желтой Кирке ничего, что могло бы послужить наградой добросердечному Чероки за тот ворох добра, который он туда вез.

Женщин в Желтой Кирке было всего пять. Из них три — жена пробирщика, хозяйка гостиницы «Счастливая находка» и прачка, намывавшая в своем корыте на унцию золотого песка в день, — составляли оседлую часть женского населения поселка. Остальные две были сестры Спэнглер — мисс Фаншон и мисс Ирма — из «Передвижного драматического», который играл сейчас в импровизированном театре «Ампир». Но детей в поселке не было. Иной раз мисс Фаншон исполняла не без огонька роль какого-нибудь бойкого подростка, но создаваемый ею образ был плачевно далек от того детского облика, который рисовался воображению как достойный объект праздничных щедрот Чероки.

Рождество приходилось на четверг. Во вторник утром Тринидад не пошел работать на участок, а направился к Судье в гостиницу «Счастливая находка».

— Желтая Кирка опозорит себя навеки, — заявил Тринидад, — если мы не поддержим Чероки в этом его елочном загуле. Чероки, можно сказать, создал наш город. Я лично решил кое-что предпринять, чтобы Дед Мороз не оказался в дураках.

— Это начинание, — сказал Судья, — встретит всемерную поддержку с моей стороны. Я многим обязан Чероки. Однако я не вижу путей и средств... собственно говоря, отсутствие детей в нашем городе я до этой минуты склонен был рассматривать скорее как благодеяние... хотя, при сложившихся обстоятельствах... тем не менее я все-таки не вижу путей и средств...

— Взгляните на меня, — сказал Тринидад, — и вы увидите. Пути и средства стоят перед вами и уже собрались в путь-дорогу. Я сейчас раздобуду упряжку и пригоню на представление нашего Деда Мороза целый фургон детворы... хотя бы пришлось совершить налет на сиротский приют.

— Эврика! — воскликнул Судья.

— Нет, врете! — решительно возразил Тринидад. — Это я нашел. Я когда-то тоже учил латынь в школе.

— Я буду вас сопровождать, — заявил Судья, размахивая тросточкой. — Тот небольшой дар речи и ораторские способности, которыми я обладаю, могут пригодиться нам, когда нужно будет убедить наших юных друзей предоставить себя на некоторое время напрокат для осуществления наших планов.

Через час Желтая Кирка была оповещена о плане Тринидада и Судьи и единодушно его одобрила. Каждый, кому было известно, что где-нибудь в радиусе сорока миль от Желтой Кирки проживает семья с малолетними отпрысками, поспешил поделиться своими

сведениями. Тринидад тщательно все записал и, не теряя времени, отправился на розыски лошадей и возка.

Первую остановку намечено было сделать у пятистенной бревенчатой хижины в двадцати милях от Желтой Кирки. Тринидад покричал у ворот, из хижины вышел хозяин и стал, облокотившись о расшатанную калитку. На порог высыпала орава ребятишек, порядком оборванных, но пышавших здоровьем и снедаемых любопытством.

— Вот какое дело, — начал Тринидад. — Мы из Желтой Кирки. Приехали похитить у вас детишек на добровольных, так сказать, началах. Один из наших видных горожан одержим елочной манией и пожелал стать Дедом Морозом. Завтра он прикатит в город с целым возом разной чепухи, выкрашенной в красную краску и изготовленной в Германии. А у нас в Желтой Кирке самый младший из сорванцов обзавелся уже сорокапятикалиберным револьвером и безопасной бритвой. Так кто же будет кричать «Ох!» и «Ах!», когда на елке зажгутся свечки? Словом, друг, если вы одолжите нам парочку ребят, мы обещаем возвратить их в полной сохранности. В первый день Рождества они будут доставлены обратно в лучшем виде и притащат с собой Робинзонов в красивых переплетах, рога изобилия, красные барабаны и прочие вещественные доказательства. Ну, как?

— Другими словами, — вмешался Судья, — мы, впервые со дня основания нашего небольшого, но процветающего города, обнаружили его несовершенство в смысле совершенного отсутствия в нем несовершеннолетних. И ввиду приближения того календарного срока, когда обычаем предусмотрено награждать, так сказать, нежных и юных различными бесполезными, но ходкими предметами...

— Понятно, — сказал хозяин, уминая большим пальцем табак в трубке. — Не стану задерживать вас, джентльмены. У нас со старухой, скажем прямо, семеро ребятишек. Так вот, я перебрал в уме всю кучу и что-то не вижу, кого из них мы могли бы уступить вам для вашей гулянки. Старуха уже нажарила кукурузных зерен, а в комоду у нее спрятаны тряпичные куклы, и мы сами думаем кутнуть на праздничках, хотя и по-домашнему, без затей. Словом, мне эта ваша выдумка не очень-то по душе, и я ни одного из своих ребят не уступлю. Премного вам благодарен, джентльмены.

Они покатали под гору, взобрались на другой холм и остановили возок у ранчо Уайли Уилсона. Тринидад изложил свою просьбу. Судья торжественно прогудел партию для второго голоса. Миссис Уайли спрятала двух розовощеких пострелят в складках своей юбки и не улыбнулась до тех пор, пока не увидела, что мистер Уайли смеется и отрицательно качает головой. Опять отказ!

Когда в низине меж холмами начали сгущаться сумерки, Тринидад и Судья уже исчерпали больше половины своего списка — и все впустую. Они заночевали в придорожной гостинице и на заре снова пустились в путь. В возке не прибавилось ни одного седока.

— Я, кажется, начинаю понимать, — сказал Тринидад, — что получить ребенка напрокат на праздники так же трудно, как украсть масло у человека, который собрался есть блины.

— Не подлежит никакому сомнению, — отозвался Судья, — что семейные узы приобретают в этот период года исключительную, так сказать, прочность.

В канун праздника они покрыли тридцать миль, сделали четыре бесплодных остановки и произнесли четыре не имевших успеха воззвания. Детвора везде была на вес золота.

Солнце уже клонилось к закату, когда жена старшего обходчика на какой-то глухой железнодорожной ветке, загородив собой еще одно не подлежащее изъятию сокровище, сказала:

— На Гранитной Стрелке работает сейчас новая буфетчица. У нее, кажется, есть сынишка. Может, она и отпустит его с вами.

В пять часов вечера Тринидад пригнал своих мулов к станции Гранитная Стрелка. Поезд только что отошел, забрав с собой утоливших голод и умиротворенных пассажиров.

На ступеньках железнодорожного буфета они увидели тощего угрюмого мальчонку лет десяти, с папиросой в зубах. В буфете, где пассажиры с налету удовлетворяли свой кочевой аппетит, царил хаос. Молодая, но иссушенная заботами женщина в полном изнеможении

сидела, откинувшись на спинку стула. Лицо ее хранило следы своеобразной красоты — той, что никогда не исчезает бесследно, но которую нельзя и вернуть. Тринидад разъяснил ей цель их приезда.

— Да я буду рада, если вы хоть ненадолго заберете с собой Бобби, — устало сказала женщина. — Крутишься тут, как заведенная, с утра до ночи — некогда за ним присмотреть. А он набирается дурных примеров от взрослых. Какие уж тут елки — вот разве что у вас...

Мужчины вышли на крыльцо для переговоров с Бобби. Тринидад в живых красках описал ему роскошную елку с подарками.

— А потом, мой юный друг, — добавил Судья, — сам Дед Мороз явится к вам с дарами, как бы в ознаменование того, как некогда волхвы...

— А, бросьте заливать! Я не ребенок, — насмешливо прищурившись, прервал его Бобби. — Нет никаких дедморозов. Это вы, дяди, сами покупаете в лавке всякую дрянь и суете ребятам ночью под подушки. И пачкаете каминными щипцами пол — будто Дед Мороз приехал на санях.

— Ну, может, и так, — примирительно сказал Тринидад. — Но елки-то ведь всамделишные. А у нас будет знаешь какая! Как универсальный магазин в Альбукерке — все игрушки не дешевле десяти центов. И барабаны будут, и волчки, и ноев ковчег, и...

— К черту! — холодно сказал Бобби. — Я с этим давно покончил. Хочу ружье. Не игрушечное, а настоящее, чтоб стрелять диких котов. Так у вас небось не найдется ружья на вашей дурацкой елке?

— Поручиться не могу, — сказал Тринидад дипломатично, — но кто его знает... Поедем с нами, а там видно будет.

Заронив этот слабый луч надежды в душу Бобби, вербовщики вынудили у него согласие пойти навстречу филантропическому порыву Чероки и пустились со своим единственным трофеем в обратный путь.

В Желтой Кирке тем временем помещение пустовавшего склада было превращено в праздничный зал, разукрашенный, как чертоги доброй аризонской феи. Дамы потрудились не зря. Елка, вся в свечках, серебряной мишуре и игрушках, которых хватило бы на добрых два десятка ребят, высилась в центре зала. Когда свечерело, все, сжигаемые нетерпением, стали выглядывать на улицу — не покажется ли возок с похитителями детей. Еще в полдень Чероки влетел в поселок на красных санях, заваленных свертками, кулками и коробками самой различной формы и размера. И так был он увлечен выполнением своего бескорыстного замысла, что даже не заметил отсутствия ребят в поселке, а открыть ему глаза на позорное состояние Желтой Кирки ни у кого не хватило духу; к тому же все твердо верили, что Тринидад и Судья сумеют восполнить этот ужасающий пробел.

Когда солнце село, Чероки хитро подмигнул собравшимся и с лукавой улыбкой на обветренном морщинистом лице удалился из зала, прихватив узелок со всем реквизитом Деда Мороза и еще один таинственный пакет с игрушками.

— Как только ребята соберутся, — наказывал он членам добровольного елочного комитета, — зажгите елку и поиграйте с ними в кошки-мышки. А когда у них пойдет дым коромыслом, вот тогда... тогда Дед Мороз потихоньку проскользнет в дверь. Подарков, думается мне, должно хватить.

Дамы порхали вокруг елки, в последний раз перевешивая какие-то украшения, чтобы тут же перевесить их заново. Сестры Спэнглер тоже были здесь: одна в костюме леди Вайолет де Вир, другая — служанки Мари, персонажей из новой пьесы «Невеста рудокопа». Спектакли в театре начинались только в девять часов, и актрисы с благосклонного разрешения комитета помогали наряжать елку. Кто-нибудь то и дело выскакивал на крыльцо и прислушивался — не возвращается ли упряжка Тринидада. Тревога росла, ибо надвигалась ночь и пора было зажигать елку, да и Чероки в любую минуту мог, не спросясь, появиться на пороге в полном облачении рождественского Деда.

Но вот на улице заскрипел возок, и «похитители» подъехали к складу. Дамы всполошились и с восторженными восклицаниями бросились зажигать свечи. Мужчины

беспокойно прохаживались из угла в угол или стояли небольшими группами, смущенно переминаясь с ноги на ногу.

Тринидад и Судья, истомленные долгими странствиями, вступили в зал, ведя за руку тщедушного, озорного с виду мальчишку. Мальчишка презрительным взглядом исподлобья окинул пестро разряженную елку.

— А где же остальные дети? — спросила жена пробирщика, игравшая первую скрипку во всех светских начинаниях города.

— Сударыня, — со вздохом отвечал Тринидад, — отправляться на разведку за детьми перед праздником — все равно что искать серебро в известняках. Так называемые родительские чувства — сплошная для меня загадка. Похоже, что папашам и мамашам совершенно безразлично, если их потомство все триста шестьдесят четыре дня в году будет тонуть, объедаться ядовитыми дубовыми орешками, попадать в лапы диких котов или похитителей детей. Но в сочельник оно, вынь да положь, должно отравлять своим присутствием семейные сборища. Этот вот экземпляр, сударыня, — единственное, что нам удалось откопать в результате двухдневных разведок на местности.

— Ах, прелестное дитя! — проворковала мисс Ирма, волоча свой театральный шлейф к середине сцены.

— Отвяжитесь! — хмуро буркнул Бобби. — Кто это — «дитя»? Уж не вы ли?

— Дерзкий мальчишка! — ахнула мисс Ирма, не успев погасить эмалевой улыбки.

— Старались, как могли, — сказал Тринидад. — Обидно за Чероки, да что ж поделаешь.

Тут распахнулась дверь, и появился Чероки в традиционном костюме Деда Мороза. Белые космы парика и пышная белая борода закрывали почти все его лицо — видны были только темные, искрившиеся весельем глаза. За спиной он нес мешок.

Все замерли при его появлении. Даже сестры Спэнглер, забыв принять кокетливые позы, с любопытством уставились на высокую фигуру рождественского Деда. Бобби, насупившись, засунув руки в карманы, угрюмо рассматривал нелепое, обвешанное побрякушками дерево. Чероки опустил на пол свой мешок и с удивлением огляделся по сторонам. Быть может, у него мелькнула мысль, что нетерпеливую ватагу ребятишек загнали куда-нибудь в угол, чтобы выпустить оттуда, как только он войдет. Чероки направился к Бобби и протянул ему руку в красной рукавице.

— Поздравляю тебя с праздником, мальчуган, — сказал он. — Можешь брать с елки все, что тебе нравится, — мы сейчас достанем. Ну, давай руку, поздоровайся с Дедом Морозом.

— Нет никаких дедморозов, — шмыгнув носом, проворчал Бобби. — У тебя фальшивая борода. Из старых козлиных оческов. Я не ребенок. На черта мне эти куклы и оловянные лошадки? Кучер сказал, что дадут ружье. А у тебя его нет. Я хочу домой.

Тринидад пришел на помощь. Он схватил руку Чероки и горячо ее потряс.

— Ты уж прости, Чероки, — сказал он. — Нет у нас в Желтой Кирке никаких ребят, да и сроду не было. Мы надеялись пригнать их целый косяк на твое суарэ, да вот, кроме этой сардинки, ничего не удалось выловить. А он, понимаешь ли, атеист и не верит в рождественских дедов. Нам очень совестно, что ты зря потратился. Да ведь мы с Судьей думали, что притащим сюда целую ораву мелюзги и все твои свистульки пойдут в ход.

— Ну и ладно, — спокойно сказал Чероки. — Подумаешь, какие траты, есть о чем говорить! Свалим все это барахло в старую шахту да и дело с концом. Но надо же быть таким ослом — прямо из головы вон, что в Желтой Кирке нету ребятишек!

Гости меж тем с похвальным усердием, хотя и без особого успеха, делали вид, что веселятся вовсю.

Бобби отошел в угол и уселся на стул. Холодная скука была отчетливо написана на его лице. Чероки, еще не вполне отвыкнув от своей роли, подошел и сел рядом.

— Где ты живешь, мальчик? — вежливо осведомился он.

— На Гранитной Стрелке, — нехотя процедил Бобби.

В зале было жарко. Чероки снял свой колпак, парик и бороду.

— Эй! — несколько оживившись, произнес Бобби. — А ведь я тебя знаю.

— Разве мы с тобой встречались, малыш?
— Не помню. А вот карточку твою я видел. Сто раз.
— Где?
Бобби колебался.
— Дома. На комодке.
— Скажи, пожалуйста, мальчик, а как тебя зовут?
— Роберт Лэмсен. Это материна карточка. Она прячет ее ночью под подушку. Я раз видел даже, как она ее целовала. Вот уж нипочем бы не стал. Но женщины все на один лад.
Чероки встал и поманил к себе Тринидада.
— Посиди с мальчиком, я сейчас вернусь. Пойду сниму этот балахон и заложу сани. Надо отвезти мальчишку домой.
— Ну, безбожник, — сказал Тринидад, занимая место Чероки. — Ты, брат, значит, настолько одряхлел и всем пресытился, что тебя уже не интересуется разная ерунда вроде сластей и игрушек?
— Ты неприятный тип, — язвительно сказал Бобби. — Ты обещал, что будет ружье. А здесь человеку даже покурить нельзя. Я хочу домой.
Чероки пригнал сани к крыльцу, и Бобби водрузили на сиденье. Резвые лошадки бойко рванулись вперед по укатанной снежной дороге. На Чероки была его пятисотдолларовая шуба из новорожденных котиков. меховая полость приятно грела.
Бобби вытащил из кармана папиросу и принялся чиркать спичкой.
— Брось папиросу! — сказал Чероки спокойно, но каким-то новым голосом.
После некоторого колебания Бобби швырнул папиросу в снег.
— Брось всю коробку, — приказал новый голос.
Мальчик повиновался не сразу, но все же исполнил и этот приказ.
— Эй! — сказал вдруг Бобби. — А ты мне нравишься. Не пойму даже почему. Попробовал бы кто-нибудь так надо мной командовать!
— Послушай, малыш, — сказал Чероки обыкновенным голосом. — А ты не врешь, что твоя мать целовала эту карточку? Ту, что на меня похожа?
— Не вру. Сам видел.
— Ты, кажется, что-то говорил насчет ружья?
— Ну да. А что? Есть у тебя?
— Завтра получишь. С серебряными нахлобучками.
Чероки поглядел на часы.
— Половина десятого. Что ж, мы с тобой доберемся до Гранитной Стрелки как раз к празднику, минута в минуту. Тебе не холодно? Садись поближе, сынок.

Сказочный принц

Перевод Э. Бродерсон

Наконец-то пробило девять часов, и тяжелая утомительная дневная работа закончена. Лена вскарабкалась в свою каморку на третий этаж гостиницы «Каменоломня». С самого рассвета она работала, как взрослая женщина, — мыла полы, делала постели, перемывала тяжелые металлические кружки и тарелки и таскала воду и дрова для этой шумной, противной гостиницы.

Кончилась дневная работа и на каменоломне — прекратился шум от сверления и разбивания камней, треск и скрип огромных подъемных кранов, крики надсмотрщиков, шум возов, перевозящих огромные глыбы известняка. Внизу, в конторе гостиницы, сидели трое или четверо рабочих, которые перебранивались за игрой в шашки. Удушливый запах тушеного мяса, горячего жира и дешевого кофе наполнял весь дом.

Лена зажгла огарок свечи и, усталая, села на деревянный стул. Ей было всего

одиннадцать лет. Она была худенькая и малокровная девочка. Спина и ноги у нее болели и ныли. Но еще большую боль испытывала она в сердце. Последнюю каплю прибавили к ее чаше страданий: у нее отняли книгу — сказки Гримма. Как бы она ни уставала за день, она с увлечением садилась за эту книжку и переносилась в царство грез. И всякий раз Гримм нашептывал ей, что сказочный принц или волшебная фея придут и освободят ее от злых чар. Каждый вечер она почерпала из книги Гримма новый запас мужества и сил.

Какую бы сказку она ни читала, она находила всегда аналогию со своим положением. Заблудившийся ребенок дровосека, несчастная пастушка гусей, преследуемая падчерица, девочка, заключенная в хижине ведьмы, — все они казались намеками на бедную переутомленную судомойку в гостинице «Каменоломня». И всегда во всех сказках, когда положение становилось наиболее тяжелым, на помощь являлись добрая фея или прекрасный принц.

Итак, здесь, в этом замке людоеда, поработанная злыми чарами, Лена находила опору только в Гримме и ждала, когда добрые силы одержат верх. Но накануне хозяйка гостиницы, миссис Мэлони, нашла книгу в ее каморке и отобрала ее, резко заявив, что служанкам не полагается читать по вечерам: они от этого теряют сон и плохо работают на следующий день. Но разве может одиннадцатилетняя девочка, вдали от своей матери, не имеющая ни одной свободной минуты для детских игр, прожить без сказок Гримма? Испытайте это сами на себе и вы увидите, как это трудно.

Родительский дом Лены находился в Техасе, среди невысоких гор на реке Педернэлес, в небольшом городке Фредериксбург. В Фредериксбурге живут только немцы. По вечерам они сидят за маленькими столиками, вдоль тротуара, пьют пиво и играют в карты. Все они очень бережливы.

Но бережливее всех среди них Петер Хильдесмюллер, отец Лены. И вот почему Лену послали работать за тридцать миль, в гостиницу при каменоломне. Она зарабатывала там три доллара в неделю, и Петер прибавлял ее жалованье к своим сбережениям. У Петера была честолюбивая мечта сделаться таким же богатым, как его сосед, Гуго Геффельбауер, который курил трубку из морской пенки, в три фута длиной, и который каждый день ел к обеду «винершницель». И он считал, что Лена была теперь уже достаточно велика, чтобы заработать деньги и помогать семье в накоплении богатства. Но представьте себе, что это значит в одиннадцать лет покинуть родной дом и быть осужденной на тяжелую работу в замке людоеда. Что это значит служить людоедам, которые пожирают овец и быков, свирепо ворчат и стряхивают со своих огромных сапог белую известковую пыль для того, чтобы ей приходилось своими слабыми, больными руками мести и мыть пол. И в довершение всего — отнять у нее сказки Гримма!

Лена подняла крышку старого пустого ящика, в котором когда-то были жестянки консервов, и достала лист бумаги и огрызок карандаша. Она хотела написать письмо своей маме, Томми Райан обещал отнести письмо на почту к Бэллингеру, Томми было семнадцать лет, он работал в каменоломне и каждый вечер отправлялся к Бэллингеру. Теперь он поджидал под окном Лены, пока она напишет письмо и бросит его в окно. Только таким способом могла она переслать письмо в Фредериксбург, потому что миссис Мэлони не любила, чтобы она писала письма.

Огарок свечи был очень маленький, поэтому Лена поспешно откусила дерево вокруг графита карандаша и начала писать. Вот ее письмо:

«Дорогая мама!

Я так хочу тебя видеть. И Гретель, и Клауса, и Генриха, и маленького Адольфа. Я так устала. Я хочу тебя видеть. Сегодня миссис Мэлони меня ударила и оставила без ужина. Я не могла принести столько дров, сколько нужно было, потому что у меня болит рука. Вчера она отобрала у меня книгу. Знаешь, сказки Гримма, которую мне подарил дядя Лео. Я никому не мешала, когда читала книгу. Я стараюсь работать изо всех сил, но здесь так много работы, что я не успеваю всего сделать. Я читала только по вечерам. Дорогая мама. Если ты не пошлешь

за мной завтра, чтобы взять меня домой, я пойду к глубокому месту на реке и утоплюсь. Я знаю, что это нехорошо с моей стороны, но мне так тяжело, так скучно. Я так часто желаю вас видеть, и никого у меня здесь нет. Я очень устала, и Томми ждет письмо...

Твоя любящая тебя дочь *Лена* ».

Томми пришлось долго ждать внизу, и, когда письмо было закончено и Лена бросила его в окно, она увидела, как Томми поднял его и начал взбираться по отвесному склону холма. Не раздеваясь, она задула свечу и свернулась в клубочек на матрасе, разостланном на полу.

В половине одиннадцатого старик Бэллингер вышел из дома в носках, с трубкою в зубах, и облокотился о калитку. Он смотрел на большую дорогу, казавшуюся белой при лунном свете, и потирал лодыжку одной ноги ступней другой. Он ждал фредериксбургскую почту.

Старик Бэллингер простоял не дольше нескольких минут, как он услышал быстрый топот мулов почтальона Фрица, а вскоре затем почтовый фургон остановился у калитки.

Большие очки Фрица заблестели при лунном свете, и он громовым голосом поздоровался с почтмейстером Бэллингером. Почтальон Фриц спрыгнул с козел и разнуздал мулов, потому что он всегда кормил их овсом у Бэллингера.

Пока мулы ели овес, старик Бэллингер вынес мешок с почтой и бросил его в фургон.

У почтальона Фрица Бергмана было три привязанности — или, чтобы быть вполне точным, четыре, потому что пару мулов нужно рассматривать как две отдельные личности. Эти мулы составляли главный интерес и радость его существования. За ними следовал германский император, а потом — Лена Хильдесмюллер.

— Скажите мне, — сказал Фриц, готовясь к отъезду, — нет ли в почтовом мешке письма к фрау Хильдесмюллер от маленькой Лены из каменоломни? В последней почте было одно письмо, в котором она писала, что она больна. Ее мать очень тревожится и хочет знать, как она поживает.

— Да, — сказал старик Бэллингер, — там есть письмо для миссис Хельтерскельтер или что-то в том роде. Томми Райан принес его вечером. Вы говорите, ее девчурка работает в каменоломне?

— В гостинице «Каменоломне», — заорал Фриц, подбирая вожжи. — Ей одиннадцать лет, и ростом она не больше мизинца. Старый скряга этот Петер Хильдесмюллер! Когда-нибудь я тресну его дубиной по его глупой башке!.. Может быть, в этом письме Лена пишет, что она чувствует себя лучше. Вот-то обрадуется ее мать! Auf Wiedersehen, херр Бэллингер — смотрите, не застудите себе ноги на холоду.

— Всего доброго, Фрици, — сказал старик Бэллингер. — А холодная ночь будет сегодня, наверно!

Маленькие черные мулы ровной рысцой понесли по дороге, а Фриц время от времени громовым голосом понукал их, давая им самые нежные эпитеты.

Заботами о мулах и мыслями о Лене был занят ум почтальона, пока он не достиг большого дубового леса, в восьми милях от Бэллингера. Здесь мысли его были прерваны внезапной вспышкой огня, револьверными выстрелами и диким гиканьем, как будто исходящим от целого племени индейцев. Шайка галопирующих центавров окружила почтовый фургон. Один из них направил в почтальона револьвер и приказал ему остановиться. Другие схватили за уздцы обоих мулов — Грома и Молнию.

— Donnerwetter! — заорал Фриц своим громовым голосом. — Was ist das? Руки прочь с этих мулов! Это почта Соединенных Штатов!

— Поторапливайся, немчура! — протянул меланхоличный голос. — Разве ты не понимаешь, что попался? Осади мулов и вылезай из фургона.

К чести Гондо Билля следует сказать, что задержание фредериксбургской почты отнюдь не представлялось подвигом в его глазах. Как лев, преследуя большого зверя, может раздавить случайно попавшегося ему на дороге кролика, так и Гондо Билль и его шайка случайно напали на мирный транспорт Фрица.

С главной работой, предстоявшей им в эту ночь, они уже покончили. Фриц со своим

почтовым фургоном явился приятным развлечением и отдыхом после тяжелых обязанностей их профессии. В двадцати милях к юго-востоку стоял поезд с опрокинутым паровозом, насмерть перепуганными пассажирами и ограбленным почтовым вагоном. Это было программой сегодняшнего дня у Гондо Билля и его шайки. С сказочно богатой добычей грабители двинулись через менее населенную местность на запад, надеясь пробраться через Рио-Гранде и скрыться в Мексике. Удачное ограбление поезда превратило угрюмых разбойников в веселых шутников.

Дрожа от злости и страха, Фриц вылез из фургона, оправляя свои сползшие очки. Разбойники спешили и пели, прыгали и кричали, выражая таким образом свое удовлетворение веселой привольной жизнью. Роджерс Гремучая Змея, стоявший перед мулами, слишком сильно дернул за повод Грома, который осадил назад и протестующе фыркнул. С яростным криком Фриц набросился на огромного Роджерса и стал тужить кулаками удивленного разбойника.

— Негодяй! — орал Фриц. — Собака, обормот! У этого мула болит морда. Я оторву голову с твоих плеч, разбойник!

— И-и-и! — завопил Роджерс, покатываясь со смеха. — Уберите-ка эту «кислую капусту»!

Один из разбойников оттащил Фрица за фалды, и лес огласился отборными ругательствами.

— Собачья ты колбаса! — добродушно закричал Гремучая Змея. — Он не такой уж скверный, этот немчура. Как он заступился за свою скотину! Мне нравится, когда человек любит животных, даже если это мулы. Проклятый лимбургский сыр, как он наскочил на меня! Ну, ну, мулик, не бойся, — я больше не сделаю тебе больно.

Может быть, почту и не тронули бы, если бы помощник атамана, Бен Муди, не выступил бы со своим предложением.

— Слушай, капитан, — сказал он, обращаясь к Гондо Биллю, — очень возможно, что в этих почтовых мешках найдется, чем можно поживиться. Я торговал раньше лошадьми около Фредериксбурга и имел дело с тамошними немцами, так что знаю их повадки. Крупные деньги посылаются почтой в этот город. Эти немцы лучше рискнут послать в письме тысячу долларов, чем заплатить банку за перевод.

Гондо Билль, здоровенный детина шести футов росту и быстрый в своих поступках, стал выбрасывать мешки из фургона раньше, чем Муди кончил свою речь. В руке его блеснул нож и послышался треск разрезаемой парусины. Разбойники столпились вокруг мешков и стали открывать письма и пакеты, сопровождая свою работу проклятиями по адресу корреспондентов, точно сговорившихся опровергнуть предположения Бена Муди. Ни одного доллара не было найдено в фредериксбургской почте.

— Постыдился бы ты, — сказал Гондо Билль почтальону начальническим тоном, — что возишь с собою такую кучу старой, негодной бумаги. Ты что думаешь, а? И где вы, немцы, храните ваши деньги?

Почтовый мешок Бэллингера открылся, как кокон, под ножом Гондо. В нем была небольшая пачка писем. Фриц все время кипел негодованием и волновался, пока добрались до этого мешка. Тут он вспомнил о письме Лены. Он обратился к вожаку шайки с просьбой пощадить это письмо.

— Очень благодарен тебе, немчура, — сказал Гондо взволнованному почтальону. — Вероятно, это-то письмо и содержит в себе деньги? Вот оно. Дайте свету, ребята.

Гондо нашел и открыл письмо к миссис Хильдесмюллер. Остальные стояли вокруг, зажигая одно письмо за другим, чтобы поддерживать свет. Гондо уставился на листок бумаги, заполненный угловатыми немецкими буквами.

— Ты что это нас морочишь, немчура? И ты назвал это ценным письмом? Как тебе не стыдно разыгрывать такие штуки с друзьями, которые потрудились помочь тебе разобрать почту.

— Это написано по-китайски, — сказал Сэнди Гренди, заглядывая через плечо Гондо.

— Ошибся, брат, — объявил другой член шайки. — Это стенография. Я видел раз на суде, как это выглядит.

— Ах, нет, нет, это по-немецки, — сказал Фриц. — Это просто письмо маленькой девочки к ее матери. Бедная, маленькая девочка, которая больна и должна работать вдали от родительского дома, у чужих людей. Ах! это прямо ужасно! Добрый господин разбойник, пожалуйста, отдайте мне это письмо.

— За кого ты нас принимаешь, черт бы тебя побрал? — сказал Гондо с внезапной и удивившей всех строгостью. — Ты осмеливаешься оскорблять нас подозрением, что мы не обладаем достаточной вежливостью, чтобы интересоваться здоровьем молодой девушки? Ну а теперь прочти-ка этим образованным джентльменам письмо и переведи его на американский язык, — что здесь такое нацарапано.

Гондо угрожающе повертел своим револьвером и встал во весь рост перед маленьким немцем, который сразу принялся читать письмо, переводя его на английский язык. Шайка разбойников внимательно слушала, храня полнейшее молчание.

— Сколько лет этому ребенку? — сказал Гондо, когда письмо было прочитано.

— Одиннадцать, — сказал Фриц.

— И где она находится?

— Она работает в каменоломне, в гостинице. Ah, mein Gott!! Маленькая Лена хочет утонуть. Я не знаю, решится ли она на это, но если она утонет, клянусь, то я убью из ружья этого Петера Хильдесмюллера.

— Вы, немцы, — сказал Гондо Билль тоном, полным презрения, — мне опротивели. Заставляете ваших детей работать, когда им надо бы еще играть в куклы. Что вы за черти! Я думаю, не мешает дать тебе небольшой урок, чтобы показать, что мы думаем о твоей колбасной нации. Ребята, сюда!

Гондо Билль отозвал в сторону своих товарищей и о чем-то стал совещаться с ними. Затем бандиты схватили Фрица и отвели его в сторону. Здесь они крепко привязали его двумя ремнями к дереву, а мулов привязали неподалеку к другому дереву.

— Мы тебе ничего плохого не сделаем, — успокоительно сказал Гондо. — Тебе ведь не повредит, если ты посидишь немного у дерева. А теперь мы пожелаем тебе спокойной ночи, потому что нам пора уезжать. Ausgespielt, как говорят немцы.

Фриц услышал только скрип стремян, когда разбойники садились на лошадей, затем громкое гиканье и топот копыт, когда они помчались по фредериксбургской дороге.

Более двух часов просидел Фриц у дерева. Затем, утомленный необыкновенным приключением, он задремал. Сколько времени он проспал, он не знал, но проснулся от грубого толчка. Чьи-то руки развязали ремни и поставили его на ноги. Члены его онемели, в голове все путалось, и он не соображал, где он. Протерев глаза, он посмотрел и увидел, что находится опять среди той же шайки разбойников, Они посадили его на козлы его фургона и дали в руки вожжи.

— Поезжай домой, немчура, — приказал Гондо Билль. — Ты нам наделал столько хлопот, что мы рады будем от тебя отвязаться. Spiel! Zwei Bier! Famos!

Гондо стегнул кнутом Молнию, и оба мула быстро тронулись вперед, довольные снова поразмять ноги.

Фриц, ошеломленный своим страшным приключением, подгонял их, чтобы скорее добраться домой.

Согласно расписанию, он должен был прибыть в Фредериксбург на рассвете. На самом же деле он въехал в город в одиннадцать часов. По дороге в почтовую контору ему нужно было проехать мимо дома Петера Хильдесмюллера. Он остановил мулов у калитки и окликнул хозяйку. Фрау Хильдесмюллер его уже поджидала, и вся семья выбежала на улицу.

Толстая и краснощекая фрау Хильдесмюллер спросила, нет ли письма от Лены, и тогда Фриц рассказал все, что с ним случилось. Он рассказал содержание письма, которое разбойник заставил его прочесть, и тогда фрау Хильдесмюллер разразилась громкими рыданиями. Ее маленькая Лена утопилась! Почему они отослали ее из дома? Что теперь делать? Может быть,

теперь уже слишком поздно послать за ней! Петер Хильдесмюллер выронил свою трубку из морской пены, и она разбилась вдребезги.

— Жена! — заорал он. — Почему ты отпустила ребенка? Это твоя вина, если мы Лену больше не увидим.

Все знали, что это была вина Петера Хильдесмюллера, и поэтому никто не обратил внимания на его слова.

Минуту спустя, какой-то странный слабый голосок крикнул: «Мама!» Фрау Хильдесмюллер сперва подумала, что это зовет ее дух Лены, а затем она бросилась к заднему концу фургона и с громким радостным криком схватила в свои объятия живую Лену, покрывая ее бледное личико поцелуями и нежно лаская ее. Заспанные глаза Лены были утомлены от дороги, но она улыбнулась и крепко прижалась к той, которую она так хотела видеть. Там, в фургоне, между почтовыми мешками, укутанная в чужие одеяла, она лежала, как в гнездышке, и спала, пока шум голосов не разбудил ее.

Фриц уставился на нее, и глаза его от изумления чуть не выскочили из орбит.

— Gott im Himmel! — заорал он. — Как ты попала сюда, в фургон? Мало того, что разбойники меня чуть не убили, мне придется, видимо, еще сойти с ума сегодня.

— Вы нам ее вернули, Фриц, — закричала фрау Хильдесмюллер. — Как мы сможем вас за это отблагодарить?

— Скажи маме, как ты попала в фургон Фрица, — сказала фрау Хильдесмюллер.

— Не знаю как, — сказала Лена. — Знаю только, что меня освободил от людоедов сказочный принц.

— Клянусь короной императора! — прогремел Фриц. — Мы все сошли с ума.

— Я все время ждала, что вот он придет и освободит меня, — сказала Лена, садясь на узел одеял на тротуар. — Вчера он, наконец, пришел со своими вооруженными рыцарями и завладел замком людоеда. Они выломали двери и разбили все тарелки и пивные кружки. Они засунули мистера Мэлони в бочку с водой и засыпали мукой миссис Мэлони. Прислуга в гостинице выпрыгнула из окон и побежала в лес, когда рыцари начали стрелять из ружей. Я проснулась от шума и заглянула с лестницы вниз. И тогда принц поднялся по лестнице, завернул меня в одеяла и вынес меня. Он был такой высокий, сильный и красивый. Его лицо было жесткое, как щетка, но он говорил нежным добрым голосом, и от него пахло водкой. Он посадил меня на свою лошадь перед собой, и мы уехали, окруженные рыцарями. Принц крепко держал меня, и я заснула и проснулась только, когда приехала домой.

— Глупости! — закричал Фриц Бергман. — Сказки! Как ты попала из каменоломни в мой фургон?

— Принц привез меня, — уверенно сказала Лена.

И до настоящего дня фредериксбургские жители не были в состоянии заставить ее дать им другое объяснение.

Возрождение Каллиопа

Перевод И. Гуровой

Каллиопа Кэтсби снова впал в черную меланхолию. Его томила беспричинная тоска. Величавая сфера Земли, и особенно та ее точка, которая зовется Зыбучие Пески, была в его глазах всего лишь сгустком вредоносных испарений. Философ обретает спасение от хандры в красноречивом монологе, нервическая дама находит утешение в слезах, а обрюзглый обитатель восточных штатов читает нотации женской половине своего семейства по поводу счетов от модистки. Но все эти средства не очень-то пригодны для жителя Зыбучих Песков. А уж Каллиопа в особенности был склонен изливать тоску на собственный манер.

Штормовые сигналы Каллиопа вывесил еще с вечера. Он дал пинка своему верному псу на крыльце «Западного отеля» и отказался принести извинения. Он начал обижаться на

собеседников и придирались к ним. Прогуливаясь на свежем воздухе, он то и дело отламывал веточки с месkitовых кустов и свирепо жевал их листья. Это было зловещим предзнаменованием. А те, кто хорошо знал все фазы его ипохондрии, замечали и еще один тревожный признак: он вдруг сделался утонченно любезен и все чаще прибегал к изысканно вежливым фразам. Его обычно пронзительный голос стал хрипловато-вкрадчивым. В его манерах появилась грозная учтивость. Ближе к ночи он уже улыбался кривой улыбкой, вздергивая левый уголок рта, и Зыбучие Пески приготовились занять оборонительные позиции.

Вступив в эту фазу, Каллиопа обычно начинал пить. В конце концов около полуночи было замечено, что он направился в сторону своего жилища, кланяясь встречным с преувеличенной, но не оскорбительной любезностью. Ибо хандра Каллиопы еще не достигла роковой стадии. Теперь он сядет у окна в комнате, которую снимает над парикмахерским салоном Сильвестра, и под нестройные стенания замученной гитары будет до самого утра фальшиво распевать мрачные романсы. Куда более великодушный, чем Нерон, он таким музыкальным вступлением предупреждал Зыбучие Пески о неотвратимом бедствии, которое этому поселку предстояло испытать в самом ближайшем будущем.

До тех пор пока на Каллиопу Кэтсби не находил очередной стих, он оставался нетребовательным, добродушным человеком — настолько, что нетребовательность оборачивалась ленью, а добродушие никчемностью. То есть в лучшие свои минуты он был присяжным бездельником и только мозолил всем глаза, а в худшие — преображался в Грозу Зыбучих Песков. Его официальное занятие было косвенным образом связано с торговлей недвижимостью — он усаживал соблазненных обитателей восточных штатов в тележку и возил их осматривать земельные участки и хозяйственные постройки. Родиной его явно был один из штатов, примыкающих к Мексиканскому заливу, о чем неопровержимо свидетельствовали его долговязая худоба, манера растягивать слова и соответствующие обороты речи.

Однако, приобщившись к Западу, этот томный любитель строгать сосновые дощечки в лавке, куда сходятся потолковать местные мудрецы и философы, этот праздный и безвестный сын хлопковых полей и заросших сумахом холмов Юга сумел прослыть опасным человеком даже среди людей, которые с малых лет трудолюбиво приобщались ко всем тонкостям бесшабашного буйства.

К девяти часам утра Каллиопа полностью созрел. Вдохновленный собственными варварскими завываниями и содержимым кувшина, он приготовился срывать свежие лавры с робкого чела Зыбучих Песков. Опоясанный и обмотанный крест-накрест патронными лентами, обильно изукрашенный револьверами, окутанный винными парами, он выплеснулся на Главную улицу. Рыцарское благородство не позволило ему захватить город врасплох, и, остановившись на первом же углу, он испустил боевой клич — тот жуткий трубный вопль, благодаря которому он утратил крестное имя и стал тезкой домашнего органа, нареченного в честь предводительницы муз, хотя его звуки в немалой степени напоминают паровозный гудок. Вслед за кличем раздались три выстрела из кольта сорок пятого калибра — Каллиопа решил снять орудия с передков, а заодно проверить свою меткость. Рыжая дворняжка, личная собственность полковника Суози, владельца «Западного отеля», издав прощальный визг, упала наземь лапами кверху. Мексиканец, который, выйдя из лавки с бутылкой керосина, неторопливо переходил улицу, завершил свой путь с резвостью призового скакуна, но так и не выпустил из рук горлышка разлетевшейся вдребезги бутылки. Свежепозолоченный флюгерный петух на двухэтажном лимонно-лазоревого особняке судьи Рили задрожал, хлопнул крыльями и беспомощно повис вверх ногами — игрушка шаловливых зефилов.

Артиллерия была в образцовом порядке. Рука Каллиопы не утратила твердости. Теперь им владел привычный воинственный экстаз, правда, не без легкой горечи, знакомой еще Александру Македонскому — зачем его подвиги ограничены крохотным мирком Зыбучих Песков.

Каллиопа шествовал по улице, стреляя направо и налево. Окна рассыпались стеклянным

градом, собаки мгновенно испарялись, куры бросались врассыпную с отчаянным кудактаньем, женские голоса тревожно созывали детей. В этот хаос звуков через правильные промежутки врывалось отрывистое стаккато револьверов Грозы Зыбучих Песков, а время от времени все вокруг заглушал зычный вопль, так хорошо знакомый поселку. Припадки сплина у Каллиопа приравнялись в Зыбучих Песках к воскресным дням: по всей длине Главной улицы приказчики, предвосхищая его приближение, торопливо запирали ставни и двери. Всякая деятельность замирала. Никто не становился Каллиопе поперек дороги, и полное отсутствие сопротивления и разнообразия усугубляло его хандру.

Однако в четырех кварталах дальше по улице шли бойкие приготовления, дабы мистер Кэтсби мог, наконец, удовлетворить свою любовь к обмену комплиментами и хлесткими репликами. Накануне вечером многочисленные вестники не преминули известить Бака Паттерсона, местного шерифа, о близящемся извержении Каллиопа. Терпение этого блюстителя порядка, не раз уже подвергавшееся серьезным испытаниям, наконец, истощилось. В Зыбучих Песках было принято смотреть сквозь пальцы на излишне бурные проявления человеческой природы: если жизни наиболее полезных граждан не расточались слишком уж щедро, а ущерб, наносимый недвижимости, оставался в разумных пределах, общественное мнение не требовало педантичного соблюдения законов. Однако Каллиопа перегнул палку. Его вспышки были настолько частыми и буйными, что не укладывались в рамки нормальной гигиены духа.

Бак Паттерсон сидел в своем тесном дощатом кабинете, ожидая вступительного вопля, возвещающего, что Каллиопа загрустил. Услышав этот сигнал, шериф встал и надел пояс с револьверами. Два его помощника и трое местных обывателей, не раз с честью доказывавшие свои высокие огнестрельные качества, тоже поднялись, готовые обменяться с Каллиопой свинцовыми шуточками.

— Его надо окружить, — сказал Бак Паттерсон, излагая план кампании. — Времени на разговоры не тратьте, а стреляйте сразу, как будет можно. Но только из укрытия. С таким церемониться нечего. Пора Каллиопе откинуть копыта, я так полагаю. Заходите с разных сторон, ребята. Да будьте поосторожней! Во что Каллиопа стреляет, в то он и попадает.

Сдвинув брови, Бак Паттерсон, высокий, мускулистый, с начищенной форменной бляхой на груди синей фланелевой рубахи, давал своим помощникам последние наставления перед атакой на Каллиопа. Он считал, что низвержение Грозы Зыбучих Песков следует произвести по возможности без потерь среди атакующих.

Меланхолический Каллиопа двигался под всеми парами вниз по течению, паля во все стороны и не подозревая о готовящемся возмездии, как вдруг обнаружил прямо по носу зловещие буруны. В полуквартале впереди над ящиками из-под галантереи возникли шериф и его помощник. Они тотчас открыли огонь. И в тот же миг остальные участники облавы, удачно осуществившие обходный маневр, начали бить по Каллиопе из боковых улочек, осторожно подбираясь все ближе к углу.

Первый залп повредил барабан одного из револьверов Каллиопа, аккуратно выщипнул кусочек его правого уха и, взорвав патрон в ленте, пересекавшей его грудь, опалил ему ребра. Это неожиданное тонизирующее средство взбудрило Каллиопа, и, забыв о томлении духа, он издал фортиссимо самую высокую ноту в верхнем регистре. Его ответные выстрелы грянули точно эхо. Столпы закона и порядка нырнули за укрытия, но недостаточно быстро: один из помощников шерифа получил пулю чуть выше локтя, а самому шерифу впила в подбородок щепка, вырванная пулей из ящика, за который он спрятался.

Затем Каллиопа применил против врагов их же тактику. Он покинул позицию на открытой мостовой и, мгновенно определив, из какой улицы огонь ведется наиболее слабо и неуверенно, вторгся в нее ускоренным маршем. Засевший там противник (один помощник шерифа и два доблестных добровольца) с незаурядной хитростью выждал под сенью пивных бочек, пока Каллиопа не пробежал мимо, а тогда обстрелял его с тыла. Мгновение спустя с ними соединился шериф и остальные его люди, после чего Каллиопа стало ясно, что успешно продлить восторги поединка он сумеет, только если найдет способ нейтрализовать

подавляющее численное преимущество противника. Взгляд его упал на строение, которое, казалось, отвечало этой цели, — оставалось только добраться до него.

Это было небольшое здание железнодорожной станции, длиной в двадцать футов и шириной в десять. Высота платформы была четыре фута. Окна имелись во всех стенах. Отличный форт для человека, теснимого превосходящими силами врага.

Каллиопа дерзко бросился туда под градом пуль. Он благополучно достиг облюбованного убежища и занял его — начальник станции покинул помещение через окно, точно белка-летяга, едва гарнизон показался в дверях.

Паттерсон и его помощники устроили военный совет под защитой сложенных штабелем досок. В станционном здании засел неустрашимый нарушитель закона, на редкость меткий стрелок с большим запасом патронов. Осаждаемая крепость находилась посреди пустыря, и в радиусе пятидесяти шагов от нее не было ни единого укрытия. Того, кто рискнул бы появиться на этом голом пространстве, тотчас уложила бы пуля Каллиопы.

Шериф был твердо намерен довести дело до конца. Он решил, что клич Каллиопы больше никогда не будет нарушать покой Зыбучих Песков. Он объявил об этом во всеуслышание. И как официальное лицо, и как человек он считал себя обязанным приглушить музыку лихого инструмента. Слишком уж скверными были мелодии. И тут шериф увидел ручную дрезину для перевозки небольших грузов. Она стояла на рельсах возле навеса, где были сложены мешки с шерстью, которую отправлял в город кто-то из окрестных овцеводов. Осаждающие взвалили на дрезину три плотно набитых мешка, а затем Бак Паттерсон двинулся к форту Каллиопы, толкая перед собой импровизированный парапет и низко пригибаясь. Его отряд рассредоточился и приготовился поразить осажденного, если тот, пытаясь остановить надвигающийся джаггернаут правосудия, рискнет показаться в окне. Однако Каллиопа ограничился всего лишь одной демонстрацией. Он выстрелил, и над надежным бруствером шерифа взлетели клочки шерсти. В стену вокруг окна впились ответные пули осаждающих. Потерь ни та ни другая сторона не понесла.

Управление броненосцем всецело поглощало внимание шерифа, и только почти поравнявшись с платформой, он заметил, что с другой стороны к ней подходит утренний поезд. В Зыбучих Песках поезда стояли ровно минуту. Какая отличная возможность отступления для Каллиопы! Он выскочит в противоположную дверь, прыгнет в вагон, и только они его и видели!

Бак покинул спасительные мешки, взлетел с поднятым револьвером по ступенькам и ворвался в станционное здание, выбив дверь ударом могучего плеча. Его отряд услышал один-единственный выстрел, а потом наступила тишина.

Раненый очнулся и открыл глаза. К нему вернулась способность видеть, слышать, чувствовать и думать. Поглядев по сторонам, он обнаружил, что лежит на деревянной скамье. Над ним растерянно наклонялся высокий человек с большой бляхой, на которой было выгравировано слово «шериф». Щуплая старушка с морщинистым лицом и живыми черными глазами прижимала к его виску мокрый носовой платок. Он вглядывался в эти лица, пытаясь найти связь между ними и всем происшедшим, но тут старушка затараторила:

— Ну вот, ну вот и молодец! Пуля-то вас и не задела вовсе! Пролетела возле самого уха, вот вы вроде как и обмерли. Так бывает, я знаю. Называется кон-фузия. Эйб Уодкинс на белок эдаким манером охотился — глушил их, как он говаривал. Ну, вас немножко и приглушило, сэр, а сейчас все пройдет. Вам ведь уже полегчало, верно? Полежите еще тихонько, а я вам новую примочку на лоб сделаю. Вы меня, конечно, не знаете, да откуда и знать-то? Я на этом самом поезде приехала из Алабамы повидать сыночка. Вон он у меня какой большой вымахал. И не поверишь, что я его на руках носила, ведь верно? Вот он какой, мой сыночек, сэр.

Старушка оглянулась через плечо на высокого мужчину, и ее лицо просияло гордой радостью. Мозолистая рука со вздутыми венами ласково погладила руку сына. Потом старушка снова обмакнула платок в жестяной тазик, взятый с умывальника в зале ожидания, ободряюще улыбнулась и приложила примочку к виску своего пациента. Она повторила это

несколько раз, ни на секунду не прерывая добродушной старческой болтовни.

— Я моего сыночка уже восемь лет как не видела, — продолжала она. — Один мой племянник, Эл Прайс — он кондуктором служит на железной дороге — раздобыл мне бумагу на бесплатный проезд сюда и обратно. Она семь дней годится, так я тут целую неделю погощу. Только подумать, малыш-то мой стал шерифом и наводит порядок в целом городе! Это ведь вроде как начальник полиции, верно? А я-то знать не знала! И письма мне писал, а хоть бы словечком обмолвился. Боялся небось, что старуха мать напугается, как бы с ним чего дурного не приключилось. Да господи боже ты мой, я ведь не из пугливых. От страху толку мало. Выхожу я, из вагона-то, и слышу — стреляют. Потом гляжу, из окна станции дым валит, а я знай себе иду потихонечку. Тут, смотрю, в окошке-то — мой сыночек. Я его сразу узнала. Встретил он меня в дверях и чуть что не задушил, обнимая-то. А вы лежите, сэр, прямо что твой покойник. Вот я и взялась за дело, чтоб вас в чувство привести.

— Пожалуй, я сяду, — сказал контуженный. — Все уже прошло.

Он сел, но тут же от слабости прислонился к стене. Он был крепко сложен и широкоплеч. Его глаза, зоркие и внимательные, были устремлены на человека, который неподвижно стоял перед ним. Он то всматривался в его лицо, то переводил взгляд на бляху со словом «шериф».

— Да-да, все у вас будет хорошо, — сказала старушка, похлопывая его по руке. — Только вы уж теперь постарайтесь не доводить людей до того, чтоб они в вас стреляли. Сынок мой рассказал мне про вас, пока вы тут на полу без чувств лежали. Вы на меня, старуху, не обижайтесь, что я так с вами разговариваю, вы ведь мне тоже в сыновья годитесь. И на сынка моего сердца не держите, что он в вас стрелял. Шериф, он ведь должен стоять за порядок и закон, уж такая его обязанность. А если кто ведет скверную жизнь и поступает по-нехорошему, так пусть за это расплачивается. И вы, сэр, на моего сына не пеняйте, он тут не виноват. Он всегда был хорошим мальчиком — добрым, послушным, благонаравным. Таким вот он и вырос. Послушайте моего совета, сэр, не делайте вы больше так. Будьте хорошим человеком, не пейте, живите себе мирно, по-божьи. Держитесь подальше от дурных друзей, работайте честно и спите сладко.

И старушка просительно прикоснулась рукой в черной митенке к груди человека, которого старалась убедить. Морщинистое изможденное лицо дышало искренностью и добротой. Эта женщина в порыжелом черном платье и допотопной шляпке, чья долгая жизнь приближалась к концу, словно олицетворяла собой опыт всего человечества. Но тот, к кому она обращалась, по-прежнему не сводил глаз с безмолвного сына старой матери.

— А что скажет шериф? — спросил он. — Как он думает, хорош ли такой совет? Может, шериф все-таки скажет, согласен ли он с ним?

Высокий неловко передернул плечами. Он покрутил бляху на груди, а потом обнял старушку и притянул ее к себе. Она улыбнулась улыбкой, которая и на седьмом десятке лет оставалась все той же, извечно материнской, и все время, пока ее сын говорил, гладила его крупную загорелую руку скрюченными пальцами в черной митенке.

— Я вот что скажу, — начал он, глядя прямо в глаза сидящему на скамье. — На твоём месте я бы этот совет принял. Будь я пропащим пьяницей без стыда и чести, я бы его принял. Будь я на твоём месте, а ты на моем, я бы сказал: «Шериф, коли ты мне поверишь, я клятву дам со всем этим покончить. И пить не буду, и буянить, и стрельбу устраивать. Я стану порядочным человеком, возьмусь за работу, а глупости свои брошу. Бог мне свидетель!» Вот что я бы тебе сказал, будь ты шериф и окажись я на твоём месте.

— Послушайте моего сынка, — ласково сказала старушка. — Послушайте его, сэр. Обещайте жить по-хорошему, и он вам ничего не сделает. Ведь он каким честным родился сорок лет назад, таким и до сих пор остался.

Сидящий встал со скамьи и потянулся, разминая мышцы.

— Ну, если бы ты был на моем месте и сказал бы вот так, — произнес он решительно, — то я, будь я шерифом, ответил бы: «Иди и постарайся сдержать слово».

— Ах ты господи! — внезапно засуетилась старушка. — Да как же это я забыла про мой сундучок-то! Только его кондуктор поставил на платформу, как я увидела сыночка в окне, ну

и прямо из головы вон. А в сундучке ведь восемь банок айвового варенья! Я сама его варила, и так мне жалко будет, если банки побьются!

И она бодро засеменила к двери. Когда она вышла, Каллиопа Кэтсби сказал Баку Паттерсону:

— Ты уж извини, Бак. Я увидел в окошко, как она идет по платформе. А она ведь ничего не слыхала про мои художества. Ну, у меня прямо дух перехватило. Вот, думаю, сейчас она узнает, что я последняя тварь и на меня облавы устраивают. Ну а ты лежишь тут замертво от моей пули. И меня прямо как стукнуло. Взял я твою бляху и приспособил ее себе на грудь, а тебе приспособил мою славу. Я ей сказал, Бак, что я — шериф, а ты — здешняя язва. Бляху я сейчас тебе отдам.

И он трясущимися пальцами стал отстегивать бляху.

— Да погоди ты! — сказал Бак Паттерсон. — И думать не смей ее снимать, Каллиопа Кэтсби. Так и ходи с ней, пока твоя мать отсюда не уедет. До тех пор будешь шерифом Зыбучих Песков, понял? Я обойду город, потолкую с людьми, и никто ей не проболтается, можешь быть спокоен. И вот что, дубовая твоя башка, оголтелый ты сын взбесившегося торнадо, смотри, выполняй совет, который она дала мне. Я и сам кое-что себе на ус намотал.

— Бак, — с чувством произнес Каллиопа, — да будь я трижды...

— Прикуси язык, — сказал Бак. — Вон она возвращается.

Примечания

Сердце и крест (Hearts and Crosses), 1904. На русском языке под названием «Принц-супруг» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Выкуп (The ransom of Mack), 1904. На русском языке под названием «Как я выкупил Мака» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Друг Телемак (Telemachus Friend), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Справочник Гименея (The Handbook of Hymen), 1906. На русском языке под названием «Настольное руководство Гименея» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Пимиевские блинчики (The Pimienla Pancakes), 1903. На русском языке под названием «Блинчики» в книге: О. Генри. Американские рассказы. М. — Пг., 1923, пер. В. Азова.

Поставщик седел (Seats of the haughty), 1906. На русском языке под названием «Около сильных мира сего» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Санаторий на ранчо (Hygeia at the Solito), 1903. На русском языке под названием «Пленник фермы Солито» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915. Этот рассказ О. Генри написан в тюремные годы.

Королева змей (An afternoon miracle), 1902. На русском языке под названием «Чудо» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Кудряш (The higher abidction), 1906. На русском языке под названием «Высшее отречение» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Купидон порционно (Cupid a la Carte), 1902. На русском языке под названием «Любовь и желудок» в книге: О. Генри. Американские рассказы. М. — Пг., 1923, пер. В. Азова.

Как истый кабалеро (The Caballero's Way), 1907. На русском языке под названием «По-кавалерски» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Яблоко сфинкса (The Sphinx Apple), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. Американские рассказы. М. — Пг., 1923, пер. В. Азова.

Пианино (The missing chord), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

По первому требованию (A Call Loan), 1903. На русском языке под названием «Краткосрочный заем» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Принцесса и пума (The Princess and the Puma), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Бабье лето Джонсона Сухого Лога (The Indian Summer of Dry Valley, Johnson), 1907. На русском языке в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Елка с сюрпризом (Christmas by injunction), 1904. На русском языке под названием «Рождество по заказу» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Сказочный принц (A chapparal prince), 1903. На русском языке под названием «Степной принц» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Возрождение Каллиопы (The Reformation of Calliope), 1904. На русском языке под названием «Укрощение строптивого» в книге: О. Генри. Душа Техаса. Пг., 1923, пер. К Жигаревой. Этот рассказ О. Генри был «откуплен» у него газетным синдикатом и опубликован в один и тот же день в воскресных выпусках многотиражных газет в Нью-Йорке, Бостоне, Вашингтоне, Чикаго и еще в пяти крупнейших городах США.

Голос большого города

Голос большого города

Перевод И. Гуровой

Четверть века тому назад школьники имели обыкновение учить уроки нараспев. Их декламационная манера представляла собой нечто среднее между звучным речитативом епископального священника и зудением утомленной лесопилы. Я говорю это со всем уважением. Ведь доски и опилки — вещь весьма полезная и нужная.

Мне вспоминается прелестный и поучительный куплет, оглашавший наш класс на уроках анатомии. Особенно незабываемой была строка: «Берцо-овая кость есть длинне-ейшая кость в челове-е-ческом те-еле».

Как было бы чудесно, если бы вот так же мелодично и логично внедрялись в наши юные умы все относящиеся к человеку телесные и духовные факты! Но скуден был урожай, который мы собрали на ниве анатомии, музыки и философии.

На днях я зашел в тупик. И мне нужен был путеводный луч. В поисках его я обратился к

своим школьным дням. Но среди всех хранящихся в моей памяти гнусавых песнопений, которые мы некогда возносили со своих жестких скамей, ни одно не трактовало о совокупном голосе человечества.

Иными словами — об объединенных устных излияниях людских конгломератов.

Иными словами — о Голосе Большого Города.

В индивидуальных голосах недостатка не наблюдается. Мы понимаем песнь поэта, лепет ручейка, побуждение человека, который просит у нас пятерку до понедельника, надписи в гробницах фараонов, язык цветов, «поживей-поживей» кондуктора и увертюру молочных бидонов в четыре часа утра. А кое-какие большеухие утверждают даже, будто им вняты вибрации барабанных перепонок, возникающие под напором воздушных волн, которые производит мистер Г.Джеймс.⁴⁷ Но кто способен постигнуть Голос Большого Города? И я отправился искать ответа на этот вопрос. Начал я с Аврелии. На ней было легкое платье из белого муслина, все в трепетании лент, и шляпа с васильками.

— Как по-вашему, — спросил я, запинаясь, ибо собственного голоса у меня нет, — что говорит этот наш большой... э... огромный... э-э... ошеломительный город? Ведь должен же у него быть голос! Говорит ли он с вами? Как вы толкуете смысл его речей? Он колоссален, но и к нему должен быть ключ.

— Как у дорожного сундука? — осведомилась Аврелия.

— Нет, — сказал я. — Сундуки тут ни при чем. Мне пришло в голову, что у каждого города должен быть свой голос. Каждый из них что-то говорит тем, кто способен услышать. Так что же говорит вам Нью-Йорк?

— Все города, — вынесла свой приговор Аврелия, — говорят одно и то же. А когда они умолкают, доносится эхо из Филадельфии. И значит, они единодушны.

— Мы имеем тут, — сказал я наставительно, — четыре миллиона человек, втиснутых на островок, состоящий главным образом из простаков, омываемых волнами Уоллстрита. Скопление столь огромного числа простых элементов на столь малом пространстве не может не привести к возникновению некоей личности, а вернее — некоего однородного единства, устное самовыражение которого происходит через некий же общий рупор. Проводится, так сказать, непрерывный референдум, и его результаты фиксируются во всеобъемлющей идее, которая открывается нам через посредство того, что можно назвать Голосом Большого Города. Так не могли бы вы сказать мне, что это, собственно, такое?

Аврелия улыбнулась своей неизъяснимой улыбкой. Она сидела на маленькой веранде. Веточка нахального плюща поглаживала ее правое ушко. Бесцеремонный лунный луч играл на ее носу. Но я был тверд, я был покрыт броней долга.

— Придется мне пойти и выяснить раз и навсегда, что же такое Голос нашего города, — заявил я. — Ведь у других городов голоса есть! Я должен выяснить, что тут и как. Поручение редактора. И пусть Нью-Йорк, — продолжал я воинственно, — не пробует совать мне сигару со словами: «Извините, старина, но я не даю интервью». Другие города так не поступают. Чикаго говорит без колебаний: «Добьюсь!» Филадельфия говорит: «Надо бы». Новый Орлеан говорит: «В мое время». Луисвилл говорит: «Почему бы и нет». Сент-Луис говорит: «Прошу прощения». Питтсбург говорит: «Подымим?» А вот Нью-Йорк...

Аврелия улыбнулась.

— Ну хорошо, — сказал я. — В таком случае мне придется пойти куда-нибудь еще.

Я зашел в питейный дворец — полы выложены мрамором, потолки сплошь в амурчиках, и с полицией полный ажур. Поставив ногу на латунный барьер, я сказал Биллу Магнусу, лучшему бармену епархии:

— Билли, ты живешь в Нью-Йорке много лет, так какой же музыкой ублажает тебя старик? То есть я вот о чем: не замечаешь ли ты, что его гомон вроде как собирается в один

⁴⁷ Джеймс Генри (1843–1916) — американский писатель, долго живший в Европе. В 1905 г. совершил поездку по США, где выступал с публичными лекциями.

комков, катится к тебе по стойке, словно объединенные чаевые, и попадает в цель, точно эпиграмма, крепленная горькой настойкой, и с ломтиком...

— Я сейчас, — сказал Билли. — Кто-то жмет на звонок у черного хода.

Он вышел, затем вернулся с пустым жестяным бидончиком, наполнил его, вновь скрылся, опять вернулся и сказал мне:

— Это Мэйми приходила. Она всегда звонит два раза. Любит хлебнуть за ужином пивка. И малыш тоже. Видели бы вы, как этот паршивец выпрямится на своем стульчике, возьмет кружечку с пивом и... Да, а вы-то чего спрашивали? Как услышу эти два звонка, так все начисто из головы вылетает. Вы бейсбольным счетом интересовались или вам джина с сельтерской?

— Лимонада, — уточнил я.

Я вышел на Бродвей. На углу стоял полицейский. Полицейские берут детей на руки, старушек под локоть, а мужчин на цугундер.

— Если я не слишком нарушаю тишину и порядок, — сказал я, — то мне хотелось бы задать вам вопрос. Вы наблюдаете Нью-Йорк в самые звучные его часы. Вы и ваши собраты по мундиру существуете, в частности, для того, чтобы оберегать его акустику. И значит, имеется некий внятный вам городской глас. Вы, конечно, слышали его во время ночных обходов по пустым улицам. Какова же субстанция его шумного бурления и гвалта? Что говорит вам город?

— Друг, — сказал полицейский, поигрывая дубинкой, — стану я его слушать! Я ему не подчинен, у меня свое начальство есть. Знаете что, вы как будто человек надежный. Пойдите тут минутку и последите, а то, не дай бог, сержант нагрянет.

Полицейский растворился во мраке переулка. Через десять минут он вернулся.

— Только во вторник поженились, — сказал он отрывисто. — Вы же знаете, какие они. Приходит туда на угол каждый вечер в девять часов поце... перекинуться словечком. А я уж как-нибудь да исхитрюсь быть там вовремя. Погодите-ка, о чем это вы меня спрашивали? Что нового в городе? Ну, вот только что в двенадцати кварталах отсюда открылись два сада на крышах.

Я пересек веер трамвайных путей и пошел вдоль тенистого парка. Позолоченная Диана на башенке,⁴⁸ гордая, легкая, покорная лишь ветру, сверкала в ярких лучах своей небесной тески. И вдруг откуда ни возьмись передо мной возник знакомый поэт в новой шляпе на тщательно расчесанных волосах и устремился дальше, благоухая дактилями, спондеями и духами. Я вцепился в него.

— Билл! — сказал я (под стихами он подписывается «Клеон»). — Подбрось мыслишку! Мне поручено установить, что такое Голос Большого Города. Личное поручение редактора. При обычных обстоятельствах можно было бы обойтись компотом из взглядов Генри Клуса, Джона Л. Салливана, Эдвина Маркхема, Мей Ирвин и Чарлза Суоба.⁴⁹ Но тут случай особый. Нам требуется широчайшая, поэтическая, мистическая вокализация души города, его сути. Уж тебе-то здесь и книги в руки. Года три-четыре назад один человек побывал на Ниагарском водопаде и сообщил нам, какую ноту он выводит. Так она на два фута ниже самого нижнего «соль» у рояля. Ну а у Нью-Йорка, сам знаешь, не столько ноты, сколько банкноты. Но как тебе кажется, что бы он сказал, если бы вдруг заговорил? Это, конечно, будет нечто колоссальное, оглушающее. Нам нужно взять грохочущие аккорды дневного уличного движения, смех и музыку ночи, торжественные модуляции преподобного доктора Паркхерста,⁵⁰ рэгтайм, рыдания, вкрадчивый шорох колес, крики газетчиков, журчание

⁴⁸ Здание Мэдисон-сквер-гарден увенчано башенкой, на которой возвышается огромная статуя Дианы.

⁴⁹ Здесь О. Генри дает имена финансиста, боксера, поэта, актрисы и стального магната.

⁵⁰ Чарлз Паркхерст, священник, много лет служил в фешенебельной церкви на Мэдисон-сквере.

фонтанов в садах на крышах, зазывные вопли лоточников, а также обложек «Журнала для всех» и еще шепот влюбленных в парках — вот какие звуки требуются для искомого голоса, но их не надо сбивать, а только смешать, из смеси сделать эссенцию, а из эссенции экстракт — воспринимаемый на слух экстракт, капля которого и будет тем, что нам требуется.

— Помнишь ту девочку из Калифорнии, с которой мы познакомились в студии Стайвера на прошлой неделе? — спросил поэт с блаженным смешком. — Я как раз иду к ней. Она читает наизусть мои стихи «Дань весны» без единой ошибки. Второй такой во всем городе не найдется. Как этот чертов галстук выглядит — ничего? Я четыре штуки измочалил, пока удалось завязать приличный узел.

— Ну а что ты все-таки скажешь насчет Голоса? — настаивал я.

— Петь она не поет, — ответил Клеон. — Но слышал бы ты, как она декламирует моего «Ангела утреннего бриза».

Я пошел дальше. И ухватил мальчишку-газетчика, а он взмахнул передо мной пророческими розовыми листами, которые обгоняют самые свежие новости на два оборота самой длинной часовой стрелки.

— Сынок, — сказал я, делая вид, будто нащупываю в кармане мелкую монету, — а тебе порой не кажется, что Нью-Йорк умеет говорить? Знаешь, все эти ежедневные происшествия и загадочные события, удачи и крахи — что, по-твоему, он сказал бы, если бы был наделен даром речи?

— Хватит языком трепать, — буркнул мальчишка. — Какую газету берете? Мне с вами растабарывать некогда. У Мэгги день рождения, и мне нужно тридцать центов ей на подарок.

Нет, и этот не годился в толмачи! Я купил газету и отправил ее незаконченные международные договоры, задуманные убийства и еще не состоявшиеся битвы в мусорную урну.

И вновь я удалился в парк под лунную сень. Я сидел там и думал, думал и ломал голову над тем, почему никто так мне ничего дельного и не сказал.

И вдруг со скоростью света далекой звезды меня осенил ответ. Я вскочил и бросился бегом назад — назад по тому же кругу, подобно многим и многим любителям рассуждать. Я нашел отгадку, и бережно скрыл ее в сердце, и бежал во всю прыть, опасаясь, что меня остановят и отнимут мою тайну.

Аврелия все еще сидела на веранде. Луна поднялась выше, и тень плюща стала чернее. Я сел рядом с Аврелией, и мы вместе смотрели, как легкое облачко нацелилось в плывущую луну и распалось надвое, совсем бледное и обескураженное.

И тут — о чудо из чудес, о блаженство из блаженств! — наши руки неведомо как соприкоснулись, наши пальцы сплелись и остались сплетенными.

Полчаса спустя Аврелия произнесла, улыбнувшись своей неизъяснимой улыбкой:

— А знаете, ведь вы с той минуты, как вернулись, еще ни одного слова не сказали.

— Это и есть, — сказал я, умудренно кивнув, — Голос Большого Города.

Один час полной жизни

Перевод Н. Дарузес

Существует поговорка, что тот еще не жил полной жизнью, кто не знал бедности, любви и войны. Справедливость такого суждения должна прельстить всякого любителя сокращенной философии. В этих трех условиях заключается все, что стоит знать о жизни. Поверхностный мыслитель, возможно, счел бы, что к этому списку следует прибавить еще и богатство. Но это не так. Когда бедняк находит за подкладкой жилета давным-давно провалившуюся в прореху четверть доллара, он забрасывает лот в такие глубины жизненной радости, до каких не добраться ни одному миллионеру.

По-видимому, так распорядилась мудрая исполнительная власть, которая управляет

жизнью, что человек неизбежно проходит через все эти три условия; и никто не может быть избавлен от всех трех.

В сельских местностях эти условия не имеют такого значения. Бедность гнетет меньше, любовь не так горяча, война сводится к дракам из-за соседской курицы или границы участка. Зато в больших городах наш афоризм приобретает особую правдивость и силу, и некоему Джону Гопкинсу досталось в удел испытать все это на себе в сравнительно короткое время.

Квартира Гопкинса была такая же, как тысячи других. На одном окне стоял фикус, на другом сидел блохастый терьер, изнывая от скуки.

Джон Гопкинс был такой же, как тысячи других. За двадцать долларов в неделю он служил в девятиэтажном кирпичном доме, занимаясь не то страхованием жизни, не то подъемниками Бокля, а может быть, педикюром, ссудами, блоками, переделкой горжеток, изготовлением искусственных рук и ног или же обучением вальсу в пять уроков с гарантией. Не наше дело догадываться о призвании мистера Гопкинса, судя по этим внешним признакам.

Миссис Гопкинс была такая же, как тысячи других. Золотой зуб, склонность к сидячей жизни, охота к перемене мест по воскресеньям, тяга в гастрономический магазин за домашними лакомствами, погоня за дешевкой на распродажах, чувство превосходства по отношению к жилище третьего этажа с настоящими страусовыми перьями на шляпке и двумя фамилиями на двери, тягучие часы, в течение которых она липла к подоконнику, бдительное уклонение от визитов сборщика взносов за мебель, неутомимое внимание к акустическим эффектам мусоропровода — все эти свойства обитательницы нью-йоркского захолустья были ей не чужды.

Еще один миг, посвященный рассуждениям, — и рассказ двинется с места.

В большом городе происходят важные и неожиданные события. Заворачиваешь за угол и попадаешь острием зонта в глаз старому знакомому из Кутни-Фоллс.

Гуляешь в парке, хочешь сорвать гвоздику — и вдруг на тебя нападают бандиты, «скорая помощь» везет тебя в больницу, ты женишься на сиделке; разводишься, перебиваешься кое-как с хлеба на квас, стоишь в очереди в ночлежку, женишься на богатой наследнице, отдаешь белье в стирку, платишь членские взносы в клуб — и все это в мгновение ока. Бродишь по улицам, кто-то манит тебя пальцем, роняет к твоим ногам платок, на тебя роняют кирпич, лопается трос в лифте или твой банк, ты не ладишь с женой или твой желудок не ладит с готовыми обедами — судьба швыряет тебя из стороны в сторону, как кусок пробки в вине, откупоренном официантом, которому ты не дал на чай. Город — жизнерадостный малыш, а ты — красная краска, которую он слизывает со своей игрушки.

После уплотненного обеда Джон Гопкинс сидел в своей квартире строгого фасона, тесной, как перчатка. Он сидел на каменном диване и сытыми глазами разглядывал «Искусство на дом» в виде картинки «Буря», прикрепленной кнопками к стене. Миссис Гопкинс вялым голосом жаловалась на кухонный чад из соседней квартиры. Блохастый терьер человеконенавистнически покосился на Гопкинса и презрительно обнажил клыки.

Тут не было ни бедности, ни войны, ни любви; но и к такому бесплодному стволу можно привить эти три основы полной жизни.

Джон Гопкинс попытался вклеить изюминку разговора в пресное тесто существования.

— В конторе ставят новый лифт, — сказал он, отбрасывая личное местоимение, — а шеф начал отпускать бакенбарды.

— Да что ты говоришь! — отозвалась миссис Гопкинс.

— Мистер Уиплз пришел нынче в новом весеннем костюме. Мне очень даже нравится. Такой серый, в... — Он замолчал, вдруг почувствовав, что ему захотелось курить. — Я, пожалуй, пройду до угла, куплю себе сигару за пять центов, — заключил он.

Джон Гопкинс взял шляпу и направился к выходу по затхлым коридорам и лестницам доходного дома.

Вечерний воздух был мягок, на улице звонко распевали дети, беззаботно прыгая в такт непонятым словам напева. Их родители сидели на порогах и крылечках, покуривая и болтая на досуге. Как это ни странно, пожарные лестницы давали приют влюбленным парочкам,

которые раздували начинающийся пожар, вместо того чтобы потушить его в самом начале.

Табачную лавочку на углу, куда направлялся Джон Гопкинс, содержал некий торговец по фамилии Фрешмейер, который не ждал от жизни ничего хорошего и всю землю рассматривал как бесплодную пустыню. Гопкинс, не знакомый с хозяином, вошел и добродушно спросил «пучок шпината, не дороже трамвайного билета». Этот неуместный намек только усугубил пессимизм Фрешмейера; однако он предложил покупателю товар, довольно близко отвечавший требованию. Гопкинс откусил кончик сигары и закурил ее от газового рожка. Сунув руку в карман, чтобы заплатить за покупку, он не нашел там ни цента.

— Послушайте, дружище, — откровенно объяснил он. — Я вышел из дому без мелочи. Я вам заплачу в первый же раз, как буду проходить мимо.

Сердце Фрешмейера дрогнуло от радости. Этим подтверждалось его убеждение, что весь мир — сплошная мерзость, а человек есть ходячее зло. Не говоря худого слова, он обошел вокруг прилавка и с кулаками набросился на покупателя. Гопкинс был не такой человек, чтобы капитулировать перед впавшим в пессимизм лавочником. Он моментально подставил Фрешмейеру золотисто-лиловый синяк под глазом в уплату за удар, нанесенный сгоряча любителем наличных.

Стремительная атака неприятеля отбросила Гопкинса на тротуар. Там и разыгралось сражение: мирный индеец со своей деревянной улыбкой⁵¹ был повержен в прах, и уличные любители побоищ столпились вокруг, созерцая этот рыцарский поединок.

Но тут появился неизбежный полисмен, что предвещало неприятности и обидчику и его жертве. Джон Гопкинс был мирный обыватель и по вечерам сидел дома, решая ребусы, однако он был не лишен того духа сопротивления, который разгорается в пылу битвы. Он повалил полисмена прямо на выставленные бакалейщиком товары, а Фрешмейеру дал такую затрещину, что тот пожалел было, зачем он не завел обыкновения предоставлять хотя бы некоторым покупателям кредит до пяти центов. После чего Гопкинс бросился бегом по тротуару, а в погоню за ним — табачный торговец и полисмен, мундир которого наглядно доказывал, почему на вывеске бакалейщика было написано: «Яйца дешевле, чем где-либо в городе».

На бегу Гопкинс заметил, что по мостовой, держась наравне с ним, едет большой низкий гоночный автомобиль красного цвета. Автомобиль подъехал к тротуару, и человек за рулем сделал Гопкинсу знак садиться. Он вскочил на ходу и повалился на мягкое оранжевое сиденье рядом с шофером. Большая машина, фыркающая все глуше, летела, как альбатрос, уже свернув с улицы на широкую авеню.

Шофер вел машину, не говоря ни слова. Автомобильные очки и дьявольский наряд водителя маскировали его как нельзя лучше.

— Спасибо, друг, — благодарно обратился к нему Гопкинс. — Ты, должно быть, и сам честный малый, тебе противно глядеть, когда двое нападают на одного. Еще немножко, и мне пришлось бы плохо.

Шофер и ухом не повел — будто не слышал. Гопкинс передернул плечами и стал жевать сигару, которую так и не выпускал из зубов в продолжение всей свалки.

Через десять минут автомобиль влетел в распахнутые настежь ворота изящного особняка и остановился. Шофер выскочил из машины и сказал:

— Идите скорей. Мадам объяснит все сама. Вам оказывают большую честь, мсье. Ах, если бы мадам поручила это Арману! Но нет, я всего-навсего шофер.

Оживленно жестикулируя, шофер провел Гопкинса в дом. Его впустили в небольшую, но роскошно убранную гостиную. Навстречу им поднялась дама, молодая и прелестная, как видение. Ее глаза горели гневом, что было ей весьма к лицу. Тоненькие, как ниточки, сильно изогнутые брови красиво хмурились.

— Мадам, — сказал шофер, низко кланяясь, — имею честь докладывать, что я был у

⁵¹ У дверей табачных лавок в США было принято ставить деревянную раскрашенную фигуру индейца.

мсье Лонга и не застал его дома. На обратном пути я увидел, что вот этот джентльмен, как это сказать, бьется с неравными силами — на него напали пять... десять... тридцать человек, и жандармы тоже. Да, мадам, он, как это сказать, побил одного... три... восемь полисменов. Если мсье Лонга нет дома, сказал я себе, то этот джентльмен так же сможет оказать услугу мадам, и я привез его сюда.

— Очень хорошо, Арман, — сказала дама, — можете идти. — Она повернулась к Гопкинсу. — Я посылала шофера за моим кузеном, Уолтером Лонгом. В этом доме находится человек, который обращался со мной дурно и оскорбил меня. Я пожаловалась тете, а она смеется надо мной. Арман говорит, что вы храбры. В наше прозаическое время мало таких людей, которые были бы и храбры и рыцарски благородны. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь?

Джон Гопкинс сунул окурок сигары в карман пиджака и, взглянув на это очаровательное существо, впервые в жизни ощутил романтическое волнение. Это была рыцарская любовь, вовсе не означавшая, что Джон Гопкинс изменил квартирке с блохастым терьером и своей подруге жизни. Он женился на ней после пикника, устроенного вторым отделением союза этикетчиц, поспорив со своим приятелем Билли Макманусом на новую шляпу и порцию рыбной солянки. А с этим неземным созданием, которое молило его о помощи, не могло быть и речи о солянке; что же касается шляп, то лишь золотая корона с брильянтами была ее достойна!

— Слушайте, — сказал Джон Гопкинс, — вы мне только покажите этого парня, который действует вам на нервы. До сих пор я, правда, не интересовался драться, но нынче вечером никому не спущу.

— Он там, — сказала дама, указывая на закрытую дверь. — Идите. Вы уверены, что не боитесь?

— Я? — сказал Джон Гопкинс. — Дайте мне только розу из вашего букета, ладно?

Она дала ему красную-красную розу. Джон Гопкинс поцеловал ее, воткнул в жилетный карман, открыл дверь и вошел в комнату. Это была богатая библиотека, освещенная мягким, но сильным светом. В кресле сидел молодой человек, погруженный в чтение.

— Книжки о хорошем тоне — вот что вам нужно читать, — резко сказал Джон Гопкинс. — Подите-ка сюда, я вас проучу. Да как вы смеете грубить даме?

Молодой человек слегка изумился, после чего он томно поднялся с места, ловко схватил Гопкинса за руки и, невзирая на сопротивление, повел его к выходу на улицу.

— Осторожнее, Ральф Бранскомб! — воскликнула дама, которая последовала за ними. — Обращайтесь осторожней с человеком, который доблестно пытался защитить меня.

Молодой человек тихонько вытолкнул Джона Гопкинса на улицу и запер за ним дверь.

— Бесс, — сказал он спокойно, — напрасно ты читаешь исторические романы. Каким образом попал сюда этот субъект?

— Его привез Арман, — сказала молодая дама. — По-моему, это такая низость с твоей стороны, что ты не позволил мне взять сенбернара. Вот потому я и послала Армана за Уолтером. Я так рассердилась на тебя.

— Будь благоразумна, Бесс, — сказал молодой человек, беря ее за руку. — Эта собака опасна. Она перекусила уже нескольких человек на псарне. Пойдем лучше скажем тете, что мы теперь в хорошем настроении.

И они ушли рука об руку.

Джон Гопкинс подошел к своему дому. На крыльце играла пятилетняя дочка истопника. Гопкинс дал ей красивую красную розу и поднялся к себе.

Миссис Гопкинс лениво заворачивала волосы в папильотки.

— Купил себе сигару? — спросила она равнодушно.

— Конечно, — сказал Гопкинс, — и еще прошелся немножко по улице. Вечер хороший.

Он уселся на каменный диван, достал из кармана окурок сигары, закурил его и стал рассматривать грациозные фигуры на картине «Буря», висевшей против него на стене.

— Я тебе говорил про костюм мистера Уиплза, — сказал он. — Такой серый, в мелкую,

совсем незаметную клеточку, и сидит отлично.

Грошовый поклонник

Перевод Р. Гальпериной

В этом гигантском магазине, Магазине с большой буквы, служили три тысячи девушек, в том числе и Мэйзи. Ей было восемнадцать лет, и она работала в отделе мужских перчаток. Здесь она хорошо изучила две разновидности человеческого рода — мужчин, которые вольны пойти в магазин и купить себе перчатки, и женщин, которые покупают перчатки для подневольных мужчин. Знание человеческой души восполнялось у Мэйзи и другими полезными сведениями. К ее услугам был житейский опыт остальных двух тысяч девятиста девяти продавщиц, которые не делали из него тайны, и Мэйзи копила этот опыт в недрах своей души, непроницаемой и осторожной, как душа мальтийской кошки. Быть может, природа, зная, что Мэйзи не у кого будет спросить разумного совета, наделила ее, вместе с красотой, некоторой спасительной долей лукавства, как черно-бурой лисе с ее ценной шкуркой она отпустила дополнительную, по сравнению с другими животными, дозу хитрости.

Ибо Мэйзи была красавица. Блондинка, с пышными волосами теплого, золотистого оттенка, она обладала царственной осанкой стройной богини, которая на глазах у публики печет в витрине олады. Когда Мэйзи, стоя за прилавком, обмеряла вам руку, вы мысленно называли ее Гебой, а когда вам снова можно было поднять глаза, вы спрашивали себя, откуда у нее взор Минервы.

Пока заведующий отделом не замечал Мэйзи, она сосала леденцы, но стоило ему взглянуть в ее сторону, как она с мечтательной улыбкой закатывала глаза к небу.

О, эта улыбка продавщицы! Бегите от нее, если только охладевшая кровь, коробка конфет и многолетний опыт не охраняют вас от стрел Купидона. Эта улыбка — не для магазина, и Мэйзи откладывала ее на свои свободные часы. Но для заведующего отделом никакие законы не писаны. Это — Щейлок в мире магазинов. На хорошеньких девушек он глядит, как глядит на пассажиров таможенный досмотрщик, напоминая: «Не подмажешь — не поедешь». Разумеется, есть и приятные исключения. На днях газеты сообщали о заведующем, которому перевалило за восемьдесят.

Однажды Ирвинг Картер, художник, миллионер, поэт и автомобилист, случайно попал в Магазин: пострадал, надо сказать, совсем невинно. Сыновний долг схватил его за шиворот и повлек на поиски мамы, которая, разнежившись в обществе бронзовых амуров и фаянсовых пастушек, увлеклась беседой с приказчиком.

Чтобы как-нибудь убить время, Картер отправился покупать перчатки. Ему и в самом деле нужны были перчатки, свои он забыл дома. Впрочем, нам нет нужды оправдывать нашего героя, ведь он понятия не имел, что покупка перчаток — это предлог для флирта.

Но, едва вступив в роковой предел, Картер внутренне содрогнулся, впервые увидев воочию одно из тех злчных мест, где Купидон одерживает свои более чем сомнительные победы.

Трое или четверо молодцов бесшабашного вида, разодетые в пух и прах, наклонившись над прилавком, возились с перчатками, этими коварными сводницами, между тем как продавщицы возбужденно хихикали, с готовностью подыгрывая своим партнерам на дребезжащей струне кокетства. Картер приготовился бежать — но какое там... Мэйзи, стоя у прилавка, устремила на него вопрошающий взор своих прекрасных холодных глаз, чья лучезарная синева напомнила ему сверкание айсберга, дрейфующего под ярким летним солнцем где-нибудь в Океании.

И тогда Ирвинг Картер, художник, миллионер и т. д., почувствовал, что его благородная бледность сменяется густым румянцем. Но не скромность зажгла эту краску — скорее рассудок! Он вдруг увидел, что оказался поставленным на одну доску с этими заурядными

молодцами, которые, склонившись над соседними прилавками, добивались благосклонности смешливых девиц. Разве и сам он не стоит здесь, у прилавка, как данник плебейского Купидона, разве и он не жаждет благосклонности какой-то продавщицы? Так чем же отличается он от любого из этих Биллов, Джеков или Микки? И в Картере вдруг проснулось сочувствие к этим его младшим братьям — вместе с презрением к предрассудкам, в которых он был взращен, и твердой решимостью назвать этого ангела своим.

Итак, перчатки были завернуты и оплачены, а Картер все еще не решался уйти. В уголках прелестного ротика Мэйзи яснее обозначились ямочки. Ни один мужчина, купивший у нее перчатки, не уходил сразу. Опершись на витрину своей ручкой Психеи, соблазнительно просвечивающей сквозь рукав блузки, Мэйзи приготовилась к разговору.

У Картера не было случая, чтобы он полностью не владел собой. Но сейчас он оказался в худшем положении, чем Билл, Джек или Микки. Ведь он не мог рассчитывать на встречу с этой красавицей в том обществе, где постоянно вращался. Всеми силами старался он вспомнить, что знал о нравах и повадках продавщиц, — все, что ему когда-нибудь приходилось читать или слышать. Почему-то у него создалось впечатление, что при знакомстве они иной раз готовы отступить от некоторых формальностей, продиктованных правилами этикета. Мысль о том, чтобы предложить этому прелестному невинному существу нескромное свидание, заставляла его сердце отчаянно биться. Однако душевное смятение придало ему смелости.

После нескольких дружеских и благосклонно принятых замечаний на общие темы он положил на прилавок свою визитную карточку, поближе к ручке небожительницы.

— Ради бога, простите, — сказал он, — и не считите за дерзость, но я был бы рад снова встретиться с вами. Здесь вы найдете мое имя. Поверьте, только величайшее уважение дает мне смелость просить вас осчастливить меня своей дружбой, вернее знакомством. Скажите, могу ли я надеяться?

Мэйзи знала мужчин, а особенно тех, что покупают перчатки. С безмятежной улыбкой посмотрела она в лицо Картеру и сказала без колебаний:

— Отчего же? Вы, видать, человек приличный. Вообще-то я избегаю встреч с незнакомыми мужчинами. Ни одна порядочная девушка себе этого не позволит... Так когда бы вы желали?

— Как можно скорее, — сказал Картер. — Разрешите мне навестить вас, и я почту за...

Но Мэйзи залилась звонким смехом.

— О господи, выдумали тоже! Видели бы вы, как мы живем! Впятером в трех комнатах! Представляю мамино лицо, если бы я привела домой знакомого мужчину.

— Пожалуйста, где вам угодно! — самозабвенно воскликнул Картер. — Назначьте место сами. Я к вашим услугам...

— Знаете что, — сказала Мэйзи, и ее нежно-розовое лицо просияло, точно ее осенила замечательная идея. — Четверг вечером, кажется, меня устроит. Приходите в семь тридцать на угол Восьмой авеню и Сорок девятой улицы, я, кстати, там и живу. Но предупреждаю — в одиннадцать я должна быть дома. У меня мама строгая.

Картер поблагодарил и обещал прийти точно в назначенное время. Пора было возвращаться к мамаше, которая уже ждала сына, чтобы он одобрил ее новое приобретение — бронзовую Диану.

Курносенькая продавщица с круглыми глазками, будто невзначай проходя мимо, ласково подмигнула Мэйзи.

— Тебя, кажется, можно поздравить? — спросила она бесцеремонно.

— Джентльмен просил разрешения навестить меня, — надменно отрезала Мэйзи, пряча на груди визитную карточку.

— Навестить? — эхом отозвались Круглые Глазки. — А не обещал он повезти тебя обедать к Уолдорфу и покатать на своей машине?

— Ах, брось, — устало отмахнулась Мэйзи. — Ты просто помешана на шикарнейшей жизни. Это не с тех ли пор, как твой пожарный возил тебя кутить в китайскую кухмистерскую? Нет,

о Уолдорфе разговора не было. Но, судя по карточке, он живет на Пятой авеню. Уж если он захочет угостить меня, будь уверена, что прислуживать нам будет не китаец с длинной косой.

Когда Картер, посадив мамашу в свой электрический лимузин, отъехал от Магазина, он невольно стиснул зубы, так защемило у него сердце. Он знал, что впервые за двадцать девять лет своей жизни полюбил по-настоящему. И то, что его возлюбленная, не чинясь, назначила ему свидание на каком-то перекрестке, хоть и приближало его к желанной цели, но вместе с тем рождало мучительные сомнения в его груди.

Картер не знал, что такое продавщица. Он не знал, что ей приходится жить в неудобной конуре либо в тесной квартире, где полным-полно всяких домочадцев и родственников. Ближайший перекресток служит ей будуаром, сквер — гостиной, людная улица — аллеей для прогулок. Однако это обычно не мешает ей быть себе госпожой, такой же независимой и гордой, как любая знатная леди, обитающая среди гобеленов.

Однажды, в тихий сумеречный час, спустя две недели после их первого знакомства, Картер и Мэйзи рука об руку вошли в маленький, скупо освещенный скверик. Найдя уединенную скамейку под деревом, они уселись рядом.

Впервые он робко обнял ее за талию, и ее златокудрая головка блаженно прикинула к его плечу.

— Господи! — благодарно вздохнула Мэйзи. — Долго же вы раскачивались!

— Мэйзи! — взволнованно произнес Картер. — Вы, конечно, догадываетесь, что я люблю вас. Я самым серьезным образом прошу вашей руки. Вы достаточно знаете меня теперь, чтобы мне довериться. Вы мне нужны, Мэйзи! Я мечтаю назвать вас своей. Разница положений меня не останавливает...

— Какая разница? — любопытствовала Мэйзи.

— Да никакой разницы и нет, — поправился Картер. — Все это выдумки глупцов. Со мной вы будете жить в роскоши. Я принадлежу к избранному кругу, у меня значительные средства.

— Все это говорят, — равнодушно протянула Мэйзи. — Врут и не краснеют. Вы, конечно, служите в гастрономическом магазине или в конторе букмекера. Зря вы меня душой считаете.

— Я готов представить любые доказательства, — мягко настаивал Картер. — Я не могу жить без вас, Мэйзи! Я полюбил вас с первого взгляда...

— Все так говорят, — рассмеялась Мэйзи. — Попадись мне человек, которому я понравилась бы с третьего взгляда, я, кажется, бросилась бы ему на шею.

— Перестаньте, Мэйзи, — взмолился Картер. — Выслушайте меня, дорогая! С той минуты, как я впервые взглянул в ваши глаза, я почувствовал, что вы для меня единственная на свете.

— И все-то вы врете, — усмехнулась Мэйзи. — Скольким девушкам вы уже говорили это?

Но Картер не сдавался. В конце концов ему удалось устеречь пугливую, неуловимую душу продавщицы, прячущуюся где-то в глубине этого мраморного тела. Слова его нашли дорогу к ее сердцу, самая пустота которого служила ему надежной броней. Впервые Мэйзи смотрела на него зрячими глазами. И жаркий румянец залил ее холодные щеки. Замирая от страха, сложила Психея свои трепетные крылышки, готовясь опуститься на цветок любви. Впервые забрезжила для нее где-то там, за пределами ее прилавка, какая-то новая жизнь и ее неведомые возможности. Картер почувствовал перемену и устремился на штурм.

— Выходите за меня замуж, — шептал он ей, — и мы покинем этот ужасный город и уедем в другие, прекрасные края. Мы забудем о всяких делах и работе, и жизнь станет для нас нескончаемым праздником. Я знаю, куда увезу вас. Я уже не раз там бывал. Представьте себе чудесную страну, где царит вечное лето, где волны рокочут, разбиваясь о живописные берега, и люди свободны и счастливы, как дети. Мы уплывем к этим далеким берегам и будем там жить, сколько вам захочется. Я увезу вас в город, где множество великолепных старинных дворцов и башен и повсюду изумительные картины и статуи. Там вместо улиц каналы, и люди

разъезжают...

— Знаю! — сказала Мэйзи, резко поднимая голову. — В гондолах.

— Верно! — улыбнулся Картер.

— Так я и думала!.. — сказала Мэйзи.

— А потом, — продолжал Картер, — мы станем переезжать с места на место и увидим, что только душа захочет. Из Европы мы уедем в Индию и познакомимся с ее древними городами. Мы будем путешествовать на слонах, побываем в сказочных храмах индусов и браминов. Увидим карликовые сады японцев, караваны верблюдов и состязания колесниц в Персии — все, все, что стоит повидать в чужих странах. Разве это не восхитительно, Мэйзи?

Но Мэйзи решительно поднялась со скамьи.

— Пора домой, — сказала она холодно. — Время позднее.

Картер не стал с ней спорить. Ему было уже знакомо непостоянство настроений этой причудницы, этой мимозы, — никакие возражения тут не помогут. И все же он торжествовал победу. Сегодня он держал — пусть всего лишь мгновение, пусть на тонкой шелковинке — душу своей Психеи, и в нем ожила надежда. На миг она сложила крылышки, и ее прохладные пальчики сжали его руку.

Наутро в Магазине подружка Мэйзи, Лулу подкараулила ее за прилавком.

— Ну, как у тебя дела с твоим шикарным другом? — спросила она.

— С этим типом? — небрежно проронила Мэйзи, поправляя пышные локоны. — Я дала ему отставку. Представь, Лулу что этот субъект забрал себе в голову...

— Устроить тебя на сцену? — задыхаясь, спросила Лулу.

— Как же, держи карман, от такого дождешься. Он предложил мне выйти за него замуж и, вместо свадебного путешествия, прокатиться с ним на Кони-Айленд.

Как прозрел Доггерти

Перевод И. Гуровой

«Большой Джим» Доггерти был, что называется, свойский парень. То есть он принадлежал к племени свойских парней. На Манхэттене имеется и такое племя. Это карибы Севера — сильные, хитрые, самоуверенные, сплоченные, они честно блюдут законы своего клана и питают снисходительное презрение к соседним племенам, которые танцуют под дудку Общества. Разумеется, я говорю о титулованной аристократии мира свойских парней, а не о тех, к кому приложим эпитет, почерпнутый из того отделения кошелька, где хранится мелочь. Ведь ни один монетный двор еще не чеканил разменной монеты, которая подошла бы для определения «Большого Джима» Доггерти.

Обитают свойские парни в вестибюлях и у наружных углов отелей определенного типа, а также по соответствующим ресторанам и кафе. Среди них есть мужчины различного роста и телосложения — от самых шуплых до самых дюжих, но всем им присущи следующие характерные признаки: чисто выбритые щеки и подбородок, отливающие синевой, а кроме того (в холодное время года), — темное пальто с воротником из черного бархата.

Семейная жизнь свойских парней покрыта мраком неизвестности. По слухам, Амур и Гименей порой вмешиваются в игру, и дама червей бывает бита. Смелые теоретики утверждают (а не просто предполагают), что свойский парень не так уж редко осложняет свое существование супругой и даже обременяется потомством. Иногда он делает ставку на политику, и тогда на пикнике с печеной рыбой вдруг обнаруживается спутница его жизни и отпрыски — мал мала меньше, в глянцевах шляпах и с песочными ведерками.

Чаще же всего свойский парень исповедует в таких вопросах восточную философию и считает, что женщины его дома не должны слишком бросаться в глаза. Пусть себе дожидаются его за гаремной решеткой или за пожарной лестницей с полочками для цветочных горшков. Там эти дамы, без сомнения, ступают по персидским коврам, услаждают свой слух трелями

бюль-бюля, развлекаются игрой на цитре и питаются халвой и шербетом. Но вдали от домашнего очага свойский парень существует сам по себе. В отличие от мужчин прочих манхэттенских племен он в свободные часы не превращается в эскорт при пышных кружевах и высоких каблукках, которые с таким упоением отстукивают счастливые секунды вечернего парада. Он торчит на углах в обществе себе подобных и на своем карибском наречии отпускает замечания по адресу движущейся мимо процессии.

У «Большого Джима» Доггерти была жена, но он не носил на лацкане пиджака пуговичку с ее портретом. Дом, где он проживал, втиснутый между другими домами из бурого камня и с железными решетками, находился на одной из тех улочек западной части Нью-Йорка, которые удивительно напоминают кегельбан, недавно раскопанный в Помпее.

В этом жилище мистер Доггерти отбывал каждый вечер, когда слишком поздний час уже не оставлял свойским парням надежды на новые развлечения. К этому времени пленница моногамного гарема успевала унестись в край сновидений, ибо бюль-бюль умолкал и пора суток благоприятствовала отходу ко сну.

«Большой Джим» неизменно поднимался с постели точно в двенадцать часов (дня), завтракал и отправлялся на место встреч с «ребятами».

У него в мозгу постоянно тлело смутное сознание, что где-то рядом существует некая миссис Доггерти. Если бы ему заявили, что тихая, аккуратно одетая миловидная женщина, сидящая напротив него за семейным столом, — его жена, он не стал бы спорить. Более того: он даже помнил, что они состоят в браке уже почти четыре года. Она нередко рассказывала ему о ловких проделках Крошки (канарейки) и о блондинке, которая обитала в окне через улицу.

«Большой Джим» Доггерти иной раз даже слушал ее. Он знал, что к семи часам она приготовит ему вкусный обед. Время от времени она ходила на утренние спектакли, и к тому же у нее был граммофон с шестью дюжинами пластинок. А как-то раз, когда шальной ветер занес ее дядю Эймоса из деревенской глуши в Нью-Йорк, она сходила с ним в оперетку. Какие еще развлечения нужны женщине?

В один прекрасный день мистер Доггерти доел завтрак, надел шляпу и успел дойти почти до самой двери. Но когда он взялся за ручку, до него донесся голос жены.

— Джим, — сказала она твердо, — своди меня сегодня вечером пообедать где-нибудь в ресторане. Ты уже три года со мной никуда не ходил.

«Большой Джим» даже растерялся. Прежде она ни о чем подобном не просила. Это пахивало чем-то совсем новым. Однако он был не только свойским парнем, но и широкой душой.

— Ладно, — сказал он. — К семи будь готова. И вот что, Дел: чтоб без этих ваших «погоди две минутки, пока я два часа буду пудриться».

— Я буду готова, — спокойно ответила его жена.

И в семь часов она сошла по каменным ступенькам в помпейский кегельбан бок о бок с «Большим Джимом» Доггерти. На ней было платье из материи, сотканной самыми искусными пауками, а цвет его был позаимствован у вечернего неба. Ее плечи окутывала легкая накидка со множеством восхитительно бесполезных капюшончиков и очаровательно ненужных лент. Как гласит поговорка, птицу красят перья, и да будет стыдно тем мужчинам, которые скупятся жертвовать свой заработок на поощрение шляпной промышленности.

«Большой Джим» Доггерти испытывал неловкость и смущение. Рядом с ним шла незнакомка. Он вспоминал серенькое оперение, которое эта райская птица носила в своей клетке, и не узнавал ее. Чем-то она напоминала Делию Каллен, на которой он женился четыре года назад. Он шагал справа от нее стеснительно и неуклюже.

— После обеда я провожу тебя домой, Дел, — объявил мистер Доггерти, — а сам еще успею к Зельцеру посидеть с ребятами. Заказывать можешь что хочешь. Анаконда вчера не подвела, ну и ты себя не ограничивай.

Свой непривычный выход в свет с женой мистер Доггерти думал сделать как можно незаметнее. В кодексе карибов женолюбие числилось среди неизвинительных слабостей. Если

у кого-нибудь из его друзей по ипподрому, бильярдному сукну и рингу имелись жены, жаловаться на это в обществе они себе не позволяли. На улицах, пересекающих блистательный Бродвей, хватало скромных рестораничек с табльдотом, и в одно из таких мест он намеревался препроводить Делию, дабы светоч его домашней жизни и впредь оставался под спудом.

Однако по дороге мистер Доггерти изменил это решение. Искося поглядывая на свою прелестную спутницу, он пришел к выводу, что она нигде за флагом не останется, и замыслил провести свою супругу мимо кафе Зельцера, где в этот час собирались его соплеменники, дабы взыскательным взглядом созерцать вечернюю процессию. А обедать он поведет ее к Хугли — в самый шикарный ресторан, какой только есть в городе.

Чисто выбритый цвет племени уже занял наблюдательные посты в заведении Зельцера. Они уставились на мистера Доггерти и его обновленную Делию, словно громом пораженные, а затем каждый поспешно сдернул шляпу с головы — движение, столь же для них непривычное, как и зрелище, которое явил их взорам «Большой Джим». На невозмутимом лице этого джентльмена чуть забрезжила торжествующая улыбка и сразу исчезла, оставив его столь же непроницаемым, каким оно бывало, когда он прикупал к трем тузам четвертого.

У Хугли царило оживление. Сияли электрические огни — как, впрочем, им и положено сиять. А скатерти, салфетки, хрусталь и цветы столь же добросовестно исполняли возложенную на них миссию чаровать взгляд. Посетители были многочисленны, элегантны и веселы.

Официант — отнюдь не обязательно угодливый — подвел «Большого Джима» Доггерти и его жену к свободному столику.

— Ставь в меню, Дел, хоть на все номера подряд, — заявил «Большой Джим». — Нынче ты пасешься на воле. Сдается мне, слишком уж долго мы жевали одно домашнее сено.

Жена «Большого Джима» заказала обед. Муж поглядел на нее не без уважения — она упомянула трюфели, а он даже не подозревал, что ей известно такое слово. Вино она выбрала именно той марки, какой следовало, и муж поглядел на нее с восхищением.

Она вся светилась той невинной радостью, которая охватывает женщину, когда ей представляется возможность блеснуть светскими талантами. Она весело и оживленно болтала с ним о сотнях самых разных вещей, и ее щеки, обесцвеченные жизнью в четырех стенах, вскоре покрылись нежным румянцем. «Большой Джим» обвел взглядом зал и убедился, что из всех сидящих здесь дам она самая обворожительная. Он подумал о том, как она три года жила, словно замурованная, и ни разу даже не пожаловалась. И его обжег стыд, ибо в его кредо входило и понятие о честной игре.

Но когда достопочтенный Патрик Корриген, первый человек в округе Доггерти и его приятель, увидел их и сразу направился к их столику, события пошли карьером. Достопочтенный Патрик был весьма галантным человеком и на словах и на деле. А что до Бларнейской скалы,⁵² то сразу становилось ясно, что он в свое время не обошел ее вниманием. И вздумай Бларнейская скала подать на него в суд, с достопочтенного Патрика, несомненно, взыскали бы немалую сумму за нарушение брачного обязательства.

— Джимми, старина! — воскликнул он, похлопал Доггерти по спине и засиял на Делию, как полуденное солнце.

— Достопочтенный мистер Корриген — миссис Доггерти, — познакомил их «Большой Джим».

Достопочтенный Патрик преобразился в фонтан забавных историй и цветистых комплиментов. Официанту пришлось приставить к их столику третий стул, и рюмки были вновь наполнены.

— Ну, плут, ну, эгоист! — восклицал достопочтенный Патрик, лукаво грозя пальцем

⁵² Кусок скалы, вмурованный в стену замка Бларней в графстве Корк (Ирландия). По преданию, человек, поцеловавший ее, приобретал дар вкрадчивого красноречия.

«Большому Джиму». — Прятать от нас миссис Доггерти!

А потом «Большой Джим» Доггерти, человек не слишком говорливый, сидел молча и наблюдал, как его жена, три года изо дня в день обедавшая дома, расцветает, словно волшебный цветок. Находчивая, остроумная, очаровательная, она изящно и легко парировала на ристалище светской беседы умелые выпады почтенного Патрика, захватывая его врасплох, повергая в прах и восхищая. Она раскрыла все свои давно уже сложенные лепестки, и зал вокруг нее стал садом. Оба они старались втянуть в разговор и «Большого Джима», но его словарь был слишком скуден.

Затем в ресторан ввалилась компания местных политических воротил и свойских парней. Увидев «Большого Джима» в обществе почтенного Патрика, они направились к ним и были представлены миссис Доггерти. Пять минут спустя она уже превратилась в хозяйку светского салона. Вокруг нее, рассыпаясь в любезностях, толпилось полдюжины мужчин, и шестеро стали ее рабами. «Большой Джим» сидел насупившись и твердил про себя: «Три года! Три года!»

Обед подошел к концу, и почтенный Патрик протянул руку за накидкой миссис Доггерти. Но тут требовались не слова, а действия, и накидку схватила могучая рука Доггерти, на две секунды обойдя соперницу.

У дверей, когда они начали прощаться, почтенный Патрик изо всех сил хлопнул Доггерти между лопаток.

— Джимми, дружочек! — сообщил он оглушительным шепотом. — Супруга у тебя — брильянт чистой воды. Везет же некоторым!

«Большой Джим» и его жена возвращались домой. Казалось, яркие огни и сверкающие витрины доставляют ей не меньше удовольствия, чем ухаживания мужчин в ресторане. Проходя мимо кафе Зельцера, они услышали внутри гул многих голосов. «Ребята» угощали друг друга и со вкусом вспоминали прошлые подвиги.

У дверей их дома Делия остановилась. В ее глазах сияла тихая радость. Конечно, ей и дальше придется коротать вечера одной, без Джима, но память об этом празднике будет озарять их еще очень долго.

— Спасибо, Джим. Мне было очень весело, — благодарно сказала она. — А теперь ты, конечно, пойдешь к Зельцеру?

— А ну его, Зельцера, к чертовой бабушке! — с чувством произнес «Большой Джим». — И Пат Корриген пусть проваливается туда же! Он что, думает, у меня своих глаз нет?

И дверь затворилась за ними обоими.

Персики

Перевод Е. Калашиковой

Медовый месяц был в разгаре. Квартирку украшал новый ковер самого яркого красного цвета, портьеры с фестонами и полдюжины глиняных пивных кружек с оловянными крышками, расставленные в столовой на выступе деревянной панели. Молодым все еще казалось, что они парят в небесах. Ни он, ни она никогда не видели, «как примула желтеет в траве у ручейка»; но если бы подобное зрелище представилось их глазам в указанный период времени, они, бесспорно, усмотрели бы в нем — ну, все то, что, по мнению поэта, полагается усмотреть в цветущей примуле настоящему человеку.

Новобрачная сидела в качалке, а ее ноги опирались на земной шар. Она утопала в розовых мечтах и в шелку того же оттенка. Ее занимала мысль о том, что говорят по поводу ее свадьбы с Малышом Мак-Гарри в Гренландии, Белуджистане и на острове Тасмания. Впрочем, особого значения это не имело. От Лондона до созвездия Южного Креста не нашлось бы боксера полусреднего веса, способного продержаться четыре часа — да что часа! четыре раунда — против Малыша Мак-Гарри. И вот уже три недели, как он принадлежит ей; и

достаточно прикосновения ее мизинца, чтобы заставить покачнуться того, против кого бессильны кулаки прославленных чемпионов ринга.

Когда любим мы сами, слово «любовь» — синоним самопожертвования и отречения. Когда любят соседи, живущие за стеной, это слово означает самомнение и нахальство.

Новобрачная скрестила свои ножки в туфельках и задумчиво поглядела на потолок, расписанный купидонами.

— Милый, — произнесла она с видом Клеопатры, высказывающей Антонию пожелание, чтобы Рим был доставлен ей на дом в оригинальной упаковке. — Милый, я, пожалуй, съела бы персик.

Малыш Мак-Гарри встал и надел пальто и шляпу. Он был серьезен, строен, сентиментален и сметлив.

— Ну что ж, — сказал он так хладнокровно, как будто речь шла всего лишь о подписании условий матча с чемпионом Англии. — Сейчас пойду принесу.

— Только ты недолго, — сказала новобрачная. — А то я соскучусь без своего гадкого мальчика. И смотри, выбери хороший, спелый.

После длительного прощанья, не менее бурного, чем если бы Малышу предстояло чреватое опасностями путешествие в дальние страны, он вышел на улицу.

Тут он призадумался, и не без оснований, так как дело происходило ранней весной и казалось маловероятным, чтобы где-нибудь в промозглой сырости улиц и в холоде лавок удалось обрести вожделенный сладостный дар золотистой зрелости лета.

Дойдя до угла, где помещалась палатка итальянца, торгующего фруктами, он остановился и окинул презрительным взглядом горы завернутых в папиросную бумагу апельсинов, глянцевиных, румяных яблок и бледных, истосковавшихся по солнцу бананов.

— Персики есть? — обратился он к соотечественнику Данте, влюбленного из влюбленных.

— Нет персиков, синьор, — вздохнул торговец. — Будут разве только через месяц. Сейчас не сезон. Вот апельсины есть хорошие. Возьмете апельсины?

Малыш не удостоил его ответом и продолжал поиски. Он направился к своему давнишнему другу и поклоннику, Джастесу О'Кэллэхэну, держателю предприятия, которое соединяло в себе дешевый ресторанчик, ночное кафе и кегельбан. О'Кэллэхэн оказался на месте. Он расхаживал по ресторану и наводил порядок.

— Срочное дело, Кэл, — сказал ему Малыш. — Моей старушке взбрело на ум полакомиться персиком. Так что если у тебя есть хоть один персик, давай его скорей сюда. А если они у тебя водятся во множественном числе, давай несколько — пригодятся.

— Весь мой дом к твоим услугам, — отвечал О'Кэллэхэн. — Но только персиков ты в нем не найдешь. Сейчас не сезон. Даже на Бродвее и то, пожалуй, не достать персиков в эту пору года. Жаль мне тебя. Ведь если у женщины на что-нибудь разгорелся аппетит, так ей подавай именно это, а не другое. Да и час поздний, все лучшие фруктовые магазины уже закрыты. Но, может быть, твоя хозяйка помирится на апельсине? Я как раз получил ящик отборных апельсинов, так что если...

— Нет, Кэл, спасибо. По условиям матча требуются персики, и замена не допускается. Пойду искать дальше.

Время близилось к полуночи, когда Малыш вышел на одну из западных авеню. Большинство магазинов уже закрылось, а в тех, которые еще были открыты, его чуть ли не на смех поднимали, как только он заговаривал о персиках.

Но где-то там, за высокими стенами, сидела новобрачная и доверчиво дожидалась заморского гостинца. Так неужели же чемпион в полусреднем весе не раздобудет ей персика? Неужели он не сумеет перешагнуть через преграды сезонов, климатов и календарей, чтобы порадовать свою любимую сочным желтым или розовым плодом?

Впереди показалась освещенная витрина, переливавшаяся всеми красками земного изобилия. Но не успел Малыш приметить ее, как свет погас. Он помчался во весь дух и настиг фруктовщика в ту минуту, когда тот запирает дверь лавки.

— Персики есть? — спросил он решительно.

— Что вы, сэр! Недели через две-три, не раньше. Сейчас вы их во всем городе не найдете. Если где-нибудь и есть несколько штук, так только тепличные, и то не берусь сказать, где именно. Разве что в одном из самых дорогих отелей, где люди не знают, куда девать деньги. А вот, если угодно, могу предложить превосходные апельсины, только сегодня парходом доставлена партия.

Дойдя до ближайшего угла, Малыш с минуту постоял в раздумье, потом решительно свернул в темный переулок и направился к дому с зелеными фонарями у крыльца.

— Что, капитан здесь? — спросил он у дежурного полицейского сержанта.

Но в это время сам капитан вынырнул из-за спины дежурного. Он был в штатском и имел вид чрезвычайно занятого человека.

— Здорово, Малыш! — приветствовал он боксера. — А я думал, вы совершаете свадебное путешествие.

— Вчера вернулся. Теперь я вполне оседлый гражданин города Нью-Йорка. Пожалуй, даже займусь муниципальной деятельностью. Скажите-ка мне, капитан, хотели бы вы сегодня ночью накрыть заведение Денвера Дика?

— Хватились! — сказал капитан, покручивая ус. — Денвера прихлопнули еще два месяца назад.

— Правильно, — согласился Малыш. — Два месяца назад Рафферти выкурил его с Сорок третьей улицы. А теперь он обосновался в вашем околотке, и игра у него идет крупней, чем когда-либо. У меня с Денвером свои счета. Хотите, проведу вас к нему?

— В моем околотке? — зарычал капитан. — Вы в этом уверены, Малыш? Если так, сочту за большую услугу с вашей стороны. А вам что, известен пароль? Как мы попадем туда?

— Взломав дверь, — сказал Малыш. — Ее еще не успели оковать железом. Возьмите с собой человек десять. Нет, мне туда вход закрыт. Денвер пытался меня прикончить. Он думает, что это я выдал его в прошлый раз. Но, между прочим, он ошибается. Однако поторопитесь, капитан. Мне нужно пораньше вернуться домой.

И десяти минут не прошло, как капитан и двенадцать его подчиненных, следуя за своим проводником, уже входили в подъезд темного и вполне благопристойного с виду здания, где в дневное время вершили свои дела с десятков солидных фирм.

— Третий этаж, в конце коридора, — негромко сказал Малыш. — Я пойду вперед.

Двое дюжих молодцов, вооруженных топорами, встали у двери, которую он им указал.

— Там как будто все тихо, — с сомнением в голосе произнес капитан. — Вы уверены, что не ошиблись, Малыш?

— Ломайте дверь, — вместо ответа scomандовал Малыш. — Если я ошибся, я отвечаю.

Топоры с треском врезались в незащищенную дверь. Через проломы хлынул яркий свет. Дверь рухнула, и участники облавы, с револьверами наготове, ворвались в помещение.

Просторная зала была обставлена с крикливой роскошью, отвечавшей вкусам хозяина, уроженца Запада. За несколькими столами шла игра. С полсотни завсегдатаев, находившихся в зале, бросились к выходу, желая любой ценой ускользнуть из рук полиции. Заработали полицейские дубинки. Однако большинству игроков удалось уйти.

Случилось так, что в эту ночь Денвер Дик удостоил притон своим личным присутствием. Он и кинулся первым на непрошенных гостей, рассчитывая, что численный перевес позволит сразу смять участников облавы. Но с той минуты, как он увидел среди них Малыша, он уже не думал больше ни о ком и ни о чем. Большой и грузный, как настоящий тяжеловес, он с восторгом навалился на своего более хрупкого врага, и оба, сцепившись, покатались по лестнице вниз. Только на площадке второго этажа, когда они, наконец, расцепились и встали на ноги, Малыш смог пустить в ход свое профессиональное мастерство, остававшееся без применения, пока его стискивал в яростном объятии любитель сильных ощущений весом в двести фунтов, которому грозила потеря имущества стоимостью в двадцать тысяч долларов.

Уложив своего противника, Малыш бросился наверх и, пробежав через игорную залу, очутился в комнате поменьше, отделенной от залы аркой.

Здесь стоял длинный стол, уставленный ценным фарфором и серебром и ломившийся от дорогих и изысканных яств, к которым, как принято считать, питают пристрастие рыцари удачи. В убранстве стола тоже сказывался широкий размах и экзотические вкусы джентльмена, приходившегося тезкой столице одного из наших штатов.⁵³

Из-под свисающей до полу белоснежной скатерти торчал лакированный штиблет сорок пятого размера. Малыш ухватился за него и извлек на свет Божий негра-официанта во фраке и белом галстуке.

— Встань! — скомандовал Малыш. — Ты состоишь при этой кормушке?

— Да, сэр, я состоял. Неужели нас опять сцапали, сэр?

— Похоже на то. Теперь отвечай: есть у тебя тут персики? Если нет, то, значит, я получил нокаут.

— У меня было три дюжины персиков, сэр, когда началась игра, но боюсь, что джентльмены съели все до одного. Может быть, вам угодно скушать хороший, сочный апельсин, сэр?

— Переверни все вверх дном, — строго приказал Малыш, — но чтобы у меня были персики. И пошевеливайся, не то дело кончится плохо. Если еще кто-нибудь сегодня заговорит со мной об апельсинах, я из него дух вышибу.

Тщательный обыск на столе, отягощенном дорогостоящими щедротами Денвера Дика, помог обнаружить один-единственный персик, случайно пощаженный эпикурейскими челюстями любителей азарта. Он тут же был водворен в карман Малыша, и наш неутомимый фуражир пустился со своей добычей в обратный путь. Выйдя на улицу, он даже не взглянул в ту сторону, где люди капитана вталкивали своих пленников в полицейский фургон, и быстро зашагал по направлению к дому.

Легко было теперь у него на душе. Так рыцари Круглого Стола возвращались в Камелот, испытав много опасностей и совершив немало подвигов во славу своих прекрасных дам. Подобно им, Малыш получил приказание от своей дамы и сумел его выполнить. Правда, дело касалось всего только персика, но разве не подвигом было раздобыть среди ночи этот персик в городе, еще скованном февральскими снегами? Она попросила персик; она была его женой; и вот персик лежит у него в кармане, согретый ладонью, которую он придерживал его из страха, как бы не выронить и не потерять.

По дороге Малыш зашел в ночную аптеку и сказал хозяину, вопросительно уставившемуся на него сквозь очки:

— Послушайте, любезнейший, я хочу, чтобы вы проверили мои ребра, все ли они целы. У меня вышла маленькая размолвка с приятелем, и мне пришлось сосчитать ступени на одном или двух этажах.

Аптекарь внимательно осмотрел его.

— Ребра все целы, — гласило вынесенное им заключение. — Но вот здесь имеется кровоподтек, судя по которому можно предположить, что вы свалились с небоскреба «Утюг», и не один раз, а по меньшей мере дважды.

— Не имеет значения, — сказал Малыш. — Я только попрошу у вас платяную щетку.

В уютном свете лампы под розовым абажуром сидела новобрачная и ждала. Нет, не перевелись еще чудеса на белом свете. Ведь вот одно лишь словечко о том, что ей чего-то хочется — пусть это будет самый пустяк: цветочек, гранат или — ах да, персик, — и ее супруг отважно пускается в ночь, в широкий мир, который не в силах против него устоять, и ее желание исполняется.

И в самом деле — вот он склонился над ее креслом и вкладывает ей в руку персик.

— Гадкий мальчик! — влюбленно проворковала она. — Разве я просила персик? Я бы гораздо охотнее съела апельсин.

Благословенна будь, новобрачная!

⁵³ Денвер — столица штата Колорадо.

Предвестник весны

Перевод М. Лорие

Задолго до того, как тупой деревенский житель почувствует приближение весны, горожанин уже знает, что зеленая богиня вернулась в свое царство. Окруженный каменными стенами, он садится завтракать, разворачивает утреннюю газету и видит, что пресса обогнала календарь. Ибо раньше вестниками весны были наши чувства, теперь же их заменило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Пение первого реполова в Хакенсаке; движение сока в беннингтонских кленах; пушистые барашки на ивах, окаймляющих Главную улицу в Сиракузах; первый ураган в Сент-Луисе, лебединая песня лонг-айлендской устрицы; пессимистический прогноз насчет урожая персиков в Помптоне (штат Нью-Джерси); очередной визит ручного дикого гуся со сломанной лапкой к пруду близ станции Билджуотер; разоблачение депутатом конгресса Джинксом коварной попытки Аптечного треста вздуть цены на хинин; первый разбитый молнией тополь, под которым, разумеется, укрывались экскурсанты, чудом оставшиеся в живых; первая подвижка льда на реке Аллегейни; фиалка среди мха, обнаруженная нашим корреспондентом в Раунд-Корнере, — вот признаки пробуждения природы, которые телеграф доставляет в умудренный познанием город, когда фермер еще не видит на своих унылых полях ничего, кроме снега.

Но все это признаки внешние. Настоящий предвестник весны — наше сердце. Лишь когда Дафнис начинает искать свою Хлою, а Майк — свою Мэгги, — лишь тогда можно считать, что весна наступила и что газетное сообщение о гремучей змее в пять футов длиной, убитой на выгоне фермера Петтигрю, не является вымыслом.

Первая фиалка еще не распустилась, когда мистер Питерс, мистер Рэгздейл и мистер Кид, сидя на скамейке в Юнион-сквере, вступили в заговор. Мистер Питерс был д'Артаньяном в этом трио бездельников. Он являл собою самое грязное, самое ленивое, самое неприглядное серое пятно на фоне зеленых садовых скамеек. Но в ту минуту он играл первую роль.

У мистера Питерса была жена. До сих пор это обстоятельство не влияло на его отношения с Рэгзи и Кидом. Но в этот день оно придавало ему особый вес. Друзья мистера Питерса, избежавшие брачных уз, не раз подсмеивались над тем, что он пустился в это опасное плавание. Но сейчас они были, наконец, вынуждены признать, что либо он был наделен даром предвидения, либо ему исключительно повезло.

Дело в том, что у миссис Питерс был доллар. Целый доллар, настоящий, имеющий законное хождение, годный для уплаты пошлин, налогов и страховых и прочих взносов. Как завладеть этим долларом — вот в чем состояла задача, которую обсуждали сейчас три тертых мушкетера.

— А откуда ты знаешь, что именно доллар? — спросил Рэгзи, в котором колоссальность этой суммы породила скептические настроения.

— Угольщик видел, — сказал мистер Питерс. — Она вчера ходила куда-то стирать. А на завтрак что мне дала — горбушку хлеба да чашку кофе, а у самой доллар в кармане.

— Подлость какая! — сказал Рэгзи.

— Схватить ее да заткнуть ей рот полотенцем, а монету забрать, — мрачно предложил Кид. — Вы что, бабы испугались, а?

— Она, чего доброго, заорет, так нас всех сцапают, — возразил Рэгзи. — Это последнее дело — колотить женщину, когда кругом полон дом народу.

— Джентльмены, — строго заметил мистер Питерс сквозь рыжую щетину, покрывавшую его губы и подбородок, — не забывайте, что вы говорите о моей жене. Всякий, кто хоть пальцем тронет женщину, если только не...

— Магайр вывесил плакат, что есть пиво, — ехидно сказал Рэгзи. — Будь у нас доллар,

мы бы могли...

— Ладно, — сказал мистер Питерс, облизываясь. — Так или иначе, а достать этот доллар нужно. Я как муж имею на него законное право. Предоставьте это мне. Я схожу домой и добуду его. А вы подождите меня здесь.

— Я-то знаю, им только дай разок под микитки, живо скажут, где у них деньги спрятаны, — сказал Кид.

— Порядочный человек не станет бить женщину, — сентенциозно произнес Питерс. — Так, придушить легонечко — это можно, и следов не остается. Ну, ребята, ждите меня. Доллар я сейчас принесу.

В верхнем этаже большого дома между Второй авеню и рекой Питерсы занимали комнату, выходившую во двор, и такую темную, что хозяин краснел, взимая за нее плату. Миссис Питерс иногда работала — ходила по людям стирать и мыть полы. Мистер Питерс презирал такие низменные занятия — за последние пять лет он не заработал ни цента. И все-таки они держались друг за друга, крепко связанные ненавистью и нуждой. Они были рабами привычки — той силы, что не дает земле разлететься на куски, хотя, впрочем, существует еще какая-то дурацкая теория притяжения.

Миссис Питерс пристроила свое двухсотфунтовое тело на том из двух стульев, что покрепче, и, не мигая, смотрела через единственное окно на кирпичную стену соседнего дома. Глаза у нее были красные и мокрые. Всю обстановку можно было с легкостью увезти на ручной тележке, но ни один тележечник не польстился бы на нее.

Дверь отворилась, и вошел мистер Питерс. Его фокстерьерьи глазки алчно поблескивали. Миссис Питерс сразу увидела это, но ошибочно истолковала жажду как голод.

— Никакой еды раньше вечера не получишь, — сказала она, снова поворачиваясь к окну. — И убери отсюда свою несытую морду.

Мистер Питерс прикинул на глаз разделявшее их расстояние. Если не дать ей опомниться, можно, пожалуй, наскочить на нее, повалить наземь и применить к ней ту самую душительную тактику, которую он только что излагал своим приятелям. Положим, это было чистое хвастовство: он еще ни разу не отважился прибегнуть к насилию; но мысль о вкусном холодном пиве придавала ему храбрости, и он готов был опровергнуть свою собственную теорию о том, как подобает джентльмену обращаться с дамой. Однако он, как все бездельники, предпочитал более художественные и менее утомительные методы и пустил в ход дипломатию, выбрав для начала крупный козырь — позицию человека, не сомневающегося в успехе.

— У тебя есть доллар, — сказал он надменно и внушительно, как говорят, закуривая дорогую сигару (если таковая имеется).

— Есть, — сказала миссис Питерс и, достав из-за пазухи хрустящую бумажку, вызывающе помахала ею.

— Мне предложили работу в... чайном магазине, — сказал мистер Питерс. — Завтра начинать. Но мне придется купить пару...

— Врешь, — сказала миссис Питерс, водворяя доллар обратно, — ни в чайный магазин, ни в столовую, ни в лавку старого платья тебя не возьмут. Я себе всю кожу на руках содрала, пока стирала фуфайки да комбинезоны, чтобы заработать этот доллар. Думаешь, для того я мучилась, чтобы ты его пропил? Дудки. Ты про эти деньги и думать забудь.

Было совершенно очевидно, что талейрановская поза цели не достигла. Но дипломатия изобретательна. Артистический темперамент мистера Питерса приподнял его за ушки башмаков и перенес на новую позицию. В глазах его появилось выражение безнадежной тоски.

— Клара, — сказал он глухим голосом, — продолжать борьбу бесполезно. Ты никогда меня не понимала. Видит Бог, я всеми силами старался удержаться на поверхности, но волны бедствий...

— Насчет радуги надежд и островов блаженства можешь не разоряться, — сказала миссис Питерс со вздохом. — Слышала я все это, довольно. Вон там, на полке, за жестяной

от кофе, стоит пузырек с карболкой. Пей на здоровье.

Мистер Питерс задумался. Как же быть дальше? Испытанные приемы не помогли. Два тертых мушкетера ждут его у развалин замка, то бишь на садовой скамейке с кривыми чугунными ножками. На карту поставлена его честь. Он взялся один пойти на штурм и добыть сокровище, которое даст им отраду и забвение печалей. И между ним и желанным долларом стоит только его жена, та самая девочка, которую он когда-то... Ага! не попытаться ли и сейчас? Когда-то он умел ласковыми словами добиться от нее чего угодно. Попытаться? Столько лет прошло с тех пор! Жестокая нужда и взаимная ненависть убили все это. Но Рэгзи и Кид ждут обещанного доллара!

Мистер Питерс окинул жену внимательным взглядом. Ее расплывшаяся фигура не умещалась на стуле. Она, не отрываясь, как замороженная, смотрела в окно. По глазам ее было видно, что она недавно плакала.

— Не знаю, — сказал мистер Питерс вполголоса, — может, ничего и не выйдет.

В открытое окно были видны кирпичные стены и серые, голые задние дворы. Если бы не теплый воздух, входивший с улицы, можно было бы предположить, что город еще скован зимой, так неприветливо он встречал осаждавшую его весну. Но весна приходит не под гром орудий. Весна — сапер и подрывник, и капитуляция неизбежна.

«Попытаюсь», — сказал себе мистер Питерс и скорчил гримасу.

Он подошел к жене и обнял ее за плечи.

— Клара, милая, — сказал он тоном, который не обманул бы даже тюленя, — зачем мы все ссоримся? Ведь ты же моя душечка-пампушечка.

Стыдно, мистер Питерс! Черным крестом отметит вас Купидон в своей главной книге. Вам предъявляется тяжкое обвинение: шантаж и подделка священнейших слов любви.

Но чудо весны совершилось. В голую комнату над голым двором между черных стен проник Предвестник. Это было нелепо, но... Да, это ловушка, и вы, сударыня, и вы, сударь, и все мы в нее попадаемся.

Красная, толстая, плачущая, как Ниобея или Ниагара, миссис Питерс бросилась на шею своему повелителю и залила его слезами. Мистер Питерс был бы рад извлечь доллар из семейного сейфа, но его руки были плотно прижаты к бокам.

— Ты меня любишь, Джеймс? — спросила миссис Питерс.

— Безумно, — сказал Джеймс, — но...

— Ты болен! — воскликнула миссис Питерс. — Почему у тебя такой усталый вид?

— Я немного ослабел, — сказал мистер Питерс. — Я...

— Подожди, я знаю, что тебе нужно. Подожди, Джеймс, я сейчас вернусь.

Обняв его на прощанье так крепко, что он вспомнил «Непобедимого турка», она выбежала из комнаты и загромычала вниз по лестнице.

Мистер Питерс засунул большие пальцы за подтяжки.

— Отлично, — сообщил он потолку. — Дело на мази. Я и не знал, что мою старуху еще можно поддеть на всякие эти амуры. Да-с, чем я не Клод Мельнот⁵⁴ из Ист-Сайда? А? Пари держу, что доллар мой. Интересно, куда это она пошла. Небось на второй этаж, рассказать миссис Мэлдун, что мы помирились. Это надо запомнить. Лаской действовать! А Рэгзи говорил — под микитки!

Миссис Питерс вернулась с бутылкой настойки сарсапариллы.

— Вот хорошо, что у меня был этот доллар, — сказала она. — Ты совсем исхудал, мой голубчик.

Мистер Питерс дал влить себе в рот столовую ложку настойки. Потом миссис Питерс села к нему на колени и прошептала:

— Назови меня еще раз душечкой-пампушечкой, Джеймс.

Он сидел неподвижно, придавленный к стулу новым воплощением богини весны.

⁵⁴ Клод Мельнот — романтический персонаж пьесы Бульвера-Литтона «Дама из Лиона».

Весна наступила.

В Юнион-сквере мистер Рэгздейл и мистер Кид, изнывая от жажды, ерзали на скамейке в ожидании д'Артаньяна с долларом.

«Лучше бы я сразу схватил ее за горло», — думал мистер Питерс.

Пока ждет автомобиль

Перевод Н. Дехтеревой

Как только начало смеркаться, в этот тихий уголок тихого маленького парка опять пришла девушка в сером платье. Она села на скамью и открыла книгу, так как еще с полчаса можно было читать при дневном свете.

Повторяем: она была в простом сером платье — простом ровно настолько, чтобы не бросалась в глаза безупречность его покроя и стиля. Негустая вуаль спускалась с шляпки в виде тюрбана на лицо, сиявшее спокойной, строгой красотой. Девушка приходила сюда в это же самое время и вчера и позавчера, и был некто, кто знал об этом.

Молодой человек, знавший об этом, бродил неподалеку, возлагая жертвы на алтарь Случая, в надежде на милость этого великого идола. Его благочестие было вознаграждено, — девушка перевернула страницу, книга выскользнула у нее из рук и упала, отлетев от скамьи на целых два шага.

Не теряя ни секунды, молодой человек алчно ринулся к яркому томику и подал его девушке, строго придерживаясь того стиля, который укоренился в наших парках и других общественных местах и представляет собою смесь галантности с надеждой, умеряемых почтением к постовому полисмену на углу. Приятным голосом он рискнул отпустить незначительное замечание относительно погоды — обычная вступительная тема, ответственная за многие несчастья на земле, — и замер на месте, ожидая своей участи.

Девушка не спеша окинула взглядом его скромный аккуратный костюм и лицо, не отличавшееся особой выразительностью.

— Можете сесть, если хотите, — сказала она глубоким, неторопливым контральто. — Право, мне даже хочется, чтобы вы сели. Все равно уже темно и читать трудно. Я предпочитаю поболтать.

Раб Случая с готовностью опустился на скамью.

— Известно ли вам, — начал он, изрекая формулу, которой обычно открывают митинг ораторы в парке, — что вы самая что ни на есть потрясающая девушка, какую я когда-либо видел? Я вчера не спускал с вас глаз. Или вы, деточка, даже не заметили, что кое-кто совсем одурел от ваших прелестных глазенок?

— Кто бы ни были вы, — произнесла девушка ледяным тоном, — прошу не забывать, что я — леди. Я прощаю вам слова, с которыми вы только что обратились ко мне, — заблуждение ваше, несомненно, вполне естественно для человека вашего круга. Я предложила вам сесть; если мое приглашение позволяет вам называть меня «деточкой», я беру его назад.

— Ради бога, простите, — взмолился молодой человек. Самодовольство, написанное на его лице, сменилось выражением смирения и раскаяния. — Я ошибся; понимаете, я хочу сказать, что обычно девушки в парке... вы этого, конечно, не знаете, но...

— Оставим эту тему. Я, конечно, это знаю. Лучше расскажите мне обо всех этих людях, которые проходят мимо нас, каждый своим путем. Куда идут они? Почему так спешат? Счастливы ли они?

Молодой человек мгновенно утратил игривый вид. Он ответил не сразу, — трудно было понять, какая, собственно, роль ему предназначена.

— Да, очень интересно наблюдать за ними, — промямлил он, решив, наконец, что постиг настроение своей собеседницы. — Чудесная загадка жизни. Одни идут ужинать, другие... гм... в другие места. Хотелось бы узнать, как они живут.

— Мне — нет, — сказала девушка. — Я не настолько любознательна. Я прихожу сюда посидеть только затем, чтобы хоть ненадолго стать ближе к великому, трепещущему сердцу человечества. Моя жизнь проходит так далеко от него, что я никогда не слышу его биения. Скажите, догадываетесь ли вы, почему я так говорю с вами, мистер...

— Паркенстэкер, — подсказал молодой человек и взглянул вопросительно и с надеждой.

— Нет, — сказала девушка, подняв тонкий пальчик и слегка улыбнувшись. — Она слишком хорошо известна. Нет никакой возможности помешать газетам печатать некоторые фамилии. И даже портреты. Эта вуалетка и шляпа моей горничной делают меня «инкогнито». Если бы вы знали, как смотрит на меня шофер всякий раз, как думает, что я не замечаю его взглядов. Скажу откровенно: существует всего пять или шесть фамилий, принадлежащих к святая святых; и моя, по случайности рождения, входит в их число. Я говорю все это вам, мистер Стекенпот...

— Паркенстэкер, — скромно поправил молодой человек.

— ...мистер Паркенстэкер, потому что мне хотелось хоть раз в жизни поговорить с естественным человеком — с человеком, не испорченным презренным блеском богатства и так называемым «высоким общественным положением». Ах, вы не поверите, как я устала от денег — вечно деньги, деньги! И от всех, кто окружает меня, — все пляшут, как марионетки, и все на один лад. Я просто больна от развлечений, брильянтов, выездов, общества, от роскоши всякого рода.

— А я всегда был склонен думать, — осмелился нерешительно заметить молодой человек, — что деньги, должно быть, все-таки недурная вещь.

— Достаток в средствах, конечно, желателен. Но когда у вас столько миллионов, что... — Она заключила фразу жестом отчаяния. — Однообразие, рутина, — продолжала она, — вот что нагоняет тоску. Выезды, обеды, театры, балы, ужины — и на всем позолота бьющего через край богатства. Порою даже хруст льдинки в моем бокале с шампанским способен свести меня с ума.

Мистер Паркенстэкер, казалось, слушал ее с неподдельным интересом.

— Мне всегда нравилось, — проговорил он, — читать и слушать о жизни богачей и великосветского общества. Должно быть, я немножко сноб. Но я люблю обо всем иметь точные сведения. У меня составилось представление, что шампанское замораживают в бутылках, а не кладут лед прямо в бокалы.

Девушка рассмеялась мелодичным смехом, — его замечание, видно, позабавило ее от души.

— Да будет вам известно, — объяснила она снисходительным тоном, — что мы, люди праздного сословия, часто развлекаемся именно тем, что нарушаем установленные традиции. Как раз последнее время модно класть лед в шампанское. Эта причуда вошла в обычай с обеда в Уолдорфе, который давали в честь приезда татарского князя. Но скоро эта прихоть сменится другой. Неделю тому назад на званом обеде на Мэдисон-авеню возле каждого прибора была положена зеленая лайковая перчатка, которую полагалось надеть, кушая маслины.

— Да, — признался молодой человек смиренно, — все эти тонкости, все эти забавы интимных кругов высшего света остаются неизвестными широкой публике.

— Иногда, — продолжала девушка, принимая его признание в невежестве легким кивком головы, — иногда я думаю, что если б я могла полюбить, то только человека из низшего класса. Какого-нибудь труженика, а не трутня. Но, безусловно, требования богатства и знатности окажутся сильнее моих склонностей. Сейчас, например, меня осаждают двое. Один из них герцог немецкого княжества. Я подозреваю, что у него есть или была жена, которую он довел до сумасшествия своей необузданностью и жестокостью. Другой претендент — английский маркиз, такой чопорный и расчетливый, что я, пожалуй, предпочту свирепость герцога. Но что побуждает меня говорить все это вам, мистер Покенстэкер?

— Паркенстэкер, — едва слышно поправил молодой человек. — Честное слово, вы не можете себе представить, как я ценю ваше доверие.

Девушка окинула его спокойным, безразличным взглядом, подчеркнувшим разницу их

общественного положения.

— Какая у вас профессия, мистер Паркенстэкер? — спросила она.

— Очень скромная. Но я рассчитываю кое-чего добиться в жизни. Вы это серьезно сказали, что можете полюбить человека из низшего класса?

— Да, конечно. Но я сказала: «могла бы». Не забудьте про герцога и маркиза. Да, ни одна профессия не показалась бы мне слишком низкой, лишь бы сам человек мне нравился.

— Я работаю, — объявил мистер Паркенстэкер, — в одном ресторане.

Девушка слегка вздрогнула.

— Но не в качестве официанта? — спросила она почти умоляюще. — Всякий труд благороден, но... личное обслуживание, вы понимаете, лакеи и...

— Нет, я не официант. Я кассир в... — Напротив, на улице, идущей вдоль парка, сияли электрические буквы вывески «Ресторан». — Я служу кассиром вон в том ресторане.

Девушка взглянула на крохотные часики на браслетке тонкой работы и поспешно встала. Она сунула книгу в изящную сумочку, висевшую у пояса, в которой книга едва помещалась.

— Почему вы не на работе? — спросила девушка.

— Я сегодня в ночной смене, — сказал молодой человек. — В моем распоряжении еще целый час. Но ведь это не последняя наша встреча? Могу я надеяться?..

— Не знаю. Возможно. А впрочем, может, мой каприз больше не повторится. Я должна спешить. Меня ждет званый обед, а потом ложа в театре — опять, увы, все тот же неразрывный круг. Вы, вероятно, когда шли сюда, заметили автомобиль на углу возле парка? Весь белый.

— И с красными колесами? — спросил молодой человек, задумчиво сдвинув брови.

— Да. Я всегда приезжаю сюда в этом авто. Пьер ждет меня у входа. Он уверен, что я провожу время в магазине на площади, по ту сторону парка. Представляете вы себе пути жизни, в которой мы вынуждены обманывать даже собственных шоферов? До свидания.

— Но уже совсем стемнело, — сказал мистер Паркенстэкер, — а в парке столько всяких грубиянов. Разрешите мне проводить...

— Если вы хоть сколько-нибудь считаетесь с моими желаниями, — решительно ответила девушка, — вы останетесь на этой скамье еще десять минут после того, как я уйду. Я вовсе не ставлю вам это в вину, но вы, по всей вероятности, осведомлены о том, что обычно на автомобилях стоят монограммы их владельцев. Еще раз до свидания.

Быстро и с достоинством удалилась она в темноту аллеи. Молодой человек глядел вслед ее стройной фигуре, пока она не вышла из парка, направляясь к углу, где стоял автомобиль. Затем, не колеблясь, он стал предательски красться следом за ней, прячась за деревьями и кустами, все время идя параллельно пути, по которому шла девушка, ни на секунду не теряя ее из виду.

Дойдя до угла, девушка повернула голову в сторону белого автомобиля, мельком взглянула на него, прошла мимо и стала переходить улицу. Под прикрытием стоявшего возле парка кеба молодой человек следил взглядом за каждым ее движением. Ступив на противоположный тротуар, девушка толкнула дверь ресторана с сияющей вывеской. Ресторан был из числа тех, где все сверкает, все выкрашено в белую краску, всюду стекло и где можно пообедать дешево и шикарно. Девушка прошла через весь ресторан, скрылась куда-то в глубине его и тут же вынырнула вновь, но уже без шляпы и вуалетки.

Сразу за входной стеклянной дверью помещалась касса. Рыжеволосая девушка, сидевшая за ней, решительно взглянула на часы и стала слезать с табурета. Девушка в сером платье заняла ее место.

Молодой человек сунул руки в карманы и медленно пошел назад. На углу он споткнулся о маленький томик в бумажной обертке, валявшийся на земле. По яркой обложке он узнал книгу, которую читала девушка. Он небрежно поднял ее и прочел заголовок «Новые сказки Шехерезады»; имя автора было Стивенсон. Молодой человек уронил книгу в траву и с минуту стоял в нерешительности. Потом открыл дверцу белого автомобиля, сел, откинувшись на подушки, и сказал шоферу три слова:

— В клуб, Анри.

Комедия любопытства

Перевод Н. Дарузес

Можно избежать смертоносного дыхания анчара, что бы ни говорили любители метафор; можно, если очень повезет, подбить глаз василиску; можно даже увернуться от Цербера и Аргуса; но ни одному человеку, будь он живой или мертвый, невозможно уйти от любопытного взгляда зеваки.

Нью-Йорк — город зевак. Много в нем, конечно, и таких людей, которые идут своей дорогой, сколачивая капитал и не глядя ни направо, ни налево, но есть и целое племя, очень своеобразное, состоящее, наподобие марсиан, единственно из глаз и средств передвижения.

Эти фанатики любопытства, словно мухи, целым роем слетаются на место всякого необычайного происшествия и, затаив дыхание, проталкиваются как можно ближе. Открывает ли рабочий люк, попадает ли под трамвай житель северной окраины, роняет ли мальчишка яйцо на тротуар, возвращаясь домой из лавочки, теряет ли дама мелкую монету, выпавшую из дыры в перчатке, увозит ли полиция телефон и записи скаковых ставок из читальни Ибсеновского общества, провалятся ли в подземку один-два дома или сенатор Депью выйдет на прогулку — при всяком счастливом или несчастном случае племя зевак, теряя разум, неудержимо стремится к месту происшествия.

Важность события не играет роли. С одинаковым интересом и увлечением они глазят и на опереточную певичку и на человека, малюющего рекламу печеночных пилюль. Они готовы обступить тесным кругом и колченогого инвалида, и буксующий автомобиль. Они страдают манией любопытства. Это зрительные обжоры, которые наслаждаются несчастьем ближнего, захлебываются им. Они смотрят, глядят, пялятся, таращатся мутными рыбьими глазами на приманку несчастья, словно пучеглазый окунь.

Казалось бы, эти одержимые любопытством являют собой совсем неподходящую дичь для пламенных стрел Купидона, однако даже среди простейших трудно найти совершенно невосприимчивую особь. Да, прекрасная богиня романтики осенила своим крылом двух представителей племени зевак, и любовь проникла в их сердца, когда они стояли над распростертым телом человека, которого переехал фургон с пивом.

Уильям Прай первым прибыл на место. Он был знатоком по части таких зрелищ. Весь сияя от радости, он стоял над жертвой несчастного случая и внимал ее стонам, словно нежнейшей музыке. Толпа зевак плотно сгрудилась вокруг жертвы, и Уильям Прай заметил сильное движение в этой толпе как раз против того места, где он стоял. Какое-то стремительно несущееся тело рассекало толпу, словно смерч, отшвыривая людей в стороны. Орудуя локтями, зонтиком, шляпной булавкой, языком и ногтями, Вайолет Сеймур прокладывала себе дорогу в первый ряд зрителей. Силачи, которые без труда садились на гарлемский поезд в 5.30, отлетали, как слабые дети, столкнувшись с ней на пути к центру. Две солидные дамы, своими глазами видевшие свадьбу герцога Роксборо и не раз останавливавшие все движение на Двадцать третьей улице, после встречи с Вайолет отступили во второй ряд, оправляя порванные блузки. Уильям Прай полюбил ее с первого взгляда.

Карета скорой помощи увезла бессознательного пособника Купидона. Уильям и Вайолет остались и после того, как толпа разошлась. Это были настоящие зевачи. Люди, которые покидают место происшествия вместе с каретой скорой помощи, лишены тех необходимых элементов, из которых состоит истинное любопытство. Тонкий букет события, его настоящий вкус можно распознать только напоследок — пожирая глазами место происшествия, разглядывая пристально дома напротив, замирая в мечтах, с которыми не сравнится бред курильщика опиума. Вайолет Сеймур и Уильям Прай знали толк в несчастных случаях и умели извлекать из каждого события весь сок до последней капли.

Потом они посмотрели друг на друга. У Вайолет была коричневая родинка на шее,

величиной с серебряные полдоллара. Уильям так и впился в нее глазами. У Прая были необыкновенно кривые ноги. Вайолет дала себе волю и смотрела на них, не отрывая взгляда. Они долго стояли лицом к лицу, глаза друг на друга. Этикет не позволял им заговорить; зато в Городе Зевак разрешается сколько угодно глядеть на деревья в парке и на физические недостатки ближних.

Наконец, они расстались со вздохом. Но пивным фургоном правил Купидон, и колесо, переехавшее чью-то ногу, соединило два любящих сердца.

Во второй раз герой и героиня встретились перед дощатым забором поблизости от Бродвея. День выдался крайне неудачный. Не было драк на улицах, дети не попадали под трамвай, калеки и толстяки в неглиже встречались очень редко; никто не выказывал склонности поскользнуться на банановой корке или упасть в обморок. Не видно было даже чудака из Кокомо, штат Индиана, который выдает себя за родственника бывшего мэра Лоу и швыряет мелочь из окошечка кеба. Глядеть было не на что, и Уильям Прай уже начинал томиться от скуки.

И вдруг он увидел, что перед щитом для объявлений, усиленно толкаясь и пихаясь, стоит целая толпа. Бросившись туда опрометью, он сшиб с ног старуху и мальчишку с бутылкой молока и с нечеловеческой энергией проложил себе дорогу в центр круга. Вайолет Сеймур уже стояла в первом ряду без одного рукава и двух золотых пломб, с вывихнутой рукой и сломанной планшеткой корсета, не помня себя от счастья. Она смотрела на то, что было перед нею. Маляр выписывал на заборе: «Ешьте галеты, от них ваше лицо округлится».

Увидев Уильяма Прая, Вайолет покраснела. Уильям саданул под ребро даму в черном шелковом реглане, лягнул мальчишку, съездил по уху старого джентльмена и сумел протолкаться поближе к Вайолет. Они стояли рядом целый час, глядя, как маляр выписывает буквы. Потом Уильям не смог дольше скрывать свои чувства. Он дотронулся до ее плеча.

— Пойдемте со мной, — сказал он. — Я знаю, где сидит чистильщик сапог без кадыка.

Она бросила на него застенчивый взгляд, но этот взгляд светился несомненной любовью, преобразившей ее лицо.

— И вы приберегли это для меня? — спросила она, вся объятая смутным трепетом первого объяснения в любви.

Они вместе побежали к ларьку чистильщика и простояли больше часа, глаза на юного уродца.

На тротуар перед ними упал с пятого этажа мойщик окон. Когда подъехала под звон колокола «скорая помощь», Уильям радостно пожал руку Вайолет.

— Четыре ребра по меньшей мере и сложный перелом, — быстро шепнул он. — Ты не жалеешь, что встретила меня, дорогая?

— Я? — сказала Вайолет, отвечая на его пожатие. — Конечно, не жалею. Я могла бы целый день стоять и глазеть рядом с тобой.

Спустя несколько дней их роман достиг высшей точки. Быть может, читатель помнит, какое волнение переживал весь город, когда негритянке Элизе Джейн надо было вручить судебную повестку. Все племя зевак глазело, не сходя с места. Уильям Прай своими руками положил доску на два пивных бочонка напротив того дома, где жила Элиза Джейн. Они с Вайолет просидели там три дня и три ночи. Потом одному сыщику пришлось в голову, что можно открыть двери и вручить повестку. Он послал за кинетоскопом и так и сделал.

Две души с такими сродными стремлениями неминуемо должны были соединиться. Уильям Прай и Вайолет Сеймур обручились в тот же вечер, после того как полисмен прогнал их резиновой дубинкой. Семена любви пали на добрую почву, дружно взошли и расцвели пышным цветом.

Свадьба была назначена на десятое июня. Большая церковь была вся завалена цветами. Многочисленное племя зевак, рассеянное по всему свету, просто помешано на свадьбах. Это пессимисты на церковных скамьях. Они высмеивают жениха и издеваются над невестой. Они приходят потешаться над вашим браком, а если вам удастся сбежать от Гименя на бледном коне смерти, они являются на похороны, садятся на ту же скамью и оплакивают ваше

счастливого избавление. Любопытство — растяжимое понятие.

Церковь была ярко освещена. На асфальтовом тротуаре был разложен бархатный ковер, доходивший до самой мостовой. Подружки невесты расправляли друг другу ленты на поясе и перешептывались насчет невестиних веснушек. Кучера украшали свои кнуты белыми бантами и жалели, что время от выпивки до выпивки тянется так долго. Пастор размышлял о том, сколько ему заплатят, и соображал, хватит ли этих денег на новый костюм для него самого и на портрет Лоры Джин Либби⁵⁵ для его жены. Да, в воздухе реял Купидон.

А перед церковью, братья мои, волновались и колыхались тесные ряды племени зевак. Они стояли двумя сплошными массами, разделенные ковром и дубинками полицейских. Они толпились, как стадо, дрались, толкались, отступали и наступали и давили друг друга, чтобы увидеть, как девчонка в белой вуали приобретет законное право обыскивать карманы мужа, пока он спит.

Однако час, назначенный для свадьбы, наступил и прошел, а жениха с невестой все не было. Нетерпение сменилось тревогой, тревога привела к поискам, но героев дня нигде не могли найти. Тут вмешались в дело два дюжих полисмена и вытащили из разъяренной толпы зевак помятого и полузадохшегося субъекта с обручальным кольцом в жилетном кармане и громко рыдающую растрепанную женщину, всю оборванную и в синяках.

Уильям Прай и Вайолет Сеймур, верные привычке, смешались с буйной толпой зрителей, не устояв перед обуревавшим их желанием видеть самих себя, в роли жениха и невесты, входящими в убранную розами церковь.

Любопытство — то же шило в мешке.

Тысяча долларов

Перевод Зин. Львовского

— Тысяча долларов! — строго и торжественно повторил нотариус Тольмен. — А вот и деньги!

Молодой Джилльян весело рассмеялся, когда прикоснулся к тоненькой пачке новеньких пятидесятидолларовых бумажек.

— На редкость несуразная сумма! — так же весело объяснил он нотариусу. — Будь еще хоть десять тысяч долларов, такой парень, как я, мог бы здорово кутнуть и даже заставить о себе говорить. Даже пятьдесят долларов причинили бы мне менее хлопот, чем эта несчастная тысяча.

— Вы внимательно выслушали пункты дядиного завещания? — сухим, официальным тоном спросил нотариус. — Я не уверен в том, что вы должным образом усвоили некоторые детали. Об одной я должен вам напомнить. Вы обязуетесь дать нам полный отчет в том, как вы израсходовали эту тысячу долларов, причем должны сделать это тотчас же по израсходовании. Завещание особенно подчеркивает это. Я не сомневаюсь, что вы в точности выполните волю завещателя.

— Можете вполне рассчитывать на это! — весьма вежливо ответил молодой человек. — Обещаю вам это, если даже мне придется израсходовать личные средства. Ввиду того, что я всегда был очень слаб в расчетах и подсчетах, мне придется пригласить специального секретаря.

Джилльян вернулся в свой клуб, где выудил одного знакомого, которого фамильярно величал «Старичина Брайзон».

«Старичина Брайзон» был человек лет сорока, очень спокойный и довольно нелюдимый.

⁵⁵ Лора Джин Либби (1862–1924) — американская писательница, плодовитый автор сентиментальных романов.

В данную минуту он сидел в углу и читал книгу. При виде Джилльяна он тяжело вздохнул, опустил книгу на колени и сбросил с носа очки.

— Ну, старичина Брайзон, проснитесь! — окликнул его Джилльян. — Я должен рассказать вам презабавную историю.

— Правду сказать, я предпочел бы, чтобы вы рассказали ее кому-нибудь в бильярдной! — ответил Брайзон. — Ведь вы отлично знаете, как я ненавижу все ваши забавные и незабавные истории.

— Но эта история совсем особенная и гораздо лучше и интереснее всех предыдущих! — произнес Джилльян, свертывая папиросу. — Нет, правда, я страшно рад, что могу вам, первому рассказать ее. Она такая печальная и вместе с тем такая смешная, что рассказывать ее под шум бильярдных шаров не представляется ни малейшей возможности. Я только что из конторы легальных корсаров, приставленных к наследству моего покойного дядюшки. Он оставил мне ни больше и ни меньше, как тысячу долларов. Ну, скажите по совести, что такой субъект, как я, может сделать с этакой ерундовой суммой? Ну, что за деньги — тысяча долларов!

— А я думал, — сказал Брайзон, проявляя столько же интереса к этому делу, сколько пчела — к уксусу, — я думал, что покойный Септимус Джилльян обладал капиталом по меньшей мере в пятьсот тысяч.

— И это верно! — весело подтвердил Джилльян. — Но в том-то и вся штука. Все свои тонны дублонов он завещал микробу. Это надо понимать в том смысле, что часть наследства поступает в пользу человека, который найдет какую-то там бациллу, а остальная часть ассигнуется больнице, которая будет бороться с этой бациллой. Кое-какая мелочь оставлена посторонним. Так, например, дворецкому оставлены перстень с печаткой и десять долларов. То же самое получает экономка. Его племяннику досталась одна тысяча долларов.

— А ведь вы всегда до сих пор тратили очень много денег! — заметил Брайзон.

— Очень много! — согласился Джилльян. — Что касается ежемесячных выдач, то покойный дядюшка вел себя по отношению ко мне лучше всякой матери.

— А других наследников нет? — спросил Брайзон.

— Ни одного!

Джилльян хмуро посмотрел на свою папиросу и затем почему-то в сердцах лягнул ни в чем не повинный кожаный диван.

— Правда, там еще есть мисс Хайден, воспитанница моего дядюшки, жившая в его доме и живущая там теперь. Она — очень милый и спокойный человек, очень музыкальна и приходится дочкой одному человеку, который во времена оны имел несчастье быть другом покойного. Да, я забыл сказать, что она тоже получила перстень с печаткой и десять долларов. Ужасно жаль, что я не получил такого наследства. Тогда бы я купил две бутылки вина, подарил бы перстень лакею и окончательно разделался бы с этим грязным делом. Послушайте, старичина Брайзон, ради бога, не важничайте так, опустите-ка нос и скажите мне по-дружески: что может такой тип, как я, сделать с тысячью долларов?

Брайзон протер стекла очков и улыбнулся. А когда он улыбался, то Джилльян заранее знал, что «старичина» будет более едок, чем обыкновенно.

— Тысяча долларов, — начал Брайзон, — представляет и очень большую, и очень малую сумму. На эти деньги иной человек может устроить себе такой чудесный семейный очаг, что сам Рокфеллер будет ему завидовать. Другой человек может послать свою больную жену на Юг и тем спасти ее от верной смерти. На тысячу долларов можно в продолжение июня, июля и августа кормить цельнейшим молоком целую сотню ребятишек и пятьдесят из них спасти. На тысячу долларов можно в продолжение получаса побаловаться в «фаро» в одной из многочисленных «художественных» студий, которые чрезвычайно ловко замаскировали свои истинные намерения. Этой суммы вполне достаточно для того, чтобы дать чудеснейшее воспитание любознательному юноше. Мне вот на днях рассказывали, что за такую именно сумму на одном аукционе продали настоящего «Коро». Имея тысячу долларов в кармане, вы можете двинуть в один из нью-гэмпширских городков и чудеснейшим образом преспокойно

прожить там два года. А если хотите, то можете снять на один вечер Мэдисон-сквер и прочесть назидательную лекцию на тему о том, как неприятно при больших надеждах получать малое наследство.

— Вы были бы страшно симпатичным парнем, если бы только не любили так морализировать! — шутливо сказал Джилльян. — Отвечайте мне прямо на вопрос: что мне делать с тысячью долларов?

— Вам что делать? — с мягким смешком ответил Брайзон. — Ну, конечно, вам остается только одно: подарить на эти деньги бриллиантовый кулон мисс Лотте Лаурьер, а затем поселиться на каком-нибудь ранчо. Я лично рекомендую вам овечье ранчо, так как я ненавижу овец.

— Сердечно благодарю вас! — сказал Джилльян, подымаясь с места. — Я так и знал, что могу всецело рассчитывать на вас. Вы посоветовали мне именно то, что нужно. Самое лучшее будет — сразу потратить деньги. Так гораздо легче будет дать отчет, потому что разбираться в бухгалтерских деталях я не в состоянии. Это противно мне.

Джилльян вызвал по телефону кеб и приказал кучеру:

— Коламбиан-театр! К артистическому подъезду!

Мисс Лотта Каурьер помогала Природе, разгуливая пуховкой по своему лицу. В театре было множество народу, и артистка уже готова была к выходу на сцену, когда ей доложили о приходе мистера Джилльяна.

— Попросите его сюда! — сказала мисс Лотта. — В чем дело, Бобби? Мне через две минуты выходить!

— Не мешает пройтись лапкой по правому уху! — с видом знатока посоветовал Джилльян. — Вот теперь лучше. Двух минут для меня вполне достаточно. Какого мнения вы держитесь о безделушке, вроде бриллиантовой подвески? Я располагаю сейчас капиталом, который выражается тремя нулями с одной единицей в авангарде!

— О, об этом предмете я держусь наилучшего мнения! — пропела мисс Лотта. — Адамс, дайте мне мою правую перчатку. Скажите, Бобби, не заметили ли вы случайно, вчера кулона на Делле Стейси? Он куплен у Тиффани и стоит всего-навсего две тысячи двести долларов. Конечно, если... Адамс, поправьте мне, пожалуйста, пояс слева.

— Мисс Лаурьер, ваш выход! — раздался где-то сбоку голос помощника режиссера.

Джилльян побрел к тому месту, где его ждал кеб.

— Что бы вы сделали, будь у вас тысяча долларов? — с таким вопросом он обратился к кучеру.

— Открыл бы трактир! — быстро и хрипло ответил тот. — Я знаю такое местечко, где я мог бы обеими руками загребать денежки. Это — четырехэтажный кирпичный угловой дом. В голове у меня все готово. Во втором этаже я устроил бы закусочную, в третьем — маникюр и разные другие заграничные штучки, а в четвертом — бильярдную. Если вам угодно втесаться в это дело, то...

— О нет, нет! — быстро ответил Джилльян. — Я просто из любопытства спросил об этом. Я беру вас по часам. Гоните, пока я не прикажу вам остановиться.

Проехав восемь кварталов по Бродвею, Джилльян с помощью тросточки откинул подножку и вышел. Сбоку, на тротуаре, на стуле, сидел слепой и продавал карандаши. Джилльян направился прямо к нему.

— Извините меня за беспокойство, — сказал он, — но я очень хотел бы услышать из ваших уст, что вы сделали бы, будь у вас тысяча долларов?

— Это вы только что приехали в кебе? — осведомился слепой. — Я сразу понял, что вы человек со средствами! — сказал торговец карандашами. — Днем в кебе могут разъезжать только богатые люди. Если угодно, взгляните вот на это!

С этими словами он вынул из бокового кармана записную книжку и протянул ее молодому человеку. Джилльян открыл ее и увидел, что это банковская книжка на имя слепого, капитал которого равнялся 1785 долларам.

Джилльян вернул ему книжку и снова сел в кеб.

— Я забыл кое-что, — сказал он кучеру. — Поезжайте, пожалуйста, в контору нотариусов Тольмен и Шарп, Бродвей, номер...

Нотариус Тольмен довольно недружелюбно вопросительно глянул на него поверх золотых очков.

— Простите великодушно, — весело заявил молодой человек, — но разрешите мне задать вам один вопрос. Надеюсь, что вы не сочтете меня назойливым. Разрешите узнать, оставлено ли что-нибудь мисс Хайден помимо перстня с печаткой и десять долларов?

— Ровно ничего! — отрезал нотариус.

— Премного благодарен вам! — сказал Джилльян. — Имею честь!

Он снова сел в кеб и дал кучеру адрес покойного дяди.

Мисс Хайден писала письмо в библиотеке. Она была невысокого роста, но очень стройна и одета во все черное. Мимо ее глаз никто не мог равнодушно пройти. Джилльян направился к ней со своим обычным видом полнейшей беззаботности.

— Я только что от старого Тольмена, — пояснил он. — Они все время разбирались в бумагах и вот нашли... — Джилльян попытался было найти в своей памяти специальный юридический термин. — Ну... нашли... Добавление... постскрипtum... в этом... самом... в завещании. Оказывается, что наш старик в последнюю минуту передумал и решил дать вам еще тысячу долларов. Я специально поехал к вам для того, чтобы сообщить эту новость, а Тольмен просил меня передать вам деньги. Вот они! Вам бы лучше сосчитать их: все ли правильно?

Он положил деньги рядом с девушкой, на столе.

Мисс Хайден побледнела.

— О! — сказала она и повторила: — О!

Джилльян повернулся и взглянул в окно.

— Я позволяю себе думать, — тихо произнес он, — что вы знаете, до чего я люблю вас!

— Мне очень жаль! — ответила девушка, взяв со стола деньги.

— И никакой надежды для меня? — с почти легким сердцем спросил молодой человек.

— Мне очень жаль! — снова повторила она.

— В таком случае вы разрешите мне написать пару слов? — с улыбкой спросил он и сел за большой библиотечный стол. Она подала ему бумагу и перо и вернулась к своему столу.

Джилльян написал следующий отчет о том, как он потратил выданные ему деньги: «Полученная блудной овцой Робертом Джилльяном 1000 долларов во имя вечного счастья передана лучшей и самой дорогой женщине на свете».

Написанное Джилльян положил в конверт, затем конверт в карман и отправился своей дорогой. Через некоторое время его кеб снова остановился у нотариальной конторы Тольмена и Шарпа.

— Имею честь довести до вашего сведения, что полученная мной тысяча долларов истрачена! — доложил он Тольмену. — И вот, согласно нашему условию, я явился к вам для того, чтобы дать полный отчет. Вы не находите, мистер Тольмен, что в воздухе уже определенно пахнет летом?

С этими словами он положил на стол нотариуса белый конверт и прибавил:

— Здесь, сэр, вы найдете меморандум, касающийся *modus'a operandi* в деле исчезновения полученных мною долларов.

Не притрагиваясь к конверту, мистер Тольмен подошел к двери и позвал своего компаньона, мистера Шарпа, после чего оба нотариуса с головой ушли в непроглядные глубины огромного сейфа. Через некоторое время они извлекли оттуда трофей в виде большого конверта с сургучной печатью.

Проделав над этим конвертом все, что в сих случаях полагается, они одновременно склонили свои почтенные головы над извлеченным листом бумаги. Через некоторое время мистер Тольмен снова обрел дар речи.

— Мистер Джилльян! — начал он официальным тоном. — Мы только что нашли добавление к завещанию вашего почтенного дядюшки. Этот конверт был поручен нам с тем,

что мы вправе открыть его лишь тогда, как вы отдадите нам полный отчет в израсходовании полученной тысячи долларов. Ввиду того, что этот пункт завещания вами выполнен согласно требованиям, мы с мистером Шарпом решили ознакомиться с дополнением. Я не позволю себе досаждать вам нашей профессиональной фразеологией и в двух словах изложу содержание означенного добавления: в том случае, если способ израсходования вами тысячи долларов докажет наличие у вас чувств, заслуживающих вознаграждения, вы получите добавление к той сумме, которую уже получили. Мы с мистером Шарпом назначены душеприказчиками вашего дядюшки, и разрешите уверить вас, сэр, что мы в точности выполним волю покойного, причем постараемся проявить при этом максимум лояльности. Ради бога, мистер Джилльян, не подумайте, что мы хоть сколько-нибудь настроены против вас. Но разрешите нам вернуться к содержанию дополнения. Если способ израсходования вами тысячи долларов обнаружит осторожность, мудрость и полное отсутствие эгоистических импульсов, то нам надлежит вручить вам пятьдесят тысяч долларов в государственных ценных бумагах, каковые бумаги в настоящее время находятся в наших руках. Но в том случае, если — как это предвидел и точно указал наш покойный клиент! — вы потратили деньги обычным для вас способом — простите, но я только цитирую покойного! — потратили деньги в кругу недостойных товарищей и самым недостойным образом! — то означенные в дополнении пятьдесят тысяч долларов должны быть незамедлительно вручены мисс Мириам Хайден, воспитаннице покойного мистера Джилльяна. А теперь, с вашего разрешения, мы с мистером Шарпом рассмотрим ваш отчет об израсходовании тысячи долларов. Если не ошибаюсь, вы представили ваш отчет в письменной форме. Разрешите надеяться на то, что вы отнесетесь с полным доверием к нашему решению.

С этими словами мистер Тольмен потянулся к конверту, но Джилльян успел опередить его. Он схватил конверт с отчетом, совершенно спокойно порвал его на мельчайшие клочки и положил их в карман.

— Все обстоит совершенно благополучно! — с неизменной улыбкой на устах произнес он. — По-моему, не стоит беспокоить вас рассмотрением моего отчета, тем более что я не уверен, разберетесь ли вы во всех тонкостях, которые там имеются. Я вам скажу всю правду: я проиграл эти деньги на бегах. А теперь, джентльмены, имею честь откланяться!

Тольмен и Шарп мрачно поглядели друг на друга, так же мрачно покачали головами и посмотрели вслед молодому Джилльяну, который вышел и, весело насвистывая, стал дожидаться лифта.

Город побежден

Перевод Л. Гаусман

Появление Роберта Уолмсли на горизонте Нью-Йорка было результатом упорной борьбы. Он вышел из нее победителем — с именем и состоянием. Но, с другой стороны, столица проглотила его целиком. Она дала ему то, что он требовал, и потом наложила свое клеймо на него. Город перекроил, перешил, вырядил, отштамповал его по одобренному образцу. Город широко распахнул перед ним свои социальные ворота — и запер его на низко скошенной, ровной лужайке, в избранном стаде жвачных. В одежде, поведении, манерах, провинциализме, косности, ограниченности Уолмсли достиг той чарующей дерзости, раздражающей законченности, изошренной грубости, уравновешенной важности, которые делают нью-йоркского джентльмена таким восхитительно ничтожным в его величии.

Деревенька одного из верхних Штатов с гордостью признавала преуспевшего, блестящего молодого столичного адвоката продуктом своей почвы. Правда, шесть лет назад эта же самая деревня, вынув соломинку из испачканных черникой зубов, разразилась простодушным и презрительным смехом: «Ну уж этот веснушчатый Боб старика Уолмсли! Дома, на ферме, кормежка трижды в день обеспечена, а он предпочел закуску на ходу по ресторанам скрученной тройным кольцом столицы!» Через шесть лет ни один громкий

процесс, загородная прогулка, столкновение автомобилей, шикарный бал не производили вполне законченного впечатления, если там не красовалось имя Роберта Уолмсли. Портные выслеживали его на улице, чтобы перенять новую складку в покрое его безукоризненных брюк. Аристократы в клубах и члены самых старинных, безупречных семей были рады похлопать его по спине и назвать фамильярно Боб.

И все же Роберт Уолмсли достиг Юнгфрау своей карьеры только с женитьбой на Алисе ван дер Пул. Именно Юнгфрау, ибо так же высока, холодна, бела и недоступна была эта дочь старинных бюргеров. Социальные Альпы, окружавшие ее (сколько тысяч путников напряженно карабкались вверх по их мрачным ущельям!), поднимались только до ее колен. Она башней высилась в своей собственной атмосфере, ясная, непорочная, гордая. Она не бродила вдоль ручьев, не кормила обезьян, не воспитывала собак для выставки. Она была ван дер Пул. Ручьи были созданы услаждать ее слух, обезьяны — служить предками прочих людей, собаки — по ее понятию — быть спутниками слепцов и предосудительных типов, курящих трубку.

И вот этой Юнгфрау достиг Роберт Уолмсли. Если он и убедился — заодно с милым, легконогим, кудрявым поэтом, — что путник, взобравшись на горные вершины, находит самые высокие пики окутанными густым покровом из облаков и снега, то он все же храбро скрыл свой озноб под улыбкой. Он был счастливчик и знал это, хотя ему и приходилось, подражая спартанскому юноше, ходить с мороженицей под жилетом против самого сердца.

После краткого свадебного путешествия за границу молодые вернулись в Нью-Йорк — всколыхнуть крупной рябью спокойный бассейн (такой невозмутимый, холодный и тусклый) высшего общества. Они задавали приемы в усыпальнице былой славы — в каменном мавзолее старинного величия, посреди векового парка. И Роберт Уолмсли гордился своей женой, но когда он правую руку протягивал своим гостям, в левой он крепко держал свою альпийскую палку и градусник.

Однажды Алиса нашла письмо к Роберту от его матери. Это было немудреное послание, полное аромата полей, материнской любви и деревенских новостей. Оно подробно уведомляло о здоровье свиньи и новой рыжей телки и справлялось, в свою очередь, о здоровье Роберта. Письмо — прямо из родного дома, с биографиями пчел, рассказами о репе, гимнами только что снесенным яйцам, подробностями о забытых родных и кучей сушеных яблок.

— Отчего вы не показывали мне писем матери? — спросила Алиса.

В ее голосе всегда было нечто такое, что заставляло вас вспоминать лорнетку, судебный отчет, скрип саней на пути от Даусона к Форт-Майль, дребезжание подвесок на канделябрах вашей бабушки, снег на крыше монастыря, полицейского пристава, явившегося с приказом задержать вас.

— Ваша мать, — продолжала Алиса, — приглашает нас на свою ферму. Я никогда не видела фермы. Мы поедем туда на неделю или две, Роберт?

— Поедем, — сказал Роберт с важным видом члена верховного судилища, одобряющего приговор. — Я не показывал вам до сих пор приглашения, полагая, что вам не захочется ехать. Мне очень приятно ваше решение.

— Я сама напишу вашей матери, — ответила Алиса с легким оттенком энтузиазма. — Фелиси сейчас же уложит мои сундуки. Пожалуй, хватит семи. Вряд ли ваша мать устраивает большие приемы. А домашние вечера у нее часто бывают?

Роберт встал и, в качестве защитника сельских местностей, предъявил отвод против шести сундуков из семи. Он старался определить, объяснить, растолковать, нарисовать, описать, что это такое — ферма. Но собственные слова странно звучали в его ушах. Он просто не замечал, до какой степени он стал городским человеком.

Прошла неделя — и она застала супругов уже на маленькой деревенской станции в пяти часах езды от столицы. Ухмыляющийся, язвительный, голосистый юноша, правивший мулом, запряженным в повозку, резко окликнул Роберта:

— Алло, мистер Уолмсли! Наконец нашли дорогу домой? Жаль, что я не приготовил для вас автомобиля, но отец как раз сегодня работает на нем на десятиакровом клеверном выгоне.

Надеюсь, вы извините, что не накинул смокинг для вашей встречи, но ведь еще нет шести часов, не правда ли?

— Том, я рад видеть тебя, — сказал Роберт, схватив руку брата. — Да, я нашел наконец дорогу домой. Ты имеешь право сказать «наконец». Ведь больше двух лет я не был здесь. Но теперь это будет чаще, мой мальчик.

Алиса — и в летний зной холодная, как полярная гирлянда, белая, как норвежская снегурочка, в своем прозрачном муслине и кружевном, с воланами зонтике — показалась из-за угла станции, и Том потерял весь свой апломб. Он не проронил больше ни слова и на обратном пути поведал свои тайные мысли только мулу.

Они ехали к ферме. Заходящее солнце щедро затопляло золотом богатые поля пшеницы. Города остались далеко позади. Дорога вилась вокруг леса, долин и холмов, подобно ленте, оброченной с нарядом беспечного лета. Ветер мчался за ними следом, точно ржущий конь за колесницей Аполлона.

Скоро показался и серый домик фермы под тенью верной рощи. Они увидели длинную тропинку со свитой из орешников, бежавших от дороги вплоть до самого дома; они вдыхали аромат шиповника и влажных, прохладных ив у речки.

И сразу все голоса земли запели хором душе Роберта Уолмсли. Они глухо гудели из-под навеса хмурого леса, чирикали и жужжали в знойной траве, заливались трелями в журчащем потоке, звучали звонкой свирелью Пана в туманных лугах, им вторили птицы в погоне за комарами и мошками, ласково аккомпанировали степенные колокольчики коров — и в могучем хоре каждый по-своему вопрошал:

— Ты наконец нашел дорогу домой?

Голоса земли говорили с ним по-старому. Листья, бутоны и цветы болтали с ним на прежнем языке его беззаботной юности: неодушевленные предметы, родные камни, заборы и изгороди, ворота и крыши, межи и перекрестки — все было полно красноречия, все изменило свой облик. Деревня улыбалась, и, обвеянный ее дыханием, Уолмсли почувствовал на миг, как сердце переполнилось старой любовью. Город исчез.

Да, деревенская наследственность проснулась, захватила, заполонила Роберта Уолмсли. Но странно: он тут же отметил про себя, как сидевшая рядом с ним Алиса вдруг показалась ему чужой. Ей не было места в этом возврате к прошлому. Никогда раньше она не казалась такой далекой, бесцветной и недоступной, — неосязаемой и нереальной. И все же никогда еще он не находил ее такой восхитительной, как теперь, сидя рядом с ней в тряской деревенской повозке, где она гармонировала с его настроением и средой не больше, чем Юнгфрау — и огород мужика.

В этот вечер, после приветствий и ужина, вся семья, включая Бэфа, желтого пса, высыпала на крыльцо. Алиса, в очаровательном бледно-сером туалете, не высокомерная, но все же молчаливая, выбрала тенистый уголок. Мать Роберта, сияющая, беседовала с ней о варенье и о болях в пояснице. Том уселся на верхней ступеньке, сестры — Милли и Пэм — на самой нижней — ловить светящихся жуков. Мать — в плетеной качалке. Отец — в своем большом мягком кресле, где уже не доставало одной ручки. Бэф растянулся посередине, мешая всем и каждому. Сумеречные духи и домовые прокрались незримо, ожили в памяти и снова болезненно тронули сердце Роберта. Деревенское помешательство овладевало его душой. Город исчез.

Отец сидел без трубки, ежась в своих тяжелых сапогах, — жертва неумолимой вежливости.

— Нет, не надо! — крикнул Роберт, принес трубку, зажег ее, схватил старика за сапоги и стащил их с его ног. Но один сапог внезапно соскользнул — и мистер Роберт Уолмсли, из Вашингтон-сквера, скатился с крыльца, а Бэф с неистовым лаем очутился на нем. Том саркастически рассмеялся.

Роберт сорвал с себя пиджак и жилет и бросил их в куст сирени.

— Эй ты, деревенщина, — крикнул он Тому, — выходи-ка сюда, я натру тебе спину травой. Мне показалось, ты меня назвал «фитюлькой». Поди-ка сюда, поди! Вот ты у меня

попрыгаешь!

Том понял приглашение и с удовольствием принял его. Трижды они боролись на траве «боковым захватом», точно какие-нибудь светила арены. И дважды Том вынужден был отдаться на милость изящного адвоката.

Растрепанные, задыхаясь и не переставая хвастаться своей доблестью, они подошли к крыльцу. Милли обронила дерзкое замечание насчет достоинств столичного братца. Вмиг Роберт зажал между пальцев исполинскую стрекозу и направился прямо к сестре. С диким криком та во весь дух пустилась по тропинке, преследуемая мстительным призраком. Четверть мили — и оба вернулись; сестра — чистосердечно извиняясь перед победителем — фитюлькой: деревенская мания завладела им окончательно.

— Эх вы, сеноеды! Растяпы! Да я вас всех, как коров, в закуту могу загнать! — тщеславно кричал он. — Ну-ка, волоките сюда всех своих псов, всех лохмачей — всех!

Он так вертелся колесом в траве, что пронзил сердце Тома язвительной завистью. Потом с гиканьем затопал на задворки, вернулся с дядей Айком, одряхлевшим мулатом-работником с банджо⁵⁶ в руках; посыпал песком крыльцо, проплясал «Цыплят на подносе» и еще с полчаса показывал разные фокусы-покусы. Просто невероятно дико и шумно вел он себя. Пел, наводил на всех жуть страшными сказками, разыгрывал деревенского простофилю, паясничал, фиглярничал. Он обезумел, обезумел от воскресшей в его крови старой жизни.

Он так разошелся, что однажды мать попыталась даже — очень вежливо — остановить его. Тут Алиса задвигалась, точно собиралась что-то сказать, но не проронила ни звука. Она сидела все время неподвижно, — стройное, белое видение во мраке, видение, к которому никто не решался обратиться с вопросом, видение, тайну которого никто не решался прочесть.

Скоро, ссылаясь на усталость, она попросила позволения удалиться в свою комнату. Ей пришлось пройти мимо Роберта. Он стоял в дверях — фигура из вульгарной комедии, всклокоченный, с разгоревшимся лицом, в непростительно растрепанном костюме — ни малейшего следа безукоризненного Роберта Уолмсли, избалованного клубмена, украшения избранных кругов. В эту самую минуту он был поглощен каким-то замысловатым трюком с кастрюлей, и вся семья, вся без исключения, вновь плененная им, смотрела на него с нескрываемым обожанием.

При проходе Алисы Роберт вдруг осекся. На мгновение он забыл о ее присутствии. Даже не взглянув на него, она поднялась по лестнице.

После того веселье утихло. Побеседовали еще около часа, и Роберт тоже удалился к себе.

Когда он вошел в их комнату, Алиса стояла у окна, все в том же наряде, как и раньше на крыльце. За окном была исполинская яблоня, вся в цвету, ветви ее лезли прямо в окно.

Роберт вздохнул и подошел ближе к окну: он готов был выслушать свой приговор. Отпетый плебей, он читал вердикт правосудия уже в самой позе этого тихого, в белой одежде видения. Он знал строгие, прямые линии, которые сейчас вычертит урожденная ван дер Пул. Он, деревенщина, аляповато прыгающий вниз, в долине — и чистая, холодно-белая, застывшая вершина Юнгфрау не может даже хмуриться, глядя на него. Он сам, своими собственными поступками сбросил с себя маску. Весь лоск, вся важность, весь вид, привитые ему столицей, свалились, как небрежно брошенный плащ, при первом дуновении свежего деревенского ветра. Он сумрачно ждал неминуемого приговора.

— Роберт, — прозвучал спокойный, холодный голос его судьи, — я полагала, что выходила замуж за джентльмена.

Вот оно, начинается! И все же, даже в этот момент, перед лицом судьбы — Роберт с увлечением рассматривал ветку яблони; как часто он карабкался на нее вот из этого самого окна. Думается, и теперь он мог бы проделать то же. А интересно, сколько цветов на яблоне — миллионов десять наберется?

Но тут снова раздался чей-то голос:

⁵⁶ Банджо — музыкальный инструмент вроде гитары.

— Я думала, мой муж — джентльмен... — голос громче. — Но...
Отчего она подошла и стала так близко?
— Но я сделала открытие... — Полно, разве это говорит Алиса? — ...что мой муж лучше:
он — мужчина. Боб, милый, поцелуй меня.
Город исчез.

Прихоти Фортуны

Перевод Н. Дехтеревой

Есть свои аристократы и среди городских общественных парков, и даже среди бродяг, избравших их своей резиденцией. Вэлэнс не столько знал, сколько чуял это инстинктом, и когда ему пришлось спуститься из своего мира в неведомый хаос, ноги сами понесли его на Мэдисон-сквер.

Порывистый и колючий, как школьницы былых времен, юный май выстуживал своим дыханием деревья с набухшими почками. Вэлэнс застегнул пальто, закурил последнюю папиросу и уселся на скамью. Минуты три он предавался легким сожалениям о последней сотне из последней тысячи долларов — ее отобрал полисмен на велосипеде, когда положил конец его последней поездке на автомобиле. Затем он порылся во всех карманах и ни в одном не нашел ни единого цента. Сегодня утром он съехал с квартиры. Обстановка пошла на покрытие кое-каких долгов. Костюмы — все, кроме того, что был на нем, — перешли лакею в счет задержанного жалованья. И теперь во всем городе не было для него ни постели, ни жареного омара, ни денег на трамвайный билет, ни гвоздики в бутоньерку — оставалось или выпрашивать все это у друзей, или же раздобывать неблагоприятными способами. Вот он и предпочел парк.

И все потому, что некий дядя лишил его наследства и свел к нулю свои щедрые даяния. А это все потому, что племянник выказал непослушание относительно некой молодой особы, которая в данном рассказе не фигурирует: читатели, диктующие авторам свои собственные литературные законы, могут на этом дальнейшее чтение прекратить.

Имелся еще и второй племянник — другой фамильной ветви и когда-то дядин любимец и предполагаемый наследник. Не оправдав, однако, надежд и впад в немилость, он давным-давно исчез, погрязши где-то в темной жизненной трясине. Но теперь принимались меры, чтобы извлечь его оттуда — ему предстояло вновь обрести и благосклонность и наследство. А Вэлэнс величественно, как падший Люцифер, низвергся в бездонную пропасть, примкнув к обтрепанным привидениям маленького парка.

Он откинулся на жесткую спинку скамьи и засмеялся, выдохнув легкое облачко дыма в нижние ветви деревьев. Все нити его жизни внезапно оказались обрезаны, и это вызвало в нем чувство свободы, душевный подъем, почти ликование. У него было ощущение воздухоплователя, который перерезал ремни своего воздушного шара и дал ему уплыть вдаль.

Было уже около десяти часов вечера. Скамьи начинали пустеть. Обитатель парка, стойкий борец с осенней прохладой, обычно не спешит броситься в атаку на авангард холодной когорты весны.

Но вот со скамьи возле плещущего фонтана поднялся некто, подошел к Вэлэнсу и присел с ним рядом. Не то еще молодой, не то уже в годах; дешевые «меблирашки» оставили ему свой налет замшелости; бритвы и гребешки обошли его стороной; спиртное в нем было прочно закупорено и скреплено дьяволовой печатью. Он попросил «огонька» — принятая среди завсегдатаев парковых скамей формула, имеющая целью завязать разговор.

— Вы не здешний, не из постоянных, — обратился он к Вэлэнсу. — Костюм от портного я всегда распознаю. Вы шли через парк и сели отдохнуть. Можно мне поговорить с вами? Мне сейчас нельзя быть одному. Я боюсь... боюсь... Пробовал рассказать кое-кому тут в парке. Все думают, что я спятил. Послушайте — ну дайте мне объяснить вам. Пара сушек и яблоко

— вот все, что я ел сегодня. А завтра я займу очередь на получение наследства в три миллиона. Тот ресторан, который вы видите отсюда и перед которым скопилось столько машин, будет для меня слишком дешев. Вы мне верите? Верите, что я говорю правду?

— Не сомневаюсь ни одной минуты, — ответил Вэлэнс, рассмеявшись. — Вчера я там обедал, а сегодня не мог бы заказать себе чашку кофе за пять центов.

— Но вид у вас не такой, будто вы один из нашей братии. Что ж, бывает. Я сам когда-то жил шикарно — несколько лет тому назад. А что с вами стряслось?

— Я... меня уволили с работы.

— Нью-Йорк — это ад крошечный, вот что это такое, — продолжал новый знакомец Вэлэнса. — Сегодня вы едите на китайском фарфоре, а на следующий день — в китайской обжорке, где вас кормят паршивым рагу. Мне в жизни так не повезло, что дальше некуда. Пять лет я только что руку за подаванием не протягивал. А растили меня для роскоши и безделья. Послушайте... мне не совестно сказать вам — надо же мне поговорить с кем-то. Я боюсь... Понимаете? Боюсь... Меня зовут Айди. Вам небось и в голову не могло прийти, что старик Полдинг — один из миллионеров с Риверсайд-драйв — приходится мне родней. Так вот, он мой дядя. Я когда-то жил у него в доме, и денег у меня было сколько душе угодно. Послушайте, у вас не наберется на пару стаканчиков, мы бы с вами... Как вас зовут?

— Доусон, — ответил Вэлэнс. — Нет, к сожалению, в финансовом смысле я полный банкрот.

— Я вот уже неделю ночую в угольном погребке на Дивижн-стрит, — продолжал Айди. — И со мной там еще этот мошенник, его называют Морис Пройдоха. Больше деваться было некуда. А нынче, когда я выбрался на улицу, в погреб явился какой-то тип с бумагами, спрашивал меня. Кто его знает, может, это какой-нибудь хитрюга фараон. На всякий случай я весь день держался подальше, вернулся, только когда стемнело. Оказывается, он оставил мне письмо. Знаете, Доусон, от кого оно? От мистера Мида, известного адвоката. Солидная фирма. Я видел их вывеску на Энн-стрит. Старик Полдинг хочет, чтобы я разыграл роль блудного племянника, вернулся к родным пенатам и вновь стал его наследником и, как бывало, продувал его денежки. Завтра в десять утра мне надо явиться в адвокатскую контору и влезть в прежнюю свою шкуру — стать наследником трех миллионов и получать десять тысяч в год на карманные расходы. И я боюсь... Я боюсь...

Айди вскочил на ноги и вскинул трясущиеся руки. Он задыхался, издавал истерические стоны.

Вэлэнс схватил его за руку и силой усадил на скамью.

— Успокойтесь! — скомандовал он с ноткой легкого отвращения в голосе. — Можно подумать, что вы не разбогатеете собираетесь, а только что лишились последнего. Чего вы боитесь?

Айди сидел присмиривший, но весь дрожал. Он вцепился в рукав Вэлэнса, и даже в неясном свете огней с Бродвея разжалованный наследник видел, что от непонятного страха у будущего миллионера выступили на лбу капли пота.

— Я боюсь, потому что все время думаю, вдруг до завтрашнего дня со мной что-нибудь случится. Не знаю, что именно, но что-нибудь такое... и денежки мои пролетят мимо. Боюсь, что на меня упадет дерево, боюсь, что меня задавит кеб, или с крыши свалится на голову камень, или еще что-нибудь... Я прежде никогда не трусил. Сотни ночей провел в этом парке, спал спокойно, как бревно, хоть и не знал, где наутро раздобуду себе завтрак. Но теперь дело другое. Доусон, я люблю деньги — я испытываю блаженство, когда они текут у меня меж пальцев, — и все-то гнут перед тобой спину, и все-то к твоим услугам — музыка, цветы, великолепный костюм. Пока я знал, что это уже не для меня, мне было наплевать. Я даже бывал доволен — голодный, в отрепьях, сидел здесь на скамье, слушал, как журчит фонтан, поглядывал на проезжающие экипажи. Но сейчас богатство опять у меня в руках... почти что... И я просто не в силах ждать еще целых двенадцать часов. Со мной может стрястись любая беда — могу ослепнуть, умереть от разрыва сердца... Или наступит конец света, прежде чем я...

Пронзительно вскрикнув, Айди снова вскочил. Люди на ближайших скамьях зашевелились, стали оглядываться. Вэлэнс взял его под руку.

— Давайте походим, — сказал он успокаивающе. — Приведите нервы в порядок. Нет никаких причин для тревоги и опасений. Сегодняшняя ночь такая же, как и всякая другая.

— Вот, вот, — сказал Айди. — Не оставляйте меня одного, прошу вас, Доусон. Пройдемся немного вместе. Никогда прежде я так не раскисал, хоть жизнь мне то и дело ставила подножки. Скажите, вы не могли бы сообразить что-нибудь насчет ужина, а? Боюсь, нервы у меня так разошлись, что я просто не в состоянии идти клянчить.

Вэлэнс провел своего собеседника по теперь почти безлюдной Пятой авеню и затем повернул к Бродвею.

— Подождите здесь, — сказал он Айди, оставив его стоять в укромном темном месте неподалеку от знакомого Вэлэнсу отеля. Войдя в бар своей обычной, уверенной — прежней — походкой, он направился к стойке.

— Джимми, — обратился он к бармену, — там за дверью стоит какой-то бедняга. Говорит, голоден, и похоже на правду. Вы знаете, что они делают, если им дать деньги на руки? Приготовьте один или два сэндвича. Я прослежу, чтобы он их не выбросил.

— Да, конечно, мистер Вэлэнс, — сказал бармен. — Не все же они проходимцы. Я и сам не люблю видеть голодных.

Он завернул в салфетку щедрую бесплатную закуску, и Вэлэнс вынес сверток своему подопечному. Айди жадно накинулся на еду.

— Уж и не помню, когда мне доставался такой первоклассный даровой ужин, — сказал он. — А вы, Доусон, разве не будете есть?

— Благодарю, я не голоден, — ответил Вэлэнс.

— Вернемся в парк, — предложил Айди. — Фараоны нас там не потревожат. А ветчину и все остальное припрячу нам на утро. Сейчас больше есть не стану, еще, чего доброго, захвораю. Вдруг умру ночью от желудочных коликов и так и не получу своих денег. Остается еще одиннадцать часов до того времени, как мне надо быть у адвоката! Вы не оставите меня, Доусон? Я боюсь, вдруг все-таки что-нибудь случится... У вас есть где ночевать?

— Нет, — ответил Вэлэнс. — Сегодня нет. Я проведу ночь на скамье вместе с вами.

— Хладнокровный вы тип, — заметил Айди, — если только не втираете мне очки. Другой на вашем месте стал бы волосы на голове рвать, что потерял хорошее место и очутился на улице.

— Помнится, я уже говорил, что, на мой взгляд, человек, рассчитывающий на следующий день получить большое состояние, должен был бы находиться в спокойном и приятном расположении духа, — ответил Вэлэнс, посмеиваясь.

— Да, чудно, — продолжал разглагольствовать Айди. — Чудно, как люди относятся к таким вещам. Вот ваша скамья, Доусон, как раз рядом с моей. Здесь свет не будет бить вам в глаза. Послушайте, Доусон: как только вернусь домой, заставлю моего старика дать вам рекомендательное письмо, устроить на работу. Вы нынче оказали мне огромную услугу. Не встретить я вас, не знаю, как бы я пережил эту ночь.

— Спасибо, — сказал Вэлэнс. — Скажите, вы укладываетесь на скамью или спите сидя?

Шли часы, а Вэлэнс все смотрел, почти не мигая, на звезды, мерцавшие сквозь ветви, и прислушивался к резкому стуку лошадиных копыт, затихающих где-то в южной части города. Ум его деятельно работал, но чувства будто уснули. Не было ни сожалений, ни страха, ни боли, ни ощущения физического неудобства. Даже когда мысли его обратились к уже упомянутой молодой особе, она показалась ему лишь обитательницей одной из тех далеких звезд, от которых он не отрывал взгляда. Ему вспомнились нелепые выходки его нового товарища, и он тихонько засмеялся, но веселее ему не стало. Вскоре каждодневная армия молочных фургонов двинулась на город, обратив его в грохочущий барабан. Вэлэнс уснул на своем неудобном ложе.

В десять часов утра оба они уже стояли у двери в контору Мида на Энн-стрит.

С приближением ответственного момента нервы у Айди совсем сдали, и Вэлэнс не

решался оставить его одного как возможную жертву опасных случайностей, которых тот так страшился.

Они вошли в контору, и мистер Мид поглядел на них удивленно. Мистер Мид и Вэлэнс были давнишними друзьями. Поздоровавшись с ним, адвокат повернулся к Айди — тот стоял бледный как полотно и дрожал всем телом.

— Я вчера же послал вам второе письмо, мистер Айди, — сказал он. — Сегодня утром я узнал, что вы отсутствовали и это второе письмо не получили. Оно уведомяло вас, что мистер Полдинг пересмотрел свое предложение по поводу вашего возвращения домой. Он решил отказаться от этой мысли и дает вам понять, что вы не должны рассчитывать на перемену отношений между вами.

Дрожь Айди мгновенно улеглась. На лицо вернулась краска. Он выпрямил спину, выдвинул челюсть вперед на полдюйма, в глазах его появился блеск. Одной рукой он сдвинул на затылок свою выдавшую виды шляпу, другую энергичным, вызывающим жестом выбросил вперед. Набрав в легкие воздуха, он насмешливо расхохотался.

— Передайте старику Полдингу, чтобы он отправлялся ко всем чертям, — проговорил он громко и отчетливо, повернулся и вышел из конторы твердым, уверенным шагом.

Адвокат Мид с улыбкой повернулся к Вэлэнсу.

— Я рад, что вы заглянули ко мне, — сказал он приветливо. — Ваш дядя желает, чтобы вы немедленно вернулись домой. Он примирился с теми обстоятельствами, которые послужили причиной его необдуманного шага, и желает заверить вас, что все будет так, как было, и... Адамс! — позвал он клерка. — Принесите стакан воды — быстрее! Мистеру Вэлэнсу дурно.

Адское пламя

Перевод А. Старцева

Есть у меня два-три знакомых редактора, к которым я, если вздумаю, могу хоть сейчас зайти поболтать на литературные темы. Раньше бывало, что они вызывали меня для беседы на литературные темы. Это не то же самое. Так вот, они мне рассказывали, что немалая часть рукописей, приходящих в редакцию, имеет приписку от автора, где он клянется, что его сочинение «взято из жизни». Дальнейшая судьба такой рукописи зависит лишь от того, приложена к ней или нет почтовая марка. Если приложена, рукопись уходит назад к сочинителю. Нет — она летит в угол, где ее уже ждет пара старых калош, опрокинутая статуэтка крылатой Победы или груда старых журналов, на обложке одного из которых изображен сам редактор, увлеченно читающий в подлиннике «Le Petit Journal»⁵⁷ (держа его вверх ногами — это видно по иллюстрациям). Легендарная редакционная корзина для отвергнутых рукописей на самом деле не существует.

Итак, факты жизни — в презрении. Пройдет время, наука, природа, истина вотрутся в доверие к искусству. С фактами станут считаться. Злодеев потянут к ответу вместо того, чтобы выбирать их в правление акционерного общества. Но пока что вымысел живет в разводе с действительностью, платит ей алименты и выступает опекуном репортерских отчетов.

Вся эта преамбула здесь к тому, что я хочу рассказать вам историю «из жизни». Как таковая, она будет предельно простой. Все прилагательные я постараюсь заменить на предлоги и, если вы уловите в ней хоть какое-либо изящество слога, знайте, это вина наборщика. Я предложу вам рассказ из литературного быта большого города, и он будет полезен каждому в Госпорте, штат Индиана (и на двадцать пять миль в окружности), у кого на столе лежит готовая рукопись, начинающаяся примерно такими словами: «В старой ратуше

⁵⁷ «Маленький журнал» (фр.).

еще слышались клики восторженных избирателей, но Гарвуд, тепло пожав руки своим верным друзьям и помощникам, уже пробивал путь в толпе, поспешая к судье Кресвеллу, где его ждала Айда».

Петтит прибыл из Алабамы, чтобы посвятить жизнь изящной словесности. В южных газетах уже появились восемь его рассказов с примечанием редакции, разъяснявшим, что автор — «сын нашего доблестного майора Петтингила Петтита, героя сражения при Лукаут-Маунтен и бывшего окружного судьи».

Петтит был молодым человеком несколько сурового вида, из застенчивости скрывавшим свою большую начитанность. Мы с ним были друзьями. Отец его держал лавку в городке, называвшемся Хосиа. Петтит вырос в хосийских сосновых лесах и ракичниках. Он привез в саквояже два рукописных романа о похождениях в Пикардии в 1329 году некоего Гастона Лабуле, виконта де Монрепо. Не станем его осуждать, это может случиться с каждым. А потом мы вдруг пишем сногшибательный очерк о малютке-газетчике и его колченогой собаке, и наш очерк печатают; ну, а потом... покупаем большой чемодан и ходим от дома к дому, предлагая усовершенствованные газовые горелки по доллару и двадцать пять центов за штуку: «Необходимо каждой хозяйке!»

Я привел Петтита в красный кирпичный дом, который в дальнейшем, когда мы со всем этим покончили, был увековечен в статье «Литературные реликвии старого Нью-Йорка». Петтит снял комнату, — лавка в Хосии пока что брала на себя его содержание. Я повел его по Нью-Йорку, и он не сказал мне ни разу, что авеню Генерала Ли у них в Хосии значительно шире Бродвея. Это меня обнадежило, и я решился на последний экзамен.

— А что, если тебе написать о Нью-Йорке, — сказал я ему. — Скажем, «Вид с Бруклинского моста». Знаешь, взглянуть свежим глазом...

— Постарайся не быть идиотом, — ответил мне Петтит, — пойдем выпьем пива. Город мне в общем понравился.

Мы с ним обнаружили подлинное царство богемы и были в большом восторге. Ежедневно, утром и вечером, мы направлялись в один из этих дворцов из кафеля и стекла, где протекал грандиозный, грохочущий эпос жизни. Даже Валгалла, я думаю, не была столь шумной и славной. Классический мрамор столов, снежно-белые свитки салфеток в облитой светом витрине, безошибочно вагнеровские созвучия в перестуке тарелок и чашек, стаккато ножей и вилок, пронзительный речитатив облаченных в белые фартуки дев-официанток у стоек, напоминавших анатомический стол, и лейтмотив неумолчных кассовых аппаратов — все сливалось в гигантский ликующий, возвышающий душу синтез искусств, парад героической, исполненной символов жизни. И порция бобов стоила всего десять центов. Мы изумлялись, что наши собраты, служители муз, продолжают вкушать свои трапезы за унылыми столиками в почитающихся артистическими жалких кухмистерских. И содрогались при мысли, что они могут узнать про наш храм и осквернить его своим посещением.

Петтит писал рассказ за рассказом, но редакторы их браковали. Он писал про любовь, чего избегаю я, ибо твердо уверен, что это давно нам известное и популярное чувство должно обсуждаться лишь в узком кругу (на приеме у психиатра или в беседе с цветочницей), но отнюдь не на страницах общедоступных журналов. А редакторы утверждают, что женская часть их подписчиков хочет читать про любовь.

Позволю себе заметить, что это неверно. Женщины не читают в журналах любовных историй. Они ищут рассказы, где героини режутся в покер, и еще изучают рецепты примочек из огуречного сока. Рассказы с любовным сюжетом читают толстяки коммивояжеры и десятилетние девочки. Я не хулю здесь редакторов. В большинстве своем это прекрасные люди, но все же не более чем люди — каждый из них ограничен собственным вкусом и навыками. Я знал двух сотрудников в журнальной редакции, схожих, как два близнеца. Но один был привержен к романам Флобера, другой — любил джин.

Когда Петтит возвращался домой с отвергнутыми рукописями, мы садились читать их вдвоем, чтобы лучше понять, чем недоволен редактор. Это были совсем недурные рассказы, гладко написанные и кончавшиеся, как полагается, на последней странице. События в них

развивались логично и в должной последовательности. Чего не хватало в них, это живой жизни. Представьте на миг, что вы заказали устрицы и вам подали блюдо симметрично разложенных раковин, но — пустых, без их сочных, соблазнительных обитателей. Не колеблясь я дал понять автору, что надо солиднее знать предмет, о котором пишешь.

— На прошлой неделе ты продал рассказ, — сказал Петтит, — где описана стычка на приисках в Аризоне. Твой герой достает из кармана сорокапяткакалиберный кольт и убивает одного за другим семь бандитов. Но кольты такого калибра — шестизарядные.

— Ты путаешь разные вещи, — сказал я. — Аризона далеко от Нью-Йорка. Я могу застрелить человека при помощи лассо и ускакать от погони на паре ковбойских штанов, и никто ничего не заметит — разве какой крохобор настроит на меня кляузу. Ты в иной ситуации. Про любовь здесь, в Нью-Йорке, знают ничуть не меньше, чем где-нибудь в Миннесоте в пору ранней посадки картофеля. Допускаю, что у ньюйоркцев нет той непосредственности — читают не только Байрона, но и биржевой бюллетень (раз уж книжки пошли на Б!). В общем, так или иначе, но этот недуг широко здесь известен. Ты можешь уверить редактора, что ковбой садится в седло, ухватившись за правое стремя, но с любовью, хочешь не хочешь, а должен быть аккуратен. Советую — лично влюбиться, познакомиться с делом практически.

Петтит влюбился. Я так и не знаю, принял он к сведению мой совет или пал жертвой случая.

Он повстречал эту девушку где-то на вечеринке: дерзкую, яркую, золотоволосую, озирающую вас с добродушным презрением нью-йоркскую девушку.

Так вот (зрелый повествовательный стиль разрешает нам время от времени так начинать нашу фразу), Петтит мгновенно рухнул. Познал на собственной шкуре все сомнения, сердечные муки, тоску ожидания, о которых столь бледно писал.

Шейлока клянут за фунт мяса! Амур взыскал с Петтита не менее двадцати пяти фунтов. Так кто же из них ростовщик?

Как-то вечером Петтит явился ко мне сам не свой от восторга. Тощий, измученный, но сам не свой от восторга. Она подарила ему на память цветок.

— Старина, — заявил он с какой-то странной улыбкой, — кажется, я напишу этот рассказ о любви. Тот самый, ты знаешь, за который они ухватятся. Я чувствую, он во мне. Не ручаюсь за то, что получится, но чувствую — он во мне.

Я выгнал его из комнаты.

— За стол и пиши, — приказал я. — Пока не поставишь точку. Я сказал тебе, надо влюбиться. Кончишь, сунешь сюда, под дверь. Не будем ждать до утра.

В два часа ночи послышался шорох под дверь. Прервав беседу с Монтенем, я взялся за Петтита.

Я листал его рукопись, и в ушах у меня не смолкало шипение гусей, легкомысленный щебет воробушков, воркование горлинок, протяжные крики ослов.

— О великая Сафо! — возропал я в душе. — И это — священное пламя, которое, как утверждают, дает пищу гению и творит из него гражданина с обеспеченным заработком?

Рассказ Петтита был сентиментальной трухой с приправой из хныканья, сю-сю-сю-сю и беспримерного ячества. Все, что ему удалось накопить из литературного опыта, было утрачено. Слюнявость рассказа способна была пробудить цинический смех у самой чувствительной горничной.

Наутро я беспощадно сообщил ему мой приговор. Он идиотски ослабил.

— И преотлично, — сказал он. — Сожги его, старина. Какая мне, собственно, разница? Сегодня мы завтракаем с ней у Клермона.

Счастье длилось примерно месяц. После чего Петтит явился ко мне в беспросветном отчаянии: он получил отставку. Нес какую-то чушь об отъезде в южноамериканские страны, о цианистом калии, о безвременно ранней могиле. Добрых полдня я приводил его в чувство. Потом наплатил его целительной порцией алкоголя. Как я говорил уже, это история из жизни и, значит, не может быть выдержана в одних голубых тонах. Две недели подряд я держал его

на Омаре Хайаме и виски. Кроме того, каждый вечер я читал ему вслух ту колонку в вечерней газете, где говорится о хитростях женской косметики. Рекомендую всем этот способ лечения.

Исцелившись, мой Петтит снова принялся за рассказы. Он вернул себе легкость слога, стал писать почти хорошо. Тут взвизывает занавес, начинается третье действие.

Его полюбила без памяти миниатюрная, кареглазая, молчаливая девушка из Нью-Гэмпшира, приехавшая в Нью-Йорк изучать прикладные искусства. Как это бывает с уроженками Новой Англии, под ледяной оболочкой она таила пылкую душу. Петтит не был чрезмерно влюблен, но проводил с ней свободное время. Она его обожала, порой докучала ему.

Дело дошло до кризиса, она чуть не выбросилась из окна, и Петтиту пришлось утешать ее ценой не очень-то искренней нежности. Даже я был смущен ее безоглядной привязанностью. Родная семья, традиции, верования — все пошло прахом, когда заговорила любовь. Положение было тревожное.

Как-то к вечеру Петтит заявился ко мне позевывая. Как и тогда, он сообщил, что у него в голове превосходный рассказ. Как и тогда, я не мешкая усадил его за письменный стол. Был час ночи, когда у меня под дверью зашуршала бумага.

Прочитав рассказ Петтита, я подскочил и, хоть в доме все спали, издал ликующий вопль. Петтит создал свой шедевр. Между строк этой рукописи истекало горячей кровью живое женское сердце. Тайну трудно было постигнуть, но искусство, святое искусство и пульс живой жизни слились здесь в рассказ о любви, который хватал вас за глотку не хуже ангины. Я кинулся к Петтиту, хлопал его по спине, заклинал именами бессмертных, на которых мы с ним молились. Петтит в ответ лишь зевал и твердил, что его клонит ко сну.

Назавтра я потащил его прямо к редактору. Познакомившись с рукописью, великий человек привстал с кресла и пожал Петтиту руку. Это было лавровым венком, представлением к почетному ордену, верным доходом.

И тогда старичина Петтит как-то нехотя улыбнулся. Петтит — истинный джентльмен, так зову я его с той поры. Не бог знает, конечно, какой комплимент, но на слух он вроде получше, чем на бумаге.

— Да, я понял, — сказал мой друг Петтит и, взяв свой рассказ, стал рвать его в мелкие клочья, — я понял теперь правила этой игры. Настоящий рассказ не напишешь чернилами. И кровью сердца тоже рассказ не напишешь. Его можно написать только кровью чужого сердца. Прежде чем стать художником, нужно стать подлецом. Нет, назад в Алабаму! В лавку, к отцу, за прилавок. Закурим, старик.

На вокзале, прощаясь с Петтитом, я попытался оспорить его позицию.

— А сонеты Шекспира? — взмолился я, делая последнюю ставку.

— Та же подлость, — ответил Петтит, — они дарят тебе любовь, а ты ею торгуешь. Не лучше ли торговать лемехами у отца за прилавком?

— Выходит, — сказал я, — что ты не считаешься с мировыми...

— До свидания, старик! — сказал Петтит.

— ...авторитетами, — завершил я свое возражение. — Послушай, старик, если там, у отца, вам понадобится еще продавец или толковый бухгалтер, обещай, что напишешь, ладно?

Немезида и разносчик

Перевод под ред. В. Азова

— Мы отплываем на «Сельтике» утром в восемь часов, — сказала Онорайя, срывая вылезшую нитку на своем кружевном рукаве.

— Я услышал об этом, — сказал молодой Айвз, уронив шляпу. — И я пришел пожелать вам приятного путешествия.

— Разумеется, вы могли только услышать об этом, — с холодной любезностью сказала

Онорайя, — потому что нам не представилось случая самим уведомить вас.

Айвз взглянул на нее вопросительно и безнадежно.

Звонкий голос на улице пропел довольно музыкально лейтмотив уличного торговца сладостями: «Леде-е-е-нцы, хорошие, свежие ле-де-е-нцы».

— Это наш старик разносчик, — сказала Онорайя, высовываясь в окно. — Я хочу купить конфеты с билетиками. В лавках на Бродвее и в помине нет таких вкусных конфет.

Разносчик остановил свою ручную тележку против дома. У него был совершенно необычный для уличного торговца праздничный вид. На нем был ярко-красный галстук, из складок которого выглядывала булавка с подковой, чуть что не в натуральную величину. Глуповатая улыбка морщила его худое, смуглое лицо. Полосатые манжеты с запонками в виде собачьих голов прикрывали загар его кистей.

— Мне кажется, он собирается жениться, — с соболезованием сказала Онорайя. — Я никогда прежде не видала его таким. И сегодня он, право, в первый раз так выкрикивает свой товар.

Айвз бросил на тротуар монету. Разносчик знал своих покупателей. Он наполнил бумажный пакет, влез на крыльцо и подал пакет в окно.

— Я вспоминаю... — сказал Айвз.

— Подождите, — сказала Онорайя.

Она вынула из ящика письменного стола маленький портфель, а из портфеля — маленькую, тонкую бумажку в четверть дюйма.

— В эту, — сурово сказала Онорайя, — была завернута первая, которую мы развернули.

— Это было год назад, — как бы оправдываясь, сказал Айвз и протянул руку, чтобы взять бумажку.

«Клянусь тебе, мой друг, сердечно: тебя любить я буду вечно» — вот что прочитал он на тонкой, узкой бумажке.

— Нам надо было бы уехать две недели назад, — скороговоркой заговорила Онорайя. — Лето такое жаркое. Город совершенно опустел. Некуда пойти. Впрочем, говорят, что в некоторых садах на крышах интересно. Пение или танцы в каких-то из них привлекают публику.

Айвз не дрогнул. Когда находишься на арене, нечего удивляться, что противник наносит тебе удары под ребра.

— Я пошел тогда за разносчиком, — некстати заговорил Айвз, — и дал ему пять долларов. Я догнал его на углу Бродвея.

Он потянулся к пакету, лежавшему на коленях у Онорайи, взял одну завернутую четырехугольную конфетку и медленно развернул ее.

— Отец Сары Чилингворт, — сказала Онорайя, — подарил ей автомобиль.

— Прочтите это, — сказал Айвз, протягивая ей полоску бумаги, в которую был завернут леденец.

«Нас жизнь учит обращению, любовь же учит нас прощению».

Щеки Онорайи запылали.

— Онорайя! — воскликнул Айвз, вскакивая со стула.

— Меня зовут мисс Клинтон, — поправила его Онорайя, выпрямляясь, как Венера, выходящая после купанья на пляж. — Я запретила вам называть меня этим именем.

— Онорайя, — продолжал Айвз, — вы должны выслушать меня. Я знаю, что я не заслуживаю прощения, но я должен получить его. У человека бывают иногда минуты безумия, за которые не ответственна его настоящая природа. Я готов все пустить по ветру, кроме вас. Я разбиваю цепи, сковавшие меня. Я отрекаюсь от сирены, которая оторвала меня от вас. Пусть купленные у этого уличного торговца вирши ходатайствуют за меня. Любить я могу только вас одну. Да научит вас любовь прощению, а я... «тебя любить я буду вечно...».

На Западной стороне квартал между Шестой и Седьмой авеню пересекается в центре переулком, который оканчивается на маленьком дворе. Это театральный квартал, жители его — кипящая пена полудюжины наций. Атмосфера здесь — богемная, говор — многоязычный, существование — случайное.

На дворе, в конце переулка, жил продавец леденцов. В семь часов он заворачивал свою тележку в узкий проезд, опирал ее концом на каменный выступ и садился, чтобы освежиться, на одну из оглобель. Вдоль переулка всегда гулял свежий ветер.

Над тем местом, где он всегда останавливал свою тележку, находилось окно. В час вечерней прохлады у этого окна садилась, чтобы подышать воздухом, мадемуазель Адель, притягательная сила увеселительного сада на крыше. Ее густые, темные каштановые волосы были обыкновенно распущены, чтобы ветерок мог доставить себе удовольствие помочь горничной Сидони в просушке и проветривании их. На ее плечи — пункт, на который фотографы обращали наибольшее внимание — был небрежно накинут гелиотроповый шарф. Руки были обнажены до локтей — здесь не было скульпторов, которые, конечно, пришли бы, увидев их, в раж — но даже степенные камни стен не были настолько бесчувственны, чтобы не одобрить их. Пока она сидела так у окна, другая горничная, Фелиси, мыла и полировала маленькие ножки, которые так блистали и очаровывали ночную публику.

Мало-помалу мадемуазель начала замечать торговца леденцами, который останавливался под ее окном, чтобы вытереть себе лоб и освежиться. Пока она была в руках своих горничных, она временно лишена была возможности исполнять свое призвание — очаровывать и привязывать к своей колеснице мужчин. Мадемуазель была недовольна такой потерей времени. И вот, вдруг, является этот разносчик — правда, не подобающая, казалось бы, цель для ее стрел — но как-никак, принадлежащий к тому полу, с которым она рождена была вести войну.

Однажды вечером, бросив на него дюжину холодных, будто не замечающих взглядов, она вдруг оттаяла и подарила его такой улыбкой, что все сласти на его тележке исказились от зависти.

— Разносчик, — проворковала она, в то время как Сидони расчесывала ее тяжелые каштановые волосы, — вы не находите, что я очень красива?

Разносчик грубо засмеялся и посмотрел вверх, поджимая тонкий рот и обтирая лоб полосатым, красным с синим, платком.

— Н-да, из вас вышла бы чудная обложка для журнала, — нехотя ответил он. — Это там разбираются, кто красив, да кто некрасив. Не по моей это части. Если вам нужны цветочные подношения, обратитесь в другое место, между девятью и двенадцатью. Кажется, дождь будет.

По правде сказать, очаровывать уличного разносчика то же, что убивать кроликов в глубоком снегу. Но в ней разыгралась кровь охотника.

Мадемуазель вырвала из руки Сидони длинный локон и бросила его вниз.

— Разносчик, есть у вас возлюбленная с такими волосами, такими длинными и мягкими? И с такими красивыми руками?

Она протянула руку, как Галатея после совершившегося чуда.

Разносчик резко загоготал и начал приводить в порядок развалившуюся пирамиду печенья.

— Играйте назад! — сказал он вульгарно. — Никаких комплиментов вы от меня не получите. Этим товаром не торгую. Я слишком навидался видов, чтоб меня можно было одурочить пучком волос и свежееотмассированной рукой. Я уверен, что вы будете очень хороши при свете огня, под пудрой, намазавшись, и с оркестром, играющим «Под старой яблоней». Но ежели вы думаете меня скрутить — музыка, играй разлуку! Я против перекуси водорода и гримировальных ящичков. Кроме шуток, скажите, вы не думаете, что будет дождь?

— Разносчик, — нервно сказала мадемуазель, и губы ее раскрылись и на подбородке ее появилась ямочка, — вы не находите, что я красива?

Разносчик ослабил.

— В чем дело? — сказал он. — Надоело платить агентам за рекламу? Сами стали себя рекламировать? Кстати, я еще не видал вашей физиономии на сигарных коробках. Как бы то ни было, такая женщина еще не сфабрикована, которой удалось бы скрутить меня. Я знаю вашего брата от гребешков до шнурков на ботинках. Дайте мне хорошую торговлю и кусок говядины с луком в семь часов, да трубку и вечернюю газету, — так пусть сама Лилиан Рассел не трудится делать мне глазки. Ни черта не выйдет!

Мадемуазель надулась.

— Разносчик, — сказала она нежным и глубоким голосом. — Вы все-таки скажете, что я красива. Все мужчины это говорят — и вы скажете.

Разносчик засмеялся и достал свою трубку.

— Ладно, — сказал он, — мне ко двору пора. В вечерней газете есть рассказ, который я читаю; люди ныряют, ищут затопленное сокровище на дне, а пираты следят за ними из-за скалы. И ни на земле, ни на воде, ни в воздухе нет там ни одной женщины. Добрый вечер.

И он покати́л свою тележку вниз по переулку, к заплесневелому двору, на котором он жил.

Не поверил бы он, не изучавший женщин, что мадемуазель каждый день садилась у окна и раскидывала свои сети, чтобы довести до конца затеянную ею бесчестную игру. Раз как-то она заставила важного гостя прождать полчаса в ее приемной, пока она старалась — и тщетно — разбить упрямую философию разносчика. Его грубый смех задевал за живое ее тщеславие. Ежедневно сидел он в переулке, прохладаясь на своей тележке, пока Сидони убирала ее волосы, и ежедневно стрелы ее красоты отскакивали, притупленные и бесполезные, от его окаменелой груди. Неизменным возбуждением сверкали ее глаза. Уязвленная в своей гордости, она обжигала его такими взглядами, от которых более высокие ее обожатели почувствовали бы себя на седьмом небе. Строгие глаза разносчика смотрели на нее с плохо скрытой насмешкой и побуждали ее выбирать самые острые стрелы из колчана ее красоты.

Однажды она высунулась далеко за подоконник, но она не вызывала его на бой и не мучила его, как делала это обыкновенно.

— Разносчик, — сказала она, — встаньте и посмотрите мне в глаза.

Он встал и посмотрел в ее глаза с неприятным смехом, точно водил пилой по дереву. Он вынул из кармана трубку, повертел ее и задрожавшей рукой положил обратно в карман.

— Довольно, — с тихой улыбкой сказала мадемуазель, — мне надо идти к моей массажистке. Добрый вечер.

На следующий день продавец леденцов явился и остановил свою тележку под окном. Но он ли это был? На нем был новенький, с иголки, костюм из светлой клетчатой материи. Галстук у него был ярко-красный, и в него была воткнута блестящая булава в виде подковы, почти натуральной величины. Башмаки его были вычищены, загар на щеках немного побелел, руки были вымыты. Окно было открыто, но в окне не было никого, и он ждал, стоя под ним и подняв свой нос кверху, как собака, надеющаяся получить кость.

Мадемуазель пришла с Сидони, которая несла за ней ее тяжелые волосы. Она взглянула на продавца леденцов и улыбнулась ему ленивой улыбкой, тотчас заменившейся выражением скуки. Она сразу увидела, что выиграла игру, и ей надоела охота. Она стала разговаривать с Сидони.

— Хороший был денек сегодня, — заговорил разносчик — Первый раз за весь месяц сторговал по первому разряду. Заработал на Мэдисон-сквере. А похоже, что завтра будет дождь? А?

Мадемуазель положила на подушку, на подоконнике, две кругленькие ручки, а на них подбородок с ямочкой.

— Разносчик, — нежно сказала она, — вы меня не любите?

Разносчик встал и облокотился о каменную стену.

— Леди, — прерывающимся голосом заговорил он, — у меня есть восемьсот долларов на книжке. Разве я сказал, что вы не прекрасны? Возьмите у меня все деньги и купите на них ошейник для вашей собаки.

В комнате мадемуазель раздался звук, словно зазвенели сто серебряных колокольчиков. Смех наполнил переулок и ворвался во двор, что было так же необычайно, как если бы туда проник луч солнца. Мадемуазель стало весело. Сидони, как верное эхо, присоединила свое замогильное, но преданное контральто. Разносчик, по-видимому, начал понимать их смех. Он в смущении хватался за свою булавку с подковой. Наконец, мадемуазель утомилась и повернула к окну свое красивое, раскрасневшееся лицо.

— Разносчик, — сказала она, — уходите. Когда я смеюсь, Сидони дергает мне волосы. А я не могу не смеяться, пока вы здесь стоите.

— Письмо для мадемуазель, — сказала Фелиси, входя в комнату.

— Справедливости нет, — сказал продавец леденцов, поднимая оглобли своей тележки и трогаясь.

Он отошел на три шага и остановился. Громкие крики, один за другим, неслись из окна мадемуазель. Он быстро побежал назад. Он услышал тяжелое падение тела и затем такой звук, как будто стучали каблуками по полу.

— Что случилось? — крикнул он.

В окне показалось суровое лицо Сидони.

— Мадемуазель убита дурными известиями, — сказала она. — Человек, которого она любила всей душой, покинул ее... Вы, может быть, слышали о нем? Это месье Айвз. Он уезжает завтра в Европу... Эх, вы, мужчины!..

Квадратура круга

Перевод Н. Дарузес

Рискуя надоесть вам, автор считает своим долгом предпослать этому рассказу о сильных страстях вступление геометрического характера.

Природа движется по кругу. Искусство — по прямой линии. Все натуральное округлено, все искусственное угловато. Человек, заблудившийся в метель, сам того не сознавая, описывает круги; ноги горожанина, приученные к прямоугольным комнатам и площадям, уводят его по прямой линии прочь от него самого.

Круглые глаза ребенка служат типичным примером невинности; прищуренные, суженные до прямой линии глаза кокетки свидетельствуют о вторжении Искусства. Прямая линия рта говорит о хитрости и лукавстве; и кто же не читал самых вдохновенных лирических излияний Природы на губах, округлившись для невинного поцелуя?

Красота — это Природа, достигшая совершенства, округленность — это ее главный атрибут. Возьмите, например, полную луну, золотой шар над входом в ссудную кассу, купола храмов, круглый пирог с черникой, обручальное кольцо, арену цирка, круговую чашу, монету, которую вы даете на чай официанту. С другой стороны, прямая линия свидетельствует об отклонении от Природы. Сравните только пояс Венеры с прямыми складочками английской блузки.

Когда мы начинаем двигаться по прямой линии и огибать острые углы, наша натура терпит изменения. Таким образом, Природа, более гибкая, чем Искусство, приспосаблиется к его более жестким канонам. В результате нередко получается весьма курьезное явление, например: голубая роза, древесный спирт, штат Миссури, голосующий за республиканцев, цветная капуста в сухарях и житель Нью-Йорка.

Природные свойства быстрее всего утрачиваются в большом городе. Причину этого надо искать не в этике, а в геометрии. Прямые линии улиц и зданий, прямолинейность законов и обычаев, тротуары, никогда не отклоняющиеся от прямой линии, строгие, жесткие правила, не допускающие компромисса ни в чем, даже в отдыхе и развлечениях, — все это бросает холодный вызов кривой линии Природы.

Поэтому можно сказать, что большой город разрешил задачу о квадратуре круга. И

можно прибавить, что это математическое введение предшествует рассказу об одной кентуккийской вендетте, которую судьба привела в город, имеющий обыкновение обламывать и обминать все, что в него входит, и придавать ему форму своих углов.

Эта вендетта началась в Кэмберлендских горах между семействами Фолуэл и Гаркнесс. Первой жертвой кровной вражды пала охотничья собака Билла Гаркнесса, тренированная на опоссума. Гаркнессы возместили эту тяжелую утрату, укокошив главу рода Фолуэлов. Фолуэлы не задержались с ответом. Они смазали дробовики и отправили Билла Гаркнесса вслед за его собакой в ту страну, где опоссум сам слезает к охотнику с дерева, не дожидаясь, чтобы дерево срубили.

Вендетта процветала в течение сорока лет. Гаркнессов пристреливали через освещенные окна их домов, за плугом, во сне, по дороге с молитвенных собраний, на дуэли, в трезвом виде и наоборот, поодиночке и семейными группами, подготовленными к переходу в лучший мир и в нераскаянном состоянии. Ветви родословного древа Фолуэлов отсекались точно таким же образом, в полном согласии с традициями и обычаями их страны. В конце концов после такой усиленной стрижки родословного древа в живых осталось по одному человеку с каждой стороны. И тут Кол Гаркнесс, рассудив, вероятно, что продолжение фамильной распри приняло бы уж чересчур личный характер, неожиданно скрылся из Кэмберленда, игнорируя все права Сэма, последнего мстителя из рода Фолуэлов.

Через год после этого Сэм Фолуэл узнал, что его наследственный враг, здоровый и невредимый, живет в Нью-Йорке. Сэм вышел во двор, перевернул кверху дном большой котел для стирки белья, наскреб со дна сажи, смешал ее со свиным салом и начистил этой смесью сапоги. Потом надел дешевый костюм когда-то орехового цвета, а теперь перекрашенный в черный, белую рубашку и воротничок и уложил в ковровый саквояж белье, достойное спартанца. Он снял с гвоздя дробовик, но тут же со вздохом повесил его обратно. Какой бы похвальной и высоконравственной ни считалась эта привычка в Кэмберленде, неизвестно еще, что скажут в Нью-Йорке, если он начнет охотиться на белок среди небоскребов Бродвея. Старенький, но надежный кольт, покоившийся много лет в ящике комода, показался ему самым подходящим оружием для того, чтобы перенести вендетту в столичные сферы. Этот револьвер вместе с охотничьим ножом в кожаных ножнах Сэм уложил в ковровый саквояж. И, проезжая верхом на муле мимо кедровой рощи к станции железной дороги, он обернулся и окинул мрачным взглядом кучку белых сосновых надгробий — родовое кладбище Фолуэлов.

Сэм Фолуэл прибыл в Нью-Йорк поздно вечером. Все еще следуя свободным законам природы, движущейся по кругу, он сначала не заметил грозных, безжалостных, острых и жестких углов большого города, затаившегося во мраке и готового сомкнуться вокруг его сердца и мозга и отштамповать его наподобие остальных своих жертв. Кебмен выхватил Сэма из гущи пассажиров, как он сам, бывало, выхватывал орех из вороха опавших листьев, и умчал в гостиницу, соответствующую его сапогам и ковровому саквояжу.

На следующее утро последний из Фолуэлов сделал вылазку в город, где скрывался последний из Гаркнессов. Кольт он засунул под пиджак и укрепил на узком ремешке; охотничий нож висел у него между лопаток, на полдюйма от воротника. Ему было известно одно — что Кол Гаркнесс ездит с фургоном где-то в этом городе и что он, Сэм Фолуэл, должен его убить, — и как только он ступил на тротуар, глаза его налились кровью и сердце загорелось жаждою мести.

Шум и грохот центральных авеню завлекали его все дальше и дальше. Ему показалось, что вот-вот он встретит на улице Кола с кувшином для пива в одной руке, с хлыстом в другой и без пиджака, точь-в-точь как где-нибудь во Франкфурте или Лорел-Сити. Но прошел почти час, а Кол все еще не попадался ему навстречу.

Может быть, он поджидал Сэма в засаде, готовясь застрелить его из окна или из-за двери. Некоторое время Сэм зорко следил за всеми дверьми и окнами.

К полудню городу надоело играть с ним, как кошка с мышью, и он вдруг прижал Сэма своими прямыми линиями.

Сэм Фолуэл стоял на месте скрещения двух больших прямых артерий города. Он

посмотрел на все четыре стороны и увидел нашу планету, вырванную из своей орбиты и превращенную с помощью рулетки и уровня в прямоугольную плоскость, нарезанную на участки. Все живое двигалось по дорогам, по колеям, по рельсам, уложенное в систему, введенное в границы. Корнем жизни был кубический корень, мерой жизни была квадратная мера. Люди вереницей проходили мимо, ужасный шум и грохот оглушили его.

Сэм прислонился к острому углу каменного здания. Чужие лица мелькали мимо него тысячами, и ни одно из них не обратилось к нему. Ему казалось, что он уже умер, что он призрак и его никто не видит. И город поразил его сердце тоской одиночества.

Какой-то толстяк, отделившись от потока прохожих, остановился в нескольких шагах от него, дожидаясь трамвая. Сэм незаметно подобрался к нему поближе и заорал ему в ухо, стараясь перекричать уличный шум:

— У Ранкинсов свиньи весили куда больше наших, да ведь в ихних местах желуди совсем другие, много лучше, чем у нас...

Толстяк отодвинулся подальше и стал покупать жареные каштаны, чтобы скрыть свой испуг.

Сэм почувствовал, что необходимо выпить. На той стороне улицы мужчины входили и выходили через вращающуюся дверь. Сквозь нее мелькала блестящая стойка, уставленная бутылками. Мститель перешел дорогу и попытался войти. И здесь опять Искусство преобразило знакомый круг представлений. Рука Сэма не находила дверной ручки — она тщательно скользила по прямоугольной дубовой панели, окованной медью, без единого выступа, хотя бы с булавочную головку величиной, за который можно было бы ухватиться.

Смущенный, красный, растерянный, он отошел от бесполезной двери и сел на ступеньки. Дубинка из акации ткнула его в ребро.

— Проходи! — сказал полисмен. — Ты здесь давненько околачиваешься.

На следующем перекрестке резкий свисток оглушил Сэма. Он обернулся и увидел какого-то злодея, посылающего ему мрачные взгляды из-за дымящейся на жаровне горки земляных орехов. Он хотел перейти улицу. Какая-то громадная машина, без лошадей, с голосом быка и запахом коптящей лампы, промчалась мимо, ободрал ему колени. Кеб задел его ступицей, а извозчик дал ему понять, что любезности выдуманы не для таких случаев. Шофер, яростно названивая в звонок, впервые в жизни оказался солидарен с извозчиком. Крупная дама в шелковой жакетке «шанжан» толкнула его локтем в спину, а мальчишка газетчик не торопясь швырял в него банановыми корками и приговаривал: «И не хочется, да нельзя упускать такой случай».

Кол Гаркнесс, кончив работу и поставив фургон под навес, завернул за острый угол того самого здания, которому смелый замысел архитектора придал форму безопасной бритвы.⁵⁸ В толпе спешащих прохожих, всего в трех шагах впереди себя, он увидел кровного врага всех своих родных и близких.

Он остановился как вкопанный и в первое мгновение растерялся, застигнутый врасплох без оружия. Но Сэм Фолуэл уже заметил его своими зоркими глазами горца.

Последовал прыжок, поток прохожих на мгновение заколебался и покрылся рябью, и голос Сэма крикнул:

— Здорово, Кол! До чего же я рад тебя видеть!

И на углу Бродвея, Пятой авеню и Двадцать третьей улицы кровные враги из Кемберленда пожали друг другу руки.

Розы, резеда и романтика

⁵⁸ Так называемый «Утюг» — один из первых небоскребов Нью-Йорка, высотой в 20 этажей, имеющий в плане форму вытянутого треугольника.

Рэвнел (Рэвнел — путешественник, художник и поэт) швырнул журнал на пол. Сэмми Браун, секретарь биржевого маклера, сидевший у окна, подскочил от неожиданности.

— В чем дело, Рэвви? — спросил он. — Критика пустила твои акции под откос?

— Романтика скончалась, — ответил Рэвнел шутливо. Когда Рэвнел говорил шутливо, он, как правило, бывал глубоко серьезен. Подобрал журнал, он небрежно его пролистал.

— Даже филистер вроде тебя, Сэмми, — сказал Рэвнел серьезно (тон, неизменно означавший, что он шутит), — наверное, способен это понять. Вот журнал, в котором некогда печатались Эдгар По и Лоуэлл, Уитмен и Брет Гарт, Дюморье и Лэньир, и... но хватит и этого. А вот литературное пиршество, которое предлагает тебе его последний номер: статья о кочегарах и угольных ямах на военных кораблях; разоблачение методов, применяемых при изготовлении ливерной колбасы; продолжение повести о международной операции с сухими дрожжами, успешно завершённой Уоллстритом; сонет, посвященный медведю, по которому промазал наш президент;⁵⁹ очерк некоей девицы, которая неделю занималась тайным сбором сведений, строча комбинезоны где-то на Ист-Сайде; «художественный» рассказ, от которого разит гаражом и автомобилями некоей марки — разумеется, в заголовке фигурируют слова «Амур» и «шофер». Далее следуют: статья о военно-морской стратегии, снабженная иллюстрациями — Непобедимая Армада⁶⁰ и новые паромы, курсирующие между Манхэттеном и Статен-Айлендом; повестушка про политика из низов, который покорила сердце красавицы с Пятой авеню, поставив ей фонарь под глазом и отказавшись голосовать за позорное постановление (неясно только, где, собственно, то ли в отделе муниципалитета, ведающем уборкой уличного мусора, то ли в конгрессе), и, наконец, девятнадцать страниц редакционной похвальбы на тему о растущих тиражах журнала. А все это вместе, Сэмми, — извещение о кончине Романтики.

Сэмми Браун уютно сидел в большом кожаном кресле у окна. Костюм на нем был пронзительно рыжий в весьма заметную клетку, и цвет этот отлично гармонировал с кончиками четырех сигар, выглядывавших из жилетного кармана. Башмаки были светло-коричневыми, носки — серыми, открытое зрелу белье — небесно-голубым, а на белоснежном, высоком, жестком, как жезл, воротничке раскинула крылья черная бабочка. Лицо Сэмми (наименее значительный его атрибут) было круглым, симпатичным и бело-розовым, а его глаза не обещали приюта гонимой Романтике.

Это окно квартиры Рэвнела выходило в старый сад с тенистыми деревьями и густыми кустами. С одной стороны его теснил многоквартирный дом, высокая кирпичная стена ограждала его от улицы, а прямо напротив окна под завесой летней листвы прятался старинный особняк — поистине осажденный замок. Вокруг ревел, завывал, визжал город, ломился в его дубовые двери и потрясал над кирпичной стеной белыми трепещущими чеками, предлагая условия капитуляции. Серая пыль ложилась на деревья, осада становилась все ожесточеннее, но подъемный мост оставался поднятым. Для дальнейшего же языка рыцарских времен не годится. В особняке проживал пожилой джентльмен, который любил свой старый дом и не желал его продавать. Этим и исчерпывалась романтика осажденного замка.

Сэмми Браун являлся в квартиру Рэвнела три, а то и четыре раза в неделю. Он состоял членом того же клуба, что и поэт, ибо бывшие Брауны знавали известность, хотя Сэмми и был опошлен соприкосновением с деловым миром. Он не тратил слез на опочившую Романтику. Сердце его чаровала песнь биржевого телеграфа, а конские и иные ристания он мерил по

⁵⁹ В годы президентства Теодора Рузвельта американская печать широко рекламировала его охотничьи подвиги.

⁶⁰ Непобедимая Армада — название флота, посланного для завоевания Англии испанским королем Филиппом II в 1588 г.

меркам розовых спортивных листков. Ему нравилось сидеть в кожаном кресле у окна поэта. И поэт ничего не имел против. Сэмми, казалось, слушал его с удовольствием, а к тому же секретарь биржевого маклера был таким идеальным воплощением новых времен и их низкопробной практичности, что Рэвнелу нравилось превращать его в козла отпущения.

— А я знаю, какая муха тебя укусила, — сказал Сэмми, которого биржа научила проницательности. — Журнал не взял твоих стихшков. Вот ты на него и злишься.

— Твоя догадка не была бы лишена остроумия, если бы речь шла об Уолл-стрите или о выборах президента в дамском клубе, — ответил Рэвнел невозмутимо. — Но представь себе, в этом номере напечатано одно мое стихотворение — если ты позволишь мне называть его так.

— Ну-ка, прочти, а я послушаю, — сказал Сэмми, провожая глазами облачко табачного дыма, которое он выпустил в окно.

Стойкостью Рэвнел не превосходил Ахиллеса. А кто его превосходит? Слабое местечко обязательно да отыщется. Эта, как ее, ну эта... должна же ведь как-то ухватить нас, чтобы макнуть в это... ну, в это, которое делает нас неуязвимыми. И Рэвнел, открыв журнал, прочел вслух такие строки:

ЧЕТЫРЕ РОЗЫ

*Я розу впел в волну твоих кудрей
(То белая была, в ней дань благоговенья),
Другую приколола ты на грудь
(То красная была, огня любви мгновенье),
Еще одну ты сорвала с куста
(То чайная была, подруга расставаний),
Четвертую ты протянула мне —
И подарила с ней шипы воспоминаний.*

— Штучка что надо, — сказал Сэмми с восхищением.

— Осталось еще пять строф, — заметил Рэвнел со страдальческой иронией. — Естественно, конец строфы требует паузы. Но, конечно...

— Дочитывай, дочитывай, старина! — виновато воскликнул Сэмми. — Я вовсе не хотел тебя перебивать. Ты же знаешь, я в поэзии не очень разбираюсь. Для меня ведь что конец стиха, что конец строфы — все одно. Давай, читай остальное.

Рэвнел вздохнул и отложил журнал.

— Ну, ничего, — весело сказал Сэмми. — Подождем до следующего раза. А я пошел. У меня в пять свидание.

Он последний раз взглянул на тенистый сад и удалился, фальшиво насвистывая немелодичный мотивчик из скетча, подхваченный в каком-то увеселительном саду.

На следующий день Рэвнел отделявал корявую строку нового сонета, расположившись у окна, которое выходило в осажденный сад барона-бессребреника. Внезапно он подскочил, расплескивая слоги и рифмы.

Деревья, заслонявшие особняк, в одном месте расступались. В просвете виднелось окно. И в эту минуту над подоконником склонился ангел в белоснежном одеянии, воплощение самых заветных его поэтических и романтических грез. Юная, свежая, точно капля росы, изящная, точно кисть сирени, она преображала затерявшийся среди уличного рева сад в уютный сказочный принцессы, и ни один воспетый поэтами цветок не мог сравниться с нею красотой. Такой увидел ее Рэвнел в первый раз. Она помедлила у окна, а потом скрылась в глубине комнаты, но сквозь грохот колес и лязг трамваев его замороженного слуха достиг обрывок звонкой трели.

Вот так, словно в отместку за насмешливый укор, который поэт бросил Романтике,

словно кара за то, что он отрекся от неумирающего духа юности и красоты, это видение властно предстало перед ним, чаруя и обвиняя. И столь преображающей была его сила, что в единое мгновение весь мир Рэвнела стал иным до последней своей частички. Грохотанье груженных подвод, проезжающих мимо ее дома, было теперь басовым аккомпанементом к мелодии любви. Вопли газетчиков превратились в птичий щебет, деревья за его окном — в сад Капулетти, привратник стал великаном-людоедом, а сам он — рыцарем с копьем, мечом и лютней.

Вот так является Романтика своим избранникам в чашобах кирпича и камня, когда, полагая, что она заблудилась в дебрях большого города, ее разыскивают с полицией.

В четыре часа в тот же день Рэвнел вновь созерцал особняк напротив. В окне его надежд стояли четыре маленьких вазы, и в каждой была пышная роза — белая или красная. И пока он смотрел, над ними, затмив их прелесть, склонилась она и — может ли быть? — устремила задумчивый взор на его собственное окно. Затем, словно встретив его почтительный, но пылкий взгляд, она исчезла, и лишь благоухающие эмблемы остались на подоконнике.

О да! Эмблемы! Он был бы недостоин, когда б не понял. Она прочла его стихотворение «Четыре розы», оно тронуло ее сердце, и это — ее романтическое послание! Конечно, она знает, что автор этих стихов, поэт Рэвнел, живет напротив, по ту сторону ее сада. И конечно, она видела в журналах его портрет. Столь деликатную, нежную, стыдливую, лестную весточку нельзя оставить без ответа!

В эту минуту Рэвнел заметил рядом с розами горшочек с каким-то растением. Ничтоже сумняшеся он достал бинокль и, укрывшись за занавеской, навел его на неведомый цветок. Резеда!

С истинно поэтическим прозрением он снял с полки книгу бесполезных знаний и торопливо открыл ее на «языке цветов».

«Резеда, цвет зеленый — жду встречи».

Вот так. Романтика никогда не останавливается на полдороге. Уж если она возвращается к вам, то приносит дары и готова сесть с вязаньем у вашего камина, лишь бы вы ей разрешили.

И тут Рэвнел улыбнулся. Влюбленный улыбается, когда он уверен в победе. Женщина, когда ее любовь торжествует, перестает улыбаться. Для него битва завершена, для нее — только начинается. Какая очаровательная мысль — поставить на подоконнике четыре розы так, чтобы он их увидел! Тонкой и поэтичной должна быть ее душа. Ну а теперь остается только найти способ устроить встречу.

Веселый свист и шум захлопнувшейся двери возвестили приход Сэмми Брауна.

Рэвнел снова улыбнулся. Всеобъемлющие лучи духовного возрождения осияли даже Сэмми, включая его ультрамодный костюм, галстучную булавку в виде подковки, румяное лицо, вульгарный жаргон и безотчетное преклонение перед Рэвнелом. Можно ли вообразить более эффектный контраст со светлой невидимой гостьей, почтившей своим присутствием мрачную обитель поэта, чем этот секретарь биржевого маклера!

Сэмми опустил в свое излюбленное кресло у окна и поглядел на запыленную листву сада. Затем он вытащил часы и вскочил как ужаленный.

— Ого! — воскликнул он. — Двадцать минут пятого! Мне надо бежать, старина. У меня в половине пятого свидание.

— Так чего же ты приходил? — осведомился Рэвнел с язвительной шутливостью — Раз у тебя на это время назначено свидание? Я привык думать, что вы, деловые люди, больше бережете свои минуты и секунды.

Сэмми смущенно задержался в дверях и стал еще румянее.

— Честно сказать, Рэвви, — объяснил он, словно обращаясь к клиенту, исчерпавшему свой счет, — честно сказать, я только сейчас про него узнал. Вот послушай, старина... вон в том особняке живет одна девушка — девушка первый сорт, и я в нее врезался по уши. Ну, попросту говоря, мы помолвлены. Ее старик ни в какую, только у него руки коротки. Правда, следит он за ней строго. А из этого твоего окна видно окно Эдит. И она мне сигналил, в каком часу пойдет за покупками, чтоб мы могли встретиться. Вот сегодня она выйдет из дома в

половине пятого. Наверно, надо было сразу тебе сказать, но я знаю, ты же мне друг. Ну, пока.

— Как так «сигналит»? — спросил Рэвнел, чья улыбка слегка утратила непосредственность.

— Розами, — лаконично ответил Сэмми. — Сегодня их четыре. Это значит: в четыре часа на углу Бродвея и Двадцать третьей улицы.

— А резеда? — не отступал Рэвнел, судорожно хватая шлейф ускользающей Романтики.

— Резеда — это полчаса, то есть в половине пятого, — крикнул Сэмми из передней. — До завтра, старина.

Весна души

Перевод В.Александрова, под ред. В. Азова

Маловероятно, чтобы богиня могла умереть. Значит, Истра, древняя саксонская богиня весны, должно быть, смеется в свой кисейный рукав над людьми, которые считают, что Пасха, весенний праздник, существует только в определенном районе Пятой авеню, после церковной службы.

Нет, весенний праздник принадлежит всему миру. Птармиган на Аляске меняет свои белые перья на коричневые, патагонский красавец мужчина смазывает жиром свои волосы и тащит новую возлюбленную в свою покрытую шкурами хижину. А на улице Кристи...

Мистер «Тигр» Мак-Кирк встал с чувством непонятного беспокойства. Он привычной ногой оттолкнул прочь с дороги, как щенят, трех младших братьев, спавших на полу. Потом он подошел к четырехугольному зеркалу, висевшему у окна, и побрился. Если это кажется вам слишком незначительным делом, не достойным быть отмеченным, я извиняю вас. Вы не знаете, сколько бритве надо преодолеть препятствий, чтоб пройти по щекам и подбородку мистера Мак-Кирка.

Мистер Мак-Кирк-старший уже давно ушел на работу. Взрослый сын сидел без дела. Он был мраморщиком, а мраморщики бастовали.

— Что у тебя болит? — спросила его мать, испытующе взглянув на него. — Может быть, тебе нездоровится?

— Он все думает об Анне-Марии Доул, — нагло объяснил младший брат «Тигра» Тим, десяти лет.

«Тигр» протянул свою руку чемпиона и сбросил маленького Мак-Кирка со стула.

— Я прекрасно себя чувствую, — сказал он. — За исключением какого-то непонятного ощущения. Я чувствую, словно мне предстоит землетрясение, или музыка, или легкая лихорадка с жаром, а может быть, пикник. Сам не знаю, что я чувствую. Я чувствую, что мне хочется дать полисмену по уху или, может быть, обойти весь Луна-парк со всеми аттракционами.

— У тебя весна в жилах, — сказала миссис Мак-Кирк. — Сок поднимается. Было время, когда у меня ноги ходуном ходили и кровь прилиwała к голове, лишь только земляные черви начинали выползать при утренней росе. Тебе полезно выпить чашку чая из чертополоха и генцианы.

— Брось! — нетерпеливо сказал Мак-Кирк. — Никакой весны не видать. Снег еще лежит на крыше сарая на заднем дворе у Донована. А вчера на Шестой авеню показались открытые вагоны трамвая, и швейцар перестал заказывать уголь. Все это означает еще шесть недель зимы, по всем признакам.

После завтрака мистер Мак-Кирк провел пятнадцать минут перед исцарапанным зеркалом, подчиняя себе непокорные волосы и поправляя галстук, зеленый с малиновым, украшенный лиловой булавкой из надгробного камня, красноречиво свидетельствующей о его профессии.

С тех пор как объявили забастовку, его главной привычкой стало отправляться каждое

утро к салуну Флаэрти; он устраивался там на тротуаре, опираясь одной ногой на ящик чистильщика сапог, и рассматривал длинную панораму; таким образом он убивал время до двенадцати часов — обеденного времени. Сам мистер «Тигр» Мак-Кирк, с его атлетическим ростом в семьдесят дюймов, с его отличной тренировкой для спорта и драки, с гладким, бледным, приветливым лицом, с его изящным костюмом и деловым видом, представлял из себя зрелище, не отталкивающее для глаз.

Но в это утро мистер Мак-Кирк не поспешил сразу к месту своего досуга и наблюдения. Что-то необычное, чего он не умел охватить, дрожало в воздухе. Что-то путало его мысли, возбуждало чувства, делало его одновременно томным, раздражительным, восторженным, недовольным и веселым. Он не умел поставить диагноза и не знал, что весна физиологически распускается в его организме.

Миссис Мак-Кирк говорила о весне. «Тигр» скептически оглянулся, ища ее признаки. Их было мало. Правда, шарманщики вышли на работу, но они всегда были скороспелыми предвестниками; они считали, что весна достаточно близка, и открывали уже свою охоту за медяками, как только в парке прекращалось катанье на коньках. В окнах модных магазинов расцветали пасхальные шляпы, пестрые, веселые и ликующие. В киосках на тротуарах выделялись зеленые пятна. На подоконнике в третьем этаже первая в сезоне подушка для локтей — полоска старого золота на алом фоне, — поддерживала руки задумчивой брюнетки в капоре. Ветер приносил холод с Восточной реки, но воробьи летели с соломинками к карнизам. Старьевщик, соединивший дальновидность с верой, выставил в витрине ледник и принадлежности для игры в бейсбол. Затем взгляд «Тигра», раскритиковавший эти признаки, упал на нечто, таящее в себе зародыш обещания. С яркой новой литографии на него смотрела голова Козерога, предвещавшая свежий и крепкий напиток.

Мистер Мак-Кирк вошел в салун и заказал стакан мартовского пива.

Он бросил на стойку никелевую монету, поднял стакан к губам, пригубил, поставил стакан обратно и направился к дверям.

— В чем дело, лорд Болингброк? — насмешливо спросил буфетчик. — Вам нужна фарфоровая посуда или баккара с золотой каемкой?

— Послушайте, — сказал мистер Мак-Кирк, обернувшись и выбросив вперед горизонтально руку и подбородок под углом в сорок пять градусов. — Вы на своем месте, только когда можете подлизываться. Я раздумал пить. Что? Вы получили деньги? Так и молчите.

Таким образом, к странному настроению, овладевшему мистером Мак-Кирком, присоединилось еще непостоянство в желаниях. Покинув салун, он прошел двадцать шагов и прислонился к открытым дверям Лутца, парикмахера. Они с Лутцом были друзьями и маскировали свои чувства взаимными обидами и дубоватыми остроумиями.

— Эй ты, ирландский бездельник! — заревел Лутц. — Как живешь? Видно, полисмены и ловцы бродячих собак плохо исполняют свои обязанности.

— Алло, немчур! — сказал мистер Мак-Кирк. — Все скучаешь по сосискам?

— Наплевать! — воскликнул немец. — У меня душа сегодня витает выше сосисок. Весна в воздухе. Я чувствую, как она идет по лужам на мостовой, по льду на реке. Скоро начнутся пикники на островах с бочонками пива под деревьями.

— Послушай, — сказал мистер Мак-Кирк, надвигая шляпу на лоб. — Что это все дразнит меня весной? В воздухе не больше весны, чем конского волоса в диванах в мебелирашках на Второй авеню. Я за теплые фуфайки и горячие оладьи.

— В тебе нет поэзии, — сказал Лутц. — Правда, еще сыро и холодно и в городе мало предвестников весны. Но есть три сорта людей, которые должны всегда прежде всех почувствовать приближение весны: это поэты, влюбленные и бедные вдовы.

Мистер Мак-Кирк пошел своей дорогой, все еще во власти непонятного ему странного волнения. Чего-то недоставало для его покоя, и он злился, потому что не знал, в чем дело. Пройдя два квартала, он наткнулся на врага, которого честь обязывала его вызвать на бой.

Мистер Мак-Кирк пошел в атаку с характерной быстротой и яростью, заслужившими

ему ласкательную кличку «Тигра». Защита мистера Кановера оказалась настолько быстрой и ловкой, что битва затянулась до тех пор, пока зрители не издали бескорыстный предостерегающий крик «Бросьте! Фараоны!»

Бойцы легко спаслись, пробежав через ближайший открытый подъезд в задний двор дома.

Мистер Мак-Кирк выплыл на другой улице. Он некоторое время постоял у фонаря, глубоко задумавшись, потом обернулся и вошел в маленький книжный магазин.

Молодая рыжеволосая женщина, со жвачкой во рту, посмотрела на него замораживающим взглядом через ледяное пространство прилавка.

— Скажите, барышня, — спросил он, — не найдется ли у вас песенник, где имеется это? Сейчас вспомню, как это начинается:

*Весной пойдём мы в роу, дорогая,
И будем вспоминать о днях былых...*

— У меня есть приятель, — объяснил мистер Мак-Кирк. — Он лежит со сломанной ногой и прислал меня за книгой. Он бредит стихами и поэзией, когда не может выйти, чтоб выпить.

— У нас этого нет, — ответила молодая женщина с нескрываемым презрением. — Но вышла новая песенка, начинающаяся словами:

*Усядемся в старое кресло вдвоем,
Нам будет уютно при свете огня.*

Нам нет смысла следовать за мистером «Тигром» Мак-Кирком в его дальнейших блужданиях в течение этого дня, до той минуты, когда он постучал в дверь Анны-Марии Доул.

По-видимому, богиня Истра наконец-то направила его шаги на верный путь.

— Это ты, Джимми? — закричала она с улыбкой, открывая дверь. (Анна-Мария не признавала «Тигра»). — Что это значит?

— Выйди в коридор, — сказал мистер Мак-Кирк. — Я хочу узнать твое мнение о погоде... честное слово...

— Ты рехнулся, что ли? — спросила Анна-Мария.

— Да, — сказал «Тигр». — Они весь день твердят мне, что в воздухе весна. Они врут? Или я?

— Боже мой! — сказала Анна-Мария. — Разве ты не заметил? Я почти что чувствую запах фиалок и зеленой травы. Понятно, их еще нет, это только такое чувство.

— К этому я и веду, — сказал Мак-Кирк. — У меня было это чувство. Я сначала его не распознал. Я думал, что это, может быть, зависть меня гложет: я недавно забрел выше Четырнадцатой улицы. Но мой Katzenjammer не говорит мне о фиалках. Он твердит мне твое имя, Анна-Мария. Только ты мне нужна. Мы станем на работу в будущий понедельник, и я буду зарабатывать четыре доллара в день. Ну, решайся, детка! Хочешь, чтобы мы были парой?

— Джимми! — вздохнула Анна-Мария и вдруг исчезла в складках его пальто. — Разве ты не видишь, что сейчас весь мир охвачен весной?

Но вы сами понимаете, чем окончился этот день. Он начался таким блестящим обещанием весенних прелестей, но к концу дня в воздухе появился холодок, и выпало на дюйм снега, — так поздно в марте! Дамы на Пятой авеню плотно закутались в свои меха. Только в окнах цветочных магазинов можно было видеть предвестников утренней улыбки приближавшейся богини Истры.

В шесть часов герр Лутц начал закрывать магазин. Он услышал хорошо знакомый клич:

— Алло, немчура!

«Тигр» Мак-Кирк, без пиджака, со шляпой набекрень, стоял на улице, среди снежного вихря, и дымил черной сигарой.

— *Donnervetter!* — воскликнул Лутц. — Зима опять вернулась.

— Врешь, немчура! — дружески возразил мистер Мак-Кирк. — Теперь весна — минута в минуту.

Кошмарная ночь на лоне столичной природы

Перевод Н. Жуковской

— Вот когда можно было узнать человека насквозь, так это во время последней страшной жары, — сказал мне мой приятель, вагоновожатый трамвая № 8606. — Надо вам сказать, что Комиссар Парков и Садов, совместно с Комиссаром Лесного Департамента и Комиссаром Полиции, взяли да и сочинили такое постановление, чтобы впредь до того, как ведающее погодой Бюро не понизит до нормальной температуры воздух, публике разрешалось проводить ночь в Общественных Парках и Садах. Ну и это самое их постановление утвердил еще им Секретарь Государственных Имуществ и Общества Борьбы с Москитами в Южном Оранжуэце, а также Комиссии По Улучшению Быта Деревни. И вот, как только постановление было объявлено, началось настоящее переселение народов из собственных квартир в Общественные Парки. Через десять минут после захода солнца можно было подумать, что в этих парках происходит репетиция комедии с раздеванием. Люди шли семьями, толпами, целыми обществами, кланами, племенами, клубами, и все это шло «наслаждаться ночной прохладой, лежа на траве под открытым небом». Те, у кого не было переносных печей для того, чтобы оградить себя от холода ночью, тащили с собой груды теплых одеял. Они устраивали очаги в сени деревьев, теснились на узеньких дорожках, зарывались в траву там, где грунт был помягче, и, таким образом, в одном только Центральном парке довольно успешно вело борьбу с ночной прохладой до пяти тысяч человеческих особей. Вы знаете, что я живу в доме элегантно-комфортабельно отделанных и устроенных квартир «Биршеба», в том, что стоит над самой высокой частью Центральной нью-йоркской дороги. Когда, значит, пришел к нам в дом этот самый приказ о ночевке в парке, такое поднялось, что можно было подумать, что сразу в двух местах у нас пожар сделался и всем жильцам грозит полная потеря имущества. Все принялись увязывать свои перины, галоши, чайники, целые вязки чеснока, ящики с углем, чтобы хоть как-нибудь в этом самом парке переночевать. Тротуар перед нашим домом, скажу я вам, был что русский лагерь во время генерального наступления Оямы. Стоном стон у нас в доме стоял, начиная с самого верхнего этажа, где жил Дани Геозхизэн, до апартаментов в первом этаже, которые занимает миссис Гольдштейнуйски. «На кой прах, — бешено кричал швейцару Дани, стоя в своих синих нитяных носках, — на кой прах меня выпроваживают из моей уютной квартиры и я должен валяться в траве, как какой-нибудь кролик?! Только черт знает кто мог выдумать что-нибудь подобное!» — «Ну, вы там, потише, — остановил его полисмен, сжимая в руке свою резиновую дубинку. — Это выдумал не черт знает кто! А вы должны подчиняться предписанию полицейского комиссара. Живей собирайтесь! Все, все выбирайтесь и извольте отправляться в парк».

А как же нам хорошо жилось в наших квартирках в доме «Биршеба». О'Доуди и Штейновицы, и Каллаханы и Коганы, и Спиццинелли, и Мак-Мьюзы, и Шпигельмейеры, и Уонэсы, люди всех национальностей жили как одна большая семья. С наступлением душных жарких ночей мы организовали живую цепь из детей, которые передавали нам из пивной Келли, что на углу, кружки, так что даже и за пивом бегать не приходилось. Сидишь себе одетый ровно настолько, насколько полагается по статусу, ветерком тебя на сквознячке обдувает, вентилятор жужжит, ноги в окошко выставишь; в шестом этаже Розенштейна дочери,

сидя на пожарной лестнице, песни распевают, с восьмого доносятся звуки флейты Патси Рурка, изо всех окон дамочки наши перекликаются, уменьшительными именами друг дружку называют; одним словом, летнее пребывание в наших квартирках в доме «Биршеба» — это, я вам скажу, лучше всякого курорта. Самое, так сказать, модное летнее местопребывание рядом с ним показалось бы скверной дырой. Пива вдоволь, ноги в окно высунуты, старуха тебе на жаровне котлеты свиные жарит, дети в легких платьишках на тротуаре вокруг шарманщика топчутся, за квартиру у тебя за неделю уплачено, чего еще может лучшего пожелать в летнюю душную ночь человек? И вдруг нате вам! Приходит это самое полицейское предписание и вас из вашей собственной квартиры гонят ночевать в какой-то парк. Честное слово, словно мы не в свободной Америке, а в империи Российской живем! Мы все это еще им при новых выборах припомним! Ну так вот, этот самый полисмен загнал весь наш табор в ближайшие ворота парка. Там-то среди деревьев темно совсем, ну и дети, конечно, сейчас же вой подняли, домой проситься стали. А полисмен говорит нам:

«Вы проведете ночь, лежа здесь, среди зелени, в живописной местности. Уклонение от исполнения этого предписания будет рассматриваться как оскорбление комитета Парков и заведующего Метеорологической станцией и повлечет за собой тюремное заключение. В моем ведении находятся эти тридцать акров, от этого места до Египетского памятника, и я рекомендую вам вести себя смирно и полицию не беспокоить. Проводить ночь на траве вы приговорены властями. Утром вы можете вернуться домой, но к ночи вы снова должны быть здесь».

Освещения, кроме как на аллеях, где ездят автомобили, у нас, ста семидесяти девяти квартирантов дома «Биршеба», не было никакого; приходилось устраиваться в этом проклятом лесу, кто как может. Тем, что захватили одеяла и дрова, было еще сносно; развели костры, укутались с головой в одеяла и с проклятиями кое-как улеглись на траве. Все равно и делать нечего, и смотреть нечего, и пить нечего. Тьма такая, что друга от недруга не отличишь, только носом с кем-то тычешься. Я захватил из дома новое свое зимнее пальто, красное стеганое одеяло с постели и несколько пилюль хинина. Три раза в течение этой ночи кто-то валился на меня и коленом давил мне на горло. И три раза я принужден был вскакивать, давать сдачи по физиономии и кого-то сбрасывать вниз на посыпанную гравием дорожку. И вдруг чувствую, что ко мне жметесь кто-то, от кого так и веет ароматом пивной Келли, прямо нос с носом столкнулись.

«Так это вы, Патси?» — спрашиваю, а он в ответ:

«Так это вы, Карни? Как вы думаете, долго это будет продолжаться?»

«Я погоды предсказывать не умею», — говорю я. — А только, ежели они желают удачи на ближайших выборах, они разок-другой должны нам дать поспать у себя дома, прежде чем распространять свои списки».

«Хотя бы разок поиграть на флейте у себя дома. Посидеть на ветерке у своего окошечка; в аромате жареного лука и колбасы, под грохот пробегающих внизу поездов, почитать о последних убийствах».

Чего ради пасут они нас здесь? Одни эти заползающие на своих ножках к вам в штаны всякие штучки чего стоят! А целым роем кружащиеся около вас эти, что называются москитами! Кому это все нужно, Карни?! Если б еще за это время за квартиру не приходилось платить».

«Это ежегодная великая неделя «на траве», которую полиция и Аптечный Трест устраивают в целях использования той части населения, которая не ездит на пикники к морю».

«Да я ни за какие деньги не могу спать на земле! У меня от этого сенная лихорадка делается и ревматизм, а в ушах у меня настоящий муравейник».

Ну вот, так проходит ночь, бывшие квартиранты дома «Биршеба» стонут и спотыкаются в темноте, не находя себе места в этом лесу. Дети хнычут от холода, наш швейцар кипятит им воду для чая и поддерживает костры дощечками с указанием дороги в казино и в таверну. Квартиранты стараются расположиться семьями, но надо иметь особое счастье для того, чтобы очутиться рядом хоть с человеком с одного с вами этажа или хотя бы одного с вами

вероисповедания. То и дело кто-нибудь из Мерфи скатывается к Розенштейнам, а то Коган пытается забраться под кусты к О'Треди; происходят столкновения, и кто-нибудь вылетает на проезжую дорогу, где и остается. Кое-кто из женщин таскает друг друга за волосы, ближайшего плачущего ребенка, в силу непосредственного чувства, — не считаясь ни с какими родственными отношениями и не разбираясь в том, чей он, свой или чужой, — награждают шлепком. В этой темноте трудно соблюдать те социальные различия, которые так строго соблюдаются в светлых квартирах дома «Биршеба». Миссис Рафферти, которая готова презирать даже асфальт, на который ступала нога Антонио Спицинелли, просыпается с ногами на его груди; Майк О'Доуди, спускающийся с лестницы всех разносчиков, появляющихся у него на пороге, поутру вынужден выпутывать свою шею из обвившихся вокруг него бакенбард Исаакштейна и тем самым на рассвете перебудить всех лежащих на дорожке. Но кое-кто, однако, за эту ночь, презирая все неудобства своего положения, успел завести приятное знакомство, так что наутро среди квартирантов дома «Биршеба» оказалось пять помолвленных парочек... В полночь я встал, стряхнув росу с волос, вышел на аллею и сел там. С одной стороны парка светились огни улиц и домов. Глядел я на эти огоньки в окнах и думал о том, что есть же счастливые люди, которые могут жить, как им нравится, и курить трубку у своего окна, в приятном холодке. Вдруг подкатывает ко мне автомобиль, из которого выходит элегантный, прекрасно одетый господин.

«Милый мой, — говорит он мне, — можете вы мне объяснить, почему все эти люди лежат здесь на траве? Ведь это, кажется, не разрешается?»

«Приказ такой вышел, — говорю я, — от местной полиции, по предписанию какого-то Торфяного Общества, что, значит, все, кто не имеет за плечами особой протекции, впредь до нового распоряжения должны содержаться в парке. Еще хорошо, что приказ вышел в такое теплое время, и потому смертность, кроме как на дорожке вдоль озера и на аллеях, где ездят автомобили, не превышает нормы».

«А что же это за люди, которые лежат на этом склоне холма?» — спрашивает у меня все тот же господин.

«А это, — говорю я, — все квартиранты дома «Биршеба». Прекрасный дом, это вам всякий скажет; в душную летнюю ночь у нас там особенно хорошо. Хоть бы скорей рассвело!»

«Значит... — говорит господин, — они все перебираются сюда на ночь и имеют возможность дышать чистым, напоенным ароматом цветов и зелени воздухом. Тем самым они избавлены от душной атмосферы камня и кирпича...»

«Дерева, мрамора, штукатурки и железа», — добавил я.

«На это надо обратить внимание», — сказал он и что-то записал в книжку.

«Вы что ж, будете комиссар полиции, что ли?» — спросил я.

«Я владелец дома "Биршеба", — ответил он. — И я благословляю эти деревья и траву, так как они дают мне возможность увеличить доходность моего дома. С завтрашнего дня за все эти удобства квартирная плата будет повышена на пятнадцать процентов. Покойной ночи».

Смерть дуракам

Перевод под ред. М. Лорие

У нас на Юге, когда кто-нибудь выкинет или скажет особенно монументальную глупость, люди говорят: «Пошлите за Джесси Хомзом».

Джесси Хомз — это Смерть Дуракам. Конечно, он — миф, так же как Санта-Клаус, или Дед Мороз, или Всеобщее Процветание, словом — как все эти конкретные представления, олицетворяющие идею, которую природа не удосужилась воплотить в жизнь. Даже мудрейшие из мудрецов Юга не скажут вам, откуда пошла эта поговорка, но немного найдется домов — и счастливы эти дома, — где никогда не произносили имени Джесси Хомза или не

взывали к нему. Всегда с улыбкой, а порой и со слезами его призывают к исполнению его официальных обязанностей на всем пространстве от Роанока до Рио-Гранде. Очень занятой человек, этот Джесси Хомз. Я отлично помню его портрет, висевший на стене моего воображения в дни моего босоногого детства, когда встреча с ним частенько мне угрожала. Он представлялся мне страшным стариком в сером, с длинной косматой седой бородой и красными злющими глазами. Я опасался, что он вот-вот появится на дороге в облаке пыли, с белой дубовой палкой в руке, в башмаках, подвязанных ремешками. Возможно, что когда-нибудь я еще...

Но я пишу не эпилог, а рассказ.

Я не раз с сожалением отмечал, что почти во всех рассказах, которые вообще стоит читать, люди пьют. Напитки льются рекой — то это три наперстка виски, которым балуется Дик Аризона, то никчемный китайский чай, которым пытается придать себе храбрости Лайонель Монтрезор в «Дефективных диалогах». В такую компанию не стыдно ввести и абсент — один стаканчик абсента, втянутого через серебряную трубочку, холодного, мутноватого, зеленоглазого, обманчивого.

Кернер был дураком. Кроме того, он был художником и моим добрым другом. Если есть на свете презренное существо, так это художник в глазах автора, которого он иллюстрирует. Вы попробуйте сами. Напишите рассказ из жизни золотоискателей в Айдахо. Продайте его. Истратйте полученный гонорар, а затем, через полгода, займите двадцать пять (или десять) центов и купите номер журнала, в котором этот рассказ напечатан. Перед вами иллюстрация на целую страницу — ваш герой, ковбой Черный Билл. Где-то в вашем рассказе встретилось слово «лошадь». Художник сразу все понял. На Черном Билле штаны как на лорде, выехавшем травить лисицу. Через плечо у него монтекристо, в глазу монокль. На заднем плане изображен кусок Сорок второй улицы во время ремонта газовых труб и Тадж-Махал, знаменитый мавзолей в Индии.

Довольно! Я ненавидел Кернера, но как-то мы познакомились и стали друзьями. Он был молод и великолепно меланхоличен, потому что пребывал в постоянном подъеме и столь многого ждал от жизни. Да, он был, можно сказать, печален до буйства. Это все молодость. Когда человек начинает грустно веселиться, можно пари держать, что он красит волосы. У Кернера было много волос, притом старательно взлохмаченных, как и полагается гриве художника. Он курил папиросы и пил за обедом красное вино. Но главное — он был дураком. И я мудро завидовал ему и терпеливо выслушивал, как он поносит Веласкеса и Тинторетто. Однажды он сказал мне, что ему понравился мой рассказ, который попался ему в каком-то сборнике. Он пересказал мне содержание рассказа, и я пожалел, что мистер Фицджеральд О'Брайан⁶¹ умер и не может услышать похвалу своему произведению. Но такие озарения редко посещали Кернера, он был дураком упорным и постоянным.

Постараюсь выразиться яснее. Тут была девушка. Я лично считаю, что девушкам место либо в пансионе, либо в альбоме, но, чтобы не лишиться дружбы Кернера, я допускал существование этого вида и в природе. Он показал мне ее портрет в медальоне, она была не то блондинка, не то брюнетка, уж не помню. Она работала на фабрике за восемь долларов в неделю. Дабы фабрики не возгордились и не вздумали меня цитировать, добавлю, что девушка одолевала путь к этой роскошной плате пять лет, а начала с полутора долларов в неделю.

Отец Кернера стоил два миллиона. Поддерживать искусство он был согласен, но про фабричную работницу заявил, что это уж слишком. Тогда Кернер лишил отца наследства, переехал в дешевую мастерскую и стал питаться на завтрак колбасой, а на обед Фаррони. Фаррони, наделенный артистической душой, кормил в кредит многих художников и поэтов. Иногда Кернеру удавалось продать картину. Тогда он покупал новый ковер, кольцо и дюжину галстуков, а также уплачивал Фаррони два доллара в счет долга.

Как-то вечером Кернер пригласил меня отобедать с ним и с его девушкой. Они решили

⁶¹ Фицджеральд О'Брайан (1828–1862) — американский писатель, автор фантастических рассказов.

пожениться, как только он научится извлекать из живописи доход. Что касается двух миллионов экс-отца — очень они ему нужны!

Девушка была прелесть. Миниатюрная, почти красивая, она держалась в этом дешевом кафе так же свободно, как если бы сидела в ресторане отеля «Палмер-Хаус» в Чикаго и уже успела засунуть за корсаж на память серебряную ложку. Она была естественна. Особенно я оценил в ней две черточки: пряжка от пояса приходилась как раз посередине ее спины, и она не рассказывала нам, что высокий мужчина с рубиновой булавкой в галстук шел за ней по пятам от самой Четырнадцатой улицы. Я подумал: а может быть, Кернер не такой уж дурак? А потом прикинул, сколько полосатых манжет и голубых стеклянных бус для язычников можно купить на два миллиона, и решил — нет, все-таки дурак. И тут Элиз — вот, даже имя ее вспомнил — весело рассказала нам, что коричневое пятно на ее блузке произошло оттого, что хозяйка постучала к ней как раз, когда она (Элиз, а не хозяйка) грела утюг на газовой горелке, и ей пришлось спрятать утюг под одеяло, а там оказался кусочек жевательной резинки, он пристал к утюгу, и когда она начала снова гладить блузку... Я только подивился, каким образом жевательная резинка попала под одеяло — неужели они никогда не перестают ее жевать?

Вскоре после этого — потерпите, сейчас будет и про абсент — мы с Кернером обедали вдвоем у Фаррони. Страдали гитара и мандолина; дым стелился по комнате красивыми, длинными, кудрявыми клубами, точь-в-точь как художники изображают на рождественских открытках пар от плумпудинга; дама в голубом шелковом платье и вымытых бензином перчатках запела мелодию кэтскилской горянки.

— Кернер, — сказал я, — ты дурак.

— Разумеется, — сказал Кернер, — работать она больше не будет. Этого я не допущу. Какой смысл ждать? Она согласна. Вчера я продал ту акварель — вид на Палисады. Стряпать будем на газовой плите в две конфорки. Ты еще не знаешь, какое я умею готовить рагу. Да, поженимся на будущей неделе.

— Кернер, — сказал я, — ты дурак.

— Хочешь абсенту? — великодушно предложил Кернер. — Сегодня ты в гостях у искусства, которое при деньгах. Думаю, мы снимем квартиру с ванной.

— Я никогда не пробовал... я имею в виду абсент, — сказал я.

Официант отмерил нам по порции в стаканы со льдом и медленно долил стаканы водой.

— На вид совсем как вода в Миссисипи в большой излучине ниже Натчеса, — сказал я, с интересом разглядывая мутную жидкость.

— Можно найти такую квартиру за восемь долларов в неделю, — сказал Кернер.

— Ты дурак, — сказал я и стал потягивать абсент. — Знаешь, что тебе нужно? Тебе нужно официальное вмешательство некоего Джесси Хомза.

Кернер, не будучи южанином, не понял. Он сидел размякший, мечтая о своей квартире как истый делегата-художник, а я глядел в зеленые глаза всезнающего духа полыни.

Случайно я заметил, что процессия вакханок на длинном панно под потолком сдвинулась с места и весело понеслась куда-то слева направо. Я не сообщил о своем открытии Кернеру. Художники парят слишком высоко, чтобы замечать такие отклонения от естественных законов искусства стенной живописи. Я потягивал абсент и насыщал свою душу полынью.

Один стакан абсента это не бог весть что, но я опять сказал Кернеру, очень ласково:

— Ты дурак. — И прибавил наше южное: — Нет на тебя Джесси Хомза.

А потом я оглянулся и увидел Смерть Дуракам, каким он всегда мне представлялся, — он сидел за соседним столиком и смотрел на нас своими грозными красными безжалостными глазами. Это был Джесси Хомз с головы до ног: длинная косматая седая борода, старомодный серый сюртук, взгляд палача и пыльные башмаки призрака, явившегося на зов откуда-то издалека. Взгляд его так и сверлил Кернера. Мне стало жутко при мысли, что это я оторвал его от неустанный исполнения его обязанностей на Юге. Я подумал о бегстве, но вспомнил, что многие все же избегли его кары, когда уже казалось, что ничто не может их спасти, разве что назначение послом в Испанию. Я назвал брата своего Кернера дураком, и мне угрожала

геенна огненная. Это бы еще ничего, но Кернера я постараюсь спасти от Джесси Хомза.

Смерть Дуракам встал и подошел к нашему столику. Он оперся на него рукой и, игнорируя меня, впился в Кернера своими горящими, мстительными глазами.

— Ты безнадежный дурак, — сказал он. — Не надоело еще тебе голодать? Предлагаю тебе еще раз: откажись от этой девушки и возвращайся к отцу. Не хочешь — пеняй на себя.

Лицо Смерти Дуракам было на расстоянии фута от лица его жертвы, но, к моему ужасу, Кернер ни словом, ни жестом не показал, что заметил его.

— Мы поженимся на будущей неделе, — пробормотал он рассеянно. — Кой-какая мебель у меня есть, прикупим несколько подержанных стульев и справимся.

— Ты сам решил свою судьбу, — сказал Смерть Дуракам тихим, но грозным голосом. — Считаю себя все равно что мертвым. Больше предложений не жди.

— При лунном свете, — продолжал Кернер мечтательно, — мы будем сидеть на нашем чердаке с гитарой, будем петь и смеяться над ложными радостями гордости и богатства.

— Проклятье на твою голову! — прошипел Смерть Дуракам, и у меня волосы зашевелились на голове, когда я увидел, что Кернер по-прежнему не замечает присутствия Джесси Хомза. И я понял, что по каким-то неведомым причинам завеса поднялась только для меня одного и что мне суждено спасти моего друга от руки Смерти Дуракам. Объяввший меня ужас, смешанный с восторгом, видимо, отразился на моем лице.

— Прости меня, — сказал Кернер со своей бледной, тихой усмешкой. — Я разговаривал сам с собой? Кажется, это у меня входит в привычку.

Смерть Дуракам повернулся и вышел из ресторана.

— Подожди меня здесь, — сказал я, вставая. — Я должен поговорить с этим человеком. Почему ты ничего ему не ответил? Неужели оттого, что ты дурак, ты должен издохнуть, как мышь под его сапогом? Ты что, даже пискнуть не мог в свою защиту?

— Ты пьян, — отрезал Кернер. — Никто ко мне не обращался.

— Тот, кто лишил тебя разума, — сказал я, — только что стоял рядом с тобой и обрек тебя на гибель. Ты не слепой и не глухой.

— Ничего такого я не заметил, — сказал Кернер. — Я не видел за этим столом никого, кроме тебя. Сядь. Больше ты никогда не получишь абсента.

— Жди меня здесь, — сказал я, взбешенный. — Раз тебе не дорога твоя жизнь, я сам тебя спасу.

Я выскочил на улицу и догнал старика в сером через несколько домов. Он был таким, каким я тысячу раз видел его в воображении, — свирепый, седой, грозный. Он опирался на белую дубовую палку, и, если бы улиц не поливали, пыль так и летела бы у него из-под ног.

Я схватил его за рукав и потащил в темный угол. Я знал, что он — миф, и не хотел, чтобы полисмен застал меня разговаривающим с пустотой — не хватало еще очутиться в больнице Бельвю, разлученным со своей серебряной спичечницей и бриллиантовым кольцом!

— Джесси Хомз, — сказал я, глядя ему в лицо и симулируя храбрость. — Я вас знаю. Я слышал о вас всю жизнь. Теперь я понял, каким наказанием Божьим вы были для Юга. Вместо того чтобы истреблять дураков, вы убивали талант и молодость, столь необходимые для жизни народа и его величия. Вы сами дурак, Хомз. Вы начали убивать самых лучших, самых блестящих своих соотечественников три поколения назад, когда старые, обветшалые мерки общественных отношений, приличий и чести были узкими и лицемерными. Вы это доказали, наложив печать смерти на моего друга Кернера, умнейшего парня, какого я когда-либо встречал.

Смерть Дуракам посмотрел на меня пристально и угрюмо.

— Странно на вас действует вино, — сказал он задумчиво. — Да-да, я вспомнил, кто вы такой. Вы сидели с ним за столиком. Если я не ослышался, его вы тоже называли дураком.

— Называл, — сказал я. — И очень часто. Это от зависти. По всем общепризнанным меркам он — самый отъявленный, самый болтливый, самый грандиозный дурак на всем свете. Поэтому вы и хотите его убить.

— Не откажите в любезности, — сказал старик, — объясните, за кого или за что вы меня

принимаете.

Я громко расхохотался, но тотчас умолк, сообразив, что мне несдобровать, если кто увидит, как я предаюсь шумному веселью в обществе кирпичной стены.

— Вы — Джесси Хомз, Смерть Дуракам, — сказал я очень серьезно, — и вы хотите убить моего друга Кернера. Не знаю, кто вас сюда позвал, но если вы его убьете, я добьюсь, чтобы вас арестовали. То есть, — добавил я, теряя апломб, — если мне удастся сделать так, чтобы полисмен вас увидел. Они и смертных-то неважно ловят, а уж для того, чтобы изловить убийцу, который миф, понадобится вся полиция Нью-Йорка.

— Ну, мне пора, — отрывисто произнес Смерть Дуракам. — Ступайте-ка лучше домой да проспите. Спокойной ночи.

Я опять испугался за Кернера и перешел на другой тон, более мягкий и смиренный. Припав к плечу старика, я стал его молить:

— Добрый мистер Смерть Дуракам, пожалуйста, не убивайте маленького Кернера! Возвращайтесь лучше к себе на Юг, убивайте там на здоровье конгрессменов и всякую гольтьбу, а нас оставьте в покое! Или почему бы вам не пойти на Пятую авеню убивать миллионеров, которые держат свои деньги под замком и не позволяют молодым дуракам жениться, потому что невеста не из того квартала? Пойдем выпьем, Джесси, а потом уж займетесь своим делом.

— Вы знаете эту девушку, из-за которой ваш друг валяет дурака? — спросил Джесси Хомз.

— Я был ей представлен, — отвечал я, — потому и назвал его дураком. Он дурак потому, что давно на ней не женился. Он дурак потому, что все ждал и надеялся на согласие какого-то нелепого дурака с двумя миллионами — не то отца, не то дяди.

— Возможно, — сказал Смерть Дуракам, — возможно, мне следовало посмотреть на это иначе. Вы можете сходить в тот ресторан и привести сюда вашего друга Кернера?

— Что толку, Джесси? — зевнул я. — Он ведь вас не видит. Он даже не знает, что вы говорили с ним за столиком. Вы же вымышленное лицо, сами знаете.

— Может быть, теперь увидит. Приведите его, пожалуйста.

— Хорошо, — сказал я. — Но вы, мне кажется, не совсем трезвы, Джесси. Вы как-то расплываетесь, теряете очертания. Смотрите, не исчезните, пока я хожу.

Я вернулся в ресторан и сказал Кернеру:

— Там на улице дожидается один старик с невидимой манией человекоубийства. Он хочет тебя видеть. Кажется, он хочет также тебя убить. Пошли. Ты его все равно не увидишь, так что бояться нечего.

Кернер словно бы обеспокоился.

— Черт возьми, — сказал он, — вот не думал, что один стакан абсента может оказать такое действие. В дальнейшем ты лучше держись пива. Я провожу тебя домой.

Я привел его к Джесси Хомзу.

— Рудольф, — сказал Смерть Дуракам, — я сдаюсь. Приведи ее ко мне. Руку, мальчик.

— Спасибо, папа, — сказал Кернер, пожимая руку старику. — Вы об этом не пожалеете, когда узнаете ее поближе.

— Так ты его видел, когда он говорил с тобой за столом? — спросил я Кернера.

— Мы уже год как не разговаривали, — сказал Кернер. — Теперь-то все в порядке.

Я пошел прочь.

— Ты куда? — крикнул мне вдогонку Кернер.

— Иду отдаться в руки Джесси Хомзу, — ответил я сдержанно и с достоинством.

В Аркадии проездом

Перевод И. Гуровой

На Бродвее есть отель, которого еще не успели обнаружить любители летних курортов. Он обширен и прохладен. Номера его отделаны темным дубом, холодным даже в полуденный зной. Ветерки домашнего изготовления и темно-зеленые живые изгороди дарят ему все прелести Адирондакских гор без присущих им неудобств. Ни одному альпинисту не дано изведать той безмятежной радости, какую испытывает человек, когда он взбирается по его широким лестницам или под бдительным оком опытного проводника с грудью, усаженной медными пуговицами, мечтательно уносится ввысь в одном из лифтов, точно в кабинке фуникулера. Здешний повар готовит такую форель, какой вам не попробовать даже в Белых горах Невады, его омары и другие дары моря заставят позеленеть от зависти Олд-Пойнт-Комфорт («Да будь я проклят, сэр!»), а оленина из штата Мэн могла бы смягчить и чиновничье сердце старшего лесничего.

Этот оазис в пустыне июльского Манхэттена известен лишь избранным. И в течение июля немногочисленные гости отеля блаженствуют в прохладном сумраке величественного обеденного зала и созерцают друг друга через белоснежные пространства незанятых столиков, безмолвно радуясь своему уединению.

Избыточный рой внимательных официантов на резиновом ходу спешит исполнить их малейшее желание еще до того, как оно будет высказано. Температура воздуха остается неизменно апрельской. На потолке в нежных акварельных тонах изображено летнее небо, и по нему плывут прелестные облачка, которые в отличие от настоящих не огорчают нас своим безвозвратным исчезновением.

Приятный отдаленный рев Бродвее в воображении счастливых гостей преобразуется в баюкающий рокот водопада под сенью леса. Они тревожно прислушиваются к незнакомым шагам, томясь опасением, что их приют обнаружен и сейчас в него вторгнутся те беспокойные искатели удовольствий, что без усталости выслеживают нетронутую природу в самых сокровенных ее убежищах.

Вот так каждый жаркий сезон горстка истинных знатоков ревниво прячется от посторонних глаз в опустевшем караван-сараяе, сполна наслаждаясь прелестями гор и морского побережья, которые сервируют им здесь искусство и усердие.

В июле нынешнего года отель одарила своим присутствием «мадам Элоиза д'Арси Бомон», как значилось на карточке, которую она послала портье для регистрации.

Мадам Бомон отвечала самым строгим требованиям отеля «Лотос». Ей был присущ тонкий аристократизм, смягченный и оттененный истинной любезностью, которая тотчас превратила всех служащих отеля в ее рабов. Когда она звонила, коридорные дрались за честь явиться к ней в номер. Только законы, охраняющие частную собственность, мешали портье признать ее единовластной владелицей отеля и всего, что в нем находилось. Для гостей же в ней воплотился тот завершающий штрих женственности, избранности и красоты, которого только и не хватало отелю для полного совершенства.

Эта сверхидеальная гостья редко покидала отель. Ее привычки удивительно гармонировали с традициями взыскательных клиентов «Лотоса». Чтобы вполне насладиться благами этой изумительной гостиницы, необходимо игнорировать город, словно он находится от нее в десятках и десятках миль. Хороший тон разрешает краткое посещение соседнего увеселительного сада под покровом вечерней мглы. Но в дневную жару принято оставаться в тенистых пределах «Лотоса» — так форель неподвижно повисает под хрустальными сводами своей излюбленной заводи.

Мадам Бомон держалась в отеле «Лотос» особняком, но ее одиночество было одиночеством королевы — всего лишь прерогативой высокого сана. Она завтракала в десять — грациозное, томное, хрупкое создание, казалось излучавшее в полутьме столового зала прохладный серебристый свет, словно цветок жасмина в сумерках.

Но особенно великолепна была мадам Бомон за обедом. Ее платье было чарующим и эфирным, как перламутровая дымка над горным ущельем, где низвергается невидимый водопад. Из чего было сшито это платье, автор сказать не берется. К его отделанному кружевом корсажу неизменно бывали приколоты бледно-красные розы. Такие платья

метрдетель почтительно встречает у самых дверей. При взгляде на него вашему воображению невольно рисовался Париж, а может быть, таинственные графини, и уж во всяком случае — Версаль, шпаги, миссис Фиск и рулетка. В отеле «Лотос» неведомо как возник слух, что мадам Бомон принадлежит к космополитическим кругам и что ее тонкие белые пальцы дергают некие международные нити в пользу России. Так надо ли удивляться, что, привыкнув к самым ровным и гладким путям мира, эта его гражданка сумела по достоинству оценить утонченную элегантность отеля «Лотос», лучшего места во всей Америке для спокойного отдыха в летнюю жару.

На третий день пребывания мадам Бомон в отеле туда явился и снял номер некий молодой человек. Его костюм (если перечислять достоинства вновь прибывшего в положенном порядке) был неброско модным, черты лица — красивыми и правильными, а их выражение — как раз таким, какое подобает человеку, привыкшему вращаться в высшем свете. Он сообщил портье, что намерен пробыть тут дня три-четыре, спросил расписание пароходов, отплывающих в Европу, и погрузился в сладостную нирвану несравненного отеля с удовлетворенным видом путешественника, который добрался до любимой придорожной харчевни.

Звали молодого человека — если не подвергать сомнению правдивость регистрационной книги — Гарольд Фаррингтон. Он вступил в медлительное струение жизни отеля «Лотос» столь тактично и бесшумно, что ни единый всплеск не потревожил слуха тех, кто, подобно ему, искал там тихого отдохновения. Он вкусил от творений шеф-повара и от цветка, который дал отелю его название, и, подобно остальным счастливым мореходам, предался баюкающей власти мирного покоя. Всего за день он обзавелся собственным столиком, собственным официантом и опасениями, что пыхтящие орды любителей отдыха, от которых обливается потом Бродвей, ринутся в этот географически столь близкий, хотя и укромный приют, неся ему погибель.

Мистер Фаррингтон жил в отеле второй день, когда мадам Бомон, выходя из зала после обеда, уронила носовой платок. Мистер Фаррингтон поднял платок и вручил его мадам Бомон без тех экспансивных излияний, которые сопровождают попытку завязать знакомство.

Быть может, избранников, собравшихся под кровом отеля «Лотос», связывало некое мистическое сродство душ. А может быть, ощущение общности возникло из сознания, что фортуна равно улыбнулась им, приведя их в этот бродвейский курорт курортов. Мадам Бомон и мистер Фаррингтон обменялись словами, исполненными изысканной любезности и чуть заметного намека на возможность пренебречь сухими требованиями этикета. И как бы овеванное непринужденной атмосферой настоящего летнего курорта, знакомство это дало ростки, расцвело и принесло плоды в единый миг, точно апельсинное деревце при взмахе волшебной палочки в руках фокусника. Они вышли на балкон, которым завершался коридор, и несколько минут перебрасывались воланом светской беседы.

— Все эти старые курорты так надоедают, — сказала мадам Бомон со слабой, но прелестной улыбкой. — Какой смысл бежать в горы или на берег моря от шума и пыли, если люди, которые их поднимают, следуют за нами и туда?

— Даже океан уже больше не служит убежищем от плебеев, — печально изрек Фаррингтон. — Теперь даже самый фешенебельный пароход трудно отличить от паррома. Да смилуется над нами небо, когда гиены летнего отдыха обнаружат, что «Лотос» находится куда дальше от Бродвея, чем Тысяча островов или Макинак.⁶²

— Надеюсь, наша тайна останется неприкосновенной еще неделю, — заметила мадам Бомон со вздохом и улыбкой. — Право, не представляю, где я могла бы укрыться, если бы они наводнили милый «Лотос». Мне известно лишь одно место, столь же восхитительное летом, — замок графа Палинского среди Уральских гор.

⁶² Тысяча островов — острова на реке Св. Лаврентия, где находятся известные курорты. Макинак — курорт в штате Мичиган.

— Говорят, Баден-Баден и Канн в этом сезоне совсем обезлюдели, — сказал Фаррингтон. — Из года в год старые курорты все больше приходят в запустение. Быть может, не мы одни ищем тихие приюты, неизвестные толпе.

— Я могу предаваться этому восхитительному отдыху еще три дня, — сказала мадам Бомон. — «Седрик» отплывает в понедельник.

Глаза Гарольда Фаррингтона выразили всю глубину его сожаления.

— Я также должен отбыть в понедельник, — сказал он. — Но не за границу.

Мадам Бомон повела округлым плечом на иностранный манер.

— Скрываться здесь вечно, увя, нельзя, хоть это и восхитительно! Уже более месяца, как château⁶³ заново отделан и ждет меня. Устраивать загородные приемы — как это скучно! Но я никогда не забуду этой недели в отеле «Лотос».

— И я никогда не забуду, — оказал Фаррингтон вполголоса, — как никогда не прощу «Седрику».

Вечером в воскресенье, три дня спустя, они сидели за маленьким столиком на том же балконе. Вышколенный официант, поставив перед ними мороженое и два бокала с крюшоном, тактично удалился.

На мадам Бомон было то же чудесное вечернее платье, которое она ежедневно надевала к обеду. Лицо ее было задумчиво. На столике рядом с ней лежал изящный кошелек с цепочкой. Доев мороженое, она открыла кошелек и вынула бумажный доллар.

— Мистер Фаррингтон, — оказала она с той самой улыбкой, которая покорила отель «Лотос», — мне надо вам кое-что рассказать. Утром я уйду еще до завтрака, потому что мне пора возвращаться на работу. Я работаю в универсальном магазине Кейси, в чулочном отделе, и мой отпуск кончается завтра в восемь. Этот доллар — все, что у меня осталось до следующей субботы. А получу я тогда восемь долларов. Вы — настоящий джентльмен и были со мной таким хорошим, что я решила на прощанье рассказать вам правду. Я целый год во всем себя урезывала, чтобы скопить деньги на этот отпуск. Мне хотелось хоть один раз недельку пожить как знатная леди. Чтоб вставать, когда я пожелаю, а не вскакивать с постели каждый божий день в семь утра. И чтоб все было самым лучшим, и чтоб меня обслуживали, а я бы только звонила в звонок, как богатые дамы. Ну, вот я и пожила так, и, наверное, такой счастливой недели у меня больше в жизни не будет. Теперь я вернусь на работу и в свою комнатку, но этой радости мне на год хватит. А вам я решила все сказать потому, мистер Фаррингтон, что я... что мне показалось, будто я вам нравлюсь, а вы... вы мне тоже нравитесь. Наверное, надо сразу было сказать вам все начистоту, только я ведь жила точно в сказке. Ну, вот я и разговаривала про Европу и о том, о чем читала в книжках про разные страны, и делала перед вами вид, будто я графиня какая-нибудь. А это платье — другого приличного у меня и нет — я купила у О'Доуда и Левинского в рассрочку. Стоит оно семьдесят пять долларов и сшито по мерке. Я внесла наличными десять, а теперь буду отдавать им по доллару в неделю, пока не расплачусь. Вот и все, мистер Фаррингтон, кроме того только, что зовут меня не мадам Бомон, а Мэйми Сайвитер, и позвольте поблагодарить вас за ваше внимание. Этот доллар пойдет завтра в первый взнос за платье. А теперь я, пожалуй, вернусь к себе в номер.

Гарольд Фаррингтон слушал исповедь лучшего украшения отеля «Лотос», но лицо его оставалось непроницаемым. Когда девушка умолкла, он вытащил из кармана небольшую книжку, похожую на чековую. Огрызком карандаша он что-то нацарапал на бланке, оторвал листок, придвинул его к своей собеседнице и взял доллар.

— Мне тоже с утра на работу, — сказал он, — так можно начать и сейчас. Вот квитанция за взнос в один доллар. Я четвертый год работаю у О'Доуда и Левинского сборщиком платежей. А интересно, что мы с вами одинаково придумали, как провести отпуск, верно? Я давно прицеливался пожить в шикарном отеле, ну и откладывал из своих двадцати процентов комиссионных. Послушайте, Мэйми, а не прокатиться ли нам вечерком в субботу на Кони-

⁶³ Замок (фр.)

Айленд? На пароходе?

Лицо лжемадам Элоизы д'Арси Бомон просияло.

— Ну конечно, мистер Фаррингтон! По субботам магазин закрывается в двенадцать. Кони-Айленд — это тоже ничего, хоть мы и прожили неделю со всякой знатью.

Под балконом в духоте июльского вечера рычал и гремел изнывающий город. Внутри отеля «Лотос» царил приятный прохладный сумрак, и услужливый официант неспешно прогуливался за стеклянной дверью, готовый по кивку выполнить любой заказ мадам Бомон и ее кавалера.

Фаррингтон распрощался с мадам Бомон у лифта, и она последний раз вознеслась в свой номер. Но еще раньше, когда они подходили к бесшумной кабине, он сказал:

— А про «Гарольда Фаррингтона» забудьте, ладно? Моя фамилия Мак-Манус, Джеймс Мак-Манус. Некоторые называют меня Джимми.

— Спокойной ночи, Джимми, — сказала мадам Бомон.

Погребок и Роза

Перевод Н. Дехтеревой

Мисс Поззи Кэрингтон заслуженно пользовалась славой. Жизнь ее началась под малообещающей фамилией Богс, в деревушке Кранбери-Корнерс. В восемнадцать лет она приобрела фамилию Кэрингтон и положение хористки в столичном театре варьете. После этого она легко одолела положенные ступени от «фигурантки», участницы знаменитого октета «Пташка» в нашумевшей музыкальной комедии «Вздор и ввали», к сольному номеру в танце букашек в «Фоль де Роль» и, наконец, к роли Тойнет в оперетке «Купальный халат короля» — роли, завоевавшей расположение критиков и создавшей ей успех. К моменту нашего рассказа мисс Кэрингтон купалась в славе, лести и шампанском, и дальновидный герр Тимоти Гольдштейн, антрепренер, заручился ее подписью на солидном документе, гласившем, что мисс Поззи согласна блистать весь наступающий сезон в новой пьесе Дайд Рича «При свете газа».

Незамедлительно к герру Тимоти явился молодой талантливый сын века, актер на характерные роли, мистер Хайсмит, рассчитывавший получить ангажемент на роль Сола Хэйтосера, главного мужского комического персонажа в пьесе «При свете газа».

— Милый мой, — сказал ему Гольдштейн, — берите роль, если только вам удастся ее получить. Мисс Кэрингтон меня все равно не послушает. Она уже отвергла с полдюжины лучших актеров на амплу «деревенских простаков». И говорит, что ноги ее не будет на сцене, пока не разбудут настоящего Хэйтосера. Она, видите ли, выросла в провинции, и когда это такое оранжерейное растеньице с Бродвея, понатыкав в волосы соломинок, пытается изображать полевую травку, мисс Поззи просто из себя выходит. Я спросил ее, шутки ради, не подойдет ли для этой роли Ленман Томпсон. «Нет, — заявила она. — Не желаю ни его, ни Джона Дрю, ни Джима Корбета, — никого из этих щеголей, которые путают турнепс с турникетом. Мне чтобы было без подделок». Так вот, мой милый, хотите играть Сола Хэйтосера — сумеете убедить мисс Кэрингтон. Желаю удачи.

На следующий день Хайсмит уже ехал поездом в Кранбери-Корнерс. Он пробыл в этом глухом и скучном местечке три дня. Он разыскал Богсов и вызубрил назубок всю историю их рода до третьего и четвертого поколений включительно. Он тщательно изучил события и местный колорит Кранбери-Корнерс. Деревня не попевала за мисс Кэрингтон. На взгляд Хайсмита, там, со времени отбытия единственной жрицы Терпсихоры, произошло так же мало существенных перемен, как бывает на сцене, когда предполагается, что «с тех пор прошло четыре года». Приняв, подобно хамелеону, окраску Кранбери-Корнерс, Хайсмит вернулся в город хамелеоновских превращений.

Все произошло в маленьком погребке, — именно здесь пришлось Хайсмиту блеснуть

своим актерским искусством. Уточнять место действия излишне: есть только один погребок, где вы можете рассчитывать встретить мисс Поззи Кэрингтон по окончании спектакля «Купальный халат короля».

За одним из столиков сидела небольшая оживленная компания, к которой тянулись взгляды всех присутствующих. Миниатюрная, пикантная, задорная, очаровательная, упоенная славой, мисс Кэрингтон по праву должна быть названа первой. За ней герр Гольдштейн, громкоголосый, курчавый, неуклюжий, чуточку встревоженный, как медведь, каким-то чудом поймавший в лапы бабочку. Следующий — некий служитель прессы, грустный, вечно настороженный, расценивающий каждую обращенную к нему фразу как возможный материал для корреспонденции и поглощающий свои омары а-ля Ньюбург в величественном молчании. И, наконец, молодой человек с пробором и с именем, которое сверкало золотом на оборотной стороне ресторанных счетов. Они сидели за столиком, а музыканты играли, лакеи сновали взад и вперед, выполняя свои сложные обязанности, неизменно повернувшись спиной ко всем нуждающимся в их услугах, и все это было очень мило и весело, потому что происходило на девять футов ниже тротуара.

В одиннадцать сорок пять в погребок вошло некое существо. Первая скрипка вместо ля взяла ля бемоль; кларнет пустил петуха в середине фиоритуры; мисс Кэрингтон фыркнула, а юноша с пробором проглотил косточку от маслины.

Вид у вновь вошедшего был восхитительно и безупречно деревенский. Тощий, нескладный, неповоротливый парень с льяными волосами, с разинутым ртом, неуклюжий, одуревший от обилия света и публики. На нем был костюм цвета орехового масла и ярко-голубой галстук, из рукавов на четыре дюйма торчали костлявые руки, а из-под брюк на такую же длину высывались лодыжки в белых носках. Он опрокинул стул, уселся на другой, закрутил винтом ногу вокруг ножки столика и заискивающе улыбнулся подошедшему к нему лакею.

— Мне бы стаканчик имбирного пива, — сказал он в ответ на вежливый вопрос официанта.

Взоры всего погребка устремились на пришельца. Он был свеж, как молодой редис, и незатейлив, как грабли. Вытащив глаза, он сразу же принялся блуждать взглядом по сторонам, словно высматривая, не забрели ли свиньи на грядки с картофелем. Наконец его взгляд остановился на мисс Кэрингтон. Он встал и пошел к ее столику с широкой сияющей улыбкой, краснея от приятного смущения.

— Как поживаете, мисс Поззи? — спросил он с акцентом, не оставляющим сомнения в его происхождении. — Или вы не узнаете меня? Я ведь Билл Самерс, — помните Самерсов, которые жили как раз за кузницей? Ну ясно, я малость подрос с тех пор, как вы уехали из Кранбери-Корнерс. А знаете, Лиза Перри так и полагала, что я, очень даже возможно, могу встретиться с вами в городе. Лиза ведь, знаете, вышла замуж за Бена Стэнфилда, и она говорит...

— Да что вы? — перебила его мисс Поззи с живостью. — Чтобы Лиза Перри вышла замуж? С ее-то веснушками?!

— Вышла замуж в июне, — ухмыльнулся сплетник. — Теперь она переехала в Татам-Плейс. А Хэм Райли, тот стал святошей. Старая мисс Близерс продала свой домишко капитану Спунеру; у Уотерсов младшая дочка сбежала с учителем музыки; в марте сгорело здание суда; вашего дядюшку Уайли выбрали констеблем; Матильда Хоскинс загнала себе иглу в руку и умерла. А Том Билл приударяет за Салли Лазрап, — говорят, ни одного вечера не пропускает, все торчит у них на крылечке.

— За этой лупоглазой? — воскликнула мисс Кэрингтон несколько резко. — Но ведь Том Билл когда-то... Простите, друзья, я сейчас. Знакомьтесь. Это мой старый приятель, мистер... как вас? Да, мистер Самерс. Мистер Гольдштейн, мистер Рикетс, мистер... о, а как же ваша фамилия? Ну, все равно: Джонни. А теперь пойдете вон туда, расскажите мне еще что-нибудь.

Она повлекла его за собой к пустому столику, стоявшему в углу. Герр Гольдштейн пожал

жирными плечами и подозвал официанта. Репортер слегка оживился и заказал абсент. Юноша с пробором погрузился в меланхолию. Посетители погребка смеялись, звенели стаканами и наслаждались спектаклем, который Поззи давала им сверх своей обычной программы. Некоторые скептики перешептывались насчет «рекламы» и улыбались с понимающим видом.

Поззи Кэрингтон оперлась на руки своим очаровательным подбородком с ямочкой и забыла про публику — способность, принесшая ей лавры.

— Я что-то не припоминаю никакого Билла Самерса, — сказала она задумчиво, глядя прямо в невинные голубые глаза сельского жителя. — Но вообще-то Самерсов я помню. У нас там, наверное, не много произошло перемен. Вы моих давно видали?

И тут Хайсмит пустил в ход свой козырь. Роль Сола Хэйтосера требовала не только комизма, но и пафоса. Пусть мисс Кэрингтон убедится, что и с этим он справляется не хуже.

— Мисс Поззи, — начал «Билл Самерс». — Я заходил в ваш родительский дом всего дня три тому назад. Да, правду сказать, особо больших перемен там нет. Вот только сиреневый куст под окном кухни вырос на целый фут, а вяз во дворе засох, пришлось его срубить. И все-таки все словно бы не то, что было раньше.

— Как мама? — спросила мисс Кэрингтон.

— Когда я в последний раз видел ее, она сидела на крылечке, вязала дорожку на стол, — сказал «Билл». — Она постарела, мисс Поззи. Но в доме все по-прежнему. Ваша матушка предложила мне присесть. «Только, Уильям, не троньте ту плетеную качалку, — сказала она. — Ее не касались с тех пор, как уехала Поззи. И этот фартук, который она начала подрубать, — он тоже так вот и лежит с того дня, как она сама бросила его на ручку качалки. Я все надеюсь, — говорит она, — что когда-нибудь Поззи еще дошьет этот рубец».

Мисс Кэрингтон властным жестом подозвала лакея.

— Шампанского — пинту, сухого, — приказала она коротко. — Счет Гольдштейну.

— Солнце светило прямо на крыльцо, — продолжал кранберийский летописец, — и ваша матушка сидела как раз против света. Я, значит, и говорю, что, может, ей лучше пересесть немножко в сторону. «Нет, Уильям, — говорит она, — стоит мне только сесть вот так да начать посматривать на дорогу, и я уж не могу сдвинуться с места. Всякий день, как только выберется свободная минутка, я гляжу через изгородь, высматриваю, не идет ли моя Поззи. Она ушла от нас ночью, а наутро мы видели в пыли на дороге следы ее маленьких башмачков. И до сих пор я все думаю, что когда-нибудь она вернется назад по этой же самой дороге, когда устанет от шумной жизни и вспомнит о своей старой матери».

— Когда я уходил, — закончил «Билл», — я сорвал вот это с куста перед вашим домом. Мне подумалось, может, я и впрямь увижу вас в городе, ну, и вам приятно будет получить что-нибудь из родного дома.

Он вытащил из кармана пиджака розу — блекнущую, желтую, бархатистую розу, поникшую головкой в душной атмосфере этого вульгарного погребка, как девственница на римской арене перед горячим дыханием львов.

Громкий, но мелодичный смех мисс Поззи заглушил звуки оркестра, исполнявшего «Колокольчики».

— Ах, бог ты мой, — воскликнула она весело. — Ну есть ли что на свете скучнее нашего Кранбери? Право, теперь, кажется, я не могла бы пробыть там и двух часов — просто умерла бы со скуки. Ну, я очень рада, мистер Самерс, что повидалась с вами. А сейчас, пожалуй, мне пора отправляться домой да хорошенько выспаться.

Она приколола желтую розу к своему чудесному элегантному шелковому платью, встала и повелительно кивнула в сторону герра Гольдштейна.

Все трое ее спутников и «Билл Самерс» проводили мисс Поззи к поджидавшему ее кебу. Когда ее бесчисленные оборки и ленты были благополучно размещены, мисс Кэрингтон на прощанье одарила всех ослепительным блеском зубок и глаз.

— Зайдите навестить меня, Билл, прежде чем поедете домой, — крикнула она, и блестящий экипаж тронулся.

Хайсмит, как был, в своем маскарадном костюме, отправился с герром Гольдштейном в

маленькое кафе.

— Ну, каково, а? — спросил актер, улыбаясь. — Придется ей дать мне Сола Хэйтосера, как по-вашему? Прелестная мисс ни на секунду не усомнилась.

— Я не слышал, о чем вы там разговаривали, — сказал Гольдштейн, — но костюм у вас и манеры — что надо. Пью за ваш успех. Советую завтра же, с утра, заглянуть к мисс Кэрингтон и атаковать ее насчет роли. Не может быть, чтобы она осталась равнодушна к вашим способностям.

В одиннадцать сорок пять утра на следующий день Хайсмит, элегантный, одетый по последней моде, с уверенным видом, с цветком фуксии в петлице, явился к мисс Кэрингтон в ее роскошные апартаменты в отеле.

К нему вышла горничная актрисы, француженка.

— Мне очень жаль, — сказала мадемуазель Гортенз, — но она поручилась передать это всем. Ах, как жаль! Мисс Кэрингтон разорвала все контракт с театром и уехала жить в этот, как это? Да, в Кранбери-Корнэр.

Трубный глас

Перевод под ред. В. Азова

Одну часть этого рассказа можно найти в архиве полицейского управления, другая же извлечена из конторы одной газеты.

Как-то раз, недели через две после того, как миллионер Нордкрасс был найден мертвым у себя дома, убитый грабителями, — убийца, безмятежно прогуливавшийся по Бродвею, вдруг встретился лицом к лицу с сыщиком Барни Вудсом.

— Ты ли это, Джонни Кернан? — спросил Вудс, уже пять лет страдавший на людях близорукостью.

— Я самый! — сердечно воскликнул Кернан. — Да ведь это Барни Вудс, старый Барни Вудс из Сент-Джо! Ну, брат, покажись-ка! Что ты подделываешь здесь, на Востоке? Неужели можно было доехать зайцем до самого Нью-Йорка?

— Я уже несколько лет как живу в Нью-Йорке, — сказал Вудс. — Я служу сыщиком в городской полиции.

— Ну, ну! — сказал, улыбаясь и весь сияя от удовольствия, Кернан и похлопал сыщика по плечу.

— Зайдем к Мюллеру, — сказал Вудс, — и отыщем там спокойный уголок. Я с удовольствием поболтаю с тобой.

Было без нескольких минут четыре. Отлив из контор еще не начался, и они нашли в кафе укромное местечко.

Кернан, хорошо одетый, с несколько хвастливым и самоуверенным видом, сел напротив маленького сыщика, обладавшего светлыми, выпуклыми льяными усиками и косыми глазами и одетого в шевиотовый костюм из магазина готового платья.

— Чем ты теперь занимаешься? — спросил Вудс. — Ты уехал из Сент-Джо за год до меня.

— Продаю акции моего медного рудника, — сказал Кернан. — Я, может быть, открою здесь контору. Ну-ну! Итак, старина Барни теперь нью-йоркский сыщик? Тебя всегда тянуло к этому. Ты ведь и в Сент-Джо служил в полиции после того, как я уехал. Не правда ли?

— Шесть месяцев, — сказал Вудс. — А теперь еще один вопрос, Джонни. Я довольно внимательно следил за твоими похождениями с тех пор, как ты обработал это дело в гостинице в Саратогге, и я не помню, чтобы ты когда-нибудь пускал в ход револьвер. Почему ты убил Нордкрасса?

Кернан несколько минут пристально и сосредоточенно глядел на кусочек лимона в стакане виски с содовой; затем он взглянул на сыщика с неожиданной, несколько кривой, но

радостной улыбкой.

— Как ты догадался, Барни? — спросил он с восхищением. — Честное слово, я думал, что я обделал это дело так чисто и гладко, что комар носу не подточит. Неужели я оставил там где-нибудь свою визитную карточку?

Вудс положил на стол небольшой золотой карандаш в виде брелока.

— Я тебе подарил его на Рождество, в последний год, когда мы проводили праздники вместе в Сент-Джо. У меня до сих пор твой прибор для бритья. Эту штучку я нашел под ковром Нордкрасса в комнате. Предупреждаю тебя, чтобы ты был осторожен в своих словах. Мы когда-то были друзьями, но теперь я должен исполнить свой долг. Тебе придется сесть на стул за Нордкрасса.⁶⁴

Кернан рассмеялся.

— Счастье мне не изменило, — сказал он. — Кто бы подумал, что именно старина Барни следит за мной!

Он сунул руку под пальто, но Вудс в ту же минуту приставил ему к боку револьвер.

— Убери эту штуку, — сказал Кернан, морща нос. — Я только произвожу одно исследование. Ага! Говорят, нужно девять портных, чтобы создать человека, но достаточно одного портного, чтобы его погубить. В кармане этого пиджака есть дырка. Я снял этот карандаш с цепочки на случай какой-нибудь схватки. Спрячь револьвер, Барни, и я тебе скажу, почему мне пришлось застрелить Нордкрасса. Этот старый болван погнался за мной в холл, стреляя в пуговицы на моей спине из поганого маленького револьверишки двадцать второго калибра, и мне пришлось остановить его. Старуха, та была прямо дуся. Она просто лежала себе в кровати и, не пикнув, глядела, как исчезало ее двенадцатитысячное ожерелье, и только когда я взял тоненькое золотое колечко с гранатом, доллара на три, она стала ныть, как нищая, умоляя меня оставить ей его. Я уверен, что она вышла за старика Нордкрасса по расчету. Все они трясутся вот так над какой-нибудь пустяковиной — сувениром от человека, которого любили в молодости. Всего нашлось шесть колец, две брошки и часы с цепочкой. Тысяч на тридцать.

— Я предупредил тебя, чтобы ты не говорил лишнего, — сказал Вудс.

— О, это ничего! — сказал Кернан. — Все барахло у меня в чемодане, в гостинице. А теперь я скажу тебе, почему я так откровенно говорю тебе обо всем. Да потому, что это совершенно для меня неопасно. Ты мне должен тысячу долларов, Борни Вудс, и даже если бы ты хотел меня арестовать, у тебя рука не поднялась бы.

— Я не забыл, — сказал Вудс. — Ты отсчитал мне тогда двадцать пятидесяток, не поморщившись. Я когда-нибудь тебе заплачу. Эта тысяча спасла меня... когда я тогда вернулся домой, они уже начали выносить мою мебель на тротуар.

— И потому, — продолжал Кернан, — ты, будучи Барни Вудсом, благородным как золото, человеком, должен играть честно, и ты не смеешь пальцем пошевелинуть, чтобы арестовать человека, которому ты должен. О, в нашем деле приходится изучать не только системы замков и задвижек на окнах, а также и людей. Ну, теперь сиди спокойно, пока я позвоню лакею. Вот уже год или два, как меня постоянно мучит жажда; это меня прямо беспокоит. Если меня когда-нибудь поймают, счастливой ищейке придется делить славу со стариной Виски. Но я никогда не пью на работе. А теперь, покончив с делами, я могу со свободной совестью раздавить стаканчик-другой с моим старым другом Барни. Что выпьешь?

Лакей принес графинчик и сифон и опять оставил их вдвоем.

— Значит, ты требуешь услуги за услугу, — сказал Вудс, задумчиво катая указательным пальцем маленький золотой карандаш по столу. — Придется отпустить тебя. На тебя у меня рука не поднимется. Если бы я отдал тебе эти деньги... но я не отдал их, и этим все сказано. Здорово я теперь должен сдрейфить, Джонни, да ничего не поделаешь. Ты меня однажды выручил, и я обязан отплатить тебе тем же.

⁶⁴ На электрический стул — орудие смертной казни в Америке.

— Я так и знал, — сказал Кернан, поднимая стакан и самодовольно улыбаясь. — У меня верный глаз на людей. За твоё здоровье, Барни...

— Я думаю, — спокойно продолжал Вудс, точно думая вслух, — что, если бы наши денежные счета были сведены, все деньги во всех банках Нью-Йорка не могли бы заставить меня выпустить тебя из рук.

— Я это знаю, — сказал Кернан. — Поэтому-то я и уверен, что от тебя-то опасность мне не угрожает.

— Большинство людей, — продолжал сыщик, — косо смотрят на мое ремесло. Его не причисляют к искусствам или благородным профессиям. Но я всегда как-то глупо гордился им. И вот тут-то я и сел в лужу. Оказалось, что я прежде всего человек, а потом уже сыщик. Придется мне отпустить тебя, а потом подать в отставку. Ну что же! Я думаю, я сумею получить место фургонщика. Твоя тысяча долларов теперь еще дальше от тебя, чем раньше, Джонни.

— Сделай милость, держи ее у себя, — с видом щедрого благодетеля сказал Кернан. — Я с удовольствием совсем забыл бы этот долг, но я знаю, что ты сам этого не захочешь. Счастливый это был для меня день, когда ты занял у меня деньги. А теперь довольно об этом. Завтра с утренним поездом я уезжаю на Запад. Я знаю там одно место, где мне удастся сбыть нордкрассовские сверкачи. Выпей-ка, Барни, забудь горе! Мы с тобой повеселимся, пока полиция будет ломать себе голову над этим делом. Я сегодня жажду влаги, как Сахара. Но я в руках, в неофициальных руках моего старого друга Барни, и мне даже не приснится фараон.

Под пальцем Кернана заработали сначала звонок а потом и лакей. Чем дальше, тем больше проявлялись его дурные стороны — невероятное тщеславие и наглый эгоизм. Он раскрывал историю за историей про все свои удачные грабежи, хитроумные планы и гнусные преступления, пока, наконец, Вудс, несмотря на все свое близкое знакомство со злодеями, почувствовал, как в душе его растет сильное отвращение к этому вконец развращенному человеку, когда-то оказавшему ему благодеяние.

— Я, разумеется, для тебя обезврежен, — сказал наконец Вудс. — Но я все же советую тебе некоторое время сидеть смиренно. Нордкрассовское дело могут подхватить газеты. Этим летом в городе была настоящая эпидемия ограблений и убийств.

Эти слова вызвали у Кернана вспышку мрачной, мстительной злобы.

— К черту все эти газеты! — проворчал он. — Ни черта в них нет, кроме хвастовства и сапогов всмятку. А если они даже и займутся каким-нибудь делом, к чему это приводит? Полицию провести за нос нетрудно, но что же делают газеты? Посылают на место преступления кучу репортершечек, а те отправляются в ближайший бар и пьют там пиво, и снимают старшую дочь хозяина в вечернем платье, а потом помещают этот снимок под видом фотографии невесты молодого человека с девятого этажа, которому показалось, что он услышал внизу какой-то шум в ночь убийства. Дальше этого газеты не идут в деле расследования преступлений.

— Ну, не скажи, — задумчиво проговорил Вудс. — Некоторые газеты совсем недурно работают в этом направлении. Вот, например, «Утренний Марс». Он раза два-три верно указал на преступника, и его ловили, когда полиция уже давно дала остыть его следам.

— Я сейчас докажу тебе, — сказал Кернан, вставая с места и выпячивая грудь, — я докажу тебе мое мнение о газетах вообще и о твоём «Утреннем Марсе» в частности.

Шагах в трех от их столика находилась телефонная будка. Кернан вошел внутрь и присел у телефона, оставив дверь открытой. Он нашел номер в книжке, снял трубку и вызвал центральную. Вудс сидел безмолвно, глядя на насмешливое, холодное лицо, выжидательно склоненное над трубкой, и прислушиваясь к словам, произносимым тонкими, жесткими губами, сложившимися в презрительную улыбку.

— «Утренний Марс»? Мне нужно поговорить с редактором... Ах, так?... Так скажите ему, что это насчет убийства Нордкрасса... Редактор?... Ладно!.. Я — убийца старика Нордкрасса... Стойте! Не разъединяйте! Это вовсе не обычная мистификация. О нет, опасности нет ни малейшей! Я сейчас все обсудил с одним моим приятелем, сыщиком. Я убил старика в два

часа тридцать минут утра; завтра этому будет две недели... Что? Приглашаете выпить с вами стаканчик? Ну, знаете, эти шуточки лучше предоставьте вашему юмористу. Неужели вы не можете разобраться в том, смеется ли над вами человек или предлагает вам самую крупную сенсацию, которая когда-либо появлялась в вашем бездарнейшем листке, годном лишь на то, чтобы в него селедки заворачивать?.. Ну, да, именно так... это колоссальная сенсация... но не можете же вы ожидать, чтобы я вам назвал свою фамилию и адрес... Почему? Да потому, что вы, как я слышал, специализировались на разгадывании преступлений, от которых полиция становится в тупик... Нет, это еще не все. Я хочу вам сказать, что ваш ерундовый, лживый, грошовый листок может проследить умного убийцу или разбойника не лучше, чем слепой пудель... Что?.. Нет, это не редакция соперничающей с вами газеты; вы имеете эту информацию из первых рук. Убийство Нордкрасса — мое дело, и драгоценности лежат у меня в чемодане, в «гостинице, название которой не удалось установить». Вы знаете это выражение, не правда ли? Совсем газетное. А ведь небось жутко вам стало, что таинственный злодей звонит к вам — великому, могучему органу права и справедливости, — и объявляет вам, что ваша газета — старая тряпка... Бросьте это, вы не так глупы, — вы вовсе не считаете меня самозванцем. Я по вашему голосу слышу... Ну, слушайте, я вам скажу одну вещь, которая вам это докажет. Разумеется, весь ваш штат юных остолопов уже обследовал это дело во всех подробностях. У миссис Нордкрасс на халате вторая пуговица наполовину обломана. Я это заметил, когда снимал гранатовое кольцо у ней с пальца. Я принял его за рубин... Бросьте эти штуки. Этот номер не пройдет.

Кернан с дьявольской улыбкой повернулся к Вудсу.

— Я его подвинутил. Теперь он мне поверил. Он даже не прикрыл плотно рукой трубку, когда велел кому-то вызвать по другому телефону центральную и узнать наш номер. Я ему еще раз надам жару, а потом мы улепетнем.

— Алло... Да, я все еще у телефона. Неужели вы думали, что я стану удирать от какой-то вонючей, паршивой газетки?.. Не пройдет двух дней, как вы меня изловите? Бросьте, вы меня уморите! Вот что: оставьте-ка вы взрослых людей в покое и занимайтесь своим делом — вынюхивайте про всякие разводы, да про несчастные случаи в трамвае и печатайте себе спокойно грязь и сплетни, которые дают вам ваш хлеб насущный. До свиданья, дружище, сожалею, что у меня нет времени заглянуть к вам. Я чувствовал бы себя в вашем дурацком заведении в полной безопасности.

— Он взбесился, как кошка, упустившая мышь, — сказал Кернан, вешая трубку и выходя из будки. — А теперь, Барни, сынок, мы с тобой отправимся в театр и повеселимся, пока не настанет подходящее время, чтобы лечь спать. Мне нужно вздремнуть часика четыре, а потом на западный поезд.

Приятели пообедали в ресторане на Бродвее. Кернан был доволен собой. Он сорил деньгами, как сказочный принц. Затем они всецело погрузились в созерцание фантастической, роскошно поставленной оперетки. После этого они ужинали с шампанским, и Кернан был наверху самодовольного блаженства.

В половине четвертого утра они очутились в уголке одного ночного кафе. Кернан продолжал хвастаться, но уже несколько туманно и бессвязно. Вудс мрачно размышлял о том, что настал конец его полезной деятельности в качестве блюстителя закона.

Но вдруг, посреди этих размышлений, он поднял голову, и в глазах его мелькнул луч идеи.

— Хотел бы я знать, возможна ли такая штука? — сказал он про себя. — Хотел бы я знать...

Вдруг относительная тишина раннего утра на улице была нарушена раздавшимися там слабыми, неясными звуками, которые прорезали тишину, как светлячки прорезают мрак; одни становились громче, другие — тише; они росли или замирали посреди грохота телег молочников и редких трамваев; когда они приближались, они становились пронзительными. Это были хорошо знакомые выкрикивания, имевшие множество разных значений для тех из погруженных в сон миллионов жителей большого города, которые, проснувшись, слышали их.

В этих многозначительных криках, несмотря на их малый объем, таилась вся тяжесть мировой скорби, и смеха, и восторга, и напряжения всего мира. Одним, скрывавшимся под защитой эфемерного покровы ночи, они приносили известия о грозном рассвете дня; другим, погруженным в счастливый сон, они возвещали о наступлении утра, более мрачного, чем самая темная ночь. Для многих богачей они оказались той метлой, которая смела все, что принадлежало им, пока горели звезды; беднякам они приносили — еще один день.

По всему городу раздавались эти крики, резкие, звонкие, возвещая о новых возможностях, возникших при новом повороте колеса в механизме времени, и распределяя между спящими и еще беззащитными против судьбы людьми прибыль, мщение, горе, награды или роковой приговор, — смотря по тому, что предназначал для них новый листок календаря. Пронзительны и вместе с тем жалобны были эти крики, как будто юные голоса скорбели о том, что в безответственных руках их владельцев сосредоточено столько зла и так мало блага. И по улицам беспомощного города раздавались возвещающие миру новейшие постановления богов выкрикивания газетчиков — Трубный Глас Прессы.

Вудс швырнул лакею десять центов и сказал:

— Достаньте мне «Утренний Марс».

Когда принесли газету, он взглянул на первую страницу, затем вырвал листок из записной книжки и начал писать на нем золотым карандашиком.

— Какие новости? — зевая, спросил Кернан.

Вудс перебрал ему через стол записку. На ней было написано:

«В Контору газеты «Утренний Марс».

Прошу уплатить за поимку Джона Кернана одну тысячу долларов, т. е. сумму награды, причитающейся мне за его арест и изобличение.

Бернард Вудс».

— Я так и думал, что они это сделают, объявят награду, — сказал Вудс, — когда ты там разносил их по телефону. Ну, Джонни, а теперь ты отправишься со мной в полицию.

Похищение Медоры

Перевод Н. Дарузес

Мисс Медора Мартин прибыла с ящиком красок и мольбертом в Нью-Йорк из поселка Гармония, что лежит у подножия Зеленых гор.

Мисс Медора походила на осеннюю розу, которую пощадил первые заморозки, не пощадившие других ее сестер. В поселке Гармония, когда мисс Медора уехала в развратный Вавилон учиться живописи, про нее говорили, что она сумасбродная, отчаянная, своевольная девушка. В Нью-Йорке, когда она впервые появилась за столом дешевого пансиона в Вест-Сайде, жильцы спрашивали друг друга:

— Кто эта симпатичная старая дева?

Собравшись с духом и сообразуясь со средствами, Медора сняла дешевую комнату и стала брать два урока живописи в неделю у профессора Анджелини, бывшего парикмахера, изучившего свою профессию в одном из гарлемских танцклассов. Некому было сказать ей, что она делает глупости, ибо всех нас в этом большом городе постигает та же участь. Скольких из нас плохо бредут и неправильно обучают тустепу бывшие ученики Бастьена Лепажы и Жерома! Самое грустное зрелище в Нью-Йорке — если не считать поведения толпы в часы пик — это унылое шествие бездарных рабов Посредственности. Им искусство является не благосклонной богиней, а Цирцеей, которая обращает своих поклонников в уличных котов, мяукающих у нее под дверьми, невзирая на летящие в них камни и сапожные колодки критиков. Некоторые ползком добираются до родного захолустья, где их угощают снятым молоком изречения:

«Говорили мы вам», — большинство же остается мерзнуть во дворе храма нашей богини, питаюсь крошками с ее божественного табльдота. Но кой-кому под конец надоедает это бесплодное служение. И тогда перед нами открываются два пути. Мы можем либо наняться к какому-нибудь лавочнику и развозить в фургоне бакалею, либо окунуться в водоворот богемы. Последнее звучит красивее, зато первое гораздо выгоднее. Ибо, когда бакалейщик заплатит нам за работу, мы можем взять напрокат фрак и — штампованный юмор тут больше к месту — показать богеме, где раки зимуют.

Мисс Медора избрала водоворот и тем самым дала нам сюжет для этого маленького рассказа.

Профессор Анджелини очень хвалил ее этюды. Однажды, когда она показала ему эскиз каштана в парке, он объявил, что из нее выйдет вторая Роза Бонер. Но иногда (всем великим художникам свойственны капризы) он резко и беспощадно критиковал ее работы. Например, в один прекрасный день Медора тщательно скопировала статую на площади Колумба и ее архитектурное окружение. Профессор, иронически улыбаясь, отшвырнул набросок и сообщил ей, что Джотто однажды начертил идеальную окружность одним движением руки.

Как-то раз шел дождик, денежный перевод из Гармонии запоздал, у Медоры болела голова, профессор попросил у нее займы два доллара, из художественного магазина вернули непроданными все ее акварели, и... мистер Бинкли пригласил ее поужинать.

Мистер Бинкли был присяжный весельчак пансиона. Ему уже стукнуло сорок девять, и весь день он сидел в своей рыбной лавке на одном из центральных рынков города. Но после шести часов вечера он надевал фрак и разглагольствовал об Искусстве. Молодые люди звали его пролазой. Считалось, что в самом избранном кругу богемы он свой человек. Ни для кого не было тайной, что он как-то дал десять долларов займы одному юноше, подававшему надежды и даже поместившему какой-то рисунок в «Пэке». Вот таким-то образом некоторые получают доступ в заколдованный круг, а другие — сытный ужин.

Остальные жильцы с завистью смотрели на Медору, когда она в девять часов вечера выходила из пансиона под руку с мистером Бинкли. Она была прелестна, как букет осенних листьев, в своей бледно-голубой блузке из... э-э... ну, знаете, такая воздушная ткань, и плиссированной вуалевой юбке, с румянцем на худых щеках, чуть тронутых розовой пудрой, с платочком и ключом от комнаты в шагреновой коричневой сумке.

И мистер Бинкли, краснолицый и седоусый, выглядел очень внушительно и эффектно в узком фраке, с жирной складкой на шее, точно у знаменитого романиста.

Свернув за угол с ярко освещенного Бродвея, они подъехали к кафе Теренс, самому популярному среди богемы кабачку, куда доступ открыт только избранным.

Медора с Зеленых гор шла за своим спутником между рядами маленьких столиков.

Три раза в жизни женщина ступает словно по облакам и ног под собой не чувствует от радости: первый раз, когда она идет под венец, второй раз, когда она входит в святилище богемы, и третий раз, когда она выходит из своего огорода с убитой соседской курицей в руках.

За накрытым столом сидели трое или четверо посетителей. Официант летал вокруг, как пчела, на скатерти сверкали хрусталь и серебро. Как прелюдия к ужину, подобный доисторическим гранитным пластам, предшествующим появлению простейших организмов, зубам многострадальных горожан был предложен французский хлеб, изготовленный по тем же рецептам, что и вековые гранитные глыбы, — и боги улыбались, вкушая нектар с домашними булочками, а зубные врачи плясали от радости под сенью своих блистающих золотом вывесок.

Взор Бинкли, устремленный на одного из молодых людей, блеснул особым блеском, свойственным представителю богемы, — в этом взоре сочетались взгляд василиска, сверкание пузырьков в бокалах с пивом, вдохновение художника и назойливость попрошайки. Молодой человек вскочил с места.

— Здорово, старина Бинкли! — крикнул он. — И не думайте проходить мимо нашего стола. Садитесь с нами, если вы не ужинаете в другой компании.

— Ну что ж, дружище, — сказал Бинкли, владелец рыбной лавки. — Вы же знаете, я люблю толкаться среди богемы. Мистер Вандейк, мистер Маддер... э-э... мисс Мартин, тоже любимица муз... э-э...

Присутствующие быстро перезнакомились. Тут были еще мисс Элиза и мисс Гуанетта — скорее всего, натурщицы, — они болтали о Генри Джеймсе и Сен-Режи, и это получалось у них неплохо.

Медора была в упоении. Голова у нее кружилась от музыки, исступленной, опьяняющей музыки трубадуров, восседавших где-то в задних комнатах Элизиума. Это был мир, доселе недоступный ни ее буйному воображению, ни железным дорогам, контролируемым Гарриманом. Она сидела, спокойная по внешности, как и подобает уроженке Зеленых гор, но ее душа была охвачена знойным пламенем Андалузии. За столиками сидела богема. В воздухе веяло ароматом цветов и цветной капусты. Звенели смех и серебро, дамам предлагали руку и сердце, вино и фрукты; в бокалах искрилось шампанское, в беседах — остроумие.

Вандейк взъерошил свои длинные черные кудри, сдернул на сторону небрежно повязанный галстук и наклонился к Маддеру.

— Послушай, Мадди, — прошептал он с чувством, — иногда мне хочется вернуть этому филистеру десять долларов и послать его к черту.

Маддер взъерошил мочального цвета гриву и сдернул на сторону небрежно повязанный галстук.

— И думать не смей, Ванди, — ответил он. — Деньги уходят, а Искусство остается.

Медора ела необыкновенные кушанья и пила вино, которое стояло перед ней в стакане. Оно было того же цвета, что и дома в Вермонте. Официант налил в другой бокал чего-то кипящего, что оказалось холодным на вкус. Никогда еще у нее не было так легко на сердце.

Оркестр играл грустный вальс, знакомый Медоре по шарманкам. Она кивала в такт головой, напевая мотив слабеньким сопрано. Маддер посмотрел на нее через стол, удивляясь, в каких морях выудил ее Бинкли. Она улыбнулась ему, и оба они подняли бокалы с вином, которое кипело в холодном состоянии.

Бинкли оставил в покое искусство и болтал теперь о небывалом ходе сельди. Мисс Элиза поправляла булавку в виде палитры в галстук мистера Вандейка. Какой-то филистер за дальним столиком плел что-то такое, не то о Жероме, не то о Джероме. Знаменитая актриса взволнованно говорила о модных чулках с монограммами. Продавец из чулочного отделения универсального магазина во всеуслышание разглагольствовал о драме. Писатель ругал Диккенса. За особым столиком редактор журнала и фотограф пили сухое вино. Пышная молодая особа говорила известному скульптору:

— Подите вы с вашими греками! Пускай ваша Венера Милицейская поступит в манекены к Когену, через месяц на нее только плащи и можно будет примерять! Всех этих ваших греков и римов надо опять закопать в раскопки!

Так развлекалась богема.

В одиннадцать часов мистер Бинкли отвез Медору в пансион и, галантно раскланявшись, покинул ее у подножия парадной лестницы. Она поднялась к себе в комнату и зажгла газ.

И тут, так же внезапно, как страшный джин из медного кувшина, в комнате возник грозный призрак пуританской совести. Ужасный поступок Медоры встал перед нею во весь свой гигантский рост. Она воистину «была с нечестивыми и смотрела на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше».

Ровно в полночь она написала следующее письмо:

«М-ру Бирия Хоскинсу,

Гармония, Вермонт.

Милостивый государь!

Отныне я умерла для вас навеки. Я слишком сильно любила вас, чтобы загубить вашу жизнь, соединив ее с моей, запятнанной грехом и преступлением. Я не устояла против соблазнов этого греховного мира и погрязла в водовороте Богемы. Нет той бездны вопиющего

порока, которую я не изведала бы до дна. Борьба против моего решения бесполезна. Я пала так глубоко, что подняться уже невозможно. Постарайтесь забыть меня. Я затерялась навсегда в дебрях прекрасной, но греховной Богемы. Прощайте.

Когда-то ваша
Медора».

Наутро Медора обдумала свое решение. Люцифер, низринутый с небес, чувствовал себя не более отверженным. Между нею и цветущими яблонями Гармонии зияла пропасть. Огненный херувим отгонял ее от врат потерянного рая. В один вечер, с помощью Бинкли и Мумма,⁶⁵ ее поглотила пучина богемы.

Оставалось только одно: вести блестящую, но порочную жизнь. К священным рощам Вермонта она никогда больше не посмеет приблизиться. Но она не погрузится в неизвестность — есть в истории громкие, влекущие к себе имена, их-то она и избрет в образцы для себя. Камилла, Лола Монтез, Мария Стюарт, Заза⁶⁶ — таким же громким именем станет для грядущих поколений имя Медоры Мартин.

Два дня Медора не выходила из комнаты. На третий день она развернула какой-то журнал и, увидев портрет бельгийского короля, презрительно захохотала. Если этот знаменитый покоритель женских сердец встретится на ее пути, он должен будет склониться перед ее холодной и гордой красотой. Она не станет щадить ни стариков, ни молодых. Вся Америка, вся Европа окажется во власти ее мрачных, но неотразимых чар.

Пока еще ей тяжело было думать о той жизни, к которой она когда-то стремилась, — о мирной жизни под сенью Зеленых гор, рука об руку с Хоскинсом, о тысячных заказах на картины, приходящих с каждой почтой из Нью-Йорка.

Ее роковая ошибка разбила эту мечту.

На четвертый день Медора напудрилась и подкрасила губы. Один раз она видела знаменитую Картер в роли Заза. Она стала перед зеркалом в небрежную позу и воскликнула: «Zut! zut!» У нее это слово рифмовало с «зуд», но как только она произнесла его, Гармония отлетела от нее навсегда. Водоворот богемы поглотил ее. Теперь ей нет возврата. И никогда Хоскинс...

Дверь открылась, и Хоскинс вошел в комнату.

— Дори, — сказал он, — для чего это ты испачкала лицо мелом и красной краской?

Медора протянула вперед руку.

— Слишком поздно, — торжественно произнесла она. — Жребий брошен. Отныне я принадлежу иному миру. Проклинайте меня, если угодно, это ваше право. Оставьте меня, дайте мне идти той дорогой, которую я избрала. Пускай родные не произносят более моего имени. Молитесь за меня иногда, пока я буду кружиться в вихре веселья и жить блестящей, но пустой жизнью богемы.

— Возьми полотенце, Дори, — сказал Хоскинс, — и вытри лицо. Я выехал, как только получил твое письмо. Эта твоя живопись ни к чему хорошему не ведет. Я купил нам с тобой обратные билеты на вечерний поезд. Скорей укладывай свои вещи в чемодан.

— Мне не под силу бороться с судьбой, Бирия. Уходи, пока я не изнемогла в борьбе с нею.

— Как складывается этот мольберт, Дори? Да собирай же вещи, надо еще успеть пообедать до поезда. Листья на кленах уже совсем распустились, Дори, вот посмотришь.

— Неужели распустились, Бирия?

— Сама увидишь, Дори! Утром, при солнце, это прямо зеленое море.

⁶⁵ Марка шампанского.

⁶⁶ Камилла — героиня английского варианта «Дамы с камелиями»; Лола Монтез — фаворитка баварского короля Людовика I; Заза — героиня одноименной пьесы Бертона, актриса и куртизанка.

— Ах, Бирия!
В вагоне она вдруг сказала ему:
— Удивляюсь, почему ты все-таки приехал, если получил мое письмо?
— Ну, это-то пустяки! — сказал Бирия. — Где тебе меня провести. Как ты могла уехать в эту самую Богемию, когда на письме стоял штемпель «Нью-Йорк»?

Повар

Перевод В. Азова

Джордж Вашингтон с поднятой правой рукой сидит на своем железном коне на площади Юнион-сквер и все время сигнализирует трамваям с Бродвея, огибающим угол Четырнадцатой улицы, — остановиться. Но трамваи проезжают мимо, обращая на вытянутую руку генерала столь же мало внимания, как на знаки, делаемые им частными гражданами. Если нервы у него не железные, великий полководец должен болезненно ощущать, как быстро *transit* мимо него *gloria mundi*.

Если бы Вашингтон поднял свою левую руку так же, как он поднял правую, он указывал бы ею на квартал Нью-Йорка, в котором находят себе приют и пищу униженные и оскорбленные выходцы из чужих стран. Эти люди добивались национальной или личной свободы, и здесь они нашли убежище. А великий патриот, который создал для них это убежище, сидит на своем коне и обзирает приютивший их квартал, прислушиваясь левым ухом к опереткам, в которых потомство его протеже предается осмеянию. Италия, Польша, бывшие испанские владения и многоязычные племена Австро-Венгрии выплеснули сюда толстый слой своих мятущихся сынов. В эксцентрических кафе и меблированных домах в этом квартале они сидят над своими родными винами и обсуждают свои политические тайны. В колонии часто происходят перемены. Одни люди исчезают и заменяются другими. Куда улетаются эти беспокойные птицы?

Половину ответа вы извлечете из наблюдения над официантом-иностранцем, с чужеземным сладким видом и с чужеземной вежливостью прислуживающим вам за табльдотом. Вторую половину ответа вам могли бы сообщить парикмахерские, если бы у них были языки. А разве у них нет? Титулы встречаются у этих непоседливых изгнанников так же часто, как кольца. Из-за плохой постановки дела партия титулов, достаточная для того, чтобы удовлетворить потребностям всей Пятой авеню, вынуждена продаваться здесь с уличных лотков. Квартирные хозяйки Нового Света, у которых находят себе приют эти отпрыски аристократии, не очень-то ослепляются коронами и гербами. Они не торгуют дочерьми.

Этих прелиминариев достаточно, пожалуй, для введения в рассказ, действующие лица которого — определенные плебеи, без малейшего налета аристократизма.

Мать Кэти Дэмпси содержала в этом оазисе для чужестранцев меблированные комнаты. Дело это было невыгодное. Если им удавалось не ударить в грязь лицом перед домовладельцем — это испытание повторялось каждую неделю — и обеспечить себе каждый день ингредиенты, необходимые для изготовления рагу по-ирландски, мать и дочь почитали себя счастливыми. Но очень часто в рагу не хватало мяса и картофеля. Иногда оно было несколько не лучше бульона с музыкой в ресторане.

В этом старом доме Кэти выросла — толстая, пышная, здоровая и такая красивая и веснушчатая, как тигровая лилия. Это она была той доброй феей, которая развешивала по комнатам жильцов еще сырые от стирки чистые полотенца и расставляла треснувшие кувшины с водой.

Звездой меблированных комнат миссис Дэмпси был мистер Брунелли. Он носил желтый галстук и аккуратно платил за комнату, что отличало его от прочих жильцов. Одевался он великолепно, цвет лица у него был оливковый, усы у него были свирепые, манеры у него были актерские, а кольца и булавки для галстука умопомрачительнее, чем у зубного врача.

Он кушал утренний завтрак у себя в комнате и надевал для этого красный халат с зелеными кисточками. Он выходил из дому в полдень и возвращался в полночь. Это были таинственные часы, но в жильцах миссис Дэмпси не было ничего таинственного, кроме того, что не было таинственно.

Мистер Брунелли, будучи человеком чувствительным и притом латинской расы, скоро начал спрягать с Кэти глагол «amare», прибегая преимущественно к настоящему времени и к действительному залогу. Кэти решила поговорить по этому поводу с матерью.

— Конечно, он мне нравится, — сказала Кэти. — В нем одном больше деликатности, чем в двадцати кандидатах в городские гласные, и я чувствую себя королевой, когда иду рядом с ним. Но кто он — я не знаю. У меня есть подозрение. В один прекрасный день он окажется бароном — и прощай квартирная плата.

— Это верно, — соглашалась миссис Дэмпси, — что он какой-то подозрительный аристократ; уж больно он образованно говорит для настоящего джентльмена. Но, может быть, ты ошибаешься на его счет? Ты никогда не должна подозревать в благородном происхождении человека, который платит наличными.

— У него такие же повадки и в разговоре, и во всей жестикуляции, — вздохнула Кэти, — как у того французского аристократа, который снимал комнату у миссис Тул. Помнишь, он сбежал с праздничными штанами мистера Тула и оставил в обеспечение не уплаченной им за два с половиной месяца квартирной платы только фотографию Бастилии, родового замка своего дедушки?

Мистер Брунелли продолжал ухаживать за Кэти и расточать калории своей влюбленности. Кэти продолжала колебаться. В один прекрасный день он пригласил ее отобедать с ним в ресторане, и она почувствовала, что развязка приближается. Пока они едут в ресторан — Кэти в своем лучшем муслиновом платье — вы должны воспользоваться антрактом и кинуть взгляд на нью-йоркскую богему.

Ресторан Тонио в Богемии. Точный адрес его — секрет. Если вы хотите знать, где он помещается, спросите первого встречного. Он вам скажет — шепотом. Тонио идет вразрез с модой; фасад его темный и неприветливый; обед у него довольно скверный; он закрывается как раз в обеденные часы. Но он готовит макароны с таким мастерством, с каким в пансионе готовят холодную телятину, и он положил немало долларов на свой текущий счет в Banco di... di что-то такое с множеством гласных, выведенных золотом по стеклу.

В этот ресторан мистер Брунелли повел Кэти. В окнах было темно, и шторы были опущены; но мистер Брунелли нажал кнопку электрического звонка — и их впустили.

Они прошли через длинный, узкий коридор в светлую и безупречно чистую кухню, прошли ее насквозь и очутились на заднем дворе.

Стены соседних домов ограничивали три стороны двора, а высокий дощатый забор с усевшимся на нем котом — четвертую.

На высоко подвешенных веревках сушилось белье. Это было бутафорское белье.

Десятка полтора маленьких столиков, стоявших на голой земле, были заняты меценатами богемы. Они стремились сюда потому, что Тонио делал вид, что не интересуется ими, и прикидывался, будто даст им хороший обед. Было здесь и несколько представителей настоящей богемы, явившихся сюда, чтобы освежиться, потому что им надоела настоящая богема.

Мистер Брунелли усадил Кэти за маленький столик, отгороженный растениями в кадках, и попросил Кэти извинить его: ему нужно на минуту удалиться.

Кэти сидела, очарованная зрелищем, которое показалось ей пленительным. Светские дамы в великолепных платьях, в шляпах с перьями и сверкающими кольцами на пальцах; изящные джентльмены, которые так громко смеялись; крики: «Гарсон» и «Вуй, монсью»; оживленная болтовня, дым от папирос, обмен улыбками и взглядами — все это оживление и великолепие ошеломили дочь миссис Дэмпси и лишили ее способности двигаться.

Мистер Брунелли вышел на середину двора и покрыл всю компанию своими улыбками и поклонами. За всеми столиками хлопали в ладоши. Некоторые кричали: «браво», другие:

«Тонио, Тонио!» Дамы махали ему салфетками, мужчины выворачивали себе шеи, чтобы поймать его поклон.

Когда овации кончились, мистер Брунелли, сделав заключительный поклон, проворно вошел в кухню и скинул с себя пиджак и жилет.

Флагерти, проворнейший «гарсон» среди лакеев, был специально приставлен к столику, который занимала Кэти. Ей было немножко не по себе от голода, ибо рагу по-ирландски в этот день вышло у них дома особенно жидким. Пленительность неведомых блюд чаровала ее. И Флагерти начал приносить ей блюдо за блюдом, божественнейшие из амброзий.

Но даже посреди этого лукулловского пиршества Кэти отложила ножик и вилку. Сердце ее словно налилось свинцом, и слеза упала на ее филе. Неотвязные подозрения насчет их лучшего жильца возникли у нее опять, учетверенные. Кто же мог быть этот Брунелли, кумир этого фешенебельного и шикарного общества, за которым все так ухаживали, которым все восхищались, которому все посылали улыбки? Только один из этих блестящих титулованных патрициев, славных родом, но не любящих платить за квартиру. С сознанием, что он не годится ей в мужья, у нее сочеталось теперь сознание, что его личность становится ей день ото дня милее. И зачем он оставил ее обедать одну?

Но вот он подошел опять, без пиджака теперь, с белоснежными рукавичками сорочки, закатанными выше локтей, в белой шапочке на своих курчавых волосах.

— Тонио! Тонио! — закричало несколько голосов. — Макароны, макароны! — закричали остальные.

С одними Тонио выпивал стакан вина, с другими обменивался улыбками. Шутки и веселые реплики так и сыпались. Право, не всякий монарх сумел бы быть таким приятным хозяином! А какой художник мог бы пожелать себе большего признания? Но Кэти не знала, что для светского ньюйоркца нет большей чести, как обменяться рукопожатиями с хозяином итальянского ресторанчика или уловить снисходительный кивок со стороны метрдотеля большого ресторана на Бродвее.

Мало-помалу публика разошлась. Осталось несколько парочек и одна компания, засидевшаяся за молодым вином и старыми анекдотами. Брунелли подошел к уединенному столику, за которым сидела Кэти, и придвинул себе стул.

Кэти мечтательно улыбнулась ему. Она только что проглотила последнюю корочку малинового торта с красным бургундским соусом.

— Вы видели! — сказал мистер Брунелли, положив руку на грудь. — Я Антонио Брунелли! Да! Я — великий «Тонио»! Вы не подозревали этого? Я люблю вас, Кэти, и вы должны выйти за меня замуж. Правда? Скажите мне: «Антонио мио, да!»

Голова Кэти опустилась на плечо повара. О, с этого плеча были сняты теперь все подозрения: посвящающий в рыцарство меч не коснулся его!

— О, Анди, — вздохнула она. — Это так чудесно! Конечно, я выйду за вас. Но почему вы не сказали мне, что вы повар? Я чуть было не подумала, что вы один из этих заграничных графов или баронов!

Кто чем может

Перевод Н. Жуковской

Вьюинг вышел из клуба с проклятиями, не очень, впрочем, жестокими. Он там отчаянно проскучал с девяти до одиннадцати утра. Кид надоел ему своими рыболовными историями, Брук хвастал своими сигарами из Порто-Рико, Моррисон изводил своими анекдотами про вдовушку, Хинберн был нестерпим со своими рассказами о том, как он всех обыгрывает на бильярде, и при этом вся эта нудная, непрерывная болтовня шла в одном и том же помещении, без какой-либо перемены декораций. К довершению же всех этих сегодняшних неприятных впечатлений, вчера вечером мисс Эллисон опять отказала ему. Последняя неприятность,

впрочем, носила уже хронический характер. Вот уже пятый раз, как она, в ответ на его предложение сделать ее миссис Вьюинг, раздражается громким хохотом.

В среду вечером он будет снова просить ее руки.

Вьюинг прошел по Сорок четвертой улице на Бродвей, а затем поплыл вниз по течению, которое смывает пыль золотых залежей Готхэма. На нем был светло-серый утренний костюм, низенькие, со срезанными носками, кожаные ботинки, простая, но из тонкоплетеной соломки шляпа, а все видимое белье на нем было нежно-гелиотропового цвета; галстук у него был цвета ноябрьского неба, серо-голубой, и завязан он был и с аристократической небрежностью, и по самому последнему крику моды.

В это утро даже шум и грохот Бродвея был Вьюингу неприятен и на несколько нудных минут, как во сне, перенес его на одну из шумных, знойных, кипучих, вонючих улиц Марокко. Ему чудились своры грызущихся собак, нищие, факиры, рабы с колясками, женщины с закрытыми лицами в колясочках без лошади, палящие яркие лучи солнца, тут и там освещающие базары, груды мусора на улице от разрушенных храмов, — тут проходившая мимо дама задела его спицей своего зонтика и вернула его на Бродвей.

Он прошел еще минут пять и очутился на углу, где стояли несколько молчаливых мрачных фигур. Эти фигуры привыкли стоять на этом углу часами; они стоят и вертят в руках лезвие своего ножа или оправляют спущенные до ресниц поля своей шляпы. Спекулянты с Уолл-стрит, возвращаясь домой в своих экипажах, любят указывать на них какому-нибудь непосвященному гостю и объяснять, что это известное место для так называемых «темных людей». Спекулянты с Уолл-стрит услугами их острого ножа, впрочем, не пользуются никогда.

То, что одна из этих «темных» фигур, когда он проходил мимо, выступила вперед и заговорила с ним, привело Вьюинга в восторг. Он так жаждал чего-нибудь необыкновенного, быть же аккостированным⁶⁷ одним из этих гладколицых, остроглазых представителей подонков общества, быть аккостированным, правда, с довольно жуткой, но все же любезной улыбкой, для Вьюинга, утомленного скучной условностью жизни своего круга, представлялось уже чем-то вроде приключения.

— Простите, мистер, — сказал ему этот человек, — можете вы мне сейчас уделить несколько минут? Мне надо поговорить с вами.

— Конечно, — улыбаясь сказал Вьюинг, — только не лучше ли нам избрать для этого другое, более спокойное место? Тут поблизости есть кафе. Шрумм даст нам столик в уединенном уголке.

Шрумм усадил их под пальмой и поставил им на стол две кружки пива.

Чтобы завязать разговор, Вьюинг сказал несколько слов о погоде.

— Прежде всего, — сказал новый приятель Вьюинга с видом посла, вручающего свои верительные грамоты,⁶⁸ — я хочу, чтобы вы знали, что имеете дело с уголовным преступником. У нас на Западе я известен под кличкой «Роуди Тряпичник», карманный вор, боксер, шулер, какие угодно кражи со взломом, одним словом, на все руки. Я рассказываю вам все это, потому что с вами я веду дело начистоту. Моя фамилия Эмерсон.

«К черту Кида с его рыболовными историями! Вот это будет куда поинтереснее», — с торжеством подумал Вьюинг, отыскивая в кармане визитную карточку.

— Произносится «Вьюинг», — сказал он, передавая карточку Эмерсону. — Я тоже своего рода мошенник, так как живу не на свои, а на чужие, на папашины капиталы. В клубе мне дали прозвище «До востребования». За всю свою жизнь я не проработал ни одного дня, и у меня не хватает духу переехать на автомобиле курицу. Как видите, формуляр довольно

⁶⁷ Французское слово, означающее то, что человек подошел и заговорил.

⁶⁸ По приезде в иностранное государство, куда он назначен послом, посол вручает верительные грамоты правительству.

жалкий.

— Но есть одна вещь, которую вы делаете в совершенстве, — вы прекрасно носите платье. Я вас много раз наблюдал на Бродвей. Человека, который носил бы платье так, как вы, я не видал! — восторженно сказал Эмерсон. — Вот на мне, пари держу хоть на золотые прииски, долларов на пятьдесят больше всякой всячины надето, чем на вас. Вот по этому-то поводу я и хотел бы с вами поговорить. Не могу добиться, в чем тут дело. Взгляните на меня. Что тут на мне неладно?

— Встаньте, — сказал Вьюинг.

Эмерсон вскочил и стал медленно поворачиваться.

— Вас, что называется, «одели», — изрек Вьюинг. — Вероятно, один из тех портных, что выставляют свои модели в витринах на Бродвей воспользовался вашим в этом деле невежеством, и с выгодой для себя. Во всяком случае, это костюм дорогой, Эмерсон.

— Сто долларов, — сказал Эмерсон.

— Ну, с вас взяли двадцать лишних, — сказал Вьюинг. — Потому что в смысле моды он отстал на шесть месяцев, он на дюйм длиннее, чем полагается, и на полдюйма шире. Шляпа у вас прошлогоднего фасона, но выдает это только то, что ее поля на одну шестнадцатую дюйма уже, чем носят в этом сезоне. Отворот вашего английского воротничка недопустимо узок. Простые, золотые с цепочкой запонки с успехом бы заменили слишком богатые жемчуга в бриллиантах на ваших манжетах. Ваши желтые ботинки могли бы прельстить только отдыхающую на лоне природы учительницу-провинциалку. Мне показалось, что, когда вы неподобающим образом вздернули вашу штанину, из-под нее выглянул голубой шелковый, вышитый кирпично-красными ландышами носок? Во всех магазинах можно получить носки более простого образца. Я надеюсь, что не обижаю вас своими замечаниями, Эмерсон?

— Пожалуйста, удвойте порцию! — жадно выкрикнул объект критики Вьюинга. — Продолжайте в том же духе! Ясно, что имеется особый прием таскать на себе всю эту галиматью, и я должен себе этот прием усвоить. Я уж вижу, что вы для меня в этом смысле самый подходящий человек. Ну-с, что еще на мне тут не в порядке?

— Ваш галстук, — сказал Вьюинг. — Он завязан невероятно аккуратно.

— Очень признателен за похвалу, но это неудивительно, потому что я потратил добрый час на то, чтобы...

— Стать похожим на куклу в витрине готового платья, — закончил его фразу Вьюинг.

— Ваш до гроба, — садясь на свое место, сказал Эмерсон. — С вашей стороны прямо шикарно то, что вы взялись обучать меня всей этой премудрости! Я чувствовал, что у меня что-то по этой части неладно, а в чем дело, никак не мог додуматься. Знаете, мне кажется, что меньше носить платье дается от рождения.

— Возможно, — засмеялся Вьюинг. — Мои предки, вероятно, обрели этот дар еще тогда, двести лет назад, когда ходили из дома в дом и торговали старым платьем. Мне рассказывали, что они занимались именно этим делом.

— А мои, верно, оттого не могли усвоить себе красивую манеру носить платье, что в богатые дома попадали только ночью, — сказал Эмерсон.

— Вот что, — сказал Вьюинг, от скуки которого не осталось и следа. — Я вас сейчас отведу к моему портному, и он, если, конечно, вы согласны понести еще кое-какие расходы, сотрет с вас эту определенную печать.

— Идет! — расплываясь в улыбке, с ребячливой восторженностью сказал Эмерсон. — У меня достаточный запас текучей монеты. Вам-то я могу сказать, что не проводил время с чуждым мне элементом, когда был взломан в одну безлунную ночь сейф Фермерского Национального банка в Беттервиле и оттуда было выужено шестнадцать тысяч долларов.

— А вы не бойтесь, что я сейчас позову полисмена и сдам ему вас?

— А если вы меня спросите, почему я не берегу деньги? — спокойно сказал Эмерсон и, вместо ответа на этот вопрос, положил на стол записную книжку и фамильные золотые часы Вьюинга.

— Вот человек! — восторженно воскликнул Вьюинг. — Послушайте, слышали вы,

когда-нибудь, как Кид рассказывает историю о шестифунтовой форели и старом рыбаке?

— Как будто нет, — сказал Эмерсон и из вежливости прибавил: — Очень интересно было бы послушать.

— Неинтересно и не услышите, потому что я эту историю слышал тысячу раз и потому еще вам ее рассказывать не стану. Я только к тому это сказал, что подумал, что насколько с вами интереснее, чем там у нас в клубе. Ну-с, а теперь идем к портному?

* * *

— Ну-с, дети мои, — говорил Вьюинг дней пять спустя окружавшей его компании приятелей, стоя у окна в своем клубе. Он передохнул и заявил: — Сегодня вечером с нами будет обедать один мой приехавший с Запада друг.

— Будет он приставать с расспросами о политических делах? — заерзав в кресле, спросил один из членов клуба из компании Вьюинга.

— Будет вести разговор о новой масонской ложе? — скинув пенсне, спросил другой.

— Будет рассказывать небылицы о том, как на Миссисипи ловят рыбу, нацепив на крючок годовалого теленка в виде приманки? — задорно спросил Кид.

— Успокойтесь, никакими такими пороками он не страдает. Он грабитель, вор, взламывающий сейфы, и мой большой приятель.

— Что это за человек, этот Вьюинг! — закричали все. — Он не может не острить даже по самому пустячному поводу!

В тот же день вечером, в восемь часов, по правую руку Вьюинга за столом в клубе сидел спокойный, гладколицый, элегантный, любезный молодой человек. Когда кто-нибудь из присутствующих, ничего, кроме городских улиц, не выдавших молодых людей говорил о небоскребах и о маленьком царе на ледяном троне, или о каких-то рыбешках, которые они выуживают из речонок, даже на карте не отмеченных, этот безукоризненно одетый, большой человек с осанкой императора принимал участие в этой болтовне лилипутов одним движением своих ресниц.

Потом он заговорил сам. Сильными, яркими штрихами нарисовал он чудесную панораму Запада.

Он водружал на стол снеговые вершины, от которых стыли забытые горячие кушанья. Одним движением руки он превратил зал клуба в заросшее соснами дикое ущелье, в котором лакеи сновали в качестве милиции, обедающие же чувствовали себя преследуемыми и скрывающимися от этой милиции злоумышленниками; им казалось, что и в самом деле они карабкаются, раздирая в кровь руки, по окровавленным скалам и кровь у них стынет в жилах от ужаса. Чуть касаясь стола, он указывал на потоки текущей лавы, и все смотрели, затаив дыхание; у всех пересыхало во рту, когда он рассказывал о безводных пустынях, где нет ни пищи, ни питья. Машинально сверля зубцом своей вилки скатерть, он так же просто, как Гомер в своих песнях, в рассказе своем раскрывал этим людям целый новый для них мир так, как детям он раскрывается в «Сказке о Волшебном Зеркале».

Он рассказывал об опустошениях, которые производили «краснокожие» в городах на окраинах, и работающих арканами «Сорока пяти» так же просто, как слушатели его привыкли рассказывать о том, что на одном из «afternoon tea»⁶⁹ где-нибудь на Медисон-сквере подали слишком крепкий чай.

Одним взмахом своей белой, без колец, руки он сбросил с пьедестала Мельпомену и поставил на ее место перед глазами слушателей других богинь — Диану и Амарилис.

Перед ними расстилались саванны. Ветер завывал в зарослях, заглушая отрывистые

⁶⁹ Точный перевод — «чай после полудня»; обычно около 5 ч вечера принято в Англии и в Америке пить чай, к которому собираются гости.

звуки шумящего под окнами города. Он говорил им о биваках, о фермах, утопающих в цветах душистых прерий, о том, как можно там, тихой ночью, носиться на таком коне, за которого сам Аполлон отдал бы своих бессмертных коней; он дал эпическую картину жизни скота и холмов, которых еще не коснулась рука человека, девственной природы, которую не изуродовал еще этот царь земли. Словами своими он показал слушателям, как в телескопе, Иенгстаун, который на их языке называется «Запад».

Фактически весь интерес в этот вечер сосредоточен был на Эмерсоне, под чарами рассказов которого остались все.

* * *

На другое утро, в десять, Эмерсон с Вьюингом, как это было у них условлено, встретились в кафе на Сорок второй улице.

Эмерсон должен был в этот же день уехать на Запад.

На нем был темный шевиотовый костюм, который, казалось, был задрапирован древнегреческим, опередившим моду своего времени на несколько тысяч лет портным.

— Мистер Вьюинг, — сказал он, улыбаясь ясной улыбкой человека, довольного своим профессиональным успехом, — я ваш неоплатный должник, и потому в любое время готов сделать для вас все, что только могу. Вы настоящий человек, и поэтому, если я когда-либо буду иметь случай отплатить вам за то, что вы для меня сделали, можете собственной своей головой поклясться, что я для вас это сделаю.

— Как звали этого, который ловил дикую лошадь за морду и гриву, опрокидывал и потом уж надевал уздечку? — спросил Вьюинг.

— Бэтс, — сказал Эмерсон.

— Благодарю вас, мне казалось, Иэтс. Да, а как насчет костюмов?.. Я уж и забыл.

— Давно, много лет искал я себе в этом деле лидера, — сказал Эмерсон, — и вот в вас наконец, нашел самый настоящий товар, и без пошрины и на полдороге от торгового дома.

— Перед поджаренной на углях, подвешенной к ветке зеленой вербы грудинкой бледнеет вареный омар, — сказал Вьюинг. — Так вы говорите, что лошадь не может вытащить из мокрых прерий, на веревке в тридцать футов, десятидюймовый столбик? Ну-с, что ж делать, раз уж вам надо ехать, дружище, то до свиданья.

В час дня Вьюинг, как это было у них условлено, завтракал с мисс Элисон.

По крайней мере, с полчаса он непрерывно, как полоумный, тараторил, рассказывая ей о фермах, лошадях, циклонах, Скалистых горах, о ветчине с горохом, о патрулях и ружьях особого образца. Она с удивлением смотрела на него полными ужаса глазами.

— Я хотел сегодня еще раз просить вашей руки, — весело сказал он, наконец, — но не буду. Я вам с этим достаточно надоедал. Знаете что? У папеньки моего есть ферма в Колорадо. Что мне, собственно, здесь делать? Срывать цветы удовольствий? Вот там — там настоящая жизнь! Я думаю ехать в ближайший вторник.

— Нет, вы не уедете, — сказала мисс Элисон.

— Что? — сказал Вьюинг.

— Не уедете один, я хочу сказать, — и мисс Эллисон уронила слезу в салат. — Что вы об этом думаете?

— Бетти! — воскликнул Вьюинг. — Что вы хотите этим сказать?

— Что я поеду с вами, — делая над собой усилие, проговорила мисс Эллисон.

Вьюинг наполнил стакан аполинарисом.

— За здоровье Роуди Тряпичника! — произнес он таинственный тост.

— Я с ним не знакома, — сказала мисс Элисон, — но, если он ваш друг, Джимми, да здравствует он!

Святыня

Перевод М. Богословской

Мисс Линетт д'Арманд повернулась спиной к Бродвею. Это было то, что называется мера за меру, поскольку Бродвей частенько поступал так же с мисс д'Арманд. Но Бродвей от этого не оставался в убытке, потому что бывшая звезда труппы «Пожинающий бурю» не могла обойтись без Бродвея, тогда как он без нее отлично мог обойтись.

Итак, мисс Линетт д'Арманд повернула свой стул спинкой к окну, выходившему на Бродвей, и уселась заштопать, пока не поздно, фильдекосовую пятку черного шелкового чулка. Шум и блеск Бродвея, грохочущего под окном, мало привлекал ее. Ей больше всего хотелось бы сейчас вдохнуть полной грудью спертый воздух артистической уборной на этой волшебной улице и насладиться восторженным гулом зрительного зала, где собралась капризнейшая публика. Но пока что не мешало заняться чулками. Шелковые чулки так быстро изнашиваются, но — в конце концов — это же самое главное, то, без чего нельзя обойтись.

Гостиница «Талия» глядит на Бродвей, как Марафон на море. Словно мрачный утес возвышается она над пучиной, где сталкиваются потоки двух мощных артерий города. Сюда, закончив свои скитания, собираются труппы актеров снять котурны и отряхнуть пыль с сандалий. Кругом, на прилегающих улицах, на каждом шагу театральные конторы, театры, студии и артистические кабачки, где кормят омарами и куда в конце концов приводят все эти тернистые пути.

Когда вы попадаете в запутанные коридоры сумрачной, обветшалой «Талии», вам кажется, словно вы очутились в каком-то громадном ковчеге или шатре, который вот-вот снимется с места, отплывет, улетит или укатится на колесах. Все здесь словно пронизано чувством какого-то беспокойства, ожидания, мимолетности и даже томления и предчувствия. Коридоры представляют собой настоящий лабиринт. Без провожатого вы обречены блуждать в них, как потерянная душа в головоломке Сэма Ллойда.

За каждым углом вы рискуете уткнуться в артистическую уборную, отгороженную занавеской, или просто в тупик. Вам встречаются всклокоченные трагики в купальных халатах, тщетно разыскивающие ванные комнаты, которые то ли действуют, то ли нет. Из сотен помещений доносится гул голосов, отрывки старых и новых арий и дружные взрывы смеха веселой актерской братии.

Лето уже наступило; сезонные труппы распущены, актеры отдыхают в своем излюбленном караван-сарае и усердно изо дня в день осаждают антрепренеров, добиваясь ангажемента на следующий сезон.

В этот предвечерний час очередной день обивания порогов театральных контор закончен. Мимо вас, когда вы растерянно плутаете по обомшелым лабиринтам, проносятся громозвучные видения гурий, со сверкающими из-под вуалетки очами, с шелковым шелестом развевающихся одежд, оставляющие за собой в унылых коридорах аромат веселья и легкий запах жасмина. Угрюмые молодые комедианты с подвижными адамовыми яблоками, столпившись в дверях, разговаривают о знаменитом Бутсе. Откуда-то издали долетает запах свинины и маринованной капусты и грохот посуды дешевого табльдота. Невнятный, однообразный шум в жизни «Талии» прерывается — время от времени, с предусмотрительно выдержанными, целительными паузами — легким хлопаньем пробок, вылетающих из пивных бутылок. При такой пунктуации жизнь в радушной гостинице течет плавно; излюбленный знак препинания здесь запятая, точка с запятой нежелательны, а точки вообще исключаются.

Комнатка мисс д'Арманд была очень невелика. Качалка умещалась в ней только между туалетным столиком и умывальником, да и то, если поставить ее боком. На столике были разложены обычные туалетные принадлежности и плюс к этому разные сувениры, собранные бывшей звездой в театральных турне, а кроме того, стояли фотографии ее лучших друзей и подруг, товарищей по ремеслу.

На одну из этих фотографий она не раз взглянула, штопая чулок, и нежно улыбнулась.

— Хотела бы я знать, где сейчас Ли, — сказала она задумчиво.

Если бы вам посчастливилось увидеть эту фотографию, удостоенную столь лестного внимания, вам бы с первого взгляда показалось, что это какой-то белый, пушистый, многолепестковый цветок, подхваченный вихрем. Но растительное царство не имело ни малейшего отношения к этому стремительному полету махровой белизны.

Вы видели перед собой прозрачную, коротенькую юбочку мисс Розали Рэй в тот момент, когда Розали, перевернувшись в воздухе, высоко над головами зрителей, летела головой вниз на своих обвитых глицинией качелях. Вы видели жалкую попытку фотографического аппарата запечатлеть грациозное, упругое движение ее ножки, с которой она в этот захватывающий момент сбрасывала желтую шелковую подвязку и та, взвившись высоко вверх, летела через весь зал и падала на восхищенных зрителей.

Вы видели возбужденную толпу, состоящую главным образом из представителей сильного пола, рьяных почитателей водевиля, и сотни рук, вскинутых вверх в надежде остановить полет блестящего воздушного дара.

В течение двух лет, сорок недель подряд, этот номер приносил мисс Розали Рэй полный сбор и неизменный успех в каждом турне. Ее выступление длилось двенадцать минут — песенка, танец, имитация двух-трех актеров, которые искусно имитируют сами себя, и эквилибристическая шутка с лестницей и метелкой; но когда сверху на авансцену спускались увитые цветами качели и мисс Розали, улыбаясь, вскакивала на сиденье и золотой ободок ярко выступал на ее ножке, откуда он вот-вот должен был слететь и превратиться в парящий в воздухе желанный приз, тогда вся публика в зале срывалась с мест как один человек и дружные аплодисменты, приветствовавшие этот изумительный полет, прочно обеспечивали мисс Рэй репутацию любимицы публики.

В конце второго года мисс Рэй неожиданно заявила своей близкой подруге мисс д'Арманд, что она уезжает на лето в какую-то первобытную деревушку на северном берегу Лонг-Айленда и что она больше не вернется на сцену.

Спустя семнадцать минут после того, как мисс Линетт д'Арманд изъявила желание узнать, где обретается ее милая подружка, в дверь громко постучали. Можете не сомневаться, это была Розали Рэй. После того как мисс д'Арманд громко крикнула «войдите», она ворвалась в комнату, возбужденная и вместе с тем обессиленная, и бросила на пол тяжелый саквояж. Да, в самом деле, это была Розали, в широком дорожном плаще, явно носившем следы путешествия, и при этом не в автомобиле, — в плотно повязанной коричневой вуали с разлетающимися концами в полтора фута длиной, в сером костюме, коричневых ботинках и сиреневых гетрах.

Когда она откинула вуаль и сняла шляпу, появилось очень недурненькое личико, которое в эту минуту пылало от какого-то необычного волнения, и большие глаза, полные тревоги, затуманенные какой-то тайной обидой. Из тяжелой копны темно-каштановых волос, заколотых кое-как, наспех, выбивались волнистые пряди, а короткие непослушные завитки, выскользнувшие из-под гребенок и шпилек, торчали во все стороны.

Встреча двух подруг не сопровождалась никакими вокальными, гимнастическими, осязательными и вопросительно-восклицательными излияниями, которыми отличаются приветствия их светских сестер, не имеющих профессии. Обменявшись коротким рукопожатием и бегло чмокнув друг друга в губы, они сразу почувствовали себя так, как если бы они виделись только вчера. Приветствия бродячих актеров, чьи пути то скрещиваются, то снова расходятся, похожи на краткие приветствия солдат или путешественников, столкнувшихся в чужой стороне, в дикой, безлюдной местности.

— Я получила большой номер двумя этажами выше тебя, — сказала Розали, — но я еще там не была, а пришла прямо к тебе. Я и понятия не имела, что ты здесь, пока мне не сказали.

— Я здесь уже с конца апреля, — сказала Линетт, — и отправляюсь в турне с «Роковым наследством». Мы открываем сезон на будущей неделе в Элизабет. А ведь я думала, ты бросила сцену, Ли. Ну, расскажи же мне о себе.

Розали ловко устроилась на крышке высокого дорожного сундука мисс д'Арманд и

прислонилась головой к оклеенной обоями стене. Благодаря давнишней привычке эти вечно блуждающие театральные звезды чувствуют себя в любом положении так же удобно, как в самом глубоком, покойном кресле.

— Сейчас я тебе все расскажу, Линн, — отвечала она с каким-то необыкновенно язвительным и вместе с тем бесшабашным выражением на своем юном личике, — а с завтрашнего дня я снова пойду обивать пороги на Бродвее да просиживать стулья в приемных антрепренеров. Если бы кто-нибудь за эти три месяца и даже еще сегодня до четырех часов дня сказал мне, что я снова буду выслушивать эту неизменную фразу: «Оставьте-вашу-фамилию-и-адрес», — я бы расхохоталась в лицо этому человеку не хуже мисс Фиск в финальной сцене. Дай-ка мне носовой платок, Линн. Вот ужас эти лонг-айлендские поезда! У меня все лицо в копоты, вполне можно было бы играть Топси, не нужно никакой жженой пробки. Да, кстати о пробках, нет ли у тебя чего-нибудь выпить, Линн?

Мисс д'Арманд открыла шкафчик умывальника.

— Вот здесь, кажется, с пинту манхэттенской осталось. Там в стакане гвоздика, но ее...

— Давай бутылку, стакан оставь для гостей. Вот спасибо, как раз то, чего мне не доставало. За твоё здоровье. Это мой первый глоток за три месяца!.. Да, Линн, я бросила сцену в конце прошлого сезона, бросила потому, что устала от этой жизни, а главное, потому, что мне до смерти опротивели мужчины, те мужчины, с которыми приходится сталкиваться нам, актрисам. Ты сама знаешь, что это за жизнь, — борешься за каждый шаг, отбиваешься ото всех, начиная с антрепренера, который желает тебя покатасть в своем новом автомобиле, и кончая расклейщиком афиш, который считает себя вправе называть тебя запросто, по имени. А хуже всего это мужчины, с которыми приходится встречаться после спектакля! Все эти театралы, завсегдагаи, которые толкутся у нас за кулисами, приятели директора, которые тащат нас ужинать, показывают свои брильянты, предлагают поговорить насчет нас с «Дэном, Дэвом и Чарли», ах, как я ненавижу этих скотов! Нет, правда, Линн, когда такие девушки, как мы, попадают на сцену, их можно только жалеть. Подумай, девушка из хорошей семьи, она старается, трудится, надеется чего-то достигнуть своим искусством — и никогда ничего не достигает. У нас принято сочувствовать хористкам — бедняжки, они получают пятнадцать долларов в неделю! Чепуха, какие огорчения у хористок! Любую из них можно утешить омаром.

Уж если над кем проливать слезы, так это над судьбой актрисы, которой платят от тридцати до сорока пяти долларов в неделю за то, что она исполняет главную роль в каком-нибудь дурацком обозрении. Она знает, что большего она не добьется, и так она тянет годами, надеется на какой-то «случай», и надежда эта никогда не сбывается.

А эти бездарные пьесы, в которых нам приходится играть! Когда тебя волокут по всей сцене за ноги, как в «Хоре тачек», так эта музыкальная комедия кажется роскошной драмой по сравнению с теми идиотскими вещами, которые мне приходилось проделывать в наших тридцатицентовых номерах.

Но самое отвратительное во всем этом — мужчины, мужчины, которые пялят на тебя глаза, пристают с разговорами, стараются купить тебя пивом или шампанским, в зависимости от того, во сколько они тебя расценивают. А мужчины в зрительном зале, которые ревут, хлопают, топают, рычат, толпятся в проходах, пожирают тебя глазами и, кажется, вот-вот проглотят, — настоящее стадо диких зверей, готовых разорвать тебя на части, только попадись им в лапы. Ах, как я ненавижу их всех! Но ты ждешь, чтоб я тебе рассказала о себе.

Так вот. У меня было накоплено двести долларов, и, как только наступило лето, я бросила сцену. Я поехала на Лонг-Айленд и нашла там прелестнейшее местечко, маленькую деревушку Саундпорт на самом берегу залива. Я решила провести там лето, заняться дикцией, а осенью попытаться найти учеников. Мне показали коттедж на берегу, где жила старушка вдова, которая иногда сдавала одну-две комнаты, чтобы кто-нибудь в доме был. Она пустила меня к себе. У нее был еще один жилец, преподобный Артур Ляйл.

Да, в нем-то все и дело. Ты угадала, Линн. Я тебе сейчас все выложу в одну минуту. Это одноактная пьеса.

В первый же раз, когда он прошел мимо меня, я вся так и замерла. Он покори́л меня с первого же слова. Он был совсем непохож на тех мужчин, которых мы видим в зрительном зале. Такой высокий, стройный, и, знаешь, я никогда не слышала, когда он входил в комнату, я просто чувствовала его. А лицом он точь-в-точь рыцарь с картины — ну вот эти рыцари Круглого Стола, а голос у него — настоящая виолончель! А какие манеры!

Помнишь Джона Дрю в лучшей его сцене в гостиной? Так вот, если сравнить их обоих, Джона следовало бы просто отправить в полицию за нарушение приличий.

Ну, я тебя избавлю от всяких подробностей; словом, не прошло и месяца, как мы с Артуром были помолвлены. Он был проповедником в маленькой методистской церквушке, просто такая часовенка, вроде будки. После свадьбы мы с ним должны были поселиться в маленьком пасторском домике, величиной с закусочный фургон, и у нас были бы свои куры и садик, весь заросший жимолостью. Артур очень любил проповедовать мне о небесах, но мои мысли невольно устремлялись к этой жимолости и курам, и он ничего не мог с этим поделать.

Нет, я, конечно, не говорила ему, что была на сцене, я ненавидела это ремесло и все, что с ним было связано. Я навсегда покончила с театром и не видела никакого смысла ворошить старое. Я была честная, порядочная девушка, и мне не в чем было каяться, разве только в том, что я занималась дикцией. Вот и все, что у меня было на совести.

Ах, Линн, ты представить себе не можешь, как я была счастлива! Я пела в церковном хоре, посещала собрания рукодельного общества, декламировала «Анни Лори», знаешь, эти стихи со свистом. В местной газетке писали, что я декламирую «с чуть ли не артистическим мастерством». Мы с Артуром катались на лодке, бродили по лесам, собирали ракушки, и эта бедная, маленькая деревушка казалась мне самым чудесным уголком в мире. Я с радостью осталась бы там на всю жизнь, если бы...

Но вот как-то раз утром, когда я помогала старухе миссис Герли чистить бобы на заднем крыльце, она разболталась и, как это обычно водится среди хозяек, которые держат жильцов, начала выкладывать мне разные сплетни. Мистер Лайл в ее представлении, да, признаться, и в моем также, был настоящий святой, сошедший на землю. Она без конца расписывала мне все его добродетели и совершенства и рассказала мне по секрету, что у Артура не так давно была какая-то чрезвычайно романтическая любовная история, окончившаяся несчастливо. Она, по-видимому, не была посвящена в подробности, но видела, что он очень страдал. «Бедняжка так побледнел, осунулся, — рассказывала она. — И он до сих пор хранит память об этой леди; в одном из ящичков его письменного стола, который он всегда запирает на ключ, есть маленькая шкатулка из розового дерева и в ней какой-то сувенир, который он бережет, как святыню. Я несколько раз видела, как он сидит вечером и грустит над этой шкатулкой, но стоит только кому-нибудь войти в комнату, он сейчас же прячет ее в стол».

Ну, ты, конечно, можешь себе представить, что я не стала долго раздумывать, а при первом же удобном случае вызвала Артура на объяснение и прижала его к стене.

В этот же самый день мы катались с ним на лодке по заливу, среди водяных лилий.

— Артур, — говорю я, — вы никогда не рассказывали мне, что у вас до меня было какое-то увлечение, но мне рассказала миссис Герли. — Я нарочно выложила ему все сразу, чтобы он знал, что мне все известно. Терпеть не могу, когда мужчина лжет.

— Прежде, чем появились вы, — отвечал он, честно глядя мне в глаза, — у меня было одно увлечение, очень сильное. Я не буду от вас ничего скрывать, если уж вы об этом узнали.

— Я слушаю, — сказала я.

— Дорогая Ида, — продолжал Артур (ты, конечно, понимаешь, я жила в Саундпорте под своим настоящим именем), — сказать вам по правде, это прежнее мое увлечение было исключительно духовного свойства. Хотя эта леди и пробудила во мне глубокое чувство и я считал ее идеалом женщины, я никогда не встречался с ней, никогда не говорил с ней. Это была идеальная любовь. Моя любовь к вам, хоть и не менее идеальная, нечто совсем другое. Неужели это может оттолкнуть вас от меня?

— Она была красивая? — спрашиваю я.

— Она была прекрасна.

— Вы часто ее видели?
— Может быть, раз двенадцать.
— И всегда на расстоянии?
— Всегда на значительном расстоянии.
— И вы любили ее?
— Она казалась мне идеалом красоты, грации и... души.
— А этот сувенир, который вы храните как святыню и потихоньку вздыхаете над ним, это что, память о ней?
— Дар, который я сохранил.
— Она вам его прислала?
— Он попал ко мне от нее.
— Но не из ее рук?
— Не совсем из ее рук, но, вообще говоря, прямо ко мне в руки.
— Но почему же вы никогда не встречались? Или между вами была слишком большая разница в положении?

— Она вращалась на недоступной для меня высоте, — грустно сказал Артур. — Но, послушайте, Ида, все это уже в прошлом, неужели вы способны ревновать к прошлому?

— Ревновать? — воскликнула я. — Как это вам могло прийти в голову? Никогда я еще так высоко не ставила вас, как теперь, когда я все это узнала.

И так оно и было, Линн, если ты только можешь это понять. Такая идеальная любовь — это было что-то совершенно новое для меня. Я была потрясена. Мне казалось, ничто в мире не может сравниться с этим прекрасным, высоким чувством. Ты подумай: человек любит женщину, с которой он никогда не сказал ни слова. Он создал ее образ в своем воображении и свято хранит его в своем сердце. Ах, до чего же это замечательно! Мужчины, с которыми мне приходилось встречаться, пытались купить нас брильянтами, или подпоить нас, или соблазнить прибавкой жалованья, а их идеалы! Ну, что говорить!..

Да, после того, что я узнала, Артур еще больше возвысился в моих глазах. Я не могла ревновать его к этому недостижимому божеству, которому он когда-то поклонялся, — ведь он скоро должен был стать моим. Нет, я тоже, как старушка Герли, стала считать его святым, сошедшим на землю.

Сегодня, часов около четырех, за Артуром пришли из деревни: заболел кто-то из его прихожан. Старушка Герли завалилась спать после обеда и похрапывала на диване, так что я была предоставлена самой себе.

Проходя мимо кабинета Артура, я заглянула в дверь, и мне бросилась в глаза связка ключей, торчавшая в ящике его письменного стола: он, по-видимому, забыл их. Ну, я думаю, что все мы немножко сродни жене Синеи Бороды, ведь правда, Линн? Мне захотелось взглянуть на этот сувенир, который он так тщательно прятал. Не то чтобы я придавала этому какое-то значение, а так просто, из любопытства.

Выдвигая ящик, я невольно пыталась представить себе, что бы это могло быть. Я думала, может быть, это засушенная роза, которую она бросила ему с балкона, а может быть, портрет этой леди, вырезанный им из какого-нибудь светского журнала, — ведь она вращалась в самом высшем обществе.

Открыв ящик, я сразу увидела шкатулку из розового дерева, величиной с коробку для мужских воротничков. Я выбрала в связке ключей самый маленький. Он как раз подошел — замок щелкнул, крышка откинулась.

Едва только я взглянула на эту святыню, я тут же бросилась к себе в комнату и стала укладываться. Запихала платя в чемодан, сунула всякую мелочь в саквояж, кое-как наспех пригладила волосы, надела шляпу, а потом вошла в комнату к старухе и дернула ее за ногу. Все время, пока я там жила, я ужасно старалась из-за Артура выражаться как можно более прилично и благопристойно, и это уже вошло у меня в привычку. Но тут с меня сразу все соскочило.

— Хватит вам разводить рулады, — сказала я, — сядьте и слушайте, да не пяльтесь на

меня, как на привидение. Я сейчас уезжаю, вот вам мой долг, восемь долларов; за чемоданом я пришлю. — Я протянула ей деньги.

— Господи боже, мисс Кросби! — закричала старуха. — Да что же это такое случилось? А я-то думала, что вам здесь так нравится. Вот поди-ка раскуси нынешних молодых женщин. Поначалу кажется одно, а оказывается совсем другое.

— Что правда, то правда, — говорю я, — кое-кто из них оказывается не тем, чем кажется, но вот о мужчинах этого никак нельзя сказать. Достаточно знать одного, и они все у вас как на ладони. Вот вам и вся загадка человеческого рода.

Ну а потом мне посчастливилось попасть на поезд четыре тридцать восемь, который коптел безостановочно, и вот, как видишь, я здесь.

— Но ты же мне не сказала, что было в этой шкатулке, Ли? — нетерпеливо воскликнула мисс д'Арманд.

— Одна из моих желтых шелковых подвязок, которые я швыряла с ноги в зрительный зал во время моего номера на качелях. А что, там больше ничего не осталось в бутылке, Линн?

Примечания

Голос большого города (The Voice of the City), 1905. На русском языке под названием «Голос города» в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.—М., 1925, пер. З. Львовского.

Один час полной жизни (The Complete Life of John Hopkins), 1904. На русском языке под названием «Полное описание жизни Джона Гопкинса» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. О. Поддячей.

Грошовый поклонник (A Lickpenny Lover), 1904. На русском языке под названием «Грошовый» в книге: О. Генри. Нью-йоркские рассказы. М. — Пг, 1923, пер. В. Додонова.

Как прозрел Доггерти (Dougherty's Eye-Opene), 1904. На русском языке под названием «Как он увидел» в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.—М., 1925, пер. З. Львовского.

Персики («Little Speck in Garnered Fruit»), 1905. На русском языке под названием «Персик» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.—М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Предвестник весны (The Harbinger), 1906. На русском языке под названием «Предвестник» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. О. Поддячей.

Пока ждет автомобиль (While the Auto Waits), 1903. На русском языке под названием «Пока автомобиль ждет» в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.—М., 1925, пер. З. Львовского. Сюжет, многократно варьируемый в рассказах О. Генри. См. также «Мишурный блеск» в сб. «Четыре миллиона».

Комедия любопытства (A Comedy in Rubber), 1904. На русском языке под названием «Комедия зевак» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. Л. Гаусман.

Тысяча долларов (One thousand dollars), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. Н. Брянского.

Город побежден (The defeat of the city), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. Л. Гаусман.

Прихоти фортуны (The Shocks of Doom), 1905. На русском языке под названием «Гримасы судьбы» в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.—М., 1925, пер. З. Львовского.

Адское пламя (The Plutonian Fire), 1905. На русском языке под названием «Любовь и беллетристика» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.—М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Немезида и разносчик (Nemesis and the candy man), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Квадратура круга (Squaring the Circle), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. Л. Гаусман.

Розы, резеда и романтика (Roses, Ruses and Romance), 1905. На русском языке под названием «Романтизм и хитрость» в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.—М., 1925, пер. З. Львовского.

Весна души (The Easter of the soul), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. Л.—М., 1924, пер. В. Александрова.

Кошмарная ночь на лоне столичной природы (The city of dramful night), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Что говорит город. Л., 1925, пер. Н. Жуковской.

Смерть дуракам (The Fool-Killer), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.—М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

В Аркадии проездом (Transients in Arcadia), 1904. На русском языке под названием «Случайные гости Аркадии» в книге: О. Генри. Что говорит город. Л., 1925, пер. Н. Жуковской.

Погребок и роза (The Rathskeller and the Rose), 1904. На русском языке под названием «Кабачок и роза» в журнале «Красная панорама», № 12, 1923, пер. Л. Гаусман.

Трубный глас (The clarion call), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.—М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Похищение Медоры (Extradited from Bohemia), 1905. На русском языке под названием «Извлеченная из Богемы» в книге: О. Генри. Что говорит город. Л., 1925, пер. Н. Жуковской.

Повар (A philiste in Bohemia), 1904. На русском языке под названием «Аристократ» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. О. Поддячей.

Кто чем может (From each according to his ability), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Что говорит город. Л., 1925, пер. Н. Жуковской.

Святыня (The memento), 1908. На русском языке в журнале «Всемирная новь», 1916, № 1.

Благородный жулик

Трест, который лопнул

Перевод К. Чуковского

— Трест есть свое самое слабое место, — сказал Джефф Питерс.

— Это напоминает мне, — сказал я, — бессмысленное изречение вроде «Почему существует полисмен?».

— Ну нет, — сказал Джефф, — между полисменом и трестом нет ничего общего. То, что я сказал, — это эпиграмма... ось... или, так сказать, квинтэссенция. А значит она, что трест и похож и не похож на яйцо. Когда хочешь расколоть яйцо, бьешь его снаружи. А трест можно разбить только изнутри. Сиди на нем и жди, когда птенчик разнесет всю скорлупу. Поглядите, какой выводок новоиспеченных колледжей и библиотек щебечет и чирикает по всей стране. Да, сэр, каждый трест носит в своей груди семена собственной гибели, как петух, который в штате Джорджия вздумает запеть слишком близко от соборика негров-методистов, или тот член республиканской партии, который выставляет свою кандидатуру в губернаторы Техаса.

Я шутя спросил Джеффа, не приводилось ли ему на протяжении его пестрой, полосатой, клетчатой и крапленой карьеры стоять во главе предприятия, которому можно было бы дать наименование треста. К моему удивлению, он признал за собой этот грех.

— Один-единственный раз, — сказал он. — И никогда печать штата Нью-Джерси не скрепляла документа, который давал бы права на более солидный и верный образчик законного ограбления ближних. Все было к нашим услугам — вода, ветер, полиция, выдержка и безраздельная монополия на ценный продукт, чрезвычайно нужный потребителям. Ни один враг монополий и трестов не мог бы найти в нашем предприятии никакого изъяна. В сравнении с ним маленькая нефтяная афера Рокфеллера казалась жалкой керосинной лавчонкой. И все-таки мы прогорели.

— Возникли, вероятно, какие-нибудь неожиданные препятствия? — спросил я.

— Нет, сэр, все было именно так, как я сказал. Мы сами себя погубили. Это был случай самоликвидации. Люлька оказалась с трещинкой, как выразился Альберт Теннисон.⁷⁰

Вы помните, я уже рассказывал вам, что мы работали несколько лет в компании с Энди Таккером. Этот Энди был гениальный мастак на всякие военные хитрости. Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу. Он был человек образованный, и к тому же полезных сведений у него была уйма. Он почерпнул из книг богатейший опыт и мог часами говорить на любую тему, насчет идей и всяких словопрений. Нет такого жульничества, которого бы он не испробовал, начиная с лекций о Палестине, которые он оживлял, показывая с помощью волшебного фонаря снимки ежегодного съезда закройщиков готового платья в Атлантик-Сити, и кончая ввозом в Коннектикут целого моря поддельного древесного спирта, добытого из мускатных орехов.

Как-то весной нам с Энди случилось на короткое время побывать в Мексике, где один капиталист из Филадельфии заплатил нам две тысячи пятьсот долларов за половину паев серебряного рудника в Чихуахуа. Да нет, такой рудник существовал. Все было в порядке. Другая половина паев стоила двести или триста тысяч долларов. Я часто думал потом: кому принадлежал этот рудник?

Возвращаясь в Соединенные Штаты, мы с Энди споткнулись об один городишко в Техасе, на берегу Рио-Гранде. Назывался городишко Птичий Город, но жили там вовсе не птицы. Там было две тысячи душ населения, все больше мужчины. На мой взгляд, возможность существовать им давали главным образом густые заросли чапарраля, окружавшие город. Иные из жителей были скотопромышленники, иные — картежники, иные

⁷⁰ «Трещинка в лютне» — известные слова из поэмы Альфреда Теннисона «Мерлин».

— лошадиные барышники, иные — и таких было много — работали по части контрабанды. Мы с Энди поселились в гостинице, которая представляла собой нечто среднее между книжным шкафом и садом на крыше. Чуть мы прибыли туда, пошел дождь. Как говорится, залез Ной на гору Арарат и отвернул краны небесные.

Надо сказать, что хотя мы с Энди и непьющие, но в городе было три кабака, и все жители целый день и добрую половину ночи шагали по треугольнику из одного в другой. Каждому было отлично известно, что ему делать со своими деньгами.

На третий день дождь чуть-чуть перестал, и мы с Энди отправились за город полюбоваться прегрязной природой. Птичий Город был построен между Рио-Гранде и широкой ложбиной, где прежде протекала река. Сейчас, когда река вздулась от дождей, дамба, отделявшая ее от старого русла, была размыта и совсем сползала в воду. Энди долго смотрел на нее. Ум у этого человека никогда не дремал. Не сходя с места, он открыл мне идею, которая осенила его. Вот тогда-то мы и основали трест, а потом вернулись в город и пустили в ход свою идею.

Первым делом мы отправились в главный салун, который назывался «Голубая змея», и приобрели его в собственность. Это стоило нам тысячу двести долларов. А потом мы зашли на минутку в бар мексиканца Джо, поговорили о погоде и так, между делом, купили его за пятьсот. Третий нам охотно уступили за четыреста.

Проснувшись на следующее утро, Птичий Город увидел, что он превратился в остров. Река прорвала дамбу и хлынула в старое русло; весь город был окружен ревущими потоками воды. Дождь лил не переставая; на северо-западе висели тяжелые тучи, предвещавшие на ближайшие две недели еще штук шесть среднегодовых осадков. Но главная беда была впереди.

Птичий Город выпорхнул из гнезда, отряхнул перышки и поскакал за утренней выпивкой. И ах! Бар мексиканца закрыт, другой пункт спасения утопающих — тоже. Естественно, из всех глоток разом вырывается крик изумления и жажды, и жители скопом несутся в «Голубую змею». И что же они видят в «Голубой змее»? За одним концом стойки сидит Джефферсон Питерс, этакий восьминогий спрут-эксплуататор, справа у него кольт и слева у него кольт, и он готов дать сдачи либо долларами, либо пулей. В заведении — три бармена, а на стене вывеска в десять футов длины: «Каждая выпивка — доллар». Энди сидит на несгораемой кассе, на нем шикарный синий костюм, в зубах первоклассная сигара, вид выжидательный. Тут же начальник полиции с двумя полисменами: трест обещал им бесплатную выпивку.

Да, сэр, не прошло и десяти минут, как Птичий Город понял, что дверца клетки захлопнулась. Мы ждали бунта, но все обошлось спокойно. Жители знали, что они в наших руках. Ближайшая станция железной дороги находилась за тридцать миль, и можно было с уверенностью сказать, что вода в реке спадет не раньше, чем через две недели, а до той поры переправа невозможна. И жители выругались, но очень учтиво, а потом стали сыпать доллары к нам на прилавок так исправно, что звон стоял, как от попури на ксилофоне.

В Птичьем Городе было около полутора тысяч взрослых мужчин, достигших легкомысленного возраста; чтобы не умереть от тоски, большинству из них требовалось от трех до двадцати стаканов в день. Пока не схлынет вода, «Голубая змея» оставалась единственным местом, где они могли получить их. Это было и красиво и просто, как всякое подлинно великое жульничество.

К десяти часам утра серебряные доллары, сыпавшиеся на стойку, немного замедлили темп и стали вместо джиги наигрывать тустепы и марши. Но я глянул в окно и увидел, что сотни две наших клиентов вытянулись длинным хвостом перед городской сберегательной и ссудной кассой, и понял, что они хлопчут о новых долларах, которые высосет у них наш восьминог своими мокрыми и скользкими щупальцами.

В полдень все ушли по домам обедать, как и подобает фешенебельным людям. Мы разрешили барменам воспользоваться этим кратким затишьем и тоже пойти закусить, а сами стали подсчитывать выручку. Мы заработали тысячу триста долларов. По нашему подсчету

выходило, что, если Птичий Город останется островом еще две недели, у нашего треста будет достаточно средств, чтобы пожертвовать Чикагскому университету новое общежитие с обитыми войлоком стенами для всех профессоров и доцентов и подарить ферму каждому добродетельному бедняку в Техасе, если участок земли он купит за собственный счет.

Энди — того так и распирало от гордости, потому что ведь план первоначально зародился в его предпосылках. Он слез с несгораемой кассы и закурил самую большую сигару, какая только нашлась в салуне.

— Джефф, — говорит он, — я думаю, что во всем мире не найти пауков-эксплуататоров, столь изобретательных по части угнетения рабочего класса, как торговый дом «Питерс, Таккер и Сатана». Мы нанесли мелкому потребителю чувствительнейший удар в область солнечного переплетения. Что, не так?

— Верно, — говорю я, — выходит, что ничего нам не останется, как заняться гастритом и гольфом или заказать себе шотландские юбочки и ехать охотиться на лисиц. Этот фокус с выпивкой, по-видимому, удался. И мне он по душе, — говорю я, — ибо худой жир лучше доброй чахотки.

Энди наливает себе стаканчик нашей лучшей ячменной и препровождает его по назначению. Это была его первая выпивка за все время, что я его знал.

— Вроде как излияние богам, — пояснил он.

Почтив таким образом языческих идолов, он осушил еще стаканчик — за преуспевание нашего дела. А потом и пошло — он пил за всю промышленность, начиная от Северной тихоокеанской дороги и кончая всякой мелочью вроде заводов маргарина, синдиката учебников и федерации шотландских горняков.

— Энди, Энди, — говорю я ему, — это очень похвально с твоей стороны, что ты пьешь за здоровье наших братских монополий, но смотри, дружок, не увлекайся тостами. Ты ведь знаешь, что самые наши знаменитые и всеми ненавидимые архимиллиардеры не вкушают ничего, кроме жидкого чая с сухариками.

Энди ушел за перегородку и через несколько минут вышел оттуда в парадном костюме. Во взгляде у него было что-то возвышенное и смертоносное, этакий, я бы сказал, благородный и праведный вызов. Очень не понравился мне этот взгляд. Я всматривался в Энди с беспокойством: какую штуку выкинет с ним виски? В жизни бывают два случая, которые неизвестно чем кончаются: когда мужчина выпьет в первый раз и когда женщина выпьет в последний.

За какой-нибудь час «муха» у Энди выросла в целого скорпиона. Снаружи он был вполне благопристоен и умудрялся сохранять равновесие, но внутри он был весь начинен сюрпризами и экспромтами.

— Джефф, — говорит он, — ты знаешь, что я такое? Я кратер, живой вулканический кратер.

— Эта гипотеза, — говорю я, — не нуждается ни в каких доказательствах.

— Да, я огнедышащий кратер. Из меня так и пышет пламя, а внутри клокочут слова и комбинации слов, которые требуют выхода. Миллионы синонимов и частей речи так и прут из меня на простор, и я не успокоюсь, пока не произнесу какую-нибудь такую речь. Когда я выпью, — говорит Энди, — меня всегда влечет к ораторскому искусству.

— Нет ничего хуже, — говорю я.

— С самого раннего детства, — продолжает Энди, — алкоголь возбуждал во мне позывы к риторике и декламации. Да что, во время второй избирательной кампании Брайана⁷¹ мне давали по три порции джина, и я, бывало, говорил о серебре на два часа дольше самого Билли. Но в конце концов мне дали возможность убедиться на собственном опыте, что золото лучше.

— Если тебе уж так приспичило освободиться от лишних слов, — говорю я, — ступай к

⁷¹ Брайан Уильям (1860—1925) — несколько раз был кандидатом на пост президента; одним из пунктов его программы была неограниченная чеканка серебра и уравнение его с золотом как платежного средства.

реке и поговори, сколько нужно. Помнится, уже был один такой старый болтун, — звали его Кантарид, — который ходил на берег моря и там облегчал свою глотку.

— Нет, — говорит Энди, — мне нужна аудитория, публика. Я чувствую, что дай мне сейчас волю — и сенатора Бэвриджа прозовут Юным Сфинксом Уобаша. Я должен собрать аудиторию, Джефф, и утихомирить свой ораторский зуд, иначе он пойдет внутрь и я буду чувствовать себя ходячим собранием сочинений миссис Саутворт в роскошном переплете с золотым обрезом.

— А на какую тему ты хотел бы поупражнять свои голосовые связки? — спрашиваю я. — Есть ли у тебя какие-нибудь теоремы и тезисы?

— Тема любая, — говорит Энди, — для меня безразлично. Я одинаково красноречив во всех областях. Могу поговорить о русской иммиграции, или о поэзии Китса, или о новом тарифе, или о кабийской словесности, или о водосточных трубах, и будь уверен: мои слушатели будут попеременно то плакать, то хныкать, то рыдать, то обливаться слезами.

— Ну что ж, Энди, — говорю я ему, — если уж тебе совсем невтерпех, иди и вылей весь избыток своих словесных ресурсов на голову какому-нибудь здешнему жителю, который подобнее и повыносливее. Мы с нашими подручными и без тебя тут управимся. В городе скоро кончат обедать, а соленая свинина с бобами, как известно, вызывает жажду. К полуночи у нас будет еще полторы тысячи долларов.

И вот Энди выходит из «Голубой змеи», и я вижу, как он останавливается на улице каких-то прохожих и вступает с ними в разговор. Не прошло и десяти минут, как вокруг него собралась небольшая кучка людей, а вскоре я увидел, что он стоит на углу, говорит что-то и машет руками, а перед ним уже порядочная толпа. Потом он повернулся и пошел, а толпа за ним, а он все говорит. И он повел их по главной улице Птичьего Города, и по дороге к ним приставали еще и еще прохожие. Это напомнило мне старый фокус, о котором я читал в книгах, как один дудочник все играл на дудке и до того доигрался, что увел с собой всех детей, какие только были в городе.⁷²

Пробило час, потом два, потом три, а ни одна птица так и не залетела к нам выпить. На улицах было пусто, одни утки, да изредка женщина пройдет мимо в лавчонку. А между тем дождик почти перестал.

Какой-то мужчина остановился у нашей двери, чтобы соскрести грязь, налипшую на сапоги.

— Милый, — говорю я ему, — что случилось? Сегодня утром здесь царило лихорадочное веселье, а теперь весь город похож на развалины Тира и Сифона, где по стенам ползает одинокая ящерица.

— Весь город, — отвечает он, — собрался у Сперри, на складах шерсти, и слушает речь вашего друга-приятеля. Что и говорить, он умеет извлекать из себя всякие звуки касательно разных материй.

— Вот оно что, — говорю я. — Ну, надеюсь, что он сделает перерыв очень скоро, потому что от этого страдает торговля.

До самого вечера к нам не заглянул ни один клиент. В шесть часов два мексиканца привезли Энди в салун: он возлежал на спине их осла. Мы уложили пьяного в постель, а он все еще бормотал, жестикулируя руками и ногами.

Я закрыл кассу и пошел разузнать, что случилось. Вскоре мне попался человек, который рассказал мне всю историю. Оказывается, Энди говорил два часа подряд. Он произнес самую великолепную речь, какую, по словам этого человека, когда-либо слышали не только в Техасе, но и на всем земном шаре.

— О чем же он говорил? — спросил я.

— О вреде пьянства, — ответил тот. — И когда он кончил, все жители Птичьего Города

⁷² Питерс имеет в виду рассказанную поэтом Робертом Браунингом легенду про мстительного колдуна-крысолова из Гаммельна, который игрою на дудке заманил всех детей города в пещеру и там погубил.

подписали бумагу, что в течение целого года в рот не возьмут спиртного.

Джефф Питерс как персональный магнит

Перевод К. Чуковского

Джефф Питерс делал деньги самыми разнообразными способами. Этих способов было у него никак не меньше, чем рецептов для приготовления рисовых блюд у жителей Чарлстона, штат Южная Каролина.

Больше всего я люблю слушать его рассказы о днях его молодости, когда он торговал на улицах мазями и пилюлями от кашля, жил впроголодь, дружил со всем светом и на последние медяки играл в орлянку с судьбой.

— Попал я однажды в поселок Рыбачья Гора, в Арканзасе, — рассказывал он. — На мне был костюм из оленьей шкуры, мокасины, длинные волосы и перстень с тридцатикаратовым бриллиантом, который я получил от одного актера в Тексаркане. Не знаю, что он сделал с тем перочинным ножиком, который я дал ему в обмен на этот перстень.

В то время я был доктор Воф-Ху, знаменитый индейский целитель. В руках у меня не было ничего, кроме великолепного снадобья: «Настойки для Воскрешения Больных». Настойка состояла из живительных трав, случайно открытых красавицей Та-Ква-Ла, супругой вождя племени чокто. Красавица собирала зелень для украшения национального блюда — вареной собаки, ежегодно подаваемой во время пляски на Празднике Кукурузы, — и наткнулась на эту траву.

В городке, где я был перед этим, дела шли неважно: у меня оставалось всего пять долларов. Прибыв на Рыбачью Гору, я пошел в аптеку, и там мне дали займы шесть дюжин восьмиунциевых склянок с пробками. Этикетки и нужные припасы были у меня в чемодане. Жизнь снова показалась мне прекрасной, когда я достал себе в гостинице номер, где из крана текла вода, и бутылки с «Настойкой для Воскрешения Больных» дюжинами стали выстраиваться передо мной на столе.

— Шарлатанство? Нет, сэр. В склянках была не только вода. К ней я примешал хинина на два доллара, да на десять центов анилиновой краски. Много лет спустя, когда я снова проезжал по тем местам, люди просили меня дать им еще порцию этого снадобья.

В тот же вечер я нанял тележку и открыл торговлю на Главной улице. Рыбачья Гора, хоть и называлась Горой, но была расположена в болотистой, малярийной местности; и я поставил диагноз, что населению как раз не хватает легочно-сердечной и противозолотушной микстуры. Настойка разбиралась так шибко, как мясные бутерброды на вегетарианском обеде. Я уже продал две дюжины склянок по пятидесяти центов за штуку, как вдруг почувствовал, что кто-то тянет меня за фалды. Я знал, что это значит. Быстро спустившись с тележки, я сунул пять долларов в руку субъекту с немецкой серебряной звездой на груди.

— Констебль, — говорю я, — какой прекрасный вечер!

А он спрашивает:

— Имеется ли у вас городской патент на право продажи этой нелегальной бурды, которую вы из любезности зовете лекарством? Получили ли вы бумагу от города?

— Нет, не получал, — говорю я, — так как я не знал, что это город. Если мне удастся найти его завтра, я достану себе и патент.

— Ну а до той поры я вынужден прикрыть вашу торговлю, — говорит полисмен.

Я перестал торговать и, вернувшись в гостиницу, рассказал хозяину все, что случилось.

— У нас, на Рыбачьей Горе, вам не дадут развернуться, — сказал он. — Ничего у вас не выйдет. Доктор Хоскинс — зять мэра, единственный доктор на весь город, и власти никогда не допустят, чтобы какой-то самозванный целитель отбивал у него практику.

— Да я не занимаюсь медициной, — говорю я. — У меня патент от управления штата на розничную торговлю, а когда с меня требуют особое свидетельство от города, я беру его, вот

и все.

На следующее утро иду я в канцелярию мэра, но мне говорят, что он еще не приходил, а когда придет — неизвестно. Поэтому доктору Воф-Ху ничего не оставалось, как снова вернуться в гостиницу, грустно усесться в кресло, закурить сигару и ждать.

Немного погодя подсаживается ко мне молодой человек в синем галстуке и спрашивает, который час.

— Половина одиннадцатого, — говорю я, — а вы Энди Таккер. Я знаю некоторые ваши делишки. Ведь это вы создали в Южных штатах «Универсальную посылку Купидон». Погодите-ка, что в ней было?.. Да, да, обручальный перстень с чилийским брильянтом, кольцо для венчания, машинка для растирания картофеля, склянка успокоительных капель и портрет Дороти Вернон — все за пятьдесят центов.

Энди был польщен, что я помню его. Это был талантливый уличный жулик, и, что важнее всего, он уважал свое ремесло и довольствовался тремястами процентов чистой прибыли. Он имел много предложений перейти на нелегальную торговлю наркотиками, но никому не удавалось совратить его с прямого пути.

Мне нужен был компаньон, мы переговорили друг с другом и согласились работать вместе. Я сообщил ему о положении вещей на Рыбачьей Горе, как трудны здесь финансовые операции ввиду вторжения в политику касторки. Энди прибыл только что с утренним поездом. У него у самого дела были не блестящи, и он намеревался открыть в этом городе публичную подписку для сбора пожертвований на постройку нового броненосца в городе Эврика-Спрингс.⁷³ Было о чем потолковать, и мы вышли на крыльцо.

На следующее утро в одиннадцать, когда я сидел в номере один-одинешенек, является ко мне какой-то дядя Том и просит, чтобы доктор пожаловал на квартиру к судье Бэнксу, который, как выяснилось, и был мэром, — он тяжело захворал.

— Я не доктор, — говорю я, — почему вы не позовете доктора?

— Ах, господин, — говорит дядя Том, — доктора Хоскинса уехала из города за двадцать миль... в деревню... его вызвали к больному... Он один врач на весь город, а судья Бэнкса очень плоха... Он послал меня. Пожалуйста, идите к нему. Он очень, очень просит.

— Как человек к человеку, я, пожалуй, пойду и осмотрю его, как человек человека, — говорю я, кладу к себе в карман флакон «Настойки для Воскрешения Больных» и направляюсь в гору к особняку мэра. Отличный дом, лучший в городе: мансарда, крутая крыша и две чугунные собаки на лужайке.

Мэр Бэнкс в постели; из-под одеяла торчат только бакенбарды да кончики ног. Он издает такие утробные звуки, что, будь это в Сан-Франциско, все подумали бы, что землетрясение, и кинулись бы спасаться в парки. У кровати стоит молодой человек и держит кружку воды.

— Доктор, — говорит мэр, — я ужасно болен. Помираю. Не можете ли вы мне помочь?

— Мистер мэр, — говорю я, — я не могу назвать себя подлинным учеником Эс. Ку. Лаппа. Я никогда не изучал в университете медицинских наук и пришел к вам просто, как человек к человеку, посмотреть, чем я могу помочь.

— Я глубоко признателен вам, — отвечает больной. — Доктор Воф-Ху, это мой племянник, мистер Бидл. Он пытался облегчить мою боль, но безуспешно. О господи! Ой, ой, ой! — завопил он вдруг.

Я кланяюсь мистеру Бидлу подсаживаюсь к кровати и щупаю пульс у больного.

— Позвольте посмотреть вашу печень, то есть язык, — говорю я. Затем поднимаю ему веки и долго вглядываюсь в зрачки.

— Когда вы заболели? — спрашиваю я.

— Меня схватило... ой, ой... вчера вечером, — говорит мэр. — Дайте мне чего-нибудь, доктор, спасите, облегчите меня!

— Мистер Фидл, — говорю я, — приподнимите-ка штору.

⁷³ Эврика-Спрингс — городок в Арканзасе, вдали от моря.

— Не Фидл, а Бидл, — поправляет меня молодой человек — А что, дядя Джеймс, — обращается он к судье, — не думаете ли вы, что вы могли бы скушать яичницу с ветчиной?

— Мистер мэр, — говорю я, приложив ухо к его правой лопатке и прислушиваясь, — вы схватили серьезное свержвоспаление клавикулы клавикордиала.

— Господи боже мой, — застонал он, — нельзя ли что-нибудь втереть, или вправить, или вообще что-нибудь?

Я беру шляпу и направляюсь к двери.

— Куда вы? — кричит мэр. — Не покинете же вы меня одного умирать от этих свержклавикордов?

— Уж из одного сострадания к ближнему, — говорит Бидл, — вы не должны покидать больного, доктор Хоа-Хо...

— Доктор Воф-Ху, — поправляю я и затем, возвратившись к больному, откидываю назад мои длинные волосы.

— Мистер мэр, — говорю я, — вам осталась лишь одна надежда. Медикаменты вам не помогут. Но существует другая сила, которая одна стоит всех ваших снадобий, хотя и они стоят недешево.

— Какая же это сила? — спрашивает он.

— Пролегомены науки, — говорю я. — Победа разума над сарсапариллой. Вера в то, что болезни и страдания существуют только в нашем организме, когда вы чувствуете, что вам нездоровится. Признайте себя побежденным. Демонстрируйте!

— О каких это параферналиях вы говорите, доктор? — спрашивает мэр. — Уж не социалист ли вы?

— Я говорю о великой доктрине психического финансирования, о просвещенном методе подсознательного лечения абсурда и менингита внушением на расстоянии, об удивительном комнатном спорте, известном под названием персонального магнетизма.

— И вы можете это проделать, доктор? — спрашивает мэр.

— Я один из Единых Синедрионов и Явных Моголов Внутреннего Храма, — говорю я. — Хромые начинают говорить, а слепые ходить, как только я сделаю пассы. Я — медиум, колоратурный гипнотизер и спиртуозный контролер человеческих душ. На последних сеансах в Анн-Арборе покойный председатель Укусно-Горького общества мог только при моем посредстве возвращаться на землю для бесед со своей сестрой Джейн. Правда, в настоящее время я, как вы знаете, продаю с тележки лекарства для бедных и не занимаюсь магнетической практикой, так как не хочу унижать свое искусство слишком низкой оплатой: много ли возьмешь с бедноты!

— Возьметесь ли вы вылечить гипнотизмом меня? — спрашивает мэр.

— Послушайте, — говорю я, — везде, где я бываю, я встречаю затруднения с медицинскими обществами. Я не занимаюсь практикой, но для спасения вашей жизни я, пожалуй, применю к вам психический метод, если вы, как мэр, посмотрите сквозь пальцы на отсутствие у меня разрешения.

— Разумеется, — говорит он. — Только начинайте скорее, доктор, а то я снова чувствую жестокие приступы боли.

— Мой гонорар двести пятьдесят долларов, — говорю я, — излечение гарантирую в два сеанса.

— Хорошо, — говорит мэр, — заплачу. Полагаю, что моя жизнь стоит этих денег.

Я присел у кровати и стал смотреть на него в упор.

— Теперь, — сказал я, — отвлеките ваше внимание от вашей болезни. Вы здоровы. У вас нет ни сердца, ни ключицы, ни лопатки, ни мозгов — ничего. Вы не испытываете боли. Признайтесь, что вы ошиблись, считая себя больным. Ну а теперь вы, не правда ли, чувствуете, что боль, которой у вас никогда не бывало, постепенно уходит от вас.

— Да, доктор, черт возьми, мне и в самом деле стало как будто легче, — говорит мэр. — Пожалуйста, продолжайте врать, что я будто бы здоров и будто бы у меня нет этой опухоли в левом боку. Я уверен, что еще немного, и меня можно будет приподнять в постели и дать мне

колбасы с гречишной булкой.

Я сделал еще несколько пассов.

— Ну, — говорю я, — теперь воспалительное состояние прошло. Правая лопасть перигелия уменьшилась. Вас клонит ко сну. Ваши глаза слипаются. Ход болезни временно прерван. Теперь вы спите.

Мэр медленно закрывает глаза и начинает похрапывать.

— Заметьте, мистер Тидл, — говорю я, — чудеса современной науки.

— Бидл, — говорит он. — Но когда же вы назначите второй сеанс для излечения дядюшки, доктор Пу-Пу?

— Воф-Ху — говорю я. — Я буду у вас завтра в одиннадцать утра. Когда он проснется, дайте ему восемь капель скипидара и три фунта бифштекса. Всего хорошего.

На следующее утро я пришел в назначенное время.

— Ну что, мистер Ридл, — сказал я, как только он ввел меня в спальню, — каково самочувствие вашего дядюшки?

— Кажется, ему гораздо лучше, — отвечает молодой человек.

Цвет лица и пульс у мэра были в полном порядке. Я сделал второй сеанс, и он заявил, что последние остатки боли у него улетучились.

— А теперь, — говорю я, — вам следует день-другой полежать в постели, и вы совсем поправитесь. Ваше счастье, что я очутился здесь, на вашей Рыбачьей Горе, мистер мэр, так как никакие средства, известные в корнукопее и употребляемые официальной медициной, не могли бы вас спасти. Теперь же, когда медицинская ошибка обнаружена, когда доказано, что ваша боль самообман, поговорим о более веселых материях — например, о гонораре в двести пятьдесят долларов. Только, пожалуйста, без чеков. Я с такой же неохотой расписываюсь на обороте чека, как и на его лицевой стороне.

— Нет, нет, у меня наличные, — говорит мэр, доставая из-под подушки бумажник; он отсчитывает пять бумажек по пятидесяти долларов и держит их в руке.

— Бидл, — говорит он, — возьмите расписку.

Я пишу расписку, и мэр дает мне деньги. Я тщательно прячу их во внутренний карман.

— А теперь приступите к исполнению ваших обязанностей, сержант, — говорит мэр, ухмыляясь совсем как здоровый.

Мистер Бидл кладет руку мне на плечо.

— Вы арестованы, доктор Воф-Ху или, вернее, Питерс, — говорит он, — за незаконные занятия медициной без разрешения властей штата.

— Кто вы такой? — спрашиваю я.

— Я вам скажу, кто он такой, — говорит мэр, приподнимаясь на кровати как ни в чем не бывало. — Он сыщик, состоящий на службе в Медицинском обществе штата. Он шел за вами по пятам, выслеживал вас в пяти округах и явился ко мне третьего дня, и мы вместе придумали план, чтобы вас изловить. Полагаю, что отныне ваша практика в наших местах кончена раз навсегда, господин шарлатан. Ха, ха, ха! Какую болезнь вы нашли у меня? Ха, ха, ха! Во всяком случае, не размягчение мозга?

— Сыщик! — говорю я.

— Именно, — отвечает Бидл. — Мне придется сдать вас шерифу.

— Ну, это мы еще посмотрим! — говорю я, хватаю его за горло и чуть не выбрасываю из окна. Но он вынимает револьвер, сует мне его в подбородок, и я успокаиваюсь. Затем он надевает на меня наручники и вытаскивает из моего кармана только что полученные деньги.

— Я свидетельствую, — говорит он, — что это те самые банкноты, которые мы с вами отметили, судья Бэнкс. Я вручу их в полицейском участке шерифу, и он пришлет вам расписку. Им придется фигурировать в деле в качестве вещественного доказательства.

— Ладно, мистер Бидл, — говорит мэр. — А теперь, доктор Воф-Ху — продолжает он, обращаясь ко мне, — почему вы не воспользуетесь своим магнетизмом и не сбросите с себя кандалы?

— Пойдемте, сержант, — говорю я с достоинством. — Нечего делать, надо покориться

судьбе. — А затем, оборачиваясь к старому Бэнксу и потрясая кандалами, говорю:

— Мистер мэр, недалеко то время, когда вы убедитесь, что персональный магнетизм огромная сила, которая сильнее вашей власти. Вы увидите, что победит она.

И она действительно победила.

Когда мы дошли до ворот, я говорю сыщику:

— А теперь, Энди, сними-ка с меня наручники, а то перед прохожими неловко...

Что? Ну да, конечно, это был Энди Таккер. Весь план был его изобретением: так-то мы и добыли денег для дальнейшего совместного бизнеса.

Развлечения современной деревни

Перевод К. Чуковского

Джефф Питерс нуждается в напоминаниях. Всякий раз, когда попросишь его рассказать какое-нибудь приключение, он уверяет, что жизнь его так же бедна событиями, как самый длинный из романов Троллопа.⁷⁴ Но если незаметно заманить его, он попадается. Поэтому я всегда бросаю несколько самых разнообразных наживок, прежде чем удостоверюсь, что он клюнул.

— По моим наблюдениям, — сказал я однажды, — среди фермеров Запада, при всей их зажиточности, снова заметно движение в пользу старых популистских кумиров.⁷⁵

— Уж такой сезон, — сказал Джефф, — всюду заметно движение. Фермеры куда-то порываются, сельдь идет несметными косяками, из деревьев сочится смола, и на реке Конемо начался ледоход. Я немного разбираюсь в фермерах. Однажды я вообразил, что нашел фермера, который хоть немного отклонился от проторенной колеи своих братьев. Но Энди Таккер доказал мне, что я ошибаюсь. «Фермером родился — простофилей умрешь», — сказал Энди. «Фермер — это человек, пробившийся в люди наперекор всем политическим баламутам, баллотировкам и балету, — сказал Энди, — и я не знаю, кого бы мы стали надувать, если б его не было на свете».

Как-то просыпаемся мы с Энди утром, а у нас всего капитала шестьдесят восемь центов. Было это в желтой сосновой гостинице, в Южной Индиане. Как мы накануне соскочили с поезда, я не могу вам сказать; об этом даже страшно подумать, потому что поезд шел мимо деревни так быстро, что из окна вагона нам казалось, будто мы видим салун, а когда мы соскочили, мы увидели, что это были две разные вещи, отстоявшие одна от другой на два квартала: аптекарский магазин и цистерна с водой.

Почему мы соскочили с поезда при первом же удобном случае? Тут были замешаны часики из фальшивого золота и партия брильянтов с Аляски, которые нам не удалось спустить по ту сторону кентуккийской границы.

Когда я проснулся, я услышал, что кричат петухи; пахло чем-то вроде азотно-соляной кислоты; что-то тяжелое хлопнулось об пол в нижнем этаже; какой-то мужчина ругнулся.

— Энди, — говорю я, — смотри веселее! Мы ведь попали в деревню. Там внизу кто-то швырнул для пробы фальшивым слитком чистого золота. Пойдем и получим с фермера то, что нам причитается. Обмишулим его, а потом до свидания.

Фермеры всегда были для меня чем-то вроде запасного фонда. Всякий раз, бывало, чуть дела у меня пошатнутся, я иду на перекресток, зацепляю фермера крючком за подтяжку,

⁷⁴ Троллоп Энтони (1815–1882) — английский писатель, автор пространных бытовых романов.

⁷⁵ Популисты — мелкобуржуазная фермерская партия, созданная в 1891 г. и провозгласившая борьбу за некоторые реформы — передачу государству железных дорог и телеграфа, введение подоходного налога, ограничение земельной собственности и др.

выкладываю ему механическим голосом программу моей плутни, бегло проглядываю его имущество, отдаю назад ключ, оселок и бумаги, имеющие цену для него одного, и спокойно удаляюсь прочь, не задавая никаких вопросов. Конечно, фермеры были для нас слишком мелкая дичь, обычно мы с Энди занимались делами поважнее, но иногда, в редких случаях, и фермеры бывали нам полезны, как порой для воротил с Уолл-стрит бывает полезен даже министр финансов.

Спустившись вниз, мы увидели, что находимся в замечательной земледельческой местности. За две мили на горке стоял среди купы деревьев большой белый дом, а кругом была сельскохозяйственная смесь из амбаров, пастбищ, полянок и флигелей.

— Чей это дом? — спросили мы у нашего хозяина.

— Это, — говорит он, — обиталище, а также лесные, земельные и садовые угодья фермера Эзры Планкетта, одного из самых передовых наших граждан.

После завтрака мы с Энди, оставшись при восьми центах капитала, принялись составлять гороскоп этого земельного магната.

— Я пойду к нему один, — сказал я. — Мы вдвоем против одного фермера — это было бы слишком много. Это все равно, как если бы Рузвельт пошел на одного медведя с двумя кулаками.

— Ладно, — соглашается Энди. — Я тоже предпочитаю действовать по-джентльменски даже по отношению к такому огороднику. Но на какую приманку ты думаешь изловить эту Эзру?

— О, все равно, — говорю я. — Здесь годится всякая приманка, первое, что мне попадется, когда я суну руку в чемодан. Я, пожалуй, захвачу с собой квитанции в получении подоходного налога; и рецепт для приготовления клеверного меда из творога и яблочной кожуры; и бланки заказов на носилки Мак-Горни, которые потом оказываются косилкой Мак-Кормика; и маленький карманный слиток золота; жемчужное ожерелье, найденное мною в вагоне; и...

— Довольно, — говорит Энди. — Любая из этих приманок должна подействовать. Да смотри, Джефф, пусть этот кукурузник не дает тебе грязных кредиток, а только новые, чистенькие. Это просто позор для Департамента земледелия, для нашей бюрократии, для нашей пищевой промышленности — какими гнусными, дрянными бумажками расплачиваются с нами иные фермеры. Мне случалось получать от них доллары что твоя культура бактерий, выловленных в карете скорой помощи.

Хорошо. Иду я на конюшню и нанимаю двуколку, причем платы вперед с меня не требуют ввиду моей приличной наружности. Подъезжаю к ферме, привязываю лошадь. Вижу — на ступеньках крыльца сидит какой-то франтоватый субъект в белоснежном фланелевом костюме, в розовом галстуке, с бриллиантовым перстнем и в кепке для спорта. «Должно быть, дачник», — думаю я про себя.

— Как бы мне увидеть фермера Эзру Планкетта? — спрашиваю я у субъекта.

— Он перед вами, — отвечает субъект. — А что вам надо?

Я ничего не ответил. Я стоял как вкопанный и повторял про себя веселую песенку о «человеке с мотыгой».⁷⁶

Вот тебе и человек с мотыгой! Когда я всмотрелся в этого фермера, маленькие пустячки, которые я захватил с собой, чтобы выжать из него монету, показались мне такими безнадежными, как попытка разнести вдребезги Мясной трест при помощи игрушечного ружья.

Он смерил меня глазами и говорит:

— Ну, рассказывайте, чего вы хотите. Я вижу, что левый карман пиджака у вас чересчур оттопыривается. Там золотой слиток, не правда ли? Давайте-ка его сюда, мне как раз нужны

⁷⁶ «Человек с мотыгой» (1899) — стихотворение американского поэта Эдвина Маркхема о фермере, замученном непосильным трудом.

кирпичи, а басни о затерянных серебряных рудниках меня мало интересуют.

Я почувствовал, что я был безмозглый дурак, когда верил в законы дедукции, но все же вытащил из кармана свой маленький слиток, тщательно завернутый в платок. Он взвесил его на руке и говорит:

— Один доллар восемьдесят центов. Идет?

— Свинец, из которого сделано это золото, и тот стоит дороже, — сказал я с достоинством и положил мой слиток обратно в карман.

— Не хотите — не надо, я просто хотел купить его для коллекции, которую я стал составлять, — говорит фермер. — Не дальше как на прошлой неделе я купил один хороший экземпляр. Просили за него пять тысяч долларов, а уступили за два доллара и десять центов.

Тут в доме зазвонил телефон.

— Войдите, красавец, в комнату, — говорит фермер. — Поглядите, как я живу. Иногда мне скучно в одиночестве. Это, вероятно, звонят из Нью-Йорка.

Вошли мы в комнату. Мебель как у бродвейского маклера: дубовые конторки, два телефона, кресло и кушетки, обитые испанским сафьяном, картины, писанные масляной краской, в позолоченных рамах, а рамы в ширину не меньше фута, а в уголке — телеграфный аппарат отстукивает новости.

— Алло, алло! — кричит фермер. — Это Риджент-театр? Да, да, с вами говорит Планкетт из имения «Центральная жимолость». Оставьте мне четыре кресла в первом ряду — на пятницу, на вечерний спектакль. Мои всегдашние. Да. На пятницу. До свидания.

— Каждые две недели я езжу в Нью-Йорк освежиться, — объясняет мне фермер, вешая трубку. — Вскликаю в Индианополисе в восемнадцатичасовой экспресс, провожу десять часов среди белой ночи на Бродвее и возвращаюсь домой как раз к тому времени, как куры идут на насест, — через сорок восемь часов. Да, да, первобытный юный фермер пещерного периода, из тех, что описывал Хаббард,⁷⁷ немножко приоделся и обтесался за последнее время, а? Как вы находите?

— Я как будто замечаю, — говорю я, — некоторое нарушение аграрных традиций, которые до сих пор внушали мне такое доверие.

— Верно, красавец, — говорит он. — Недалеко то время, когда та примула, что «желтеет в траве у ручейка», будет казаться нам, деревенщинам, роскошным изданием «Языка цветов» на веленовой бумаге с фронтисписом.

Но тут опять зазвонил телефон.

— Алло, алло! — говорит фермер. — А-а, это Перкинс, из Миллдэйла? Я уже сказал вам, что восемьсот долларов за этого жеребца — слишком большая цена. Что, этот конь при вас? Ладно, покажите его. Отойдите от аппарата. Пустите его рысью по кругу. Быстрее, еще быстрее... Да, да, я слышу. Но еще быстрее... Довольно. Подведите его к телефону. Ближе. Придвиньте его морду к аппарату. Подождите минуту. Нет, мне не нужна эта лошадь. Что? Нет. Я ее и даром не возьму. Она хромая. Кроме того, она с запалом. Прощайте.

— Ну, красавец, — обращается он ко мне, — теперь вы видите, что деревенщина постриглась. Вы обломок далекого прошлого. Да что там, самому Тому Лоусону не пришло бы в голову попытаться застать врасплох современного агрария. Нынче на фермах уже суббота, четырнадцатое.⁷⁸ Вот, посмотрите, как мы, деревенские люди, стараемся не отстать от событий.

Подводит он меня к столу, а на столе стоит машинка, а у машинки две такие штучки, чтобы вставить их в уши и слушать. Вставляю и слушаю. Женский голос читает названия убийств, несчастных случаев и прочих пертурбаций политической жизни.

⁷⁷ Хаббард Фрэнк (1868–1930) — американский юморист и карикатурист.

⁷⁸ Лоусон Томас (1857–1925) — американский финансист и писатель, разоблачавший коррупцию финансовых кругов в ряде статей, а также в романе «Пятница, тринадцатое» (1907).

— То, что вы слышите, — объясняет мне фермер, — это сводка сегодняшних новостей из газет Нью-Йорка, Чикаго, Сент-Луиса и Сан-Франциско. Их сообщают по телеграфу в наше деревенское Бюро последних известий и подают в горячем виде подписчикам. Здесь, на этом столе, лучшие газеты и журналы Америки. А также отрывки из будущих журнальных статей.

Я взял один листок и прочитал: «Корректуры будущих статей. В июле 1909 года журнал «Сенчури» скажет...» и так далее.

Фермер звонит кому-то, должно быть своему управляющему, и приказывает ему продать джерсейских баранов — пятнадцать голов — по шестьсот долларов; засеять пшеницей девятьсот акров земли и доставить на станцию еще двести бидонов молока для молочной цистерны. Потом он предлагает мне первого сорта сигару фабрики Генри Клея, потом достает из буфета бутылку зеленого шартреза, потом идет и глядит на ленту своего телеграфа.

— Газовые акции поднялись на два пункта, — говорит он. — Очень хорошо.

— А может быть, вас медь интересует? — спрашиваю я.

— Осади назад! — кричит он и поднимает руку. — А не то я позову собаку. Я уже сказал вам, чтобы вы не тратили времени зря. Меня не надуете.

Через несколько минут он говорит:

— Знаете что, красавец, не уйти ли вам из этого дома? Я, конечно, очень рад и все такое, но у меня спешное дело: я должен написать для одного журнала статью «Химера коммунизма», а потом перед вечером побывать на собрании «Ассоциации для улучшения беговых дорожек». Ведь вам уже ясно, что ни в какие ваши снадобья я все равно не поверю.

Что мне оставалось делать, сэр? Вскочил я в свою тележку, лошадь повернула и привезла меня в наш отель. Я оставил ее у крыльца, сам побежал к Энди. Он у себя в номере, я рассказываю ему о моем свидании с фермером и слово в слово повторяю весь разговор. Я до того обалдел, что сижу и дергаю краешек скатерти, а мыслей у меня никаких.

— Не знаю, что и делать, — говорю я и, чтобы скрыть свой позор, напеваю печальную и глупую песенку.

Энди шагает по комнате взад и вперед и кусает конец левого уса, а это всегда означает, что он обмозговывает какой-нибудь план.

— Джефф, — говорит он, наконец. — Я тебе верю; все, что ты сказал мне об этой фильтрованной деревенщине, правда. Но ты меня не убедил. Не может быть, чтобы в нем не осталось ни одной крупички первобытной дури, чтобы он изменил тем задачам, для которых его предназначило само Провидение. Скажи, Джефф, ты никогда не замечал во мне особо сильных религиозных наклонностей?

— Как тебе сказать, — говорю я, чтобы не оскорбить его чувств, — я встречал также немало богомольных людей, у которых означенные наклонности изливались наружу в такой микроскопической дозе, что, если потереть их белоснежным платком, платок останется без единого пятнышка.

— Я всю жизнь занимался углубленным изучением природы, начиная с сотворения мира, — говорит Энди, — и свято верую, что каждое творение Господне создано с какой-нибудь высшей целью. Фермеры тоже созданы Богом не зря: предназначение фермеров заключается в том, чтобы кормить, одевать и поить таких джентльменов, как мы. Иначе зачем бы наделил нас Господь мозгами? Я убежден, что манна, которой израильтяне сорок дней питались в пустыне, — не что иное, как фигуральное обозначение фермеров; так оно осталось по сей день. А теперь, — говорит Энди, — я проверю свою теорию: «Раз ты фермер, быть тебе в дураках», несмотря на всю лакировку и другие орнаменты, которыми лжецивилизация наделила его.

— И тоже останешься с носом, — говорю я. — Этот фермер стряхнул с себя всякие путы овчарни. Он забаррикадировался высшими достижениями электричества, образования, литературы и разума.

— Попробую, — говорит Энди. — Существуют законы природы, которых не может изменить даже Бесплатная Доставка на Дом в Сельских Местностях.

Тут Энди удаляется в чуланчик и выходит оттуда в клетчатом костюме; бурые клетки и

желтые, и такие большие, как ваша ладонь. Блестящий цилиндр и ярко-красный жилет с синими крапинками. Усы у него были песочного цвета, а теперь, смотрю, они синие, как будто он окунул их в чернила.

— Великий Барнум,⁷⁹ — говорю я. — Что это ты так расфуфырился? Точно цирковой фокусник, хоть сейчас на арену.

— Ладно, — отвечает Энди. — Тележка еще у крыльца? Жди меня, я скоро вернусь.

Через два часа Энди входит в комнату и кладет на стол пачку долларов.

— Восемьсот шестьдесят, — говорит он. — Дело было так. Я застал его дома. Он посмотрел на меня и начал надо мною издеваться. Я не ответил ни слова, но достал скорлупки от грецких орехов и стал катать по столу маленький шарик. Потом, посвистев немного, я сказал старинную формулу:

— Ну джентльмены, подходите поближе и смотрите на этот маленький шарик. Ведь за это с вас не требуют денег. Вот он здесь, а вот его нету. Отгадайте, где он теперь. Ловкость рук обманывает глаз.

Говорю, а сам смотрю на фермера. У того даже пот на лбу выступил. Он идет, закрывает парадную дверь и смотрит не отрываясь на шарик. А потом говорит:

— Ставлю двадцать долларов, что я знаю, под какой скорлупкой спрятана ваша горошина. Вот под этой...

— Дальше рассказывать нечего, — продолжал Энди. — Он имел при себе только восемьсот шестьдесят долларов наличными. Когда я уходил, он проводил меня до ворот. Он крепко пожал мне руку и со слезами на глазах сказал:

— Милый, спасибо тебе; много лет я не испытывал такого блаженства. Твоя игра в скорлупку напомнила мне те счастливые невозвратные годы, когда я еще был не аграрием, а просто-напросто фермером. Всего тебе хорошего.

Тут Джефф Питерс умолк, и я понял, что рассказ его окончен.

— Так вы думаете... — начал я.

— Да, — сказал Джефф, — в этом роде. Пускай себе фермеры идут по пути прогресса и развлекаются высшей политикой. Житье-то на ферме скучное; а в скорлупку им приходилось играть и прежде.

Кафедра филантроматематики

Перевод К. Чуковского

— Посмотрите-ка, — сказал я, — вот поистине царственный дар: на образовательные учреждения пожертвовано больше пятидесяти миллионов долларов.

Я просматривал хронику вечерней газеты, а Джефф Питерс набивал свою терновую трубку.

— По этому случаю, — сказал он, — не грех распечатать новую колоду и устроить вечер хоровой декламации силами студентов филантроматематики.

— Это намек? — спросил я.

— Намек, — сказал Джефф. — Разве я никогда не рассказывал вам, как мы с Энди Таккером занимались филантропией? Было это лет восемь назад в Аризоне. Мы разъезжали в двухконном фургоне по горным ущельям Хила — искали серебро. Нашли — и продали свою заявку в городе Таксоне за двадцать пять тысяч долларов. В банке заплатили нам серебряной монетой — по тысяче долларов в каждом мешке. Нагрузили мы эти мешки в фургон и помчались на восток как безумные. Разум вернулся к нам только тогда, когда мы отмахали миль сто. Двадцать пять тысяч долларов — это кажется сущей безделицей, когда читаешь

⁷⁹ Ф. Т. Барнум — владелец известного в свое время американского цирка.

ежегодный отчет Пенсильванской железной дороги или слушаешь, как актер разглагольствует о своем гонораре; но если ты в любую минуту можешь приподнять парусину фургона и, ткнув сапогом мешок, услышать серебряный звон, ты чувствуешь, как будто ты круглосуточный банк в те часы, когда операции в полном разгаре.

На третий день приехали мы в городишко — самый чистенький и аккуратненький, какой когда-либо создавала природа или фирма Рэнд и Мак-Нэлли.⁸⁰ Он был расположен у подошвы горы и украшен деревьями, цветами и двумя тысячами приветливых, полусонных жителей. Назывался он Флоресвиль или что-то вроде этого, и природа еще не осквернила его ни железными дорогами, ни блохами, ни туристами из восточных штатов. Внесли мы наши деньги на имя Питерса и Таккера в банк «Эсперанца» и остановились в гостинице «Небесный пейзаж». После ужина сидим и покуриваем; вот тогда-то меня и осенило: почему бы не сделаться нам филантропами? По-моему, эта мысль, рано или поздно, приходит в голову каждому жулику.

Когда человек ограбил своих ближних на известную сумму, ему становится жутковато и хочется отдать часть награбленного. И если последить за ним внимательно, можно заметить, что он пытается компенсировать тех же людей, которых еще так недавно очистил до нитки. Возьмем гидростатический случай: предположим, некто А. нажил миллионы, продавая керосин неимущим ученым, которые изучают политическую экономию и методы управления трестами. Так вот, эти доллары, которые гнетут его совесть, он непременно пожертвует университетам и колледжам.

Что же касается В., тот нажился на рабочих, у которых всего богатства — руки да инструмент. Как же ему перекачать некоторую долю своего покаянного фонда обратно в карманы их спецодежды?

— Я, — восклицает Б., — сделаю это во имя науки. Я погрешил против рабочего человека, но говорит же старая поговорка, что милосердие искупает немало грехов.

И он строит библиотечные здания на восемьдесят миллионов долларов, и единственные, кому от этого польза, — маляры да каменщики, работающие у него на постройке.

— А где же книги? — спрашивают любители чтения.

— А я почему знаю! — отвечает Б. — Я обещал вам библиотеку — пожалуйста, вот, получите. Если б я вам дал подмоченные привилегированные акции стального треста, вы что же, потребовали бы и воду из них в хрустальных графинах? Идите себе с богом, проваливайте!

Но, как я уже сказал, я и сам из-за такого изобилия денег заболел филантропитом. В первый раз мы с Энди раздобыли такой капитал, что даже приостановились на время и стали размышлять, каким образом он очутился у нас.

— Энди, — говорю я, — люди мы с тобой богатые. Конечно, богатство у нас не громадное, но так как мы скромный народ, то выходит, что мы богаты, как Крысы. И хочется мне подарить что-нибудь человечеству.

Энди отвечает:

— Я тоже не прочь. Чувства у нас с тобой одинаковые. Были мы мазуриками всю свою жизнь и как только не объегоривали несчастную публику. Продавали ей самовоспламеняющиеся воротнички из целлулоида, наводнили всю Джорджию пуговицами с портретами президента Гока Смита, а такого президента и не было. И я бы внес два-три пая в это предприятие по искуплению грехов, но не желаю я бить в цимбалы в Армии спасения или преподавать соплякам Ветхий Завет по системе Бертильона.⁸¹ Куда же нам истратить эти деньги? Устроить бесплатную обжорку для бедных или послать тыщонки две Джорджу

⁸⁰ Американское издательство, выпускавшее путеводители и географические карты.

⁸¹ Бертильон Альфонс (1853–1914) — французский криминалист, разработавший технику опознавания преступников по совокупности особых примет.

Кортелью?⁸²

— Ни то ни другое, — говорю я. — У нас слишком много денег, и потому мы не вправе подавать милостыню; а для полного возмещения убытков все равно не хватит капиталов. Так что надо изобрести средний путь.

На следующий день, шатаясь по Флоресвиллю, видим мы: на горке стоит какой-то красный домина, кирпичный и вроде как будто пустой. Спрашиваем у прохожих: что такое? И нам объясняют, что один шахтовладелец лет пятнадцать назад затеял построить себе на этом холме резиденцию. Строил, строил и выстроил, да заглянул в чековую книжку а у него на покупку мебели осталось два доллара и восемьдесят центов. Вложил он этот капитал в бутылочку виски, взобрался на крышу и вниз головой на то самое место, где теперь почиет в мире.

Посмотрели мы на кирпичное здание, и оба одновременно подумали: набьем-ка мы его электрическими лампочками, фланельками для вытирания перьев, профессорами, поставим на лужайку чугунного пса, статуи Геркулеса и отца Иоанна и откроем лучшее в мире бесплатное учебное заведение.

Потолковали мы об этой идее с самыми именитыми флоресвилльскими гражданами; им эта идея понравилась. Нам устраивают шикарный банкет в пожарном сарае — и вот впервые мы появляемся в роли благодетелей человечества, радеющих о просвещении и прогрессе. Энди даже речь говорил — полтора часа, никак не меньше — об орошении в Нижнем Египте, а потом завели граммофон, слушали благочестивую музыку и пили ананасный шербет.

Мы не теряли времени и пустились филантропствовать вовсю. Каждого, кто только мог отличить лестницу от молотка, мы завербовали в рабочие и принялись за ремонт. Оборудовали аудитории и классные комнаты, потом дали телеграмму в Сан-Франциско, чтобы нам прислали вагон школьных парт, мячей для футбола, учебников арифметики, перьев, словарей, профессорских кафедр, аспидных досок, скелетов, губок, двадцать семь непромокаемых мантий и шапочек для студентов старшего курса и вообще всего, что полагается для университетов самого первого сорта. Еженедельные журналы, понятно, напечатали наши портреты, гравированные на меди; а мы тем временем послали телеграмму в Чикаго, чтобы нам выслали экстренным поездом и с оплаченной погрузкой шестерых профессоров — одного по английской словесности, одного по самым новейшим мертвым языкам, одного по химии, одного по политической экономии (желателен демократ), одного по логике и одного, который знал бы итальянский язык, музыку и был бы заодно живописцем. Банк «Эсперанца» гарантировал жалованье — от восьмисот долларов до восьмисот долларов и пятидесяти центов.

В конце концов все сложилось у нас как следует. Над главным входом была высечена надпись: «Всемирный университет. Попечители и владельцы — Питерс и Таккер». И к первому сентября стали слетаться со всех сторон наши гуси. Сначала прибыли экспрессом из Таксона профессора. Были они почти все молодые, в очках, рыжие, обуреваемые двумя сентиментами: амбиция и голод. Мы с Энди расквартировали их у жителей Флоресвила и стали поджидать студентов.

Они прибывали пачками. Мы напечатали публикации о нашем университете во всех газетах штата, и нам было приятно, что страна так быстро откликнулась на наш призыв. Двести девятнадцать желторотых юнцов в возрасте от восемнадцати лет до густых волос на подбородке отозвались на трубный глас, зовущий их к бесплатному обучению. Они переделали весь этот город, как старый диван, содрали старую обшивку, разорвали ее по швам, перевернули наизнанку, набили новым волосом, и стал городок — прямо Гарвард.⁸³

Маршировали по улицам, носили университетские знамена — цвет ультрамариновый и

⁸² Кортелью Джордж — министр финансов в правительстве Теодора Рузвельта.

⁸³ Старейший из американских университетов: основан в 1636 г.

синий; очень, очень оживился Флоресвиль. Энди сказал им речь с балкона гостиницы «Небесный пейзаж»; весь город ликовал и веселился.

Понемногу — недели в две — профессорам удалось разоружить молодежь и загнать ее в классы. Приятно быть филантропом — ей-богу, нет на всем свете занятия приятнее. Мы с Энди купили себе цилиндры и стали делать вид, будто избегаем двух интервьюеров «Флоресвильской газеты». У этой газеты был фоторепортер, который снимал нас всякий раз, как мы появлялись на улице, так что наши портреты печатались каждую неделю в том отделе газеты, который озаглавлен «Народное просвещение». Энди дважды в неделю читал в университете лекции, а потом, бывало, встану я и расскажу какую-нибудь смешную историю. Один раз газета поместила мой портрет между изображениями Авраама Линкольна и Маршела П. Уайлдера.

Энди был так же увлечен филантропией, как и я. Случалось, проснемся, бывало, ночью и давай сообщать друг другу свои новые планы — что бы нам еще предпринять для университета.

— Энди, — говорю я ему однажды, — мы упустили очень важную вещь. Надо бы устроить для наших мальчуганов дромадеры.

— А что это такое? — спрашивает Энди.

— А это то, в чем спят, — говорю я. — Есть во всех университетах.

— Понимаю, ты хочешь сказать — пижамы, — говорит Энди.

— Нет, — говорю я, — дромадеры.

Но он так и не понял, что я хотел сказать, и мы не устроили никаких дромадеров. А я имел в виду такие длинные спальни в учебных заведениях, где студенты спят аккуратно, рядами.

Да, сэр, университет имел огромный успех. Флоресвиль процветал: ведь у нас были студенты из пяти штатов. Открылся новый тир, открылась новая ссудная касса, открылась парочка новых пивных. Студенты сочинили университетскую песню:

*Ро, ро, ро,
Цы, цы, цы,
Питерс, Таккер
Молодцы.
Ба, ба, ба,
Ра, ра, ра,
Университету —
Гип, ура!*

Славный был народ эти студенты; мы с Энди гордились ими, как родными детьми.

Но вот в конце октября приходит ко мне Энди и спрашивает, известно ли мне, сколько капитала осталось у нас в банке. Я сказал, что, по-моему, тысяч шестнадцать. Но Энди говорит:

— Весь наш баланс восемьсот двадцать один доллар и шестьдесят два цента.

— Как? — реву я. — Неужели ты хочешь сказать, что эти проклятые сыны конокрадов, эти толстоголовые олухи, эти заячьи уши, эти собачьи морды, эти гусиные мозги высосали из нас столько денег?

— Да, — отвечает Энди. — Именно так.

— Тогда к чертям всякую филантропию, — говорю я.

— Зачем же непременно к чертям? — спрашивает Энди. — Если поставить филантропию на коммерческую ногу, она дает очень хороший барыш. Я подумаю об этом на досуге, и авось наше дело поправится.

Проходит еще неделя. Беру я как-то университетскую ведомость для уплаты жалованья

нашим профессорам и вижу в ней новое имя: профессор Джеймс Дарнли Мак-Коркл, по кафедре математики, жалование сто долларов в неделю. Конечно, я заревел таким голосом, что Энди, как вихрь, влетел ко мне в комнату.

— Что это такое! — кричу я. — Профессор математики за пять тысяч долларов в год? Как это могло произойти? Или он, как вор, влез в окошко и назначил себя сам на эту кафедру?

— Нет, — отвечает Энди, — я вызвал его по телеграфу из Сан-Франциско неделю назад. При открытии университета мы совсем упустили из виду кафедру математики.

— И хорошо сделали! — кричу я. — У нас только и хватит капитала уплатить ему за две недели, а потом нашей филантропии будет такая же цена, как девятой лунке на поле для гольфа.

— Нечего каркать, увидим, — отвечает Энди. — Дела еще могут поправиться. Мы предприняли такое благородное дело, что теперь нельзя его бросить. Кроме того, повторяю, мне кажется, что, если перевести его на хозяйственный расчет, получится другая картина; нужно хорошенько подумать об этом. Недаром все филантропы, которых я знаю, всегда обладали большим капиталом. Мне бы давно следовало подумать об этом и выяснить, где здесь причина и где следствие.

Я знал, что Энди дока в финансовых вопросах, и оставил все это дело на его попечение. Университет процветал, цилиндры наши лоснились по-прежнему, и Флоресвиль оказывал нам такой великий почет, как будто мы миллионеры, а не жалкие прогоревшие филантропишки.

Студенты по-прежнему оживляли весь городок и способствовали его процветанию. Приехал какой-то человек из соседнего города и открыл игорный домик — над конюшней — и каждый вечер загребал кучу денег. Мы с Энди тоже побывали в его заведении и, чтобы показать, что мы не чуждаемся общества, тоже поставили на карту один-два доллара. Там, в заведении, было около пятидесяти наших студентов, они пили пунш и передвигали по столу целые горки синих и красных фишек всякий раз, как банкочет открывал карту.

— Черт возьми, — сказал я, — эти дятлы, эти безмозглые головы, охочие до бесплатной учености, шеголяют в шелковых носочках и имеют такие деньги, каких мы с тобой никогда не имели. Посмотри, какие толстые пачки достают они из своих пистолетных карманов.

— Да, — отвечает Энди. — Многие из них — сыновья богатых шахтовладельцев и фермеров. Очень жаль, что они тратят и капиталы и время на такое недостойное занятие.

На рождественские каникулы все студенты разъехались по домам. В университете состоялась прощальная вечеринка. Энди прочел лекцию «Современная музыка и доисторическая литература на островах Архипелага». Все профессора говорили нам приветственные речи и сравнивали меня и Энди с Рокфеллером и с императором Марком Автоликом. Я ударил кулаком по столу и позвал профессора Мак-Коркла; но его на вечеринке не оказалось. А мне хотелось взглянуть на человека, который, по мнению Энди, мог зарабатывать сто долларов в неделю на филантропии, да еще на такой захудалой, как наша.

Студенты уехали вечерним поездом; город опустел. Стало тихо, как в глухую полночь в школе заочного обучения. Я вошел в гостиницу, увидел, что в номере у Энди горит свет, открыл дверь и вошел.

Энди сидел за столом. Тут же сидел и содержатель игорного дома. Они делили между собой кучу денег, фута в два вышиной. Куча состояла из пачек, а каждая пачка из бумажек по тысяче долларов.

— Правильно! — говорит Энди. — По тридцати одной тысяче в каждой пачке. А, это ты, Джефф. Подходи, подходи. Вот наша доля от выручки за первый семестр во Всемирном университете, основанном с филантропической целью. Теперь ты видишь, что филантропия, если ее поставить на коммерческую ногу, есть такое искусство, которое оказывает благоденствие не только берущему, но и дающему.

— Чудесно, — говорю я. — Ты на этот счет прямо доктор наук.

— Утренним поездом надо нам уезжать, — говорит Энди. — Поди собери воротнички, манжеты и газетные вырезки.

— Чудесно, — говорю я. — Мне недолго собраться... А все же, Энди, я хотел бы

познакомиться с этим профессором Джеймсом Дарнли Мак-Корклом. Любопытно бы взглянуть на него перед нашим отъездом.

— Это нетрудно, — говорит Энди и обращается к содержателю игорного дома.

— Джим, — говорит он, — познакомься, пожалуйста, с мистером Питерсом.

Рука, которая терзает весь мир

Перевод К. Чуковского

— Многие из наших великих людей, — сказал я (по поводу целого ряда явлений), — признавали, что своими успехами они обязаны участию и помощи какой-нибудь блистательной женщины.

— Да, — сказал Джефф Питерс. — Мне случилось читать и в истории и в мифологии о Жанне д'Арк, о мадам Иэл, о миссис Кодл,⁸⁴ о Еве и других замечательных женщинах прошлого. Но женщины нашего времени, по-моему, почти бесполезны и в бизнесе, и в политической жизни. Куда годится современная женщина? Ведь мужчины в настоящее время и лучше стряпают, и лучше стирают и гладят. Лучшие сиделки, слуги, парикмахеры, стенографы, клерки — все это мужчины. Единственное дело, в котором женщина превосходит мужчину, это исполнение женских ролей в водевиле.

— А я думал, что женская чуткость и женская хитрость оказывали вам бесценные услуги в вашей... как бы это сказать? специальности...

— Да, — сказал Джефф и энергично кивнул головой, — так может показаться. А на поверку женщина — самый ненадежный товарищ во всяком благородном мошенничестве. Вдруг, ни с того ни с сего, когда вы больше всего на нее надеетесь, она становится честной и проваливает все дело. Однажды я испытал этих дамочек на собственной шкуре.

Билл Хамбл, мой старый приятель, с которым я сдружился на Территории,⁸⁵ вбил себе в голову, что ему хочется, чтобы правительство Соединенных Штатов назначило его шерифом. В ту пору мы с Энди занимались делом чистым и законным — продавали трости с набалдашниками. Если вам вздумается отвинтить набалдашник и приложить его к губам, вам прямо в рот потечет полпинты хорошего пшеничного виски, которое приятно прополощет вам горло в награду за вашу догадливость. Полиция изредка докучала нам, и, когда Билл сообщил мне, что хотел бы сделаться шерифом, я сразу смекнул, что в этой должности он был бы очень полезен торговому дому «Питерс и Таккер».

— Джефф, — говорит мне Билл, — ты человек ученый, образованный, да к тому же обладаешь всякими знаниями и сведениями касательно не одних только начальных основ, но также фактов и выводов.

— Правильно, — говорю я, — и в этом я никогда не раскаивался. Я не из тех, говорю, кто видит в образовании дешевый товар и ратует за бесплатное обучение. Скажи мне, — говорю я, — что имеет больше цены для человечества — литература или конские скачки?

— Э-э... гм... ну, разумеется, хорошие лошади... то есть я хотел сказать поэты и всякие там великие писатели, — те, конечно, идут впереди, — говорит Билл.

— Вот именно, — говорю я. — А если так, то почему же наши финансовые и гуманитарные гении берут с нас два доллара за вход на ипподром, а в библиотеки пускают бесплатно? Можно ли, — говорю я, — назвать это внедрением в массы правильного понятия об относительной ценности двух вышеупомянутых способов самообразования и разорения?

— Не угнаться мне за твоей риторикой и логикой, — говорит Билл. — Мне от тебя нужно

⁸⁴ Миссис Кодл — сварливая жена, персонаж американской юмористики.

⁸⁵ Так назывались области, фактически входившие в США, но еще не получившие статуса штата.

одно: чтобы ты съездил в Вашингтон и выхлопотал мне место шерифа. У меня, понимаешь ли, нет способностей к интригам и высокому тону. Я — простой обыватель и хочу получить это место. Вот и все. Я убил на войне семерых, а детей у меня девять душ. Я член республиканской партии с первого мая. Я не умею ни читать, ни писать и не вижу никаких оснований, почему я не гожусь для этой должности. Мне сдается, что и твой компаньон, мистер Таккер, тоже человек мозговитый и может оказать тебе содействие. Я выдам вам авансом тысячу долларов на выпивку, взятки и трамвайные билеты в Вашингтоне. Если вы устроите мне это дело, я дам вам еще тысячу наличными, кроме того — у вас будет возможность целый год безнаказанно продавать ваши контрабандные спиртуозные трости. Надеюсь, что ты добрый патриот и поможешь мне провести это дело через Белый Вигвам Великого Отца на самой восточной станции Пенсильванской железной дороги.⁸⁶

Рассказал я про это дело Энди, и оно ему страшно понравилось. Энди был сложная натура. Ему было мало шататься по деревням и продавать доверчивым фермерам комбинацию из валька для отбивания бифштеков, рожка для ботинок, щипцов для завивки, пилки для ногтей, машинки для растирания картофеля, коловорота и камертона. У Энди была душа художника, и ее нельзя было мерить чисто коммерческой меркой, как душу проповедника или учителя нравственности. Так что мы приняли предложение Билла, сели в поезд и помчались в Вашингтон.

Приехали мы, остановились в гостинице на Южно-Дакотской авеню, и я говорю Энди:

— Вот, Энди, первый раз в нашей жизни мы готовимся совершить истинно бесчестный поступок. Подкупать сенаторов нам еще никогда не случалось, но что делать, ради Билла придется пойти и на это. В делах благородных и честных можно допустить немного жульничества, но в этом грязном, отвратительном деле лучше всего — прямота. Здесь карты на стол, и никакого лукавства. Предлагаю тебе вот что: давай вручим пятьсот долларов председателю комитета избирательной кампании, получим квитанцию, положим квитанцию на стол президенту и расскажем ему про Билла. Я убежден, что президент сумеет оценить кандидата, который стремится получить должность таким прямолинейным путем, а не убивает все свое время на политические интриги.

Энди согласился со мной, но, обсудив эту идею с одним из служащих нашего отеля, мы отказались от нее. Служащий объяснил нам, что в Вашингтоне существует только один способ достать место: надо действовать через женщину, имеющую связи в сенате. Он дал нам адрес одной такой дамы, к которой и рекомендовал обратиться; звали ее миссис Эвери; он утверждал, что она очень важная птица в дипломатических кругах и высших сферах.

На следующее утро мы с Энди явились в ее особняк и были введены в приемную.

Эта миссис Эвери была бальзам и утешение для глаз. Волосы у нее были такого же цвета, как оборотная сторона двадцатидолларовой золотой облигации, глаза голубые, и вообще вся система красоты была у нее такая, что девицы, которых изображают на обложках июльских журналов, рядом с ней показались бы кухарками с угольной баржи, плывущей по реке Мононгахеле.

Платье у нее было открытое, усыпанное серебряными блестками, в ушах висюльки, на пальцах брильянты. Руки были голые, одной рукой она говорила по телефону, а другой пила чай.

Прошло немного времени, она говорит:

— Ну, мои милые, что же вам надо?

Я в самых кратких словах объяснил ей, зачем мы пришли и сколько мы можем заплатить.

— Это дело нетрудное, — отвечает она. — На Западе легко назначать кого хочешь. Посмотрим, кто может нам пригодиться. С депутатами от Территории связываться нечего. По моему, нам нужен сенатор Снайпер: он и сам оттуда, из западных штатов. Посмотрим, каким

⁸⁶ Великий Отец — на языке Билла — президент республики; Белый Вигвам — Белый дом, где живет президент; самая восточная станция Пенсильванской железной дороги — Вашингтон, столица США.

знаком отмечен он в моем маленьком приватном меню.

Тут она вынимает какие-то бумаги из ящичка, обозначенного буквой С.

— Да, говорит, у меня он отмечен звездочкой; это значит: готов к услугам. Погодите, дайте взглянуть. «Пятидесяти пяти лет от роду; состоит во втором браке; вероисповедания пресвитерианского; любит блондинок, Льва Толстого, покер и черепашие жаркое; становится сентиментален после третьей бутылки». Да, да, я уверена, что мне удастся назначить вашего приятеля мистера Баммера посланником в Бразилию.

— Не Баммера, а Хамбла, — говорю я. — Шерифом Соединенных Штатов.

— Ах да, — говорит миссис Эвери. — У меня столько подобных дел, что иногда нетрудно перепутать. Дайте все меморандумы вашего дела, мистер Питерс, и приходите через четыре дня. Думаю, что к тому времени все будет сделано.

Вернулись мы с Энди в гостиницу. Сидим и ждем. Энди шагает по комнате и жует конец своего левого уха.

— Женщина высокого ума и при этом красавица — очень редкое явление, Джефф, — говорит он.

— Такое же редкое, — говорю я, — как омлет, приготовленный из яиц той сказочной птицы, которую зовут Эпидермис.

— Такая женщина, — говорит Энди, — может обеспечить мужчине роскошную жизнь и славу.

— Едва ли, — возражаю я. — Самое большое, чем женщина может помочь мужчине получить должность, это быстро приготовить ему пищу или распуścić слух о жене другого кандидата, будто та была в прежнее время магазинной воровкой. Вмешиваться в дела и политику, — говорю я, — женщинам идет так же, как Альджернону Чарльзу Суинберну⁸⁷ быть распорядителем на ежегодном балу союза швейников. Мне известно, — говорю я Энди, — что иногда женщина как будто и правда выступает на авансцену в качестве импресарио политических затей своего мужа. Но чем это кончается? Предположим, живет себе человек спокойно, у него хорошее место — либо иностранного консула в Афганистане, либо сторожа при шлюзе на канале Делавэр — Раритан. В один прекрасный день этот человек замечает, что его жена надевает калоши и кладет в клетку канарейке трехмесячный запас корма. «На курорт?» — спрашивает он, и в глазах у него загорается надежда. «Нет, Артур, — говорит она, — в Вашингтон. Мы здесь зря пропадем. Ты бы должен быть Чрезвычайным Лизоблюдом при дворе Сент-Бриджет или Главным Портье острова Порто-Рико. Подожди, я выхлопочу тебе это место».

— И вот эта леди, — говорю я Энди, — вступает в единоборство со всеми вашингтонскими властями, имея в качестве оружия пять десятков писем, которые писал ей неразборчивым почерком один из членов кабинета, когда ей было пятнадцать лет; рекомендательное письмо от бельгийского короля Леопольда Смитсоновскому научному институту и шелковое розовое платье в крапинку канареечного цвета.

— И что же дальше? — продолжаю я. — Она помещает письма в вечерних газетах, таких же желто-розовых, как ее туалет, она читает лекции на званом обеде, устроенном в пальмовом салоне вокзала железной дороги Балтимор — Огайо, а затем идет к президенту. Девятый помощник министра торговли и труда, первый адъютант Синей комнаты и некий цветной человек (личность установить не удалось) уже ждут ее, и когда она появляется, хватают ее за руки... и за ноги. Они выносят ее на Юго-западную улицу Б.⁸⁸ и кладут на люк угольного подвала. Тем и кончается. Следующее, что мы узнаем о ней, это, что она пишет открытки китайскому посланнику — просит его устроить Артуру местечко приказчика в чайном магазине.

⁸⁷ Суинберн Альджернон Чарльз (1837–1909) — известный английский поэт.

⁸⁸ В Вашингтоне некоторые улицы называются буквами алфавита.

— Значит, — говорит Энди, — ты не думаешь, что эта миссис Эвери достанет место шерифа для нашего. Билла?

— Нет, не думаю, — отвечаю я. — Я не хочу быть скептиком, но мне кажется, что она может сделать не больше, чем ты или я.

— Ну, это ты врешь, — говорит Энди, — я готов побиться с тобой об заклад, что она устроит все как следует. С гордостью заявляю тебе, что у меня более высокое мнение о талантах и дипломатических способностях дам.

В назначенное время мы явились в особняк миссис Эвери. Внешность у нее была шикарная, такая внешность, что всякий мужчина с радостью позволил бы ей ведать всеми назначениями в стране. Но я не слишком доверяю внешности и поэтому был весьма изумлен, когда она представила нам документ, украшенный большой печатью Соединенных Штатов, а на обороте написано прекрасным почерком крупными буквами: «Уильям Генри Хамбл».

— Вы могли получить эту бумагу еще три дня тому назад, мои миленькие, — сказала она, улыбаясь. — Достать ее было очень легко, я только заикнулась, и все было моментально устроено... А теперь до свиданья. Я рада была бы поговорить с вами дольше, но я страшно занята и надеюсь, что вы простите меня. Одного я должна сегодня устроить послом, двоих — консулами, а еще человек десять на более мелкие должности. У меня нет времени даже для сна. Пожалуйста, по приезде домой кланяйтесь мистеру Хамблу.

Вручили мы ей пятьсот долларов. Она сунула их в ящик письменного стола не считая. Я положил в карман бумагу с назначением Билла, и мы откланялись.

Выехали мы домой в тот же день. Мы послали Биллу телеграмму: «Все устроено, готовы бокалы» — и чувствовали себя превосходно.

Энди всю дорогу пилил меня, что я так мало знаю женщин.

— Ладно, — говорю я. — Охотно признаю, что эта женщина меня удивила. Первый раз вижу женщину, которая выполнила то, что обещала, в назначенный срок и ничего не перепутала.

Подъезжая к Арканзасу, вынимаю я полученную нами бумагу, рассматриваю ее и молча подаю Энди — для прочтения. Энди прочел ее и не нарушил моего молчания ни словом.

В бумаге было все как следует, бумага была не фальшивая и выдана на имя Билла Хамбла, но назначали его почтмейстером в Дэд-Сити во Флориде.

На станции Литтл-Рок соскочили мы оба с поезда и послали Биллу его бумагу по почте. А сами двинулись на северо-восток, по направлению к Верхнему озеру.

С тех пор я уже никогда не встречал Билла Хамбла.

Супружество как точная наука

Перевод К. Чуковского

— Вы уже слышали от меня, — сказал Джефф Питерс, — что женское коварство никогда не внушало мне слишком большого доверия. Даже в самом невинном жульничестве невозможно полагаться на женщин как на соучастников и компаньонов.

— Комплимент заслуженный, — сказал я. — По-моему, у них есть все права называться честнейшим полом.

— А чего им и не быть честными, — сказал Джефф, — на то и мужчины, чтобы жульничать для них либо работать на них сверхурочно. Лишь до тех пор они годятся для бизнеса, покуда и чувства и волосы у них еще не слишком далеки от натуральных. А потом подавай им дублера — тяжеловоза-мужчину с одышкой и рыжими баками, с пятью ребятами и заложенным и перезаложенным домом. Взять, к примеру, хоть эту вдову, которую мы с Энди Таккером попросили оказать нам содействие, чтобы провести небольшую матримониальную затею в городишке Каире.

Когда у вас достаточно денег на рекламу — скажем, пачка толщиной с тонкий конец

фургонного дышла, — открывайте брачную контору. У нас было около шести тысяч долларов, и мы рассчитывали удвоить эту сумму в два месяца, — долгие такими делами заниматься нельзя, не имея на то официального разрешения от штата Нью-Джерси.

Мы составили объявление такого примерно сорта:

«Симпатичная вдова, прекрасной наружности, тридцати двух лет, с капиталом в три тысячи долларов, обладающая обширным поместьем, желала бы вторично выйти замуж. Мужа хотела бы иметь не богатого, но нежного сердцем, так как, по ее убеждению, солидные добродетели чаще встречаются среди бедняков. Ничего не имеет против старого или некрасивого мужа, если будет ей верен и сумеет распорядиться ее капиталом.

Желающие вступить в брак благоволят обращаться в брачную контору Питерса и Таккера, Каир, штат Иллинойс,
на имя *Одинокой* ».

— До сих пор все идет хорошо, — сказал я, когда мы состряпали это литературное произведение. — А теперь — где же мы возьмем эту женщину?

Энди смотрит на меня с холодным раздражением.

— Джефф, — говорит он, — я и не знал, что ты такой реалист в искусстве. Ну на что тебе женщина? При чем здесь женщина? Когда ты продаешь подмоченные акции на бирже, разве ты хлопчешь о том, чтобы с них и вправду капала вода? Что общего между брачным объявлением и какой-то женщиной?

— Слушай, — говорю я, — и запомни раз навсегда. Во всех моих незаконных отклонениях от легальной буквы закона я всегда держался того правила, чтобы продаваемый товар был налицо, чтобы его можно было видеть и во всякое время предъявить покупателю. Только таким способом, а также путем тщательного изучения городского устава и расписания поездов, мне удавалось избежать столкновения с полицией, даже когда бумажки в пять долларов и сигары оказывалось недостаточно. Так вот, чтобы не провалить нашу затею, мы должны обзавестись симпатичной вдовой — или другим эквивалентным товаром для предъявления клиентам — красивой или безобразной, с наличием или без наличия статей, перечисленных в нашем каталоге. Иначе — камера мирового судьи.

Энди задумывается и отменяет свое первоначальное мнение.

— Ладно, — говорит он, — может быть, и в самом деле тут необходима вдова, на случай, если почтовое или судебное ведомство вздумает сделать ревизию нашей конторы. Но где же мы сыщем такую вдову, что согласится тратить время на брачные шашни, которые заведомо не кончатся браком?

Я ответил ему, что у меня есть на примете именно такая вдова. Старый мой приятель Зики Троттер, который торговал содовой водой и дергал зубы в палатке на ярмарках, около года назад сделал из своей жены вдову, хлебнув какого-то снадобья от несварения желудка вместо того зелья, которым он имел обыкновение наклюкиваться. Я часто бывал у них в доме, и мне казалось, что нам удастся завербовать эту женщину.

До городишки, где она жила, было всего шестьдесят миль, и я сейчас же покатил туда поездом и нашел ее на прежнем месте, в том же домике, с теми же подсолнечниками в саду и цыплятами на опрокинутом корыте. Миссис Троттер вполне подходила под наше объявление, если, конечно, не считать пустяков: она была значительно старше, причем не имела ни денег, ни красивой наружности. Но ее можно было легко обработать, вид у нее был не противный, и я был рад, что могу почтить память покойного друга, дав его вдове приличный заработок.

— Благородное ли дело вы затеяли, мистер Питерс? — спросила она, когда я рассказал ей мои планы.

— Миссис Троттер! — воскликнул я. — Мы с Энди Таккером высчитали, что, по крайней мере, три тысячи мужчин, обитающих в этой безнравственной и обширной стране, попытаются, прочтя объявление в газете, получить вашу прекрасную руку, а вместе с ней и ваши несуществующие деньги и воображаемое ваше поместье. Из этого числа не меньше трех

тысяч таких, которые могут предложить вам взамен лишь свое полумертвое тело и ленивые, жадные руки, — презренные прохвосты, неудачники, лодыри, польстившиеся на ваше богатство.

— Мы с Энди, — говорю я, — намерены дать этим социальным паразитам хороший урок. С большим трудом, — говорю я, — мы с Энди отказались от мысли основать корпорацию под названием Великое Моральное и Милосердное Матримониальное Агентство. Ну, теперь вы видите, какая у нас высокая и благородная цель?

— Да, да, — отвечает она, — мне давно бы следовало знать, что вы, мистер Питерс, ни на что худое не способны. Но в чем будут заключаться мои обязанности? Неужели мне придется отказывать каждому из этих трех тысяч мерзавцев в отдельности, или мне будет предоставлено право отвергать их гуртом — десятками, дюжинами?

— Ваша должность, миссис Троттер, — говорю я, — будет простой синекурой. Мы поселим вас в номере тихой гостиницы, и никаких забот у вас не будет. Всю переписку с клиентами и вообще все дела по брачному бюро мы с Энди берем на себя. Но, конечно, — говорю я, — может случиться, что какой-нибудь пылкий вздыхатель, у которого хватит капитала на железнодорожный билет, приедет в Каир, чтобы лично завоевать ваше сердце... В таком случае вам придется потрудиться самой: собственноручно указать ему на дверь. Платить мы вам будем двадцать пять долларов в неделю, и оплата гостиницы за наш счет.

Услышав это, миссис Троттер сказала:

— Через пять минут я готова. Я только возьму пудреницу и оставлю у соседки ключ от парадной двери. Можете считать, что я уже на службе: жалование должно мне идти с этой минуты.

И вот я везу миссис Троттер в Каир. Привез, поместил ее в тихом семейном отеле, подальше от нашей квартиры, чтобы не было никаких подозрений. Потом пошел и рассказал обо всем Энди Таккеру.

— Отлично, — говорит Энди Таккер. — Теперь, когда твоя совесть спокойна, когда у тебя есть и крючок и приманка, давай-ка примемся за рыбную ловлю.

Мы пустили наше объявление по всей этой местности. Одного объявления вполне хватило. Сделай мы рекламу пошире, нам пришлось бы нанять столько клерков и девиц с завивкой перманент, что чавканье любителей жевательной резины дошло бы до самого директора почт и телеграфов. Мы положили на имя миссис Троттер две тысячи долларов в банк, а чековую книжку дали ей на руки, чтобы она могла показывать ее сомневающимся. Я знал, что она женщина честная, и не боялся доверить ей деньги.

Одно это объявление доставило нам уйму работы, по двенадцать часов в сутки мы отвечали на письма.

Поступало их штук сто в день.

Я и не подозревал никогда, что на свете есть столько любящих, но бедных мужчин, которые хотели бы жениться на симпатичной вдове и взвалить на себя бремя забот о ее капитале.

Большинство из них сообщало, что они сидят без гроша, не имеют определенных занятий и что их никто не понимает, и все же, по их словам, у них остались такие большие запасы любви и прочих мужских достоинств, что вдовушка будет счастливейшей женщиной, черпая из этих запасов.

Каждый клиент получал ответ от конторы Питерса и Таккера. Каждому сообщали, что его искреннее, интересное письмо произвело на вдову глубокое впечатление и что она просит написать ей подробнее и приложить, если возможно, фотографию. Питерс и Таккер присовокупляли к сему, что их гонорар за передачу второго письма в прекрасные ручки вдовы выражается в сумме два доллара, каковые деньги и следует приложить к письму.

Теперь вы видите, как прост и красив был наш план. Около девяноста процентов этих благороднейших искателей вдовьей руки раздобыли каким-то манером по два доллара и прислали их нам. Вот и все. Никаких хлопот. Конечно, нам пришлось поработать; мы с Энди даже поворчали немного: легко ли целый день вскрывать конверты и вынимать оттуда доллар

за долларом!

Были и такие клиенты, которые являлись лично. Их мы направляли к миссис Троттер, и она разговаривала с ними сама; только трое или четверо вернулись в контору, чтобы попросить у нас денег на обратный путь. Когда начали прибывать письма из наиболее отдаленных районов, мы с Энди стали вынимать из конвертов по двести долларов в день.

Как-то после обеда, когда наша работа была в полном разгаре и я складывал деньги в сигарные ящики: в один ящик по два доллара, в другой — по одному, а Энди насвистывал: «Не для нее венчальный звон», — входит к нам вдруг какой-то маленький шустрый субъект и так шарит глазами по стенам, будто он напал на след пропавшей из музея картины Гейнсборо. Чуть я увидел его, я почувствовал гордость, потому что наше дело правильное и придраться к нему невозможно.

— У вас сегодня что-то очень много писем, — говорит человек.

— Идем, — говорю я и беру шляпу. — Мы вас уже давно поджидаем. Я покажу вам наш товар. В добром ли здоровье был Тедди, когда вы уезжали из Вашингтона?⁸⁹

Я повел его в гостиницу «Ривервью» и познакомил с миссис Троттер. Потом показал ему банковую книжку, где значились две тысячи долларов, положенных на ее имя.

— Как будто все в порядке, — говорит сыщик.

— Да, — говорю я, — и если вы холостой человек, я позволю вам поговорить с этой дамой. С вас мы не потребуем двух долларов.

— Спасибо, — отвечал он. — Если бы я был холостой, я бы, пожалуй... Счастливо оставаться, мистер Питерс.

К концу трех месяцев у нас набралось что-то около пяти тысяч долларов, и мы решили, что пора остановиться: отовсюду на нас сыпались жалобы, да и миссис Троттер устала, — ее одолели поклонники, приходившие лично взглянуть на нее, и, кажется, ей это не очень-то нравилось.

И вот, когда мы взялись за ликвидацию дела, я пошел к миссис Троттер, чтобы уплатить ей жалованье за последнюю неделю, попрощаться с ней и взять у нее чековую книжку на две тысячи долларов, которую мы дали ей на временное хранение.

Вхожу к ней в номер. Вижу: она сидит и плачет, как девочка, которая не хочет идти в школу.

— Ну, ну, — говорю я, — о чем вы плачете? Кто-нибудь обидел вас или вы соскучились по дому?

— Нет, мистер Питерс, — отвечает она. — Я скажу вам всю правду. Вы всегда были другом Зики, и я не скрою от вас ничего. Мистер Питерс, я влюблена. Я влюблена в одного человека, влюблена так сильно, что не могу жить без него. В нем воплотился весь мой идеал, который я лелеяла всю жизнь.

— Так в чем же дело? — говорю я. — Берите его себе на здоровье. Конечно, если ваша любовь взаимная. Испытывает ли он по отношению к вам те особые болезненные чувства, какие вы испытываете по отношению к нему?

— Да, — отвечает она. — Он один из тех джентльменов, которые приходили ко мне по моему объявлению, и потому он не хочет жениться, если я не дам ему двух тысяч. Его имя Уильям Уилкинсон.

Тут она снова в истерику.

— Миссис Троттер, — говорю я ей, — нет человека, который более меня уважал бы сердечные чувства женщины. Кроме того, вы были когда-то спутницей жизни одного из моих лучших друзей. Если бы это зависело только от меня, я сказал бы: берите себе эти две тысячи и будьте счастливы с избранником вашего сердца. Мы легко можем отдать вам эти деньги, так как из ваших поклонников мы выкачали больше пяти тысяч. Но, — прибавил я, — я должен

⁸⁹ Тедди — Теодор Рузвельт — президент Соединенных Штатов в 1901–1909 гг. Говоря о Рузвельте, Питерс хотел показать, что ему известна профессия посетителя: это сыщик, прибывший из столицы по поручению властей.

посоветоваться с Энди Таккером. Он добрый человек, но делец. Мы пайщики в равной доле. Я поговорю с ним и посмотрю, что мы можем сделать для вас.

Я вернулся к Энди и рассказал ему все, что случилось.

— Так я и знал, — говорит Энди. — Я все время предчувствовал, что должно произойти что-нибудь в этом роде. Нельзя полагаться на женщину в таком предприятии, где затрагиваются сердечные струны.

— Но, Энди, — говорю я, — горько думать, что по нашей вине сердце женщины будет разбито.

— О, конечно, — говорит Энди — И потому я скажу тебе, Джефф, что я намерен сделать. У тебя всегда был мягкий и нежный характер, я же прозаичен, суховат, подозрителен. Но я готов пойти тебе навстречу. Ступай к миссис Троттер и скажи ей: пусть возьмет из банка эти две тысячи долларов, даст их своему избраннику и будет счастлива.

Я вскакиваю и целых пять минут пожимаю Энди руку, а потом бегу назад к миссис Троттер и сообщаю ей наше решение, и она плачет от радости так же бурно, как только что плакала от горя.

А через два дня мы упаковали свои вещи и приготовились к отъезду из города.

— Не думаешь ли ты, что тебе следовало бы перед отъездом нанести визит миссис Троттер? — спрашиваю я у него. — Она была бы очень рада познакомиться с тобой и выразить тебе свою благодарность.

— Боюсь, что это невозможно, — отвечает Энди. — Как бы нам на поезд не опоздать.

Я в это время как раз надевал на себя наши доллары, упакованные в особый кушак, — мы всегда перевозили деньги таким способом, как вдруг Энди вынимает из кармана целую пачку крупных банкнот и просит приобщить их к остальным капиталам.

— Что это такое? — спрашиваю я.

— Это две тысячи от миссис Троттер.

— Как же они попали к тебе?

— Сама мне дала, — отвечает Энди. — Я целый месяц бывал у нее вечерами... по три раза в неделю...

— Так ты и есть Уильям Уилкинсон? — спрашиваю я.

— Был до вчерашнего дня, — отвечает Энди.

Летний маскарад

Перевод М. Беккер

— Нелегко служить у Сатаны, — сказал Джефф Питерс. — Когда все отдыхают, тут-то он как раз и навалит на тебя кучу работы. Как говорил не то старик доктор Уоттс,⁹⁰ не то святой Павел, а может, еще какой-то диагност — «Для праздных рук всегда найдет он дело».

Помню, однажды летом я и мой компаньон Энди Таккер решили немножко отдохнуть, но всегда получается так, что наши дела увязываются за нами, куда бы мы ни двинулись.

То ли дело проповедник — он может бросить все свои обязанности и предаться радостям жизни. 31 мая он закрывает свою кафедру фольгой и москитной сеткой, хватает клюшку для гольфа, треньки и удочку и отправляется бродяжничать вокруг озера Комо или по Атлантик-Сити — в зависимости от того, насколько громогласно взывает к нему его паства. И вот, сэр, на целых три месяца он может забыть про свой бизнес — знай себе выискивай во Второзаконии, Книге притчей Соломоновых или в Послании к Тимофею цитаты, чтоб искупить свои мелкие летние грешки вроде того, что проиграл в рулетку два-три золотых или

⁹⁰ Уоттс Исаак (1674–1748) — английский священник, автор церковных гимнов и назидательных стихов для детей.

давал уроки плавания вдове пресвитерианина.

Однако я хотел описать вам наш с Энди летний отпуск, который оказался совсем не отпуском.

Нам надоели финансы и все прочие отрасли еретического плутовства. Даже Энди Таккер, чей мозг работает почти без передышки, начал скрипеть, как пресс для теннисной ракетки.

— Эх-ма! — говорит Энди. — Я устал. Дай пару! Полный ход вперед! Покатим на Ривьеру! Где моя яхта «Корсар»?⁹¹ Хочу слоняться праздно и душу ублажать, как заявил Уолт Уитьер.⁹² Хочу сыграть в пинокль с кардиналом Мерри дель Валем, или задать порку арендаторам в моих территаунских поместьях, или, нарядившись в шотландскую юбку, произносить речи на летнем сборе учителей в Шатокве,⁹³ или делать еще что-нибудь этакое необычное, летнее, солнечное, непохожее на вульгарную кражу со взломом.

— Терпение, — говорю я. — Прежде чем насладиться лаврами, венчающими ноги великих капитанов промышленности, тебе придется подняться на ступень выше в твоей собственной профессии. Что касается меня, Энди, то мне нужен летний отдых в горной деревушке вдали от сцен воровства, труда и концентрации капитала. Я тоже устал, и недельки три-четыре безгрешности позволят нам войти в хорошую форму, а осенью мы снова примемся облегчать бремя белого человека.

Энди одобрил идею лечения отдыхом. Мы обратились к агентам бюро путешествий при всех железных дорогах с просьбой прислать нам литературу о курортах, и целую неделю потратили на изучение вопроса, куда нам ехать. Я всегда считал, что первым в мире агентом бюро путешествий был этот субъект по фамилии Генезис.⁹⁴ Однако в его время не было никакой конкуренции, и когда он сказал: «Господь сотворил землю за шесть дней и увидел, что это хорошо весьма», ему и в голову не приходило, до какой степени пресс-агенты летних гостиниц будут впоследствии изощряться в плагиатах с его писаний.

Досконально изучив эти проспекты, мы ясно поняли, что вся Америка от Пассадумкега, что в штате Мэн, до Эль-Пасо и от Скагуэя до Ки-Уэста — не что иное, как рай, переполненный горными вершинами, кристально чистыми озерами, яйцами прямо из-под кур, гольфом, девицами, гаражами, прохладительными бризами, пикниками, клозетами под сенью струй, теннисом — и все это не более чем в двух часах езды.

Ну вот, значит, мы с Энди выбрасываем эти книжонки на помойку, складываем чемодан, покупаем билеты на шестичасовой поезд «Летающая черепаха» и едем на станцию Вороний Бугор — забытое богом местечко в горах на линии Теннесси — Северная Каролина.

Нам рекомендовали гостиницу под названием «Лесной сурок», и туда-то мы с Энди и направили свои стопы (и чуть было их не обломали о тамошние пни и камень). Гостиница стояла в стороне от дороги в большой роще, и ее широкие затененные веранды, на которых сидели в качалках женщины в белых платьях, являли весьма приятное зрелище. Остальная часть Вороньего Бугра состояла из почтовой конторы и скудного пейзажа под углом 45° к небосводу.

И кто, по-вашему, встречает нас у калитки, сэр? Не кто иной, как старик Выкури-Вон Смизерс, бывший продавец электрических грелок для больной печени и лучший на всем Юго-Западе уличный дантист (лечение и удаление зубов без боли). Старик Выкури-Вон наряжен на клерикально-пейзанский манер и имеет вид не то землевладельца, не то захватчика чужих

⁹¹ «Корсар» — яхта Моргана.

⁹² Строка, которую, перевирая, цитирует Энди, принадлежит не Джону Гринлифу Уитьеру а Уолту Уитмену.

⁹³ Территаун — поселок в штате Нью-Йорк, где родились миллионеры Джей Гульд и Джон Рокфеллер; Шатоква — местечко на озере Шатоква в штате Нью-Йорк, где ежегодно происходили летние собрания учителей.

⁹⁴ Генезис (или Бытие) — первая книга Библии.

земельных участков. Каковое впечатление он подкрепляет рассказом о том, что он — хозяин и сотворитель «Лесного сурка». Я представляю ему Энди, и мы непринужденно болтаем о том о сем, как это бывает на собраниях совета директоров или на встречах старых приятелей вроде нашей троицы. Старик Выкури-Вон ведет нас в беседку во дворе у самых ворот, а потом берет арфу жизни и ударяет по струнам мощной правой дланью.

— Счастлив вас видеть, джентльмены, — говорит он. — Хорошо, если бы вы помогли мне выпутаться из истории, в которую я попал. Я уже слишком стар, чтобы гоняться за Фортуной по улицам, и потому арендовал эту собачью конуру в надежде, что Фортуна придет ко мне сама. За две недели до открытия сезона я получил одно письмо за подписью лейтенанта Пири, а другое — от герцога Мальборо.⁹⁵ Оба просили сдать им на лето комнаты с пансионом.

Мне ли объяснять вам, джентльмены, как важно для заштатного деревенского заведения заполучить в качестве гостей двух джентльменов, чьи имена прославлены благодаря их продолжительной связи с айсбергами и Кобургами. Я немедленно заказываю объявление о том, что «Лесной сурок» примет на лето сих выдающихся лиц, и рассылаю его по всем городам и местечкам от Ноксвилла и Шарлотты до Рыбьей Запруды и Медвежьего Угла.

А теперь взгляните на веранду, джентльмены, где в ожидании герцога и лейтенанта сидят безутешные образчики прекрасного пола. Весь дом от чердака до погреба битком набит жрицами культа героев.

Среди них — четыре учительницы нормальных школ и две ненормальных, три выпускницы средних школ в возрасте от 37 до 42 лет, две литературные старые девы и одна не пишущая, парочка дам из общества и одна дама с берегов реки Хо. Две чтицы-декламаторши ночуют в ларе для кукурузы, а на сеновал я втиснул две складных койки для кухарки и редакторши отдела светской хроники чатанугской газеты «Бинокль». Видите, какова притягательная сила имен, джентльмены? — говорит Выкури-Вон.

— Так чего ж ты теперь показываешь кукиш своей Фортуне? Это на тебя совсем непохоже, — говорю я ему.

— Я еще не кончил, — отвечает старик. — Вчера был день, назначенный для приезда прославленных лиц. Я отправился на станцию их встречать. Смотрю, сходят с поезда два явно одушевленных предмета. У обоих в руках сумки, набитые крокетными молотками, и волшебные фонари — ну, знаете, которые с кнопками. Сравниваю я эти величины с их автографами, джентльмены, и вижу, что ошибка произошла по причине моего слабого зрения. Оказалось, что это вовсе не лейтенант Пири, а некий Леви Т. Пиви, продавец содовой воды из Эшвилла, а герцог Мальборо — не кто иной, как Тео. Дрейк Мерффрисборо, приказчик в бакалейной лавке. Что я сделал? Я погрузил их обратно в вагон и постоял на платформе, пока эти низкие твари не отбыли обратно в свои низины.

Теперь вам ясно, джентльмены, в какую переделку я попал? — продолжает Выкури-Вон Смизерс. — Я известил дам, что именитые гости задержались в дороге вследствие непредвиденных обстоятельств, намекнув на подвижку льдов и богатую наследницу, и что дня через два они приедут. Когда дамы поймут, что их обманули, то все эти многочисленные ярды клетчатой кисеи и накладных локонов соберут свои пожитки и уедут. Жуткое дело, — говорит Выкури-Вон.

— Дружище! — восклицает Энди, ткнув старика пальцем в пищевод. — К чему вся эта иеремиада, когда Северный полюс и порталы замка Бленхейм⁹⁶ вступили в заговор с целью вручить вам золотые горы на серебряном блюде высшей пробы? К вам прибыли мы.

Лицо старика Выкури-Вон просветлело.

⁹⁵ Лейтенант Пири (1856–1920) — американский полярный исследователь, в 1909 г. достиг Северного полюса. Потомок герцогов Мальборо лорд Рэндолф Черчилль (отец Уинстона Черчилля) был женат на богатой американке.

⁹⁶ Замок Бленхейм — родовое поместье герцогов Мальборо в Англии.

— Вы можете это сделать, джентльмены? — спрашивает он. — Вы могли бы это сделать? Вы могли бы изобразить полярного исследователя и коротышку-герцога для этих милых дам? Вы это сделаете?

Я вижу, что Энди уже обуяла его старая перорально-полиглотическая система плутовства. Этот человек владел словарем тысяч в десять слов и синонимов, которые, едва успев слететь с его языка, тут же выстраивались в мудреные притчи и софизмы.

— Послушайте, — говорит Энди старику Выкури-Вон. — Вы спрашиваете, можем ли мы это сделать? Мистер Смизерс, перед вами — два человека, лучше всех на свете экипированные для обольщения неимущих классов, будь то посредством оборотов речи, ловкости рук или резвости ног. Герцоги приходят и уходят, полярные исследователи уходят и без вести пропадают во льдах, а мы с Джеффом Питерсом пребываем вовеки. Если таково ваше желание, мы и есть та пара знаменитых постояльцев, которых вы ожидали. И вы убедитесь, что мы придадим настоящий местный колорит всем главным ролям от северного сияния до герцогских фризов и карнизов.

Старик Выкури-Вон приходит в восторг. Он ведет нас с Энди под ручки в гостиницу и всю дорогу клянется, что роскошнейшие консервированные фрукты и другие деликатесы прямо со скорых товарных поездов будут бесплатно предоставлены нам на все то время, пока мы у него живем.

Подойдя к веранде, Выкури-Вон говорит:

— Уважаемые дамы, имею честь представить вам его экселенцию герцога Мальборо и прославленного изобретателя Северного полюса лейтенанта Пири.

Под шелест многочисленных юбок и скрип качалок мы с Энди отвешиваем поклоны и идем записываться в книгу для приезжающих. Затем мы умываемся, переворачиваем свои манжеты, а хозяин, проводив нас в отведенные нам комнаты, достает четвертную бутылку настоящей «горной росы» из Северной Каролины.

Когда Энди стал пить, я сразу понял, что это плохо кончится. Он подвержен артистическому метемпсихозу — будучи трезвым, он наполовину пьян, а стоит ему чуть-чуть пригубить, как он уже начинает смотреть сверху вниз на аэропланы.

Просидев некоторое время за бутылкой, мы с Энди вышли на веранду, где дамы сразу же начали зарабатывать нам на пропитание. Мы уселись в наши кресла, а учительницы и литераторши окружили нас тесным кольцом своих качалок.

Одна дама обращается ко мне с вопросом:

— Как прошло ваше последнее предприятие, сэр?

При этих словах я вспоминаю, что начисто забыл сговориться с Энди насчет того, кто я — герцог или лейтенант. А из вопроса этой дамы никак нельзя было понять, интересуют ли ее экспедиции арктические или матримониальные. Поэтому я дал ответ, подходящий для обоих случаев.

— Ах, сударыня, — говорю я ей, — я получил ледяной душ, изрядный ледяной душ, сударыня.

Тут Энди открывает шлюзы своего красноречия, и мне сразу становится ясно, которую из двух мнимых знаменитостей я в этом спектакле играю. Ни ту и ни другую. Обеих играет Энди. Более того, он, очевидно, задался целью стать рупором всей британской знати и всех исследователей Арктики, начиная с сэра Джона Франклина и до наших дней. Это был союз кукурузной водки с солидной беллетристической формой, которую столь высоко ценит мистер У. Д. Хоулетт.⁹⁷

— Уважаемые дамы, я весьма счастлив посетить Америку, — говорит Энди, улыбаясь всему полукругу качалок. — Я считаю, что великая хартия вольностей, воздушные шары и лыжи отнюдь не наносят ущерба красоте и очарованию американских женщин и небоскребов, а также архитектуре ваших айсбергов. В следующий раз, когда я поеду за Северным полюсом,

⁹⁷ Питерс искажает фамилию американского писателя У. Д. Хоуэlsa.

все гренландские Вандербильты вместе взятые не осмелятся оказать мне холодный прием, то есть, вернее, задать мне жару.

— Опишите нам какое-нибудь из ваших путешествий, лейтенант, — просит одна нормальная.

— Извольте, — решительно отвечает Энди, икая. — Прошлой весной я доплыл на замке Бленхейм до 87-го градуса широты по Фаренгейту и побил рекорд. Милые дамы, — продолжает он, — это было поистине печальное зрелище — в краю полугодовой ночи пропал без вести герцог, связанный с одним из лучших ваших семейств узами гражданской и литургической ипотеки. Когда разбились четыре склянки, в поле зрения показалось Вестминстерское аббатство, но у нас не было ни капли еды. В полдень мы выбросили за борт пять мешков с песком, и корабль поднялся на пятнадцать узлов выше. В полночь все рестораны закрылись. Сидя на ледяной лепешке, мы съели семь горячих сосисок. Вокруг простирался снег и лед. За ночь боцман вставал шесть раз — он отрывал листки от календаря, чтобы нам не отстать от барометра. В полдень, — с болью в голосе произнес Энди, — три огромных белых медведя впрыгнули через люк в каюту, и тогда...

— Что тогда, лейтенант? — замирая от волнения, спрашивает одна из учительниц.

Энди громко всхлипывает.

— Герцогиня толкнула меня в бок! — восклицает он, сползает с кресла и разражается рыданиями на полу.

Ну тут, разумеется, наша афера с треском лопнула. Наутро все постоялицы уехали. Хозяин целых два дня не желал с нами разговаривать, но, убедившись, что мы способны заплатить за стол и квартиру, сменил гнев на милость.

В итоге мы с Энди безмятежно провели лето, а покидая Вороний Бугор, еще увезли с собой 1100 долларов, которые старик Выкури-Вон проиграл нам в семерку.

Стриженный волк

Перевод К. Чуковского

Джефф Питерс был готов спорить со мной без конца, едва только, бывало, зайдет у нас речь, можно ли считать его профессию честной.

— Уж на что мы друзья с Энди Таккером, — говаривал он, — но и в нашей дружбе появлялась очень заметная трещина, — правда, единственная, — когда мы не могли с ним согласиться насчет нравственной природы жульничества. У меня были свои принципы, у Энди свои. Я далеко не всегда одобрял выдвигаемые Энди Таккером проекты о взимании контрибуции с публики, а он, со своей стороны, был уверен, что я слишком часто вмешиваю в коммерческие операции совесть и наношу таким образом нашей фирме немалый ущерб.

Случалось, что в наших спорах мы хватали через край. Однажды в пылу полемики он даже выразился, будто я нисколько не лучше Рокфеллера.

— Энди! — ответил я. — Я знаю, что ты хочешь нанести мне обиду. Но мы с тобою давние приятели, и я не стану обижаться на такие ругательства, о которых ты и сам пожалеешь, когда к тебе вернется хладнокровие. Ведь я еще никогда не подлизывался к судебному приставу.

Однажды, в летнюю пору, мы с Энди решили отдохнуть в Кентуккийских горах, в небольшом городишке Грассдейл. Считалось, что мы скотопромышленники и к тому же солидные почтенные граждане, которые приехали сюда провести отпуск. Жителям Грассдейла мы пришлись по душе, и потому мы решили прекратить военные действия и не морочить их — куда мы живем в ихнем городе — ни проспектами каучуковой концессии, ни сверканием бразильских брильянтов.

Жили мы в гостинице, и вот однажды приходит к нам самый крупный грассдейлский торговец железною утварью и садится с нами на веранде, чтобы покурить за компанию. Мы

еще раньше успели хорошо познакомиться с ним, так как нам случалось не раз наблюдать, как во дворе городского суда он в послеобеденный час играет в железные кольца. У него была одышка. Был он крикливый и рыжий. Но в общем толстый и такой важный, степенный, что даже глядеть удивительно.

Сначала мы поговорили о разных злободневных новостях, а потом этот Меркисон — у него была такая фамилия — достает из бокового кармана письмо и с таким беззаботно-озабоченным видом дает его нам прочитать.

— Ну, как вам это нравится? — говорит он и смеется. — Послать такое письмо МНЕ!

Мы с Энди сразу же смекнули, в чем дело. Но делаем вид, будто внимательно вчитываемся в каждое слово. Письмо напечатано на машинке — одно из тех старомодных писем, где вам объясняют, каким манером вы можете за одну тысячу долларов получить целых пять, — и притом такими бумажками, что никакой эксперт не отличит их от настоящих. В письме сообщалось, что эти доллары являются оттисками с подлинных клише Государственного казначейства в Вашингтоне, выкраденных тамошним служащим.

— Подумать только, что они смеют с подобными письмами обращаться ко МНЕ!

— Ну, что за беда! — говорит Энди. — Такие письма рассылаются и порядочным людям. Если вы не ответите этим аферистам на первое их письмо, они отстанут. А если откликнетесь, напишут вам снова и предложат вам принести ваши доллары к ним и совершить любовную сделку.

— Но подумать только, что с подобным письмом они посмели обратиться ко МНЕ! — возмущается Меркисон.

Через несколько дней он приходит опять.

— Друзья! — говорит он. — Я знаю, вы люди безукоризненной честности, иначе я не стал бы откровенничать с вами. Знайте: я написал тем мошенникам, просто так, для потехи. Они тотчас же прислали ответ: предлагают приехать в Чикаго. В день своего отъезда я должен послать телеграмму на имя Дж. Смита. А в Чикаго — встать на такой-то улице, на таком-то углу и ждать. Там подойдет ко мне один в сером костюме и уронит передо мною газету. Тогда мне следует спросить у него, теплая ли сегодня вода. Таким образом он узнает, что я — это я, а я узнаю, что он — это он.

— Старая штука, — говорит Энди, зевая. — Я часто читал про такие проделки в газетах. Потом он ведет вас в гостиницу, в укромный застенок, а там уже поджидает вас мистер Джонс. Они показывают новехонькие, свежие, настоящие деньги — и за каждый ваш доллар продают вам пятерку. Вы видите своими глазами, как они укладывают их к вам в саквояж. Вы уверены, что доллары тут, в саквояже. А когда вам вздумается взглянуть на них снова, они, конечно, оказываются оберточной бумагой.

— Ну нет! Со мною такие штучки не пройдут, — говорит Меркисон. — Не на такого напали! Я не создал бы доходнейшего бизнеса в нашем Грассдейле, если бы у меня не было нужной смекалки. Вы сейчас сказали, мистер Таккер, что они покажут мне настоящие деньги?

— По крайней мере, я сам... то есть я читал в газетах, что эти молодчики поступают именно так.

— Друзья! — говорит Меркисон. — Я решил доказать, что им не удастся обьегорить меня. Я возьму две тыщонки, суну их в карманы штанов и проучу аферистов как следует. Стоит только Биллу Меркисону глянуть разок на настоящие деньги, уж он не оторвет от них глаз. За один доллар они предлагают пятерку — ну что ж! — им придется выложить мне чистоганом всю сумму. Для этого я приму свои меры. Нет, Билл Меркисон не такой простофиля. Вот увидите: съезжу в Чикаго и заставлю этого самого Смита выдать мне за тысячу долларов — пять. И поверьте: вода будет теплая.

И я и Энди, мы оба пытаемся вышибить у него из головы этот неудачный финансовый план. Но куда там! Он стоит на своем. «Я, — говорит, — исполню свой гражданский долг и поймаю бандитов в расставленную ими же самими ловушку. Авось это послужит им хорошим уроком!»

Меркисон уходит, а мы с Энди продолжаем сидеть и молча предаемся размышлениям о

том, как плачевно заблуждается человеческий ум. В такие размышления мы погружались не раз. Чуть выдастся у нас свободный часок, мы всегда посвящаем его благочестивым попыткам усовершенствовать свою духовную личность при помощи умственных мыслей.

Мы долго и сосредоточенно молчим. Наконец, Энди прерывает молчание.

— Джефф! — говорит он. — Признаюсь, я нередко от всего сердца хотел выбить у тебя лучшие зубы, когда ты, бывало, начнешь жевать свою мочалу о совести в бизнесе. Теперь я прихожу к убеждению, что, пожалуй, я был неправ. Как бы то ни было — в нынешнем случае я с тобою согласен вполне: по-моему, с нашей стороны было бы прямо-таки бессовестно отпустить мистера Меркисона одного, без охраны, для свидания с теми мазуриками. Ведь ему несдобровать, это ясно. Не думаешь ли ты, что мы обязаны вмешаться и предупредить катастрофу?

Я встаю, крепко жму руку Энди Таккеру и долго трясу ее.

— Энди, — говорю я, — если мне когда-нибудь и приходила в голову сердитая мысль, будто у тебя недоброе сердце, я беру эту мысль назад. Я вижу, что внутри твоей наружности все же есть зернышко добра и любви. Это делает тебе честь. Меня тоже волнует судьба Меркисона. С нашей стороны, — говорю я, — было бы грешно и постыдно, если бы мы не помешали ему ввязаться в это темное дело. Он решил ехать? Ну что же! Поедем и мы вместе с ним и не дадим этим бандитам одурачить его.

Энди вполне разделяет мои опасения, и я с радостью вижу, что он намерен активно вмешаться и положить конец махинациям с подложными долларами.

— Я не причисляю себя к очень набожным людям, — говорю я, — никогда не был ни ханжой, ни фанатиком, но не могу же я безучастно глядеть, как человек, который своей энергией, своим умом, не боясь никакого риска, создал крупное торговое дело, станет жертвой ловких негодяев, угрожающих общественному благу.

— Правильно, Джефф, — говорит Энди. — Если Меркисон заупрямится и все же поедет в Чикаго, мы не отступим от него ни на шаг. Мы обязаны сорвать эту затею. Я, так же как и ты, не потерплю, чтобы этикие деньги были брошены на ветер.

И мы пошли к Меркисону.

— Нет, друзья, — говорит Меркисон. — Я не могу допустить, чтобы сладкогласные песни тех чикагских сирен унеслись на крыльях весенних зефиров. Я либо повытоплю сало из этих блуждающих огоньков, либо прожгу в сковородке дыру. Но, конечно, я буду до смерти рад, если вы поедете со мною. Быть может, мне и вправду будет нужна ваша помощь, когда дело дойдет до того, чтобы уложить в саквояж всю эту гору деньжищ. Да, для меня это будет истинный праздник, если вы согласитесь проехать вместе со мной.

Меркисон пускает слух по Грассдейлу будто он уезжает на несколько дней с мистером Питерсом и мистером Таккером посмотреть какие-то железные рудники в Западной Виргинии. Потом телеграфирует Дж. Смит, что в такой-то день он готов влипнуть в его паутину и вот уже вся наша тройка мчится в Чикаго.

В поезде Меркисон увеселяет себя предвкушением забавных событий и приятных воспоминаний.

— В сером костюме, — говорит он. — На юго-западном углу Уобаш-авеню и Озерной улицы... Он роняет газету а я спрашиваю: теплая ли сегодня вода? Хо-хо-хо!

И Меркисон пять минут заливается неумолкающим хохотом.

Временами, однако, он хмурится, и похоже, что он старается прогнать от себя какие-то мрачные мысли.

— Друзья мои! — говорит он в такие минуты — И за десять тысяч не согласился бы я, чтобы об этом деле узнали у нас в Грассдейле. Это сразу разорило бы меня. Но вы люди благородные, не так ли? И, по-моему, это долг каждого гражданина, — говорит он, — обуздать и проучить тех разбойников, которые занимаются ограблением доверчивой публики. Я покажу им, теплая ли сегодня вода. За каждый доллар — целая пятерка, вот что предлагает Дж. Смит, и ему придется выполнить свое обещание, раз он имеет дело с Биллом Меркисоном.

В Чикаго мы приехали в семь часов вечера. А встреча с тем серым человеком должна

была состояться в половине десятого. Мы пообедали в ресторане гостиницы и пошли к Меркисону в номерок дожидаться условного часа.

— Ну, мои милые, — говорит Меркисон, — давайте раскинем мозгами и обдумаем план, как разбить неприятеля наголову. Что, если в то самое время, как я обмениваюсь сигналами с тем серым субъектом, вы, джентльмены, проходите мимо — о, конечно, случайно, совершенно случайно! — и восклицаете: «Алло, Мерк!» — и удивляетесь неожиданной встрече, и дружески жмете мне руку. Тогда я отвожу этого субъекта в сторонку и сообщаю ему, что вы тоже грассдейлские жители, Дженкинс и Браун, и что у одного из вас бакалейная лавка, а у другого магазин гастроном. Что вы превосходные люди и тоже не прочь попытать счастья здесь, на чужой стороне. «Что ж, — говорит он, — отлично, зовите и их, если они желают умножить свои капиталы». Ну как вам нравится этот проект?

— Что ты скажешь по этому поводу, Джефф? — спрашивает Энди и глядит на меня.

— Сейчас, — говорю я, — вы услышите, что я скажу! Я скажу: давайте уладим все это дело сейчас же. Зачем канителиться попусту?

И достаю из кармана мой никелированный револьвер, калибр тридцать восемь, и раза два поворачиваю его барабан.

— Ты, коварный, безнравственный, шkodливый кабан! — говорю я, обращаясь к Меркисону. — Выкладывай-ка на стол свои тысячи. Да пошевеливайся, а не то будет поздно. Сердце у меня мягкое, но порой и оно закипает от праведной злобы. Из-за таких негодяев, как ты, — продолжаю я после того, как он выложил деньги, — на свете существуют суды и темницы. Ты приехал сюда похитить у этих людей их деньги. И разве можно оправдать тебя тем, что они, в свою очередь, собирались ограбить тебя? Нет, любезнейший. Ты в десять раз хуже, чем тот, промышляющий долларами. Дома ты ходишь в церковь и притворяешься почтенным гражданином, а потом тайно ускользаешь в Чикаго, чтобы околпачивать людей, создавших безупречную солидную фирму для борьбы с презренными мерзавцами, в число которых ты сегодня собирался вступить. Откуда ты знаешь, что тот человек не обременен многочисленной голодной семьей, пропитание которой всецело зависит от его деловых операций? Все вы считаетесь достойными гражданами, а сами только и глядите, как бы заграбастать побольше, не давая взамен ни шиша. Не будь вас, разве существовали бы в нашей стране биржевики, перехватчики чужих телеграмм, шантажисты, продавцы несуществующих шахт, устроители фальшивых лотерей? Не будь вас, эти социальные язвы исчезли бы сами собой. Тот человек, который хотел всучить тебе подложные доллары и которого ты сегодня собирался ограбить, — может быть, он много лет трудился, чтобы придать своим пальцам необходимую ловкость и овладеть мастерством? На каждом шагу он рискует и своими деньгами, и свободой, а в иных случаях — жизнью. Ты же приходишь сюда, как святоша, ты вооружен до зубов и своей почтенной репутацией, и секретным почтовым адресом. Если ему удастся заполучить твои денежки, ты вопишь: караул! полиция! Если же счастье на твоей стороне, ему приходится закладывать свой серый костюмчик, чтобы купить себе ужин, — при этом он молчит и не жалуется. Мы с мистером Таккером хорошо раскусили тебя, — говорю я, — и приняли меры, чтобы ты получил по заслугам. Давай сюда деньги, ты, травоядный ханжа!

И я кладу две тысячи во внутренний карман пиджака. Деньги были крупными бумажками — каждая в двадцать долларов.

— А теперь выкладывай часы, — говорю я. — Нет, нет, Я не возьму их... Положи их на стол и сиди неподвижно, пока они не оттикают час. Тогда можешь встать и идти. Если ты вздумаешь кричать или двинешься с места раньше, мы растрезвоним о тебе всю правду в Грассдейле, а твоя репутация дороже для тебя, чем две тысячи.

После этого мы с Энди уходим.

В поезде Энди очень долго молчит. А потом обращается ко мне:

— Джефф, можно задать тебе один вопрос?

— Два, — говорю я. — Или сорок.

— Вся эта идея пришла тебе в голову еще до того, как мы тронулись в путь с

Меркисоном?

— Еще бы! А как же иначе? Ведь и у тебя было на уме то же самое?

Энди опять умолкает и полчаса не произносит ни слова. Видно, на него порою находит затмение, когда он не вполне понимает мою систему гуманности и нравственной гигиены.

— Джефф, — говорит он, — я очень хотел бы, чтобы ты как-нибудь на досуге начертил для меня диаграмму твоей пресловутой совести. А внизу под чертежом — примечания. В иных случаях это было бы мне очень полезно — для справки.

Простаки с Бродвея

Перевод М. Беккер

— В один прекрасный день я надеюсь уйти на покой, — сказал Джефф Питерс, — и когда это случится, никто не сможет сказать, что я взял у человека хоть один доллар, не дав ему взамен *quid pro rata*.⁹⁸ Закончив сделку, я всегда ухитрялся оставить клиенту на память какую-нибудь безделицу, которую можно вклеить в альбом для газетных вырезок или засунуть в щель между стеной и часами работы Сета Томаса.

Правда, однажды я чуть было не нарушил это свое правило, совершив гнусное непохвальное деяние, но от этого меня спасли законы и статуты нашего великого доходного государства.

Как-то летом мы с моим компаньоном Энди Таккером отправились в Нью-Йорк, чтобы пополнить наш ежегодный ассортимент костюмов и мужской галантереи. Мы всегда одевались по последней моде, справедливо полагая, что импозантная внешность — один из первейших атрибутов нашего ремесла, уступающий разве что знакомству с расписанием поездов и фотографии президента с его автографом, которую подарил нам Лёб,⁹⁹ — скорей всего, по ошибке. Энди однажды написал ему письмо о природе, в котором, между прочим, упомянул, что в детстве мать не разрешала ему ловить раков пятерней. Лёб, наверное, понял это место так, что она «разрешилась пятерней», и прислал нам портрет. Как бы там ни было, мы с успехом показывали его в подтверждение своей благонамеренности.

Мы с Энди всегда избегали делать бизнес в Нью-Йорке. Уж очень это смахивает там на браконьерство. Ловить ротозеев в этом городе все равно что глушить окуней динамитом в техасских озерах. Для этого достаточно встать на углу в любой точке между Северной и Восточной рекой¹⁰⁰ и держать в руках мешок с надписью: «Пачки банкнот опускать сюда. Чеки и отдельные бумажки не принимаются». Рядом должен находиться полисмен, чтоб отгонять дубинкой разную шушеру, которая норовит подсунуть почтовые переводы или канадские деньги. И это все, что может сделать в Нью-Йорке охотник, влюбленный в свое ремесло. Потому-то мы с Энди в этом городишке обычно превращались в естествоиспытателей. Вооружившись полевыми биноклями, мы наблюдали, как олухи, шатающиеся по бродвейским болотам, накладывают гипс на свои сломанные конечности, а после потихоньку смывались, не сделав ни единого выстрела.

Как-то раз мы с Энди, гуляя по переулку в десятке дюймов от Бродвея, забрели в некое злачное место, где под сенью пальм из папье-маше клиентам подсыпают в пиво снотворное, и тут на нашу голову навязался какой-то нью-йоркский житель. Мы пили с ним за одним столиком пиво, как вдруг выяснилось, что у нас есть общий знакомый по фамилии Хелсмит,

⁹⁸ Справедливое вознаграждение за услугу (*искаж. лат.*).

⁹⁹ Лёб Жак (1859–1924) — немецкий физиолог и естествоиспытатель, живший в США.

¹⁰⁰ Северная река (Гудзон) и Восточная река с двух сторон омывают остров Манхэттен.

коммивояжер фирмы по производству печей в Дулуте. Это дало нам повод заметить, что мир тесен, после чего этот нью-йоркский житель срывает с себя веревку, сбрасывает упаковку из фольги и стружек и излагает нам свое жизнеописание, начиная с времен, когда он продавал индейцам шнурки для ботинок на том самом месте, где нынче стоит Тэмени-холл.

Этот житель Нью-Йорка был владельцем сигарной лавки на Бикмен-стрит и уже лет десять ни разу не заходил на север дальше Четырнадцатой улицы. Более того, у него была борода, между тем как давно уже прошло то время, когда уважающий себя жулик мог обидеть бородача. Теперь ни у одного афериста не хватит духу окопачить человека, который предал забвению бритву. На такое может пойти только вдова или мальчишка, вербующий подписчиков на иллюстрированный еженедельник с целью получить в награду духовое ружье. Этот бородач был типичный провинциал — бьюсь об заклад, что за последние четверть века он ни разу не удалялся за пределы видимости небоскреба.

Итак, вскоре эта столичная деревенщина достает пачку банкнот, туго стянутую синей нарукавной резинкой, и через стол протягивает ее мне.

— Мистер Питерс, — говорит он, — тут пять тысяч долларов, скопленных мною за пятнадцать лет коммерческой деятельности. Положите их в карман и сохраните их для меня, мистер Питерс. Я рад, что встретил вас, джентльменов с Запада. Я могу хлебнуть лишнего, и поэтому прошу вас сберечь для меня эти деньги. А теперь давайте выпьем еще по кружке пива.

— Держали б вы их лучше при себе, — отвечаю я ему. — Вы нас совсем не знаете. Нельзя доверять первому встречному. Положите свою пачку обратно в карман да отправляйтесь восвояси, куда какой-нибудь батрак из долины реки Хо не явился сюда и не продал вам медный рудник.

— Ерунда, — говорит бородач. — Полагаю, что старина Нью-Йорк как-нибудь сам за себя постоит. Я честного человека сразу вижу. Я всегда считал, что на Западе живут хорошие люди. Прошу вас, мистер Питерс, сделайте одолжение, спрячьте эту пачку к себе в карман. Я джентльмена сразу отличаю. Давайте лучше выпьем еще пивка.

Не прошло и десяти минут, как этот дождь из манны небесной откинулся на спинку стула и захрапел. Энди смотрит на меня и говорит:

— Я, пожалуй, побуду с ним минут пять, на случай, если вдруг придет официант.

Я вышел в боковую дверь, прогулялся по улице, вернулся и снова сел за стол.

— Энди, — говорю я. — Не могу. Это слишком похоже на дачу ложных показаний в налоговом управлении. Я не могу уйти с его деньгами, не сделав никакой попытки их заработать — ну, хотя бы воспользоваться законом о банкротствах или сунуть ему в карман пузырек с примочкой от экземы, чтоб это хотя бы отдаленно напоминало честную сделку.

— Да, — согласился Энди, — сбежать с достоянием бородачата клиента, особенно после того, как он в благодушной наивности урбанистического легкомыслия сам назначил тебя стражем своей кубышки, — это, конечно, недостойно профессионала. Давай попробуем сочинить какой-нибудь коммерческий софизм, в силу которого он мог бы снабдить нас и деньгами и оправданием.

Мы будим бородача. Он потягивается, зеваает и высказывает гипотезу, что, очевидно, на минутку задремал. Потом он говорит, что, пожалуй, не имел бы ничего против маленькой джентльменской партии в покер. Когда он ходил в школу в Бруклине, он частенько баловался картишками, а уж коль скоро он решил кутнуть, так почему бы... и так далее.

Энди повеселел, усмотрев в этом возможный выход из наших финансовых затруднений. И вот мы все трое отправляемся по Бродвею к нам в гостиницу и велим принести в номер Энди карты и фишки. Я еще раз пытаюсь всучить этому невинному младенцу его пять тысяч. Но не тут-то было.

— Сделайте одолжение, мистер Питерс, — говорит он. — Подержите эту пачку пока у себя. Я ведь не где-нибудь, а среди друзей. Поверьте, что человек, который двадцать лет делал бизнес на Бикмен-стрит, в самом сердце этого хитрейшего на свете городишки, прекрасно знает, что к чему. Я уж как-нибудь отличу джентльмена от мазурика и проходимца. У меня в карманах еще осталась кой-какая мелочь — для начала хватит.

Он роется в карманах, и на стол сыплется столько золотых монет по двадцать долларов, что это начинает напоминать картину Тернера «Осенний день в лимонной роще», которую на выставке оценили в 10 000. Энди чуть не улыбнулся.

В первом же раунде этот пижон кладет на стол свои карты и, даже не пытаясь блефовать, сообщает нам, что у него на руках каре валетов и десятка бубен, после чего сгребает весь банк.

Энди всю жизнь гордился своим искусством играть в покер. Он встал из-за стола и принялся грустно смотреть в окно на трамваи.

— Джентльмены, — говорит бородач. — Я не сержусь на вас за то, что вы не хотите со мной играть. Я так давно не занимался этим делом, что наверняка перезабыл все тонкости. Скажите, джентльмены, вы еще долго пробудете в городе?

Я говорю, что примерно неделю. Он отвечает, что ему это как нельзя более кстати. Сегодня вечером из Бруклина придет его двоюродный брат, и они пойдут осматривать нью-йоркские достопримечательности. Его двоюродный брат торгует протезами и свинцовыми гробами. Он уже лет десять не проезжал через мост. Они решили повеселиться напропалую. В заключение он просит меня подержать его деньги до завтра. Я снова попытался их отдать, но он счел это за личное оскорбление.

— Мне хватит мелочи, которая у меня осталась, — говорит он. — А пачка пусть полежит у вас. Завтра часов в шесть или семь вечера я к вам загляну, и мы с вами и с мистером Таккером пообедаем. Будьте пайньками.

После ухода бородача Энди посмотрел на меня с любопытством и сомнением.

— Джефф, — сказал он, — похоже, что вороны так стараются нас накормить, словно мы с тобой — два Ильи-пророка.¹⁰¹ И если мы их отринем, то как бы на нас не напустилось Общество защиты пернатых имени Одюбона.¹⁰² Нельзя слишком часто отказываться от короны. Разумеется, все это сильно смахивает на отеческое попечение, но не кажется ли тебе, что Удача уже достаточно долго стучится к нам в двери?

Я положил ноги на стол и засунул руки в карманы — поза, отнюдь не располагающая к фривольным мыслям.

— Энди, — отвечаю я. — Этот волосатый бородач поставил нас в весьма затруднительное положение. Мы связаны по рукам и ногам и не смеем даже пальчиком тронуть его деньги. Мы заключили джентльменское соглашение с фортуной и никак не можем его нарушить. На Западе, где мы делаем бизнес, он больше похож на честную игру. Там люди, которых мы хотим обчистить, пытаются обчистить нас — даже фермеры или нищие эмигранты, которых редакции журналов посылают рекламировать золотые прииски. Но в Нью-Йорке с удочкой, ружьем и спиннингом не разгуляешься. Здесь ходят на охоту либо с рогаткой, либо с рекомендательным письмом. В здешних водах столько сазанов, что вся мелкая рыбешка давно ушла. Ты думаешь, что если закинуть здесь сеть, то в нее попадет законная добыча, которую сам Бог велел ловить, — наглые всезнайки, хлыщи-шулера, уличные зеваки и деревенские проныры? Нет, сэр. Здесь жулики пробавляются за счет вдов и сирот или за счет иностранцев, которые скопили мешок денег и готовы выложить его на первую попавшуюся стойку, да еще за счет фабричных работниц и мелких лавочников, которые никогда не выходят за пределы своего квартала. Вот кто здесь попадает на удочку — консервированные сардины, для которых не требуется никакой наживки, кроме карманного ножа и соленого печенья.

Этот сигарочник как раз и есть один из подобных типов. Он прожил двадцать лет на одной улице и знает ровно столько, сколько ты узнаешь от немого цирюльника, пока он бреет тебя в каком-нибудь канзасском захолустье. Но зато он — житель Нью-Йорка, и он будет

¹⁰¹ По библейской легенде, Илью-пророка в пустыне кормили вороны.

¹⁰² Одюбон Джон Джеймс (1785–1861) — американский путешественник, художник, писатель, больше всего известный своей книгой «Птицы Америки», которую сам иллюстрировал.

похвалиться этим все то время, когда не гоняется за последними новостями, не оказывается перед трамваем, не стоит под сейфом, который втаскивают лебедкой на последний этаж небоскреба, или не отдает свои деньги перехватчику биржевых телеграмм. Уж если житель Нью-Йорка решил дать себе волю, так это напоминает ледоход на реке Аллегейни — отходи подальше, не то тебя собьет с ног холодной водою и льдинами.

— Нам здорово повезло, Энди, — продолжаю я, — что этот представитель сигарных интересов с гарниром из петрушки облек нас своим младенческим доверием и альтруизмом. Ибо эти его пять тысяч подрывают мои нравственные устои и этические нормы. Мы не можем их взять, Энди, ты сам прекрасно знаешь, что не можем, — ведь мы не имеем на них ни малейшего, ну просто ни малейшего права. Будь у нас хотя бы тень основания на них посягнуть, я бы с удовольствием предоставил ему возможность поработать еще двадцать лет, чтобы накопить еще пять тысяч, но увы — мы ему ничего не продавали, ни в какие сделки с ним не вступали и никаких коммерческих соглашений с ним не подписывали. Он оказал нам дружеское доверие, — говорю я, — и со слепым прекраснородушием идиота вложил свое добро нам в руки. Нам придется отдать ему эти деньги, как только он того пожелает.

— Твои аргументы выше всякой критики и разума, — отвечает мне Энди. — Конечно, мы не можем уйти с его деньгами — при теперешнем положении вещей. Я восхищаюсь твоей добросовестностью в бизнесе и не позволю себе никаких предложений, которые не соответствовали бы твоим теориям личной инициативы и морали.

— Однако на сегодня и завтра я вынужден тебя покинуть. Мне надо заняться кой-какими делами, — говорит он. — Когда этот меценат придет сюда завтра вечером, удержи его до моего возвращения. Ведь мы приглашены на обед.

И вот, сэр, на завтра часов около пяти появляется наш сигарочник. Глаза у него наполовину заплыли.

— Мы изумительно провели время, мистер Питерс, — говорит он. — Обошли все достопримечательности. Да, доложу я вам, Нью-Йорк — это первый класс прима. Сейчас, если вы не возражаете, я прилягу на эту софу и сосну минут этак девять — до прихода мистера Таккера. Я не привык всю ночь не спать. А завтра, мистер Питерс, если вы ничего не имеете против, я хотел бы взять у вас эти пять тысяч. Вчера вечером я познакомился с одним человеком, который совершенно точно знает, кто победит на завтрашних скачках. Простите мою неучтивость, мистер Питерс, но я сегодня не выспался.

И вот этот обитатель второго города в мире ложится и начинает храпеть, а я сижу рядом, размышляю о разных вещах и мечтаю поскорее вернуться на Запад, где клиент всегда будет драться за свои деньги с упорством, вполне достаточным для того, чтобы твоя совесть позволила тебе их у него отобрать.

В половине шестого в комнату входит Энди и видит спящее тело.

— Я ездил в Трентон, — говорит он, вынимая из кармана какую-то бумагу. — Мне кажется, я отлично уладил это дело, Джефф. Вот, посмотри.

Я разворачиваю бумагу и вижу, что это патент на право учреждения корпорации, выданный штатом Нью-Джерси «Объединенной Акционерной Компании Развития Воздушных Путей Питерс и Таккер».

— Это дает преимущественное право на беспрепятственное пользование воздушными коридорами, — поясняет Энди. — Законодательное собрание штата сегодня не заседало, но я разыскал в кулуарах владельца газетного киоска, который на всякий случай держит у себя запас патентных бланков. Всего имеется в наличии сто тысяч акций, которые, как ожидают, должны достичь номинальной стоимости в один доллар каждая. Я заказал в типографии бланк свидетельства на долю участия в акционерном капитале компании.

С этими словами Энди вынимает бланк, берет вечную ручку и начинает его заполнять.

— Весь этот капитал наш друг из царства грез получит оптом за пять тысяч долларов. Ты узнал, как его фамилия?

— Пиши на предъявителя, — отвечаю я.

Мы вложили свидетельство в руку сигарочника и принялись укладывать чемоданы.

На пароме Энди говорит:
— Ну как, Джефф, теперь твоя совесть спокойна?
— Разумеется, спокойна, — отвечаю я. — Чем мы лучше любой другой акционерной компании?

Совесть в искусстве

Перевод К. Чуковского

— Я никогда не мог заставить своего компаньона Энди Таккера держаться в законных границах благородного жульничества, — оказал мне однажды Джефф Питерс.

Энди не способен к благородству: у него слишком большая фантазия. Он, бывало, изобретал такие мошеннические, такие сверхфинансовые способы добывать деньги, что на них наложила бы вето даже железнодорожная компания.

Сам же я принципиально никогда не брал у своего ближнего ни одного доллара, не дав ему чего-нибудь взамен — будь то медальон из фальшивого золота, или семена садовых цветов, или мазь от прострела, или биржевые бумаги, или порошок от блох, или хотя бы затрещина. Наверное, какие-нибудь мои предки происходили из Новой Англии, и я унаследовал от них стойкий и упорный страх перед полицией.

Ну а у Энди родословное дерево другой породы. Он, вероятно, мог бы проследить свою генеалогию только до какой-нибудь финансовой корпорации.

Как-то летом, когда мы обретались на Среднем Западе и промышляли в долине Огайо семейными альбомами, порошками от головной боли и жидкостью от тараканов, Энди пришла в голову новая финансовая комбинация, подлежащая преследованию со стороны судебных властей.

— Джефф, — говорит он, — по-моему, пора нам бросить этих огородников и удостоить своим вниманием что-нибудь более питательное и плодovitое. Как тебе нравится идея нырнуть в самую гущу страны небоскребов и покусать каких-нибудь оленей покрупнее?

— Что ж, — говорю я, — моя идиосинкразия тебе известна. Я предпочитаю честный, легальный бизнес, такой, как сейчас. Когда я беру деньги, я люблю оставлять в руках у моего покупателя какой-нибудь осязательный предмет, чтобы он любовался им и не слишком следил, в какую сторону я смываюсь. Но если ты придумал что-нибудь новенькое, Энди, — говорю я, — выкладывай, послушаем. Не так уж я привержен к мелкому жульничеству, чтобы отказаться, если взамен предложат что-нибудь лучшее.

— Я подумывал, — говорит Энди, — устроить небольшую облаву — так, без собак, без егерей и без особого шума — на обширное стадо американских Мидасов,¹⁰³ которые в просторечии зовутся питтсбургскими миллионерами.

— В Нью-Йорке? — спрашиваю я.

— Нет, милейший, — говорит Энди. — В Питтсбурге. Они водятся главным образом там. Нью-Йорка они не любят. Бывают там изредка и только потому, что от них этого ждут.

Питтсбургский миллионер, попавший в Нью-Йорк, — все равно, что муха, попавшая в чашку горячего кофе, — люди смотрят на него и говорят о нем, а удовольствия никакого. Нью-Йорк издевается над ним за то, что он просаживает уйму денег в этом городе насмешек и снобов. На самом же деле он там ничего не тратит. Я однажды видел запись расходов, которую один житель Питтсбурга, стоивший пятнадцать миллионов, составил после того, как прожил десять дней в Нью-Йорке. Вот какова эта запись:

¹⁰³ Мидас — в греческой мифологии — фригийский царь, по одной легенде, имевший ослиные уши, по другой — обладавший властью обращать в золото все, к чему он прикасался.

Доллары Центы
Проезд по железной дороге туда и обратно 21 00
Проезд в кебе в отель и обратно 2 00
Счет в отеле по 5 долларов в день 50 00
На чай 5750 00

Итого 5823 00

— Вот он, голос Нью-Йорка, — продолжает Энди. — Этот город — сплошной официант. Если дать ему на чай слишком много, он станет у двери и будет острить на ваш счет с мальчишкой при вешалке. Когда житель Питтсбурга хочет тратить деньги и наслаждаться жизнью, он сидит дома. Там-то мы и будем его ловить.

Ну, короче говоря, спрятали мы с Энди наши альбомы, и нашу парижскую зелень, и антипириновые порошки в погребке у одного знакомого и отправились в Питтсбург. У Энди не было заранее составленной программы незаконных и насильственных действий, но он рассчитывал, что, когда дойдет до дела, его аморальный инстинкт окажется на высоте положения.

Идя навстречу моим идеям самосохранения и честности, Энди обещал, что, если я приму деятельное участие в любом бизнесе, какой вздумается ему оборудовать, жертва получит за свои деньги что-нибудь такое, что можно воспринять с помощью зрения, осязания, обоняния или вкуса, так что моя совесть может быть спокойна. После этого я уже не чувствовал никаких угрызений и гораздо бодрее пошел на незаконное дело.

— Энди, — говорю я, пробираясь с ним сквозь дым по шлаковой дорожке, которую там называют Смитфилд-стрит, — а ты подумал о том, как нам познакомиться с этими королями кокса и герцогами чугуновых болванок? Я вовсе не хочу умалять мое умение вести себя в гостинице и мою систему обращения с ножами и вилками, но проникнуть в салоны здешних потребителей дешевых сигар труднее, чем тебе кажется.

— Если что и помешает нам сблизиться с ними, — говорит Энди, — так только наше хорошее воспитание. Мы для них слишком высокого тона. Здешние миллионеры — простой, добродушный народ, демократы, без всяких претензий.

Правда, они грубы, но очень невежливы, и хотя в манерах их не заметно ни лоска, ни учтивости, в глубине души они наглы и дерзки. Почти каждый из них вышел из самых темных низов, и они так и останутся в потемках, куда город не заведет дымоочистителей. Если мы станем держать себя просто, без всяких претензий, не будем избегать салунов да сумеем заявить о себе достаточно громко, как импортная пошлина на стальные рельсы, нам ничего не стоит стать с этими миллионерами на самую короткую ногу.

Ну вот, бродили мы с Энди по городу дня три-четыре, все примеривались. Несколько миллионов мы уже знали в лицо.

Один из них каждый день проезжал мимо нашей гостиницы, останавливался у ее дверей и требовал, чтобы ему на улицу вынесли квартиру шампанского. Лакей выносит ему шампанское, откупоривает, а он берет бутылку и прямо из горлышка. Сразу видно, что перед тем, как разбогатеть, он работал стеклодувом на заводе.

Однажды вечером Энди не явился к обеду, а пришел лишь около одиннадцати и прямо ко мне в номер.

— Подцепил одного! — сказал он. — Двенадцать миллионов. Нефть, прокатные заводы, недвижимое имущество, природный газ. Хороший человек, никакого чванства. Все свои богатства нажил за последние пять лет. Теперь нанимает кучу профессоров, чтобы обучали его литературе, искусству и всякой такой пустяковине. В первый раз я увидел его, когда он только что выиграл пари у представителя Стального треста, что сегодня на Аллегейнском сталепрокатном будет четыре случая самоубийства. Ставка была десять тысяч. По этому случаю каждый желающий приходил и поздравлял его, и каждого он угощал стаканом виски. Я почему-то понравился ему с первого взгляда, и он предложил пообедать вдвоем. Я

согласился, мы пошли на Бриллиантовый проспект в ресторан, сели за столик, пили искрящийся мозель, ели рагу из устриц и на закуску яблочные оладьи.

Потом он захотел показать мне свою холостую квартиру на Либерти-стрит. Квартирка в десять комнат прямо над рыбными рядами, а ванная выше этажом. Он сказал, что ему стоило восемнадцать тысяч долларов обставить эту резиденцию, и я ему верю.

В одной комнате картин на сорок тысяч, а в другой — разных курьезов и древностей на двадцать. Его фамилия Скаддер, ему сорок пять лет, он учится играть на пианино, и его нефтяной фонтан дает каждый день по пятнадцать тысяч баррелей нефти.

— Что ж, — говорю я, — все это, пожалуй, недурно звучит, но для нас как будто ни к чему. На черта нам его картины? И нефть?

Энди в задумчивости сидит на кровати.

— Нет, — говорит он, — нет, этот человек не просто заурядный мерзавец. Когда он показывал мне свой шкафчик с древностями, лицо у него покраснелось, словно дверца печки, в которой пылает кокс. Он говорит, что если ему удастся провести еще несколько крупных операций, то в сравнении с его коллекцией гобеленовое, фарфорово-бисерное собрание Дж. П. Моргана покажется не изящнее, чем содержимое страусинового зоба на экране волшебного фонаря.

— А потом он показал мне одну вещицу, — продолжал Энди, — ну, это, сразу видно, вещь замечательная. Вырезана из слоновой кости. Он говорит, что ей две тысячи лет. Цветок лотоса, и в нем лицо какой-то женщины. Скаддер заглянул в каталог и объяснил все как пописаному. Один египетский резчик, по имени Хафра, сделал две таких штучки для фараона Рамзеса Второго в какой-то год до рождества Христова. Вторая куда-то пропала, и ее до сих пор не нашли. Антикварные крысы обшарили всю Европу, надеясь отыскать ее, но напрасно. Скаддер заплатил за свою две тысячи долларов.

— Ладно, — говорю я, — для меня это пустые слова. Я думал, что мы прибыли в Питтсбург, чтобы научить миллионеров, как нужно делать дела, а выходит, что они дают нам уроки по части изящных искусств.

— Ничего, потерпи немного, — благодушно отвечает Энди. — Дым еще может рассеяться.

На следующий день рано утром Энди ушел из отеля и воротился только к двенадцати часам. Он пригласил меня к себе в номер, вынул из кармана какой-то сверточек величиной с гусиное яйцо, и, когда распаковал его, там оказалось точно такое же изделие из слоновой кости, как то, которое Энди видел у миллионера вчера.

— Час тому назад, — говорит Энди, — захожу я в одну здешнюю лавчонку, где продается всякая пыльная рухлядь. Там же принимают вещи в заклад. Смотрю — из-под каких-то старинных кинжалов выглядывает вот эта история. Закладчик говорит, что она валяется у него уже несколько лет и что ее завезли сюда арабы, или турки, или другие неверные, которые жили тогда внизу, у реки. Я предложил ему за нее два доллара, но, должно быть, по моим глазам было видно, что она мне страшно нужна, потому что продавец сказал, что самая малая цифра, о которой он может вести разговор, это триста тридцать пять долларов и что говорить о более мелких цифрах значило бы вырвать кусок хлеба изо рта у его детей. В конце концов я приобрел ее за двадцать пять.

— Джефф, — продолжает Энди, — посмотри. Это и есть та вторая фараонова штучка, о которой говорил мне Скаддер. Они похожи как две капли воды. Я не сомневаюсь, что, когда он увидит ее, он заплатит за нее две тысячи с такой же быстротой, с какой он затыкает себе за ворот салфетку перед обедом. И в самом деле, почему бы этой штучке не быть настоящей? Весьма возможно, что ее вырезал тот старый цыган.

— Почему бы и нет? — говорю я. — Но как же мы заставим нашего миллионера добровольно приобрести такую штучку?

На этот счет у Энди был готовый, вполне разработанный план, и вот как мы привели его план в исполнение.

Я достал синие очки, напялил черный сюртук, взлохматил себе волосы и превратился в

профессора Пиклмена. Я переехал в другую гостиницу, зарегистрировался там и послал телеграмму Скаддеру прося его пожаловать ко мне по важному делу, касающемуся изящных искусств. Не прошло и часа, он поднялся ко мне на лифте. Неотесанный мужчина, крикун, весь пропахший коннектикутскими сигарами и нефтью.

— Алло, професс! — кричит он. — Что поделываете?

Я пуще прежнего взлохмачиваю волосы и смотрю на него через синие очки.

— Сэр, — говорю я. — Вы Корнелиус Т. Скаддер, проживающий в штате Пенсильвания в городе Питтсбург?

— Да, это я! — кричит он. — Давайте выпьем по этому случаю.

— У меня, — говорю я ему, — нет ни желания, ни времени предаваться таким злокачественным и нелепым развлечениям. Я приехал сюда из Нью-Йорка по делу, касающемуся биз... то есть искусства. Мне стало известно, что вы являетесь обладателем египетской таблетки из слоновой кости времен фараона Рамзеса Второго. На ней изображена голова царицы Изиды на фоне цветка лотоса. Таких изображений было изготовлено только два. Одно из них считалось пропавшим. Недавно мне посчастливилось приобрести его в ломб... в одном малоизвестном музее в Вене. Я хотел бы купить и то, которое хранится у вас. Какова будет ваша цена?

— Черт возьми, профессор! — кричит Скаддер. — Неужели вы нашли его? И вы хотите, чтобы я продал вам свое? Нет, нет! Корнелиусу Скаддеру нет нужды продавать свои коллекции. При вас ли это произведение искусства?

Я показываю безделушку Скаддеру. Он внимательно рассматривает ее.

— Да, да, вы правы, — говорит он. — Это подлинный дубликат моей. Те же завитушки, те же линии. Я вам скажу что я сделаю. Я не продам, но куплю. Даю вам две тысячи пятьсот за вашу.

— Ну, если вы не продаете, я продам, — говорю я. — И, пожалуйста, бумажки покрупнее. Я не люблю терять время. Сегодня же возвращаюсь в Нью-Йорк читать в аквариуме публичную лекцию.

Скаддер пишет чек, посылает его вниз, в контору гостиницы, там его меняют, приносят мне деньги. Он берет свою египетскую штучку, а я беру деньги и еду к Энди, в его гостиницу.

Энди шагает по комнате и глядит на часы.

— Ну? — спрашивает он.

— Две тысячи пятьсот, — говорю я. — Наличными.

— У нас осталось всего одиннадцать минут, — говорит он. — Поезд сейчас отойдет. Бери чемодан — и ходу.

— К чему торопиться? — говорю я ему. — Дело было честное. А если даже наша египетская штучка подделка — это не сию минуту откроется. Для этого нужно время. Скаддер как будто уверен, что она настоящая.

— Она и есть настоящая, — говорит Энди. — Она его собственная. Вчера, когда я обзревал его коллекцию, он вышел на минуту из комнаты, а я сунул эту штучку в карман. Бери же скорей чемодан и бегом.

— Так зачем же, — говорю я, — ты выдумал, будто нашел вторую у закладчика-антиквара?

— Ох, — отвечает Энди, — из уважения к твоей честности, чтобы тебя совесть не мучила... Идем же, идем!

Кто выше?

Перевод К. Чуковского

Мы с Джеффом Питерсом сидели в ресторанчике Провенцано в укромном углу. Перед каждым из нас было блюдо спагетти, и Джефф объяснял мне, что жулики бывают трех сортов.

Каждую зиму он приезжает в Нью-Йорк полакомиться спагетти, посмотреть из глубин своей беличьей шубы, как снуют пароходы по Восточной реке, и запастись в одном из магазинов готового платья на Фултон-стрит одеждой, которая сшита в Чикаго. В течение трех остальных времен года его следует искать западнее — поле его деятельности где угодно, от Спокана до Тампо.¹⁰⁴ Своей профессией он гордится и совершенно серьезно защищает ее достоинства с помощью своеобразной этической философии. Профессия его не нова. Он дает надежный, радушный и просторный приют беспокойным и неразумным долларам своих ближних.

В каменной пустыне, куда Джефф ежегодно удаляется на зимний отпуск, он не прочь бывает поболтать о своих многочисленных приключениях, — так в вечернюю пору мальчишка любит свистеть в лесу. Вот почему я отмечаю у себя на календаре время, когда Джефф должен приехать в Нью-Йорк, и открываю у Провенцано переговоры относительно залитого вином столика в углу, между развесистым фикусом и palazzo della что-то такое¹⁰⁵ в раме, на стене.

— Есть два рода жульничества, такие зловредные, — говорил Джефф, — что их следовало бы уничтожить законодательной властью. Это, во-первых, спекуляция Уолл-стрита, а во-вторых — кража со взломом.

— Ну, насчет одного из них с вами согласится каждый, — сказал я смеясь.

— Нет, нет, и кража со взломом тоже подлежит запрещению, — сказал Джефф, и мне пришло в голову, что я, может быть, смеялся некстати.

— Месяца три назад, — сказал Джефф, — мне посчастливилось быть *sine qua grata*¹⁰⁶ с представителями обеих вышеназванных разновидностей нелегального искусства. Судьба свела меня одновременно с членом Союза Грабителей и с одним из наших Джон Д. Наполеонов.

— Интересное сочетание, — сказал я зевая, — а я не рассказывал вам, как я на прошлой неделе, на берегу Рамапоса, уложил одним выстрелом утку и суслика?

Я знал, как вытягивать из Джеффа его истории.

— Подождите, сначала я вам расскажу про этих полипов, которые тормозят колеса общественной жизни и отравляют источники честности своим смертоносным взглядом, — сказал Джефф, и в его глазах горело чистое пламя карающей добродетели.

Как я уже рассказывал, три месяца назад я попал в дурную компанию. Это случается с человеком в двух случаях жизни — когда он без гроша и когда он богат.

Бывает, что и в самых законных делах наступает полоса невезения. На одном перекрестке я свернул не туда, куда нужно, и по ошибке попал в городишко Пивайн. Мне не следовало отправляться туда, так как прошедшей весной я уже осаждал этот город и нанес ему большие повреждения. Я продал тамошним жителям на шестьсот долларов молодых фруктовых деревьев — грушевых, сливовых, вишневых, персиковых. С тех пор жители города не переставали глядеть на дорогу, поджидая, не пройду ли я по этой дороге опять. А я, не подозревая ни о чем, еду по главной улице, доезжаю до аптекарского магазина «Хрустальный дворец» и только тогда замечаю, что мы оба попали в засаду — я и мой сивый конек Билл.

Жители Пивайна схватили Билла под уздцы и завели со мной разговор, имеющий ближайшее отношение к теме о фруктовых деревьях. Двое-трое из представителей города просунули мне сквозь проемы жилета постромки и повели меня по своим фруктовым садам. Вся беда была в том, что их деревья не хотели соответствовать тем надписям, которые были начертаны на привязанных к ним дощечках. Большинство из них оказались грушей-дичком и терновником, но были и липы, и небольшие дубки. Единственное дерево, которое сулило

¹⁰⁴ Первый город — в штате Вашингтон, на северо-западе Соединенных Штатов, второй — во Флориде.

¹⁰⁵ Картиной, изображающей какой-то итальянский дворец.

¹⁰⁶ Джефф хотел употребить латинский дипломатический термин *persona grata* — «желательное лицо».

принести хоть какой-нибудь плод, был молоденький виргинский тополек, на котором выросло хорошее осиное гнездо и половина старого лифчика.

Жители довели нашу бесплодную прогулку до самой окраины города, потом конфисковали у меня в счет долга все мои деньги и золотые часы, а Билла и тележку оставили у себя в качестве заложников. Они заявили, что в ту самую минуту, как на их терновом кусте вырастут июньские персики, я могу вернуться и получить свои вещи назад. Потом они сняли с меня постромки и ткнули пальцем по направлению к Скалистым горам; и я пустился крупной рысью к непроходимым лесам и полноводным рекам.

Когда я пришел в себя, оказалось, что я шагаю по шпалам железной дороги Арканзас — Техас к какому-то неведомому городу. Жители Пивайна не оставили мне ничего, только немного жевательной резинки, и это спасло мне жизнь. Сел я на груды шпал, откусил кусок резинки и стал собирать свои мысли и силы.

Вдруг мимо проносится скорый товарный поезд; подъехав к городу, он чуть-чуть замедляет ход, и вот из вагона вылетает какой-то черный узел, катится двадцать шагов в туче пыли, а потом встает на ноги и начинает выплевывать полужирный уголь вместе с междометиями. Передо мной оказался молодой человек, круглолицый, одетый для путешествия в спальном купе, а не в товарном вагоне, и с самой веселой улыбкой, какую когда-либо видели на таком грязном лице.

— Выпали? — спрашиваю я.

— Нет, — отвечает он. — Соскочил. Прибыл к месту своего назначения. Какой это город?

— Я еще не посмотрел по карте, — говорю я. — Я и сам прибыл сюда за пять минут до вас. Как, по-вашему, ничего городок?

— Не очень-то мягкий! — отвечает он и ощупывает свою руку. — Как будто здесь, вот это плечо... а впрочем, нет, все в порядке.

Он нагибается, чтобы стряхнуть пыль со штанов, и из кармана у него выскакивает хорошенькая девятивершковая стальная отмычка. Он поднимает ее и смотрит на меня с опаской, а потом ухмыляется и протягивает мне руку.

— Брат, — говорит он, — прими мой сердечный привет! Не тебя ли я видел на юге Миссури прошлым летом, когда ты занимался продажей цветного песочка по полдоллара за чайную ложку и уверял, что стоит только всыпать его в лампу и керосин никогда не взорвется?

— Керосин и вправду никогда не взрывается, — отвечаю я. — Взрывается только газ.

Тем не менее я жму ему руку.

— Мое имя Билл Бассет, — говорит он, — и если ты не сочтешь хвастовством мою профессиональную гордость, то я скажу тебе, что сейчас ты имел удовольствие познакомиться с одним из лучших взломщиков, какие когда-либо ступали резиновой подошвой на почву орошаемую рекой Миссисипи.

Хорошо. Уселись мы с этим Бассетом рядом на шпалы и стали хвастаться друг перед другом, как и подобает художникам, работающим по одной специальности. Оказалось, что и он без гроша, так что мы с ним живо сошлись. Он объяснил мне, почему самый талантливый взломщик бывает по временам принужден путешествовать в товарном вагоне. В Литтл-Роке чуть не выдала его изменница-горничная, и ему пришлось убежать сломя голову.

— Такое уж у меня ремесло, — объяснял мне Билл Бассет. — Для того чтобы оно имело успех, я вынужден обрабатывать плоеные чепчики. Покажи мне домик, где есть ценные вещи и смазливая горничная, и можешь быть уверен, что серебро будет расплавлено и сплавлено, а я буду пить шато да поплевывать в салфетку трюфелями. Полиция же будет уверять, что кражу совершил кто-нибудь из своих, ибо племянник старухи хозяйки преподает закон Божий. Сперва я оказываю некоторое давление на девушку, а потом уже, когда девушка пускает меня в дом, — на замочные скважины при помощи воска. Но эта литтл-рокская горничная подвела меня: она увидела, как я катаюсь на трамвае с другой девицей, и в ту же ночь, когда она должна была впустить меня в дом, заперла дверь на замок. А у меня заготовлены ключи для дверей второго этажа... Да, сэр, она оказалась Далилой.

Из дальнейшего выяснилось, что Билл все же пытался пустить в ход свою отмычку, но девушка разразилась целой руладой бравурных звуков, вроде тех, которые испускают борзятники, и Биллу пришлось перепрыгивать через все заборы по дороге к вокзалу. Багажа у него не было, поэтому его всячески пытались не пустить на вокзал, но он все-таки вскочил в отходивший товарный поезд.

— Ну-с, — сказал Билл Бассет, когда мы обменялись мемуарами о минувших деньках, — а теперь мне охота поесть. Непохоже, чтобы весь город был заперт на французский замок. Что, если мы учиним небольшое злодейство и добудем себе мелочишки на карманные расходы? Ты, вероятно, не догадался захватить с собой какого-нибудь снадобья для рашения волос, или позолоченных часовых цепочек, или других каких-нибудь запрещенных товаров, которые мы могли бы всучить здешним олухам?

— Нет, — говорю я, — все осталось у меня вместе с чемоданом в Пивайне — и серьги с патагонскими брильянтами, и незолотые брошки. Там они останутся, покуда на тополях не вырастут японские сливы и не наводнят собой весь рынок. А рассчитывать на это трудно, разве что мы пригласим в помощники Лютера Бербанка.¹⁰⁷

— Ну, что же делать, — отвечает Бассет, — поищем других путей. Может быть, когда стемнеет, я выпрошу у какой-нибудь дамочки шпильку и попробую с помощью этой шпильки взломать сейф Пастушеско-Фермерского банка.

Во время нашей беседы к станции подходит пассажирский поезд. Из вагона выскакивает какой-то мужчина в цилиндре — выскакивает не с той стороны, откуда все люди, а с другой — и бежит вприпрыжку по путям, прямо к нам; маленький, толстенький, длинноносый, с крысиными глазками, но платье на нем дорогое, в руке саквояж, который он несет так осторожно, как будто там яйца или железнодорожные акции. Он прошел мимо нас по шпалам, словно и не заметил, что поблизости город.

— Идем! — говорит Билл и встает с места.

— Куда? — спрашиваю я.

— Как куда? — говорит Билл. — Или ты забыл, что ты в пустыне и что у тебя перед глазами сию минуту просыпалась манна? Или ты не слышишь, как ворон шумит крыльями? Эх ты, Илья-пророк!

Мы догнали незнакомого мужчину на опушке леса, и, так как место было безлюдное, а солнце уже закатилось, никто не видел, как мы остановили его. Билл снял с него цилиндр, погладил его рукавом и снова надел незнакомцу на голову.

— Что это значит, сэр? — спрашивает незнакомец.

— Когда я носил цилиндр, — отвечает Билл, — и испытывал какое-нибудь затруднение, я всегда снимал свой цилиндр и гладил его рукавом. Теперь цилиндра у меня нет, и приходится пользоваться вашим. Я в таком затруднении, что даже не знаю, с чего мне начать, как объяснить вам, по какой причине мы беспокоили вас, и потому не лучше ли будет, если мы, для первого знакомства, пощупаем ваши карманы.

Билл тщательно обшарил все карманы приезжего, и на лице у него выразилось отвращение.

— Часов и тех нет, — сказал он. — Как же вам не стыдно, вы, истукан алебастровый? Разодет, как первый лакей в ресторане, а денег не больше, чем у какого-нибудь графа. Нет даже мелочи на трамвай. И куда вы девали билет?

Приезжий отвечает, что при нем действительно нет никаких ценных вещей. Но Бассет берет у него из рук саквояж. В саквояже оказываются носки, воротнички и какая-то газетная вырезка. Билл внимательно читает газетную вырезку, а потом протягивает приезжему руку.

— Брат, — говорит он, — прими мой сердечный привет. Позволь принести тебе извинение друзей. Я Билл Бассет, громила. Мистер Питерс, познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Альфредом Э. Риксом. Пожмите друг другу руки.

¹⁰⁷ Бербанк Лютер (1849–1926) — знаменитый американский садовод-селекционер.

Потом Билл снова обращается к приезжему и говорит:

— Мистер Питерс по своей профессии занимает среднее место между мною и вами в деле преступления и порока. Он всегда дает какой-нибудь товар за те деньги, которые получает. Очень рад познакомиться с вами, мистер Рикс, — с вами и с мистером Питерсом. Это первый раз мне случается присутствовать на таком пленарном заседании Национального Синода Акул, где представлены все три ремесла: грабительство, жульничество и банковое дело. Пожалуйста, мистер Питерс, рассмотрите верительные грамоты мистера Рикса.

В газетной вырезке, которую вручил мне Билл Бассет, этот Рикс был изображен во весь рост. Газета была чикагская, и каждая строчка заключала проклятия по адресу Рикса. Из нее я усмотрел, что вышеназванный Рикс разделил на участки те области штата Флорида, которые находятся глубоко под водой, и продавал эти участки простодушным людям в своей роскошно обставленной конторе в Чикаго. После того как он собрал что-то около ста тысяч долларов, один из тех пронырливых и беспокойных покупателей, которые всегда готовы чинить неприятности (я знал таких, которые проверяли купленные у меня золотые часы — кислотой), — один из этой шайки пройдох совершил по удешевленному тарифу экскурсию на купленный им участок посмотреть, не требуется ли там починить забор, а кстате закупить к Рождеству лимонов для предпраздничной торговли. Он прихватил с собой землемера, чтобы тот установил окончательно границы его участка. Подъезжают они к берегу и видят, что имение «Райская долина», столь прославленное в газетных рекламах, находится на дне озера Окичоби. Участок этого человека был на глубине тридцати шести футов, и, кроме того, аллигаторы и шуки так давно сделали на него заявку, что тягаться с ними было бы трудновато.

Естественно, владелец участка вернулся в Чикаго и устроил Альфреду Э. Риксу такую жаркую погоду, какая бывает в те дни, когда бюро погоды предскажет мороз. Рикс пытался отвести обвинение как голословное, однако аллигаторы оставались фактом. Вскоре обо всем этом деле появились статейки в газетах, и Риксу пришлось экстренно бежать из своего дома по пожарной лестнице. Власти успели заявить о чем следует в банк, где он держал свои сбережения, и пришлось ему удирать в чем был, захватив только носки да дюжину крахмальных воротничков сороковой номер. Случайно в бумажнике у него завалился бланк на бесплатный проезд по железной дороге, и с помощью его он доехал до города в пустыне, где и свалился на меня с Биллом Бассетом как Илия Третий, только без всякого ворона.

А между тем Альфред Э. Рикс через несколько минут начинает хныкать, что он голоден, и клятвенно заверяет, что денег у него ни цента даже на приобретение пищи. Пользуясь параболами и силлогизмами, мы могли бы сказать, что мы трое представляли труд, торговлю и капитал. Но когда у торговли нет капитала, операции удаются плохо. А когда у капитала нет денег, тогда начинается полный застой по части бифштеков и лука. Человек с отмычкой понял это.

— Братья-разбойники! — говорит Билл Бассет. — Никогда еще я не покидал своего товарища в беде. Мне сдается, что в том лесочке имеется квартира без мебели. Переселимся туда и будем ждать, чтобы стало темнее.

В роще действительно виднелась пустая лачуга, и мы втроем отправились туда. Наступает вечер, Билл Бассет велит нам сидеть смирно, а сам уходит на полчаса. Вскоре он возвращается, неся с собой ломти хлеба, свиную грудинку и пироги.

— Позаимствовал на ферме, на Уошита-авеню, — объясняет он. — Ешь, пей и веселись.

Взошла полная луна и осветила нашу лачугу. Мы садимся на пол и пируем при лунном освещении. Билл Бассет начинает хвастаться.

— Иногда, — говорит он (а рот у него набит деревенским продуктом), — как подумаю, что вы воображаете, будто ваша профессия выше моей, я прямо выхожу из себя. Ну, скажите, что бы вы делали, если бы я не поставил вас на ноги? Вот хотя бы ты, например, Рикси.

— Я не могу не признать, мистер Бассет, — говорит мистер Рикс, причем его слова звучат невнятно, так как у него полон рот пирогами, — я не могу не признать, что при данных неблагоприятных обстоятельствах я был бы, пожалуй, не в силах создать предприятие, которое улучшило бы положение вещей. Крупные операции, которые я привык проводить,

естественно, требуют крупных предварительных расходов. Я...

— Знаю, знаю, Рикси, — перебил его Билл Бассет. — Можешь не продолжать свою речь. Когда ты начинаешь дело, тебе требуется пятьсот долларов, чтобы нанять блондинку-машинистку и сделать первый взнос за купленную в рассрочку дубовую мебель на все четыре комнаты конторы. И кроме того, тебе нужно еще пятьсот долларов, чтобы напечатать публикации в газетах. И еще тебе нужно ждать две недели, пока рыба не начнет клевать. Обращаться к тебе за помощью в трудную минуту — все равно что требовать муниципализации дома, когда жильцы уже задохлись от неочищенного газа. И твое жульничество, братец Питерс, тоже не сразу дает тебе прибыль.

— Ой, ой, ой, — отвечаю я. — Подумаешь, какая фея нашлась. Я что-то не видал, чтобы ты превратил в золото какой-нибудь мусор своим магическим жезлом. Потереть волшебное кольцо, чтобы добыть вот эти жалкие объедки, мог бы любой из нас.

Бассет смеется еще пуще:

— Подождите, мисс Золушка, сейчас за вами придет карета шестеркой. Может быть, у вас в рукаве имеется какой-нибудь проект для начала?

— Сын мой, — говорю я ему, — я старше тебя на пятнадцать лет и все же еще достаточно молод, чтобы застраховать свою жизнь. Мне и раньше случалось сидеть на мели. Огни города не дальше полумили отсюда. Моим учителем был Монтегью Силвер, величайший из всех жуликов, какой когда-либо торговал незаконною дрянью с тележки. Сейчас по этим улицам шагают целые сотни людей, у которых платья усеяны жирными пятнами. Дай мне газолиновую лампу, коробку с лоскутками материи, а также кусок белого кастильского мыла ценою в два доллара, нарезанный на мелкие...

— А где у тебя два доллара? — прерывает меня Билл Бассет.

Бесполезно было спорить с этим вором.

— Нет, — продолжает он, — оба вы беспомощные младенцы. Капитал закрыл свою контору, и Торговля спустила шторы. Оба вы только и ждете, чтобы явился Труд и привел колеса в движение. Возражений нет? Отлично. Сегодня я покажу вам, что может сделать Билл Бассет.

Он советует мне и Риксу не уходить из лачуги и ждать его возвращения, хотя бы он вернулся на рассвете. После этого он уходит по направлению к городу, и мы слышим, как он весело насвистывает.

Альфред Э. Рикс стаскивает башмаки, снимает пиджак, покрывает свой цилиндр шелковым платочком и растягивается на полу.

— Я попытаюсь погрузиться в дремоту, — пищит он. — День у меня выдался утомительный. Спокойной ночи, милый мистер Питерс.

— Кланяйтесь от меня Морфею, — говорю я. — А я еще немного посижу.

Около двух часов ночи (насколько я мог судить по моим часам, которые остались в Пивайне) возвращается наш труженик, расталкивает Рикса и приглашает нас подвинуться к тому месту лачуги, где луна сияет ярче всего. Потом он раскладывает на полу пять пачек по тысяче долларов каждая и начинает кудахтать над ними, как курица над яйцами.

— Теперь я могу рассказать вам кое-что про этот городишко, — говорит он. — Называется он Рокки-Спрингз, и в нем строится мasonicкий храм, а кандидата в мэры от демократов, скорей всего, посадит в лужу другой кандидат — популист, а жена судьи Таккера болела плевритом, но теперь ей лучше. Пришлось побеседовать на все эти лиллипутские темы, прежде чем получить хоть один сифон из источника сведений, которые мне были нужны. Так вот, в городишке имеется банк под названием «Институт Верного Дровосека и Бережливого Пахаря». Вчера вечером, когда этот институт закрылся, в нем было двадцать три тысячи долларов, а сегодня утром, когда он откроется, в нем будет всего восемнадцать тысяч — серебряной монетой, вот почему я не принес вам больше. Так-то, Капитал и Торговля. Ну, что вы теперь скажете?

— Мой молодой друг, — говорит Альфред Э. Рикс, воздевая руки горе. — Неужели вы ограбили этот банк? Ай, ай, ай!

— Вряд ли это можно назвать грабежом, — отвечает Бассет. — Грабеж — слишком грубое слово. Вся моя работа была в том, чтобы выяснить, на какой улице находится банк. Город такой тихий, что я, стоя на углу, слышал, как тикает секретный механизм сейфа: «Вправо на сорок пять; влево два раза на восемьдесят; вправо на шестьдесят; влево на пятнадцать» — так явственно, словно это капитан университетской футбольной команды отдает распоряжения своим молодцам. Но, дети, — говорит Бассет, — в этом городе встают рано. Еще до зари все жители на ногах. Я спрашивал их, почему они не спят дольше, они объяснили, что к этому времени у них готов завтрак. Ну а теперь не пора ли сматывать удочки? Ансамбль распадается. Я готов финансировать вас. Сколько вам нужно? Говори ты, Капитал.

— Мой юный и милый друг, — говорит этот суслик Альфред Э. Рикс, встав на задние лапки, а передними подбрасывая орешки, — у меня есть друзья в Денвере, которые готовы мне помочь. Если бы у меня было сто долларов, я бы...

Бассет развязывает пачку денег и швыряет Риксу пять бумажек по двадцать долларов.

— А тебе, Торговля, сколько надо? — говорит он, обращаясь ко мне.

— Спрячь свои деньги, Труд, — говорю я, — я никогда еще не эксплуатировал честного труженика. Доллары, которые я добываю, всегда принадлежат простофилям и олухам. Им они не нужны и только жгут им карманы. Когда я стою на улице и продаю за три доллара какому-нибудь щенку массивное золотое кольцо с брильянтом, я зарабатываю на этом деле два доллара и шестьдесят центов. Ну а он? Разве я не знаю, что он хочет подарить его какой-нибудь девушке и получить от нее столько, будто кольцо стоит не меньше ста двадцати пяти долларов? Чистого дохода у него сто двадцать два. Кто же больше наживается — я или он?

— А когда ты за пятьдесят центов продаешь бедной женщине щепотку песка, чтобы предохранить ее лампу от взрыва, в какую сумму ты исчисляешь ее валовой доход? Песок-то, не забудь, стоит сорок центов тонна.

— Пойми, — сказал я, — я учу ее хорошенько чистить лампу и вовремя подливать керосину. Если она исполнит мой совет, лампа не взорвется. А когда у нее есть песок, она знает наверняка, что взрыва не будет, и одной заботой у нее меньше. Это своего рода «христианская наука» в промышленности. Женщина платит пятьдесят центов и разом улучшает и Рокфеллера и миссис Эдди.¹⁰⁸ Это не всякий умеет — одновременно дать заработать этим двум золотым близнецам.

Альфред Э. Рикс чуть не лижет сапоги у Билла Бассета.

— Мой юный, мой милый друг! — говорит он. — Никогда я не забуду вашей щедрости. Награди вас Господь. Но умоляю вас, прекратите свои преступления и вступите на путь добродетели.

— Ах ты,мышь несчастная, — говорит Билл, — прячься в свою норку и помалкивай. Для меня все ваши догмы и принципы все равно что предсмертные слова велосипедного насоса. Что дала вам ваша высоконравственная система грабежа? Нужду и нищету. Даже брат Питерс, которому так нравится осквернять искусство воровства теориями торговли и промышленности, и тот оказался банкротом. Брат Питерс, — обращается он снова ко мне, — лучше бы ты взял у меня несколько долларов. Сделай одолжение, пожалуйста.

Я снова говорю Биллу Бассету, чтобы он спрятал свои деньги в карман. Я никогда не разделял того уважения к краже со взломом, которое питают к ней некоторые. Я никогда не брал с людей деньги даром, всегда давал им что-нибудь взамен — маленький пустячный сувенир, хотя бы для того, чтобы научить их не попадаться вторично.

Альфред Э. Рикс снова кланяется в ноги Биллу Бассету и желает нам счастливо оставаться. Он говорит, что достанет на какой-нибудь ферме лошадей и доедет до следующей станции, а оттуда поездом в Денвер. Прямо дышать стало легче, когда этот жалкий червяк, наконец, уполз. Не человек, а позор для всякой индустриальной профессии. К чему привели все его грандиозные планы и шикарные конторы? Не мог даже честно заработать себе на хлеб,

¹⁰⁸ Эдди Мэри — основательница шарлатанского религиозного учения «Христианская наука».

оказался в долгу у незнакомого и, может быть, беспринципного громилы! Я был рад, что он уходит, хотя мне было жаль его немного, так как я знал, что он человек конченный. Что может сделать такой человек, не имея для начала больших капиталов? Он был беспомощен, как черепаха, опрокинутая на спину. У него не хватило бы хитрости выманить грошовый грифель у маленькой девочки.

Когда я остался с Биллом Бассетом наедине, мне пришла в голову одна комбинация, заключающая в себе маленькую торговую тайну. Я подумал: покажу я этому громиле, какая разница между трудом и бизнесом. Очень он задел мою профессиональную честь.

— Не нужно мне ваших подарков, мистер Бассет, — сказал я ему, — но если вы оплатите наши расходы по совместному путешествию из опасной зоны, где вы причинили такой безнравственный дефицит финансам этого города, то я буду вам очень признателен.

Билл Бассет согласился, и мы с первым же поездом помчались на запад.

Когда мы прибыли в Аризону, в городок, который называется Лос-Перрос, я предложил Биллу попытаться там счастья. В этом городе жил на покое мой старый учитель Монтегью Силвер. Теперь он удалился от дел, но я знал, что в случае чего он даст мне денег сплести паутину, если увидит, что у меня на примете есть муха, которая жужжит невдалеке. Билл Бассет заявил, что для него все города одинаковы, так как он работает главным образом по ночам. Ну, вот мы и сошли с поезда в Лос-Перросе; прелестный городок, в серебряном районе.

У меня был один изящный коммерческий план, нечто вроде камня на палке, которым я намеревался ударить Билла Бассета прямо в затылок. Я не хотел воровать у него деньги, куда он спал, но я хотел научить его скромности и взять у него за этот урок те четыре тысячи семьсот пятьдесят пять долларов, которые остались у него, когда мы сошли с поезда. Но едва я намекнул ему о помещении капитала, как он поворачивается ко мне всем туловищем и разгружается от следующих выражений и терминов.

— Братец Питерс, — говорит он, — идея твоя неплоха. Скорее всего, я именно пушусь на какое-нибудь предприятие. И знаешь, что я сделаю, братец Питерс? Я открою игорный домик. Рутинка жульничества меня тяготит. И не желаю я торговать вразнос мутовками или сбывать в цирке питательные мучные препараты под видом опилок. Но игорное дело, — говорит он, — это хороший компромисс между кражей серебряных ложек и продажей вытиралок для перьев на благотворительном базаре в отеле «Уоллдорф-Астория».

— Так, значит, мистер Бассет, — говорю я, — вы отказываетесь обсудить мое деловое предложение?

— А разве вы еще не поняли, — говорит он, — что я не курица и тем более не рыба и ждать, пока я клюну, — дело пропащее?

И вот Бассет снял комнату над салуном и стал искать, где бы ему купить мебель и две-три картинки на стену. В тот же самый вечер я побывал у моего учителя Монти Силвера, и он, познакомившись с моим коммерческим планом, выдал мне заимообразно двести долларов. Во всем городе был только один магазин, где продавались игральные карты. Я пошел туда и скупил все колоды, какие только были в магазине. На следующее утро, чуть только магазин открылся, я принес все колоды назад. Я сказал, что мой компаньон передумал и не дает мне денег на открытие игорного дома, так что эти колоды мне не нужны. Хозяин магазина согласился взять их назад за полцены.

Да, да, да, на этой комбинации я потерял семьдесят пять долларов. Но карты недаром пролежали у меня всю ночь. Всю ночь я корпел над ними и ставил крапинки на каждую карту. Это был труд. А потом в дело вмешалась коммерция, и хлеб, который я «отпустил по водам», начал возвращаться ко мне в виде сладких пудингов с винной подливкой.

Конечно, когда у Бассета открылся притон, я первый пришел туда. Бассету пришлось купить те самые колоды, которые были разрисованы мною, потому что других во всем городе не было, а я знал затылок каждой карты гораздо лучше, чем знаю свой собственный, когда парикмахер показывает мне, при помощи двух зеркал, какую он мне сделал прическу.

Когда игра кончилась, у меня оказалось пять тысяч да еще несколько долларов мелочи,

а у Билла Бассета только и осталось что Wanderlust¹⁰⁹ да черная кошка, которую он купил на счастье. Когда я уходил, он пожал мне руку.

— Братец Питерс, — сказал он мне, — я не имею призвания к бизнесу. Я создан для черной работы. Когда знаменитый взломщик пробует перековать свою отмычку на безмен, он поступает немудро. А в карты играешь ты ловко, везет тебе, как утопленнику, живи себе с миром, прощай.

И больше я не видел Билла Бассета.

— Ну и как же, Джефф, — сказал я, когда решил, что мой искатель приключений кончил, — надеюсь, вы сэкономили ваши деньги? Как пригодятся они вам, когда вдруг, в один прекрасный день, вы вздумаете переменить вашу жизнь и заняться более регулярной коммерцией.

— О, еще бы! — сказал Джефф с благородными нотами в голосе. — Будьте спокойны, уж я их не потеряю, эти пять тысяч. Я так их припрятал, что любо.

И он победоносно хлопнул себя по боковому карману.

— Отличные акции золотых рудников. Каждая акция — доллар. Дадут не меньше пятисот процентов прибыли, не облагаются налогом. «Рудник Голубого Крота». Открыт всего месяца назад. Советую и вам вложить туда лишние доллары.

— Иногда, — сказал я, — эти рудники не...

— Нет, это дело солидное, — перебил меня Джефф. — На пятьдесят тысяч долларов руды, гарантировано десять процентов добычи. — Он вынул из кармана продолговатый конверт и положил его передо мной на столик.

— Ношу его повсюду с собой, — пояснил он. — Чтобы банкир не взломал мою кассу и взломщик не попробовал бы вытянуть их шантажом.

Я стал рассматривать акции. Они были очень красивые.

— Ах, это в Колорадо, — сказал я. — Кстати, Джефф, как звали того банкира, которого вы с Биллом встретили возле станции? Который потом уехал в Денвер?

— Эту жабу звали Альфред Э. Рикс, — сказал Джефф.

— Вот оно что, — сказал я. — А председатель вашей акционерной компании расписался на акциях А. Л. Фредерикс. Я думал...

— Покажите! — рявкнул Джефф и вырвал у меня свои бумаги.

Чтобы хоть как-нибудь отвлечь собеседника от тягостных дум, я подозвал лакея и заказал еще одну бутылку барберы. Это было самое меньшее, что я мог сделать при таких обстоятельствах.

Стихий ветер

Перевод М. Беккер

Вид Бакингема Скиннера впервые нарушил покой моих зрительных нервов в Канзас-Сити. Стоя на углу против одного конторского здания, я увидел, как Б. Скиннер высунул свою рыжую голову из окна третьего этажа и во всю глотку заорал: «Тпру! Тпру!», как бы пытаясь остановить сбежавших мулов.

Я оглянулся по сторонам, но не обнаружил в поле зрения ни единого представителя животного царства, если не считать двух привязанных к столбу фургонов, да полисмена, которому чистили башмаки. Спустя минуту этот самый Бакингом Скиннер скатился с лестницы, выскочил из дверей, добежал до угла, остановился и окинул взором улицу по которой клубилась воображаемая пыль, поднятая несуществующими подковами мифической

¹⁰⁹ Тяга к странствованиям (нем.).

упряжки химерических четвероногих. Затем Б. Скиннер вернулся на третий этаж в контору, и я увидел над окнами вывеску «Акционерное Общество Взаимного Кредита Друг Фермера».

Через некоторое время Рыжий снова появился внизу, и тогда я перешел через улицу ему навстречу, ибо у меня возникли кой-какие идеи. Да, сэр, подойдя поближе, я сразу увидел, в чем он переигрывал. Он, конечно, выглядел типичным деревенским увальнем, поскольку дело касалось синих штанов и сапог из воловьей кожи, но у него были холеные руки актера, а сдвинутая на ухо соломенная шляпа была явно позаимствована из театрального реквизита труппы, играющей «Старую ферму». Меня одолело любопытство, и я решил узнать, чем он промышляет.

— Скажите, это ваши мулы только что отвязались и сбежали? — вежливо спрашиваю я. — Я пытался их остановить, но где там! Они наверняка уже на полдороге к ферме.

— Черт бы побрал этих проклятых мулов! — отвечает Рыжий с таким правдоподобным прононсом, что я чуть было не рассыпался в извинениях. — Вечно они сбегают.

С этими словами он пристально на меня взглянул, снял свою дурацкую шляпу и совсем другим голосом сказал:

— Я хотел бы пожать руку мистеру Парле-Ву Пикенсу величайшему уличному шарлатану на всем Западе, за исключением одного только Монтегью Силвера, чего вы, разумеется, отрицать не станете.

Я разрешил ему пожать мне руку.

— Я учился у Силвера и готов уступить ему пальму первенства, — говорю я. — Но скажи, сынок, чем ты тут промышляешь? Должен признаться, что фиктивное бегство апокрифических животных, по адресу коих ты произнес замечание «тпру», несколько меня озадачило. В чем суть этого трюка?

Бакингом Скиннер покраснел.

— Карманные деньги, только и всего, — отвечал он. — Мои финансы временно пришли в упадок. В городе такого размера сюжет со шляпой из сенной трухи дает сорок долларов. Как я это делаю? Прежде всего я напяливаю отвратительное одеяние деревенского недотепы. Набальзамированный таким образом, я превращаюсь в Джонаса Брюквингема — имя, лучше которого едва ли можно придумать. Затем я с грохотом вваливаюсь в какую-нибудь кредитную контору, удобно расположенную на третьем этаже окнами на улицу. Положив на пол шляпу и нитяные перчатки, я обращаюсь с просьбой выдать мне под залог моей фермы ссуду в две тысячи долларов, которая необходима для завершения музыкального образования моей сестры в Европе. В кредитных конторах обожают ссуды подобного сорта. Ставлю десять против одного, что, когда настанет срок оплаты векселя, лишение права выкупа закладной на целых два корпуса опередит самое резвое стаккато.

И вот, сэр, в ту самую минуту, когда я сую руку в карман, чтобы извлечь из него документ на право владения фермой, я вдруг слышу, что моя упряжка сорвалась с привязи и удирает. Подбежав к окну я издаю вышеупомянутый звук — или, если угодно, восклицание «тпру!». Затем я скатываюсь вниз, выбегаю на улицу, бросаюсь вдогонку и вскоре возвращаюсь назад.

«Проклятые мулы, — говорю я, — опять они сбежали, да на этот раз еще сломали дышло и разорвали две постромки. Теперь я должен топтать домой на своих на двоих, потому что не взял с собою денег. Пожалуй, придется нам отложить разговор о ссуде до другого раза, джентльмены».

Вслед за тем я возвожу очи горе и, подобно сынам израилевым, жду, когда на меня упадет манна небесная.

«Что вы, мистер Брюквингем, — говорит мне красный как рак субъект в очках и в пикейном жилете, — сделайте одолжение, возьмите у нас до завтра десять долларов. Почините сбрую и приходите в десять часов утра. Мы будем очень рады помочь вам с этой ссудой».

— Все это проще простого, — скромно замечает Бакингом Скиннер, — но, как я уже говорил, годится лишь как временная мера и лишь для мелких сумм.

— В случае стихийного бедствия все средства хороши, — говорю я, щадя его чувства. — Конечно, это безделица по сравнению с организацией треста или с партией в бридж, но ведь и

Чикагский университет тоже с малого начинался.

— А вы каким бизнесом сейчас занимаетесь? — спрашивает меня Бакингом Скиннер.

— Законным, — отвечаю я. — Продаю горный хрусталь и Электрическую батарею от Головной Боли доктора Касторкини, Швейцарский Манок для Певчих Птичек, модные башмаки и туфли, а также Золотой Мешок, в котором хранится позолоченное кольцо для обручения и свадьбы, шесть луковиц египетской каллы, комбинированная вилка для соленых огурцов, она же ножницы для ногтей и, наконец, полсотни гравированных визитных карточек — ни одна фамилия не повторяется дважды — и все за тридцать восемь центов.

— Два месяца назад я был в Техасе, — рассказывает Бакингом Скиннер, — и неплохо зарабатывал там на патентованных мгновеннодействующих бензиновых зажигалках из прессованной древесной золы. Я продавал их сотнями в городах, где любят сжигать негров быстро, не теряя времени на просьбу дать огонька. И вот, в то самое время, когда мои дела шли как по маслу, там ни с того ни с сего находят нефть и вытесняют меня с рынка. «Твоя машинка слишком медленно действует, сосед, — говорят они мне. — Пока твой старый трут и огниво нагреет негра до такой температуры, что он начнет молиться за упокой своей души, глядишь, наш керосин уже отправил его прямехонько в ад!» Пришлось мне, значит, бросить свои зажигалки и переехать в Канзас-Сити. Этот маленький дивертисмент с легендарной фермой и гипотетической упряжкой, который я исполнил на ваших глазах, совсем не по моей части, и мне очень стыдно, что вы видели меня в этой роли, мистер Пикенс.

— Никто не должен стыдиться, что наложил на кредитную контору контрибуцию, будь она всего лишь в десять долларов, — мягко замечаю я. — Хотя, разумеется, это нельзя назвать безусловно честным поступком. Это почти то же, что брать деньги в долг без отдачи.

Бакингом Скиннер мне сразу понравился. Вскоре мы стали с ним друзьями, и я посвятил его в свой новый план и предложил войти в долю.

— Я рад и счастлив принять участие в чем угодно, кроме явно нечестных деяний, — ответил мне Бак. — Давайте извлечем квинтэссенцию из вашей пропозиции. Я чувствую себя униженным, когда ради ничтожной суммы в десять долларов мне приходится принимать буколический облик и носить в волосах бутафорскую солому. Откровенно говоря, мистер Пикенс, я при этом чувствую себя как Офелия на сцене Великой Оксидентальной Театральной Конгрегации.

Мой новый план как нельзя более соответствовал моим наклонностям. От природы я несколько сентиментален и потому отношусь с симпатией к умиротворяющим элементам бытия. Я склонен проявлять снисходительность к наукам и искусствам и всегда нахожу время для восторгов перед такими гуманистическими явлениями природы, как романтика, атмосфера, трава, поэзия и четыре времени года. Когда я чищу жирного сазана, я не упускаю случая полюбоваться красотой его призматической чешуи. Продавая какую-нибудь золотиносную безделушку человеку с мотыгой, я никогда не игнорирую гармонического сочетания зеленого и желтого цветов. Потому-то мне и понравился этот план — он был так полон свежего воздуха, пейзажей и бешеных денег.

Для осуществления задуманной махинации нам требовалась молоденькая ассистентка, и я спросил Бака, нет ли у него на примете какой-нибудь девицы.

— Хладнокровной и сугубо деловой — начиная от прически «помпадур» и кончая полуботинками «Оксфорд». Никакие экс-хористки, жевательницы резинки или зазывалы клиентов для уличных художников нам не годятся.

Бак сказал, что знает одну подходящую фемину по имени мисс Сара Мэллой, и тут же повел меня к ней.

Мисс Мэллой пленила меня с первого взгляда. Это был товар точно по заказу. Ни малейшего намека на три «П» — пероксид, папильотки и пачули. Двадцать два года, темные волосы, приятные манеры — словом, женщина что надо.

Мисс Мэллой с ходу берет быка за рога.

— Попрошу план махинации, — говорит она.

— Ах, мадемуазель, наша маленькая афера настолько прелестна, изящна и романтична,

что по сравнению с ней сцена на балконе из «Ромео и Джульетты» может показаться грубой кражей со взломом на втором этаже.

Мы всё обсудили, и мисс Мэллой согласилась принять участие в нашем предприятии. Она сказала, что рада возможности отказаться от места секретаря-стенографистки в конторе по продаже пригородных участков и заняться чем-нибудь более уважаемым.

Наш план состоял в следующем. Во-первых, я разработал его по поговорке. Лучшие плутни в мире основаны на прописных истинах, пословицах и баснях Исава, в которых скупыми словами характеризуется какое-либо свойство человеческой природы. Наша невинная маленькая комбинация была построена на старинной поговорке: «Все племя жуликов любит влюбленных».¹¹⁰ В один прекрасный вечер Бак и мисс Мэллой с быстротою молнии подкатывают на повозке к дверям какой-нибудь фермы. Бледная, но бархатистая и нежная как персик, она прильнула к его плечу — томно прильнула к его плечу. Они рассказывают, что убежали от жестоких родителей, которые противятся их свадьбе. Они спрашивают, где можно найти священника. Фермер отвечает: «Ах ты, господи, тут поблизости нет ни одного священника, кроме преподобного Авелса, да и тот живет на Кэни-Крик, отсюда мили четыре». Фермерша вытирает руки фартуком и протирает очки.

Вдруг откуда ни возьмишь по дороге тарактит таратайка, а на ней восседает Парле-Ву Пикенс — весь в черном, с белым галстуком и длинной физиономией. Он шмыгает носом, издавая противоестественные звуки, напоминающие молитву.

«Ах ты, господи, — восклицает фермер, — провалиться мне на этом месте, если это не священник!»

Выясняется, что я — преподобный Обадиа Грин и держу путь в Малый Вифлеем с целью прочитать проповедь в тамошней воскресной школе.

Молодые люди утверждают, что им необходимо немедленно обвенчаться, потому что папаша выпряг из плуга мулов, запряг их в телегу и гонится за ними по пятам. И вот его преподобие Грин, после недолгого колебания, совершает свадебный обряд у фермера в гостиной. Фермер ухмыляется, выносит бутылку сидра и говорит: «Ах ты, господи!» Фермерша всхлипывает и гладит новобрачную по плечу. А лжепреподобие Парле-Ву Пикенс выписывает брачное удостоверение, на котором в качестве свидетелей расписываются фермер с фермершей. После чего участники первой, второй и третьей части усаживаются в свои экипажи и уезжают. О, это была идиллическая махинация! Верная любовь, мычание коров и красные амбары в лучах заходящего солнца. Все доселе известные плутни ей и в подметки не годились!

Кажется, я успел обвенчать Бака и мисс Мэллой не меньше чем на двадцати фермах. Меня все время мучила мысль о том, как померкнет вся эта романтика, когда банки, в которых мы дисконтировали эти брачные свидетельства, потребуют с фермеров уплаты от трехсот до пятисот долларов за каждый подписанный ими вексель.

Пятнадцатого мая мы разделили на троих около шести тысяч долларов. Мисс Мэллой чуть не расплакалась от радости. Не часто можно встретить девушку столь мягкосердечную или добродетельную.

— Мальчики, — сказала она, вытирая глаза шелковым платочком, — эта сумма пришла мне как нельзя более кстати — даже больше, чем корсет толстухе перед балом. Она дает мне возможность исправиться. Когда вы появились на моем горизонте, я пыталась оставить бизнес, связанный с продажей недвижимости. И если б вы не пригласили меня принять участие в этой небольшой экспедиции по снятию эпидермиса с брюквеедов, я наверняка пошла бы по дурному пути. Я уже готова была наняться на один из этих Женских Благотворительных Базаров, где под названием Завтрак Бизнесмена продают за семьдесят пять центов ложку куриного салата и булочку с кремом, чтобы на вырученные деньги построить

¹¹⁰ Так запомнилась рассказчику фраза из очерка «О любви» американского поэта и философа Эмерсона «Все человечество любит влюбленных».

дом для приходского священника.

А теперь я могу заняться честным благородным делом и предать забвению все эти сомнительные операции. Я поеду в Цинциннати и открою там кабинет хиромантии и ясновидения египетской волшебницы мадам Сарамалой, где каждый всего лишь за доллар сможет получить полную порцию своего будущего. До свидания, мальчики. Послушайте моего совета — займитесь какими-нибудь приличными плутнями. Вступите в союз с полицией и прессой, и все будет в порядке.

Итак, мы пожали друг другу руки, и мисс Мэллой нас покинула. Мы с Баком тоже собрали свои пожитки и отъехали на пару сотен миль: нам не особенно хотелось дожидаться срока оплаты брачных свидетельств.

С четырьмя тысячами долларов на двоих мы отправились к берегам Нью-Джерси в один нахальный городишко, известный под названием Нью-Йорк.

Если есть на свете птичник, сверху донизу набитый гусями и гусынями, так это именно Олухвиль-на-Гудзоне. Его называют городом космополитов. Что верно, то верно. Такова же полоска липучки для мух. Прислушайтесь к тому, что они жужжат, пытаюсь выпростать свои лапки из клея. «Старина Нью-Йорк — городок что надо», — хором выводят они.

Той деревенщины, что проходит по Бродвею за один-единственный час, вполне достаточно для закупки всей недельной продукции расположенной в Огасте (штат Мэн) фабрики Новомодных Новинок, вроде дутых золотых колец и тупых шпилек для запуска друзьям.

Может, вы думали, что в Нью-Йорке живут одни умники? Ничего подобного. Там ни у кого нет ни малейшего шанса хоть чему-нибудь научиться. Там такая теснота, что даже простак — и те ходят косяками. Да и в самом деле — чего хорошего можно ожидать от города, который отделен от мира с одной стороны океаном, а с другой — штатом Нью-Джерси?

Нью-Йорк не место для честного жулика с небольшим капиталом. Мошенничество облагается там слишком высоким протекционным тарифом. Когда Джованни продает кварту вареных макарон и шелухи от каштанов, он и то должен поднести пинту всеядному фараону. А хозяин гостиницы требует двойную плату за все, что внесено в счет, который он посылает с полицейским в храм Божий, где герцог готовится вступить в брак с богатой наследницей.

Правда, старый Дрянбург-близ-Кони-Айленда — идеальное местечко для утонченного разбоя, но и то лишь если вы способны уплатить пошлину за мошенничество. Импортные плутни обходятся здесь очень дорого. Таможенники, приставленные за этим следить, вооружены дубинками, и очень трудно протащить контрабандой даже какую-нибудь игрушку для завоевания Бруклина, если только у вас нет денег на пошлину. Но теперь мы с Баком, обзаведясь капиталом, снизошли на Нью-Йорк с целью всучить столичным дикарям несколько стеклянных бусин в обмен на недвижимость — точь-в-точь как это делали голландцы лет эдак сто или двести назад.

В одной истсайдской гостинице мы свели знакомство с неким Ромулусом Дж. Этербери, человеком, обладавшим самой способной к финансам головой на всем белом свете. Она была вся блестящая и лысая, не считая седых бакенбардов. Стоит вам увидеть такую голову за конторским барьером, и вы в мгновение ока выложите миллион, даже не попросив квитанции. Этот Ромулус Дж. Этербери был щегольски одет, хотя ел он очень редко, и рядом с резюме его речей сладкогласные напевы сирены звучали бы как брань ломового извозчика. Он утверждал, что когда-то состоял членом Фондовой биржи, но некоторые крупные капиталисты так сильно ему завидовали, что составили заговор и вынудили его продать свое место.

Мы с Баком очень понравились этому Этербери, и он специально для нас принялся набрасывать на полотно кое-какие из тех планов, которые послужили причиной эвакуации его шевелюры. Один из этих планов, насчет того, как учредить национальный банк, имея всего сорок пять долларов в кармане, мог бы превратить в твердый стеклянный шарик даже

Миссисипский Мыльный Пузырь.¹¹¹ Он рассказывал нам об этом трое суток подряд, и только когда у него заболело горло, мы смогли вставить словечко о наших финансах. Этербери взял у нас займы четвертак, вышел на улицу, купил таблетки от кашля и начал все с начала. На этот раз он выдвинул более солидные идеи и заставил нас посмотреть на них его глазами. Задуманное им дело казалось весьма верным, и он уговорил нас вложить в него весь наш капитал. Сам он намерен вложить полированный купол своей мысли. Это была довольно деликатная афера — всего-навсего каких-нибудь полтора дюйма вне пределов досягаемости полиции, но зато прибыльная, как монетный двор, именно то, что требовалось мне и Баку, — регулярный бизнес на перманентной основе.

И вот, не прошло и шести недель, как по соседству с Уолл-стритом появилась шикарно обставленная контора с выведенной золотыми буквами вывеской «Инвестиционный Банк Голконда». Сквозь открытую дверь кабинета вы могли лицезреть одетого с иголки секретаря и казначея мистера Бакингема Скиннера, возле которого красовался его цилиндр. На всякий случай Бак всегда держит под рукой какую-нибудь шляпу.

В центральном зале восседал президент и главный управляющий мистер Р. Дж. Этербери со своим бесценным полированным кумполом. Он диктовал письма королеве стенографисток, увенчанной прической «помпадур», помпезность которой уже сама по себе составляла надежную гарантию сохранности вкладов. Фирма располагала также бухгалтером и счетоводом, помимо общей атмосферы внешнего блеска и внутреннего криминала.

Наконец усталый взгляд посетителя мог отдохнуть, наслаждаясь зрелищем одетого кое-как простого человека в сдвинутой набекрень грязной шапчонке, который, положив ноги на стол, поглощал яблоки. Это был не кто иной, как полковник Текумсе (бывший «Парле-Ву») Пикенс, вице-президент компании.

— Никаких живописных лохмотьев мне не надо, — заявил я Ромулусу Этербери, когда мы готовили мизансцену для грабежа. — Я — человек простой и не признаю ни французского языка, ни пижам, ни ручных гранат в форме щетки для волос. Либо вы даете мне роль неотшлифованного алмаза, либо я подаю в отставку. Если вы можете использовать меня в моей естественной, хотя и неприглядной форме, — я к вашим услугам.

— Наряжать вас? — восклицает Этербери. — Ни в коем случае! В том виде, в каком вы есть, от вас будет гораздо больше проку, чем от целой кучи предметов, которым вдевают в петлицы хризантемы. Вам надлежит сыграть роль солидного, хотя и неумытого капиталиста с Дальнего Запада. Вы презираете условности. У вас так много акций, что вам не до абстракций. Консервативный, невзрачный, неотесанный, хитрый и бережливый — такова ваша поза. В Нью-Йорке это действует безотказно. Положите ноги на стол и ешьте яблоки. Кто бы ни вошел — ешьте яблоки. Пусть все видят, как вы засовываете яблочную кожуру в ящик своего стола. Старайтесь выглядеть как можно более экономным, богатым и грубым.

Я выполнил все указания Этербери. Я играл роль этакого простака-капиталиста со Скалистых гор без воротничка и манжет. Когда в конторе появлялся клиент, я вносил яблочную кожуру на свой текущий счет в ящик стола с таким видом, что рядом со мной показалась бы немислимой транжирой сама Хетти Грин.¹¹² Я слышал, как Этербери говорил очередной жертве, снисходительно и благоговейно улыбаясь в мою сторону:

— Это наш вице-президент, полковник Пикенс... колоссальное состояние на Западе... очаровательно простые манеры... зато в любую минуту может подписать чек на полмиллиона... простодушен, как дитя... светлая голова... консервативен и осторожен до невероятности.

¹¹¹ Грандиозная финансовая афера (1717–1720), связанная с монополией французской акционерной компании на торговлю в долине Миссисипи и в Луизиане. Предприятие это лопнуло, что повлекло за собой разорение множества акционеров.

¹¹² Хетти Грин — американская капиталистка.

Руководил предприятием Этербери. Мы с Баком так до конца и не смогли полностью во всем разобраться, хотя он нам все подробно объяснил. Похоже на то, что компания была как бы кооперативной, и каждый, кто покупал акции, имел право на долю прибыли. Сначала мы, служащие фирмы, приобрели контрольный пакет акций (нам полагалось им владеть), заплатив по пятьдесят центов за сотню, то есть ровно столько, сколько взял за них типограф, а остальные акции были проданы публике по доллару штука. Компания гарантировала акционерам ежемесячную прибыль в размере десяти процентов, каковая подлежала выплате в последний день каждого месяца.

Когда взнос акционера достигал ста долларов, компания вручала ему Золотую Облигацию, и он становился облигационером. Я однажды спросил Этербери, какие выгоды и преимущества дают вкладчику эти Золотые Облигации сверх тех льгот и привилегий, которыми пользуется рядовой простофиля, владеющий одними только акциями. Взяв в руки одну из Золотых Облигаций, разукрашенную золотым тиснением, завитушками и большой красной печатью на голубой ленте с бантиком, Этербери посмотрел на меня с таким видом, словно я смертельно его обидел.

— Дражайший полковник Пикенс, — сказал он, — в вас слабо развит инстинкт художника. Подумайте о тысячах семейств, очастливленных этими великолепными жемчужинами литографского искусства! Представьте себе, какая радость царит в доме, где одна из наших Золотых Облигаций, перевязанная розовым шнурком, висит на этажерке для безделушек, а вторую облизывает своим розовым язычком младенец, с веселым лепетом ползающий на полу! Ах, полковник! Я вижу влагу в ваших глазах. Вы глубоко тронуты, правда?

— Ничуть, — отвечаю я. — Влага, которую вы видите в моих глазах, — всего только яблочный сок. Вы не можете требовать от одного человека, чтобы он одновременно исполнял роль пресса для сидра и знатока изящных искусств.

Этербери уделял неусыпное внимание всем деталям, связанным с деятельностью нашего концерна. Насколько я понимаю, они были весьма просты: вкладчики вкладывали деньги, и, если я не ошибаюсь, к этому сводились все их обязанности. Компания эти деньги получала, и, честно говоря, больше ничего я не припомню. Мы с Баком понимали в операциях Уолл-стрита меньше, чем в продаже мозольной мази, но и нам было ясно, как «Инвестиционный Банк Голконда» делает деньги. Если вы принимаете вклад, а потом выплачиваете десять процентов, то совершенно очевидно, что вы получаете законную чистую прибыль в размере девяноста процентов за вычетом издержек — до тех пор, куда рыбка клюет.

Этербери, кроме президента, хотел быть еще и казначеем, но Бак подмигнул ему и сказал:

— Вы вложили в дело свои мозги. По-вашему, прием денег — образец работы для мозга? Советую вам хорошенько поразмыслить. Сим я назначаю себя казначеем *ad valorem, sine die*¹¹³ и без голосования. Это небольшое количество мозговой деятельности я жертвую безвозмездно. Мы с Пиком вложили в дело свой капитал, и мы намерены распорядиться его незаработанным приростом по мере того, как он будет прирастать.

Пятьсот долларов ушло на аренду помещения и на первый взнос за мебель, полторы тысячи — на типографские расходы и рекламу. Этербери свое дело знал.

— Мы продержимся ровно три месяца, минута в минуту, объявил он. — Одним днем больше — и мы либо сядем на мель, либо сядем в кутузку. К этому времени мы должны заработать шестьдесят тысяч. После чего мне потребуются пояс, чтоб зашить в него купюры, и нижняя полка в вагоне, а бульварные писаки и владельцы мебельного магазина пускай себе подводят итог.

Наши объявления возымели действие.

— Разумеется, мы поместим объявления в сельские еженедельники и в вашингтонские

¹¹³ Латинские термины, означающие «согласно стоимости» и «на неопределенный срок».

листки, которые печатаются на ручном печатном станке, — сказал я, когда мы собирались заключать контракты.

— Друг мой, — говорит мне Этербери, — в качестве агента по рекламе вы способны в разгар жаркого лета скрыть от людского носа производство лимбургского сыра. Дичь, на которую мы охотимся, водится здесь, в читальнях Нью-Йорка, Гарлема и Бруклина. Это люди, для которых изобретены буфера на трамваях, «Ответы читателям» в газетах и объявления о розыске карманных воров. Наша реклама должна печататься в самых больших нью-йоркских газетах, в верхней части первой полосы, рядом с передовицами об открытии радия и с изображениями девицы, делающей гимнастику для поправления здоровья.

Очень скоро деньги потекли к нам рекой. Баку не пришлось притворяться, будто он очень занят, — его стол был завален денежными переводами, чеками и ассигнациями. Люди ежедневно приходили в контору покупать акции.

Акции большей частью были на незначительные суммы в десять, двадцать пять и пятьдесят долларов, а многие даже всего на два или три доллара. И вот несокрушимый лысый череп президента Этербери сияет энтузиазмом и сомнительной репутацией, тогда как полковник Текумсе Пикенс, неотесанный, но достойный всяческого уважения Крез с Дальнего Запада, поглощает такое количество яблок, что из мусорного ящика красного дерева, который он называет своим столом, до полу свисает кожа.

Как и предсказывал Этербери, почти целых три месяца никто нас не беспокоил. Бак без проволочек превращал в наличные все поступавшие в контору кредитные билеты и держал деньги в сейфе неподалеку от конторы. Он никогда не питал особого доверия к банкам. Мы регулярно выплачивали проценты на проданные акции, так что ни у кого не было ни малейшего повода для жалоб. У нас накопилось уже около пятидесяти тысяч наличными, и мы все трое вели роскошную жизнь — ни дать ни взять боксеры на отдыхе.

В одно прекрасное утро, когда мы с Баком, гладкие и лоснящиеся после плотного завтрака, неторопливо входили в контору, навстречу нам выскочил какой-то развязный востроглазый субъект с трубкой в зубах. Этербери мы нашли в таком виде, словно он попал под проливной дождь в двух милях от дома.

— Вы знаете этого человека? — спрашивает он.

Мы отвечаем, что не знаем.

— Я его тоже не знаю, — говорит Этербери, вытирая пот со лба. — Но я готов поставить столько Золотых Облигаций, сколько надо для оклейки камеры в Гробнице,¹¹⁴ что он — репортер.

— Что ему тут понадобилось? — спрашивает Бак.

— Информация, — отвечает наш президент. — Сказал, что хочет купить акции. Задал мне девятьсот девяносто девять вопросов, из которых каждый попал прямехонько в самое больное место. Я уверен, что он из газеты. Меня не проведешь. Оборванец, глаз как бурав, курит жевательный табак, на воротнике перхоть, знает больше, чем Джон Пирпонт Морган и Шекспир, вместе взятые. Провалиться мне на этом месте, если он не репортер. На детективов и почтовых инспекторов мне наплевать — я беседую с ними семь минут, после чего продаю им акции, но эти репортеры способны высосать весь крахмал из моего воротничка. Ребята, я предлагаю объявить дивиденд и скрыться. На то указывают знаки Зодиака.

Мы с Баком кое-как успокоили Этербери, и он перестал потеть и суетиться. Нам казалось, что этот субъект несколько не похож на репортера. Встретив вас, репортер тотчас вытащит блокнот и огрызок карандаша, расскажет вам старый анекдот и начнет клянчить на выпивку. Однако Этербери весь день нервничал и дрожал.

На следующее утро мы с Баком вышли из гостиницы примерно в половине одиннадцатого. По дороге мы купили газеты, и первое, что мы увидели, была целая колонка о нашей скромной афере. Этот репортериска честил нас самым бессовестным образом. Он

¹¹⁴ Название тюрьмы в Нью-Йорке.

рассказывал о нашей комбинации так, как он ее понял, богатым, сочным языком, с юмором, способным позабавить кого угодно, но только не акционера. Да, Этербери был прав: щеголеватому казначею, башковитому президенту и неотесанному вице-президенту надлежало безотлагательно удалиться, дабы продлились их дни на земле.

Мы с Баком спешим в контору. На лестнице и в прихожей мы находим огромную толпу, которая пытается протиснуться в центральный зал, а он и без того уже набит битком. Почти у всех в руках акции Голконды и Золотые Облигации. Мы с Баком заключаем, что все эти люди тоже читают газеты.

Остановившись у дверей, мы с некоторым удивлением воззрились на наших акционеров. Мы представляли их себе несколько иначе. Все они казались бедняками: среди них было много старух и молодых девушек, судя по всему, работниц с фабрик и заводов. Попадались также старики, с виду похожие на ветеранов войны, некоторые даже на костылях. Были и совсем еще мальчишки — чистильщики сапог, газетчики, рассыльные. Были рабочие в комбинезонах с засученными рукавами. Никто из всей этой компании ничем не напоминал акционера какого-либо предприятия — разве что лотка с земляными орехами. Но у всех были в руках акции Голконды, и все имели такой убитый вид, что дальше некуда.

Когда Бак оглядел эту толпу, он побледнел, и на лице его появилось какое-то странное выражение. Подойдя к одной изможденной женщине, он спросил:

— Сударыня, у вас тоже есть эти акции?

— Да, на сто долларов, — еле слышно ответила женщина. Это все, что я скопила за год. У меня при смерти ребенок, и во всем доме нет ни цента. Я пришла узнать, нельзя ли хоть что-нибудь получить. В проспектах сказано, что можно в любое время получить свои деньги обратно. Но теперь говорят, что я все потеряла.

В толпе был один смысленный мальчишка — наверное, газетчик.

— Я вложил двадцать пять, мистер, — сказал он, с надеждой глядя на щегольской костюм и шелковый цилиндр Бака. Каждый месяц мне выплачивали два пятьдесят. Тут один человек говорит, что они не могли это делать, если все было честно. Как вы думаете, можно мне взять назад свои двадцать пять?

Некоторые старухи плакали. Фабричные работницы были в полном отчаянии. Они лишились всех своих сбережений, а теперь у них еще вычтут из жалованья за то время, которое они сегодня потеряли.

Одна хорошенькая девушка в красной шали сидела в углу и рыдала так горько, словно ее сердце вот-вот разорвется. Бак подошел и спросил, в чем дело.

— Понимаете, мистер, я даже не из-за денег, хотя я их целых два года копила, — отвечает она, дрожа всем телом. — Я из-за того, что Джеки теперь на мне не женится. Он возьмет Розу Стейнфилд. Я... я Джеки знаю. У нее четыреста долларов в сберегательной кассе. Ай-ай-ай! — рыдает она.

Бак все с тем же странным выражением огляделся по сторонам. И тут мы увидели этого самого репортера. Он стоял, прислонившись к стене, попыхивал трубкой и смотрел на нас своим острым глазом. Мы с Баком подошли к нему.

— Вы очень интересный писатель, — говорит Бак — Что вы еще собираетесь написать? Что у вас теперь на уме?

— О, я просто жду, не подвернется ли еще что-нибудь занятное, — отвечает он и знай попыхивает в свое удовольствие. — Теперь все зависит от ваших акционеров. Кое-кто может подать жалобу. Что я слышу? Это случайно не полицейский фургон? — продолжает он, прислушиваясь к стуку колес за окном. — Нет, это всего лишь катафалк для банкротов. Пора бы уж мне научиться узнавать его колокол. Да, иной раз и мне случалось написать кое-что интересное.

— Подождите немножко, — говорит ему Бак. — Я сейчас подкину вам еще порцию новостей.

С этими словами Бак сует руку в карман, извлекает оттуда ключ и протягивает его мне. Он еще и слова не успел сказать, как я уже понял, что у него на уме. Ах ты, старый разбойник!

Я сразу понял, что у него на уме. Таких, как Бак, теперь не делают.

— Пик, — пристально глядя на меня, говорит он, — не кажется ли тебе, что эта махинация не совсем по нашей части? Разве мы хотим, чтобы Джеки женился на Розе Стейнфилд?

— Ни в коем случае, — говорю я. — Через десять минут все будет здесь.

Сказав это, я иду в камеру, где находится наш сейф, и вскоре возвращаюсь с большим мешком денег. Затем мы с Баком через боковую дверь вводим репортера в один из кабинетов.

— А теперь, мой литературный друг, садитесь в это кресло и сидите тихо, а я буду давать вам интервью, — говорит Бак — Вы видите перед собой двух жуликов из Жуликбурга, что в округе Жулико, штат Арканзас. Мы с Пиком торговали драгоценностями из латуни, средством для ращения волос, песенниками, краплеными картами, патентованными снадобьями, персидскими коврами коннектикутской выделки, политурой для мебели и альбомами для стихов во всех городах и селениях от Олд-Пойнт-Комфорт до Золотых Ворот. Мы добывали нечестным путем каждый доллар, который, по нашему мнению, отягощал карман своего владельца. Но мы никогда не гнались за монетой, спрятанной в чулке, засунутом под кирпич в углу кухонного очага. Быть может, вы слышали старинную поговорку *fussily decency averni*,¹¹⁵ что в переводе означает: «легок путь от лотка уличного галантерейщика до конторы на Уолл-стрите». Мы проделали этот путь, но мы не знали, куда он нас приведет. Вам полагается быть умным человеком, но ваш ум принадлежит к нью-йоркской разновидности, то есть вы склонны судить о человеке по внешнему виду его одежды. Так нельзя. Надо смотреть на подкладку, на швы и петли. Пока мы ожидаем полиции, вы можете вооружиться своим тупым карандашом и набросать заметки для будущего фельетона.

После этого Бак поворачивается ко мне и говорит:

— Мне наплевать, что подумает Этербери. В конце концов он вложил в дело всего лишь свои мозги и пусть радуется, что они останутся при нем. А ты что скажешь, Пик?

— Я? Пора бы тебе знать, что я за птица, Бак, — отвечаю я ему. — Я понятия не имел, кто покупает акции.

— Отлично, — говорит Бак.

Он проходит из кабинета в главный зал и смотрит на толпу, которая пытается протиснуться за барьер. Ни Этербери, ни его шляпы нигде не видно. И Бак обращается к толпе с краткой речью:

— Эй, вы, овечки, занимайте очередь. Сейчас вы получите обратно свою шерсть. Не толкайтесь, становитесь в очередь — в очередь, а не в кучу. Сударыня, будьте так любезны, перестаньте блять. Ваши деньги вас ждут. Послушай, сынок, не надо лезть через барьер, все твои медяки в целости и сохранности. Не плачьте, сестрица, вы не потеряли ни единого цента. Говорю вам, становитесь в очередь. Пик, поди сюда и наведи тут порядок. Впускай их по одному и выпускай через другую дверь.

Он снимает пиджак, сдвигает на затылок свой шелковый цилиндр и закуривает «королеву викторию». Затем садится за стол и кладет перед собой весь нечестно добытый капитал, сложенный в аккуратные пачки. Я выстраиваю акционеров в цепочку, по одному впускаю из главного зала в кабинет к Баку, а репортер через другую дверь выпускает их обратно в зал. Бак принимает акции и Золотые Облигации и выплачивает каждому наличными — доллар за доллар — ровно столько, сколько тот внес. Акционеры «Инвестиционного Банка Голконда» не верят собственным глазам. Они буквально вырывают деньги у Бака из рук. Некоторые женщины все еще плачут, ибо таково уж свойство женского пола — плакать от горя, плакать от радости и проливать слезы в отсутствие того и другого.

У старух дрожат руки, когда они засовывают доллары за пазуху или в карманы своих вылинявших платьев. Фабричные работницы нагибаются, торопливо задирают свою

¹¹⁵ Рассказчик произносит фразу, по звукам напоминающую строку из Вергилия — *facilis descensus Averni* — «легок спуск Авернский», то есть нисхождение в ад, путь к злу.

мануфактуру, и вы слышите, как шелкает резинка, пропуская валюту в дамское отделение «Верного Домашнего Банка Фильдекос».

Кое-кого из акционеров, которые громче всех причитали за дверью, теперь опять обуяло доверие, и они решили не изымать свои вклады.

— Суньте эту мелочь в свои лохмотья и убирайтесь отсюда подобру-поздорову, — говорит им Бак. — Чего ради вам вздумалось вкладывать деньги в облигации? Старый дырявый чайник да трещина в стене — вот наилучшее вместилище для ваших медяков.

Когда к Баку подходит со своими акциями та хорошенькая девушка в красной шали, он вручает ей дополнительно двадцать долларов.

— Свадебный подарок от «Банка Голконда», — говорит наш казначей. — И запомните — если Джеки вздумает сунуть свой нос даже в самые отдаленные окрестности дома, где живет Роза Стейнфилд, настоящим мы уполномочиваем вас укоротить оный нос на парочку дюймов.

Когда все забрали свои капиталы и ушли, Бак призвал репортера и вручил ему остаток денег.

— Вы эту кашу заварили, вы ее и расхлебывайте, — сказал он. — Вон там лежат книги, в которых записаны все акции и облигации. Вот деньги на покрытие убытков — за вычетом того, что мы истратили на жизнь. Назначаю вас ликвидатором имущества несостоятельного должника. Надеюсь, вы, как представитель прессы, будете вести дело честно. Мы считаем, что это наилучший способ все уладить. А мы с нашим солидным, но переутомленным яблоками вице-президентом намерены последовать примеру нашего высокочтимого президента и незамедлительно смыться. Полагаю, что на сегодня вам материала хватит. Или вы хотите взять у нас интервью по части этикета, а также по вопросу о том, как лучше всего переделать старую шелковую юбку?

— Нечего сказать, материалец! По-вашему, я мог бы его использовать? — возмутился репортер. — Я не хочу лишиться работы. Допустим, я являюсь в редакцию и рассказываю, как было дело. Что говорит редактор? Он отправляет меня в желтый дом и велит не возвращаться, пока меня там не вылечат. Я мог бы дать ему репортаж о том, как по Бродвею проползает кобра, но на такую ахинею у меня смелости не хватит. Шайка прожженных аферистов — прошу прощения — возвращает свою добычу! Нет уж, увольте. Я не сотрудник отдела юмора.

— Вам, разумеется, этого не понять, — говорит ему Бак, держась за ручку двери. — Мы с Пиком не похожи на известных вам дельцов с Уолл-стрита. Мы никогда не позволяем себе обирать больных старух и фабричных работниц или выманывать медяки у ребятишек. Это не по нашей части. Мы отнимаем деньги у тех, кого сам Господь Бог велел околпачивать, — у игроков, пьяниц, бездельников и хлыщей, которые всегда имеют при себе несколько лишних монет, да еще у фермеров, которые не мыслят себе счастья без того, чтобы какой-нибудь жулик не объегорил их при продаже урожая. Мы еще ни разу не унизились до того, чтобы ловить рыбешку, которая клюет в нью-йоркских водах. Нет, сэр, мы слишком уважаем свою профессию и самих себя. До свидания, мистер Ликвидатор.

— Пойдите минутку, — говорит нам журналист. — Тут этажом выше есть один биржевой маклер. Подождите, пока я суну это барахло к нему в сейф. Я хотел бы угостить вас на прощание.

— Вы? — с изумлением вопрошает Бак. — Уж не воображаете ли вы, что в редакции поверят этой басне? Покорнейше благодарим. К сожалению, нам некогда. Всего.

Мы с Баком выскользнули из дверей, и таким образом «Компания Голконда» недобровольно растворилась в эфире.

Если бы вы захотели повидать нас с Баком на следующий вечер, вам пришлось бы отправиться в грошовую гостиницу близ паромной переправы в Вест-Сайде. Мы сидели в маленькой комнатухе окнами на задний двор, и я наполнял двенадцать дюжин аптечных пузырьков водой из крана, которую мы подкрасили анилином и сдобрили ванилином. Бак, у которого на голове вместо цилиндра красовался скромный коричневый котелок, курил с видом человека, совершенно довольного жизнью.

Загоняя пробки в пузырьки с водой, Бак сказал:

— Как хорошо, что Брэди согласился одолжить нам на неделю свой фургон и лошадь. За это время мы сумеем сколотить небольшой капиталец. В Нью-Джерси наше средство для укрепления волос наверняка будет пользоваться спросом. По причине большого количества комаров лысины там не в моде.

Тут я как раз вытащил свой чемодан, чтобы достать этикетки.

— Этикетки на средство для укрепления волос кончаются. Осталось всего штук десять, — говорю я.

— Закупим еще партию, — отвечает Бак.

Мы исследовали свои карманы и убедились, что денег у нас осталось ровно столько, сколько потребуется завтра утром для оплаты счета в гостинице и для покупки билетов на паром.

— Тут целая куча этикеток «Стряси трясучку от простуды», — говорю я, изучив содержимое чемодана.

— Так чего ж тебе еще надо? — спрашивает Бак — Давай прилепим их. В низине Хэкенсека как раз открывается простудный сезон. На что человеку волосы, если он все равно обречен их стрясти?

Мы еще с полчаса приклеивали этикетки, после чего Бак произнес:

— Зарабатывать на жизнь честным путем куда лучше, чем промышлять на Уолл-стрите. Правда, Пик?

— Еще бы! — отвечал я.

Заложники Момуса

Перевод М. Беккер

I

Я никогда не забирался в область законных разновидностей жульничества — за исключением одного-единственного раза. Но однажды, как я уже сказал, я аннулировал решения пересмотренных статутов и предпринял одно дельце, за которое мне наверняка придется просить прощения даже по антитрестовским законам штата Нью-Джерси.

Я и Калигула Полк из Маскоги, что на Индейской Территории племени Крик, промышляли перипатетической лотереей и карточной игрой «монти» в мексиканском штате Тамаулипас. А надо вам сказать, что в Мексике продажа лотерейных билетов — жульничество, которое является прерогативой местного правительства, точно так же, как прерогатива нашего — продажа за сорок девять центов почтовых марок достоинством в сорок восемь. Поэтому дядюшка Порфирио¹¹⁶ напустил на нас *руралов*. Кто такие *руралы*? Это нечто вроде сельской полиции, но не вздумайте мысленно набрасывать цветными мелками портрет почтенного констебля с оловянной звездой и козлиной бородкой. *Руралы* — это... ну, если посадить членов нашего Верховного Суда на мустангов, вооружить их винчестерами и послать в погоню за истцом и ответчиком по имени Икс и Игрек, то получится нечто похожее.

Когда *руралы* пустились в погоню за нами, мы пустились в дорогу по направлению к Штатам. Они преследовали нас до самого Матамораса. Мы спрятались на кирпичном заводе, а ночью переплыли Рио-Гранде, причем Калигула по рассеянности держал в каждой руке по кирпичу, которые он тут же бросил на землю Техаса.

Затем мы эмигрировали в Сан-Антонио, а оттуда в Новый Орлеан, где решили немного

¹¹⁶ Порфирио Диас — президент Мексики в 1877–1880 и 1884–1911 гг.

передохнуть. И в этом городе, переполненном тюками хлопка и другими приложениями к женской красоте, мы познакомились с напитками, которые креолы изобрели еще во времена Людовика Пятнадцатого и которые по сей день подают на заднем крыльце в кружках пятнадцатого века. Об этом городе я запомнил только то, что я, Калигула и француз по фамилии Мак-Карти — постойте минутку, Адольф Мак-Карти — пытались заставить французский квартал вернуть недоимку, подлежащую выплате по купонам, оставшимся от приобретения штата Луизиана в 1803 году, как вдруг кто-то заорал: «Джон-дармы!» Еще у меня сохранилось смутное воспоминание о том, как я покупаю в окошке два желтых билета, а потом я вроде бы вижу человека, который размахивает фонарем и кричит: «Посадка окончена!» Дальше я уже не помню ничего, кроме того, что железнодорожный разносчик укрывает нас сухими фруктами и сочинениями Августы Эванс.¹¹⁷

В пересмотренном издании было обнаружено, что мы наскочили на штат Джорджия в пункте, доселе никак не предусмотренном в расписании поездов, если не считать звездочки, которая означает, что они останавливаются там каждый второй четверг по сигналу, подаваемому вырванным из полотна рельсом. Мы пробудились в желтой сосновой гостинице от шума цветов и запаха птиц. Да, сэр, так оно и было, потому что ветер колотил в стену подсолнухами величиной с колесо от двуколки, а прямо под нашими окнами находился курятник. Мы с Калигулой оделись и сошли вниз. Хозяин лушил горох на веранде. Желтый, как выходец из Гонконга, он представлял собой шесть футов малярии, но в остальном как будто вполне отвечал за отправление всех своих чувств и иных признаков.

Калигула — от природы оратор и коротышка, и хотя он человек рыжий и нетерпимый ко всякого рода болезненности, он тут же произносит речь.

— Сосед, — говорит он, — доброе вам утро и проклятье на вашу голову. Окажите любезность разъяснить нам, в какое мы прибыли почему? Мы знаем причину, куда мы находимся, но не можем точно установить, вследствие какой местности.

— Джентльмены, — отвечает хозяин, — я так и знал, что вы с утра начнете наводить справки. Вчера в девять тридцать вечера вы сошли с поезда, и вы были под сильным шафе. Да, вы употребили много спиртного. Могу вам сказать, что в настоящее время вы пребываете в городе Горная Долина, штат Джорджия.

— Вы еще скажите, что тут нечего есть, — говорит Калигула.

— Присядьте, джентльмены, — отвечает хозяин, — и через двадцать минут я угощу вас завтраком, лучше которого вы во всем городе не сыщете.

Завтрак состоял из жареной ветчины и желтоватого сооружения, которое оказалось чем-то средним между плумпудингом и эластичным песчаником. Хозяин называл это кукурузной лепешкой. Затем он подал на стол миску гипертрофированного продукта, обычно употребляемого здесь за завтраком и известного под названием мамалыга. Так мы с Калигулой познакомились с этим знаменитым блюдом, благодаря которому во время Гражданской войны каждый солдат армии южан четыре года подряд мог побивать по одному и две трети янки.

— Будь я на месте ребят дядюшки Роберта Ли, — говорит Калигула, — я бы от этой папалыги до того озлился, что загнал бы команду Гранта и Шермана¹¹⁸ прямехонько в Гудзонов залив. Не пойму, как они могут все время жрать такую дрянь.

— Свинина с кукурузой — главный продукт питания в здешних местах, — объясняю я ему.

— В таком случае пусть здешние жители сами его и едят. Я думал, что это гостиница, а не свинарник. Вот если б мы с тобой посетили Дом Святого Люцифера в Маскоги, я бы тебе

¹¹⁷ Эванс Августа Джейн (1835–1909) — американская писательница — южанка, автор сентиментальных романов.

¹¹⁸ Роберт Ли — главнокомандующий армией южан в Гражданской войне США; Грант и Шерман — генералы армии северян.

показал, что едят на завтрак порядочные люди. Для начала — бифштекс из антилопы и жареную печенку, потом олени отбивные под *chili con carne*,¹¹⁹ пончики с ананасом, сардины в маринаде, а на закуску — банку желтых персиков и бутылку пива. У вас в восточных штатах про такое меню ни в одном ресторане никто и слыхом не слыхал.

— Слишком жирно, — отвечаю я. — Настоящего завтрака человек не увидит до тех пор, пока он не отрастит себе такие длинные руки, чтоб дотянуться до Нового Орлеана и взять там чашку кофе, потом раздобыть булочки в Норфолке, вытащить кусок мяса из погреба в штате Вермонт, а под конец повернуться к улью возле лужайки, поросшей белым клевером в штате Индиана. Вот тогда он сможет сказать, что отведал нечто вроде амбразуры, которой питаются боги на горе Олимпия.

— Слишком эфемерно, — возражает Калигула. — Лично мне для аппетита требуется яичница с ветчиной или рагу из кролика. А на обед ты какие воспитательные блюда предпочитаешь?

— Я, бывало, упивался затейливыми разветвлениями провианта, как-то: черепахи, омары, рисовая стрепатка или брезентовая утка. Но что я больше всего люблю, так это бифштекс под грибным соусом на балконе под звон бродвейского трамвая, звуки шарманки и выкрики газетчиков, продающих экстренный выпуск с репортажем о последнем самоубийстве. Что же касается вина, то я готов удовольствоваться скромным шампуньским. И тогда кроме *demi-tasse*¹²⁰ мне больше ничего не надо.

— Да, в Нью-Йорке человек должен быть гастрономом, а когда ты шатаешься взад-вперед со своей *demi-tasse*, тебе, натурально, приходится покупать эту стильную жратву.

— Нью-Йорк — город жрецов Эпикура, — говорю я. — Если б ты там поселился, ты бы очень скоро перенял все их повадки.

— Наверяд ли, — возразил мне Калигула. — Я уж как-нибудь проживу и без маникюра.

II

После завтрака мы вышли на веранду, закурили две хозяйские сигары «перфекто» и принялись рассматривать штат Джорджия. Представившаяся нашему взору порция пейзажа являла собою зрелище более чем жалкое. Кругом, сколько видел глаз, простирались рыжие холмы, изрытые промоинами и кое-где поросшие сосняком. Заборы из деревянных жердей не рушились только благодаря кустам ежевики, которые поддерживали их в вертикальном положении. Милях в пятнадцати к северу виднелась небольшая гряда лесистых гор.

Поселок Горная Долина своих функций не выполнял. По улицам слонялось штук десять прохожих, но преобладали там бочки для сбора дождевой воды, петухи да еще мальчишки, которые усердно раскапывали палками кучи золы, оставшиеся от сожженных декораций к пьесе «Хижина дяди Тома».

Через некоторое время на противоположной стороне улицы показался высокий человек в длинном черном сюртуке и касторовой шляпе. Все прохожие стали кланяться, а некоторые даже перешли через улицу, чтобы пожать ему руку. Народ выходил из домов и лавок, чтоб с ним поздороваться; женщины высовывались из окон и улыбались; ребяташки перестали играть, чтоб на него посмотреть. Наш хозяин вышел на веранду, согнулся в три погибели — ни дать ни взять складная плотницкая линейка, — а когда тот отошел уже ярдов на десять, громко произнес: «Доброе утро, полковник!»

— Это Александр, папаша? — спросил хозяина Калигула. — И почему его называют великим?

¹¹⁹ Перец с мясом (*исп.*).

¹²⁰ Чашечка кофе (*фр.*).

— Джентльмены, — отвечает хозяин, — это не кто иной, как сам полковник Джексон Т. Рокингем, президент Железнодорожной Ветки Восход — Парадиз, мэр Горной Долины и председатель совета по иммиграции и общественному благоустройству округа Перри.

— Он что, долго был в отъезде? — поинтересовался я.

— Нет, сэр, полковник Рокингем идет за своей почтой в почтовую контору. Сограждане приветствуют его так восторженно каждое утро. Полковник — самый именитый гражданин нашего города. Кроме контрольного пакета акций Железнодорожной Ветки Восход — Парадиз, он владеет земельными угодьями в тысячу акров на том берегу ручья. Горная Долина счастлива выказать свое почтение гражданину, обладающему столь высокими достоинствами и столь исключительной преданностью общественному благу.

В этот день Калигула целый час просидел на веранде, изучая газету, — времяпровождение, необычное для человека, презирающего печатное слово. Прочитав ее от первой до последней строки, он отвел меня в конец веранды, где в солнечных лучах сушились посудные полотенца. Я сразу понял, что Калигула изобрел новую плутню, ибо в таких случаях у него была привычка жевать кончики усов и двигать вверх и вниз пряжку от подтяжек.

— Ну, что у тебя теперь на уме? — спросил я его. — Я готов обсудить любой проект, лишь бы ты не предложил мне размещать акции горных рудников или играть в пенсильванские прятки.

— Играть в пенсильванские прятки? Ах, да, это способ добычи денег, принятый у пенсильванцев. Они поджигают пятки старухам, чтобы заставить их признаться, где они прячут свои капиталы.

Калигуловы рассуждения о бизнесе всегда горьки и лаконичны.

— Ты видишь эти горы, — говорит он, указывая пальцем, — и ты видел этого субъекта в чине полковника, который владеет железными дорогами и который, еще не успев дойти до почтовой конторы, добился большего, нежели Рузвельт, который эти конторы обчистил. Что нам надо сделать, так это похитить второго в первые и потребовать выкуп в десять тысяч долларов.

— Криминальное действие, — говорю я, качая головой.

— Я так и знал, что ты это скажешь, — говорит Калигула. — На первый взгляд и в самом деле может показаться, что оно нарушает мир и приличие. Но ничего подобного в нем нет. Я взял эту идею из газеты. Разве ты станешь изрыгать хулу на законную аферу которую сами Соединенные Штаты утвердили, амнистировали и одобрили?

— Похищение людей, — говорю я, — есть безнравственный поступок, который значится в реестре противозаконных деяний. Если Соединенные Штаты его поощряют, то это, должно быть, новая статья этики, недавно внесенная в статуты вместе с «расовым самоубийством» и «бесплатной доставкой почтовых отправлений в сельскую местность».

— Слушай внимательно, и я разъясню тебе дело, о котором пишут в газетах, — говорит Калигула. — Один греческий подданный по имени Бердик Гаррис был схвачен африканцами. В ответ на это Соединенные Штаты посылают в Танжер две канонерки и заставляют короля Марокко отдать африканцу Райсули семьдесят тысяч долларов.

— Не торопись, — останавливаю его я. — Это звучит так международно, что сразу не уразумеешь, кто дал, кому и за что?

— Это я прочел депеши из Константинополя, — продолжает Калигула. — Подожди полгода, и сам увидишь. Их подтвердят ежемесячные журналы, а потом ты сможешь найти их в любом популярном еженедельнике — из тех, что читают, сидя в кресле у цирюльника — рядом с фотографиями, снятыми с фотографий извержения вулкана Мон Пеле. Все в порядке, Пик, можешь не беспокоиться. Этот африканец Райсули прячет Бердика Гарриса в горах и назначает свою цену правительствам разных стран. Надеюсь, ты ни на минуту не усомнился, что Джон Хэй¹²¹ нипочем не стал бы содействовать этой махинации, не будь в ней все честно

¹²¹ Хэй Джон (1838–1905) — государственный секретарь в правительствах Маккинли и Теодора Рузвельта в

и благородно.

— Разумеется, нет, — отвечаю я. — Я всегда одобрял политику Брайана, да и сейчас не скажу худого слова про администрацию республиканцев. Но если этот Гаррис — грек, то непонятно, на основании какой системы международных протоколов Хэй мог вмешаться?

— Об этом в газетах точно не сказано, — отвечает мне Калигула — Я думаю, тут, скорее всего, дело в чувствах. Ты же знаешь, что Хэй сочинил стихотворение «Штанишки», а эти греки ходят либо в коротких штанах, либо вовсе без штанов. В общем, Джон Хэй посылает туда «Бруклин» и «Олимпию», и они держат всю Африку под прицелом тридцатидюймовых пушек. Потом Хэй по телеграфу спрашивается о здоровье *persona grata*. «Как они себя чувствуют нынче утром? — телеграфирует он. — Жив ли еще Бердик Гаррис и помер ли уже мистер Райсули?» И тогда король Марокко шлет семьдесят тысяч долларов, и Гарриса выпускают на свободу. И это мелкое похищение вызывает вдвое меньше международных трений, чем мирный конгресс. А Бердик Гаррис говорит репортерам на греческом языке, что он много слышал о Соединенных Штатах и обожает Рузвельта, но еще больше он обожает Райсули, ибо это один из самых белых и самых благородных похитителей, с какими ему когда-либо приходилось работать. Теперь ты видишь, Пик, что международное право на нашей стороне, — заключает свою речь Калигула. — Мы отделим этого полковника от стада, загоним его в эти горки и выманит у его наследников и правопреемников десять тысяч долларов.

— Ах ты, уникальный рыжий территориальный террорист! — восклицаю я. — Нет, брат, дядюшку Текумсе Пикенса ты не проведешь! Я согласен стать твоим компаньоном в этой махинации. Однако, Калиг, я сомневаюсь, что ты проник в истинную сущность дела Бердика Гарриса, и если в одно прекрасное утро мы получим от государственного секретаря телеграфный запрос о состоянии здоровья нашего заговора, то я предлагаю незамедлительно приобрести наиболее близлежащего и резвого мула во всей округе и дипломатично отгалопивать на соседнюю мирную территорию Алабама.

III

В течение трех дней мы с Калигулой обследовали небольшую кучку гор, в которые мы предполагали похитить полковника Джексона Т. Рокингема. В конце концов мы выбрали вертикальный ломоть топографии, заросший деревьями и кустами, до которого можно было добраться лишь в обход, по тропинке, которую мы же сами и прорубили. Единственный путь к этой горе лежал вдоль излучины реки, которая вилась среди холмов.

Затем я взял на себя важное подразделение всей процедуры. Я поехал поездом в Алабаму и закупил там на двести пятьдесят долларов самого изысканного и питательного провианта. Я всегда был поклонником яств в их наиболее паллиативных и пересмотренных стадиях. Свинина с мамалыгой не только производит антихудожественное действие на мой желудок, но и вызывает несварение моего нравственного чувства. Я думал о полковнике Джеконе Т. Рокингеме, президенте Железнодорожной Ветки Восход — Парадиз, и о том, как он будет страдать от отсутствия роскошной домашней кухни, столь почитаемой среди богатых южан. Я вложил добрую половину наших с Калигулой капиталов в такой элегантный набор свежих и консервированных продуктов, какой едва ли приходилось когда-либо видеть в лагере Бердику Гаррису или любой другой профессиональной жертве похищения.

Еще на сотню я купил два ящика бордо, две квартиры коньяку; две сотни гаванских сигар с золотыми ободками, а также переносную печку, складные стулья и походные кровати. Я хотел окружить полковника всевозможным комфортом — в надежде, что, отдав десять тысяч долларов, он отдаст должное мне и Калигуле как джентльменам и щедрым хозяевам, подобно тому как это сделал Бердик Гаррис по отношению к своему другу, который принудил Соединенные Штаты взыскать с Африки суммы по выданным им векселям.

Когда из Атланты прибыли наши покупки, мы наняли фургон, доставили их на горку и разбили лагерь. После этого мы засели в засаду на полковника.

Мы изловили его однажды утром в двух милях от Горной Долины, когда он отправился проведать одно из своих темно-бурых сельскохозяйственных владений. Это был элегантный старый джентльмен, длинный и тонкий, как удочка для форели, с обтрепанными манжетами и пенсне на черном шнурке. Мы сжато и непринужденно объяснили ему, что нам от него надо, а Калигула небрежно показал ему рукоятку пистолета сорок пятого калибра, спрятанного под полкой пиджака.

— Что? — удивился полковник Рокингем. — Бандиты в округе Перри, штат Джорджия? Я немедленно сообщу об этом в совет по иммиграции и общественному благоустройству.

— Будьте безрассудны сесть в эту двуколку, — сказал ему Калигула, — во исполнение приказа совета по перфорации и общественному неустройству. Это деловое заседание, и мы намерены объявить перерыв *sine qua non*.¹²²

Мы провезли полковника Рокингема через горный перевал и вверх по склону до того места, куда могла добраться двуколка, затем привязали лошадь и отвели нашего пленника пешком в лагерь.

— А теперь, полковник, — говорю ему я, — я и мой партнер будем ждать выкупа. Мы не причиним вам никакого вреда, если король Маро... если ваши друзья пришлют монету. А до тех пор вы сможете убедиться, что мы джентльмены не хуже вас. Если вы обещаете не предпринимать попыток к бегству, мы предоставим вам полную свободу передвижения по лагерю.

— Обещаю, — говорит полковник.

— Отлично, — продолжаю я. — Сейчас одиннадцать часов — самое время нам с мистером Полком приступить к изготовлению кое-каких пустяков по части жратвы.

— Благодарю вас, — говорит полковник — Я, пожалуй, с удовольствием съел бы ломтик ветчины и тарелку мамалыги.

— Чего нет, того нет, — категорически заявляю я. — Во всяком случае, у нас в лагере. Мы привыкли витать в сферах более возвышенных, нежели те, в которых обычно располагается ваше столь же прославленное, сколь и отвратительное блюдо.

Пока полковник читал газету, мы с Калигулой сняли пиджаки, засучили рукава и принялись готовить небольшой *lenç de luxe* — просто так, чтоб показать ему, на что мы способны. Калигула — превосходный повар западного толка. Он может зажарить буйвола и сделать фрикасе из быка с такой же легкостью, с какой хозяйка заваривает чай. Он наделен счастливым даром состряпать на скорую руку обильную трапезу, требующую значительных затрат мускульной энергии. К западу от реки Арканзас он побил рекорд в искусстве одновременно левой рукой печь оладьи, правой жарить отбивные из оленины, а зубами свежевать кролика. Что до меня, то я — мастер готовить блюда *en casserole* и *a la creole*,¹²³ ласково и нежно заправляя их маслом и соусом тобаско, как настоящий французский повар.

И вот к двенадцати часам у нас был готов горячий завтрак, напоминавший банкет на пароходе, плывущем по Миссисипи. Мы сервировали его на трех больших ящиках, откупорили две кварты красного вина, поставили возле прибора полковника салат из маслин и консервированных устриц и готовый мартини, а затем пригласили его к столу.

Полковник Рокингем пододвинул свой складной стул, протер пенсне и взглянул на выставку блюд. Мне послышалось, будто он выругался, и я почувствовал себя последним негодяем оттого, что не постарался сготовить что-нибудь повкуснее. Но нет — оказывается, он всего лишь прочел молитву. Мы с Калигулой опустили головы, и я заметил, как полковник уронил в салат большую слезу.

¹²² Без которого нельзя, необходимый (*лат.*).

¹²³ Тушеные и по-креольски (*фр.*).

Я еще в жизни не видывал, чтоб человек ел с такой серьезностью и усердием — не наспех, как студенты или подрядчики на строительстве канала, а с чувством, как анаконда или истинный *vive bonjour*.¹²⁴

Через полтора часа полковник откинулся на спинку стула. Я подал ему стопку бренди и чашку черного кофе и поставил на стол коробку гаванских сигар.

— Джентльмены, — проговорил он, выдыхая дым и пытаясь вдохнуть его обратно, — когда мы, взирая на эти вечные холмы и на улыбающийся благодатный ландшафт, размышляем о милосердии Создателя, который...

— Прошу прощения, полковник, пора перейти к делу, — объявил я, протягивая ему бумагу и чернильницу с пером. — К кому вы желаете послать за деньгами?

— Пожалуй, к вице-президенту нашей железной дороги, — подумав, отвечает он, — в главную контору компании в Парадизе.

— А далеко ли отсюда до Парадиза? — спрашиваю я.

— Приблизительно десять миль.

Затем полковник пишет под мою диктовку следующие строки: «Два отчаянных головореза похитили меня и держат в таком месте, которое бесполезно искать. Они требуют выкуп в десять тысяч долларов. Необходимо тотчас достать эту сумму и действовать согласно нижеследующей инструкции. Принесите деньги к Каменному Ручью, который вытекает из подножия Черной Горы. Следуйте вдоль русла ручья до тех пор, пока не увидите на левом берегу большой плоский камень, на котором красным мелом начертан крест. Встаньте на камень и взмахните белым флагом. К вам явится провожатый, который отведет вас туда, где меня держат в плену. Не теряйте времени».

Окончив письмо, полковник попросил разрешения присовокупить к нему постскрипту насчет того, как благородно с ним обращаются, — чтобы при мысли о его страданиях у железной дороги не щемило сердце. Мы дали свое согласие. Он написал, что только что сидел за завтраком в обществе двух отъявленных бандитов, после чего полностью привел все меню от салатов до кофе. В заключение он заметил, что к шести часам будет готов обед, по всей вероятности, еще более обильный и неумеренный, чем завтрак.

Повара падки на лесть, и потому мы с Калигулой решили ничего не вычеркивать, хотя на переводном векселе все это выглядело неуместно.

Я взял письмо, вышел на дорогу, ведущую в Горную Долину, и стал высматривать посыльного. Вскоре показался чернокожий всадник, направлявшийся верхом в Парадиз. Я дал ему доллар, велел доставить письмо в контору железной дороги и возвратился в лагерь.

IV

Около четырех часов пополудни Калигула, исполнявший обязанности впередсмотрящего, закричал:

— Докладываю, сэр! По правому борту с носа сигналит белая рубашка!

Я спустился с горы и привел в лагерь рыжего толстяка, у которого был альпаковый пиджак, а воротничка не было.

— Джентльмены, разрешите представить вам моего брата, капитана Дюваля С. Рокингема, вице-президента Железнодорожной Ветки Восход — Парадиз, — говорит полковник.

— Он же — король Марокко, — уточняю я. — Надеюсь, вы не возражаете, если я пересчитаю выкуп — так сказать, для проформы.

— Н-н-нет, нет, пожалуйста, пересчитывайте, — неуверенно отвечает толстяк. — То есть я хочу сказать, когда его доставят сюда. Я поручил это дело нашему второму вице-президенту.

¹²⁴ Рассказчик имеет в виду *bon vivant* (*фр.*) — любитель сытой, веселой жизни.

Полагаю, что он скоро прибудет. Сам я был очень обеспокоен безопасностью брата Джексона. Скажи, братец Джексон, как тебе понравился салат из омаров, о котором ты упомянул в своем письме?

— Мистер вице-президент, — обращаюсь к нему я. — Не откажите в любезности остаться здесь до прибытия второго вице-президента. Это неофициальная репетиция, и мы предпочли бы, чтоб никто не торговал билетами у входа.

Через полчаса Калигула снова крикнул:

— Вижу парус! Вроде фартука на швабре!

Я снова скатился с утеса и эскортировал наверх человека шести футов трех дюймов в длину, с рыжей бородой и, сколько я мог судить, без всех остальных измерений. Ну, подумал я, если он держит эти десять тысяч при себе, то не иначе, как одной бумажкой и к тому же сложенной вдоль.

— Мистер Паттерсон Дж. Кобл, наш второй вице-президент, — объявляет полковник.

— Рад познакомиться с вами, джентльмены, — говорит Кобл. — Я пришел распространить известие, что майор Таллахасси Таккер, начальник отдела пассажирских перевозок, в настоящее время ведет переговоры с Банком округа Перри о предоставлении займа под залог корзины для персиков, наполненной акциями нашей железной дороги. Уважаемый полковник Рокингем, мы с проводником пятьдесят шестого поспорили — в том меню, которое вы приводите в своем письме, значилось консоме с гренками или фрикасе с грибами?

— Опять паруса на утесах! — возглашает Калигула. — Если я увижу еще хотя бы один, то открою огонь, а потом присягну, что это были канонерки!

Провожатый снова спускается вниз и конвоирует в логово человека в синем комбинезоне, обремененного фонарем и хроническим алкоголизмом. Я настолько уверен, что это майор Таккер, что даже не задаю ему никаких вопросов, но наверху выясняется, что это — дядюшка Тимоти, стрелочник из Парадиза, высланный вперед с целью подорвать наше взаимопонимание слухами о том, будто судья Пендергаст, юрист железной дороги, находится в процессе получения займа под заклад сельскохозяйственных угодий полковника Рокингема.

Пока он это рассказывает, из-под кустов в лагерь вползают еще двое, и Калигула, не видя белого флага, который мог бы воспрепятствовать выполнению его прямого долга, грозит им пистолетом. Но тут снова вступает полковник Рокингем, — он представляет нам мистера Джонса и мистера Бэттса, машиниста и кочегара поезда номер сорок два.

— Простите, — говорит Бэттс. — Мы с Джимом охотились на белок в здешних горах, и белый флаг нам ни к чему. Скажите, полковник, неужто тут и в самом деле был плумпудинг, ананасы и настоящие покупные сигары?

— Полотенце на удилице в море! — орет Калигула. — Может, это выходит на линию огня взвод проводников товарных вагонов под командованием тормозного кондуктора?

— Это мой последний спуск, — говорю я, вытирая пот со лба. — Если Ветка Восход — Парадиз желает устроить экскурсию, чтоб осмотреть место, где находится ее похищенный президент, — милости просим. Мы вывесим вывеску «Кафе Похитителя и Приют Кочегаров».

На этот раз пришелец сам начал с признания, что он — майор Таккер, и мне сразу стало легче. Однако на всякий случай я пригласил его в ручей — чтоб если он окажется путевым обходчиком или диспетчером, можно было тут же его утопить. Всю дорогу наверх он нес околесицу насчет гренков со спаржей — предмета, составлявшего досадный пробел в его гастрономическом опыте.

Наверху я с трудом изолировал его мозг от провианта и спросил, принес ли он выкуп.

— Милостивый государь, — ответил он, — под заклад акций нашей железной дороги на сумму в тридцать тысяч долларов мне удалось получить заем и...

— Не беспокойтесь, майор, — перебил я его, — сейчас это не к спеху. После обеда мы все уладим. Джентльмены, — продолжал я, обращаясь ко всей команде, — вы приглашены на обед. Мы облекли друг друга взаимным доверием, и над всем происходящим должен реять белый флаг.

— Очень разумная идея, — подтвердил Калигула, который в эту минуту стоял рядом со мной. — Пока ты ходил вниз, с дерева свалились два носильщика и один кассир. А этот твой майор принес деньги?

— Он говорит, что ему удалось получить заем, — отвечаю я.

Если какие-либо два повара когда-либо заработали десять тысяч долларов за единственный день, то это были мы с Калигулой. В шесть часов вечера мы сервировали на вершине горы такой роскошный обед, какой навряд ли когда-либо доводилось поглощать персоналу какой-либо железной дороги. Мы раскупорили все вино, состряпали первое, второе и небольшое аппетитное третье, словом, организовали такую жратву, какую редко удается извлечь из бутылок и консервных банок, содержащих гастрономические товары. Вся железная дорога собралась вокруг, и все бражничали и веселились напропалую.

После пира мы с Калигулой переходим к делу. Отведя майора Таккера в сторонку мы требуем выкуп. Майор достает агломерацию валюты на сумму, составляющую примерно стоимость городского участка в предместьях Кроликбурга, что в штате Аризона, и издает следующий крик отчаяния:

— Джентльмены! Акции Железнодорожной Ветки Восход — Парадиз несколько обесценились. Заем, который я смог получить под залог акций на сумму в тридцать тысяч долларов, составил всего лишь восемьдесят долларов пятьдесят центов. Выправив девятую по счету закладную на сельскохозяйственные угодья полковника Рокингема, судья Пендергаст получил еще пятьдесят долларов. Благоволите пересчитать всю сумму — сто тридцать семь пятьдесят.

— Президент железной дороги, владелец тысячи акров земли, и несмотря на это... — говорю я, глядя прямо в глаза этому Таккеру.

— Джентльмены, — поясняет Таккер, — протяженность железной дороги составляет десять миль. Ни один поезд не может по ней пройти до тех пор, пока поездная бригада, сделав остановку в сосновом лесу, не наберет достаточно шишек, чтобы развести пары. В доброе старое время, когда дела шли хорошо, чистый доход составлял восемнадцать долларов в неделю. Земли полковника Рокингема тринадцать раз были проданы в уплату налогов. Последние два года в этой части Джорджии был неурожай персиков. Дождливая весна сгубила все дыни. Ни у кого во всей округе нет денег для покупки удобрений, а земля такая плохая, что кукуруза не уродилась, и не хватает даже травы на прокорм кроликам. Уже больше года никто не ел здесь ничего, кроме свинины с мамалыгой и...

— Пик, — говорит Калигула, взъерошив свою рыжую шевелюру, — что ты намерен делать с этой мелочью?

Я возвращаю деньги майору Таккеру, подхожу к полковнику Рокингему, хлопаю его по плечу и говорю:

— Полковник, надеюсь, вам понравилась наша маленькая шутка. Однако мы не хотим заходить слишком далеко. Это мы-то похитители? Умора, да и только! Меня зовут Райнгелдер, и я племянник Чонси Депью.¹²⁵ Мой друг — внучатый кузен редактора юмористического журнала «Пак». Полагаю, что теперь вам все ясно. Мы приехали на Юг немножко поразвлечься. Осталось еще две кварты коньяку, и на этом, пожалуй, можно поставить точку.

Стоит ли вдаваться в подробности? Приведу лишь два-три примера. Мне запомнилось, как майор Таллахасси Таккер играл на варгане, а Калигула танцевал вальс с долговязым носильщиком, прижавшись головой к его желудку. Не знаю, уместно ли будет упомянуть о кекуоке, который исполнили мы вдвоем с мистером Паттерсоном Дж. Коблом и полковником Джексоном Т. Рокингом.

А на следующее утро — хотите верьте, хотите нет — мы с Калигулой все же несколько утешились. Нам стало ясно, что сам Райсули и вполнину так не ублагодотворил Бердика Гарриса, как мы ублагодотворили Железнодорожную Ветку Восход — Парадиз.

¹²⁵ Депью Чонси (1834–1928) — видный американский адвокат, оратор и политический деятель.

Поросячья этика

Перевод К. Чуковского

Войдя в курительный вагон экспресса Сан-Франциско — Нью-Йорк, я застал там Джефферсона Питерса. Из всех людей, проживающих западнее реки Уобаш, он единственный наделен настоящей смекалкой. Он способен использовать сразу оба полушария мозга да еще мозжечок в придачу.

Профессия Джеффа — небеззаконное жульничество. Вдовам и сиротам не следует бояться его: он изымает только излишки. Больше всего он любит сравнивать себя с той мишенью в виде маленькой птички, в которую любой расточитель или опрометчивый вкладчик может стрелкнуть двумя-тремя завалящими долларами. На его разговорные способности хорошо влияет табак; зная это, я с помощью двух толстых и легко воспламеняемых сигар «брэва» узнал историю его последнего приключения.

— Самое трудное в нашем деле, — сказал Джефф, — это найти добросовестного, надежного, безусловно честного партнера, с которым можно было бы мошенничать без всякой опасности. Лучшие мастера, с какими мне случалось работать по части присвоения чужого имущества, и те оказывались иногда надувателями.

Поэтому прошлым летом решил я отправиться куда-нибудь в захолустную местность, куда не проник еще змей-искуситель, и посмотреть, не найдется ли там какого-нибудь подходящего малого, одаренного талантом к преступлению, но еще не развращенного успехом.

Попался мне один городишко, на вид как раз то, что нужно. Жители еще ничего не слышали о конфискации Адамовых угодий и блаженствовали, как в райском саду, давая имена скотам и птицам и убивая гадюк. Городок назывался Маунт-Нэбо и расположен был примерно в том месте, где сходятся штаты Кентукки, Западная Виргиния и Северная Каролина. Что, эти штаты не граничат друг с другом? Ну, в общем, был расположен где-то там, поблизости.

Потратив неделю на то, чтобы жители удостоверились, что я не сборщик налогов, я как-то зашел в лавочку, где собирались все сливки местного общества, и начал нащупывать почву.

— Джентльмены, — говорю я (после того, как мы уже достаточно потерлись носами и собрались вокруг бочонка с сушеными яблоками), — джентльмены, мне кажется, что вы самое безгрешное племя на всей земле: вы так далеки от всякого плутовства и порока. Все женщины у вас благосклонны и храбры, все мужчины честны и настойчивы, и потому жизнь здесь прямо-таки идеальная.

— Да, мистер Питерс, — говорит хозяин лавочки, — правильно вы говорите: мы благородные, неподвижные, заплесневелые люди, лучше нас во всей этой местности нет, но вы не знаете Руфа Татама.

— Вот, вот, — подхватывает городской констебль, — он не знает Руфа Татама. Впрочем, где бы они могли познакомиться? Это самый отчаянный из всех негодяев, когда-либо убежавших от виселицы. Кстати, я только что вспомнил, что мне еще третьего дня следовало выпустить его из тюрьмы, когда кончился месячный срок, к которому он был приговорен за убийство Янса Гудло. Но ничего: лишние два-три дня ему не повредят.

— Что вы говорите! — воскликнул я. — Да не может этого быть! Неужели у вас, в Маунт-Нэбо, есть такой дурной человек? Кто бы мог подумать: убийца!

— Хуже! — говорит хозяин лавки. — Он ворует свиней.

Я решил разыскать этого мистера Татама. Через два-три дня после того, как констебль выпустил его из-за решетки, я свел с ним знакомство и пригласил его на окраину города. Мы сели на какое-то бревно и завели деловой разговор.

Мне нужен был компаньон деревенской наружности для одноактной проделки, которую я намеревался поставить в провинции, и Руф Татам был прямо-таки рожден для той роли,

которая была намечена мной для него.

Рост у него был гигантский, глаза синие и лицемерные, как у фарфоровой собаки на камине, с которой играла тетя Гарриет, когда была маленькой девочкой. Волосы волнистые, как у дискобола в Ватикане, а цвет волос напоминал вам картину «Закат солнца в Великом Каньоне», написанную американским художником и повешенную в американской гостиной для прикрытия дырки в обоях. Это было воплощение Деревенского Простофили, это было совершенство.

Я рассказал ему все мое дело и увидел, что он готов хоть сейчас.

— Оставим в стороне смертоубийство, — сказал я. — Это дело пустяковое и мелкое. Сделали ли вы что-нибудь более ценное в области плутовства и разбоя, на что вы могли бы указать — с гордостью или без гордости, — дабы я знал, что вы подходящий для меня компаньон?

— Как? — говорит он и растягивает по-южному каждое слово. — Разве вам никто не говорил обо мне? Во всем Синегорье нет ни одного человека, ни белого, ни чернокожего, который мог бы с такой ловкостью украсть поросенка без всякого шума, не видно, не слышно, и при этом ускользнуть от погони. Я могу выкрасть свинью из хлева, из-под навеса, из-за корыта, из леса, днем и ночью, как угодно, откуда угодно и ручаюсь, что никто не услышит ни визга, ни хрюканья. Вся штука в том, как ухватить свинью и как нести ее. Я надеюсь, — продолжает этот благородный опустошитель свинарников, — что близко то время, когда я буду признан мировым чемпионом свинокрадства.

— Честолюбие — похвальная черта, — говорю я, — и здесь, в глуши, свинокрадство — почтенная профессия; но там, в большом свете, за границами этого узкого круга, ваша специальность, мистер Татам, покажется провинциально вульгарной. Впрочем, она свидетельствует о вашем таланте. Я беру вас себе в компаньоны. Капитала у меня тысяча долларов, и, пользуясь вашей простецкой деревенской наружностью, мы, я надеюсь, заработаем на денежном рынке несколько привилегированных акций «Прости навек».

И вот я ангажировал Руфа, и мы покинули Маунт-Нэбо и спустились с гор на равнину, и всю дорогу я натаскивал его для той роли, которую он должен играть в задуманных мною незаконных делах. Перед тем я два месяца проболтался без дела на Флоридском побережье, чувствовал себя превосходно, и в голове у меня было тесно от всяких затей и проектов.

Я предполагал, собственно, проложить борозду шириною в девять миль через весь фермерский район Среднего Запада, куда мы и держали путь. Но, доехав до Лексингтона, мы застали там цирк братьев Бинкли. По этой причине в город со всей округи собралась деревенщина и попирала самодельными сапожищами бельгийские торцы мостовой. Я никогда не пропускаю цирка без того, чтобы не закинуть удочку в чужие карманы и не разжиться кое-какой мелочишкой. Поэтому мы сняли две комнаты со столом неподалеку от цирка у одной благородной вдовы, которую звали миссис Пиви. Затем я повел Руфа в магазин готового платья и одел его с ног до головы джентльменом. Как я и предвидел, он стал весьма авантажен, когда мы со старым Мисфицким облекли его в новый наряд. Да, это был великолепный наряд: сукно голубенькое, в зеленую клетку, жилет — цвета дубленой кожи, галстук — пунцовый, а сапоги — самые желтые во всем городе.

Это был первый костюм, надетый Руфом за всю его жизнь. До сих пор он носил просто нанковую рубашку и домотканые штаны своего родного края. Ну уж и гордился он этим новым костюмом — как дикий Игоротт новым кольцом в носу.

В тот же вечер я направился к цирку и открыл поблизости игру «в скорлупки». Руф должен был изображать постороннего и играть против меня. Я дал ему горсть фальшивой монеты для ставок и оставил себе такую же горсть в специальном кармане, чтобы выплачивать его выигрыш. Нет, не то чтобы я не доверял ему: просто я не могу направлять шарик на проигрыш, когда вижу, что ставят настоящие деньги. Рука не поднимается, пальцы бастуют.

Я поставил столик и стал показывать, как легко угадать, под какой скорлупкой горошина. Неграмотные олухи собрались полукругом и стали подталкивать друг дружку локтями и подзадоривать друг дружку к игре. Тут-то и должен был выступить Руф — рискнуть какой-

нибудь мелкой монетой и таким образом втянуть остальных. Но где же он? Его нет. Раз или два он мелькнул где-то вдаль, я видел: стоит и пялит глаза на афиши, а рот у него набит леденцами. Но близко он так и не подошел.

Кое-кто из зрителей рискнул поставить монету, но играть в скорлупки без помощника — это все равно, что удить без наживки. Я закрыл игру, получив всего сорок два доллара прибыли, а рассчитывал я взять у этих мужланов, по крайней мере, двести. К одиннадцати часам я вернулся домой и пошел спать. Я говорил себе, что, должно быть, цирк оказался слишком сильной приманкой для Руфа, что музыка и прочие соблазны так поразили его, что он забыл обо всем остальном. И я решил наутро прочесть ему хорошую нотацию о принципах нашего дела.

Едва только Морфей приковал мои плечи к жесткому матрацу, как вдруг я слышу неприличные дикие крики, вроде тех, какие издает ребенок, объевшийся зелеными яблоками. Я вскакиваю, открываю дверь, зову благородную вдову и, когда она высовывает голову, говорю:

— Миссис Пиви, мадам, будьте любезны, заткните глотку вашему младенцу, чтобы порядочные люди могли спокойно спать.

— Сэр, — отвечает она. — Это не мой младенец. Это визжит свинья, которую часа два назад принес к себе в комнату ваш друг мистер Татам. И если вы приходите к ней дядей или двоюродным братом, я была бы чрезвычайно польщена, если бы вы, уважаемый сэр, сами заткнули ей глотку.

Я накинул кое-какую одежду, необходимую в порядочном обществе, и пошел к Руфу в его комнату. Он был на ногах, у него горела лампа, он наливал в жестяную сковородку молока для бурой, среднего возраста, визжащей хавроньи.

— Что же это, Руф? — говорю я. — Вы манкировали своими обязанностями и сорвали мне всю игру. И откуда у вас свинья? Почему свинья? Вы, кажется, опять взялись за старое?

— Не сердитесь, пожалуйста, Джефф, — говорит он. — Имейте снисхождение к моей слабости. Вы знаете, как я люблю свинокрадство. Это вошло мне в кровь. А сегодня, как нарочно, представился такой замечательный случай, что я никак не мог удержаться.

— Ну что ж! — говорю я. — Может быть, вы и вправду больны клептосвинией. И кто знает, может быть, когда мы выберемся из полосы, где разводят свиней, ваша душа обратится к каким-нибудь более высоким и более прибыльным нарушениям закона. Я просто понять не могу, какая вам охота пятнать свою душу таким пакостным, слабоумным, зловредным, визгливым животным?

— Все дело в том, — говорит он, — что вы, Джефф, не чувствуете симпатии к свиньям. Вы не понимаете их, а я понимаю. По-моему, вот эта обладает необыкновенной талантливостью и очень большим интеллектом: только что она прошлась по комнате на задних ногах.

— Ладно, — говорю я. — Я иду спать. Если ваша милая свинья действительно такая премудрая, внушите ей, сделайте милость, чтобы она вела себя тише.

— Она была голодна, — говорит Руф. — Теперь она заснет, и больше вы ее не услышите.

Я всегда перед завтраком читаю газеты, если только нахожусь в таком месте, где поблизости есть типографская машина или хотя бы ручной печатный станок. На следующий день я встал рано и нашел у парадной двери «Лексингтонский листок», только что принесенный почтальоном. Первое, что я увидел, было объявление в два столбца:

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НАГРАДЫ

Указанная сумма будет уплачена без всяких расспросов тому, кто доставит обратно — живой и невредимой — знаменитую ученую свинью по имени Беппо, пропавшую или украденную вчера вечером из цирка братьев Бинкли.

Дж. Б. Тэпли, управляющий цирком.

Я аккуратно сложил газету, сунул ее во внутренний карман и пошел к Руфу. Он был почти одет и кормил свинью остатками молока и яблочной кожурой.

— Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро вам всем! — сказал я задушевно и ласково. — Так мы уже встали? И свинка завтракает? Что вы думаете с ней делать, мой друг?

— Я упакую ее в корзинку, — говорит Руф, — и pošлю к маме в Маунт-Нэбо. Пусть развлекает ее, пока я не вернусь.

— Славная свинка! — говорю я и щекочу ей спину.

— А вчера вы ругали ее самыми скверными словами, — говорит Руф.

— Да, — говорю я, — но сегодня, при утреннем свете, она гораздо красивее. Я, видите ли, вырос на ферме и очень люблю свиней. Но я всегда ложился спать с заходом солнца и не видал ни одной свиньи при свете лампы. Вот что я сделаю, Руф: я дам вам за эту свинью десять долларов.

— Я не хотел бы продавать эту свинку! — говорит он. — Другую я, пожалуй, и продал бы, но эту — нет.

— Почему же не эту? — спрашиваю я и начинаю пугаться, что он уже догадался, в чем дело.

— Потому, — говорит он, — что это было замечательнейшим подвигом всей моей жизни. Никто другой не мог бы совершить такой подвиг. Если когда-нибудь у меня будут дети, если у меня будет семейный очаг, я сяду у очага и стану рассказывать им, как их папаша похитил свинью из переполненного публичкой цирка. А может быть, и внукам расскажу. То-то они будут гордиться. Дело было так: там стоят две палатки, соединенные между собою. Свинья лежала на помосте, привязанная маленькой цепочкой. В другой палатке я видел великана и даму, сплошь покрытую кудлатыми седыми волосьями. Я взял свинью и выбрался ползком из-под холста. Она была тише мышонка: хоть бы взвизгнула. Я сунул ее под пиджак и прошел мимо целой сотни людей, покуда не вышел на темную улицу. Вряд ли я продам эту свинью, Джефф. Я хочу, чтобы мама сохранила ее, тогда у меня будет свидетель моего знаменитого дела.

— Свинья не проживет столько лет, — говорю я, — она околеет раньше, чем вы начнете свою старческую болтовню у камина. Вашим внукам придется поверить вам на слово. Я даю вам за нее сто долларов.

Руф с изумлением взглянул на меня.

— Свинья не может иметь для вас такую большую ценность, — сказал он. — Зачем она вам?

— Видите ли, — сказал я с тонкой улыбкой, — с первого взгляда трудно предположить во мне темперамент художника, а между тем у меня есть художественная жилка. Я собираю коллекцию. Коллекцию всевозможных свиней. Я исколесил весь мир в поисках выдающихся и редких свиней. В долине Уобаша у меня есть специальное свиное ранчо, где собраны представители самых ценных пород — от мериносов до польско-китайских. Эта свинья кажется мне очень породистой, Руф. Я думаю, это настоящий беркшир. Вот почему я приобретаю ее.

— Я, конечно, рад оказать вам услугу но у меня тоже есть художественная жилка, — отвечает Руф. — По-моему, если человек может похитить свинью лучше всякого другого человека, — он художник. Свиньи — мое вдохновение. Особенно эта свинья. Давайте мне за нее хоть двести пятьдесят, я и то не продам.

— Нет, послушайте, — говорю я, вытирая пот со лба. — Тут дело не в деньгах, тут дело в искусстве; и даже не столько в искусстве, сколько в любви к человечеству. Как знаток и любитель свиней, я обязан приобрести эту беркширскую свинку. Это мой долг по отношению к ближним. Иначе меня замучит совесть. Сама-то свинка этих денег не стоит, но с точки зрения высшей справедливости по отношению к свиньям, как лучшим слугам и друзьям человечества, я предлагаю вам за нее пятьсот долларов.

— Джефф, — отвечает этот пороссячий эстет, — для меня дело не в деньгах, а в чувстве.

— Семьсот, — говорю я.

— Давайте восемьсот, — говорит он, — и я вырву из сердца чувство.

Я достал из своего потайного пояса деньги и отсчитал сорок бумажек по двадцать долларов.

— Я возьму ее к себе в комнату и запру, — говорю я, — пусть посидит, пока мы будем завтракать.

Я взял ее за заднюю ногу. Она завизжала, как паровой орган в цирке.

— Дайте-ка мне, — сказал Руф, взял хавронью под мышку, придержал рукой ее рыло и понес в мою комнату, как спящего младенца.

С той минуты, как я нарядил Руфа в такой шикарный костюм, его охватила страсть к разным туалетным безделицам. После завтрака он заявил, что пойдет к Мисфицкому купить себе лиловые носки. Чуть он ушел, я засуетился, как однорукий человек в крапивной лихорадке, когда он клеит обои. Я нанял старого негра с тележкой; мы сунули свинью в мешок, завязали его бечевкой и поехали в цирк.

Я разыскал Джорджа Б. Тэпли в небольшой палатке, у открытого отверстия вроде окна. Это был толстенький человечек с пронзительным взглядом, в красной фуфайке и черной ермолке. Фуфайка была заколота у него на груди брильянтовой булавкой в четыре карата.

— Вы Джордж Б. Тэпли? — спрашиваю я.

— Готов присягнуть, что я, — отвечает он.

— Ну, так я могу вам сказать, что я достал и привез.

— Выразитесь точнее, — говорит он. — Что вы привезли? Морских свинок для азиатского удава или люцерну для священного буйвола?

— Да нет же, — говорю я. — Я привез вам Беппо, ученую свинку; она у меня в мешке, тут в тележке. Сегодня утром я нашел ее в садике у моих парадных дверей. Она подрывала цветы. Если вам все равно, я хотел бы получить мои пять тысяч долларов не мелкими, а крупными билетами.

Джордж Б. Тэпли вылетает из палатки и просит меня следовать за ним. Мы идем в один из боковых шалашей. Там на сене лежит черная, как сажа, свинья с розовой ленточкой на шее и кушает морковь, которой кормит ее какой-то мужчина.

— Эй, Мак! — кричит Тэпли. — Сегодня утром ничего не случилось с нашей всемирно известной?

— С ней? Нет! — отвечает мужчина. — У нее отличный аппетит, как у хористки в час ночи.

— С чего же вы взяли такую нелепицу? — спрашивает Тэпли, обращаясь ко мне. — Скушали на ночь слишком много свиных котлет?

Я вынимаю газету и показываю ему объявление.

— Фальшивка! — говорит он. — Ничего об этом не знаю. Вы своими глазами видели замечательное всемирно известное чудо четвероногого царства, вы видели, с какой сверхъестественной мудростью оно вкушает свой утренний завтрак; вы своими глазами могли убедиться, что оно не украдено и не заблудилось. До свидания. Будьте здоровы.

Я начал понимать, в чем дело, и, усевшись в тележку, велел дяде Нэду ехать к ближайшей аллее. Там я вынул мою свинью из мешка, тщательно установил ее, долго прицеливался и дал ей такого пинка, что она вылетела из другого конца аллеи — на двадцать футов впереди своего визга.

Потом я заплатил дяде Нэду его пятьдесят центов и пошел в редакцию газеты. Я хотел услышать своими ушами — коротко и ясно — обо всем происшествии. Я вызвал к окошечку агента по приему объявлений.

— Я держал пари, и мне нужны кое-какие подробности, — говорю я. — Не был тот человек, который сдал вам объявление о свинье, толстенький, с длинными черными усами, со скрюченной левой ногой?

— Нет, — отвечает агент. — Он очень высокий и тощий, волосы у него кукурузного цвета, а расфуфырен, как оранжерейный цветок.

К обеду я вернулся к миссис Пиви.

— Не оставить ли на огне немного супу для мистера Татама? — спрашивает она.

— Долго вам придется его ждать, — говорю я. — Сохраняя для него горячий суп, вы истощите на топливо все угольные копи и все леса обоих полушарий.

— Итак, вы видите, — заключил свою повесть Джефф Питерс, — как трудно найти надежного и честного партнера.

— Но, — начал я, считая, что долгое знакомство дает мне право на такой вопрос, — правило-то ваше обоюдоострое. Предложи вы ему поделить пополам обещанную в газете награду вы не потеряли бы...

Джефф остановил меня взглядом, полным благородной укоризны.

— Совершенно разные вещи, и смешивать их нельзя, — сказал он. — То, что я пытался проделать, есть самая простая спекуляция, нравственная, разрешенная всеми законами. Дешево купить и дорого продать — чем, как не этим, держится Уолл-стрит? Там быки и медведи,¹²⁶ а тут была свинья. Какая же разница? Свиная щетина — разве она не под стать рогам и звериной шкуре?

Примечания

Трест, который лопнул (The Octopus Marooned), 1908. На русском языке в журнале «Современный Запад», 1923, № 4, пер. К. Чуковского. Этот и десять последующих рассказов были написаны О. Генри по контракту с нью-йоркским издательством Макклюр без права предварительного опубликования в периодике. Все они появились впервые в сборнике «Благородный жулик».

Джефф Питерс как персональный магнит (Jeff Peters as a Personal Magnet), 1908. На русском языке под названием «Джефф Питерс — как личный магнит» в журнале «Современный Запад», 1923, № 4, пер. К. Чуковского.

Развлечения современной деревни (Modern Rural Sports), 1908. На русском языке в книге: О. Генри. Благородный жулик. М.—Л., 1924, пер. К. Чуковского.

Кафедра филантроматематики (The Chair of Philanthro-mathematics), 1908. На русском языке в журнале «Современный Запад», 1923, № 4, пер. К. Чуковского.

Рука, которая терзает весь мир (The Hand that Riles the World), 1908. На русском языке под названием «Власть женщины» в журнале «Красная нива», 1924, № 13, пер. К. Чуковского.

Супружество как точная наука (The Exact Science of Matrimony), 1908. На русском языке в журнале «Современный Запад», 1923, № 4, пер. К. Чуковского.

Летний маскарад (A Midsummer Masquerade), 1908. На русском языке под названием «Таинственный маскарад» в книге: О. Генри. Таинственный маскарад. Л.—М., 1924, пер. З. Львовского.

Стриженный волк (Shearing the Wolf), 1908. На русском языке под названием «Обстригли волка» в книге: О. Генри. Милый жулик. Л., 1925, пер. С. Адрианова. (Собр. соч.)

Простаки с Бродвея (Innocents of Broadway), 1908. На русском языке под названием «Бродвейские младенцы» в книге: О. Генри. Милый жулик. Л., 1925, пер. С. Адрианова. (Собр. соч.)

Совесь в искусстве (Conscience in Art), 1908. На русском языке в журнале «Красная нива», 1924, № 9, пер. К. Чуковского.

Кто выше (The Man Higher Up), 1908. На русском языке в журнале «Красная нива», 1924, № 17, пер. К. Чуковского.

¹²⁶ «Быками» на американском биржевом жаргоне называют спекулянтов, играющих на повышение курса акций, «медведями» — играющих на понижение.

Стихий ветер (A Tempered Wind), 1904. На русском языке под названием «Стриженую овцу ветер милует» в книге: О. Генри. Милый жулик. Л., 1925, пер. С. Адрианова. (Собр. соч.) Автор имеет в виду поговорку «Стриженую овечку ветер щадит» и иронически прилагает ее к «милосердию» своих «благородных жуликов».

Заложники Момуса (Hostages to Momus), 1905. На русском языке под названием «Заложники на смех» в книге: О. Генри. Милый жулик. Л., 1925, пер. С. Адрианова. (Собр. соч.) Называя незадачливых похитителей «заложниками Момуса» (Момус — бог насмешки в древнегреческой мифологии), автор имеет в виду причудливый ход событий, в результате которого они сами же оказываются одураченными. Тот же мотив повторен в более известном рассказе О. Генри «Вождь краснокожих» (сб. «Коловращение»).

Гротескный рассказ одного из героев «Заложников Момуса» о похищении и выкупе «Бердика Гарриса» — сатирический отклик О. Генри на злободневное «дело Пердикариса» (1904–1905), связанное с агрессивной политикой США в Северной Африке. Вождь кочевого марокканского племени Райсули похитил некоего Пердикариса, американского грека, и потребовал за него выкуп. Хотя США не имели юридических оснований для вмешательства (Пердикарис не был гражданином США), президент Теодор Рузвельт и государственный секретарь Хэй послали военные корабли к марокканскому побережью и заставили султана Марокко выкупить Пердикариса и уплатить денежную компенсацию США. В ходе грубого дипломатического нажима Вашингтон также направил в Танжер телеграмму с требованием «живого Пердикариса или мертвого Райсули», имевшую сенсационный успех в американских империалистических кругах. В своем пародийном описании всех этих событий О. Генри высмеивает действия правительства США.

Поросенья этика (The Ethics of Pig), 1906. На русском языке под названием «Поросенок» в журнале «Красная нива», 1924, № 6, пер. К. Чуковского.

А. Старцев